

ИСТОРИЯ
РИМСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ



ИСТОРИЯ РИМСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ



ПОД РЕДАКЦИЕЙ:

С.И. СОБОЛЕВСКОГО, М.Е. ГРАБАРЬ-ПАССЕК,
Ф.А. ПЕТРОВСКОГО

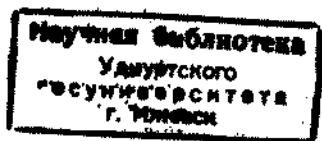


ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР
МОСКВА • 1962

ИСТОРИЯ РИМСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ТОМ
II

553531

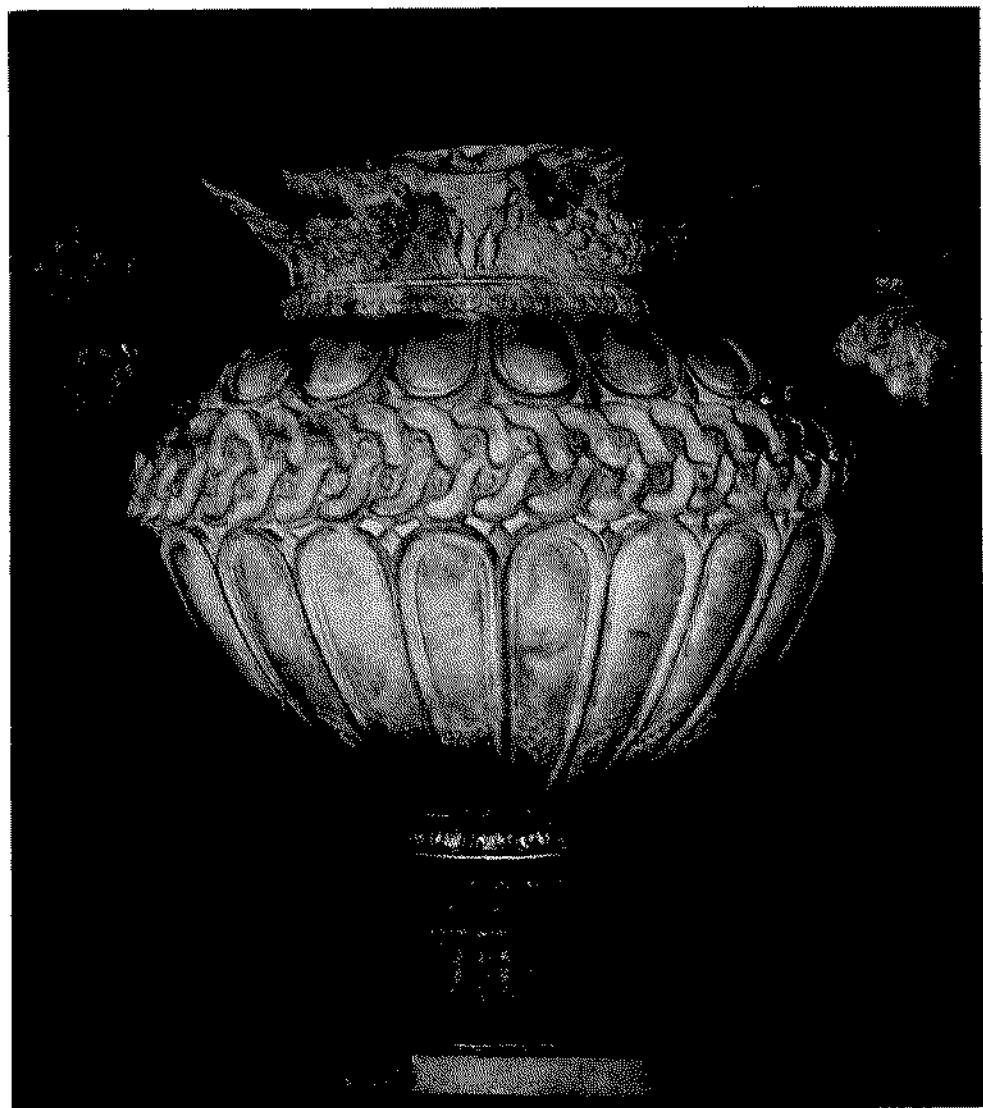


ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР
МОСКВА · 1962

2112

В томе II «Истории римской литературы» рассматриваются произведения латинских писателей начиная с I в. н. э. и кончая V в. н. э., в конце которого наступает гибель Западной Римской империи. Как и том I, книга иллюстрирована снимками с произведений античного искусства, хранящихся в Государственном Эрмитаже в Ленинграде

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭРМИТАЖ
СПИСОК КОПИЙ
1958 г.



*Ваза из виллы Адриана в Тибуре
(II в. н. э.)*

ЛИТЕРАТУРА РАННЕЙ ИМПЕРИИ



Глава I
«СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК»
РИМСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

I в. н. э. — время укрепления и оформления императорской власти в Риме. Из разросшейся городской общины, эксплуатирующей завоеванные заморские земли, Римское государство превращается в обширную державу, защищающую интересы рабовладельцев всего Средиземноморья. Провинции играют все более значительную роль в хозяйственной, политической и культурной жизни страны и начинают оттеснять Италию на второй план. Именно в эту пору в римской литературе появляются первые писатели-провинциалы: македонянин Федр и испанцы — Сенека, Лукан, Квинтилиан, Марциал.

Управление обширной средиземноморской империей требовало централизованной и сильной императорской власти. В этом направлении и действуют первые императоры — преемники Августа. Эта политика императоров неминуемо сталкивалась с сопротивлением сенатской аристократии.

Сенатская аристократия опиралась в основном на крупных итальянских землевладельцев; она стремилась восстановить прежнюю систему эксплуатации провинций и господство сената в политической жизни, в ее среде был распространен культ древней республики и отрицательное отношение к основателям империи — Цезарю и Августу. В течение всего I века императоры вели борьбу с непрекращающимся проявлением недовольства со стороны сената. В истории этой борьбы можно различить два периода. Первый период совпадает со временем правления династии Юлиев-Клавдиев — императоров Тиберия (14—37 гг.), Калигулы (37—41 гг.), Клавдия (41—54 гг.) и Нерона (54—68 гг.); в этот период сенатская оппозиция еще питает надежды на восстановление республики. Второй период — это время правления Флавиев и первых Антонинов — Веспасиана (69—79 гг.), Тита (79—81 гг.), Домициана (81—96 гг.), Нервы (96—98 гг.) и Траяна (98—117 гг.); в этот период невозможность восстановления республики становится очевидной, и оппозиция ограничивается попытками заменить «неудобного» принцепса другим, более приемлемым. Первый период можно назвать периодом борьбы, второй — периодом вынужденного примирения.

Борьба между императорами и сенатом определяет и развитие литературы I века, в которой отчетливо различаются два направления — официальное и оппозиционное. (Лишь к концу I в. общая аполитизация литературы стирает рубеж между двумя направлениями: творчество Марциала, например, уже не может быть отнесено ни к одному из них.) Литература

официального направления с самого начала проявляет признаки оскудения; ни Веллей, ни Кальпурний, ни Стаций не оставили ничего, достойного быть поставленным рядом с произведениями Лукана или Тацита. Все художественные ценности, созданные римской литературой в I в., принадлежат оппозиционному направлению.

Литературная оппозиция против империи зародилась еще при Августе (Лабиен). Теперь она усиливается, сплачивается и, что особенно важно, приобретает философскую опору — стоицизм. Стоиками были Сенека, Персий, Лукан, Целс, Ювенал, Тацит. Философская основа стоицизма вовсе не была враждебна монархии — и Август, и Тиберий учились когда-то у стоиков; но уже при Августе, в учении философской школы Секстиев, а затем при его преемниках, в проповедях стоиков Аннея Корнута и Мусония Руфа, все сильнее и сильнее чувствуются оппозиционные настроения. Стоическое учение о самодовлеющей добродетели, которая составляет высшее благо и носитель которой может непоколебимо противостоять всем ударам судьбы, было прекрасным обоснованием того пассивного сопротивления, с каким сенатская аристократия относилась к императорской власти. Именно практический идеал жизненного поведения, а не теоретические догмы стоицизма привлекали оппозиционеров: больше, чем о Зеноне и Хрисиппе, они думали о Катоне. Чистота и последовательность теории их не заботила: в системе Сенеки находится место даже для эпикурейских идей. Стоицизм выступал не как замкнутая школа, а как представитель перед лицом императоров всей философии вообще. Императоры это понимали и отвечали указами об изгнании философов из Рима: такие указы были изданы в 71 г., в 89 г. и около 94 г.

В литературе стоическое движение сказалось в основном в двух областях: во-первых, в сатире и, во-вторых, в научной литературе.

Сатирический жанр при первых императорах достигает наивысшего расцвета. Одновременно развиваются и традиция стихотворной сатиры Луцилия — Горация, и традиция «менипповой сатиры» Варрона; Сенека разрабатывает политическую сатиру, Персий — философскую, Ювенал — риторическую. Под влиянием стоицизма изменяются художественные особенности сатиры. Философское обобщение вытесняет политическую злободневность — Ювенал выводит общечеловеческие типы под условными именами деятелей предшествующего царствования. Тематика сатиры суживается, сводясь к этическим проблемам. Под влиянием стоической диатрибы тон сатиры становится патетичнее и резче — горацянское добродушие забыто. Для истории литературы особенное значение представляет творчество двух сатирических писателей (правда, лишь косвенно связанных со стоической сатирой) — Петрония и Марциала. «Сатирикон» Петрония — первый дошедший до нас образец романа в европейской литературе; в поэзии Марциала эпиграмма впервые обретает последовательно сатирическое содержание, которое в дальнейшем становится определяющим признаком этого жанра.

Научная литература всегда пользовалась уважением стоиков: в естественных науках они видели раскрытие мировой гармонии всех явлений, в исторической науке — раскрытие роковой закономерности всех событий. I в. н. э. был временем создания крупнейших компилятивных трудов в римском естествознании: «Естественнoисторических вопросов» Сенеки, энциклопедии Целса и «Естественной истории» Плиния, а также временем высочайших достижений римской историографии — «Истории» и «Анналов» Тацита. Научные интересы захватывают и поэзию: в поэме Манлилия раскрывается стоический взгляд на мироздание, в поэме Лукана — стоический взгляд на исторические судьбы римского народа.

Идейная борьба находила отражение в литературной борьбе. После эпохи Августа римская литература вступает в новый период развития. До сих пор она ориентировалась на греческие образцы; теперь почти все жанры греческой литературы были уже освоены Римом, и почти во всех них были созданы классические произведения, которые могли соперничать с греческими. Дух подражания и соперничества, двигавший римскую литературу, обращается теперь не на Гомера и Демосфена, а на Вергилия и Цицерона. Как некогда боролись направления эллинизаторское и национальное, так теперь борются направления новаторское и эпитонское: эпитоны повторяют уроки классиков, новаторы отталкиваются от них.

Первая половина I в. н. э. — время Юлиев-Клавдиев — это период решительного преобладания новаторских тенденций в литературе. Поэты эпохи Нерона бросают открытый вызов поэтам эпохи Августа. Так, «Фарсалия» Лукана задумана как прямая противоположность «Энеиде». «Энеида» оптимистична, «Фарсалия» пессимистична; Вергилий воспевает начало римского могущества, Лукан скорбит о его конце; Вергилий прославляет Августа, Лукан осуждает Цезаря; Вергилий обращается к мифологическим пророчествам, Лукан — к историческим фактам; в «Энеиде» действуют боги и герои, в «Фарсалии» — люди и судьба; композиция «Энеиды» основана на подчинении мелких сцен эпизодам большой сюжетной важности, композиция «Фарсалии» — на создании дробных сцен, связанных единством настроения; в слоге «Энеиды» чередуются напряженности и расслабления, слог «Фарсалии» напряжен непрерывно. Как эпос Лукана противостоит эпосу Вергилия, так проза Сенеки противостоит прозе Цицерона, сатира Персия — сатире Горация, и так же, по-видимому, трагедии Сенеки противостоят трагедиям Вария, а лирика Цезия Басса — лирике Горация.

Исходным пунктом этого новаторства был так называемый «новый стиль» в красноречии. Он сформировался в декламациях риторических школ времени Августа; Кассий Север и его сверстники вынесли его на форум. В «новом стиле» все подчинялось мгновенному эффекту: короткие фразы, насыщенные сентенциями, заостренные антитезами, изысканный лаконизм, игра поэтизмами и вульгаризмами в лексике; в блестящей россыпи удачных оборотов терялась забота о цельности и связности, правила искусства отвергались во имя гениального вдохновения. Черты этого «нового стиля» во многом определяли поэтику этой эпохи: не об одном Лукане Квинтилиан мог бы сказать, что он скорее оратор, чем поэт. К «новому стилю», в конечном счете, восходят и напряженный пафос Лукана, и статичная декламационность трагедий Сенеки, и вычурный до непонятности слог Персия, и аффектированная грубость и композиционная бессвязность Ювенала, и сентенциозная острота концовок в эпитаграммах Марциала. Недостатком «нового стиля» была его постоянно преувеличенная напряженность: ничем не разрежаемая, она становилась однообразной и скоро теряла привлекательность. Поэтому господство новаторского направления в литературе было недолгим.

Во второй половине I в. н. э. — при Флавиях и первых Антонинах — новаторское направление уступает господство эпитонскому. Глашатаям нового классицизма выступает Квинтилиан, восторженный поклонник Цицерона и суровый критик «соблазнительной порочности» нового стиля; Асконий Педнан комментирует речи Цицерона и защищает Вергилия от его «порицателей»; Стаций и Валерий Флакк возрождают мифологический эпос, уснащая свои произведения вергилианскими образами и мотивами; Силий Италик чтит Вергилия как бога. (Впрочем, опыт поэтов нероновского времени не прошел даром: в новых эпических поэмах сквозь влияние

Вергилия то и дело просвечивает влияние Лукана — броские описания, забота о настроении, дробность композиции.) Уроки Квинтилиана были усвоены и следующим литературным поколением: при Траяне Плиний Младший и в письмах, и в «Панегирике» старательно воспроизводит Цицероновскую манеру, а современные ему стихотворцы наполняют книжные лавки мифологическими поэмами, над которыми издевается Ювенал. Бесплодие эпигонского направления постепенно становится очевидным: приближается литературный упадок II—III вв.

На пороге этого упадка стоят мощные фигуры Ювенала и Тацита. Ювенал — декламатор, Тацит — оратор; Ювенал безудержен, Тацит монументально спокоен; Ювеналом движет негодование, Тацит стремится писать «без гнева и пристрастия»; и все же между ними есть сходство. Оба они пишут о прошлом, думая о настоящем, обоим современность представляется трагедией, оба сознают безотрадность будущего и тщетность каких бы то ни было положительных идеалов. Их творчество подводит итог горькому опыту первого столетия империи.

I в. н. э. обычно носит название «серебряного века римской литературы» по аналогии с «золотым веком» Августа. Это название следует понимать лишь условно. Временем упадка эпоху Юлиев-Клавдиев и Флавиев считать нельзя. Это было время искания новых форм, соответствующих новым мыслям и чувствам, и поиски часто были удачны.



Глава II

ПОЭЗИЯ ПРИ ПЕРВЫХ ИМПЕРАТОРАХ

1. *Германик, Манилий.* — 2. *Федр.* — 3. *Кальпурный и анонимные поэмы.*

1. ГЕРМАНИК. МАНИЛИЙ.

К одним из наиболее ранних поэтических произведений эпохи Империи, сохранившимся до нашего времени, принадлежат две поэмы дидактического характера, написанные на одну и ту же тему. Эти поэмы, стоящие в известной связи с эллинистическими научными трактатами, показывают состояние античной астрономии, подчеркивая тесную связь ее с астрологией, чрезвычайно широко распространенной в эпоху империи.

Одна из этих поэм принадлежит Манилию, а другая современнику его Германику, племяннику и приемному сыну императора Тиберия.

Германик (*Nero Claudius Germanicus*), являясь одним из самых знатных лиц государства, не посвящал себя специально литературной деятельности. Волею Августа навязанный Тиберию в качестве преемника, Германик начал служебную карьеру на военном поприще, проявил блестящие способности полководца, приобретая исключительную популярность как среди римских войск, так и гражданского населения. Его влияние было так велико, что после смерти Августа он мог бы при поддержке войск легко стать императором, но выполняя волю Августа, а может быть просто не желая принимать на себя тяжелую ответственность управления обширным государством, Германик не стал оспаривать у Тиберия права на верховную власть. Подозрительный и крайне ревниво относящийся к своей славе Тиберий явно не питал расположения к своему талантливому племяннику. Весьма возможно, что в их взаимоотношениях известную роль играл и любимец Тиберия — Сеян. Этот всесильный в то время временщик поддерживал в Тиберии недоверчивое и враждебное отношение к Германику. Под предлогом выполнения почетного и ответственного поручения Германик был отозван от своих войск из Германии в 17 г. н. э., награжден триумфом и отправлен с дипломатическим заданием на Восток. В княжествах Каппадокии и Коммагене, находящиеся в вассальной зависимости от Рима, он уладил ряд спорных вопросов, посадил на армянский трон римского кандидата, наладил взаимоотношения с парфянами и отправился в Сирию, где вдруг неожиданно скончался. Эта внезапная смерть молодого человека в расцвете сил дала основание слухам о том, что Германик погиб насильственной смертью. Упорно говорили, что он

был отравлен легатом Сирии Гнеем Пизоном и его женой Планциной при тайном попустительстве со стороны Тиберия, который явно завидовал своему племяннику и боялся его. Хотя Пизон и был предан суду по приказанию Тиберия, молва упорно приписывала самому императору весьма двусмысленную роль в этом загадочном деле. Как бы то ни было, причина смерти Германика осталась нераскрытой; прах его был перевезен в Рим, где и похоронен при огромном стечении народа.

От Германика до нас дошла лишь одна поэма из 729 стихов — «Звездное небо по Арату», написанная гекзаметром. То, что Германик в обстановке военных походов, при господствовавшем террористическом государственном режиме отдал дань увлечению поэзией, характерно для того времени: так поступали многие знатные и образованные римляне.

Германик отчасти перевел, отчасти переложил на латинский язык дидактическую поэму «Явления» (Phaenomena), принадлежащую знаменитому в свое время поэту и астроному Арату (270 г. до н. э.), описавшему звездное небо и небесные явления. Эти «Явления» пользовались большим успехом в древности и на латинский язык их переводил не только Германик, но и Цицерон, а также поэт IV в. н. э. Аввиен.

Взяв за образец дидактическую поэму эллинистического ученого поэта Арата, Германик и стремился создать поэтическое произведение в типично эллинистическом духе. Придав своему труду характер научной поэмы, при разработке столь специального сюжета, как астрономические наблюдения, Германик использовал последние достижения науки в этой области и работы известных тогда астрономов, особенно комментарий знаменитого Гиппарха, составленный в середине II в. до н. э.

Наблюдения над звездным небом Германик связывал с повседневной жизнью, с земледельческой практикой. Он давал советы и указания главным образом по сельскому хозяйству, на основании астрономических наблюдений, определяя, например, наиболее благоприятное время для посева, для сбора урожая и т. п. (ст. 155, 395, 575 и т. д.). Особое внимание уделялось также связи между положением отдельных звезд и созвездий и состоянием погоды, что было весьма важным для развития мореплавания. Из этой поэмы мы узнаем о представлениях древних о неподвижности земли, вокруг которой вращается небосвод, о знакомстве со знаками Зодиака и наряду с этим встречаем пересказ хорошо известных современникам Германика греческих и римских мифов, объясняющих расположение созвездий, издавна знакомых древним. Например, мы находим на небе почти всех героев мифа о Персее и Андромеде (созвездия Кассиопей, Пегаса, Андромеды, Персея), венок Ариадны, подаренный ей Вакхом, чудесный корабль Арго и т. п.

Таким образом, поэма Германика представляет собой явление, весьма характерное для своего времени: в ней сочетается эллинистическая ученость и практические советы, полезные для рядового сельского хозяина.

Поэма начинается с традиционного обращения к императору Тиберию и восхваления его политики, направленной на укрепление мира, достигнутого Августом. Идея мира была одной из популярнейших идей того времени, когда рабовладельческое римское общество, до основания потрясенное внутренними волнениями и войнами, стремилось к покою. Именно эти настроения и отразились в поэме Германика, когда в первых семнадцати строках он восхвалял владыку мира, давшего возможность земледельцу спокойно обрабатывать свое поле, мореплавателю безопасно доверять корабль морской глади, а ученому заниматься наукой, исследовать звездное небо.

Но, также как большинство его современников, Германик прежде всего стремился проявить свою ученость, блеснуть ею перед читателями, а кроме того, подчеркнуть свое лояльное отношение к существующему режиму. Он умалчивал о социальных противоречиях, раздирающих римское общество, избегал затрагивать острые современные проблемы. Будучи придворным поэтом, Германик стремился увести читателей от неприглядной действительности в область «чистой поэзии», разрабатывая главным образом традиционные элегические мотивы. Значительно уступая своим предшественникам, знаменитым элегикам эпохи Августа — Овидию, Тибуллу и Проперцию — в поэтическом мастерстве, Германик отставал от них и в тематике. Разрабатывая поэтические сюжеты, элегики затрагивали и злободневные актуальные темы: в их творчестве находили отражение и внутренняя политика Августа, и жестокие гражданские войны недавнего прошлого. Так, например, при сопоставлении разработанного Овидием и Германиком традиционного элегического сюжета о трех веках человечества (золотом, серебряном и медном), у Овидия можно найти несомненное отражение современности: говоря о железном веке, поэт показал яркую картину внутренних усобиц и полного распада общественных и семейных устоев. У Германика все противоречия смягчены, лишь вскользь упоминается о раздорах «родственной крови», но избегая столь опасной темы, Германик переключает внимание читателей на времена золотого и серебряного века, рисуя традиционные поэтические картины. Медному веку посвящены три строки, а железному, т. е. современности — ни одной. Всего, что могло бы вызвать подозрение или недовольствие всемогущего императора, Германик старательно избегает. Такая же позиция занята Германиком и в отношении религии: несомненно разделяя атеистические взгляды большинства образованных римлян, он всячески подчеркивал свое благочестие.

Поэма Германика не отличается большими поэтическими достоинствами, она представляет для нас интерес как произведение, показывающее уровень тогдашней астрономической науки, характеризует ее автора, представителя верхушки римского общества, как типичного подражателя эллинистическим образцам, пытавшегося своей дидактической поэмой отвлечь внимание читателя от жгучих вопросов современности.

Аналогичную тему, связанную с описанием звездного неба, взял и другой эпический поэт того времени — Манилий (Manilius), автор астрологической поэмы «Астрономика» (*Astronomicon libri*). Греческая и римская мифология связывала отдельные звезды и созвездия с различными мифами и с давних времен служила источником вдохновения как для писателей, так и для художников. Звездное небо привлекало также внимание философов и астрономов, но лишь астрологи Востока стали связывать движение планет и расположение звезд и созвездий с судьбами людей. В эпоху эллинизма вера в астрологию широко распространилась сначала в Афинах, а позднее и в Риме. Множество всевозможных прорицателей, магов и звездочетов проникло в Рим, несмотря на официальное запрещение властей, и часто пользовалось покровительством знатных лиц, особенно женщин. Крупные государственные деятели также прибегали к их помощи: так, Цицерон («О предвидении» II, 47, 99) упоминает о предсказаниях, сделанных Цезарю, Крассу и Помпею и оказавшихся неверными, Светоний передает о предсказании, связанном с рождением Августа, Лукан в «Фарсалии» упоминает о предсказании в связи с переходом Цезарем Рубикона.

Ставя перед собой задачу — соединить астрономию, хорошо знакомую и разработанную еще с древних времен, с астрологией, широко

распространенной в императорском Риме, Манилий и создал свою астрологическую поэму. Эта поэма, состоявшая из пяти книг, была предназначена, как говорит и сам автор, не для толпы — «*nes turbae sagmīna condam*» (II, 134—135), но для избранных читателей — «аристократов духа и мысли», для высших кругов римского общества.

О жизни Манилия нам почти ничего не известно, даже имя его точно не установлено. Одни называют его Марком Манилием, другие дают ему имя Гая, некоторые исследователи называют его Манлием или Маллием. Наиболее достоверно имя Марк Манилий. Место рождения его также неизвестно. На основании языка поэмы, в котором встречаются провинциализмы, можно сделать вывод, что Манилий не был уроженец Рима, а, вероятнее всего, одним из многочисленных талантливых провинциалов, заполнявших в то время Рим; но все эти соображения по существу являются лишь гипотезами.

Некоторые исследователи даже высказывали предположение, что Манилий и Германик — одно и то же лицо. Для доказательства указывали на сходство содержания, а отчасти и языка поэм обоих авторов. Но сходство в содержании легко объясняется тем, что оба автора взяли за образец одну и ту же поэму Арата, разработав ее тематику под разными углами зрения. Работа Манилия построена на более широком материале, чем «Феномены» Арата и их латинские переводы Германика и Авиена, до известной степени она имеет философский характер, во многом отличаясь от придворной ученой поэмы Германика.

Несколько легче установить время жизни Манилия, вернее, время создания им своей поэмы. Из упоминаний в поэме таких исторических событий, как разгром римских легионов под предводительством Бара в Тевтобургском лесу (9 в. н. э.) или пожар театра Помпея в 22 г. н. э., можно сделать вывод, что она была написана или при Августе или во время правления Тиберия. В пользу последнего соображения говорит и то обстоятельство, что Тиберий сам покровительствовал астрологам; создание Манилием поэмы с подобной тематикой было весьма уместно именно в его правление.

Поэма Манилия по обычаю того времени начинается с посвящения и обращения к императору Тиберию, где Манилий в льстивых выражениях просит новое божество помочь ему с честью выполнить поставленную задачу — создать поэму с новым содержанием, идя по новому, не проторенному пути.

В дальнейшем метод изложения Манилия был следующий: сначала автор знакомил своих избранных читателей с общими положениями астрономии, затем подробно останавливался на изучении небесной сферы, применяя математические вычисления для определения положения созвездий, их появления и движения и, наконец, переходил к чистой астрологии, изучая влияние звезд как на судьбы вселенной, так и на жизнь отдельных людей.

В книге I, где Манилий кратко в популярной форме излагал содержание своей поэмы, знакомя читателей с астрономической наукой, он использовал главным образом поэму Арата, добавив к ней ряд новых данных, связанных с развитием современной ему астрономии. Астрологии в этой книге Манилий еще не касался.

Во II и III книгах Манилий подробно говорил уже о самой астрологии, т. е. о влиянии планет, созвездий и звезд на жизнь различных стран, государств и отдельных людей, пытаясь доказать, что существует связь между малейшими движениями тех или иных небесных светил и отдельными событиями в жизни каждого человека. Познакомив читателей с мие-

ниями на этот счет различных египетских и халдейских астрологов, Манилий предложил собственный метод составления гороскопов с применением математических вычислений, сближаясь в этом смысле с идеалистическим учением пифагорейцев.

В IV и V книгах, развивая мысли о влиянии небесных светил на судьбы людей, Манилий с негодованием обрушивается на своих противников, т. е. на тех, кто, по его мнению, не понимает значения великой науки астрологии. В этих книгах встречаются отдельные места, отличающиеся несомненными поэтическими достоинствами, например эпиллий с изложением мифа о Персее и Андромеде. Пятая книга производит впечатление не вполне законченной, что же касается книги VI, где Манилий предполагал рассказать о планетах и их свойствах, то она или совсем не была написана или целиком утрачена.

Основные проблемы мироздания, затронутые в работе, Манилий разрешал в духе стоической философии. Выступая с критикой различных философских систем, полемизируя с Аристотелем и другими философами, Манилий подчеркивал строгую гармонию всех частей вселенной и существующий в ней порядок. Считая, что вселенная вызвана к жизни каким-то высшим разумом, тождественна этому разуму и им же управляется, Манилий признавал наличие бога, являющегося душой мира. Поэтому и все небесные явления подчинены определенной закономерности, мир вечен, как и сам бог. Человек, являясь частью божества, стремится проникнуть в тайны природы и между ним и ею, в частности между человеком и звездами, существует тесная связь (IV, 88). Теории стоиков о судьбе и ее влиянии на человеческую жизнь, равно как и их учение о дивинации, находят глубокое отражение в работе Манилия.

Манилий стремился внушить читателям, что различные созвездия влияют на жизнь не только отдельных людей, но и целых государств, неизбежно предопределяя и политику данного государства. Так, Рим, основанный под влиянием созвездия Весов, самой судьбой предназначен быть властителем народов, уничтожать и возвышать их по своей воле. Созвездия обладают различными свойствами: так, созвездие Девы, управляющее островом Родосом, где долго жил Тиберий, создало из этого императора светоч мира для всего человечества, а созвездие Гиад оказывает явно дурное влияние на людей, родившихся в сфере их воздействия. Рожденные под Гиадами — это сторонники восстаний, стремящиеся к смутам (например поддерживавшие Гракхов). Таким образом, Манилий стремился доказать читателям, что все современные события — ожесточенная классовая борьба, разыгравшаяся в Римском государстве и кровопролитные гражданские войны, когда брат восставал на брата, а дети шли против отцов, все это лишь результат столкновений различных небесных светил. Внутренние противоречия, раздиравшие римское общество, Манилий пытался представить как не зависящие от воли и желания людей, перелagая всю ответственность за несовершенство существующего социального строя на отдельные планеты и созвездия.

Таким образом, можно заключить, что политические взгляды Манилия были такими же, как и у большинства его современников, принадлежавших к верхушке римского рабовладельческого общества. Находясь в весьма умеренной оппозиции к правящим императорам, но не к империи вообще, напоминая своим современникам о доблести предков и о минувших днях республики, Манилий и подобные ему были враждебно настроены по отношению к таким видным деятелям республики, как Гракхи, передовые идеи которых расценивались ими лишь как демагогический прием для подстрекательства народа к смуте. Астрологическая поэма Манилия отразила

его политические взгляды, в ней подтверждались и обосновывались его верноподданические чувства по отношению к империи.

Философская тематика поэмы Манилия дала основание некоторым исследователям сопоставлять это произведение с поэмой великого материалиста древности Лукреция. В поэме Манилия встречаются философские, полные вдохновения вступления, которые роднят его с Лукрецием, равно как и неоднократно высказываемые идеи о господстве в мире разума, не знающего никаких преград в стремлении познать истину (I, 483; II, 106; IV, 883, 920, 932 и др.). Но основная концепция Манилия, заключающаяся в том, что человек — это частица божества, проявляющего свою волю посредством воздействия планет, звезд и созвездий на жизнь человека, несомненно, является шагом назад по сравнению с материалистическим учением Лукреция. Открыто выступая против учения Эпикура и атомистической теории (I, 483), Манилий уводит читателей из реального мира в область фантазии и мистики. В разработке философской терминологии Манилий также далеко уступает Лукрецию. Когда Манилию не хватает необходимых слов из-за отсутствия в латинском языке соответствующих терминов, он применяет греческие выражения, оправдываясь в этом перед читателем (II, 693, 897; II, 4), Лукреций же ввел в латинский язык чрезвычайно ценную и блестяще разработанную лексику для передачи отвлеченных понятий.

Хотя Манилий обладал несомненным поэтическим талантом, стиль его, несмотря на красочность и выразительность отдельных образов, часто страдал от перегрузки метафорами, от излишней риторичности и искусственности. Язык его местами темен, что отчасти объясняется сложностью тематики поэмы, а также наводит на мысль о его провинциализме. На трудность тематики, отличавшейся от избитых сюжетов, распространенных тогда в эпической поэзии, вроде взятия Трои, борьбы Титанов с богами, преступления Медеи и т. п., указал и сам Манилий, рекомендуя себя как автора, предлагающего римскому читателю новую, неизбежную тему.

Трудно точно определить, какова была судьба поэмы Манилия. Известно лишь, что она была найдена среди работ, принадлежавших Юлию Фирмику Матерну, оставившему к ней комментарий или, вернее сказать, прозаический пересказ без указания, откуда он его взял. Лишь в X в. был обнаружен весьма плохо сохранившийся экземпляр рукописи Манилия, а до нас дошла, по-видимому, одна из снятых копий. Работа Манилия вероятно, не была опубликована, так как о ней нет упоминаний ни у современников, ни у Квинтилиана.

2. ФЕДР

Среди поэтов времени Тиберия — Клавдия, если не самый талантливый, то, бесспорно, самый интересный — баснописец — Федр (Phaedrus).

Современники и потомки молчат об этом поэте. Только Марциал (III, 20, 5), говоря о стихоплете Канин Руфе, иронически спрашивает: «Может быть, он подражает шуткам негодника-Федра?», да Авян, баснописец IV в., перечисляя своих предшественников, упоминает: «Часть этих (т. е. Эзоповых) басен Федр растянул на пять книг». К этому можно добавить надгробную надпись неизвестного времени (CIL. VI, 20181), поставленную сыном и дочерью на могиле некоего Гая Юлия Федра; может быть, это был наш поэт или кто-нибудь из его потомков.

Поэтому сведения о Федре приходится извлекать главным образом из его собственных сочинений.

Пять книг басен Федра, о которых говорит Авриан, не дошли до нас полностью. Они известны лишь в двух сокращенных изводах. Первый извод представлен двумя рукописями IX—X вв.: «Пифеевской» (с которой французский гуманист П. Питу (Пифей) впервые издал басни Федра в 1596 г.) и «Реймесской» (сгоревшей в 1774 г., но известной по сводкам различителю); он насчитывает 102 стихотворения, озаглавленные «Басни Федра, вольноотпущенника Августа», они разделены на пять книг. На то, что этот извод неполон, указывает наличие лакуз, неравномерность объема отдельных книг (в книгах I, III и IV — от 19 до 31 басни, тогда как во II книге — только 8, а в V — только 10), некоторые неувязки в содержании (например, в прологе I книги Федр предупреждает, что в его баснях «не только звери, а и деревья речь ведут», но басни такого содержания в I книге нет). Второй извод представлен так называемой рукописью Перотти (итальянский гуманист XV в., первый комментатор Стация), известной в автографе и в списке начала XVI в.; здесь, вперемежку с баснями Авриана и стихами самого Перотти, выписано в беспорядке 64 басни Федра, в том числе 33 басни, известных по первому изводу, и 31 новая¹. Уцелел также отрывок третьего извода («Даниэлева» рукопись, XII в.), содержащий 8 басен, но среди них ни одной новой. Таким образом, нам известно всего 133 стихотворения Федра. Кроме того, сохранились прозаические парафразы басен Федра, выполненные на рубеже античности и средневековья; по ним можно составить представление о содержании не сохранившихся басен Федра. Делались попытки реконструировать по ним первоначальный стихотворный текст басен, но они не дали надежных результатов.

Каждая из пяти книг имеет пролог, а II, III и IV книги — и эпилог. Кроме того, местами Федр вставляет между баснями рассуждения от первого лица (например IV, 7; IV, 22). Эти части федровского сборника представляют наибольший биографический интерес. Особенно важен пролог к III книге в котором, посвящая книгу некоему Евтиху, Федр пишет:

А я, рожденный на холмах Пьерии,
Где Мнемозина родила Юпитеру
Хор единоутробных девяти искусств,
Хоть и увидел свет почти в училище,
Хоть и чуждался низкого стяжания
И жизнью моей всегда похвал заслуживал,—
Я лишь с трудом нахожу себе признание...

.....
Теперь, откуда род явился басенный,
Скажу я кратко. Угнетенность рабская,
Не смевшая сказать того, что хочется,
Все чувства изливала в этих басенках,
Где были ей защитой смех и выдумки.
Я дальше этой тропки протоптал свой путь,
И приумножил замыслы наследные,
Коснувшись кое в чем и бедствий собственных.
Вот если не Сеян бы обвинял меня,
И наказания давал, и суд творил,—
Быть может, я б и примирился с карою,
И не смягчал бы боль такими средствами².

(ст. 17—23, 34—44).

¹ Эти новые басни при ссылках обозначаются: А, 1; А, 2; А, 3 и т. д.

² Переводы басен Федра сделаны М. Л. Гаспаровым.

2 История римской литературы, т. II

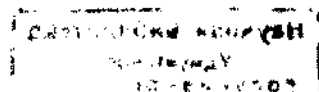
На основании этого пролога и некоторых других мест можно восстановить, хотя бы в самых общих чертах, биографию Федра.

Федр был уроженцем македонской области Пиерии (с некоторой натяжкой он считает своими земляками легендарных фракийских певцов Орфея и Лиана — III, пр. 56—57). Его имя — греческое; точная латинская транскрипция этого имени неясна (Авиан пишет *Phaedrus*, надписи — *Phaeder*). Так как в эпилоге III книги (которая, как видно из пролога, издана после падения Сеяна в 31 г.) Федр уже говорит о том, как он, дряхлея, будет доживать остаток жизни: по-видимому, в это время ему было лет 50; поэтому дату его рождения можно отнести приблизительно к 15 г. до н. э. Он принадлежал к числу императорских рабов и был отпущен на волю Августом; в одной из басен (III, 10) он упоминает, что был свидетелем громкого судебного процесса, решенного самим Августом. Греческое происхождение Федра почти не оставило следов в его поэзии — вероятно, он еще в детстве попал в Рим и получил латинское образование (в III, эп. 34 он цитирует стих Энния, «запомнившийся с детства»). К грекам Федр относится пренебрежительно (A, 28, 2—4) и пишет свои басни для того, чтобы Рим и в этой области поэзии мог соперничать с Грецией (II, эп. 8—9).

Вероятно, уже при Тиберии Федр начинает сочинять басни и издает две первые книги. Затем его постигает гнев всемогущего временщика Сеяна — причина «бедствий», о которых говорится в прологе к III книге, а может быть — уже и в эпилоге ко II книге (ст. 18—19: «...я с твердым сердцем вынесу гонение, пока судьба не устыдится дел своих...»). Какое преступление вменялось Федру в вину, и какому он подвергся наказанию, мы не знаем. Стих III, пр. 40: «*in calamitatem deligens quaedam meam*» — может быть понят двояко: «кое-что я выбрал применительно к своей беде». Если принять первое толкование, то слова Федра следует отнести к каким-то басням первых двух книг, не понравившимся Сеяну (такими могли быть I, 2; I, 7; I, 15 и другие басни с явными политическими намеками); они-то и могли быть причиной несчастий баснописца. Если же принять второе толкование, то слова Федра следует отнести к каким-то басням III книги, содержащим намеки на эти несчастия (может быть, III, 2; III, 7; III, 12); в таком случае, причина бедствий Федра остается неизвестной. Во всяком случае, падение Сеяна не сразу избавило Федра от наказания, и в эпилоге III книги он еще просит Евтиха о заступничестве (ст. 22—23): «Нередко извинялось покаяние — а ведь прощать невинность справедливее...»

Опыт встречи с Сеяновым судом не прошел для Федра даром. Не уверенный в своей безопасности, он обращается теперь к покровительству влиятельных лиц и посвящает III книгу — Евтиху, IV — Партикулому, V — Филету. Кто были эти люди (судя по именам — вольноотпущенники), мы не знаем; во всяком случае, Евтиха которого Федр изображает деловитым стяжателем (III, пр. 1—16), вряд ли можно отождествлять с известным возницей Каллигулы (скорее можно отождествить его с носившим то же имя чиновником а *commentis beneficiorum*, известным из надписи *CIL. VI, 32429*). В то же время в последних трех книгах басен исчезают сколько-нибудь явные политические намеки. Сам Федр сознавал, что его новые басни слабее прежних: на это указывают первая басня III книги и последняя — V книги. В басне III, 1 пьяница-старуха, принявшаяся к запаху винных опивков в амфоре, говорит:

О, сладкий дух! коль таковы остатки,
Каково же то, что здесь таилось некогда!



(«Кто знает меня, поймет, к чему веду я речь», — добавляет поэт) В басне V, 10 старый охотничий пес, не сумев справиться с кабаном, отвечает на попреки охотника:

Не дух тебя, а силы подвели мои:
Брава, чем стал, хвали, чем был я ранее.

(«Филет, ты знаешь, почему пишу я так», — заключает поэт).

Из последней басни видно, что Федр дожил до преклонных лет. Точное время его смерти неизвестно. Так как одна из басен V книги (V, 7 — «Флейтист Принцепс») в эпоху Нерона должна была казаться явной насмешкой над сценическими увлечениями этого императора, следует предположить, что эта книга была издана до 54 г. (самое большее — до 59) или, напротив, уже после падения Нерона в 68 г.

Основным источником и образцом для басен Федра были греческие басни, по традиции приписываемые легендарному мудрецу Эзопу, фригийскому рабу, жившему якобы в VI в. до н. э. Канонического текста басен Эзопа не существовало: ходившие под его именем сборники басен различались и составом, и трактовкой сюжетных деталей, и изложением. До нас дошло три основных извода эзоповых басен; но ни один из них не тождествен с тем, которым пользовался Федр. Это видно из того, что Федр прямо приписывает Эзопу свою басню «Волк и лиса перед судом обезьяны» (I, 10), а в нашем тексте Эзопа такой басни нет. Поэтому всякое сравнение басен Федра с известными нам баснями Эзопа может быть только условным, а выводы из него — только вероятными.

В I книге Федра из 31 басни к Эзопу восходят 17; во II книге из 8 басен — 2; в III книге из 19 басен — одна; в IV книге из 22 басен — 11; в V книге из 10 басен — ни одной. На эти соотношения нельзя слишком полагаться (быть может, эксцерпатор намеренно выбирал из книг Федра не эзоповские басни как менее известные), но все же из них видно, что чем дальше, тем меньше зависит Федр от своего образца, тем оригинальнее и свободнее становится его творчество. Задержку в этой эволюции представляет собой лишь IV книга; вероятно, это вынужденная уступка тем критикам и завистникам, с которыми Федр в это время ведет полемику, проявляющуюся в авторских отступлениях (IV, 7; V, 22).

Тот же процесс постепенного освобождения от эзоповской традиции виден из собственных высказываний Федра. В прологе к I книге он еще признает себя только переложителем Эзопа:

Эзоп для басен подобрал предмет, а я —
Отполировал стихами шестистопными...

(ст. 1—2)

В прологе ко II книге он уже заявляет о своих добавлениях к Эзопу:

Здесь важен смысл, а не имя сочинителя;
Но я и дух Эзопов сохранить хочу,
А если что и вставлю для того, чтоб слух
Порадовать речей разнообразием, —
Прими, читатель, это благожелательно...

(ст. 7—11)

А в эпилоге к той же книге он открыто выступает соперником Эзопа:

... Ему по праву уступая первенство,
Старался я, чтоб не был он единственным;
Не зависть это, а соревнование —
Ведь если труд мой Лацию понравится,
Он в большем сможет с Грецией соперничать.

(см. 5—9)

Пролог к III книге, где Фэдр говорит о традиции Эзопа: «Я дальше этой тропки протоптал свой путь», уже приводился выше. В прологе к IV книге он повторяет то же:

Партикулон, ты знаешь эти басенки —
Скорей эзоповские, чем Эзоповы:
По немногим образцам я сделал многое,
Взяв старый склад, а содержание новое...

(см. 10—13)

Но связи с Эзопом он не порывает:

Дурны ли эти басни, хороши ль они —
Он изобрел, моя рука их выполняла.

(IV, 7, 7—8)

Наконец, в прологе к V книге он окончательно утверждает свою самостоятельность:

Эзопа имя если где и вставлю я,
Хотя ему давно отдал я должное,—
То это будет только ради важности,
Как вывешные делают художники,
Когда, чтобы дороже сбыть изделия,
Подписывают мраморы Праксителем,
Литье — Мироном, а картину — Зевксидом...

(см. 1—7)

Таким образом, к Эзопу восходит лишь немногим больше четверти всех басен Фэдра. Но и эти заимствованные басни в переложении Фэдра оканчиваются сильно видоизмененными. Вносимые Фэдром изменения сводятся в основном к сокращению образцов и к их переосмыслению.

Сокращению Фэдр подвергает главным образом начала и концовки басен. Так, в басне Эзопа о лисе и маске (27/47)³ он отбрасывает начальное указание на место действия — дом актера или мастерскую лепщика (I, 7); в басне о битве мышей с ласками (174/291) — завязку, где рассказывается о том, как мыши, разбитые ласками в битве, выбрали себе полководцев и с ними пошли на новую битву, сохраняя только развязку — рассказ о том, что после нового поражения мышей их полководцы в своих рогатых шлемах не могли спрятаться и погибли первыми (IV, 6). Басня о вороне и лисице у Эзопа (126/204) кончалась насмешливыми словами лисы: «все у тебя есть, ворона, ума только нету»; Фэдр снимает эту концовку (I, 13). Басня Эзопа о лисице, которая, чтобы выбраться из колодца, заманила туда козла, также кончалась насмешкой лисицы: «кабы у

³ В ссылках на басни Эзопа первый номер дается по изданию Хаусрата, второй — по старому изданию Хальма.

тебя было столько ума, сколько волос в бороде, не полез бы ты в колодец, не подумав, как вылезти» (9/45); Федр отказывается от этой концовки (IV, 9). Таким образом, содержание басни сводится к главному, а все детали фона и подробности действия устраниваются: остается сухое сообщение о событии.

Переосмысление басен выражается главным образом в изменении морали. Обычно Федр вместо безличной констатации какого-нибудь зла вводит прямой выпад против его виновников. Так, басня о том, как человек облысел оттого, что старая любовница выщипывала ему черные волосы, а молодая — седые, имеет у Эзопа (31/56) мораль: «всякая крайность вредна», а у Федра (II, 2) — «женщины всегда обижают мужчин»; басня о львиной доле у Эзопа (154/260) имеет мораль: «надо учиться на несчастье ближнего», а у Федра (I, 5) — «сообщество с сильными ненадежно». Уже упоминавшаяся басня о лисе и козле у Эзопа имеет мораль: «прежде чем браться за дело, надо подумать, что из него выйдет», а у Федра — «хитрый человек, чтобы спасти себя, губит других». При этом часто мораль перемещается из этического плана в социальный. Например, «Змея в кузнице» у Эзопа (95/146) имеет мораль: «у жадного не поживишься», у Федра (IV, 8) — «с сильнейшим не поборешься»; упоминавшаяся басня «Лиса и маска» у Эзопа направлена против тех, кто красив, да глуп, а у Федра — против тех, кто саповит, да глуп. Впрочем, есть и случаи смягчения социальной направленности: так, басня об осле и жрецах Кибелы у Эзопа (173/290) имеет мораль: «иной раб даже выйдя из рабства, не может порвать с рабским прошлым», а у Федра (IV, 1) — «от злой судьбы не уйдешь».

Иногда сокращение и переосмысление басни совмещаются, и тогда сходство между Федром и его образцом становится особенно отдаленным. Например, басня о лисе и орле у Эзопа (1/5) звучала так. Орел и лиса поклялись жить в дружбе, но орел нарушил клятву и сожрал лисих детенышей. Лиса воззвала к богам, и орел был наказан: похитив обугленную жертву с алтаря, он заронил огонь к себе в гнездо, орлята выпали из вспыхнувшего гнезда, и лиса съела их на глазах у орла. Мораль: преступления против дружбы наказываются. Вот во что у Федра (I, 28) это превращается: орел похитил лисих детенышей; но лиса зажгла от алтаря факел, обложила огнем дерево с орлиным гнездом, и орел был принужден вернуть ей лисят. Мораль: «пусть и высокий бережется низкого: ум отомстить сумеет изворотливый». Другой пример — басня об орле и черепахе. У Эзопа (259/419) черепаха сама просит орла научить ее летать и, упав из орлиных когтей на скалы, только платится за свое противное природе желание. У Федра (II, 6) орел хватается черепаху и швыряет ее на скалы нарочно, по коварному наущению вороны; мораль: «никто не безопасен против сильного — и если злые есть при нем советники — все сокрушат насилье и злонаравие». В обоих случаях у Федра сюжет упрощается до грубой элементарности, а мораль приобретает отчетливую социальную остроту.

К эзоповским басням, в различной степени переработанным, Федр, как было сказано, добавляет много других, отчасти заимствованных из иных источников, отчасти сочиненных самостоятельно. Многие из них по строению довольно близко подходят к типу эзоповской басни: таковы «Коршун и голубки» (I, 34), «Два мула и грабители» (II, 7), «Пчелы и трутни перед судом осу» (III, 13), «Цикада и сова» (III, 16) и другие. Нередко эти басни представляют собой иллюстрацию какой-нибудь народной поговорки или литературной сентенции: так, басня V, 6 построена на поговорке «уголья вместо клада», басня A, 12 — на поговорке «как осел лиру слушает», а басня «Лягушки и драка быков» (I, 30) — на сентенции Горация «Как ни повздорят цари, а спины трещат у ахейцев» (Послания, I, 2,

14). Некоторые басни, сочиненные Федром, например «Лев состарившийся» (I, 21) имели блестящую судьбу и стали предметом многих подражаний.

Однако Федр не ограничивается точным воспроизведением типа эзоповской басни, а пытается экспериментировать, видоизменяя его. Он нарушает обычное равновесие между повествовательной частью басни и моралью; в результате получаются, с одной стороны, басни, где морализующая часть сильно разбухает, оттесняя повествование на второй план, и, с другой стороны, басни, где повествование разрастается и приобретает самостоятельную художественную ценность, а мораль остается лишь как традиционный привесок. Эти два типа басен отвечают двум типам источников, использованных Федром: с одной стороны, это моралистическая литература типа диатрибы, с другой стороны — новеллистические сборники типа «Милетских рассказов» Аристида и Сизенны. Как те, так и другие источники Федре не дошли до нас; поэтому различить в баснях элементы заимствованные и элементы, внесенные Федром, едва ли возможно.

Первичной формой тех басен, в которых мораль вытесняет повествование, являются такие произведения, как «Собака, сокровище и коршун» (I, 27), «Лиса и дракон» (IV, 21), «Осел и боров» (V, 4). Следуя своей тенденции к сокращению и упрощению сюжета, Федр сводит действие басни до минимума; зато мораль расширяется и приобретает необычную страстность, напоминающую о диатрибах уличных философов — стоиков и киников. Так, басня IV, 21, где лиса спрашивает дракона, сторожащего клад, пользуется ли он сам этим золотом, и получает отрицательный ответ, могла бы закончиться заключительной сентенцией лисы: «Кто так живет, тот, верно, прогневил богов» (ст. 15). Однако Федр продолжает уже от своего лица:

Готовясь отойти вослед за предками,
Зачем, слепец, терзаешь ты свой жалкий дух?
Наследника восторг тебе судю, скупой,
Себе жалеющий хлеба, богу — ладана,
Тебе, кого и лирный звук на радует,
Кому и благозвучье флейты режет слух,
Кто стоном стонет над своей же трапезой,
Кто, по квадранту умножая имущество,
Томит богов своими грязными клятвами,
Кто на свое же скупились погребение,
Делиться не желая с Либитиною!

Точно так же басня V, 4, где хозяин, зарезав борова, отдал остатки его корма ослу, но осел сказал: «Охотно бы я за них принялся, кабы того, кто этим отъелся, не прирезали» — получает неожиданное продолжение:

Уроком этой басенки напуганный,
Опасностей богатств я избегал всегда.
Ты возразишь: «А воры благоденствуют».
Но сколько их попало и на казнь пошло?
Счисти и найдешь: таких гораздо более.
Немогим дерзость в пользу, большинству — во вред.

Резкое выделение морали позволяет Федру создать особый тон басни, в которой центром тяжести является моралистический афоризм, вложенный в уста одного из действующих лиц, а предшествующие стихи кратко излагают повод к его произнесению. Такая форма называется хрией. Прозаические хрии широко использовались в моралистической литературе

древности. Образцы их сохранились в гномологиях; некоторые из них близки моралям Федра. Иногда Федр вкладывает свои сентенции в уста условных басенных животных и людей. Так, в басне III, 8 «Сестра и брат» мораль произносит отец («Каждый день смотрите в зеркало: ты — чтоб не портить красоты злонравием, ты — чтоб лицо украсить добродетелью»), в басне III, 11 — евнух («Позорно только то, что нами заслужено»), в басне III, 15 — ягненок («Добро, а не родство творит родителей»), в басне A, 29 — оса («Смотри не на то, что было, а на то, что есть»). Но нередко Федр следуя народной философии, приписывает эти изречения историческим (или мнимо историческим) лицам. Так у него выступают Сократ (III, 9; A, 25) и сам Эзоп (III, 14; III, 19; A, 7, A, 10, A, 11, A, 18); интересно, что здесь постепенно внимание переключается с произносимой сентенции на личность произносящего, и нравственное содержание подчас уступает место простому остроумию (III, 3; III, 5; A, 15). Обилие сценок с участием Эзопа показывает, что Федр пользовался так называемой «народной книгой о мудром Эзопе» — беллетризованным жизнеописанием Эзопа, — поздние сокращения которой дошли до нас.

Мораль играет настолько важную роль в баснях этого типа, что повествовательная часть порой становится вовсе необязательной. В трех баснях (I, 25 «Собаки и крокодилы», A, 20 «Голодающий медведь», A, 28 «Бобр») Федр заменяет повествование естественноисторическим «этнодом», иллюстрирующим основной моральный тезис; последняя из этих басен была уже в сборнике Эзопа. В басне V, 8 повествование заменяется описанием статуи, аллегорически изображающей Время (точнее, Случай). Басня A, 5 содержит аллегорическое толкование мифов о загробных наказаниях, басня A, 3 — рассуждение о дарах природы человеку и животным, басня A, 6 — перечисление божеских заветов, нарушаемых людьми. Во всех этих произведениях повествовательный элемент почти исчезает: басня перестает быть басней, превращаясь в монолог на моральные темы, вроде диатрибы.

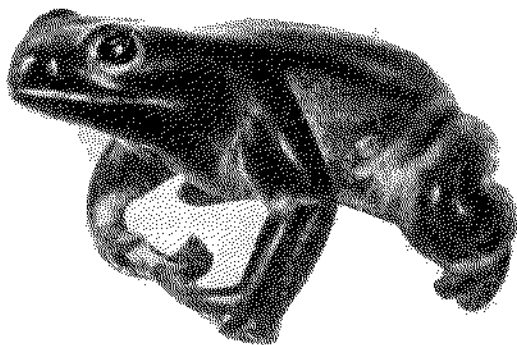
Противоположное направление в творчестве Федра представляют те басни, в которых повествование постепенно вытесняет мораль. В простейшей форме таких басен главным является чье-нибудь остроумное слово или поступок. Таковы «Осел, насмехающийся над вепрем» (I, 29), «Рожающая свинья и волк» (A, 17), а также уже упоминавшиеся «Эзоп и задир» (III, 5) и «Эзоп и хозяйка» (A, 15). Так, в последней из этих басен Эзоп правдиво высказывает хозяйке свое нелестное мнение о ее красоте, и за это его секут; немного спустя, когда у хозяйки пропало запястье, и она грозит рабам поркой, если они не скажут, кто украл, Эзоп говорит: «Ну, нет, грозь другим, не проведешь меня: за правду-то как раз меня и высекли» (ст. 15—16). В этих баснях еще сохраняется обычная мораль. В следующем типе чисто повествовательных басен мораль исчезает, заменяясь этнологической концовкой; таковы три басни о Прометее, создателе людей (IV, 15; IV, 16 и A, 4) и басня о посольстве собак к Юпитеру (IV, 19). Все они (кроме A, 4) отличаются непрстойкостью содержания.

Наконец более десятка басен представляют собой более или менее пространные рассказы, представляющие самостоятельный художественный интерес и лишь по традиции снабженные маловыразительной моралью. Их источники разнообразны. Басня «Меркурий и две женщины» (A, 3) развивает распространенный сказочный сюжет о тотчас исполняемых нелепых людских желаниях. Басни «Эзоп — толкователь завещания» (IV, 5) и «Симонид, потерпевший кораблекрушение» (IV, 23), приближаются по типу к хри. Другой рассказ о поэте Симониде (IV, 26), а также чувствительная повесть «Два жениха — богатый и бедный» (A, 14) восходят к ареталогиям — религиозным легендам о чудесах, творимых тем или иным

богом (Диоскурами в IV, 26, Венерой в A, 14). Из каких-то греческих сборников заимствованы анекдоты о враче-шарлатане (I, 14 — «Сапожник-врач») и о том, как театральная публика не сумела отличить настоящего пороссячьего визга от подделки под него (V, 5 — «Шут и мужик»). Таково же происхождение исторического анекдота о Деметрии Фалерском и Мевандре (V, 1). Напротив, басни II, 5; III, 10; V, 7; A, 8 не имеют греческих образцов и почерпнуты из римской жизни. Басня «Цезарь и служитель» (II, 5), где действует император Тиберий, и «Флейтист Принцесс» (V, 7) — о музыканте, который принял на свой счет хвалы, возносимые принцепсу-императору, — излагают случаи, которые Федр мог видеть своими глазами; сложный судебный казус, описанный в III, 10, по словам Федра, случился на его памяти (но тут несомненно и влияние школьных тем контроверсий); рассказ A, 8 о Помпее и его воине обрабатывает тему солдатского анекдота. Вот для образца басня V, 7, принадлежащая к числу лучших произведений Федра.

Когда душа, пленясь случайной милостью,
В падменное впадает самомнение,
То все смеются легковерью глупому.
Один флейтист, носивший имя Принцесса
И в флейтной пляске вторивший Бафилловой,
Однажды на играх (на каких — не помню уж)
Свалился неожиданно с подъемника
И ногу сломал, хотя куда охотнее
Обеими бы флейтами пожертвовал.
Его на руках, стелющего жалобно,
Несут домой. Проходит много месяцев,
Пока лечение избавило от немощи.
Тем временем разборчивые зрители
Соскучились о том, кто звучной флейтою
Умел прибавить бодрости танцовщику.
Один из знати как раз готовил зрелища:
Узнав, что Принцесс вновь способен выступить,
Добился он деньгами и уговорами,
Чтоб тот на этих играх вышел к публике.
День наступил, разнесся по театру слух
О Принцессе. Одни твердят, что умер он,
Другие — что вот-вот на сцену выступит.
Дан занавес. Под грохоты громовые
Заводят боги речь свою обычную,
А следом хор выходит с песней новою,
И вот слова, которые в ней пелися;
«Рим, возликуй о здравствующем принцессе!»
Все рукоплещут, встав. А Принцесс, думая,
Что речь о нем, шлет поцелуй в публику.
Поняв дурацкую ошибку, всадники
Со смехом повторенья песни требуют.
Песнь повторяют. Принцесс так и стелется
По сцене. Всадники, издеваясь, хлопают.
Народ сначала думал, что старается
Он получить венок; узнав же истину,
Его, одетого в тунику белую,
И даже в белые башмаки с обмотками,
Гордящегося божескими почестями,
Со сцены в шею прогоняют тотчас же.

Любопытно, что в анекдотах такого рода Федр мало считается с исторической точностью (или хотя бы с традицией), так же как в баснях о животных он мало считается с натуралистической точностью. Эзопу он приписывает диогеново «Ищу человека» (III, 19), Симониду — изречение Бианта «Все мое пошу с собой» (IV, 23), Сократу — мысль Фемистокла о редкости дружбы (III, 9). Барс у него наедается хлебом (III, 2), собака видит свое отражение в воде, по которой она плавает (I, 4), а травоядные корова, коза и овца охотятся вместе со львом на оленя (I, 5).



Лягушка

Таким образом, басни Федра представляют собой пеструю смесь разнородных элементов: к басням в собственном смысле слова присоединяются хриия, этиология, пародия, диатриба, ареталогия, заметки о нравах животных, исторические анекдоты. Чем позднее книга басен, тем богаче ее материал. В III книге преобладают притчи об Эзопе, в IV — этиологии, в V — анекдот и диатриба. К этому разнообразию Федр стремился сознательно (вспомним II, пр. 9—10: «а если что и вставлю для того, чтоб слух порадовать речей разнообразием...»); и можно даже предположить, что он имел прямое намерение возродить древний жанр «смесь», образцами которого были греческие диатрибы Мениппа и римские сатуры Энипия.

Вся эта пестрота содержания объединяется общностью двойной установки, сформулированной поэтом в прологе к I книге:

Двойная польза от книжки: возбуждает смех
И учит жить разумными советами.

(см. 3—4)

В этих двух стихах намечена и эмоциональная, и идейная установка произведений Федра.

В основе эмоциональной концепции Федра лежит комизм. Материал Федра — эзопова басня и народно-философская диатриба — далеко не всегда имел комический характер. Федр должен был сам подчеркивать в нем комические черты. В поздних баснях повествовательного типа он это делает удачно: когда он описывает, как Принцесса рассыпается в благодарности публике, или как воин Помпей разговаривает с полководцем, в этом есть подлинный комизм. Но там, где сознательная краткость исключает комизм слова, а характер материала исключает комизм действия, Федру плохо удается «возбуждать смех» читателя. Вероятно, в баснях I, 29; III, 3; IV, 16; IV, 19 публике могли смешить непристойности, III, 6; 11; V, 7; A, 6 — каламбуры, в I, 10; I, 18; A, 15 — логические парадоксы, в II, 2; V, 5; A, 2 — комизм ситуаций. Но в большинстве случаев комизм Федра не выходит за пределы обычного в баснях несоответствия между замыслом действия и результатом (например, неудачная хитрость) или между видимостью и действительностью (например, разоблачение тще-славия).

В основе идейной концепции Федра лежит «народная философия» — вульгаризированные уличными проповедниками простейшие догмы стоицизма и кицизма. В критической части Федр полностью примыкает к диатрибе стойков и кициков. Он рисует мрачную картину мира, где сильные гнетут слабых (I, 1; I, 5; I, 30; I, 31; II, 6; A,24), коварство торжествует над простотой (I, 13; I, 19; II, 4; IV, 2; IV, 4), добродетель и талант пребывают в нищете (II, 1; II, 12; A,12, A,19), а ничтожество — в блеске и силе (I, 7; I, 24; II, 3; III, 5; III, 13; IV, 12), где не блюдутся заветы богов (A,6), где женщины жадны и похотливы (II, 2; A,9, A,13, A,27), рабы наглы и назойливы (III, 10; A,25, II, 5), а хозяева жестоки (A,15, A,18), где нет ни благодарности (I, 8; IV, 20), ни дружбы (II, 9; V, 2), ни родительской любви (III, 15), и где злой рок сулит перемены только к худшему (I, 2; I, 15; IV, 1). Осуждая этот мир, Федр призывает людей не обманываться видимостью, а вникать в сущность (I, 12; I, 23; III, 4; III, 11; IV, 24; IV, 17; V, 1; V, 5; A,8), для чего не ослеплять себя страстями (IV, 4), прежде всего алчностью (I, 4; I, 27; IV, 21; A,1, A,5) и тщеславием (I, 3; I,11; III, 6; IV, 6; IV, 25; V, 7). Но там, где Федр переходит от критической части к положительной программе, его расхождение со стоико-кицической философией становится явным. Идеалом этой философии была самодовлеющая добродетель, перед которой ничтожно всякое благо и бессильно всякое зло. У Федра нет ни малейших следов такой концепции: слово *virtus* у него никак не возвышается над бытовым его значением. А в одной из моралистических концовок (ошибкой переписчика она соединена с басней I, 13) Федр высказывает мысль, невозможную в устах философа-моралиста:

Отсюда видно, что всего важнее ум:
Сама добродетель уступает разуму.

Не добродетель, а ум — и при этом не высший разум стойков, а простая житейская сноровка (не только *sapientia*, а и *sollertia*) является для Федра залогом счастья. Поэтому Федр вовсе не считает нужным отвергать все те жизненные блага, на которые обрушивались уличные философы. Он ценит свободу (III, 7), почитает ученость (IV, 23; IV, 26), признается в своей любви к славе (III, пр. 60—61; III, 9, 3—4, IV, пр. 17—20, IV, эп. 5—6). Он живет скромно, не желая наживать врагов (II, 7; V, 4; A,28), но обидчикам грозит мстью (I, 26; I, 28; III, 2; V, 3). Он нападает на выскочек, которые окружают себя чужим блеском (I, 3; I, 27; III, 18), но тем не менее, в принципе считает, что людей надо судить не по тому, чем они были, а по тому, чем стали (A,29). Он уважает полезный труд (III, 17; IV, 25) и даже — едва ли не впервые в античной литературе — высказывает мысль о том, что плоды трудов должны принадлежать тем, кто трудится (III, 13 «Пчелы и трутни перед судом ось»). Конечно, при этом Федр имеет в виду не рабов, а мелких хозяев («хозяйский глаз в делах всего надежнее» — мораль басни II, 8): к рабам он относится с опаской (A,16, басня о котках-носильщиках, растерзавших зазевавшегося хозяина-петуха); Эзоп у него убеждает измученного раба, что лучше терпеть хозяйские жестокости, чем бежать от них (A,18). Однако несомненным является общий оттенок трудового плебейского практицизма, который приобретает у Федра моралистические спекуляции стойков и кициков.

Исчерпывается ли содержание басен Федра этими двумя элементами — грубоватым комизмом и нехитрой моралью? Не следует ли искать за ними иного, скрытого смысла, раскрывающегося в намеках и уподоблениях? Такой вопрос правомерен, но вряд ли разрешим. Высказывания самого

Федра противоречивы: с одной стороны, он говорит о своих баснях: «не всяк доищется, что в дальнем уголке я скрыл заботливо» (IV, 2, 6—7; но это может просто означать, что глупого в баснях привлекает сюжет, а умного — мораль), с другой стороны, он заявляет: «хочу я не клеймить того иль этого, а самую жизнь и нрав людей показывать» (III, пр. 49—50; но это может просто быть условной отговоркой для отвода глаз). Попытки вскрыть «потаянный смысл» отдельных басен Федра делались не раз; толкования такого рода можно разделить на «политические» и «автобиографические». При политическом толковании, например в I, 2 («Лягушки, просящие царя»), царь-чурбан уподобляется Тиберию, а царь-дракон Сеяну; в I, 6 свадьба Солнца представляется намеком на предполагавшийся брак Сеяна и Ливии (Тацит, «Анналы», IV, 39, 41); в IV, 17 («Козьи бороды») предполагается отклик на возвышение императорских вольноотпущенников при Клавдии и т. п. При автобиографическом толковании, например, из III, 15 («Собака и ягненок»), делается вывод, что Федр был подкинутым сыном гетеры, из A, 19 («Скакун, проданный на мельницу»), — что Сеян наказал его ссылкой и т. д. Даже из этих, наименее натянутых толкований, видно, что осмысления такого рода могут быть в лучшем случае правдоподобны, но никак не достоверны. Это объясняется тем, что мы не обладаем вторым членом сравнения: хроника римской жизни времен Федра нам известна недостаточно, а биография самого Федра неизвестна вовсе. Это не значит, что басни Федра были свободны от всякого злободневного значения — напротив, можно с уверенностью сказать, что такие басни, как I, 2 и I, 15 не могли не восприниматься как намеки на современность, — но это означает, что такое значение не поддается установлению, и какие бы то ни было широкие выводы на основе гипотетических сближений недопустимы.

В целом в баснях Федра идейная установка важнее, чем эмоциональная, поучительность преобладает над развлекательностью. Именно поучительная функция басни Федра определяет ее художественные принципы. Эти принципы — краткость и простота. Как эти принципы реализуются в композиции басен, видно из того, что было сказано о сокращении и упрощении басенных сюжетов у Федра. Теперь следует сказать, как эти принципы реализуются в стилистике басен.

Забываясь о простоте речи, Федр в основном следует греческому прозаическому образцу. Поэтому его поэтическая речь приобретает многие черты прозы. Его фразы длинные и обстоятельны, его лексика изобилует проанаммами, нередко почерпнутыми из крестьянского, охотничьего, судебного, политического обихода, смотря по содержанию басни (*bubulcus*, *sterquilinum*, *excitare*, *advocare sponsum*, *regem creare icto foedere* и т. п.). Забываясь о краткости, Федр обращается к эллиптическим конструкциям (*At ille lentus [inquit]: «Quaeso...»* I, 15, 7; *Equidem me contemptum [esse] gaudeo*—II, пр. 11; *improbam [mustelam] leto dedit*—I, 22, 9; *Bonas in partes, lector [illud] accipias velim*—II, пр. 11), вводит метонимические стяжения (*caecus timor*, *dens improbus*, *cornua infesta*) и т. п. Чтобы не впасть в однообразие, Федр избегает повторения одинаковых слов, широко пользуясь синонимами (так, в II, 4 он обозначает звериных детенышей словами *fetus*, *progenies*, *nati*, *tenerus grex*, *porcelli*, *proles*, *catuli*). Чтобы не утратить всякой поэтичности, Федр вставляет в свою речь сравнительно многочисленные традиционно-поэтические слова и выражения (*liquor*, *basium*, *praedator*, *decurrere vitam*, *medio sole* и т. п.), прибегает к эпитетам, метафорам и перифразам; иногда они изящны (*fulminei* — о кабаньих клыках, *insitivum* — о внебрачных детях, *qui centum oculos habet* — о хозяине усадьбы), но в большинстве случаев не ярки и не оригинальны.

В целом басни Федра представляют собой, по античной терминологии, хороший образец «простого», или «скромного», стиля. Местами его краткость переходит в неясность, а простота в сухость; но лучшие страницы Федра обладают естественностью и изяществом, напоминающим Теренция.

На этом общем фоне бросаются в глаза две индивидуальные особенности Федрова слога. Во-первых, это пристрастие баснописца к употреблению абстрактных слов вместо конкретных (особенно в моралях). Он пишет: «журавль доверил волчьей глотке длину своей шеи» (I, 8, 8), «обманутая воронья дурь восстала» (I, 13, 12), «глухая доверчивость может убедиться, как часто двуязычье звучит в лад со злом» (II, 4, 25—26) и т. п. Во-вторых, склонность к замене существительных прилагательными: Федр не только широко употребляет субстантивированные прилагательные («бедные, богатые, знатные, глупые» и т. п.), но и снабжает их определениями («неожиданно щедрый», «на опыте испытанный»), а также сам сочиняет новые прилагательные (*laniger* — «кудрошерстый» — вместо «ягненок», *auritulus* — «длинноухий» — вместо «косел» и т. п.). Обе эти особенности придают речи Федра оттенок несколько отвлеченной учености.

Язык Федра почти целиком принадлежит классической эпохе. С недантической тщательностью он избегает даже узаконенных обычаев поэтических вольностей. Отступления Федра от классических норм немногочисленны, и среди них нет ни одного, которое не встречалось бы еще у предшественников Федра (Овидий, Ливий), не говоря уже о его современниках (Веллей Патеркул, Валерий Максим). Среди этих отступлений следует отметить ряд особенностей народной речи: обилие уменьшительных (*fabella, asellus, ancillula, meliuscula, parvulus*), гречизмы (*moescha, petra*), употребление *соері* с инфинитивом, употребление *pulchre* вместо *bene, propter* вместо *ob* и т. п.

Стих Федра — ямбический сепарий, справедливо считавшийся наиболее близким к живой речи стихотворным размером. Латинский сепарий имел две формы — более вольную у древних комиков, допускавших спондические замены на любой стопе, кроме последней, и более строгую, введенную Катуллом и Горацием, допускавшими спондеи только на нечетных стопах. Федр пользуется первой, вольной формой, продолжая традицию Плавта, Теренция и Публилия Сира. Однако самая вольность его стиха подчиняется некоторым правилам, которых Федр строго придерживается: так, он не допускает словораздела после ямба на 5-й стопе или после распущенного арсиса на 2, 3, 4-й стопе, не допускает элизии в арсисе перед кратким слогом, не пользуется зиянием и протяжением кратких слогов и т. п.

В римской поэзии Федр занимает особое место. Это один из очень немногих дошедших до нас представителей массовой, «народной» латинской литературы. Почти все знакомые нам римские авторы — от Лукреция до Петрония — писали для образованной верхушки римского общества. Между тем, круг читателей в Риме был гораздо шире. Организация начального образования ко времени империи была поставлена неплохо, грамотность среди свободного населения была распространена широко. В Риме, в Италии и в провинциях небогатые землевладельцы, ремесленники, торговцы, мелкие канцелярские чиновники, низшие офицеры в легионах составляли совершенно особую читающую публику со своими вкусами и запросами. Читателей этого круга можно сравнить с массовым потребителем лубочных «Бовы королевича» и «Английского милорда» в России XVIII в. Их искусством были картинки на стенах харчевен (Федр IV, 6, 2), их зрелищем — мим, их наукой — краткие компендиумы «до-



Ягненок на жертвеннике
(римская работа I в. н. э.)

стонамятных дел», их философией — уличные проповеди. Низкое положение в общественной системе делало этих читателей чуткими ко всем социальным мотивам; но будучи чуждыми основному классу производителей — классу рабов, они не имели сил занять сколько-нибудь активную позицию в общественной борьбе. До нас сохранилось ничтожно мало данных о духовной жизни этого мира: образованная публика не интересовалась культурой низов и не заботилась о ней. Но именно этому массовому читателю больше всего были по плечу басни Федра с их простотой, занимательностью, практическим морализмом и отчетливыми социальными мотивами.

Принадлежал ли Федр к этому кругу своих читателей, мы не знаем из-за скудности биографических данных. Однако весьма правдоподобно предположение, что он был школьным учителем-грамматиком. Многие из грамматиков были греки и вольноотпущенники, некоторые из них сочиняли стихи и прозу. Именно в грамматических школах обучение начиналось с чтения эзоповых басен: это и могло натолкнуть Федра на мысль о латинской стихотворной обработке такого материала. Основным упражнением при чтении басен было сокращение и пересказ простым слогом (Квинтилиан, I, 9,2): это, по-видимому, определило основные художественные принципы Федра — краткость и простоту. В языковом пуризме и метрической тщательности чувствуется привкус учительского педантизма. Обдуманная элементарность аллегорических толкований IV,11 и A,5 напоминает школьное объяснение текстов. Грамматики в массе принадлежали к низшему слою римской интеллигенции, ближе всего соприкасавшемуся с народной жизнью. Интересы и вкусы их окружения не могли не сказываться на их литературных опытах.

Федр, однако, не удовлетворялся положением лубочного писателя. Он полагал, что имеет право войти в «настоящую», признанную, высокую

литературу. Свою заслугу перед нею он видел в том, что он впервые воспроизвел в римской поэзии еще не испробованный в ней греческий жанр. В этом стремлении «соперничать с Грецией» (см. цитированный отрывок II, эп. 5—9) можно видеть последнее веяние духа эпохи Августа, когда лучшие поэты стремились создать во всех высоких жанрах римские эквиваленты греческой классики. С тех пор время изменилось: римская классика была создана, новые поэты подражали уже не Гомеру и Каллимаху, а Вергилию и Овидию, и принцип «соперничества с Грецией» из «высокой» литературы опустился в литературу массовую (обычное явление в истории литературы), где его и подхватил Федр. Но литераторы высоких жанров отказывались признать своим этого вольноотпущенника и лубочного писателя. «С трудом я нахожу себе признание», — жалуется Федр Евтиху. Отсюда — долгая борьба за место в «большой литературе», полемика с «завистниками», утверждение своей оригинальности, расширение границ жанра и т. д.

Борьба велась с переменным успехом, но закончилась она поражением. Федр не стал признанным поэтом. Образованная публика его не читала, рукописей его басен сохранилось мало. Сенека в 43 г. не знает или не желает знать о Федре, когда советует Полибию заняться сочинением басен, так как этот жанр «еще не тронут римским гением» («Утешение к Полибию», 8,3). Квинтилиан о нем молчит. Авриан с ним знаком, но предпочитает подражать Бабрику. В средние века Федр используется только в прозаических переделках. И лишь в новое время, когда социальная направленность античной басни перестала ощущаться, и основным критерием оценки древних писателей стала правильность их языка, Федр получил признание и занял прочное место среди «гимназических» латинских авторов.

3. КАЛЬПУРНИЙ И АНОНИМНЫЕ ПОЭТЫ

О биографии поэта-буколика Кальпурния (Titus Calpurnius), носящего в рукописях прозвище «Сицилийский» (Siculus), нам неизвестно ничего. Из ряда намеков и указаний, рассыпанных в дошедших от него семи эклогах, можно с достоверностью заключить, что он жил при Нероне: он упоминает о комете, предвещающей мирное счастливое правление молодого императора (I, 77—79), красивого, красноречивого и обладающего поэтическим талантом (I, IV, VII *passim*); эта характеристика, даже если учесть значительную долю лести, заключенной в ней, все же подходит к молодому Нерону; комета действительно была видна в 54 г., в последний год правления Клавдия и в начале правления Нерона, когда всеми слоями населения возлагались на него огромные надежды. Упоминаются в эклогах Кальпурния и игры в новом большом деревянном амфитеатре (VII экл.); из «Анналов» Тацита известно, что Нерон в 57 г. начал постройку такого амфитеатра.

Судя по невероятному количеству совершенно неумеренной лести по адресу «юного бога», рассыпанной по эклогам Кальпурния (особенно в I и IV экл.), он либо был придворным поэтом при Нероне, либо надеялся стать им.

«Эклоги» Кальпурния — произведение насквозь подражательное. «Идиллии» Феокрита и «Эклоги» Вергилия использованы чрезвычайно широко. III эклога, в которой бедный покинутый влюбленный жалуется другу на сбежавшую от него неверную красавицу и грозит ей самоубийством, несомненно, примыкает к XIV и III идиллиям Феокрита («Любовь Квниски» и «Пастух»). Однако упорное внесение политических мотивов

сближает «Эклоги» Кальпурния скорее с Вергилием, чем с их легкомысленным, но более талантливым греческим прототипом. В эпоху эллинизма можно было уплатить дань политическому низкопоклонству в нескольких словах, что и сделал Феокрит в «Любви Киписки»; в императорском Риме, особенно при преемниках Августа, требовались значительно более многословные панегирики. Мотивы Вергилия используются Кальпурнием именно в этих целях: в I эклоге два пастуха находят врезанное в кору дуба предсказание Фавна о грядущем золотом веке, под которым подразумевается правление Нерона. В этой эклоге поэт вовсе не считается с реальностью, так как представить себе дерево, на котором могут уместиться пятьдесят стихов гекзаметра, невозможно. В VII эклоге Кальпурний опять использует тему I эклоги Вергилия о посещении крестьянином Рима и дает удачное реалистическое описание римского театра; но, конечно, в заключение оказывается, что лучшим из всего, что он видел в театре, был «лик, подобный одновременно и Марсу и Аполлону».

Такой же неумеренной лестью переполнена и IV эклога, в которой два пастуха состязаются в восхвалении «юного бога», а под конец просят судью довести до сведения бога и их песни.

Чисто пастушеские эклоги тоже не отличаются особой оригинальностью, но производят все же более отрадное впечатление; некоторые шуточные мотивы (например, рассказ о мальчике, которого бил отец за то, что он сочинял стихи, — реминисценция из Овидия, или сценка драки, которой заканчивается VI эклога) введены Кальпурнием самостоятельно. С художественной точки зрения наиболее удачна II эклога, в которой состязаются пастух и садовод; симпатии Кальпурния склоняются к занятию садоводством, в описании которого даны некоторые реальные черты.

Наконец, Кальпурний является, по-видимому, первым, кто попытался внести в буколику элемент дидактический. V эклога, в которой стапик-овцевод Микон, уходя на покой, поручает заботу о стаде своему сыну, представляет собой чрезвычайно скучный трактат о пастьбе и стрижке овец.

Стихом Кальпурний владеет с достаточной ловкостью; гладко и плавно текут его бессодержательные гекзаметры, а там, где поэт прибегает к строфической композиции (во II эклоге — к четверостишиям, в IV — к пятистишиям), он тщательно соблюдает параллелизм стихов и по содержанию и по форме.

Судьба произведений Кальпурния своеобразна; в течение долгого времени они издавались вместе с четырьмя другими эклогами и считались принадлежащими одному и тому же автору; тщательное исследование⁴ установило явные различия между первыми семью и последующими четырьмя эклогами и было высказано предположение, что эти четыре эклоги принадлежат какому-то поэту более позднего периода. Впоследствии было выяснено, что еще в XV в. была описана рукопись, потом пропавшая, в которой семь эклог были помечены именем Кальпурния, а четыре последние именем Немесиана, поэта III в. н. э., которому принадлежала поэма «О псовой охоте»; действительно, в этой поэме и в четырех последних эклогах удалось найти сходные обороты и стихотворные приемы⁵.

К буколикам Кальпурния и по содержанию, и по форме примыкают два анонимных буколических стихотворения, найденные в библиотеке Эйнзидельнского монастыря (Швейцария) в рукописи X в. Оба стихотворения

⁴ См. M. Haupt. De carminibus bucolicis Calpurnii et Nemesiani. Leipzig, 1875.

⁵ Об эклогах Немесиана см. гл. XIX.

сохранились неполностью, так как рукопись сильно повреждена. Первое стихотворение начинается с традиционного вызова на состязание между двумя певцами, Фамиром и Ладом, и назначения награды будущему победителю. Сохранилась только первая песня Лада, представляющая собой хвалебный гимн «Цезарю», под которым, очевидно, как и у Кальпурния, следует подразумевать Нерона — «Цезарь» молод, обладает «божественным» голосом и поэтическим даром. Певец обращается к нему с просьбой воспеть «священный пепел Трои» и показать свое творение «Агамемноновым Микенам»; возможно, что здесь скрыт намек на желание Нерона участвовать в олимпийских состязаниях.

Вторая эйнзидельнская буколика с первых же слов воспроизводит IV эклогу Кальпурния, начинаясь с обращения одного певца к другому: «Quid tacitus, Mystes?» (у Кальпурния «Quid tacitus, Corydon?»). Далее она переходит к восхвалению наступившего «золотого века», т. е. опять тесно соприкасается с I и IV эклогами Кальпурния. Однако в душу певца все же закрадываются сомнения в прочности этого мнимого благополучия, и он печально вопрошает:

«О, неужель будут спорить, сомнением терзаясь, народы?
Век наш златой неужель безрассудной толпою не признан?»⁶

(см. 21—22)

Да и свое молчание он объясняет тем, что его «радость смущают заботы». Последний стих второй буколики буквально повторяет десятый стих IV эклоги Вергилия. Имя автора этих буколик пытались раскрыть несколько ученых (Гаунт, Пейшер и Бюхелер), но к достоверным результатам они не пришли: была сделана попытка приписать их Гаю Кальпурнию Пизону, главе заговора против Нерона, который в 65 г. н. э., после раскрытия заговора, покончил жизнь самоубийством по приказу Нерона. Характеристику этого образованного аристократа, упражнявшегося в поэзии и музыке, дает Тацит («Анналы», XV, 48), однако никаких веских доказательств в пользу этой гипотезы нет. Напротив, почти с полной достоверностью именно к этому Пизону обращен анонимный панегирик в 261 стих (Laus Pisonis), написанный гекзаметром, который был впервые опубликован в 1527 г. в издании произведений Овидия; в нем поэт восхваляет Пизона, наделяя его образ чертами, сходными с характеристикой, данной Тацитом: Пизон хорошо образован, миролюбив, гостеприимен, ласков, милостив к людям, стоящим ниже его по общественному и имущественному положению: автор панегирика, еще бедный и очень молодой⁷, стремился заручиться его покровительством, напоминая ему о том, каким благодетелем был для Вергилия, Вария и Горация Меценат; все они остались бы никому неизвестными, если бы он не помог им. Интересно отметить, насколько ниже ценит себя этот римский поэт, чем даже панегиристы эллинистической эпохи. Так, Феокрит в своих энкомиях Птолемию и Гиерону, хотя тоже просит их покровительства, но указывает, что их имена будут увековечены именно благодаря его стихам и ссылается на Симонида и Пиндара, возвеличивших владык Фессалии и Сицилии, имена которых канули бы в вечность, если бы не труд поэтов.

О том, кто автор панегирика, высказывались различные мнения; наиболее вероятно предположение, которое приписывает их буколическому поэту Кальпурнию Сицилийскому; благозвучный, но мало оригиналь-

⁶ Перевод фрагментов сделан М. Е. Грабарь-Пассек.

⁷ В последнем стихе панегирика автор говорит, что ему нет еще двадцати лет.

ный стих и преувеличенное низкопоклонство были, как мы видели, свойственны именно этому поэту. Если это так, то, по всей вероятности, «Хвала Пизону» — первое произведение Кальпурния, написанное еще в конце правления Клавдия, так как при Нероне превозносить Пизона было уже неммыслимо.

Элегический дистих был в совершенстве разработан Овидием, к стихотворениям которого примыкают несколько анонимных и не датированных точно элегий, однако по своей тематике они тоже относятся к I в. н. э. Таковы две элегии на смерть Мецената и элегия, носящая название «*Consolatio ad Liviam*»; все три элегии в звонких, но довольно бессодержательных стихах говорят о том, как следует встречать смерть и относиться к смерти близких. Автор первой элегии на смерть Мецената защищает его от обвинений в изнеженности и чрезмерной любви к роскоши, указывая на то, что этот избалованный сановник не останавливался ни перед какими трудностями, когда дело шло об интересах государства и принцепса (ст. 21 и дальше). Вторая перелагает в стихи прощальные слова Мецената, обращенные к Августу.

Более интересна элегия под оригинальным названием «Орешник» (*Nux elegia*), написанная в первом лице от имени этого полезного людям куста, терпящего от них тем не менее множество бедствий; эти жалобы, хотя и многословные, но местами лирически трогательные, может быть, имеют в себе какой-то скрытый смысл — жалобы незаслуженно страдающего простого незаметного труженника; однако с уверенностью этого утверждать нельзя. Время написания элегии неясно; в ней упоминается Цезарь, водворивший мир во всем круге земель; вернее всего, речь идет об Августе, но может быть и о каком-либо другом императоре I в. н. э. Элегия была найдена в рукописи произведений Овидия между «Метаморфозами» и поэмой «*De medicamine faciei feminae*», но не могла быть приписана Овидию ввиду многих отличий от него в построении стиха.

Совершенно иной характер имеет написанная эпическим гекзаметром поэма «Этна» (646 стихов), иногда включаемая в сборник стихотворений, приписываемых Вергилию (так называемый «*Catalepton*»). Поэма эта преследует не столько поэтические, сколько научные цели и по своей материалистической установке ближе всего примыкает к Лукрецию и к «Письмам о природе» Сенеки. Она написана, безусловно, до 79 г. до н. э., так как Везувий упоминается в ней как потухший вулкан (ст. 430—434), что после гибели Помпеи и Геркуланума было бы невозможно; Этна, по словам автора, гораздо более ценный объект для изучения природы вулканов: причина извержения, по мнению автора, заключается в следующем: воздух, находящийся в полых пространствах, имеющих в недрах земли, сгущается под давлением, воспламеняется и расплавляет мягкую природу камней (автор называет ее «*lapis molaris*») — это и есть лава; обосновывая возможность воспламенения любого материала, автор ссылается на правдивейшие слова темной книги (ст. 538—540) Гераклита, говорившего, что нет ни одного вещества, которое могло бы противостоять огню, ибо в нем таятся «семена всех вещей».

Крайне резко поэт отзывается обо всех мифологических объяснениях вулканических явлений, о гигантах, лежащих скованными под землей, о подземном царстве мертвых; все это он называет «измышлениями лишней молвы» (ст. 74), допустимыми только у поэтов; себя он противопоставляет им, говоря, что его интересует «только истина» (ст. 92); не раз на протяжении всей поэмы он возвращается к мысли, что не следует выдумывать никаких фантастических объяснений там, где «сами вещи говорят за себя и нас принуждают поверить» (ст. 191).

С горячим нафосом автор относится к изучению природы: он посвящает ему хвалебный гимн (ст. 249—256), оговариваясь, правда, что «это — труд безграничный, но много плодов приносящий» (ст. 222); этот труд более важен и более достоин человека, чем забота только о пропитании, доступная и животным. Природа, по мнению автора, дает больше поводов для размышления и восхищения, чем самые лучшие создания рук человеческих; поэтому он осуждает тех людей, которые пускаются в длинные путешествия, чтобы увидеть чудеса архитектуры, исторические места (Фивы, Афины, Трои) или знаменитые произведения живописи и скульптуры (например, бронзовую телку Мирона).

Но зрелище пылающей Эты, говорит он, более величественно, чем любое творение человека: «Лучший художник — природа» (ст. 601).

Однако в заключительной части своей поэмы автор все же излагает легендарный рассказ, имеющий, правда, морализирующий, а не мифологический характер: он рассказывает о том, как во время одного извержения Эты жители окрестных городов и сел, стараясь спасти побольше вещей из своего имущества, погибли, потому что не могли быстро бежать с тяжелым грузом; и только перед двумя юношами, которые несли своих престарелых родителей и не захватили больше ничего, огонь и потоки лавы расступились, давая им дорогу (ст. 645—646).

Кроме всех перечисленных стихотворений, до нас дошла еще одна целиком подражательная поэма, имевшая, вероятно, значение школьного пособия и только поэтому сохранившаяся — так называемая «*Phias latina*»; начав с довольно точного перевода первой песни Илиады, автор переходит к все более краткому изложению содержания каждой песни, лишаясь всяких поэтических достоинств. Предполагали, что эта «Латинская Илиада» написана неким «Италиком», что выводилось из акростиха, образуемого первыми и последними стихами поэмы «*Italicus scripsit*»; однако в лучших рукописях акростиха не получается, и гипотезу, что эта поэма — юношеское произведение поэта Силия Италика, нельзя признать убедительной. Более надежна датировка поэмы временем правления династии Юлиев, поскольку, упоминая о бегстве Энея из Трои, автор говорит, что, если бы Энея не защитил «владыка морей», то у «нас не было бы заложено основание дорогого для нас рода» (ст. 902); после гибели Нерона этот стих был уже недопустим.

В заключение следует упомянуть еще об одном поэте — Цезии Бассе, старшем друге поэта Персия, издавшем его сатиры; от самого Цезия Басса до нас не дошло ничего, и мы должны полагаться на весьма благоприятное суждение о нем Квинтилиана, который ставит его почти наравне с Горацием (X, 1, 96), из всех прочих лириков не называя никого. По-видимому, Цезию Бассу принадлежит пособие по метрике; о нем упоминает грамматик Марий Викторий (*Gramm. lat.*, VI, p. 209), называя его «человеческим учебным и широко образованным». Это пособие впоследствии было объединено с сочинением Атилия Фортуната, найденным в 1495 г., и издано в таком виде в 1504 г.; только в XIX в. трудами Лахманна и Кейля эти два сочинения были разделены; возможно, что сочинение Басса дошло не в полном виде, а в форме конспекта; начало его сильно повреждено, но для истории метрики оно все же имеет некоторое значение.



Глава III

ПРОЗАИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА ПРИ ПЕРВЫХ ИМПЕРАТОРАХ

1. Веллей Патеркул.—2. Валерий Максим.—3. Квинт Курций Руф.—4. Остальные историки I в. н. э.—5. Рутилий Луп и другие риторы.—6. Валерий Проб.—7. Асконий Педиан.

Прозаическая литература, сохранившаяся от времени первых императоров, принадлежит преимущественно к историческому жанру. Это прежде всего «Римская история» Веллея Патеркула, «Замечательные дела и слова» Валерия Максима и «История Александра Великого» Квинта Курция Руфа. Кроме того, к этой эпохе относятся многие произведения по риторике и грамматике; некоторые из них дошли до нас.

1. ВЕЛЛЕЙ ПАТЕРКУЛ

О жизни Веллея Патеркула нет никаких сведений у древних писателей; но зато он сам достаточно говорит о себе и своих предках в собственном сочинении, — по-видимому, с целью возвеличить себя.

Неизвестно его личное имя: в первом печатном издании он назван Гаем; грамматик Присциан называет его Марком.

Год рождения Веллея Патеркула неизвестен; судя по служебной карьере, можно предполагать, что он родился около 20 г. до н. э. Дед и отец Веллея были люди военные, занимавшие должности среднего ранга. Сам он тоже посвятил себя военной службе: был войсковым трибуном; в 1 г. н. э. сопровождал приемного сына Августа, Гая, во время его поездки по восточным провинциям империи и познакомился с тамошними странами и народами. Затем, в течение восьми или девяти лет он служил в должности начальника конницы или легата при Тиберии, участвовал в его походах в Германию и Паннонии, где и был «зрителем его небеснейших деяний и помощником, насколько мог по своему ничтожеству» («История», II, 104, 3). В 6 г. н. э. он вернулся в Рим, был назначен квестором, но еще до вступления в должность привел войско Тиберия в Паннонию, где вспыхнуло восстание. В 7 г., будучи уже квестором, Веллей не поехал в провинцию, а был послан опять к Тиберию в качестве легата. Брат Веллея тоже был легатом Тиберия и отличился в войне в Далматии в 9 г. н. э. оба брата участвовали в триумфе Тиберия в 13 г., а в 14 г. оба были рекомендованы в преторы императором Августом незадолго до его смерти и в 15 г. получили эту должность, так что, говорит Веллей, «ни после нас никого не рекомендовал божественный Август, ни до нас никого не рекомендовал цезарь Тиберий» (II, 124, 4).

Такова была служебная карьера Веллея. Сам он о себе более не упоминает в своем сочинении; сведений из других источников тоже нет.

Скорее всего надо предполагать, что на этом и окончилась его общественная деятельность. Ему было тогда около 35 лет. По-видимому, Веллей занялся литературной работой, подготовкой большого исторического сочинения, о котором он упоминает несколько раз (II, 48, 5; II, 96, 3; II, 99, 3; II, 103, 4; II, 114, 4; II, 119, 1). Судя по этим упоминаниям, он замыслил сочинение, которое должно было начинаться с истории гражданских войн и оканчиваться описанием современных ему событий. Везде он говорит о нем в будущем времени: «мы изложим» и т. п. Из этого видно, что, когда он писал дошедшее до нас сочинение (т. е. в 29 г. н. э.), та большая работа была еще только в проекте. Вероятно, она и не была написана; во всяком случае, ни малейшего упоминания о ней у древних авторов нет.

Дошедшее до нас сочинение Веллея носит следующее заглавие в наших изданиях: *M. Vellei Paterculi ex historiae Romanae ad M. Vinicium eqs. libris duobus quae supersunt*. Но подлинное заглавие неизвестно, потому что единственная рукопись, в которой это сочинение сохранилось, была утрачена еще в XVI в.

Это сочинение было написано по особому случаю: в 29 г. н. э. Марк Виниций был назначен консулом на 30 год. В виде поздравительного подарка автор и поднес ему свой маленький труд. Исходя из этого, надо думать, что Веллей написал эту книжку в течение нескольких месяцев 29 г., т. е. писал быстро, как он и сам не раз заявляет (I, 16, 1; II, 41, 1; II, 55, 1; II, 36, 1 и др.).

Сочинение Веллея обнимает собой всю римскую историю вплоть до времени его жизни; в начале даже дается очень сжатый очерк греческой истории. Самое начало сочинения потеряно; вместе с ним потеряно и посвящение Виницию, которое должно было быть. Вероятно, сочинение начиналось с рассказа о разрушении Трои и о возвращении греков из похода. В первой фразе сохранившейся части сказано о том, что спутник Нестора (Элей) был оторван бурей от своего вождя и основал город Метаполт.

Все сочинение разделено на две книги: книга I оканчивается рассказом о разрушении Карфагена и Коринфа, но в ней есть большой пропуск вследствие потери нескольких листов рукописи; в пропущенной части заключался рассказ о событиях от похищения сабинянок при Ромуле до войны с Персеем. В книге II рассказ доведен до консульства Виниция (30 г. н. э.). В ней есть также мелкие пропуски. Кончается книга молитвой к Юпитеру и Марсу о сохранении государства и его правителя.

Изложение фактов неравномерно: в начале это почти конспект; начиная с описания гражданских войн (II, 49) рассказ становится подробнее, и в конце (с II, 94) переходит почти в хвалебный гимн Тиберию. Надо думать, что прославление Тиберия и было главной целью автора.

История Веллея имеет некоторые особенности. В ней значительное место уделяется истории литературы, как греческой, так и римской. Так, говорится о Гомере (I, 5), о Гесиоде (I, 7), о процветании литературы в разные времена и в разных местах (I, 16—18), о древней римской литературе (II, 9), о римской литературе в эпоху ее расцвета (II, 36), — но все это в самых общих чертах и очень неполно.

Затем в его сочинении есть экскурсы, не имеющие прямого отношения к основному историческому рассказу: в I книге находится экскурс о римских колониях (I, 14—15); во II книге — о римских провинциях (II, 38—39); да и заметки по истории литературы тоже можно назвать экскурсами.

Но главная особенность Веллея — это его исторический метод. Этот метод не может быть назван ни анналистическим (обычный метод у римских историков), ни прагматическим. Анналистическим его нельзя назвать по-

тому, что автор нередко не соблюдает хронологию: не рассказав о чем-нибудь в соответствующем месте, он сообщает об этом позднее (например, II, 68, где описываются события 48 г., когда речь идет о событиях 43 г.). Прагматическим нельзя назвать это сочинение потому, что автор не обнаруживает понимания внутренней связи, и, за малыми исключениями, не выводит последующих событий из предыдущих. Весь интерес Веллея сосредоточивается на лицах: личность у него выступает на первое место. Он дает очень много характеристик разных лиц; иногда даже кажется, что изложение фактов служит только для того, чтобы связать характеристики; некоторые лица очерчены искусно.

Главное внимание автора уделено Юлию Цезарю, Августу и особенно Тиберию, о котором он говорит с каким-то благоговением, щедро расточая ему и его действиям пышные эпитеты, вроде «небесный» (*caelestis*), представляя все, касающееся его, как нечто грандиозное. Рассказывая об отъезде Тиберия на остров Родос, он прибавляет, что весь мир почувствовал его удаление от дел: тотчас же поднялись парфяне, взбунтовались германцы (II, 100,1). Когда Тиберий возвратился в Рим, это наполнило невероятную радостью отечество (II, 103,1). Каждый шаг Тиберия представляется ему великим делом.

Говоря о военных подвигах Тиберия, он восклицает: «О благие боги! Какой большой том потребовался бы для описания подвигов под предводительством цезаря Тиберия!»¹ (II, 106,4). Особенно интересен рассказ об усыновлении Тиберия Августом (II, 103,3): «Радость этого дня, стечение граждан, мольбы их и prostиpание рук чуть не до неба, надежду на вечную безопасность и вечное существование римской державы мы едва ли будем в состоянии описать подробно в том большом сочинении, нечего и пытаться полно рассказать об этом здесь. Достаточно сказать одно то, до какой степени этот день был все для всех. Тогда вновь заблестала твердая надежда — у родителей на счастье детей, у мужей на счастье брака, у собственников на обладание имуществом, у всех людей на благосостояние, покой, мир, тишину, так что нельзя было ни иметь большей надежды, ни ожидать более счастливого ее исполнения»².

Вот какими красками описывается счастье римлян в правление Тиберия. «На форум призвана обратно честность; удалено с форума возмущение, искательство с Марсова поля, раздор из курии; погребенные и погруженные во мрак правосудие, справедливость, энергия возвращены гражданам; возвысился у должностных лиц авторитет, у сената величие, у судов достоинство; подавлены театральные беспорядки; во всех или внедрено желание или создана необходимость поступать по закону; законные действия награждаются почетом, преступные подвергаются наказанию; низкопоставленный взирает с уважением на сильного, а не боится; сильный идет впереди низшего, но не презирает его. Когда цены на хлеб были дешевле? Когда мир был радостнее?.. Восстановлены города Азии, защищены от обид должностных лиц провинции. Достойным уготован почет; наказание преступным, хотя и позднее, но верное... Поступать по закону учит великий принцепс граждан своими поступками, и, так как он выше всех властью, то он и примером выше» (II, 126, 2—4).

Веллей превозносит также и близких к Тиберию лиц. Мать Тиберия, Ливия, по его словам, — не только самая знатная, самая добродетельная, самая красивая из всех римских женщин (II, 75,3), но и «во всем более

¹ Напротив, по рассказу Дюна Кассия (LV, 28 и сл.), ничего замечательного в этот год не было совершено Тиберием.

² Перевод отрывков Веллея Патеркула сделан С. И. Соболевским.

богам, чем людям подобная женщина» (II, 130,5). Август, усыновивший Тиберия, по мнению Веллея, родился для того, чтобы «величием своим навести мрак на всех мужей всех народов» (II, 36, 1). Когда он возвратился в Рим после победы над Антонием, счастье римлян и всего мира было неописуемо. «Ничего люди не могут желать от богов, — говорит Веллей, — ничего нельзя достигнуть при помощи счастья, чего бы Август по возвращении в Рим не доставил тотчас республике, народу римскому и всему свету» (II, 89,2).

Даже ненавистного всем Сеяна, любимца Тиберия, Веллей наделяет всевозможными достоинствами души и тела: это «человек, обладающий строгостью приятной, веселостью, свойственной древним, занятый деятельностью, он так спокоен, что совершенно похож на ничего не делающего; он ничего себе не ищет и через это достигает всего; он всегда считает себя ниже того, как его оценивают другие; выражение лица его и жизнь с вида спокойны, но дух его не знает сна» (II, 127,4).

Все эти напыщенные тирады едва ли следует принимать за искреннее выражение чувства; вероятно, значительную часть их надо отнести на счет риторики, которою проникнуто сочинение Веллея.

Общий план истории Веллея, по-видимому, таков: сперва Рим до разрушения Карфагена и Коринфа возвышается (I книга); после этого происходит падение Рима до времени Августа; тут Рим опять начинает возвышаться и при Тиберии достигает высшей точки благополучия. При помощи такого присма Веллей уничтожает пропасть, отделяющую республику от империи, и вся история Рима является в виде одного связного целого.

Политические взгляды Веллея, конечно, монархические. В римской республике он не видит никакого величия. Народ для него — безвольная масса; сенат иногда выступает на первый план: он постановляет разрушить Карфаген (I, 12,2), устранить Цинну от консульства (II, 20,3), казнить Катлину (II, 34,4); но в общем история Рима и в республиканское время, по его мнению, направлялась отдельными, сильными личностями, под влиянием которых находился и сенат. Так, Тиберий Гракх был поражен благодаря Сципиону Назике, который по собственному побуждению обратился с воззванием к народу, чтобы все, кто хочет спасти республику, следовали за ним, и тогда оптиматы, сенат и большая часть всадников, и часть народа бросились на Гракха (II, 3, 1—2). Равным образом и Гая Гракха умертвил консул Опимий (II, 6, 3—4). Таким образом, Веллей приписывает одному Опимию убийство Гая Гракха, тогда как на самом деле Опимию дана была сенатом чрезвычайная власть. Точно так же, по рассказу Веллея, один Марий подавил восстание Сервилия Главция и Апулея Сатурнина (II, 12,6), а между тем подавление восстания было поручено Марию сенатом.

Таким образом, никак нельзя сказать, что Веллей видел политический идеал в древней римской аристократии, как это было у многих римлян императорского периода. Он сильно нападает на проскрипции Суллы (II, 17, 22, 25, 27, 28), не раз порицает римскую знать за ее жестокость, и даже нападает на нее за то, что она отказывала италикам в правах римского гражданства (II, 15).

При таком воззрении Веллея на историю Рима становится понятным, почему его рассказ состоит из характеристик и биографий действующих лиц; даже важные события пропускаются, если они не могут быть использованы для этой цели. Так, начиная с Луция Эмилия Павла идет одна биография за другой, вплоть до Тиберия, причем выдающиеся люди республики называются так же, как Август и Тиберий, *principes*.

Тиберий превозносится до небес. Ученые уже давно обратили внимание на это прославление Тиберия, которое прямо противоположно рассказам о нем у Тацита и Светония. Одни видят в этом только лесть, раболепство, которое еще со времени Августа стало обычным явлением в римском обществе, в том числе и у писателей: как поэтов, так и историков.

Тацит ясно свидетельствует об этом: «Для повествования о времени Августа не было недостатка в блестящих талантах, пока возрастающая лесть не принудила их к молчанию» («Летопись», I, 1). А в другом месте он уже прямо говорит о том, что писатели того времени были преданы лести или ненависти («История», I, 1).

Другие ученые стараются оправдать Веллея и объясняют похвалы его Тиберию следующим образом.

1. Он мог быть искренним монархистом по убеждениям; его уважение к отдельным, сильным личностям до некоторой степени свидетельствует об этом; о правлении Августа он также отзывался хорошо.

2. Несмотря на эти неумеренные похвалы Тиберию, он не высказывает того низкого раболепства, которое было у других писателей того времени. Он не бранит Брута и Кассия и даже признает в них много достоинств, хотя Кремуций Корд понес кару за похвальный отзыв о них. Веллей превозносит Катона Младшего, называя его «человеком очень похожим на богиню Добродетель и во всем по духовному складу более близким к богам, чем к людям», который «никогда не поступал добродетельно [только] для того, чтобы казаться таким, но потому, что иначе поступать не мог» (II, 35, 1—2). Он прославляет Цицерона, оканчивая свою похвалу словами: «Скорее исчезнет в мире род человеческий, чем слава Цицерона» (II, 66,5). Если он мог быть искренним, восхваляя врагов монархии, то нет причин не верить его искренности при восхвалении монарха.

3. Тиберий стал особенно жесток после падения Сеяна в 31 г., и главным образом эта пора его правления служит причиной дурных отзывов историков; Веллей писал свое сочинение в 29 г., когда жестокие наклонности Тиберия еще не успели вполне проявиться.

4. Веллей, как видно из его биографии, много лет был соратником Тиберия в походах, а способности Тиберия как полководца признаются и историками. Поэтому нет ничего удивительного в преклонении солдата перед гением полководца.

5. Как уже сказано выше, Веллей в 15 г., по-видимому, уже окончил служебную карьеру, и в 29 г. едва ли у него была надобность ради личных выгод льстить императору.



*Бронзовый сосуд для масла
надпись: С. Pomponius Zoticus. Collegio
Apollinario D. D.)*

6. Наконец, надо принять во внимание положение писателей во времена Тиберия. Ясно, что Веллей не мог изображать Тиберия другими красками, иначе и его сочинение, да и сам он были бы уничтожены.

Все эти соображения дают основания реабилитировать Веллея в этом отношении.

При указанных свойствах сочинения Веллея трудно предполагать, чтобы оно имело большую ценность как историческое произведение. Прежде всего, в первой половине его события излагаются слишком коротко, иногда почти в виде конспекта; события, современные автору, по указанным выше причинам не могли быть изложены беспристрастно. Однако характеристики исторических лиц дают интересный материал. Даже описание времени Тиберия интересно как официальная версия событий, как придворная история в противоположность изображению их, сделанному Тацитом. Кроме того, поскольку Веллей находился в непосредственной близости к Тиберию и участвовал в его походах, он сообщает некоторые подробности о войнах римлян в Германии, о большом Панноно-Далматинском восстании 6—9 гг. н. э. (II, 110—116), о восстании германцев в 9 г. н. э. и гибели Квинтилия Вара со всеми его войсками (II, 117—119).

Какими источниками пользовался Веллей, определить нельзя; сам он ссылается только один раз на Катона³ (I, 7, 3) и один раз на Гортезия (II, 16, 3). О событиях своего времени он говорит, конечно, на основании своих наблюдений; об Августе, — может быть, на основании его мемуаров.

Язык Веллея в общем близок к языку писателей классического периода. Однако у него есть много особенностей, свойственных серебряной латыни: новые слова и, наоборот, архаизмы; прежние слова, но с новыми значениями; слова поэтические; конструкции, которые в классической прозе не употреблялись и т. п. Так, например: *fulgentissimum et caeleste os* (II, 64, 3) — «блистательнейшие и небесные уста» (о Цицероне); *adiutorium* (II, 112, 4) — «помощь»; *hodieque* (I, 4,2; I, 4,3 и др.) — в смысле «даже и теперь»; *abditus carceri* (II, 91,4) — «упрятанный в тюрьму»; *laetus animi* (II, 93, 1) — «бодрый духом»; *immodicus gloriae* (II, 11,1) — «неумеренный в жажде славы».

Слог Веллея — ораторский, сильно окрашенный риторикой; видно, что он когда-то учился в риторической школе, но недостаточно усвоил ее учение: построение периодов у него часто неуклюжее: между двумя небольшими частями главного предложения он нагромождает много вставок, определений, придаточных предложений и т. п., так что получается период длинный и тяжелый (II, 18, 1—3; II, 28,2; II, 41,1—2; II, 75,3).

У него много риторических фигур, особенно он любит антитезы. Вот примеры: «Могуществу римлян старший Сципион открыл дорогу, роскоши — младший: именно, когда удален был страх перед Карфагеном и устранен был соперник господства [над миром], не шагом, но стремительным бегом [римляне] отступили от доблести, перебежали к порокам; древние порядки были оставлены, новые введены; граждане обратились ко сну от бодрствования, от оружия к наслаждениям, от дел к праздности».

При всем стремлении Веллея к краткости, иногда бывает у него и ненужное для смысла накопление синонимов ради риторических целей: *prisca et vetus comedia* (I, 16, 3) — «древняя, старинная комедия»; *leges perniciosae et exitiales* (II, 18,2) — «законы, губительные, разрушительные».

³ Имеется в виду «Начала» М. Порция Катона. Сочинение Гортезия, знаменитого оратора, современного Цицерону, он называет «Тетописью»; ни у кого другого нет упоминания об этом сочинении.

К числу риторических украшений можно отнести также сентенции, которыми Веллей обильно уснащает свое сочинение сообразно со вкусом того времени. Таковы следующие изречения: «Судьба разрушает, иногда замедляет предположение людей» (II, 110,1). «Всегда спутницей высокого положения бывает лесь» (II, 102,3). «[Дурные] примеры не останавливаются там, откуда исходят; но, как бы ни была узка тропинка, по которой они входят, они пролагают себе широчайшую открытую дорогу, и раз человек отступил от прямого пути, он попадет в пропасть, и никто не считает позорным для себя то, что другому было прибыльно» (II, 3,4).

В общем история Веллея читается легко; его изложение не лишено литературного таланта. Он умеет кратко и выразительно обрисовывать характер политических деятелей и образно описать отдельные драматичные события.

О сочинении Веллея почти нет упоминаний в древности; только грамматик Присциан (VI в.) и составитель схолий к Лукану упоминают о нем. Тем не менее можно предполагать, что он не был совсем забыт: так, Сульпиций Север (IV—V вв.), судя по некоторым чертам языка в его «Хронике», знал сочинение Веллея. Есть ли какие-нибудь признаки его влияния у Тацита и Курция, как предполагают некоторые исследователи, нельзя сказать с уверенностью. В средние века о Веллее нет никаких сведений; но в одном монастыре в Эльзасе хранилась рукопись с сочинением Веллея. В 1515 г. ее нашел ученый Беат Ренан и по списку, сделанному с нее, в 1520 г. издал сочинение Веллея в Базеле. Таким образом, до новых времен сохранилась лишь одна рукопись, но и она вскоре после издания Беата Ренана была утрачена. Наши печатные издания все основаны на упомянутом сейчас списке, который тоже потерян. Сохранилась до настоящего времени только копия, снятая с этого списка.

2. ВАЛЕРИЙ МАКСИМ

Ко времени правления Тиберия относится также литературная деятельность Валерия Максима (Valerius Maximus).

О жизни Валерия Максима нам известно очень немногое — лишь то, что он сам сообщил о себе в своем сочинении; неизвестно даже его личное имя. Как видно из его слов, он был беден, но имел покровителя, Секста Помпея, бывшего консулом в 14 г. н. э., и сопровождал его, когда тот около 27 г. получил управление провинцией Азией. По-видимому, Валерий не занимал никакой государственной должности, не был и военным, а был ученым — ритором или грамматиком. Своего покровителя он прославляет как человека очень красноречивого, благодаря доброму расположению которого он без опасения противостоял превратностям судьбы, который ободрял его в занятиях наукой.

От Валерия Максима дошло до нас сочинение исторического характера под заглавием: «Замечательные дела и слова» в 9-ти книгах — *Factorum et dictorum memorabilium libri novem*.

Это сочинение написано вскоре после падения в 31 г. Сеяна, которого автор проклинает, чего не осмелился бы сделать при его жизни: «Раздавленный со всем своим отродьем силами народа римского, — говорит Валерий, — он даже в преисподней, если однако его туда приняли, несет заслуженные кары» (IX, 11, externa 4).

Таким образом, этот труд написан позже, чем сочинение Веллея. Прославление Тиберия в нем, пожалуй, еще раболепнее, чем у Веллея, и, если последнего можно до некоторой степени извинить, имея в виду его прежнюю близость к императору, а также то, что в первую половину своего

правления Тиберий не был еще так жесток, как во вторую, то для Валерия этих смягчающих обстоятельств не было: он писал после падения Сеяна и не был лично связан с Тиберием. Вот какими красками он описывает этого жестокого деспота, посвящая ему свой труд: «Начиная этот труд, к тебе взываю, вернейшее спасение отечества, Цезарь, которому согласие людей и богов благоволило вручить управление морем и землей! Твой небесный промысел всемилостивейше делеет все доблести, о которых я намерен говорить, и строжайшим образом карает пороки. Если древние ораторы правильно начинали с всеблагого, величайшего Юпитера, если выдающиеся поэты в начале своих произведений обращались к какому-нибудь божеству, то моему ничтожеству тем справедливее было бы прибегнуть к твоему милостивому покровительству, что божественность других богов познается только мыслью, а твоя божественность, вследствие несомненного твоего присутствия, кажется равной светилам отца твоего и деда, необычайный блеск которых придал много света нашим священным церемониям. Всех прочих богов мы получили, а цезарей мы дали»⁴ (Предисловие к кн. I).

По содержанию сочинение Валерия есть сборник коротких исторических рассказов на разные нравоучительные темы. Темы эти разделены на 95 рубрик. Вот, например, заглавия статей книги V: 1) О человеколюбии и кротости, 2) О благодарности, 3) О неблагодарности, 4) О любви к родителям, 5) О любви к братьям, 6) О любви к отечеству, 7) О любви и снисходительности родителей к детям, 8) О строгости родителей к детям, 9) Об умеренном отношении родителей к подозрительным детям, 10) О родителях, твердо перенесших смерть детей. В каждой статье приводятся по две группы рассказов: из римской истории и иноземной; в первой группе примеров всегда гораздо больше, чем во второй. Это зависело, может быть, от желания автора воздвигнуть Рим, или же от того, что в его распоряжении было больше источников по отечественной истории, чем по иностранной.

О цели своего сочинения Валерий сам говорит в начале предисловия: так как рассказы о достопамятных деяниях и изречениях римлян и других народов рассеяны по разным сочинениям и невозможно быстро найти их, он собрал их в извлечении, чтобы облегчить труд тем, кто хочет иметь собрание примеров добродетели и порока. Судя по этому, цель автора — педагогическая; говоря современным языком, его сочинение — учебное пособие для школьных и практических ораторов, из которого они могли бы черпать примеры для речей.

Всех источников, какими пользовался Валерий, мы не знаем; но некоторые он сам называет: главными авторами, у которых он брал материал, были Цицерон и Ливий, а также Варрон, Саллюстий, может быть Помпей Трог; кроме того, он упоминает сборник (вероятно, подобных рассказов) неизвестного нам Помпония Руфа. Источниками рассказов об иноземных лицах должны были служить также какие-нибудь греческие писатели, возможно Диодор.

Работа, Валерия состояла не только в том, что он выписывал нужный ему материал из источников и располагал его по рубрикам, но и в том, что он перелагал его, переделывал на свой лад и часто дополнял собственными размышлениями и рассуждениями.

Язык автора — довольно близкий к языку прозы классического периода, но, конечно, с большой примесью особенностей более поздней латыни. Но способ выражения, стиль в собственном смысле, совершенно

⁴ Переводы Валерия Максима сделаны С. И. Соболевским.

не похож на стиль авторов классического периода; это стиль риторический в еще большей степени, чем у Веллея; согласно с модой того времени, автор считает простой и естественный способ выражения не изящным, и стремится к изложению искусственному, ходульному, с необычными сочетаниями и расстановкой слов, с необычными метафорами, с ложным пафосом, риторическими вопросами и тому подобными украшениями. Из-за этого иногда он становится темен.

Так как исключительною целью автора было дать риторам пособие, то вполне естественно, что историческая сторона его не интересовала. Поэтому у него встречаются исторические неточности, хронологические ошибки; из двух версий описания какого-нибудь события он выбирает более эффектную, даже если его источник (Ливий) считает эту версию мало достоверной; иногда от себя он прибавляет какие-нибудь эффектные подробности.

Разумеется, при таком легкомысленном отношении Валерия к истории, историк не может относиться к сообщениям его с полным доверием. Но все-таки они имеют значительную ценность, потому что многое заимствовано им из недошедших до нас сочинений (из потерянных книг истории Ливия, из «Истории» Саллюстия и др.). Есть много интересных сведений о религии, обычаях, учреждениях древних римлян, не известных нам из других источников. Таков, например, следующий рассказ: «Всякий раз, как между мужем и женой возникала какая-нибудь ссора, они приходили в часовню богини Вириплаки на Палатинском холме, и, поговорив там между собою, о чем хотели, оставляли пререкания и возвращались в согласии. Богиня, как говорят, получила это имя от «умилостивления мужей» (*virg + placo*); это богиня почтенная и, по моему мнению, она должна быть почитаема особенными, изысканными жертвоприношениями, как благодетельница ежедневного семейного мира» (II, 1,6).

Несмотря на свои недостатки, труд Валерия пользовался большой популярностью, как в конце древних веков, так и в средние века. Это был удобный справочник для разных потребностей; деление на мелкие группы очень облегчало нахождение нужного примера на любую тему. Им пользовались многие авторы: Плиний Старший, Фронтин, Геллий, Лактанций и др. О популярности его свидетельствует большое число рукописей, в которых дошел до нас его текст, и особенно то, что из него делались извлечения, из которых два сохранилось до нашего времени, а именно: извлечение Юлия Париды и извлечение Януария Непоциана.

Извлечение Париды было сделано в конце IV или в начале V в. также для школьных целей. Оно примыкает довольно близко к оригиналу. Сокращение состоит главным образом в упрощении текста: выкинуты риторические прикрасы и сделаны некоторые поправки из других источников, но новых примеров не прибавлено.

Извлечение Непоциана сделано для учебных потребностей неизвестного нам Виктора, — по-видимому, молодого человека, учившегося под руководством составителя извлечения. До нас дошло оно в неполном виде (кончая III, 2, 7 подлинника). Непоциан менее, чем Парид, придерживается текста подлинника, некоторые примеры пропускает, другие прибавляет из других источников. Время составления этого извлечения неизвестно.

Оба эти извлечения имеют для нас лишь то значение, что до некоторой степени восполняют пропуск в тексте подлинника, именно от I, 1 externa 4 до I, 4 externa 1. Извлечение Париды, кроме того, в какой-то мере полезно для критики текста подлинника. Оба извлечения помещены в изданиях Валерия.

В средние века также составлялись извлечения из Валерия, но они остаются в рукописях, а в печатных изданиях не помещены.

Из рукописей, содержащих текст сочинения Валерия, считаются лучшими две, обе IX в.: Codex Bernensis, 366 и Codex Florentinus, 1899. Значение рукописи имеет до некоторой степени извлечение Париды. По сравнению с этими тремя источниками более поздние рукописи мало что дают для установления текста.

3. КВИНТ КУРЦИИ РУФ

Совсем другого типа историческое сочинение Квинта Курция Руфа (Quintus Curtius Rufus). Это монография, содержащая историю Александра Македонского.

Когда жил Курций и кто он был, совершенно неизвестно, и потому в науке высказано множество гипотез по тому и другому вопросу. Время жизни его определяли в пределах от Августа до Феодосия Великого (т. е. начиная с I в. до н. э. и кончая IV в. н. э.). В конце концов пришли к соглашению, что он жил и писал свое сочинение при императоре Клавдии (41—54 г. н. э.).

Из лиц, по имени Курций Руф, живших в это время, нам известны двое: об одном подробно говорит Тацит («Летопись», XI, 20 и сл.) как о командире армии в Верхней Германии, а впоследствии проконсуле в Африке, не упоминая о каких-либо его литературных занятиях. Нет никакого основания отождествлять его с нашим Курцием. Больше права на это имеет Квинт Курций Руф, упомянутый в числе раторов в оглавлении к сочинению Светония «О раторах».

В пользу этого предположения говорит то, что речь идет о раторе, каким, вероятно, был и наш Курций, что он носил тоже личное имя Квинт, что он поставлен Светонием в хронологическом списке раторов между 3 г. до н. э. и 56 г. н. э. Но, конечно, вполне возможно, что наш автор не был ни одним из этих двух лиц.

Сочинение Курция носит заглавие в наших изданиях: *Q. Curtii Rufi Historiarum Alexandri Magni Macedonis libri qui supersunt* — «История Александра Великого Македонского». Она состояла из 10 книг, но книги I и II не сохранились, так что наш текст начинается с книги III — описания событий похода Александра весной 333 г. Кончается сочинение рассказом о смерти Александра и о споре между его полководцами из-за преемства.

Главная цель Курция — риторическая. Историческая правдивость у него находится на втором плане: он сам откровенно говорит, что «писывает [из своего источника] больше, чем верит, потому что не может заставить себя считать за истину то, в чем сомневается, но и не может пропускать того, что получил [в источнике]» (IX, 1,34).

Как ритор, Курций всего более заботится об интересе для читателей: подробно описывает эффектные события, страны, народы, но пропускает технические подробности военных операций, сражений, кратко рассказывает о малозанимательных событиях. По обычаю древних историков, он вставляет в свое повествование много речей разных лиц, причем эти речи иногда не находятся в близкой связи с описываемым положением вещей и настроением произносящих их лиц, а содержат лишь общие красивые рассуждения (например речи в IV, 14; V, 5; VI, 3; VI, 10; VII, 1; VIII, 10). Часто встречаются нравственные изречения, особенно в речах.

Ввиду такой тенденции автора нельзя ожидать от него большой точности в изложении событий. Однако неправильно было бы видеть в сочи-

нении его только исторический роман, каким склонны были считать его некоторые ученые. От себя он, по-видимому, ничего не выдумывает (или очень мало), а следует за греческим источником, включая в свой рассказ даже такие сообщения его, которым он сам не верит, как он заявляет в цитированном выше месте (IX, 1,34); то же он говорит в другом месте по поводу речи скифов, сказанной перед Александром: «Хотя речь их не стоит внимания, но наша добросовестность (*fides*) должна цениться: мы передадим сказанное ими без изменения, как оно передано нам» (VII, 8, II). Затем, признаком его исторической добросовестности может служить и то, что его сообщения в огромном числе одинаковы с сообщениями Диодора и Трога Помпея (у Юстина), черпавшими их из того же греческого источника; поэтому ответственным за какие-либо исторические недостатки следует считать не столько Курция, сколько его источник.

Так, приведенные им числа оказываются одинаковыми с числами, которые приводят другие писатели о том же предмете. Многочисленные описания местностей также не являются плодом его фантазии, но за исключением кое-каких украшений основываются на показаниях свидетелей, при том иногда очень хороших и заслуживающих доверия.

Кое-где у него видны даже следы исторической критики: так он указывает на противоречивые показания историков Клитарха и Тимагена, с одной стороны, и Птолемея — с другой, прибавляя при этом: «Так велика была у историков беспечность (т. е. небрежность в отыскании истины), или равный ей порок — легковерие» (IX, 5,25)⁵. Может быть, он применял эту критику и в других случаях, но не упоминал о ней. Можно поставить в упрек Курцию то, что он не сообщает о некоторых важных обстоятельствах из истории упоминаемых им государств: мы мало узнаем о состоянии Персии, почти ничего о жизни и последних судьбах греческих республик, даже о македонском владычестве. Все его внимание направлено на одного героя его повествования, которого он старается осветить с разных сторон: его деяния, жизнь, характер, а государство, история и судьба народов, их дела и взаимные отношения для него вещь второстепенная. На завоевание мира Александром, на соединение Европы и Азии под его владычеством он смотрит только как на дело его геройской силы и его счастья. Его личность заслоняет перед ним других действующих лиц; характеристику только его одного он дает в X, 5,26—36.

Описывая народы, он говорит об их характере, обычаях, о достопримечательностях их стран, но не интересуется экономической и духовной жизнью. Таковы, например, описания скифов (VII, 6, 11; VII, 7,3—4), Индии (VIII, 9).

Конечно, есть у Курция ошибки и вымыслы, но все-таки в них нельзя видеть намеренного обмана. Так, специалисты указывают, что он не может отличить Тигра от Евфрата (IV, 9,7,12), что он смешивает Черное море с Каспийским. Явно вымышлен рассказ о том, что царица Амазонок явилась к Александру, чтоб иметь от него детей (VI, 5, 24—32); но и этот рассказ о Амазонках выдуман не Курцием. Он есть также у Диодора и Юстина, а стало быть, Курций взял его из своего греческого источника; Плутарх и Арриан знают этот рассказ, но не верят ему, причем Арриан даже делает предположение, что под видом Амазонок персидский сатрап привел к Александру женщин какого-нибудь варварского народа, умеющих ездить верхом. Курций, верный своему принципу «переписывать» из источника все, привел и этот рассказ без всякой критики.

⁵ Фрагменты из Курция даются в переводе С. И. Соболевского.

Украшены вымыслом подробности сожжения Персеполя: по словам Курция, этот город был сожжен до тла, так что от него и следа не осталось, по желанию гетеры Таиды, причем сам Александр и все его сотрапезники, пьяные, лично поджигали царский дворец. Между тем, по свидетельству Арриана, Александр, возвратившись из Индии, вошел в этот город (Арриан, VII, 1, 4); да и после смерти Александра Персеполь был одним из главных городов новых монархий.

Встречаются у Курция также противоречия самому себе. Так, Александр в речи своей к воинам называет их «освободителями всего мира» (*terrarum orbis liberatores*) и вместе с тем говорит, что они «наложат иго не только на персов, но даже и на все народы» (III, 10,5).

К числу вымыслов надо отнести также речи, разговоры, письма разных лиц; но и эти украшения исторического повествования, может быть, всецело или отчасти взяты из источника, и к тому же древними читателями они не ставились в укор историку.

По своим политическим убеждениям Курций был монархист, как видно уже из прославления им царя Александра. Эти убеждения ясно выражены им в таких словах: «Царская власть — не тернит товарища... Когда македоняне обременили тело [т. е. государство] бóльшим числом глав, чем оно могло воспринять, остальные члены начали хиреть; держава, которая под властью одного могла бы стоять, рушилась, поддерживаемая несколькими. Поэтому народ римский с полным правом заявляет, что он обязан благосостоянием своему государю». Затем следует восхваление этого государя, т. е., по-видимому, Клавдия, и сравнение его с «новым светилом» (X, 9, 1—3).

Религиозные воззрения Курция — приблизительно те же, что были у его современников. В мире господствует судьба, которой избежать нельзя: она управляет всеми событиями. «Уже судьбою придвигались к народу македонскому гражданские войны» (X, 9,1). То же в V, 12,8; V, 13,22; VIII, 4,24; IX, 10,28; X, 5,36 и др. Но к оракулам Курций относится скептически и веру в них называет суеверием (*superstitio*). Он осуждает Александра за то, что он обратился к оракулу Аммона, и что «забыл о человеческом жребии» (IV, 7,25), признав за истину ответ жреца, будто отец его — Юпитер. «Если бы он здравым рассудком судил о достоверности оракула, то ответы его, конечно, могли бы показаться ему пустыми» (IV, 7,29). Обращение к гадалкам он также считает суеверием (V, 4,1), называя его «обманом человеческого ума» (VII, 7,8). Магия, по его мнению, есть не искусство, а «выдумка пустых [лживых] людей» (VII, 4,8). Как о предзнаменованиях Курций рассказывает о появлении какого-то морского чудовища при осаде Александром Тира, причем и осаждавшие и осажденные приняли это как благоприятное для себя предзнаменование. В начале осады Тира произошло еще и другое чудо: когда осажденные стали ковать железо, в печи под пламенем появились ручьи крови, а когда македонские солдаты резали хлеб, капала кровь, и это испугало Александра (IV, 2, 13—14). Во время шествия Александра к оракулу Юпитера Аммона несколько воронов сопровождали войско и указывали путь (IV, 7,15). Замечательно, что Курций, приводя эти чудеса и даже говоря о воздействии их на Александра и других, своего мнения о вере в них не высказывает и по сравнению со Светонием и Плинием Младшим оказывается в гораздо большей мере рационалистом.

Исследователей сочинения Курция с давних пор интересует вопрос, какими источниками он пользовался. К первоисточникам он не обращался; сам он только один раз цитирует Клитарха (IX, 8,15) и один раз Клитарха и Тимагена, противопоставляя им Птолемея (IX, 5,21) —

в обоих случаях по незначительному поводу, но на основании каких сочинений он написал свое сочинение в целом, он нигде не упоминает.

В новое время составила большая и довольно разноречивая литература по вопросу об источниках Курция, что вполне понятно, так как сочинения его предшественников об Александре до нас не дошли за исключением ничтожных фрагментов, а сочинений этих было много.

В настоящее время почти всеми исследователями этого вопроса признано, что основным источником Курция служило сочинение греческого писателя Клитарха, одного из многочисленных историков Александра Великого.

Походы Александра и его личность произвели громадное впечатление на современников, подобное тому, какое произвело открытие Америки на людей XV в. Стали известны страны, до тех пор едва известные по названию. Все это породило обширную историческую литературу. Не только ученые люди, сопровождавшие царя в Азию, такие как философ Каллисфен, ритор Анаксимен, писали историю этого похода; полководцы и другие лица, близко стоявшие к Александру и бывшие очевидцами событий, составляли и выпускали в свет мемуары о них. Таковы были, например, Птолемей (впоследствии царь Египта), Неарх, Аристобул, Онесикрит и другие. Как непосредственные свидетели событий, они могли описывать их с полной правдивостью, однако, достоверность сообщаемых ими сведений по большей части сомнительна. Дух лести, господствовавший в придворных кругах Александра, в большей или в меньшей степени перешел и в сочинения историков. Вот пример лести в сочинении Каллисфена, написанном еще при жизни Александра: «Когда Александр шел по берегу моря, то море отступило, немного приподнявшись, как будто почуяв его шествие и само узнав владыку, чтобы казалось, будто оно своим изгибом поклоняется ему» (фр. 25 у Мюллера, «Историки Александра»). Чудеса Востока также давали повод к разным преувеличениям и прикрасам. И таким образом, страсть к сказочному и чудесному распространилась на рассказы об Александре; у одних авторов этого сказочного элемента больше, у других меньше. Арриан⁶ считает (V, 7, 1; VII, 15, 6) наиболее достоверными источниками сочинения Птолемея и Аристобула и относительно Индии — сочинение Неарха; напротив, Онесикрит любит баснословные рассказы. Дурной репутацией в этом отношении пользовался ритор Клитарх, младший современник участников похода, сам, по-видимому, в нем участвовавший. От его сочинения об Александре сохранилось 30 фрагментов, из которых только 6 имеют близкое отношение к Александру. Сочинение это было большое: оно состояло не менее, чем из 12 книг. По отзыву Квинтилиана, его талант как писателя заслуживает одобрения, но добросовестность как историка пользуется дурной репутацией (X, 1, 75). Цицерон, говоря, что риторам дозволяется лгать в истории, причисляет к таким историкам Клитарха («Брут», II, 42).

Деметрий («О стиле», 304) критикует его за напыщенность слога, за то, что он ради ничтожных вещей употребляет громкие слова, например, описывает насекомое меньше пчелы так, как будто говорит о диком быке или об Эриманфском кабане. На этот же недостаток Клитарха указывает и Псевдо-Лонгин («О высоком», 3, 2). Из этих отзывов древних авторов видно, что Клитарх считался талантливым писателем, но не достоверным историком; риторическая окраска его стиля была во вкусе того времени, и он

⁶ См. «Историю греческой литературы», т. III. М., Изд-во АН СССР, 1960, гл. IX.

поэтому пользовался популярностью: «известный автор» (*celebratus auctor*) — говорит о нем Плиний Старший («Естественная история», X, 136).

Популярность Клитарха подтверждается еще тем, что александрийские ученые признали его в «канон» образцовых историков.

Итак, теперь можно считать установленным в науке фактом, что Курций положил в основу своей «Истории Александра Великого» сочинение Клитарха, носившее приблизительно такое же заглавие. И, действительно, мы находим у Курция много сообщений, почти одинаковых с сообщениями Диодора и Юстина (т. е. Трога Помпея), которые, по предположению исследователей, тоже пользовались этим сочинением Клитарха. Мало того, в числе фрагментов самого Клитарха есть несколько таких, с которыми тождественны сообщения Курция, и как раз анекдотические, которые или совсем не упоминаются Аррианом и другими, не зависевшими от Клитарха писателями, или даже опровергаются имп. Так, в цитированном выше анекдотическом рассказе об участии и даже главной роли гетеры Таиды в сожжении Персеполя эта подробность сообщается Клитархом в фрагменте 5, а также Диодором (XVII, 72) и Плутархом (в биографии Александра гл. 38, но как одна из версий); а у Арриана (III, 18) и Страбона (XV, 3, 6) при рассказе о сожжении Персеполя эта женщина не упоминается.

Рассказ о царице Амазонок также есть у Клитарха (фр. 9), у Диодора (XVII, 77), Юстина (XII, 3), но Страбон (XI, 5, 4) указывает на фактическую невозможность такого события, Плутарх (гл. 46) и Арриан (VII, 13, 6) упоминают об этом известии как о не засвидетельствованном хорошими историками.

Как уже сказано, Курций любит изречения. Этим же отличался и Клитарх, судя по тому, что среди фрагментов из его сочинения сохранилось 17 изречений.

Курций показывает невероятно большое число убитых в сражениях персов по сравнению с числом убитых македонян. В сражении при Иссе, например, по его словам, у персов было убито 100 тысяч пехотинцев и 10 тысяч всадников, тогда как у македонян было 504 человека раненых, а убитых только 302 (по другому чтению даже 32) пехотинца и 150 всадников (III, 11, 27). Но и в таких случаях сообщения об огромном числе убитых противников едва ли выдуманы самим Курцием, а списаны, вероятно, у того же Клитарха: по крайней мере в другом месте (IX, 8, 15) Курций, сказав, что индийцы потеряли убитыми 800 тысяч, прямо ссылается на Клитарха.

На основании приведенных сейчас наблюдений можно представить себе процесс творчества Курция приблизительно в таком виде. Он положил в основу своей истории Александра сочинение Клитарха, пользовавшееся в то время популярностью как интересное чтение, хотя и не считавшееся вполне достоверным как историческое сочинение. Курцию как ритору оно было по душе благодаря своей риторичности и он его пересказывал (по его выражению «переписывал») без изменений и комментариев, внося без замечаний даже анекдотические подробности, может быть, даже сознавая, что это вымыслы, но не желая выбрасывать их, потому что они увеличивали интерес его сочинения.

Таким образом, нельзя винить его ни за географические ошибки, ни за преувеличения числа потерь у противника, ни за баснословные рассказы и т. д.; все это, очевидно, было в оригинале; Курций же, верный своему принципу, излагал на латинском языке все, что находил в источнике, — даже нравственные изречения, вероятно, брал из него. Есть предположение, что он пользовался Клитархом не непосредственно, а через сочи-

нение кого-либо другого, например, Тимагена, по этого вопроса, конечно, решить нельзя вследствие утраты всех предшествующих сочинений об Александре; да это и безразлично для суждения о Курции.

Но исследователю особенно интересует следующий факт: наряду с восхвалением Александра, Курций часто отзывается о нем и неодобрительно: откуда идет это течение? В очень многих местах Курций подчеркивает, что Александр обязан своими успехами, своим спасением от опасностей только необыкновенному счастью — Фортуне. «Фортуна ему доставила план, которого не мог придумать разум» (VI, 6, 27). «Александр решил напасть на даков; но и это предприятие, как и очень многое другое, совершила вместо него Фортуна, никогда не устававшая ему угрождать» (VIII, 3, 1). «Кто может отрицать, что и особенная слава чаще бывает благоденствием фортуны, чем доблести?» (VIII, 10, 18). То же и в других местах: III, 4, 11; III, 8, 20; III, 8, 29; IV, 9, 22; IV, 16, 22; V, 13, 22; IX, 10, 28.

Иногда Курций прямо осуждает Александра, называя его действия безрассудными и приписывая их успех только счастью «И этот план, может быть, безрассудный, как и все другое, сопровождало счастье царя» (VII, 3, 37). «Единственным их утешением в этом безрассудном предприятии было постоянное счастье царя» (IX, 9, 2). «Он отважился на поступок невероятный, пелуханный, гораздо более замечательный по молве о безрассудстве его, чем по славе» (IX, 5, 1). Здесь речь идет о том, что Александр один спрыгнул со стены в неприятельский город и оборонялся от окруживших его врагов. Интересно отметить, что Курций считает этот поступок безрассудным, а Диодор называет его «поступком невероятным и достойным упоминания» (XVII, 99, 1). Так как рассказ Диодора считается составленным по Клитарху, то можно думать, что у Клитарха не было осуждения этого поступка, а оно есть прибавка самого Курция. Однако на основании одного этого места нельзя заключить, что во всех других местах осуждение безрассудных поступков Александра исходит от самого Курция, тем более, что с таким же правом можно полагать, что и в данном месте у Клитарха было осуждение, но что Диодор пропустил его.

Впрочем, по поводу победы при Арбелах (или Гавгамелах) Курций говорит, что «этой победой царь был обязан больше своей доблести, чем счастью» (IV, 16, 27); но такая похвала, конечно, показывает, что в других случаях было противоположное. Наконец, в заключительной характеристике Александра, после рассказа о его смерти, Курций так резюмирует свое мнение по этому вопросу: «Должен сознаться, что, хотя Александр очень многим обязан был своей доблести, все-таки он больше обязан был фортуне, которую он один из смертных имел в своей власти. Сколько раз она избавляла его от смерти! Сколько раз она защищала его, когда он безрассудно бросался в опасности, постоянной удачей! Даже и жизни его она положила тот же предел, что и славе! Смерть ждала, пока он, покорив Восток и дойдя до океана, совершит все, что вмещает смертная природа» (X, 5, 35—36).

Однако это счастье Александра было причиной также и его нравственной испорченности. Курций следит шаг за шагом, как его герой после победы при Арбелах, достигнув мирового господства, падает все ниже в нравственном отношении: в нем развивается все больше честолюбие: он желает уже считаться сыном бога, Юпитера Аммона, жить наподобие восточного деспота, предается роскоши, жестокости, всяким порокам, заимствованным у побежденных. Уже при наказании коменданта города Газы он применяет жестокую казнь, чуждую греческим нравам (IV, 6, 29). После посещения оракула Аммона он «не только позволил, но и приказал называть

себя сыном Юпитера, и через это, желая увеличить славу своих подвигов таким названием, он ее испортил...⁷ Так фортуна по большей части делает людей, которых заставляет ей одной довериться, более жадными до славы, чем они могут ее воспринять» (IV, 7, 29—30). Особенно сильная перемена к худшему происходит в Александре после смерти Дария: «Он стал предаваться наслаждениям; кого не могло сломить оружие персов, того победили пороки, пиры до глубокой ночи, безумная сладость пьянства и почей без сна, забавы, женщины; все склонилось к чужеземным нравам; это возбуждало тяжелое чувство в его соотечественниках, так что очень многие друзья видели в нем врага» (VI, 2, 1—2). Решительный поворот к худшему произошел после перемены им одежды. «Тут он уже открыто дал волю своим страстям, воздержанность и умеренность, превосходные качества во всяком высоком положении, обратил в надменность и распустил. Отеческие обычаи, разумно установленные, образ жизни македонских царей и простые гражданские отношения [к подданным] он стал считать не соответствующими его величию и стал подражать высоте персидской царской власти, равной высоте богов. Он желал, чтобы люди простирались на земле, поклоняясь ему, и хотел мало-помалу победителей стольких народов приучить оказывать рабские услуги и приравнять их к пленным. Поэтому он надел на голову пурпуровую перевязь с белыми полосами, какая была у Дария, и облекся в персидскую одежду, а вместе с этим и в персидские нравы, и за гордым одеянием следовало и высокомерие души» (VI, 6, 1—5).

Рассказывая о том, как Александр, возвращаясь из Индии, устроил необычайно пышное триумфальное шествие, продолжавшееся семь дней, Курций оканчивает этот рассказ такими знаменательными словами: «За этой процессией следовал палач⁸ [так как было приказано казнить сатрапа Аспаста]: так жестокость не служит помехой роскоши, а роскошь — жестокости» (IX, 10, 29—30).

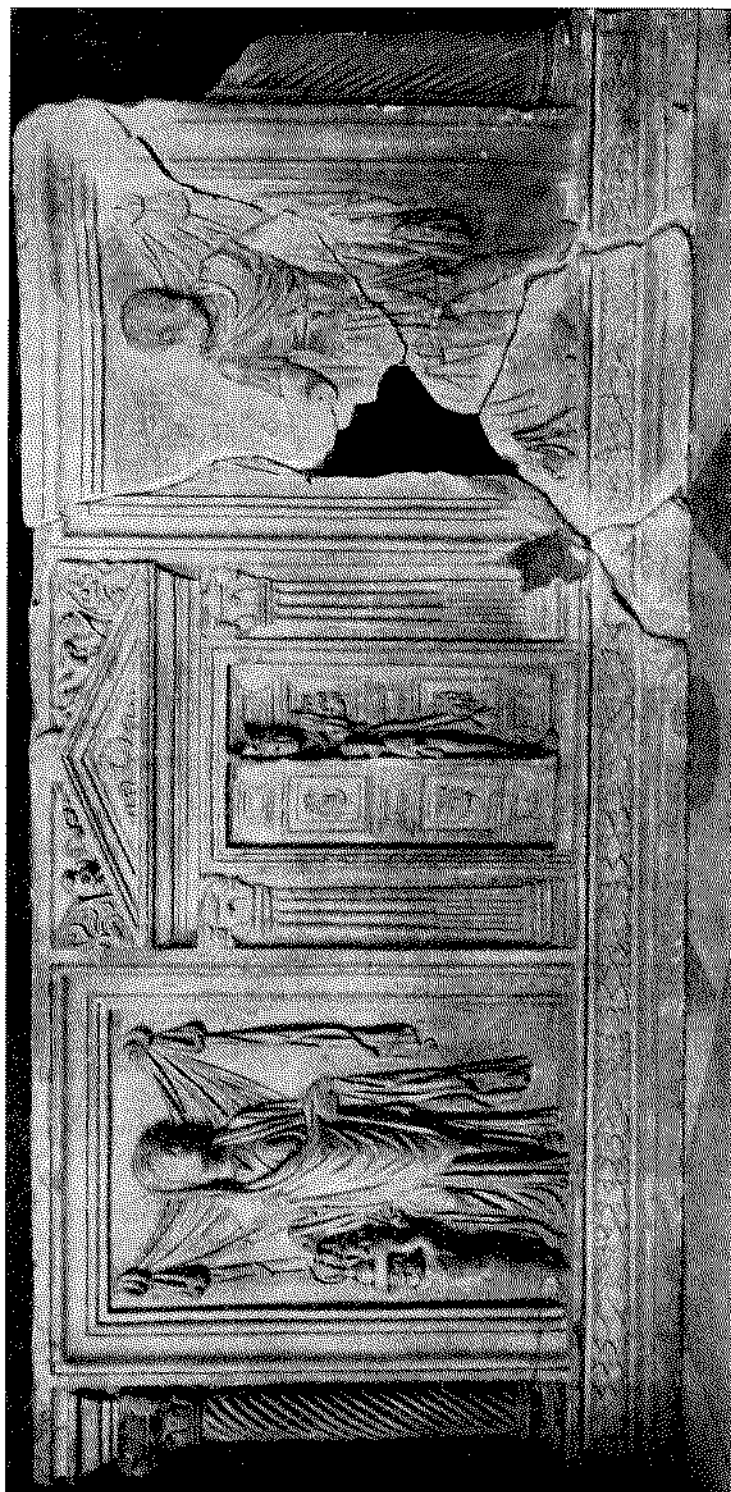
Итак, возникает вопрос: откуда идут эти порочащие Александра рассказы и замечания? Были ли они уже в источнике Курция, или они составляют его собственные добавления? На этот вопрос дать точный ответ, конечно, мы не можем за неимением данных. В науке высказаны две гипотезы по этому поводу: первая та, что Курций, кроме Клитарха, пользовался еще каким-то источником, в котором были эти неблагоприятные отзывы об Александре; вторая та, что эти отзывы принадлежат самому Курцию, что он их приводил из патриотизма, так как в римской литературе была тенденция унижать Александра как полководца, чтобы римских полководцев ставить выше его.

Но почему-то исследователи не хотят допустить возможности, что такие отзывы были уже у Клитарха; на основании сравнения рассказов Курция с соответствующими рассказами Диодора, в которых (тоже по предположению) в точности воспроизведен текст Клитарха, предполагают, что рассказ Клитарха не содержал ничего, порочащего Александра.

Такое предположение едва ли можно считать надежным. У Диодора очень сухое и, по-видимому, очень короткое изложение сочинения Клитарха, как видно уже из того, что у Клитарха было по крайней мере двенадцать книг, а у Диодора история Александра занимает только одну (XVII) книгу. Поэтому ясно, что Диодор пропускал очень многое из того, что было у Клитарха. Кроме того, у Диодора в одном месте выражена как

⁷ Т. е. слава подвигов его для простого смертного была больше, чем для сына бога.

⁸ Может быть, это слово надо понимать в переносном смысле: «казни».



Стенка саркофага

раз та мысль, что «военные успехи чаще достаются благодаря счастью, чем благодаря доблести» (XVII, 38, 5): стало быть, на основании упомянутого сейчас отношения Диодора к Клитарху, надо заключить, что эта мысль была и в сочинении Клитарха. Диодор (XVII, 72) в том же виде, как и Курций, рассказывает о сожжении дворца в Персеполе Александром и его собутыльниками в пьяном виде, причем инициатива и главная роль в этом, далеко не славном для Александра, деле принадлежит гетере Таиде.

Неблагоприятно отзываясь об Александре и еще один его историк, Ефиоп, в своем сочинении «О смерти (или о погребении) Александра и Гестеиона». В сохранившихся (очень немногих) отрывках из этого сочинения он говорит о роскоши Александра, о том, что в присутствии его «все молчали от страха, потому что он был, по-видимому, меланхолик»⁹. Время жизни этого писателя неизвестно, но, по довольно вероятному предположению, он был одним из сподвижников Александра, т. е. одним из ранних его историков.

Конечно, этим не исключается возможность того, что Курций некоторые рассказы такого рода (как и всякие другие) взял из какого-нибудь другого источника, но трудно считать, что он выдумал их от себя. Скорее можно так думать не о рассказах, а о суждениях по поводу их и об их оценке с нравственной точки зрения; тут он имел причину добавить к суждениям Клитарха кое-какие свои суждения. Дело в том, что неприязненное Александру течение уже было в греческой литературе. Об одном из представителей этого течения, Ефиопе, уже сказано. В Рим Александр пришел уже в виде восточного деспота. Цицерон называет его «надменным, жестоким, неумеренным» («Письма к Аттику», XIII, 28, 3). Ливий, желая исследовать вопрос, «какова была бы судьба римского государства, если бы ему пришлось воевать с Александром», приходит к выводу, что римский воин «прогонял и будет прогонять тысячи войск сильнее, чем войско македонян и Александра, только бы вечно пребывала любовь к тому миру, среди которого мы живем [т. е. в правление Августа], и забота о согласии граждан» (Ливий, IX, 17—19).

Еще позднее философ Сенека говорит об Александре, что «у того безумного юноши вместо доблести было счастливое безрассудство» («О благодеяниях», I, 13, 3; VII, 3, 1). Вот каков был взгляд римлян на Александра, когда Курций писал свою историю. Возможно, что такое воззрение оказало некоторое влияние и на него в том отношении, что, находя у Клитарха дурные отзывы об Александре, он не пропускал их, а помещал в свою историю, может быть, даже несколько усиливая их тон ради патриотизма; но во всяком случае трудно допустить, чтобы он сам выдумывал целые рассказы, порочащие Александра, вроде рассказа о триумфальном шествии его из Индии.

Слог Курция, согласно учению древних о языке историков, имеет риторическую окраску. Эта окраска касается более содержания, чем языка в собственном смысле. Как уже сказано, Курций всего более заботится об интересе читателей, подробно описывает эффектные события, страны, народы, но пропускает технические подробности военных операций, сражений, кратко рассказывает о мало занимательных событиях.

При этом, как в повествовании, так и в речах он любит приподнятый слог, нередко употребляет преувеличения, едва ли соответствующие действительности. Так, умершую жену Дария Александр оплакивает словно собственную мать: «испускал частые рыдания и со слезами такими, какие

⁹ Фрагменты историков Александра (у Мюллера при издании Арриана, стр. 126).

пролил бы Дарий, пришел в палатку, в которой находилась мать Дария, сидевшая при мертвом теле; тут возобновилась его скорбь, когда он увидел ее простертой на земле... Можно было подумать, что Александр плачет среди своих родных, и не утешает, но сам ищет утешения; он не принимал пищи и сохранил весь почет погребению по персидскому обычаю...» (IV, 10, 18, 19). Дальше в том же напыщенном тоне говорится, как один евнух увидав это, убежал к Дарию и рассказал ему о таком благородном поведении Александра. Дарий сперва не поверил этому, но потом, убедившись, сказал: «Отечественные боги! Прежде всего утвердите за мною царскую власть; затем, если мой конец настал, молю, чтобы царем Азии был не кто иной, как этот столь справедливый враг, столь милосердный победитель!» (IV, 10, 34).

Много найдется и других рассказов такого риторического характера; но опять возникает вопрос: кто придал рассказам эту риторическую окраску — Клитарх или Курций? Оба они, по-видимому, были риторы; как видно из приведенных выше отзывов, Клитарху было свойственно такое напыщенное изложение, и потому скорее всего следует предполагать, что и у Курция риторическая окраска рассказов в первую очередь принадлежит Клитарху: Курций не имел причины уничтожать ее.

Такая отделка слога заметна у Курция главным образом в местах драматических и вообще «интересных», а в простом рассказе его изложение иногда можно назвать даже небрежным: бывают повторения одного слова, резкая перемена подлежащего без указания на это, пропуск подлежащего (особенно часто «Александр» и «Дарий»), пропуск обозначения места, времени (например слов: «там», «скоро», «когда-то»), отчего получается неясность, встречаются плеоназмы, тавтологии. Но собственно риторических фигур у Курция мало: так, антитеза, этого любимого украшения стиля, насчитывают во всем его сочинении только 17, тогда как у Веллея, например, их столько же попадаетея чуть ли не в каждой главе. К числу риторических приемов у Курция надо отнести довольно частое олицетворение как абстрактных, так и конкретных предметов, например олицетворение «необходимости» в приведенной выше выписке.

Лексически слог Курция довольно беден: у него насчитывают лишь 3850 слов; из них около 75 процентов имеется у Тита Ливия, языку которого Курций заметно подражает. В общем, язык Курция в лексическом и грамматическом отношении близок к языку классического периода — настолько близок, что некоторые ученые (например, превосходный латинист К. Т. Цумпт) считали возможным отнести время жизни Курция к эпохе Августа. Особенности «серебряной» латыни у него очень мало, архаизмов нет, поэтических слов немного.

Вот некоторые синтаксические особенности, свойственные языку «серебряного века» и совсем или почти совсем чуждые языку классического периода. Существительное с предлогом употребляется как определение существительного *bellum in Eуропа* (III, 10, 4) — «война в Европе» *proelium apud Arbela* (V, 1, 2) — «сражение при Арбелах»; родительный падеж как родительный отношения: *securus periculi* (V, 10, 15) — «беззаботный относительно опасности», «не думая об опасности»; творительный падеж без предлога для обозначения места в ответ на вопрос «где»: *argenteis cubat lectis* (VIII, 8, 9) — «лежит на серебряных койках»; в итеративных предложениях (условных, временных), наряду с изъявительным наклонением встречается и сослагательное: *Attalum, quum procul viseretur, veste regia exornat* (VIII, 13, 21) — «он одевал Аттала в царское платье всякий раз, когда его можно было видеть издали». В *accusativus cum infinitivo* часто пропускается винительный падеж подлежащего, если

оно есть личное или возвратное местоимение; очень часто употребляется *participium futuri activi* для обозначения цели; при *iubeo* ставится предложение с *ut*; при *non dubito*, наряду с предложением с *quin*, бывает *assusativus cum infinitivo*; простой косвенный вопрос иногда вводится частицей *an*; в косвенной речи очень часто придаточное предложение выражается изъявительным наклоном. Расположение слов часто бывает необыкновенное, без всякой видимой причины.

В общем, сочинение Курция читается легко и с удовольствием, если не относиться слишком придирчиво к несколько напыщенному стилю изложения. Есть рассказ, что Альфонс V, король Арагона и Сицилии (1382—1458), во время тяжелой болезни, не поддававшейся лечению, стал читать это сочинение и был так очарован прелестью его, что уже с первого дня чтения почувствовал облегчение, а затем и совсем выздоровел. Из старинных ученых некоторые дают о Курции восторженные отзывы, например Юст Липсий (эти отзывы собраны в издании Лемера, т. III, стр. 322—335).

Благодаря этим свойствам Курция — легкости языка и занимательности содержания — его сочинение уже давно считается полезным для чтения в школах, как в полном виде, так и в отрывках, помещаемых в хрестоматиях.

Но у современников своих Курцию, по-видимому, не посчастливилось: из древности не дошло до нас ни одного упоминания о нем и его сочинении, никаких следов влияния его на кого-либо из древних писателей не заметно. В средние века он был известен, о чем свидетельствует его влияние на стиль Эйнгарда, биографа Карла Великого (ок. 770—840 гг.), а также то, что рукописи, содержащие это сочинение, относятся к средним векам. Но и в средние века цитат из него встречается мало.

Рукописей, содержащих сочинение Курция, дошло до нас довольно много. Они разделяются на два класса: рукописи старшего класса (очень немногие) относятся к IX—XI вв.; рукописи более поздние и худшего качества относятся к XIV и последующим векам. Все рукописи восходят к одному архетипу; это видно из того, что во всех этих рукописях нет книг I и II и пропуски в других книгах одинаковы.

Изданий сочинения Курция много. Первое издание (*editio princeps*) вышло в Венеции в 1470 г. Из последующих старинных изданий надо отметить издание Фрейнштейма (Joh. Freinsheim) в Страсбурге 1648 и 1670 гг. Оно замечательно тем, что в нем помещены «дополнения» (*supplementa*), а именно: Фрейнштейм на основании разных источников изложил на прекрасном латинском языке в стиле Курция (а отчасти и в духе его, даже с упоминанием фортуны) ту часть истории Александра, которая должна была содержаться в утраченных первых двух книгах Курция, а также дополнил пропуски, имеющиеся в других книгах (V, 13; начало VI книги; X, 1 и 4). Эти дополнения очень полезны, так как в них собран весь материал, который мог служить для восстановления содержания этих книг и мест. Поэтому они помещены в некоторых старинных изданиях Курция (например в издании Лемера). Дополнения делали и другие ученые, но не так удачно, как Фрейнштейм¹⁰.

Кроме изданий всех книг Курция или некоторых из них, есть также огромное число хрестоматий, содержащих выбранные для школьного употребления отрывки из всего сочинения.

¹⁰ Фрейнштейм составил дополнения и к истории Ливия (см. «История римской литературы», т. I. М., Изд-во АН СССР, 1959, гл. XXX).

4. ОСТАЛЬНЫЕ ИСТОРИКИ I В. Н. Э.

Из исторической литературы I в. н. э. сохранились только сочинения трех рассмотренных историков. Однако в этот период были и другие историки, но сочинения их или совсем не дошли до нас, или от них сохранились ничтожные отрывки, а порой даже только упоминания у разных писателей.

Вот известные нам имена некоторых таких историков: А. Кремуций Корд, Анней Сенека Старший, император Клавдий, Авфидий Басс, М. Сервий Нониан, Плиний Старший, Клувий Руф, Фабий Рустик. Некоторые сведения о них нужны потому, что их сочинения служили источниками для позднейших историков.

А. Кремуций Корд (A. Cremulius Cordus). Это тот самый историк, который при Тиберии был обвинен за то, что похвалил в своем сочинении Брута и Кассия, назвав их последними римлянами. Его сочинение было сожжено, и он сам лишился жизни (в 25 г. н. э.). Его дочери все-таки удалось спасти это сочинение. Во всяком случае, после смерти Тиберия, Калигула приказал его читать; оно было известно Тациту, Светонию и Диону Кассию. Сочинение содержало историю Ю. Цезаря и Августа.

Значительный отрывок из него — о смерти Цицерона — приводит Сенека Старший («Свазории», 6, 19).

Л. Анней Сенека Старший (L. Annaeus Seneca). О его истории рассказывает его сын, Сенека Младший, философ. По его словам, отец написал историю «с начала гражданских войн почти до дня своей смерти»; между прочим, в ней говорилось о смерти Тиберия. По свидетельству Лактанция (церковного писателя IV в.), Сенека делил историю Рима на семь «возрастов»: младенчество было при Ромуле, детство — при остальных царях и т. д.

Император *Клавдий*, по совету Тита Ливия еще в молодости стал заниматься составлением исторических сочинений и продолжал занятия наукой, даже сделавшись императором. Начал он свою историю со времени, следовавшего за убийством Ю. Цезаря; но, чувствуя, что он не может говорить об этом времени откровенно и правдиво, так как и мать его и бабушка часто бранили его за это, он, написав две книги, оставил это сочинение, и стал писать историю времени более позднего — начиная с «гражданского мира», т. е. с восстановления Августом в 29 г. до н. э. мира между гражданами. Этот труд состоял из 41 книги. Составил он также собственную «Биографию» в 8 книгах. Кроме того, он написал на греческом языке два сочинения: историю этрусков в 20 книгах и историю карфагенян в 8 книгах. Среди современников Клавдия и вообще в римской литературе его сочинения не пользовались уважением. О «Биографии» Светоний презрительно отзывается, что она написана «скорее глупо, чем некрасиво» («Клавдий», гл. 41), т. е. что она по содержанию неудовлетворительна, но по изложению недурна. Тацит нигде не высказывает уважения к умственным и нравственным свойствам Клавдия и нигде не делает указаний на его литературные труды. Но правдивость Клавдий любил, как видно из того, что он предпочел оставить неоконченной историю гражданских войн, чем отступить от правды в угоду матери и бабушке, и что написал «довольно ученый» трактат «Защиту Цицерона против Асиния Галла» (там же). Сенека, вообще неприязненно относившийся к филологической и исторической учености, осмеял Клавдия после его смерти в своем «Отыквлении» (Aprocolocytosis) (гл. 5), изобразив его радующимся, что на небе есть филологи и надеющимся, что для его истории будет какою-нибудь место.

Авфидий Басс (Aufidius Bassus) и *Сервилий Нониан* (Servilius Nonianus). Оба крупные историки, отмеченные Квинтилианом (X, 1, 102—103) наряду с Саллюстием и Ливием. Оба они пережили в зрелом возрасте время Тиберия и умерли при Нероне, оставив исторические сочинения, обнимавшие, как надо предполагать, почти одну и ту же эпоху. По словам Квинтилиана, Авфидий Басс был несколько старше Сервилия Нониана; он был жив еще в последние годы жизни философа Сенеки (умершего в 65 г. н. э.), который упоминает о нем с уважением в «Письмах к Луцилию» (письмо XXX).

С чего начиналась его история и чем кончалась, неизвестно; так как в двух фрагментах у Сенеки Старшего («Свазории», VI, 18; VI, 23) говорится о смерти Цицерона (43 г. до н. э.), то можно предполагать, что она начиналась рассказом о гражданских войнах. Оканчивалась она, вероятно, на каком-нибудь событии времени Клавдия. Это можно заключить по следующим соображениям. Плиний Старший начал свою историю с того места, где Авфидий Басс окончил свою: a fine Aufidii Bassi, как он сам заявляет в своей «Естественной истории» («Предисловие», 20). Свою историю Плиний называет «Историей наших времен», а эта современная ему история началась для него не раньше времени Клавдия, при вступлении которого на престол ему было всего 18 лет. Но нет оснований думать, что Плиний начал свою историю с начала правления Клавдия. Если бы это было так, то при такой определенности ему незачем было бы характеризовать ее начало таким неточным выражением, как «от конца Авфидия Басса». Поэтому надо думать, что сочинение Авфидия Басса обрывалось на каком-то событии уже после начала правления Клавдия.

Кроме этого, у Авфидия Басса было другое сочинение, которое Квинтилиан называет: «Книгами о войне (или о войнах) с германцами» — *Libri belli germanici* (X, 1, 103). Никаких сведений об этом труде не имеется.

Оба эти сочинения, надо полагать, были солидными трудами: об этом свидетельствует и похвальный отзыв о них Квинтилиана, а также и то, что Плиний Старший, знаменитый ученый, решил быть продолжателем его «Истории» и даже дал своему труду заглавие с его именем.

О высоком достоинстве его «Истории» можно заключить также из того, что она не была забыта и в самые последние времена античного мира: ею пользовался Кассиодор (историк V — VI вв.)

Сервилий Нониан был сыном Марка Сервилия, консула 3 г. н. э., в 35 г. он сам был консулом; был он и сенатором; умер в 59 г. Сперва он занимался адвокатской деятельностью, потом стал историком. Это был человек умный, достойный уважения, как видно из того, что поэт Персий читал его, как отца. О красноречии его с похвалой отзывается Тацит в «Разговоре об ораторах» (гл. 23), упоминая его рядом с Авфидием Бассом. Об его ораторском таланте свидетельствует также рассказ в письме Плиния Младшего (I, 13, 3) о том, что император Клавдий, гуляя однажды по Палатину, услышал крик. Узнав, что этот крик (очевидно, одобрительный) раздается при чтении Нониана, он неожиданно для автора пришел на его чтение.

Об его литературной деятельности как историка известно только то, что у него было много изречений и что он «писал менее сжато, чем того требует достоинство истории» (Квинтилиан, X, 1, 102). Но, какое время описывал он, неизвестно; ни один писатель не цитирует его истории. Ученые нового времени предполагают, что Тацит в своих сочинениях пользовался им, как и Авфидием Бассом.

Плиний Старший. Общий очерк его жизни и литературной деятельности дан в гл. VIII. В числе написанного им было два исторических

сочинения: 1) уже упомянутое выше продолжение истории Авфидия Басса и 2) история всех войн римлян с германцами.

Первое сочинение заключало в себе 31 книгу и начиналось, как уже сказано, с того времени, на котором остановилась история Авфидия Басса, т. е., вероятно, с какого-нибудь события во время правления Клавдия. До каких пор оно было доведено, неизвестно; как видно из сохранившихся фрагментов, в нем была изложена история всего правления Нерона и даже упоминалось одно событие 69 г. Какого достоинства была история Плиния, мы также не знаем; его племянник, Плиний Младший, говорит, что дядя написал ее *religiosissime* («Письма», V, 8, 5); это слово имеет очень неопределенное значение: оно может значить «очень тщательно» и «с большим жаром». Тацит упоминает о ней мельком в трех местах: «Летопись» XIII, 20 и XV, 53 и «История» III, 28, но не высказывает своего мнения о ней.

О втором сочинении Плиния также ничего неизвестно, кроме того, что оно состояло из 20 книг и что в нем были описаны все войны, которые когда-либо римляне вели с германцами, т. е., вероятно, начиная с нашествия кимвров и тевтонов. Упоминает о нем Тацит в «Летописи» I, 69, Светоний в биографии Калигулы, гл. 8 и в отрывке сочинения «О знаменитых мужах».

Марк Клувий Руф (M. Cluvius Rufus) был знатный человек, занимавший разные государственные должности: был один год консулом (до 41 г.). Клувий был близок Нерону, служил ему глашатаем, когда тот шел в Риме и в Греции в 66 г. Он умел ужиться с Гальбой, Отоном и с Вителлием. Эти сведения о служебной карьере Клувия сообщает в своей «Истории» Тацит, относившийся к нему благоприятно, называвший его «красноречивым и обладавшим способностями для мирного времени, но в войне неопытным» («История», I, 8). В другом месте Тацит (IV, 43) рассказывает о похвале, возданной Клувию в сенате в 70 г. известным стоическим философом Гельвидием Приском, за то, что он, «будучи богат и знаменит красноречием, не причинил никому опасности при Нероне». Это было признаком большого благородства в тот ужасный век: стоя так близко к Нерону, Клувий не воспользовался своим положением, чтобы причинить кому-либо зло.

Его сочинение носило заглавие «История». С чего оно начиналось и чем кончалось, неизвестно. Судя по фрагментам, можно заключить, что в нем говорилось о времени Нерона и даже Отона.

Что он был историк добросовестный, видно из его собственных слов, приведенных Плинием Младшим, где он говорит о том, что история должна быть правдивой, и извиняется перед своим собеседником, Вергинием Руфом, что ему может не понравиться что-нибудь из того, что он сказал о нем в своей истории («Письма», IX, 19,5). Но не видно, чтоб он пользовался славой как историк: несмотря на красноречие Клувия, Квинтилиан не упоминает его в X книге в числе красноречивых историков наряду с Авфидием Бассом и Сервилием Нонианом.

Фабий Рустик (Fabius Rusticus) известен нам только по упоминаниям Тацита о нем. Он называет его «самым красноречивым историком нового времени», ставя его наряду с Ливием, «самым красноречивым историком старого времени» («Агрикола», 10), кроме того, Тацит трижды ссылается на его историческое сочинение в «Летописи» (XIII, 20; XIV, 2; XV, 61).

Все ссылки в «Летописи» относятся ко времени правления Нерона; в «Агриколе» ссылка о том, что «форму Британии он, как и Ливий, сравнивал с продолговатым блюдом или обоюдоострой секирой», может относиться

к правлению либо Клавдия, либо Нерона. Таким образом, с достоверностью можно сказать только то, что в историческом труде Фабия было описано время Нерона.

Кроме этих достоверных сведений о Фабии есть еще три известия, которые, по мнению ученых нового времени, могут относиться к нему.

У Плиния Младшего есть письмо к «Рустикю» (IX, 29). Но нет основания приписывать этого Рустика за историка Фабия Рустика. Квинтилиан говорит о каком-то первоклассном историке, не называя его по имени: «Еще жив и украшает славу нашего поколения муж, достойный памяти веков, который когда-нибудь будет назван, а теперь разумеется» (X, 1, 104). Некоторые ученые, в том числе В. Модестов¹¹, предполагают, что здесь имеется в виду Фабий Рустик. Ясно, что это предположение ни на чем не основано. В одной надписи 108 г., содержащей завещание некоего Дазумия, сказано, что он назначает своими наследниками таких-то лиц, в том числе Секунда, Корнелия. «По всей вероятности,— говорит Шанц,— упомянутый в завещании Дазумия Рустик есть он»¹². Но надпись эта сильно испорчена. В тексте ее имени Рустика нет¹³, есть Fabul, которое вероятно, принято Шанцем и другими за Fabio. Таким образом, и это предположение ни на чем не основано.

5. РУТИЛИЙ ЛУП И ДРУГИЕ РИТОРЫ

От I в. н. э. кроме всеобъемлющего и глубоко продуманного курса красноречия, оставленного Квинтилианом, до нас дошло еще одно маленькое и, по-видимому, не полностью сохранившееся сочинение «О фигурах» некоего *Рутилия Луна* (Rutilius Lupus). О нем несколько раз упоминает Квинтилиан (IX, 2, 101 сл., IX, 3, 36, 84 и др.); он же сообщает, что это сочинение не является самостоятельной работой Рутилия, а представляет собой сокращение труда греческого учителя риторики Горгия, обучавшего сына Цицерона (Цицерон, «Письма к близким», XVI, 21,6); учение о фигурах было у Горгия изложено в четырех книгах, Рутилий же, по утверждению Квинтилиана, изложил его в одной книге. Квинтилиан ссылается на него при изложении как фигур речи, так и фигур мысли; однако, сочинение, дошедшее до нас, охватывает только фигуры речи (оно носит и соответствующее название «Schemata Laxeos» и без всякой понятной причины разделено на две книги, отчего и возникает предположение, что оно дошло в искаженном виде). Это сочинение представляет собой краткое, сухое перечисление фигур речи, снабженное примерами; в этих примерах и заключается главная ценность этого сочинения. Кроме двух-трех они заимствованы из греческих ораторов и прекрасно переведены на латинский язык; высокое качество языка этих переводов резко отличается от довольно беспомощных дефиниций. Заимствовал ли Рутилий эти переводы у других авторов или он сам был лучшим переводчиком, чем теоретиком, неизвестно; многие примеры взяты из речей авторов, до нас не дошедших (Стратокла, Харисия, Клеохара и др.). Чисто латинским примером иллюстрируется только фигура, называемая «перегиб» — употребление одного и того же выражения в противоположном смысле. Примером «такого рода», — пишет Рутилий, — является распространенный анекдот о Прокулее. Когда Прокулей однажды увещевал своего сына, бранил его за то, что он слишком дерзко распоряжается отцовскими деньгами и тратит их на все,

¹¹ «Заметки по Тацитю», III, 152. ЖМНП, 1893, декабрь.

¹² Gesch. d. röm. Literatur⁴, II, S. 648.

¹³ См. В r u n s. Fontes iuris antiqui⁶, p. 371.

что ему придет в голову, и предупреждал его, что пусть он не надеется на полную свободу после того, как отец умрет, между тем, как теперь, при живом отце, ему все позволено, сын ответил ему, что нет необходимости повторять ему всегда одно и то же и что он вовсе не ждет смерти отца. На что Прокулей возразил ему: „Но я-то прошу тебя подождать моей смерти и не стараться ускорить ее“¹⁴ (1, 5).

Остальные малые риторы этой эпохи известны нам только по имени. Интересно только одно сведение, сообщаемое Авлом Геллием, свидетельствующее о том, что между риторам разных направлений уже через 100 лет после смерти Цицерона все еще шли споры о достоинствах и недостатках его речей: «Нашлось несколько сумасшедших безумцев, в том числе Асиний Галл и Ларгий Лицин, книга которого даже носит возмутительное название „Бичеватель Цицерона“ (Ciceromastix), которые осмелились написать, что Цицерон говорил несвязно, нескладно и непродуманно» (Геллий, XVII, 1,4). О том, что Асиний Галл, сын Асиния Поллиона, ставил своего отца выше Цицерона, упоминает и Плиний Младший (VII, 4,3). Светоний же в биографии императора Клавдия сообщает, что Клавдий написал книгу в опровержение этого мнения (гл. 41).

О других раторах, Вергинии Флаве, Тутилии, Палфурии Суре и Валерии Лициниане имеются только беглые упоминания у Тацита, Ювенала, Марциала, Плиния. Судьба последнего очень своеобразна: он не был ритором по профессии, а принадлежал к римской знати, но при Домициане, удалившись добровольно в изгнание, из сенатора превратился в изгнанника и из оратора в ратора. Так, в своем предисловии (или «вступительной лекции» — *praefatio*) он говорит грустно и задумчиво: «Какие шутки ты позволяешь себе, Фортуна? Из сенаторов ты делаешь учителей, а из учителей сенаторов» (Плиний Младший, IV, 11,1). Плиний прибавляет с иронией: «В этих словах столько горечи и желчи, что, мне кажется, он стал учителем, чтобы сказать это». Он избрал добровольное изгнание, обвиняемый в любовной связи с той весталкой, которую Домициан велел в наказание закопать в землю живой. Это обвинение, очевидно, осталось лежать на нем позорным пятном, так как и при Нерве ему было разрешено жить только в Сицилии, где он и продолжал учительствовать, а не вернуться в Рим.

6. ВАЛЕРИЙ ПРОБ

Сведения о грамматике Марке Валерии Пробе (M. Valerius Probus) чрезвычайно скудны; мы черпаем их из фрагментов сочинения Светония «О грамматиках» и из нескольких упоминаний его имени у Авла Геллия и Иеронима. Светоний дает следующую краткую его характеристику: «Марк Валерий Проб, родом из Берита, долго добивался должности цензуриона, а когда ему это надоело, он занялся наукой. Будучи в провинции, он нашел некоторые старинные книги у учителя грамматики; там еще сохранялась память о старых ученых, не забытых еще полностью, как в Риме. Он тщательно изучил их и захотел познакомиться еще и с другими, и хотя он заметил, что они находятся в полном презрении и изучение их приносит читающим скорее порицание, чем славу и выгоду, он тем не менее остался при своем намерении. Он постарался исправить, привести в порядок и снабдить примечаниями много испорченных экземпляров, преданный только этому делу и ничем другим, кроме грамматики, не интересовавшийся. У него было несколько учеников, вернее, последователей,

¹⁴ Перевод М. Е. Грабарь-Пассек.

потому что он никогда не преподавал и не держался так, как обычно держится учитель: он обычно допускал к себе то одного, то другого, иногда — самое большее — трех-четырех и в послеобеденные часы, лежа, в ходе длинных и обычных разговоров подчас сообщал то одно, то другое; но и это бывало очень редко. Он издал чрезвычайно мало сочинений и только по нескольким мельчайшим вопросам (*minutis quaestiunculis*); но за то оставил огромное множество наблюдений над древним языком» («О грамматиках», 24). Авл Геллий называет Валерия Проба «знаменитым грамматиком» (I, 15, 18), человеком «исключительной учености для своего времени» (IV, 7, 1), «весьма изощренным в чтении и истолковании древних книг» (IX, 9, 12) и ссылается на него при установлении разночтений отдельных слов у Саллюстия, Плавта и Вергилия. Самому Геллию, по его словам, удалось приобрести «очень много комментариев Проба» (XV, 30, 5), что несколько противоречит словам Светония о том, что Проб написал мало. Однако, уже во время Геллия Проба, очевидно, приписывались и чужие сочинения, и чужие мнения: это видно из сообщений того же Геллия о том, что даже ученики и приятели его, с которыми Геллий был лично знаком, спорили между собой, высказывал ли Проб то или другое мнение (I, 15, 18 и XV, 30, 4). Расцвет его деятельности, по свидетельству Иеронима, относился к 56 г. н. э., т. е. к времени правления Нерона.

Единственное дошедшее до нас произведение, достоверно принадлежащее Пробу, — это список сокращений слов, часто употреблявшихся в деловых документах. Сокращения производятся по системе начальных букв и список начинается с общеизвестных сокращений собственных имен (M. = Marcus, Sp = Spaeus) и формул (a. u. c. = ab urbe condita, C. R. = civis Romanus) и доходит до сложных судебных формул, сокращенных 15—20 буквами.

О недошедших до нас сочинениях Проба имеются сведения у того же Авла Геллия; он упоминает о «Письме к Марцеллу» (IV, 7, 1) и о «весьма любопытном сочинении о тайном значении отдельных букв в рукописях писем Цезаря» (XVII, 9, 5), что указывает на существование в Риме шифрованного письма.

По различным намекам у Геллия, Иеронима и Доната исследователи предполагают, что Пробом были изданы стихотворения Горация, поэма Лукреция, комедии Теренция и сатиры Персия, но достоверным считать это нельзя.

Пробу приписываются еще пять сочинений, которые, однако, по языку и манере изложения не могут принадлежать одному и тому же автору и, кроме того, помечены именем Проба не во всех дошедших до нас рукописях. Эти сочинения следующие:

1. *Catholica* в трех книгах, где излагается учение о склонении существительных, некоторые особенности спряжения глаголов и ораторских клаузул (утрачена вся книга II, начало и конец III).

2. Большое сочинение по грамматике и лексикологии под названием *Instituta artium* («Основы наук»), излагающее учение о звуках, об образовании слов и о частях речи; написанное многословно, несколько бессистемно, с многими повторениями, оно, несомненно, не принадлежит Пробу, а относится к IV в. н. э., так как в нем в качестве примера на имена собственные упоминаются *Diocletianae*, т. е. термы, выстроенные Диоклетианом. Качество изложения очень неровно. В противоположность вполне правильному и логичному изложению некоторых разделов грамматики учение о словообразовании весьма оригинально, а именно: всякое длинное слово, по мнению анонимного автора, распадается на ряд мелких слов; притом одни из них «цельные», другие «испорченные» (*integra et corrupta*);

но этому методу слова дробятся совершенно произвольно; например прилагательное *inportunus* разбивается на два «цельных» слова: *in* — предлог и *tu* — личное местоимение и два «испорченных» — *por* и *pus*; в собственном имени *Semproniani* — «испорченным» признается только слог *sem*; остальное слово составлено из двух предлогов *pro* и *a* и дважды повторенного союза *ni*. Наряду с таким фантастическим словообразованием в книге есть раздел, вполне правильно излагающий учение о производных и уменьшительных формах (*derivatio* и *deminutio*), например от корня *mons* происходят *montius*, *montanus*, *monticulus*, от *pater* — *paternus*, *patrius*.

3. Третье сочинение, носящее название «*Appendix Probi*» представляет собой, по-видимому, экскерпты из какого-то грамматического трактата и дает: во-первых, некоторые правила склонения существительных и, во-вторых, примеры орфографии и орфоэпии, интересные с точки зрения истории поздней латыни (в примерах уже заметно выпадение неударных гласных, смешение родовых флексий и т. п.) и, в-третьих, объяснение синонимов и полусинонимов, опять-таки свидетельствующее о крупных переменных в произношении (например, считается нужным объяснять разницу между *hos* — *os*, *aes* — *es*, *velit* — *vellit*, *tuum-tum*, *Labat* — *Lavat*): кое-где объяснены оттенки слов, зависящие от суффиксов; между *ebrius* и *ebriosus* разница та, что *ebrius* обозначает того, кто в данное время много выпил, а *ebriosus* того, кто всегда много пьет (соответствует русскому «пьяный» и «пьющий»).

4. Маленькое сочинение под названием «*De nomine excerpta*», очевидно представляющее собой выборки из какой-то грамматики, касающиеся опять-таки склонения существительных.

5. Сочинение «О конечных слогах» (*De ultimis syllabis*) с подзаголовком *Liber ad Caelestinum*. Этот подробный трактат, в котором приведено много стихотворных примеров, может представить известный интерес для тех, кто занимается теорией стихосложения и ораторских клаузул.

7. АСКОНИЙ ПЕДИАН

Последний век римской республики и время принципата оставили богатейшее литературное наследство; в I в. н. э., условия для самостоятельного творчества стали ухудшаться, атмосфера становилась все душнее и значительная часть людей, заинтересованных в литературе, перешла к изучению и комментированию великих произведений прошлого века и к подведению итогов литературного опыта. Одним из виднейших деятелей на этом поприще был Квинт Асконий Педян (*Q. Asconius Pedianus*), ученый историк и комментатор, живший при Нероне. Главным его трудом был, по-видимому, детальный и в высшей степени добросовестно составленный комментарий к речам Цицерона, о котором упоминает Квинтиллиан. Указывая на многозначность термина *argumentum*, он говорит, что его употребляет Педян, понимая под этим «самое тему речей Цицерона» (V, 10, 9).

Из этого труда Аскония до нас дошел комментарий только к пяти речам; две речи из этих пяти — против Пизона (55 г. до н. э.) и в защиту Милона (52 г.) — дошли до нас полностью, речь в защиту Скавра (54 г.) частично, а от двух речей — в защиту Корнелия (65 г.) и так наз. *In toga candida* (64 г.) — сохранились только фрагменты. Поэтому комментарий Аскония представляет большую ценность.

Возможно, что Асконий прокомментировал и ряд других речей Цицерона, но мы имеем сведения только о комментарии к речи за Секста Росция. Авл Геллий, приводя разные мнения о времени произнесения этой

речи, оспаривает утверждения Корнелия Непота, что Цицерону было в то время только 23 года, и Фенестеллы, называющего цифру 26 лет; Асконий на основании исторических доводов, приводимых у Геллия, считает, что Цицерону было уже 27 лет, и Геллий примыкает к его мнению, полагая, что Корнелий Непот, возможно, «из любви и дружбы к Цицерону, убавил его возраст на четыре года, чтобы увеличить восхищение его талантом» (XV, 28, 4—5).

Комментарий Аскония носит чисто исторический характер; лексика, грамматические особенности и риторические приемы его не интересуют.

Комментарий к пяти вышеприведенным речам дошел до нас не в первоначальном виде. Сам Асконий в предисловии к речи в защиту Скавра говорит, что он комментирует речи в хронологическом порядке, в рукописи же, найденной в Сан-Галленском монастыре знаменитым Поджио в 1416 г. и впоследствии пропавшей, они расположены вперемежку и в таком порядке вошли в печатные издания.

До нас дошел еще комментарий к Верринам, долгое время приписывавшийся Асконию; в настоящее время исследователи склонны скорее приписывать его Сервию, комментатору Вергилия (IV в. н. э.).

Имеются сведения еще о трех утраченных сочинениях Аскония:

1. «Книга против противников (порицателей) Вергилия» (*Liber contra obrectatores Vergilii*), в которой он защищал Вергилия от упреков в неверном изображении исторических фактов и неправильном пользовании латинским языком. Ввиду той точности и тщательности, которые характерны для Аскония, утрата этого сочинения очень печальна. Сведения о нем имеются в одном из жизнеописаний (*vitae*) Вергилия.

2. Свида сообщает, что Асконий написал одно чисто литературное произведение «Симпосий», в котором излагал беседу нескольких римских nobilium на пиру у консула Юния Блеза в 28 г. н. э.; беседа велась на тему о пользе физических упражнений для сохранения сил и бодрости; в качестве живого примера выступал бывший атлет грек Исидор, 91 года от роду.

3. Наименее достоверно сведение, находящееся только в схолиях к сатирам Горация, что Асконий Педант написал «жизнеописание Саллюстия».



Глава IV

СЕНЕКА МЛАДШИЙ

1. Жизнь и произведения Сенеки.— 2. Трагедии Сенеки.—
3. «Отыскания» и эпиграммы.— 4. Философские произведения.—
5. Литературные приемы Сенеки.

1. ЖИЗНЬ И ПРОИЗВЕДЕНИЯ СЕНЕКИ

Луций Анней Сенека (L. Annæus Seneca), обычно называемый Сенекой Младшим или Сенекой-философом, был вторым сыном Сенеки-ритора¹; он родился в Кордубе в Испании в 4 или 5 г. до н. э. и получил в Риме блестящее риторическое образование; однако с самых юных лет он был настолько увлечен стоической философией с ее принципами самоотречения и самовоспитания, что едва не уморил себя голодом; возможно, что пребывание в Египте у тетки по материнской линии, муж которой был одно время правителем Египта, ознакомило его с различными аскетическими сектами Востока и укрепило в нем эти тенденции. Тем не менее по возвращении в Рим он вступил на обычный путь, которым шли образованные молодые римляне, стал выступать в суде и даже принял, по-видимому, активное участие в придворных политических интригах на стороне Агриппины, стремившейся добиться императорской власти для своего сына Нерона, отстранив или уничтожив талантливого Британика, сына Клавдия и Мессалины. Интриги эти были открыты Мессалиной, и Сенека поплатился ссылкой на Корсику (в 41 г.), в то время еще совсем дикую страну. Он был обвинен в любовной связи с Ливиллой, сестрой Германика и Калигулы, но причиной, несомненно, была именно его принадлежность к группировке, поддерживавшей Агриппину и Нерона; это ясно видно и из сурового наказания, постигшего его, и из его освобождения и головокружительного возвышения в 49 г. сейчас же после прихода к власти Агриппины и еще очень юного Нерона. В последний год ссылки Сенека едва не испортил свою дальнейшую карьеру, подав Клавдию униженное прошение о помиловании, написанное в панагирическом тоне; но смерть Клавдия и вызов Сенеки из изгнания в Рим заставили забыть это дело.

Первые годы пребывания в Риме были для Сенеки, назначенного воспитателем юного императора, годами наивысшей славы, блеска и богатства; перед всеми этими соблазнами стоическая мораль Сенеки не устояла, и он стал одним из богатейших и могущественнейших людей не только в Риме, но и во всей империи. Однако с падением Агриппины и Бурра закатилась и звезда Сенеки. Характер Нерона стал резко изменяться

¹ См. «Историю римской литературы», т. I. М., Изд-во АН СССР, 1959, гл. XXII.

в сторону неограниченного произвола, самовластья и враждебности ко всем остаткам сенатской партии; начались крутые расправы с представителями древних родов, и в 65 г. н. э. Сенека — с основанием или без него — был обвинен в участии в раскрытом заговоре Пизона; несмотря на то, что он старался держаться как можно дальше от двора Нерона, жить в своих поместьях и не принимать никакого участия в управлении государством, ему было приказано вскрыть себе вены; вместе с ним пыталась покончить с собой его вторая жена Паулина, бывшая много моложе его, но сопровождавшая его всюду и чрезвычайно ему преданная; однако по приказанию Нерона, как сообщает Тацит («Летопись» XV, 64) за ней следили и не допустили самоубийства.

Характер и деятельность Сенеки во многом противоречивы и загадочны: чрезвычайно образованный и глубоко преданный философским и научным изысканиям и размышлениям, несомненный литературный талант, отразивший в себе и достоинства, и недостатки своего блестящего риторического образования, проповедник аскетической морали и первый богач Рима, поклонник философского уединения и самоуглубления и «лукавый царедворец» — все эти черты своеобразно соединились в этом «дядюшке христианства»². Сенека воплотил в себе все крайние противоречия той сложной эпохи, в которую ему пришлось жить.

Сенека был чрезвычайно плодовитым писателем. Его произведения можно разделить на три группы: 1) чисто литературные произведения: десять трагедий, сатпра «Отыквление (превращение в тыкву) божественного Клавдия», конец которой утрачен, и несколько эпиграмм; 2) полулитературные, полупилософские «Письма к Луцилию» о нравственности и три «Утешительных послания» (*Consolationes*): к Гельвии, матери Сенеки, сокрушавшейся об изгнании своего талантливого сына (*Ad Helviam matrem de consolatione*); к Марции, дочери известного историка Кремуция Корда, который покончил с собой в правление Тиберия, не дождавшея конца процесса, возбужденного против него за похвальные отзывы о Бруте и Кассии; к Полибию, вольноотпущеннику императора Клавдия, всецельному временщику, в это время потерявшему брата; 3) чисто философские и научные: «О провидении», «О постоянстве мудреца», «О гневе» (три книги), «О безмятежной жизни», «О досуге», «О спокойствии духа», «О краткости жизни»; в той рукописи, которая послужила основой для всех дальнейших изданий Сенеки, перечисленные сочинения вместе с тремя «Утешительными посланиями» объединены под названием «Диалог», хотя форма их более далека от подлинного диалога, чем философские сочинения Цицерона; тема излагается аподиктически и только кое-где отводятся возражения воображаемого противника.

В это собрание «Диалогов» не включены два философских сочинения — «О милосердии», адресованное «Цезарю Нерону», и «Семь книг о благодеяниях», а также одно естественнонаучное — «Семь книг по вопросам изучения природы», охватывающее астрономию, географию и метеорологию.

Кроме этих сочинений, дошедших до нас в довольно хорошей сохранности, у ряда писателей имеются сведения еще о многих произведениях: это пять речей, сборник писем, биография отца, панегирик Мессалине, два трактата по географии, четыре по физике и семь по философским вопросам.

Из этого огромного перечня видно, что Квинтилиан с полным правом сказал о Сенеке, что «он коснулся содержания почти всех областей науки;

² Маркс и Энгельс. Сочинения, т. XV, стр. 603.

от него остались и речи, и стихотворения, и письма, и диалоги» (X, 1, 129).

Под именем Сенеки до нас дошло десять трагедий: «Медея», «Эдип», «Фивест», «Федра», «Геркулес безумный» (*furens*), «Агамемнон», «Троянки», «Финикиянки», «Геркулес Этейский» (на горе Эте), «Октавия». Авторство Сенеки в отношении первых семи трагедий никогда не вызывало серьезных сомнений, последние же три не раз бывали предметом научной полемики.

Трагедия «Финикиянки» сохранилась не полностью; из нее дошли только два первых действия, но и они построены не вполне обычно — в них отсутствует хор и дважды меняется место действия; возможно, что эти дошедшие до нас сцены представляют собой не фрагменты законченной трагедии, а предварительные наброски. Высказывалось даже предположение, что эти сцены являются попыткой построить в стихотворной драматической форме так называемую свазорию, излагающую столкновение двух противоположных мнений (в одной сцене Эдипа и Антигоны — о допустимости самоубийства, в другой — Иокасты и Этеокла — о борьбе за власть).

Трагедия «Геркулес Этейский», представляющая собой разрозненный ряд сцен, лишенных внутреннего единства, тоже вызвала у многих исследователей сомнения в ее принадлежности Сенеке, особенно ввиду того, что некоторые типичные для Сенеки черты стиля (изобилие антитез и стоических сентенций) в данной трагедии выступают не так ярко, как в других; однако возможно, что мы имеем и здесь, как и в «Финикиянках», еще незаконченную и неотделанную работу.

Наиболее единодушно и обоснованно отрицается авторство Сенеки по отношению к трагедии «Октавия», единственной дошедшей до нас полностью из истории императорского Рима; тема ее — женитьба Нерона на Пoppее Сабине и убийство им его первой жены, сводной сестры Октавии, после мятежа, вызванного его разводом с нею. В этой трагедии в качестве действующего лица выступает сам Сенека; поэтому маловероятно, чтобы он же являлся ее автором. Кроме того, такое резкое обличение Нерона, которым дышит каждый стих ее, едва ли было возможно при жизни Нерона, даже в неизданном произведении, особенно если привять во внимание ту осторожность, с которой Сенека в последние годы правления Нерона старался избежать гнева своего бывшего воспитанника.

2. ТРАГЕДИИ СЕНЕКИ

Трагедии Сенеки явно носят на себе печать философских интересов их автора. Несмотря на то, что темы трагедий взяты автором из древнегреческой мифологии, основная художественная задача их состоит в том, чтобы наглядно показать превратность человеческой судьбы, непрочность счастья, силу и губительные последствия страстей, если они не встречают противодействия со стороны разума. Эти излюбленные тезисы стоической школы Сенека не устает повторять во всех трагедиях, иногда почти буквально в одних и тех же словах. В связи с этой философской моралистической задачей стоят те характеристики, которые Сенека дает действующим лицам; главные герои его трагедий должны служить максимально яркой иллюстрацией губительного воздействия какой-либо страсти, поэтому они предстают перед зрителем уже в состоянии сильно развившегося аффекта, который на глазах у зрителя неминуемо приводит к катастрофе; лица второстепенные, напротив, должны либо оказывать сильное противодействие основной страсти главного героя, либо занимать среднюю позицию, либо, наконец, в процессе действия менять свое первоначальное

мнение на противоположное. Поэтому второстепенные лица в трагедиях Сенеки в большинстве случаев изображены более живо и естественно, чем главные герои; они проще и человечнее; таковы например, Язон в «Медее», Агамемнон в «Троянках»; они представляют собой «разумное начало» и написаны в реалистических тонах; иногда же Сенека во второстепенном действующем лице раскрывает зарождение той страсти, которая уже поглощает главного героя; так, например, юный Тантал, сын Фиеста, горячо уговаривает отца принять власть и помириться для этого с Атреем, предлагающим ему половину царства; он побеждает — себе на погибель — колебания отца, не доверяющего предложению брата³.

Не вполне обоснованы поэтому упреки, которые неоднократно делали Сенеке исследователи его произведений — в том, что он дает не человеческие характеры, а ходульные фигуры, служащие иллюстрацией стоических тезисов. Если это и верно, то только относительно главных героев, однако и относительно них — не в полной мере. Едва ли можно сомневаться в том, что состояние аффектов существует в действительной жизни; а Сенека, живший при дворе нескольких императоров, имел возможность наблюдать немало случаев, когда страсти проявлялись в полной силе, и в изображении их, безусловно, является большим мастером. Отрицательные отзывы о трагедиях Сенеки, относящиеся преимущественно к XIX в., основываются главным образом на том, что их подвергали мелочному сравнению с их образцами — трагедиями Эсхила, Софокла и Эврипида, разрабатывавшими те же мифологические сюжеты, и находили греческие трагедии глубже, тоньше и возвышеннее. Только такое сравнение трагедий греческих и латинских как бы на одной плоскости, без учета исторической обстановки, могло привести к столь отрицательному приговору трагедиям Сенеки.

Главная философская тенденция трагедий Сенеки — иллюстрация стоического тезиса о человеке как игралище более мощных, непонятных ему сил, с которыми он пытается и обязан бороться с помощью своего разума, данного ему самим высшим божеством; однако в этой борьбе человек нередко оказывается побежденным и чувствует свое бессилие. Нечего и говорить о том, насколько та историческая обстановка, в которой довелось жить Сенеке, усиливала и углубляла подобные настроения и давала человеку, склонному к наблюдению и размышлению, убедительные примеры превратности человеческих судеб и страшных последствий безудержных страстей.

О власти судьбы, непонятной смертному и непреодолимой, поет хор в «Эдипе» (980—994).

«Судьба движет нами: уступайте судьбе; наши заботы и тревоги ничем не могут изменить ход нитей на станке. Все, что мы, смертные, терпим, все, что делаем, приходит свыше. Лахеса хранит решения своей прялки, и никакая рука не поколеблет их. Все идет намеченным путем и первый день предугадывает день последний. Даже божеству невозможно предотвратить то, что протекает в сплетении причин. Свершается порядок, непоколебимый никакой мольбой. Многим людям вредил даже страх перед судьбой, многие, боясь судьбы, как раз пришли к ней». (То же в «Геркулесе безумном», 180.)

Непоколебимость судьбы аморальна, она не руководится добрыми и злыми мотивами, которым подчинен человек; однако эта непоколебимая для человека судьба сама по себе прихотлива и неустойчива:

³ Эта трагедия с большим правом носила бы название «Атрей», чем «Фиеста»; последний играет страдательную роль, а Атрей, горящий жаждой мести и властолюбием, несомненно, является главным героем трагедии.

«И надежду, и страх распределяет слепой случай» («Финикиянки», 631—632). Всякий жребий ненадежен; горе и наслаждение сменяют друг друга, — но наслаждение более кратко. Легкий миг меняет низшее и высшее... «Пусть никто слишком не доверяет удаче, не отчаивается в беде. И то, и другое смешивает Клото и предрешает Фортуне останавливаться; судьба вращает все. Никто не может считать богов настолько благосклонными, чтобы иметь возможность рассчитывать на завтрашний день; божеество вращает наши дела в быстром круговороте» («Фиест», 615—621). Человек же воспринимает эту смену счастья и несчастья, как несправедливость по отношению к себе. «О Фортуна, враждебная мощным мужам, как несправедливо распределяешь ты награды между хорошими людьми» поет хор в «Геркулесе безумном»⁴ (524—525).

Из этого возникает неразрешимый вопрос, к которому неизбежно приходит фатализм — в чем же заключается тогда вина человека и зачем нужна мораль?

Ни Софокл, ни Сенека, признающие абсолютную власть судьбы и в то же время абсолютную ценность морали своего времени, не могут разрешить этого коренного противоречия: немедленно после вышеприведенного хора в «Эдипе» это противоречие наиболее ярко выявляется в репликах Иокасты: в ответ на вопли ослепившего себя Эдипа она сперва отвечает с точки зрения полного фатализма: «Это вина судьбы: если это судьба, то никто не становится виновным» (*Fati ista culpa est, nemo fit fato posens*, 1019); но уже в следующей реплике в полном противоречии со сказанным она восклицает: «Что же ты застыла, душа? Почему, будучи сообщницей преступлений, ты отказываешься принять кару? Вся красота человеческих прав погибла, поругана тобой, нечестивая; умри и мечом исторгни свой незаконный дух» («Эдип», 1024—1027).

Из рамок этой философской «контroversии» Сенека выйти не может. По непонятным причинам Фиванская область «с давних времен преследуема гневом богов» («Эдип», 711), весь род Федры тоже проклят; она сама говорит: «Я сама знаю судьбу моего рода (*nostrae fata domus*) — мы жаждем того, чего следует избегать» (*fugienda petimus*). Это проклятие Сенеска объясняет мифологически примитивно: его наложила на критский царский дом уже не судьба, а Венера, мстя всем потомкам Солнца за то, что оно выдало ее роман с Марсом: «За это она обременяет наш Фебов род незаконными деяниями; ни одна из дочерей Миноса не любила без законных» («Федра», 126—128).

Непонятность, необъяснимость, несправедливость мирового порядка настолько бросается в глаза, что Сенека решается дважды вложить в уста своих героев сомнения в существовании богов; характерно, что это сомнение выражают пострадавшие лица, а не главные герои, поглощенные своей основной страстью, и, когда их замысел удается им, даже считающие себя выше других людей, и близкими к богам: Атрей говорит, «что он шествует наравне с звездами» («Фиест», 885—886); Медея, отомстив Язону; считает, что боги, наконец, стали благосклонны к ней и даровали ей «праздничный день» («Медея», 985).

Напротив, Фиест, еще только опасющийся козней Атрея, при виде родного дома и храмов Аргоса, говорит: «Я вижу моих родовых богов (если они существуют)» (*si sunt tamen dii*—«Фиест», 407); Язон же, потерявший детей, восклицает вслед улетающей Медеи еще более решительно: «Лети через глубины высшего эфира, как свидетельство того, что нет богов» — *Testare nullos esse... deos* («Медея», 1026—1027).

⁴ Отрывки из трагедий Сенеки — прозаический перевод М. Е. Грабарь-Пассек.

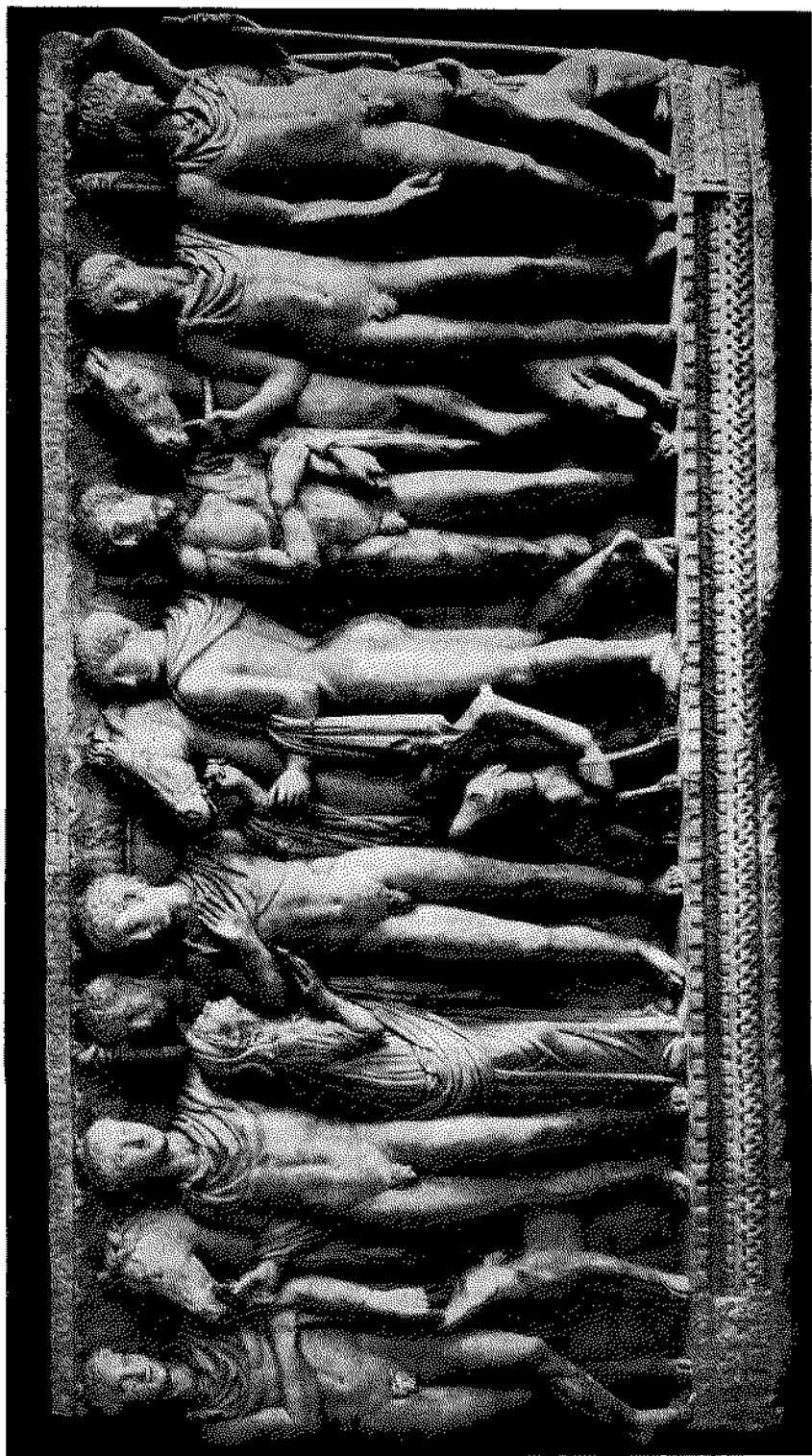
То, что Сенека таким «безбожным» стихом заканчивает всю трагедию «Медея», показывает, что он полностью сознавал противоречие между фатализмом и моралью, что бесполезность и недейственность морального стоического учения не была скрыта от него.

Однако, даже у некоторых главных героев, бесспорно призванных служить воплощением одной страсти и примером ее гибельных последствий, Сенека показывает, хотя и безуспешную, борьбу разума и долга с этой страстью; такими еще не полностью поглощенными страстью действующими лицами являются Медея, Федра и Клитемнестра; они видят преступность своих замыслов и чувств и пытаются остановиться на том пути, который, как они знают, приведет их к катастрофе; но последнее решение их все же преступно, и, как сказано выше, остается неясным, считает ли Сенека его принятым по необходимости, по велению судьбы или по воле человека. Эти колебания перед принятием решения изображены Сенекой в монологе Медеи («Медея», 893—977), в споре Федры с кормилицей («Федра», 85—261) и Клитемнестры с Эгисфом («Агамемнон» 276—309), и надо признать, что, несмотря на применение некоторых типичных приемов риторических «контroversий», эти части трагедий заключают в себе тонкий психологический анализ.

В других трагедиях эта контroversия всецело разделена между двумя лицами; в то время как и Федра, и Клитемнестра колеблются сами, а их собеседники только подкрепляют или оспаривают их собственные доводы в пользу того или другого решения, в «Фиесте» и «Троянках» воплощением всепоглощающей страсти представлены Атрей и Пирр-Неоптолем, а представителями разумного начала — советник Атрея (в списке действующих лиц названный «satelles»), настаивающий на том, чтобы Атрей отказался от своего страшного плана мести брату («Фиест», 176—335), и Агамемнон, долго не соглашающийся на убийство Поликсены, которого будто бы требует тень Ахилла («Троянки», 103—352); обе контroversии кончаются, конечно, победой страсти, причем советник, посвященный Атреем в план мести, обещает молчать и «не столько из страха, сколько из верности» («Фиест», 335); Агамемнон же после очень резкого спора с Неоптолемом, в котором он не щадит и славы умершего Ахилла, уступает предсказаниям Калханта.

Несколько иного характера конфликт в «Эдипе»; Эдип тоже поглощен мыслью — узнать во что бы то ни стало причину бедствий, постигших страну, чтобы избавить ее от них, хотя бы ценой собственной жизни; такую страсть нельзя назвать «преступной»; поэтому Сенека выводит в качестве противников Эдипа сперва Креонта, потом старого пастуха, искренно расположенных к Эдипу; они не столько обличают Эдипа и оспаривают его намерения, сколько предостерегают его от тех опасностей, к которым может привести его раскрытие тайны; Креонт, уже догадавшийся об одной части преступления Эдипа (об убийстве отца), не хочет говорить об этом Эдипу («Эдип», 510—529); старик-коринфянин, знающий, кто такой Эдип, произносит слова, которые еще более разжигают желание Эдипа разгадать загадку («Эдип», 825—827): «Судьба ли, или разум скрыли это, потерпи, чтобы осталось скрытым то, что было долго скрыто — часто истина оказывалась гибельной для того, кто насильно раскрыл ее». Таким образом, даже эта, как будто направленная на благо, но не знающая удержу страсть приводит к несчастью.

Трагедия «Геркулес безумный» стоит несколько в стороне от «трагедий страсти», а на первый взгляд может показаться и совсем не связанной с ними, так как безумие, в которое впадает Геркулес, не вызвано никакой



*Изюмцы с кормилицей Фэбры, окруженный ослышками
(стелка саркофага, найдено на Via Augusta)*

поглощающей его идеей, а в прологе трагедии Юнона предупреждает, что она будет продолжать мстить Геркулесу, найдет на него безумие и «направит стрелы безумствующего» («Геркулес», 120).

Однако и в этой трагедии, правда, вскользь указано на то, какой именно страстью был одержим Геркулес: после того, как он высказывает свои заветные мысли, с ней связанные, он сейчас же впадает в бешенство; эта страсть — гордость своими подвигами; уже узнав о преступлении Лика против его тестя и жены, Геркулес восклицает «О неблагодарная земля» («Геркулес», 631); далее он вызывает на поединок с собой Юнону и требует от нее любой задачи («Геркулес», 613—615) и, наконец, отказавшись перед жертвоприношением омывать руки от крови убитого Лика, он хочет «вознести мольбы, достойные Юпитера и его самого» («Геркулес», 926), а уже впад в безумие, воображает себя вождем титанов против богов и грозит освободить Сатурна для свержения власти «нечестивого отца» (Юпитера). Таким образом, и здесь трагическая развязка подготовлена не только извне, по воле Юноны; основной конфликт перенесен в переживания Геркулеса, который считал себя благодетелем всей земли, а оказался убийцей жены и детей.

Из числа многообразных страстей, владеющих человеком, Сенека особенно обрушивает критику на две: во-первых, на любовь и ее оборотную сторону — ненависть; во-вторых — на властолюбие, причем последняя страсть интересует и привлекает его внимание гораздо больше, чем первая.

Любовная страсть в основном отражена в Федре, ненависть, возникающая из любви, — в Мееде и Клитемнестре. В непреодолимости ее Сенека высказывает сомнения, расходясь в этом отношении с обычной трактовкой «беспощадного, непобедимого божества, Амура». На слова Федры, повторяющей обычную, общепринятую со времен эллинистической поэзии характеристику крылатого бога любви, господствующего над всей землей и даже над Юпитером и Фебом («Федра», 185—194), кормилица возражает чисто стоической репликой: «гнусная, потворствующая пороку похоть выдумала, что любовь — бог, и чтобы быть более свободной, придала безумию имя ложного божества... а безумная душа усвоила эти выдумки» («Федра», 195—197, 202).

Этот же взгляд вложен в уста самого Сенеки в трагедии «Октавия»: Нерон говорит о своей страсти к Поппее и называет любовь «величайшей силой всей жизни», Сенека же называет ее «льстивым жаром души» (*blandus animi calor* — «Октавия» 561); если ее не подогревать, не питать, то она скоро потеряет силу и угаснет («Октавия», 565).

Гораздо более опасной и непреодолимой считает Сенека страсть к могуществу и неограниченной власти. Во всех его трагедиях рассыпаны без счета меткие и жесткие сентенции на эту тему. Само стремление к власти и тем более уже достигнутая власть делают человека жестоким, презирающим всякие требования благочестия и морали; эту мысль наиболее ясно высказывает Атрей в ответ на слова советника о том, что не следует посвящать юных наследников престола в преступные планы отца: «Они легко услышат и еще худшие советы... А даже если никто не научит их лжи и преступлению, то их научит власть» (*regnum docebit* — «Фиест», 312—313). «Ты боишься, что они станут злыми?» — еще резче говорит в «Финикийках» Иокаста, отчаявшаяся в том, что можно примирить Этеокла и Полиника, борющихся за власть: на возглас Полиника «Значит, за свое преступление и обман брат, нарушивший законы, не понесет кары?» — она отвечает: «Не бойся. Он понесет тяжкую кару. Он будет царствовать. Если сомневаешься, поверь деду и отцу:... скипетр Фиванского царя никто не

брал в руки безнаказанно и никто не удержит его, кто нарушил верность; ты можешь уже причислить к ним и брата». «Пусть причисляет», — отвечает Этеокл, — я буду все-таки лежать среди царей, а тебя смеаю с толпой изгнанников» («Финикиянки», 643—652).

Далее тот же Этеокл излагает беспощадную теорию единовластия: «Тот не хочет власти, кто боится ненависти. Так положило от века боже-ство, создавшее мир: ненависть — спутник власти; я думаю, что великий владыка не должен подавлять эту ненависть. Любовь [к гражданам] мно-гому препятствует, можно больше позволить себе по отношению к нена-видящим; кто хочет, чтоб его любили, пусть правит ленивой рукой» («Фи-никиянки», 655—659).

Даже кроткий Эдип, натолкнувшись на уклончивые ответы Креонта (а потом старого настуха), прибегает к угрозам: «Укрошенный тяжелой бедой, ты узнаешь силу оружия разгневанного царя» («Эдип», 518—519).

В контрверсии, возникающей по этому поводу между действующими лицами (Эдипом и Креонтом, Атрсем и советником, Этеоклом и Иокастой, Пирром-Неоптолемом и Агамемноном, Нероном и Сенекой), противнику единовластия влагаются в уста возражения против такого неограничен-ного и жестокого пользования властью, моральные сентенции о необходи-мости кротости и снисхождения для правителя, но они настолько бледны в сравнении с яркими высказываниями жестоких властолюбцев, что стано-вятся совершенно ясным, насколько в одном случае Сенека писал с нату-ры, а в другом излагал свои чисто теоретические соображения, неприло-жимость которых к жизни он сам хорошо понимал.

Таким образом, то миропонимание, которое отражается в трагедиях Сенеки, действительно «трагично» в буквальном смысле слова. Злые стра-сти господствуют и в общественной жизни, и в жизни отдельных людей, а борьба с ними почти, если не всегда, безнадежна. Только два выхода из этого страшного тупика видит Сенека, но в первый из них он по существу не верит сам: это — удаление от «высоких сфер», где господствуют стра-сти и роскошь, к простой трудовой жизни, близкой к природе; эта сен-тиментальная идеализация «простой» жизни, являющаяся постоянной спутницей растущей городской культуры со времен эллинизма, является естественной и в то же время бессильной и лживой в эпоху императорского Рима; сам Сенека оказался совершенно неспособным оторваться от слад-кого яда столичных успехов, удовольствий и призрачной власти над вла-стителем Рима — Нероном. Тем чаще он в своих трагедиях воспеваает эту невинную простую жизнь: с ней не хочет расстаться Фiest, ее превозносит кормилица Федры и воспеваает хор в «Геркулесе безумном». Но в этих, скорее лирических, отступлениях не чувствуется даже той убежденности и хотя бы искреннего любования природой и ее радостями, которое при-дает прелесть эллинистической поэзии и творчеству римских поэтов зо-лотого века.

Зато с тем большей силой Сенека умеет изобразить и воспеть другой выход из бедствий жизни — смерть. В его отношении к смерти, в словах, в которых он восхваляет ее, заключается, может быть, главная разница между жизнеутверждающей греческой трагедией, служившей образцом для Сенеки, и его собственным творчеством. Жизнь страшнее и тяжелее смерти — это убеждение высказывает и Геркулес в последней сцене («Геркулес», 1265—1320) и Федра («Федра», 879), и даже прощенная Мене-лаем Елена («Агамемнон», 869), которая считает, что ей труднее жить, чем Поликсене, предназначенной в жертву на кургане Ахилла, — ведь «желанна смерть, которой можно умереть без страха смерти». Этой же теме посвящен весь диалог Антигоны и Эдипа в «Финикиянках». Наиболее

ярко выражена эта же мысль в плаче пленных троянок: сама Гекуба, а за ней троянки повторяют: «Пойте все — счастлив Приам, к подземным богам он ушел свободным; он, умирая, унес с собой царства, пыле вместе с Гектором он в тенистых елисейских рощах; счастлив Приам, счастлив всякий, умерший в бою и взявший все свое с собою» («Троянки», 145 и др.).

Напротив, любовь к жизни Сенека считает бедствием и несчастьем для человека. Во время затмения солнца в «Фиесте» хор восклицает: «[Слишком] жаден до жизни тот, кто не хочет умереть, когда гибнет мир» («Фиест», 882—884); подлинным же гимном смерти можно назвать хор троянок в «Агамемноне» («Агамемнон», 589—610); «жестокая любовь к жизни» признается «сладким злом, дарованным людям», в то время, как им «открыто убежище от бед, и несчастных зовет к себе добровольная смерть, мирная пристань вечной тишины...» Все дальнейшие жалобы, несколько неестественные в устах троянских женщин, представляют собою, может быть, единственное подлинное лирическое стихотворение самого Сенеки:

«Освобождается от всякого рабства, презирает ненадежных богов тот, кто на черный Ахеронт и печальный Стикс взирает без печали и осмеливается сам положить конец своей жизни. Там, в глубоком покое, он не боится ни толп граждан, ни гневных угроз победителя, ни страшных морских волн, ни сражений, ни облаков пыли, поднимающейся из под копыт варварской конницы... он равен царю, он равен богам. О сколь жалок тот, кто не умеет умереть!» («Агамемнон», 604—610).

Этот взгляд глубокого разочарования и отчаяния высказывается Сенекой не раз и в его философских произведениях, но нигде с такой выразительностью. Он ясно понимал, в какой исторической обстановке он живет, не раз проклинал «сладкое зло — любовь к жизни», бесплодно искал выхода в якобы «простой» жизни вдали от двора и, вероятно, всегда считал себя «жалким человеком» за то, что не «умел умереть».

Композиционно трагедии Сенеки построены согласно традиции: ни в одной сцене не выводится больше трех действующих лиц, соблюдается единство времени и места, действие сконцентрировано и развивается достаточно быстро; однако в некоторых трагедиях встречаются несколько затянутые диалоги, служащие, так сказать, для всестороннего освещения темы, но задерживающие развитие действия (например, диалог Эдипа и Антигоны в «Финикиянках», Атрея и советника в «Фиесте», Андромахи и Елены в «Троянках»); но с точки зрения раскрытия характера и ситуации они тоже не бесполезны.

Наиболее поэтической частью трагедий являются хоры, либо в возвышенной патетической форме излагающие философские мысли (как, например, в «Фиесте» и «Геркулесе»), либо варьирующие культовые дифирамбы; таков свадебный хор в «Медее», гимн Дионису в «Эдипе», приветственный гимн в «Агамемноне». В монологах и диалогах, а особенно в хорах Сенека показывает искусное владение стихом и языком. Его трагедии читаются легко, фразы построены сжато, четко и прозрачно, что является немалой заслугой в эпоху, когда сложность выражения считалась достоинством.

В этом отношении Сенеке, несомненно, помогло его умение ясно выражать сложные философские положения. Особенно мастерски он вводит в текст трагедий сентенции (так называемые «гномы»), которые, правда, изредка бывают слишком глубокомысленны для данного действующего лица (например, речь кормилицы в «Федре» или Форбанта в «Эдипе»). В построении монологов, стихомифий и сентенций Сенека, конечно, широко использует различные средства риторического оформления и украшения речи.

Одним из излюбленных средств Сенеки, особенно эффективным для подчеркивания трагизма положения, является антитеза, причем часто используются образования от одного корня; так, Амфитрион молится о возвращении Геркулеса: «О если бы ты наконец вернулся победителем в побежденный дом» (*victor ad victam domum* — «Геркулес», 278); тот же прием в «Троянках», в словах Агамемнона: «следует прежде всего знать, что должен делать победитель, и что терпеть побежденный» (*quid facere victor debeat, victus pati* — «Троянки», 260). В других случаях антитеза заключена в самом значении слов: Агамемнон, говоря о тщете царской власти, вспоминает судьбу Приама: «Приам, ты делаешь меня и гордым, и робким, за что я могу считать скипетр царя, как не за имя, прикрытое ложным блеском» («Троянки», 273—275).

«Легкие заботы говорят, тяжкие — молчат» (*Curae leves loquuntur, ingentes stupent* — «Федра», 607). Антитезу, усиленную до полного противоречия двух членов, т. е. оксиморон, Сенека применяет реже; примером его могут служить слова Гекубы: «только для Приама нет огня в пылающей Трое» («Троянки», 35), т. е. погребального костра, а также тот гимн смерти, который, по завету Гекубы, поют пленные троянки с повторением слов «Счастлив Приам» («Троянки», 156—162); эта же тема повторена в «Агамемноне» в рассказе Эврибата о буре, с которой встретились ахейцы на обратном пути («Агамемнон», 512—514); завидует Пирр отцу, Улисс — Аяксу, младший Атрид — Гектору, Агамемнон — Приаму; все павшие под Троей кажутся счастливыми». Яркая метафора включена в гневную речь Клитемнестры, вспоминающей смерть Ифигении: «Мы купили попутный ветер кровью и войну — убийством» (*crucore ventos emimus, bellum pene* — «Агамемнон», 170).

На ряде антитез построено большинство стихомифий в трагедиях Сенеки: такова, например, стихомифия Лика и Мегары («Геркулес», 422—438), Лика и Амфитриона (449—460), Агамемнона и Пирра («Троянки», 318—348). Эти стихомифии кроме формальной антитезы широко используют острую пронию; Пирр и Агамемнон даже не останавливаются перед взаимными оскорблениями:

А г а м е м н о н. Я не отрицаю, что величайший воинский подвиг Пирра — убийство умоляющего старца Приама.

П и р р. А ты, трус, даже просьбу боишься выслушать, и заперся у себя, когда Улисс и Аякс обратились к тебе с просьбой.

(«Троянки», 310—313; 315—317)

А г а м е м н о н. А сейчас ты требуешь убийства девушки перед гробовым камнем.

П и р р. А ты считаешь незаконным убить девушку?

(«Троянки», 330—331)

А г а м е м н о н. Ты, зачатый тайком от девушки и рожденный от мальчишки Ахилла?

П и р р. От того Ахилла, род которого управляет всем миром: Фетида — морями, Эак — теньями, Юпитер — небом.

А г а м е м н о н. От Ахилла, павшего от руки Париса

(«Троянки», 312—316)

Также на антитезах, но более распространенных, построена чрезвычайно интересная сцена между Андромахой и Еленой в «Троянках»; в антитезах изображает свою печальную судьбу Елена: «Андромаха открыто плачет о Гекторе, — Гекуба о Приаме; и только Елена должна тайно оплакивать Париса. Ужасно переносить плен и рабство? Но я переношу его уже десять лет. Погиб Иллон, повержены боги? Да, тяжело потерять

родину, но тяжелее — дрожать перед ней. Вы несчастны, но вас много; против меня одной озлоблены и победители, и побежденные» («Троянки», 910—917); узнав же о предстоящей смерти Поликсены, Андромаха отвечает плачущей Елене: «Видишь, как радостно принимает свой смертный приговор та, кто имеет великую душу; она требует царской одежды и охотно позволяет пышно убрать свои кудри; все прежнее она считала смертью, а то, что будет теперь, своим брачным покоем» («Троянки», 948—951).

Как в философском освещении событий, так и в языковых приемах, трагедии Сенеки несут яркий отпечаток своего времени. Так же ясно отразилась жестокая эпоха Нерона в более мелких чертах трагедий, например в натуралистических картинах убийств, жестокостей, истязаний и в полных мистического ужаса описаниях заклинаний, гаданья, вызова теней. Смерть Агамемнона, Ипполита и сыновей Фiestы, убийство Медеей ее детей, вызов тени Лая, в мельчайших подробностях описанные зловещие признаки жертвоприношения, совершаемого Тиресием; гаданье Медей, вызывающей призраков и духов тьмы — все эти сцены показывают то нарочитое любованье ужасами, которое, по-видимому, стало потребностью слушателей и читателей драм Сенеки. Они настолько привыкли к жестокостям в реальной жизни, что надо было прибегать к особым средствам, чтобы хотя сколько-нибудь поразить их испорченное воображение. Все эти сцены можно кратко характеризовать заключительными словами трагедии «Октавия»: «И Авлида, и варварская земля Тавров милосерднее нашего города — там умиловывают богов убийством чужеземцев, а Рим ликует пад кровью граждан» («Октавия», 978—982).

Не раз за мифологическими образами трагедий Сенеки встает образ современного ему Рима; даже отдельные термины, употребляемые им, принадлежат именно Риму — так, мы не раз встречаем слова *curia*, *forum*, *imperiūm*, *vilgus*; очень характерно приложение к Геркулесу термина «*famulus*», которым его хочет унижить в глазах его жены Мегары Лик; это обозначение «домашнего раба» совершенно не согласуется с греческой трактовкой подвигов Геракла и его отношения к Эврисфею. В упомянутой выше контрверсии между Андромахой и Еленой Елена говорит, что она сумеет сама обелить себя — «защитить свое дело даже против враждебного судьи» (*causam tamen possum tueri iudice infesto meam* — «Троянки», 908—909), пользуясь при этом терминами римского суда.

Исследователями сочинений Сенеки положено немало труда на установление параллелей между его произведениями и греческими образцами, а также на сопоставление отдельных мест трагедий с поэмой Лукана и стихотворениями поэтов золотого века. Несомненная зависимость Сенеки от многих чужих произведений; и тем не менее они всецело принадлежат ему, несут печать его мировоззрения, его трактовки сюжета, его языковых приемов. Одним из убедительных доказательств этого, может быть, самым убедительным, служит то, что «Октавия», трагедия его безымянного последователя, не имеющая уже ничего общего с греческой мифологией, а дающая картину если не современности, то недавнего прошлого, настолько проникнута духом Сенеки, настолько восприняла его литературные приемы, что только ряд внешних причин не позволяет считать ее произведением Сенеки. Постоянно предьявлявшиеся ему упреки в неестественности и сугубой риторичности его трагедий необоснованы; вполне прав проф. Н. Ф. Дертани, берущий их под свою защиту и указывающий, что у Сенеки «свой новый, качественно отличный специфический стиль... но это не специально риторический стиль»⁵.

⁵ Вступительная статья к переводу трагедий Сенеки (Academia, 1933, стр. 31—32).

О подлинном реализме, об изображении человеческого характера в античной трагедии вообще можно говорить только очень условно, поскольку все мысли и чувства, соответствующие эпохам, в которые жили и мыслили авторы трагедий, вложены в уста героев мифических; но это немногим больше относится к «Эдипу» Сенеки, чем к «Эдипу» Софокла, «Медее» и «Гераклу» Эврипида; «Агамемнон» же Эсхила, несомненно, еще менее реалистичен, а в философском отношении более возвышен и патетичен, чем «Агамемнон» Сенеки. В том, кто мог произвести такое сильное впечатление на своих современников, необходимо признать наличие творческой оригинальности.

3. «ОТЫКВЛЕНИЕ» И ЭПИГРАММЫ

В литературном наследии Сенеки имеется произведение, написанное по образцу Менипповых сатур; прозаические отрывки перемежаются со стихотворными. Цель этого сочинения довольно низменная — издевательство над недавно умершим императором Клавдием; очевидно, оно было написано Сенекой в угоду Нерону. Оно сохранилось не полностью: отсутствуют начало и конец, а в середине есть большая лакуна.

Содержанием этой сатиры является прибытие императора Клавдия в загробный мир, где боги долго не могут решить, какое наказание ему придумать. Наряду с действительно дурными поступками Клавдия, — его слепой и необоснованной жестокостью — ему ставятся в вину недостатки его происхождения и даже тот, совершенно безразличный с моральной точки зрения факт, что он родился не в Риме, а в Лугдуне.

Клавдия отдают в услужение его двоюродному брату Калигуле, который передает его Менандру. Однако это не последнее решение богов, Клавдия вызывают на суд второй раз; приговор этого второго суда, написанного гораздо слабее, чем первый, утрачен; только из названия сатуры, переданного нам Дионом Кассием, можно догадаться, что Клавдия превратили в тень; почему именно избрано такое наказание, остается неизвестным.

Главный интерес этого довольно несвязного и грубого произведения заключается в точном описании римского похоронного обряда; душа Клавдия, которую Меркурий в это время несет в подземный мир, видит похороны и слышит те гимны, которые поют около тела императора.

Относительно числа эпиграмм, приписываемых Сенеке, мнения исследователей расходятся. Вполне достоверно принадлежат ему только три эпиграммы, приводимые ниже; остальные 70 эпиграмм разного размера и содержания, входящие в так называемый манускрипт Фосса (Vossianus) принадлежат неизвестным авторам, настроенным преимущественно в республиканском духе, о чем свидетельствует ряд эпиграмм, восхваляющих Катона Младшего, Помпея и его сыновей.

Несколько эпиграмм посвящены победам римлян над бриттами и германцами, другие написаны на любовные мотивы и не отличаются оригинальностью.

Приводим три подлинных эпиграммы Сенеки; одна из них посвящена философской теме о бренности всего земного, две другие живо отражают отчаяние автора во время его изгнания.

I

Все, что мы видим вокруг, пожрет ненасытное время;
 Все низвергает во прах; краток предел бытия.
 Сохнут потоки, мелеют моря, от берегов отступая,
 Рухнут утесы, падет горных хребтов крутизна.

Что говорю я о малом? Прекрасную сень небосвода,
 Вспыхнув внезапно, сожжет свой же небесный огонь.
 Все пожирается смерью; ведь гибель — закон, а не кара.
 Сроки наступят — и мир этот погибнет навек.

II

Корсика, землю твою заселил пришлец из Фокеи,
 Корсика, имя твое было в ту пору Кирнос.
 Корсика, брег твой короче Сардинии, круче, чем Илья.
 Корсика, множеством рыб реки богаты твои.
 Корсика, как ты ужасна, когда разгорается лето,
 Но несравненно страшней в дни под пылающим Псом.
 Будь милосердною к тем, кто в изгнании здесь погибает;
 Тем, кто здесь заживо мертв, легкой да будет земля.

III

Корсика дикая сжата скалою крутой отовсюду;
 Выжжена вся — и лежит всюду бескрайность пустынь;
 Осенью нет здесь плодов, и летом колосья не зреют,
 Древо Паллады к зиме здесь не приносит даров.
 Только дождями богата весна и не радуется взору;
 В этой проклятой земле даже трава не растет.
 Хлеба здесь нет, нет ни капли воды, ни костра для умерших.
 Здесь лишь изгнанник живет вместе с изгнанным вдвоем.

(Перевод М. Е. Грабарь - Пассек)

4. ФИЛОСОФСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Тот порядок, в котором расположены философские произведения в дошедшей до нас рукописи под заголовком «Диалоги» (см. выше), явно не соответствует их хронологическому порядку; а поскольку несколько философских сочинений вообще не вошло в эту рукопись, то исследователями было сделано немало попыток установить хронологию философских произведений Сенеки, если не точно по годам, то, во всяком случае, по крупным периодам его жизни, используя его собственные высказывания, рассеянные в самих сочинениях, упоминания о нем у позднейших писателей и различные стилистические особенности его трактатов. Результат, более или менее общепризнанный, таков:

до ссылки (т. е. до 41 г.) — «Утешительное послание к Марции», три книги «О гневе»;

в ссылке (41—49 гг.) — «Утешительное послание к Гельвии», «Утешительное послание к Полибию»;

по возвращении в Рим (50—65 гг.) — «О краткости жизни», «О милосердии», «О постоянстве мудреца», «О спокойствии духа», «О безмятежной жизни», «О благодеяниях», «О досуге», «Вопросы изучения природы», «О провидении», «Письма к Луцилию о нравственности».

Изложение каждого сочинения в отдельности и детальный разбор философского мировоззрения Сенеки входит в задачи не истории литературы; а истории философии; здесь могут быть освещены лишь несколько основных вопросов, над разрешением которых Сенека, по-видимому, размышлял в течение всей своей жизни.

Как уже было сказано, и в характере Сенеки, и в его общественном положении, и в его судьбе есть много противоречивого. Столь же противоречивыми представляются нам его политические воззрения. Если читать парал-

дельно трагедии Сенеки и его философские сочинения, то невольно создается впечатление, что в трагедиях Сенека высказывал свои политические убеждения гораздо откровеннее и яснее, чем в теоретических трактатах; в трагедиях, как мы видели, главной ведущей идеей является мысль о разлагающем действии власти на моральный облик человека; самоуправство, властолюбие и жестокость тираннов и царей вызывают негодование драматурга и сурово осуждается им. Напротив, в своих философских сочинениях он ограничивается общими морализирующими советами: легче было карать мифологических злодеев, чем резко выступать против своих современников.

Наболее близко к взглядам сенатской оппозиции стоит Сенека в «Утешительном послании к Марции», что совершенно понятно: восхвалять Кремуция Корда, историка республиканского направления, и в то же время отзываться благожелательно о единовластии было невозможно; кроме того, если это послание написано еще до ссылки на Корсику, то, очевидно, сам Сенека в ту пору еще недостаточно оценил ту опасность, которая может грозить всякому сопротивляющемуся, и охотно использовал пышную терминологию республиканского красноречия — «истый римлянин», «заветы предков» и т. п. Гибель Кремуция Корда он ставит, однако, в вину не самому Тиберию, а «Сеяновым сателлитам» («Послание к Марции», 1) и почти немедленно переходит к восхвалению матери Тиберия, Ливии, за ту «силу духа», которую она проявила при смерти своего второго сына — Друза. Впоследствии же Сенека высказывается о Тиберии крайне отрицательно: «При Тиберии Цезаре обвинительные доносы стали безумием, охватившим почти все общество и погубившим в мирное время больше граждан, чем любая гражданская война. Следили за болтовней пьяниц и за простодушными шутками; все грозило опасностью; любой повод для доноса был пригоден; о результате обвинения уже не стоило и спрашивать, он всегда был один и тот же» («О благоденствиях», III, 26).

Не менее противоречивы отзывы Сенеки о Гракхах; в «Послании к Марции» (гл. 16) он говорит, что даже тот, кто не считает Гракхов «добрыми гражданами», должен признать их величие, и называет трибуна Ливия Друза «прославленным юношей, шедшим по стопам Гракхов»; в сочинении «О краткости жизни» (гл. 6) он характеризует того же Ливия Друза, как «человека резкого и несдержанного; он внес новые законы, которые воскресили бедствия времени Гракхов.... он с детства был мятежником и суровым владыкой форума».

Симпатий к республиканскому образу правления Сенека не высказывает нигде; напротив, в своем сочинении «О милосердии», которое, как предполагают, написано им в поучение Нерону, только что взявшему бразды правления в свои юные руки и еще находившемуся под сильным влиянием Агриппины, Сенека пишет хвалебный гимн единоличному образу правления: он уподобляет правителя, конечно, милостивого и разумного, душе государства, всех остальных граждан — членам тела. «Он является тем обручем, который скрепляет государство; он — его жизненная сила (*spiritus vitalis*), которой дышат тысячи людей... Народ наш до тех пор будет огражден от опасностей, пока сумеет нести узду; если он разорвет ее или, порвав ее, не потерпит, чтобы ее снова наложили, то это единство, эта великая совокупность государства рассыпется на тысячи частей; и господству Рима придет конец в тот миг, когда он разучится повиноваться» («О милосердии», гл. 4).

Сенека сам причислял себя к последователям стоицизма и много раз возвращался к изображению «мудреца», о котором он говорит и в небольшом сочинении «О постоянстве мудреца или о том, что мудрец недоступен

оскорблению», и в «Досуге мудреца», и в «Безмятежной жизни». Однако последовательным строгим стойком Сенека не был; более того, в одном из основных вопросов, о том, как должен мудрец относиться к делам государства — деятельно или безучастно, — Сенека склоняется скорее к ответу, данному Эпикуром. Противопоставляя Эпикура Зенону, Сенека пишет: «По словам Эпикура, мудрец не участвует в делах государства, кроме особых случаев; по словам Зенона — он участвует в них, если ничто не мешает. Один предается досугу по собственному желанию, другой — побуждаемый внешней причиной. Но эту причину надо понимать в очень широком смысле. Если государство настолько порочно, что помочь ему нельзя, если оно — в руках дурных людей, то мудрец не станет напрасно тратить усилия, он не станет отдавать всего себя без пользы, если он не имеет ни влияния, ни сил» («О досуге мудреца», 30). Эти слова, как нельзя лучше, характеризуют настроение самого Сенеки в ту пору, когда краткий период благоразумного правления Нерона закончился и молодой правитель, обманув все возлагавшиеся на него надежды, перешел к необузданной и жестокой тирании.

Сенека не построил какой-либо единой, внутренне целостной системы; он брал из каждой системы то, что ему казалось наиболее применимым в жизни и не увлекался чисто философскими проблемами, парадоксами и софизмами; это настроение его все усиливалось к концу жизни; в письмах к Луцилию он даже не раз отзывался отрицательно об изданных хитроумных и, по его мнению, неразрешимых вопросах, над которыми философы ломают себе головы: «Ты просишь меня написать тебе, — пишет Сенека, — что я думаю о том вопросе, о котором так много спорят наши друзья: являются ли справедливость, храбрость, благоразумие и прочие добродетели одушевленными существами или нет? Именно такие мелочные рассуждения, дорогой мой Луцилий, и служат причиной того, что про нас говорят, будто мы зря упражняем свой ум на пустяках и проводим время в бесполезных спорах. Я, пожалуй, выполню твое желание и изложу тебе мысли наших философов. Но сам я держусь иного мнения» (письмо 113). В другом письме он отвечает Луцилию на вопрос, что такое софизм и как перевести это слово на латинский язык; здесь Сенека выражается еще резче: «Этими хитроумными вопросами ум играет, но ничего не выигрывает; они снижают уважение к философии и делают ее плоской. Я не запрещаю тебе подчас заниматься ими, но лишь тогда, когда тебе захочется побездельничать» (письмо 111).

Единственной целью, которая достойна мудреца, является нравственное совершенство, — благожелательность, милосердие, незлобивость и спокойствие духа; идеал Сенеки — абстрактный гуманизм, в котором окончательно стерлась специфически римская черта национальной гордости: «Дух человека велик и обширен; он не терпит никаких границ, кроме тех, которые существуют и для него, и для божества. Он не признает своей родиной узкие пределы Эфеса, Александрии или какого-либо еще более обширного города. Его подлинная родина охватывает весь этот мир, это свод, включающий в себя моря и земли» (письмо 102).

Во время своего изгнания Сенека в «Утешительном послании к Гельвии» (гл. 6) пытался внушить ту же мысль своей убитой горем матерью, вернее, старался убедить самого себя в том, что философу должно быть безразлично его местопребывание, что «нет такого места изгнания, где люди не поселились бы и не были бы этим довольны»; но в своих эпиграммах, более искренних, чем эти отвлеченные утешения, он говорит иначе.

Из того общечеловеческого абстрактного гуманизма, который Сенека считает необходимой чертой мудреца, вытекают и его общеизвестные вы-

сказывания об отношении к рабам; отнюдь не ставя вопроса о возможности уничтожения рабства вообще, Сенека не раз советует видеть в рабе человека, а не «говорящее орудие», каким считал его Катон Старший.

В трактате «О благодеяниях» он посвящает ряд глав III книги (20—28) доказательству того, что «рабство не проникает в человека в целом — лучшая часть его изъята от рабства. Только тело его подневольно и принадлежит господину, но душа принадлежит самой себе... Тело является тем, что по воле судьбы отдано во власть господина, он его покупает и продает; внутренняя же сущность не может быть отдана в рабство» («О благодеяниях», III, 20).

Далее Сенека приводит ряд примеров благородных поступков рабов по отношению к хозяевам: они спасали их от смерти, от доносов, рискуя собственной жизнью и безопасностью; таким образом, верность господину, по мнению Сенеки, является наивысшей доблестью раба; но господин должен постараться заслужить эту верность и привязанность хорошим отношением, помня, что судьба и его может превратить в пленника и раба в чужой стране («О милосердии», I, 18); о том же говорит одно из писем к Луцилию, в котором Сенека хвалит Луцилия за хорошее обращение с рабами: «Я с радостью услышал от црнехавших из твоего дома, что ты живешь в приятельских отношениях со своими рабами — это свидетельствует о твоем уме и хорошем воспитании. Они рабы? Но они люди. Они рабы? Они твои домочадцы. Они рабы? Нет, они скромные друзья. Они рабы? Да, они такие же рабы, как мы сами, и ты поймешь это, если подумаешь, что судьба распоряжается нами так, как ей угодно» (письмо 47).

Однако в основе этих гуманных советов лежит не только философская мысль о равенстве людей; за ними скрывается и страх перед той бесчисленной бесправной толпой рабов, которая при жизни Сенеки переполняла дома и имения богатых римлян; и этот страх отразился в следующем беглом замечании: «Некогда Сенат издал распоряжение, чтобы рабы отличались от свободных граждан своей одеждой; но потом выяснилось, какая страшная опасность угрожает нам, если наши рабы сосчитают, сколько нас, и если всем станет ясным, насколько преобладают в государстве его низшие слои» («О милосердии», 24).

Как ни старается Сенека убедить себя в верности того стоического (а по существу вместе с тем и эпикурейского, и кицического) тезиса, что мудрец недоступен горю, что он ни в чем не нуждается и т. п., он сам ясно чувствует, насколько тяжела и даже просто скучна такая жизнь, бездеятельная, замкнутая, лишенная радости творчества и общения с людьми; и Сенека, посвятивший много лет и положивший немало труда на достижение «спокойствия духа», «безмятежной жизни», «досуга мудреца» приходит в результате своих философских размышлений к тому же выводу, которым кончаются его трагедии: единственный выход из неминуемых бедствий жизни — смерть, естественная или добровольная. Смерть ожидает всех людей и часто она приносит им больше счастья и славы, чем принесла бы сохраненная им жизнь; но смерть ожидает и весь мир, он весь погибнет в мировой огненной катастрофе.

Свои философские размышления и моральные поучения Сенека излагает обычно довольно однообразно, нередко повторяя много раз одни и те же мысли и освещая их чрезмерно подробно, даже несколько назойливо; но стоит ему заговорить об отвращении к жизни, о смерти и о гибели мира, как его речь становится яркой и патетической. Если можно так выразиться, эти высказывания Сенеки — песнь торжествующего пессимизма. Пройдя долгий и разнообразный путь жизни и испытав несколько раз

крутые перемены судьбы, Сенека пришел к страшным выводам относительно человеческой жизни и человеческих отношений: «всего времени нашей жизни едва хватает на то, чтобы научиться презирать жизнь» (письмо 111). Глубоким недоверием к людям исполнено письмо 103, проникнутое мыслью, что «человеку более всего надо опасаться человека». Это письмо настолько ясно свидетельствует о том, что думал Сенека о том мире, в котором ему пришлось жить, что его надо привести почти целиком: «Почему ты так опасешься тех бедствий, которые могут приключиться с тобой, но могут и не приключиться? Я говорю о случайных катастрофах; они, конечно, подчас происходят с нами, но они не подстерегают нас. Опасайся и избегай того, что коварно намеревается погубить нас. Ибо редко, — хотя это и страшно, — тонут корабли или опрокидываются повозки, но от человека человеку опасность грозит ежедневно. Вот против чего надо всегда быть настороже, вот за чем надо следить, не спуская глаз: нет зла более частого более упорного, более коварного. Гроза предупреждает громом о своем приближении, здания трещат, прежде чем обрушиться, дым указывает очаг пожара: но внезапно приходит гибель от руки человека и чем она ближе, тем она лучше скрыта. Ты заблуждаешься, веря выражению лица тех, с кем общаешься — они лишь по виду люди, а в сердцах их больше злобы, чем у диких зверей, встреча с которыми опасна только минуту; тех, мимо кого они пробегут, они уже не разыскивают; только необходимость заставляет их вредить людям, только голод или испуг побуждают их к нападению: но человек, губя другого человека, наслаждается».

После таких жестоких слов совет «помнить и о своих обязанностях относительно других людей» звучит слабо; да и этот совет сводится по существу к предостережению: «Берегись, как бы тебя не обидели; берегись и ты кого-нибудь обидеть. Сочувствуй чужой радости, пожалей о чужом горе; знай, что надо делать и чего избегать. К чему надо стремиться в этой жизни? Не к тому, чтобы против тебя не строили козней, но к тому, чтобы тебя не обманули. И как только представится возможность, обращай к философии — она укроет тебя на своей груди; в ее святилище ты будешь в безопасности, или во всяком случае, в большей безопасности, чем где-либо... А впрочем, не следует хвалиться даже этим приобретением: уже многих сгубило то, что они похвалялись своей близостью к философии. Пользуйся ей, чтобы бороться со своими недостатками, а не порицать чужие; не отклоняйся слишком сильно от общепринятых нравов; не надо, чтобы казалось, будто ты осуждаешь все, чего не делаешь сам. Можно быть мудрым так, чтобы это не било в глаза и не навлекало на тебя ненависти» (там же).

По всей вероятности, Сенека не раз испытал на себе все то, о чем он пишет в этом письме, а кроме того, на его глазах преследовали и изгоняли учителей философии. Однако ни осторожность, ни умение «не отклоняться от общепринятых нравов» не спасло его от смерти по приказу его бывшего ученика. По сообщению Тацита он принял ее совершенно спокойно; более того, многие его высказывания свидетельствуют о том, что он желал ее, так как считал ее единственным возможным освобождением от вечного страха: в письме 70-м, посвященном теме самоубийства, он резко протестует против тех, кто осуждает добровольную смерть: «тот, кто это говорит, не видит, что он закрывает себе путь к освобождению». Далес Сенека приводит множество примеров, когда с жизнью добровольно расставались люди самого разного общественного положения — от сенаторов до гладиаторов и рабов, — и не только одобряет их, но даже называет их поступок «прекраснейшим».

Человек властен над своей жизнью, утверждает Сенека: «Вечный закон не дал нам ничего более благого, чем то, что даровал нам много возможностей уйти из жизни и только одну — войти в нее. Зачем мне ждать жестокой болезни или жестокой казни, если я могу избежать мук и злоключений? Только в одном мы не можем упрекнуть жизнь — она никого не держит против его воли... Тебе нравится жизнь? Живи! Не нравится? Можешь вернуться туда, откуда ты пришел... Нет необходимости наносить себе тяжкую рану, рассекая себе грудь — дорогу к великой свободе открывает тонкий скальпель, один миг — и ты уже в безопасности» (письмо 70).

Уже в одном из своих первых произведений («О гневе») Сенека в более пышной риторической форме выражал ту же мысль: «Тому, кто попал в руки владыки, поражающего стрелами его друзей, тому, кого господин принуждает вырвать внутренности у родных детей, я скажу: что ты рыдаешь, безумец, чего ты ждешь? Чтобы враг уничтожил твой род, чтобы какой-нибудь чужой владыка напал на тебя? Куда бы ты ни обратил свой взор, всюду ты найдешь исход из своих бедствий! Взгляни на этот крутой обрыв он ведет к свободе; взгляни на это море, этот поток, этот колодезь — на дне их таится свобода; взгляни на это дерево, невысокое, засохшее, жалкое — с него свешивается свобода. Твоя шея, твоя гортань, твое сердце — они помогут тебе избежать рабства. Но эти пути слишком трудны, они требуют большой мощи, душевной и телесной; ты спросишь, какой же еще путь к свободе открыт; он — в любой кровеносной жиле твоего тела» («О гневе», III, 15). Так предсказал Сенека свою смерть задолго до того, как ему пришлось с ней встретиться.

5. ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРИЕМЫ СЕНЕКИ

Даже в переводе вышеприведенных образцов можно почувствовать, в чем заключается сила языка и стиля Сенеки и в чем его слабость, однако ввиду той огромной славы, которой он пользовался при жизни и некоторое время после своей смерти именно как ритор и стилист, необходимо сказать несколько слов и о чисто литературных особенностях его философских сочинений.

Трудно представить себе более разительную противоположность, чем язык и стиль Цицерона и Сенеки, чем плавные, музыкальные, художественно (иногда даже слишком художественно) закругленные периоды Цицерона с их изящными повторяющимися клаузулами, с их богатейшей синонимикой и отрывистой проза Сенеки, как бы разрубленная на возможно более короткие отрезки, состоящие нередко из одного слова. Словарь Сенеки тоже весьма богат, но он пользуется им совсем иначе, чем Цицерон; он не старается использовать множество синонимических или полусинонимических слов и оборотов; напротив, найдя подходящее и понравившееся ему слово, он упорно повторяет его несколько раз подряд, усиленно пользуясь фигурой анафоры и эпифоры, словно желая вбить его навсегда в память читателя. Краткие резкие риторические вопросы («Видишь ли ты?», «Знаешь ли?», «На что сетуешь?» и т. п.) постоянно прерывают его речь. Метафорами и сравнениями он пользуется сравнительно редко и притом не для украшения речи и услаждения слуха и воображения читателя, а опять-таки для подчеркивания и закрепления мысли (см. выше сравнение людей с зверями в письме 70 и перечисление «путей к свободе» в сочинении «О гневе»).

Сенека редко и мало говорит о литературе, о приемах ораторского искусства и о писательской деятельности. Из множества его сочинений этому посвящены полностью только два письма к Луцилию (100 и 114);

в первом он защищает от нападок Луцилия книги некоего Фабиана Папирия (по-видимому, тоже философа-моралиста) и попутно характеризует стиль Цицерона, как «медлительный, плавный и мягкий, но без распушенности», а стиль Поллиона, как «соленый и скачущий». Во втором письме он говорит об Аррунции, подражателе Саллюстия, приводит примеры неумеренного и нежелательного подражания и делает замечание, которое сходно с тем, что впоследствии скажет о самом Сенеке Квинтилиан: «Подобные неудачные приемы пускает в ход кто-нибудь, кто в данное время блистает красноречием; а остальные ему подражают и передают их один другому». Но сам Сенека снова немедленно переходит к морализации и высказывает верную мысль, что в стиле отражается характер, но в письме 115 советует Луцилию не слишком много обращать внимания на «слова и композицию и думать о том, что пишешь, а не о том как пишешь».

Читая прозу Сенеки, легко заметить один его любимый литературный прием: использование исторических примеров, иллюстрирующих излагаемую им в том или ином случае мысль, а местами даже злоупотребление ими: он никогда не удовлетворяется одним или даже двумя примерами; так, трактат «О гневе» переполнен рассказами о жестокости царей, тиранов и просто злодеев, сочинение «О благодеяниях» — анекдотами о благодарных и неблагодарных друзьях, слугах и владыках. Даже в «Утешительном послании к Гельвии» он старается успокоить свою мать ссылкой на колонистов, населявших Корсику (гл. 8), примером Марцелла, храбро переносившего свое изгнание из Рима (гл. 9) и даже воспоминаниями о Менении Агриппе, Регуле и Сципионе, лишившихся своих богатств (гл. 12). Местами Сенека пытается оживить свои рассуждения и поучения каким-нибудь более легким шутливым рассказом; но это ему удается плохо — юмором он не обладает ни в какой степени и эта черта отличает его от Цицерона, может быть, еще сильнее, чем его стиль.

Наибольшей известностью из всех произведений Сенеки пользуются его «Письма к Луцилию». Эта известность, конечно, в достаточной мере, заслужена: в этих письмах кое-где говорит не ритор и не моралист, а живой человек; порой он жалуется на свое слабое здоровье (письмо 54), просит Луцилия «в честь его взобраться на Этну» и прислать ему ее геологическое описание, а также описать «Сциллу и Харибду», т. е. пролив между Сицилией и Италией (письмо 59); однако он всегда слишком скоро переходит на общеморальные темы, не останавливаясь на бытовых подробностях и не говоря о своих личных переживаниях; так, известие о страшном пожаре, уничтожившем Лугдун (Лион), дает ему повод к длинному рассуждению о необходимости примиряться с велениями судьбы.

В заключение следует привести ту исчерпывающую, беспристрастную и вполне справедливую характеристику Сенеки, которую ему дает Квинтилиан:

«Я особо выделяю Сенеку как владеющего всеми видами ораторского искусства, и делаю это потому, что широко распространено ложное мнение обо мне, будто я жестоко осуждаю его и ненавижу. Произошло это потому, что я действительно постарался вернуть красноречие от испорченной, рубленной манеры к более строгим формам. В ту пору только он один был в руках у молодежи; я вовсе не хотел изгнать его окончательно, но не допускал, чтобы его предпочитали более совершенным образцам... Ведь его больше восхваляли, чем подражали ему, и настолько же отставали от него, насколько он был ниже своих предшественников. Ведь было бы даже желательным стать равными ему или хотя бы к нему приблизиться; но в нем нравились как раз его недостатки, и каждый прила-

гал усилия к тому, чтобы выдумывать всякую всячину; и похваляясь, что он-де говорит так же как Сенека, он тем самым клеветал на Сенеку. А между тем у Сенеки было и множество достоинств — широкий и многосторонний ум, величайшее усердие, огромные знания, — правда, те, кому он поручал собирать для себя разные сведения, часто обманывали его. Он занимался почти всеми областями науки: от него остались и речи, и поэмы, и письма, и диалоги. В философии он был не очень силен, но умел изумительно бичевать пороки. У него много прекрасных изречений, многое следует прочесть для улучшения своих нравов: но манера его речи изобилует недостатками и они тем более опасны, что в высшей степени привлекательны...

Многое в нем, как я уже сказал, следует одобрить, многим даже можно восторгаться, но следует тщательно производить отбор; жаль, что он не сделал этого сам! Он был достоин уважения, но он желал лучшего, чем то, что ему удалось сделать»⁶ («О воспитании оратора», X, I, 125—131).

⁶ Перевод М. Е. Грабарь-Пассек.



Глава V

ПЕРСИЙ

1. Биография Персия.— 2. Сатиры Персия

1. БИОГРАФИЯ ПЕРСИЯ

Первым после Горация римским сатириком, произведения которого дошли до нас, был Авл Персий Флакк (Aulus Persius Flaccus).

Полное тройное имя Персия устанавливается по сохранившемуся извлечению из его древней биографии, которая приписывается в этом извлечении грамматiku Валерию Пробу, жившему в I в. н. э., т. е. современнику Персия¹.

Согласно указанию этой биографии, Персий родился 4 декабря 34 г. н. э., а умер 24 ноября 62 г., когда ему не минуло еще и двадцати восьми лет. Древнее извлечение из биографии Персия дает нам очень немного сведений о нем. Кроме дат рождения и смерти нам известно из этого извлечения только то, что Персий родился в этрусском городе Волатеррах (ныне Вольтерра) и принадлежал к богатому всадническому роду. Отца своего Персий потерял в шестилетнем возрасте, а вскоре после этого умер и его отчим — римский всадник Фусий, за которого мать Персия вторично вышла замуж. До двенадцати лет Персий жил в Волатеррах, где его воспитывала мать — Фульвия Сисенния. Затем Персий был перевезен матерью в Рим, где начал обучаться у известных в его время наставников — ритора Вергиния Флава и грамматика Реммия Палемона. Об этих римских учителях Персия имеются свидетельства нескольких латинских авторов.

О Вергинии Флаве упоминает Тацит («Летопись», XV, 71), говоря, что после раскрытия заговора Пизона Нерон изгнал из Рима, в числе других лиц, и этого ритора за то, что он «привлекал к себе расположение молодежи красноречием». С похвалой отзывается о Вергинии Квинтилиан (VII, 4, 40 и др.). Квинт Реммий Палемон, о котором презрительно упоминает Ювенал (VI, 452 и VII, 215 сл.), отличался, по словам Светония («О грамматиках», 23), крайним самомнением и такой развращенностью, что императоры Тиберий и Клавдий считали его совершенно непригодным наставником для юношества. Свидетельства же Плиния Старшего (XIV, 49), Иеронима (Хроника под 48 г. н. э.) и некоторых других авторов указыва-

¹ Начальное имя (praenomen) Персия дано в этом извлечении в полуетрусской форме Aules вместо обычного латинского Aulus (См. W. Schulze. Zur Geschichte lateinischer Eigennamen. Berlin, 1904, S. 134).

ют на Палемона как на крупного специалиста-филолога. Палемон был и поэтом, обладавшим даром импровизации и писавшим стихи малоупотребительными размерами (*pec non etiam poemata faciebat ex tempore; scripsit vero variis, pec vulgaribus metris*). Эта манерность Палемона вызвала (уже после смерти его) резкую критику Марциала, сопоставлявшего себя с этим поэтом:

Хоть совсем не хваюсь я палиндромом,
 Не читаю я вселять сотадов паглых,
 Хоть и эха гречат во мне не слышно,
 И мне Аттис изящный не диктует
 Галлиамбов изнеженных и шатких,
 Все же отнюдь не плохой поэт я, Классик:
 Предложи-ка ты Ладе против воли
 Пробежать по снаряду акробата?
 Затруднять себя сложным вздором стыдно
 И нелепо корпеть над пустяками.
 Пишет пусть для кружков своих Палемон,
 Я ж угоден пусть избранным лишь буду.

(Перевод Ф. А. Петровского, II, 86)

Ни о Вергинии Флаве, ни о Палемоне сам Персий не упоминает в своих сатирах, но очень вероятно, что в своей ранней юности он испытал на себе влияние Палемона как стихотворца, однако, как можно судить по первой сатире, стал впоследствии противником поэтической манерности. В своей автобиографической пятой сатире Персий² говорит только об одном своем наставнике — стойке Аппее Корнута, с которым подружился в шестнадцатилетнем возрасте, т. е. по достижении совершеннолетия, и под руководством которого занимался философией:

Только лишь пурпур хранить меня, робкого юношу, бросил
 И подпоясанный лар моею украсился буллой³,
 Только лишь дядьки мои спускательны стали и в тоге,
 Белой уже, я глазеть безнаказанно мог на Субуру,⁴
 Только лишь путь предо мной раздвоился и, жизни не зная,
 В робком сомнении я стоял на ветвистом распутье,—
 Я подчинился тебе. И ты на Сократово лоно
 Юношу принял, Корнут. Ты сумел незаметно и ловко,
 Как по линейке, мои извращенные выправить нравы;
 Разумом дух покорен и старается быть побежденным,
 И под рукою твоей принимает законченный образ.
 Помню, как вместе с тобой мы долгие дни коротали,
 Помню, как ужинать мы, с наступлением ночи, сядились.

(V, 30 сл.)

В числе друзей Персия, по свидетельству его биографии, были поэты Цезий Басс и Лукан, бывший всего на пять лет моложе Персия и переживший его только на три года.

² Сатиры Персия приводятся в переводе Ф. А. Петровского.

³ Т. е., когда Персий сменил детскую одежду с пурпурной каймой на белую мужскую тогу и повесил свой детский медальон на изображение лара (которые часто изображались в подпоясанной тунике).

⁴ Субура — один из самых оживленных кварталов Рима, полный всяческих соблазнов.

Писать Персий начал очень рано, но юношеские произведения его, о которых упоминается в биографии, были после его смерти уничтожены матерью по совету Корнута, которым руководили, очевидно, соображения политические, так как среди этих произведений были стихи, направленные против Нерона: трагедия на римскую тему (претекста), описание путешествия (в одной книге) и стихи в честь Аррии, тещи Тразси Пета, при Нероне приговоренного к смерти сенатом. Писал Персий мало и медленно; даже небольшая книга его сатир, дошедших до нас, не была окончательно отделана.

Вот схематическая канва жизни Персия: родился он за три года до смерти Тиберия, в Рим переехал при Клавдии, в год смерти которого ему исполнилось двадцать лет, а последние восемь лет прожил при Нероне. Умер Персий от какой-то желудочной болезни.

2. САТИРЫ ПЕРСИЯ

До нас дошли все шесть сатир, написанных Персием. Содержание их таково:

Первая сатира — единственная сатира Персия, в которой он, как и в прологе ко всему сборнику, рассуждает на чисто литературные темы. Персий восстает против страсти к стихотворству, которая начала бурно развиваться среди римлян еще во времена Горация⁵, а при Нероне стала настоящим бедствием: едва выйдя из детского возраста («бросив орехи»), говорят Персий, мы корчим из себя дядюшек и

Пишем мы все взаперти — кто стихами, кто вольною речью,—
Выспренне так, что любой запыхался б и самый здоровый,

(ст. 13—14)

доставляя удовольствие выродившимся потомкам древних римлян. Персий высмеивает затхлые мифологические сюжеты, бездарные подражания старинному эпосу, стремление к внешним эффектам и пустым риторическим украшениям. Собеседник Персия, которого он выводит в этой сатире-написанной в форме диалога, предпочитает, однако, новейшую вычурную поэзию стихам самого Вергилия:

Грубым размерам зато изящество придано, плавность;
Так мы умеем стихи заключать: «в Берекинтии Аттис»,
Или: «Дельфин рассекал Неря лазурное тело»,
Иль: «Мы отторгли бедро у длинного Аппенина».
«Браги и мужа пою». Не правда ль, надуте коряво
Это, как старый сучок, засохший на пробковом дубе?

(ст. 92—97)

Таким образом, Персий, приводя эти доказательства своего собеседника в пользу современной поэзии, указывает на совершенно невыносимое сочетание в ней архаистических и модернистских тенденций, восходящих еще к «неотерикам» времен Катуллы, но уже окончательно выродившихся во времена Нерона. Восстает Персий и против лести поэтам-патрициям, дарящим своим клиентам поношенные плащи и лицемерно требующим,

⁵ «Мы же, — учен, пеучен, — безразлично, поэмы все пишем» (Scribimus indocti doctique poemata passim). Г о р а ц и й. Послания, II, 1, 117.

чтобы им сказали правду об их стихах. «Подать ты умеешь горячее вымя», — говорит Персий, обращаясь к такому патрицию, —

Да и клиенту дарить поношенный плащ, а при этом
«Правду люблю», говоришь, «обо мне скажите всю правду».
Как это можно?.. Сказать? Все вздор ты пишешь, плешивый,
Да и отвисло твое непомерно надутое брюхо.

(ст. 53—56)

Образец лстивых похвал, касающихся чисто внешней стороны произведений бездарных поэтов, Персий приводит в форме ответа на вопрос одного из таких поэтов:

«Что говорят обо мне?» — Скажу тебе: то, что теперь лишь
Плавно стихи потекли и так, что по швам их и строгий
Ноготь пройдет, не застряв: «Он умеет так вытянуть строку,
Словно, прищуривши глаз, по шнуру ее красному вывел.
Нравы ль надо громить, пиры ль вельмож, или роскошь —
Выспренность мыслей дает поэту нашему муза».

(ст. 63—68)

Очень существенно в этих словах Персия и то, что он указывает на до последней степени безжизненные сюжеты «обличительной» поэзии своего времени, сюжеты, имеющие только декламационный характер, присущий школьным упражнениям риторских школ. Приведя примеры из новейшей поэзии, Персий с горечью восклицает:

Разве писали бы так, будь у нас хоть капелька старой
Жизненной силы отцов? Бессильно плавает это
Сверху слюны на губах, и Менада и Аттис — воднца.

(ст. 103—105)

Сам Персий стремится писать, подобно Луцилию, который «Бичевал столицу... Мудия, Луна», и не боится, как и создатель римской сатиры, обломать о них себе зубы; он готов следовать и хитроумному Флакку, т. е. Горацию, который писал (ст. 118),

Ловко умея народ поддевать и над ним насмеяться,

но не желает потакать испорченным вкусам читателей, которые любят смеяться только над пустяками и не выносят серьезной обличительной поэзии:

Пусть зажигается мной читатель с прочищенным ухом,
А не нахалы, кому над крепидами⁶ греков смеяться
Любо, и те, кто кривых обозвать способен кривыми,
Кто зазнается, кто горд италийского званьем эдила
И разбивал где-нибудь в Арретии ложные мерки⁷;
Да и не тот, кто хитер издеваться над счетной доскою
Иль над фигурой на мелком песке⁸ и готов потешаться,
Ежели книжку рвет его борода наглая девка.

(ст. 126—133)

⁶ Грецкая обувь. Персий разумет здесь римскую грекоманию, проявлявшуюся в не стоящих внимания мелочах.

⁷ Имеется в виду мелкий муниципальный чиновник, гордящийся своим званием рыночного смотрителя.

⁸ Для арифметических вычислений употреблялась доска, посыпанная песком.

Вторая сатира написана на сюжет о молитве. В ней Персий укоряет тех, кто

Совести, славы, ума откровенно просят и громко,
А про себя и сквозь зубы цедя, бормочут: «О, если б
Дядюшка сдох, то-то смерть была бы на славу! О, если б
Заступ ударился мой о горшок с серебром, поспособствуй
Мне Геркулес! Или как-нибудь мне извести бы мальчишку,
После которого я ближайший наследник!..

(ст. 5—13)

Нападает Персий и на тех, кто переносит на богов свои собственные нравы:

О вы, склоненные ниц, умы не причастные небу,
Что за охота вносить наши нравы в священные храмы
И о желаньях богов судить по плоти преступной?

.....
Да, заблуждается плоть, но пороки использует; вы же
Мне объясните, жрецы, к чему выше золото храмам?
То же оно для святынь, что и куклы девиц для Венеры.

(ст. 61 сл.)

Истинное благочестие в человеке определяют его

Правосознание, и долг священный, и чистые мысли,
И благородство души, и честное покрывное сердце.

Так говорит Персий в конце второй сатиры, приближаясь тем самым к Лукрецию, задолго до него доказывавшему, что «безмятежная жизнь невозможна без чистого сердца» (V, 18), а благочестье состоит не в поклонении богам,

Но в созерцание всего при полном спокойствии духа.

(V, 1203)

В сатире третьей проповедуется стоическая философия. Эта сатира выступает против неправильного, с точки зрения здравого смысла и стоической морали, воспитания юношества.

Четвертая сатира написана на тему о самопознании. В ней излагается диалог Платона «Алкивиад I». Основная мысль этой сатиры выражена в ее последнем стихе:

Внутри себя углубись и познай, как бедна твоя утварь.
Tescum habita: nōgis, quam sit tibi curta supellex.

Пятая сатира написана в форме послания к Корнуту. Основная мысль послания состоит в том, что истинная свобода заключается в усвоении и проведении в жизнь основ стоической философии. Сатира эта содержит некоторые автобиографические сведения и характеристику Корнута.

Шестая сатира — послание к Цезию Бассу. Тема этой сатиры — разумное пользование богатством.

Всеми сборнику сатир, написанных дактилическим гексаметром, предпослан пролог⁹, написанный холиамбами (Гиппонактовым стихом).

⁹ Некоторые исследователи полагают, что это не пролог, а эпилог.



*Свадьба
(стена саркофага римской работы)*

Пролог этот имеет ярко выраженный сатирический характер и сильно отличается по тону от всего сборника Персия.

Сатиры Персия носят явные признаки недоработанности; язык их порою очень не ясен, мысль часто запутана. Скорее всего это объясняется тем, что талант Персия не успел еще развиться; но нельзя упускать из виду и того, что неясность языка Персия (во всяком случае для позднейших поколений) может иметь и другую причину. Дело в том, что Персий, явно следуя Горацию, стремится воспроизвести в своих сатирах живую беседу, разговорную речь, т. е. написать такие же «беседы», какие писал его знаменитый предшественник, иной раз сознательно затемнявший язык свой. Зависимость формы сатир Персия от Горация не вызывает сомнений, но по существу младший из сатириков гораздо серьезнее относится к тем порокам, какие он стремится искоренить, чем автор описания поездки в Брундисий.

Надо, однако, сказать, что в древности не замечали тех недостатков в стихах Персия, какие замечаем мы. Сатиры его пользовались в Риме несомненным успехом, о чем свидетельствует, с одной стороны, то, что они дошли до нас во многих списках, восходящих к различным архетипам, а с другой — указания таких знатоков и ценителей, как Квинтиллиан, который, упоминая его рядом с Горацием, говорил (X, 1,94), что «Персий заслужил большую и истинную славу всего одной книгой». Марциал, которого в данном случае никак нельзя заподозрить в неискренности, обращаясь к своему другу Пуденту, говорит:

Книжкам нашим, Пудент дорогой, их куча мешает:
 До пресыщения их надоедает читать.
 Редкое нравится нам: так первый овощ вкуснее.
 Так же дороже для нас розы бывают зимой;
 Так набивает себе любовница хищная цену
 Снезью: открытая дверь не привлечет молодежь.
 С книгой Персия мы считаемся чаще одною,
 Чем с «Амазонидой» всей, Марса пустого трудом.
 Так же и ты, из моих люблюю книжку читая,
 Думай, что нет остальных: выше оценишь ее.

(V, 29)

Оценка Персия Марциалом очень знаменательна. Из нее видно, до какой степени истинным знатокам и любителям литературных произведений были противны длиннейшие и скучнейшие мифологические поэмы, наряду с которыми книжка Персия была и оставалась для последующих поколений свежим и отрадным явлением. Надо, однако, сознаться, что для нас не совсем убедительна высокая оценка Персия как в древности, так и в последующие времена, например, у Буало:

Perse en ses vers obscurs, mais serrés et pressants
 Affecta d'enfermer moins de mots que de sens.

(L'Art poétique, II, 155—156)

Оценка Буало должна быть несомненно смягчена в том смысле, что Персий, хотя и стремился заключить наибольшее количество мыслей в небольшое количество слов, но ему это далеко не всегда удавалось: «Кратким быть я хочу — выражаюсь темно» (Brevis esse laboro — obscurus fio. — «Наука поэзии», 25), — мог бы он сказать о себе словами Горация, но с гораздо большим основанием, чем сам Гораций. И порою, читая Пер-

сия, невольно вспоминаешь старинное изречение о нем: *Si non vis intellegi, non debes legi* («Если ты не хочешь быть понятым, тебя не стоит читать»). Но, по правде сказать, непонятность Персия объясняется во многих случаях тем, что некоторые из его намеков, ясные для его современников, для нас остаются загадочными.

Хотя Персий и считал себя продолжателем Луцилия и Горация, начиная уже со второй сатиры, он не оправдывает своего обещания писать в смелом сатирическом роде. В этом отношении, насколько можно предполагать, его сатиры сильно отличаются от сатир Луцилия, имевших политический характер. Все сатиры Персия, не исключая даже первой, в которой он обрушивается на страсть к стихотворству и ярко живописует связанные с нею пороки римского общества, представляют собой в основном морально-дидактические рассуждения в духе стоической философии, обличающие не столько пороки нероновского времени, сколько уродливые явления человеческой жизни вообще. Тем не менее в сатирах Персия много живых зарисовок римских нравов и быта, доказывающих остроту его художественного зрения и умение воплощать в яркие картины результаты своих наблюдений. Сравнивая сатиры Персия с произведениями его последователя Ювенала, мы видим, что обличительная сила позднейшего сатирика превосходит рассуждения ученика Корнута; Персий действительно не достигает высот ювеналовской сатиры, но ведь он пишет о том, что есть, а это гораздо труднее, чем обличать то, что было. В своих литературных зарисовках он значительно искреннее и смелее нападает на современных ему римлян, чем другие писатели-философы. Давая отрицательную характеристику этим авторам, Энгельс положительно отзывается о Персии, указывая, что «только очень редкие из философов, как Персий, размахивали по крайней мере, бичом сатиры над своими выродившимися современниками»¹⁰.

Сам Персий, конечно, считал свои произведения именно сатирами, бичующими пороки современного ему римского общества. Признавал он себя и настоящим поэтом, хотя в довольно загадочных «хромых ямбах», входящих в состав его книги, он иронически говорит о поэтах, черпающих вдохновение на Парнасе и в «конском источнике» (т. е. в посвященной музам Гиппокрене), явно отмежевываясь от стихотворцев, считавших себя одаренными свыше, а на самом деле писавших стихи в расчете на подачки богатых патронов:

Ни губ не полоскал я в роднике конском,
 Ни на Парнасе двухвершинном мне грезить
 Не приходилось, чтоб поэтом вдруг стал я.
 Я геликонских дев с Пиреюю бледной
 Предоставляю тем, чьи лики плющ цепкий
 Обычно лижет; сам же, как полунеч,
 Во храм пенцов я приношу стихи эти.
 Из полугая кто извлек его «здравствуй»,
 Сорок заставил выкликать слова наши?
 Искусств учитель, на таланты все щедрый —
 Желудок, мастер голосов искать чуждых:
 Блеснет надежда на коварные деньги —
 Сорока поэтессой, как поэт ворон,
 Пегасовым напевом запоят, верь мне!

¹⁰ Ф. Энгельс. Бруно Бауэр и первоначальное христианство (Маркс и Энгельс. Сочинения, т. 19, стр. 312).

Политическая сатира чужда Персию. Нет у него также намеков (по крайней мере, очевидных) и на Нерона, несмотря на то, что Персий принадлежал к тем кругам римского общества, какие были близки к сенатской группировке, оппозиционной императору. Все старания некоторых комментаторов прочесть между строками Персия больше того, что у него сказано прямо, оказываются бесплодными, за исключением, пожалуй, одного только случая: начало ст. 121 первой сатиры дошло до нас в двух редакциях:

1) в редакции, принятой новейшими издателями Персия:

Aurículas asini quis non habet
(разве кто-нибудь есть без ослиных ушей);

2) в редакции, сохраненной в извлечении из древней биографии Персия:

Aurículas asini Mida rex habet
(у Мидаса-царя ослиные уши).

При этом в извлечении указано, что в этой форме начало стиха заключало намек на Нерона и было поэтому изменено Корнутом. Был ли тут сознательный намек на Нерона, сказать трудно, но нет никаких оснований безусловно не верить тому, что вторая (первоначальная, согласно словам биографа) редакция принадлежит Персию.

«Кто это станет читать?» восклицает Персий в начале первой своей сатиры, сознавая, насколько его произведения идут вразрез со вкусами его современников, и тут же дает ответ: «Двое иль вовсе никто». Но Персий оказался неправ: его читали, перечитывали и изучали как в древности, так и в новые времена. Читаем и изучаем его произведения и мы, несмотря на то, что текст его сложен для нас и порой настолько темен, что требует подробных комментариев и языковых и реальных.

Глава VI

ЛУКАН

1. Биография Лукана.—2. Поэмы Лукана о гражданской войне.—3. Исторические источники «Фарсалии» и переработка их Луканом.

1. БИОГРАФИЯ ЛУКАНА

Крупнейшим эпическим произведением римской литературы середины I в. н. э. была поэма Лукана «О гражданской войне», или «Фарсалия». Лукан был очень плодовитым писателем, но кроме «Фарсалии» до нас не дошло ни одно из его произведений, даже заглавия их не во всех случаях можно установить с достоверностью¹.

Из древних биографий Лукана, имеющих в списках его поэмы, сохранилось две, из которых одна, неполная, приписывается историку Светонию (70—140 гг.), другая — филологу Вакке, жившему, по всей вероятности, в VI в. Кроме того, обстоятельства, послужившие причиной смерти Лукана, и самая его смерть описаны в «Анналах» Тацита (XV, 48—70).

Марк Анней Лукан (M. Annaeus Lucanus) родился в испанском городе Кордубе (теперешней Кордове) в конце 39 г. н. э., но воспитывался в Риме, а затем в Афинах. Умер он 30 апреля 65 г. Годы рождения и смерти Лукана — единственные даты, какие можно точно установить; другие же события его жизни точной датировке не поддаются. Лукан был провинциалом по происхождению и не принадлежал к римской знати, поскольку никто из его семьи не был магистратом в Риме; тем не менее он пользовался всеми преимуществами, которые могли доставить богатство и связи. Дядя Лукана, философ Сенека, один из самых видных людей своего времени, в первое время принципата Нерона вместе с начальником преторианских когорт Бурром был в сущности негласным властителем Римского государства. Лукан рос и воспитывался под руководством Сенеки, единственный сын которого умер еще в детстве.

Лукан получил самое широкое образование. Преподавание в его время начиналось с изучения литературы и завершалось в школе «ритора» — профессора риторики. Согласно свидетельствам, сохранившимся в биографии Лукана, приписываемой Вакке, Лукан обнаружил удивительные способности, опередил товарищей по школе и даже сравнился со своими учителями. Он в совершенстве владел и латинской и греческой речью, прошел основательную философскую школу под руководством философа-стоика Корнута, у которого обучался и сатирик Персий.

¹ См. Л. Е. Римская эпопея во времена империи. ЖМНП, ч. СХVIX. Отд. класс. филол., 1873, стр. 129—135.

Во времена Лукана стоическая философия пользовалась исключительным успехом у представителей высшего римского сословия. Эта философия, проповедывавшая настойчивость в исполнении долга и подчинения личности тому, что является с точки зрения стоической морали должным и необходимым, питала оппозиционные настроения сенаторского сословия, которые в конце правления Нерона (в 65 г.) нашли свое выражение в заговоре Гая Кальпурния Пизона. В этом заговоре принимали участие видные сенаторы и связанные с ними начальники преторианцев.

В поэме Лукана часто слышны отголоски стоического учения, соединяющегося с риторикой, которой она, можно сказать, пропитана.

Лукан начал писать и опубликовывать свои произведения в прозе и в стихах очень рано; поэтому вполне понятно, что в его сочинениях весьма сильны были школьные навыки, которые он, однако, постепенно преодолевал: его поэма живо и ярко воспроизводит историческую действительность и теснейшим образом связана с жизненными интересами римской оппозиции Нерону.

Из дальнейших фактов биографии Лукана нам известно, что он женился на Пулле Арентарии, которая, по словам Стация («Сильвы», II, 7), была и молода, и красива, и добродетельна, и умна, и богата.

Некоторое время Лукану покровительствовал император Нерон, бывший всего на два года его старше. Нерон увлекался литературой и музыкой, стремился прославиться не только как музыкант, но и как поэт. По свидетельству Светония («Нерон», 12,3), Нерон впервые в Риме учредил периодические состязания по греческому образцу, повторяющиеся через каждые пять лет: музыкальные, гимнастические и конные. Он назвал их «Нерониями». На этих-то состязаниях Лукан выступил с «Похвальным словом» молодому императору. Сохранилось известие, что Лукан был вызван Нероном из Афин, куда он, по всей вероятности, отправился заканчивать образование; по возвращении в Рим он был возведен в звание квестора (хотя не достиг еще требуемого возраста) и был принят императором в интимный круг друзей, а также получил звание жреца коллегии авгу-ров.

Но благоволение Нерона не было долговременным и прочным. Античные биографы Лукана объясняют разрыв Нерона с Луканом чисто личными мотивами — крайним самолюбием императора и завистью его к литературным успехам Лукана: молодой поэт, как указывает в приписываемой Светонию биографии, обиделся на Нерона за то, что тот ушел с публичного чтения, где Лукан декламировал свое произведение; кроме того, говорится в той же биографии, Лукан высмеял стихи Нерона в совершенно неподходящем месте и сочинил стихотворение, где издевался и над самим Нероном и над влиятельнейшими из его друзей. Все это очень правдоподобно, однако с большей вероятностью можно предположить также, что Нерон подозрительно отнесся к начатой Луканом «Фарсалии», в которой при всей лести императору во вступлении обнаруживались безусловные симпатии поэта к республиканцам и противникам тираннии. Лукану было запрещено не только опубликовывать свои произведения, но даже читать их друзьям. Оскорбленный поэт не удовольствовался резкими нападками на тираннию в своей поэме, где, начиная с книги четвертой, можно видеть прямые намеки и выпады против Нерона, но принял также участие в заговоре Пизона, имевшего целью свержение и убийство ненавистного императора. Лукан стал душой этого заговора. Но заговор был раскрыт, а заговорщики схвачены. Лукан пришел в отчаяние, ужасаясь предстоящей казни, совершенно потерял мужество и, судя по Светониевой биографии, пошел на то, что обвинил других лиц, надеясь этим спасти самого

себя. Но это не спасло Лукана: он был осужден, ему было только предоставлено право самому выбрать род смерти. Лукан остановился на самоубийстве, выбрав обычный в те времена способ — вскрытие вен. Умирая, он, судя по нашим источникам, произнес собственные стихи с описанием смерти солдата, истекающего кровью. Очень возможно, что это были стихи 635—646 из третьей книги «Фарсалии»²:

В миг, когда быстрый крюк наложил железную руку,
 Был им зацеплен Ликид: он сразу вырнул бы в пучину,
 Но помешали друзья, удержав за торчащие ноги.
 Рвется он надвое тут: не тихо кровь заструилась,
 Но из разодранных жил забила горячим фонтаном.
 Тело жививший поток, по членам различным бежавший,
 Перехватила вода. Никогда столь широкой дорогой
 Не изливалась жизнь: на нижней конечности тела
 Смерть охватила давно бескровные ноги героя;
 Там же, где печень лежит, где легкие дышат, надолго
 Гибель препону нашла, и смерть едва овладела
 После упорной борьбы второй половиною тела.

На уцелели и близкие родственники Лукана: его отца и двоих его дядей — Сенеку и Галлиона — принудили покончить жизнь самоубийством. Поощрена была вдова поэта, Полла Аргентария, которая впоследствии ежегодно отмечала день рождения покойного мужа. До нас дошли и стихотворения Стация («Сильвы», II, 7) и Марциала, писавших уже после смерти Нерона, в честь дня рождения Лукана. Вот три эпитаграммы Марциала, посвященные Лукану (VII, 21; 22 и 23):

Славный сегодняшний день, свидетель рожденья Лукана:
 Дал он народу его, дал его, Полла, тебе.
 О ненавистный Нерон! Этой смерти ничто не ужасней!
 Если б хоть этого зла ты не посмел совершить!

Памятный день наступил рожденья певца Аполлона.
 Благостно, хор Аонид, жертвы ты наши прими.
 Давший тебя, о Лукан, земле — по заслугам достоин
 Был свои воды смешать Бетис с Кастальской водой.

Феб, появись, но таким, как громко поющему войны
 Лиры латинской второй плектр самолично давал.
 В день сей о чем я молю? Постоянно, о Полла, супруга
 Ты почитай, и пусть он чувствует этот почет.

(Перевод Ф. А. Петровского, VII, 21, 22 и 23)

2. ПОЭМА ЛУКАНА О ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ

Во времена Лукана оппозиционные настроения сенаторов усилились из-за нестерпимого гнета Нерона по отношению к сенаторскому сословию. Но в начале принципата Нерона (с 54 по 62 г.) благодаря стараниям Сенеки и Бурра еще сохранялись хорошие отношения между принцем и сенатом. Поэтому нет ничего удивительного, что идеализация молодого Нерона нашла свое отражение во вступлении к «Фарсалии».

² Все цитаты из «Фарсалии» даны в переводе Л. Е. Остроумова (Марк Анней Лукан в. Фарсалия... М.—Л., 1954).

В этом вступлении Лукан рассуждает о судьбах Рима и рассматривает исторический процесс как цепь роковых испытаний, угрожавших существованию государства, но счастливо завершившихся приходом к власти Нерона. Из роковых событий в истории Рима самыми страшными Лукан считает период триумvirата и последовавшую затем гражданскую войну между Цезарем и Помпеем. Однако, хотя бедствия, постигшие римскую республику, ужасны,

Но, коль иного пути не нашли для прихода Нерона
Судьбы, и грозной ценой покупается царство всевышних
Вечное, и небеса подчиниться могли Громовержцу,
Только когда улеглось сражение свирепых гигантов,—
Боги, нельзя нам роптать: оплачены этой ценою
И преступленья, и грех; и пусть на Фарсальской равнине
Кровью залиты поля и насытились маны Пунийца;
Пусть и решительный бой разразился у гибельной Мунды;
Цезарь, к несчастиям тем прибавь и осаду Мутины,
Голод Перусии, флот, у суровой Левкады погибший,
Да и с рабами войну под склонами огненной Этны,—
Все же гражданской войне мы обязаны многим: свершилось
Все это ради тебя!

(I, 33—45)

Несмотря на всю лезть этого вступления, в котором предсказывается даже будущий апофеоз Нерона, нет оснований предполагать в нем иронию, которую видит древний схолиаст³, или считать вероятным, что прославление Нерона «было вызвано у Лукана желанием прикрыть свободолобивые идеи, заметные уже в начале поэмы»⁴. Если отбросить напыщенность и риторичность, свойственные не только Лукану, но и вообще поэзии его времени, то вступление окажется не менее искренним, чем слова Тацита в начале пятой главы XIII книги «Летописи» относительно декларативного выступления Нерона в сенате. Очевидно, для Лукана, как и для сенаторов, были естественны надежды на то, что молодой принцепс восстановит римское правовое государство, принципы которого были нарушены и триумвирами и предшествующими Нерону императорами, что он не будет «владыкою» или «тиранном», а пойдет по стопам Августа, в правление которого отношение к сенату приобрело романтическую окраску в сознании сенаторской группировки времен Нерона.

Разбирая ближайшие причины гражданской войны, Лукан не отдает предпочтения ни одному из противников; борьба между ними, гибельная для Рима, внушает ему ужас и отвращение:

Ты, о Великий Помпей, боишься, чтоб старых триумфов
Новый герой не затмил, и лавр побед над пиратом
В галльских боях не увял. В тебе же к походам привычка
Дух возбуждает, и ты со вторым не помирись местом:
Цезарь не может признать кого бы то ни было первым.
Равных не терпит Помпей. В чьем оружии более права,
Ведать грешно.

(I, 121 сл.)

³ См. схолии к ст. 44 в издании «Фарсалии» Вебера (Лейпциг, 1831, т. 3, стр. 11).

⁴ Н. Ф. Д е р а т а н и. Борьба за свободу, патриотизм и героика в поэме Лукана «О гражданской войне». Моск. Гос. пед. ин-та им. В. И. Ленина. «Уч. зап. кафедр класс. филол. и всеобщей л-ры», т. XXXII, вып. VI, М., 1946.

Обдумывая ход исторических событий Римского государства, Лукан полагает, что

... в обществе также таилась
Братской войны семена, / всегда потоплявшей народы.
(I, 158—159)

Военные успехи, обратившие Рим в мировую державу, развратили народ,

... которому мир и свобода
Силы крепили, храня в бездействии долгим оружье.
(I, 171—172)

С одной стороны, огромная военная добыча породила богатство и роскошь, породившие в свою очередь изнеженность:

... едва ли приличные женам
Носят наряды мужья; героев плодящая бедность
В пренебреженьи...
(I, 161 сл.)

С другой стороны, расширение земельных владений, сосредоточение их в руках отдельных богачей и то, что

... поля, взбороненные строгим Камиллом,
Взрытые преседе киркой и мотыгой Курнев древней,
Стали уделом иных, неведомых сельских хозяев,
(I, 168—170)

привело к тому, что закалявшее римлян довольство малым, благородная бедность (*paupertas* — ст. 165), сменившись непомерным богатством немногих, обратилась для большинства римлян в нищету и нужду (*egestas* — ст. 173) и уже

... на злодейства, нужды порожденье,
Смотрят легко; а мечом захватить в свои руки отчину —
Это великая честь; и ставят мерою права
Силу; в неволе закон и решенья народных собраний,
Консулы права не чтут, и его полирают трибуны.
(I, 173 сл.)

Выборы должностных лиц (магистратов) обращаются в «торг должностями», заемодавцы берут «хищный процент» и назначают «беспощадные сроки уплаты». Словом, все старинные устои римской республики поколеблены, и «война стала выгодной многим» (I, 181 сл.).

Таким выводом заключает Лукан свое изложение причин, разрушивших государство и приведших к гражданской войне.

Но положительной программы у Лукана нет. В своем вступлении он ни слова не говорит о мерах, какие могли бы восстановить былой республиканский строй Рима, каким он был, по традиционному представлению, во времена Курнев и Камиллов. Лукан считает такой возврат к прошлому невозможным и мечтает лишь об одном: о водворении мира и спокойствия

во всем мире. И водворить мир поэт считает призванным Нерона, который и после своего будущего апофеоза должен заботиться о благе вселенной: «блюда равновесия мира» — обращается Лукан к Нерону:

Став посредник небес; пусть эта эфирная область
Ясной останется вся, в облаках да не скроется Цезарь.
Пусть человеческий род, оружие бросив, стремится
К общему благу в любви; и мир, по вселенной разлившись,
Да заградит навсегда железные Януса двери.

(I, 57 сл.)

Вступление к «Фарсалии» показывает, какова была основная мысль и задача Лукана в его поэме о гражданской войне.

Эту войну Лукан считал критическим моментом римской истории: ею заканчивался весь период древней Республики, выродившейся в тиранию «трехголового чудовища», как называл триумвират Юлия Цезаря, Помпея и Красса их современник Марк Теренций Варрон. После исторически неизбежного, с точки зрения Лукана, крушения совместного самовластия трех, а после смерти Красса — двух владык Рима (I, 84—97) должна была наступить новая эра для римской державы. Лукан считает гражданскую войну, которой он посвящает свою поэму, самым мрачным событием в истории Рима, сходясь в своем мнении с современником и участником борьбы между Цезарем и Помпеем — Цицероном, который через два года после битвы при Фарсале писал: «... я скорблю, что выступив в жизни как бы в дорогу с некоторым опозданием, я прежде окончания пути застигнут был этою ночью государства» («Брут», 96, 330).

Лукан родился после того, как миновала эта «ночь государства»; во введении к своей поэме он надеется на наступление ясного для Рима дня. Для Лукана идеалом верховного правления обновленного римского государства было правление сената, поручающего власть назначенному лицу. Эта идея выражена Луканом в начале V книги «Фарсалии» (ст. 13—14), когда римские сенаторы

... возвещают народам,
Что не Сенатом Помпей, а Сенат руководит Помпеем,

и развита в дальнейшей речи Лентула (V, 17—47).

Таким образом, Лукан и его единомышленники стремились к аристократической («сенатской») республике, возглавляемой зависимым от сената «вождем» (V, 47). Такому «законному» образу правления, которое было установлено в разгар гражданской войны, Лукан противопоставляет деспотию Цезаря, самовластно распоряжающегося в Риме: незаконно созывающего сенат и предписывающего ему решения (III, 103—111), издевательски относящегося к народным собраниям (V, 385—402), дерзко заявляющего о своей неограниченной власти (V, 660—664).

Сенат для Лукана — олицетворение свободы, Цезарь — царской власти (VII, 694—697). Но из-за отсутствия у Лукана конкретной положительной политической программы он в своей поэме не выходит за пределы мечтаний.

Политические взгляды Лукана не противоречат его ластивому восхвалению Нерона в начале «Фарсалии»: поэт мечтает, что молодой принцепс окажется тем «вождем», который будет править римской державой в согласии с сенатом. Идеализация Нерона объясняется надеждами, которые пробудились в сенатских кругах римского общества в связи с деклара-

цией молодого императора, в которой он публично заявил о правах сената, как об этом говорится у Тацита («Летопись», VIII, 4) и у Светония («Нерон», 10). Однако при чтении дальнейшего текста «Фарсалии» сразу бросается в глаза, что восхваление Нерона совершенно не связано ни с общей тематикой, ни с отдельными эпизодами поэмы. Лукан как будто совершенно забывает о Нероне, внимание его всецело приковывают картины борьбы между Юлием Цезарем и Помпеем и дальнейшие, уже после гибели Помпея, эпизоды гражданской войны, главным героем которой становится для Лукана Катон Младший.

К сожалению, у нас нет никаких сведений относительно того, в какое время написаны отдельные части «Фарсалии», но данные биографии Лукана с несомненностью говорят о том, что по крайней мере вторая часть поэмы написана после окончательного перехода поэта на сторону противников Нерона. Из биографии Лукана, которую приписывают Вакке, ясно только то, что сам Лукан издал три первые книги поэмы, после чего, видимо, Нерон и запретил ему дальнейшую публикацию его произведений.

Будучи в начале литературной деятельности в самых лучших отношениях с Нероном, Лукан в первых книгах «Фарсалии», по всей вероятности, и не думал как-нибудь задеть молодого императора, не намеревался намекать на то, что он деспот и враг свободы (в понимании этого слова Луканом). Но Нерон, особенно после смерти Бурра и удаления от императорского двора Сенеки (в 62 г.), решил, пренебрегая своей первоначальной декларацией, быть полновластным и самодержавным властителем Рима и начал преследования граждан по закону об оскорблении величества. Он стал всячески притеснять сенаторов, в частности широко прибегая к конфискации их имущества. Совершенно естественно, что Нерон должен был заподозрить в авторе «Фарсалии» своего, если не открытого, то тайного идейного врага — ярого сторонника власти сената, врага, который, к тому же, оказался его соперником на литературном поприще.

Вполне понятно, что во второй части «Фарсалии» (начиная с книги четвертой) отношение Лукана к Нерону резко меняется как по личным мотивам, так и в результате того разочарования, какое овладело Луканом и его единомышленниками, когда они увидели истинное лицо своего властителя. Восторженно льстивое отношение сменяется ненавистью к Нерону, сбросившему маску республиканской лояльности и обратившемуся в настоящего «царя», считавшего, по словам автора «Октавии», что

Предметом страха должен цезарь быть⁵

(ст. 457)

Явные и скрытые намеки на тираннию Нерона видны во многих местах последних книг «Фарсалии», и для современников поэта эти намеки были совершенно очевидны, они могли усмотреть их и в первых книгах.

Так, изображение Юлия Цезаря, самовластно распоряжающегося в Риме (V, 381 сл.), должно было легко напомнить о самовласти Нерона, а тот стих (V, 385), где осуждается «лживая речь, которою мы владык обольщаем», сводила на нет все прославление Нерона во вступлении к поэме (I, 33—66).

Пользуясь словом «цезарь», которое было фамильным именем в роде Юлиев, а со времен Октавиана-Августа обратилось в титул римских императоров (откуда и русское царь), Лукан мог в ряде случаев иметь в

⁵ Decet timeri Caesarem. Перевод С. М. Соловьева.

виду Нерона. Намек на Нерона ясен в стихе 696 книги VII, где противопоставляются Свобода и Цезарь — *Libertas et Caesar*.

Заключившая описание Фарсальской битвы, Лукан восклицает:

... испровержены мы на столетья!
 Нас одолели мечи, чтобы в рабстве мы ввек пребывали.
 Чем заслужил наш внук иль далекое внуков потомство
 Свет увидеть при царях! Разве бились тогда мы трусливо?
 Иль закрывали мы грудь? Наказанье за робость чужую
 Нашу главу тяготит. Рожденным после той битвы
 Дай же и сил для борьбы, коль дала господина, Фортуна!

(VII, 610—616)

Так как Лукан считает выразителем и хранителем римской «свободы» сенат, то на протяжении всей поэмы сенат постоянно противопоставляется Цезарю. Это видно уже с первых книг «Фарсалии». Так, в книге первой Курион, «оратор продажный и дерзкий», который «когда-то стоял за свободу» (I, 269 сл.), бежавший из Рима к Цезарю, перешедшему Рубикон, говорит ему:

Я убеждал продлить твою власть против воли сената.

(ст. 274)

Первый центурион в войске Цезаря Лелий убеждает его пренебречь волей сената и римских граждан, приравнивая власть сената к неограниченной царской власти, т. е. используя те же аргументы, что и противники Цезаря, считавшие его царем или тиранном. Лелий говорит Цезарю:

Граждан ничтожных терпеть и царство сената — тебе ли?

(I, 365)

В этой же книге Лукан осуждает сенат за проявленную им слабость и страх, внушенный походом Цезаря:

... Не только народ потрясенный
 Страхом встревожен пустым, но курия также, и с места
 Все повскакали отцы, и сенат, обратившийся в бегство,
 Консулам вмиг о войне декрет ненавистный вручает.
 Где-то защиты лица, не зная, где скрыта опасность,
 В ужасе мчится сенат, куда его бегство уносит,
 И прорывает, стремясь, бесконечные толпы вереницы,
 Загородившие путь.

(I, 186—193)

Совершенно другую позицию по отношению к сенату занимает Помпей: в книге II (ст. 531 сл.) Помпей, обращаясь к своему войску, указывает, что оно «правого дела оплот», так как получило «брани законный доспех» от сената. Сенат, в глазах Лукана, не только законный орган верховной власти, но он должен стоять даже выше Судьбы (Фортуны), изменчивой и лживой. Помпей восклицает:

... Неужели Цезарь сумеет
 Целый сенат победить? Не так-то ты слепо несешься,
 Совсе не зная стыда, о Фортуна!

(II, 566—568)

Лукал с презрением относится к этой богине, которая выгораживает Цезаря:

... Сенат из смятенного Рима
Буйных трибунов изгнал, угрожая им участью Гракхов.

(I, 266 сл.)

Сенат для автора «Фарсалии» выше и консулов, и народных трибунов, и народных собраний: во вступительной части книги I Лукал называет в качестве одной из причин гражданской войны то, что

В неволе закон и решенья народных собраний,
Консулы права не чтут и его попирают трибуны.

(I, 176—177)

С чувством горького презрения говорит Лукал о тех сенаторах, какие остались в Риме, не пойдя за Помпеем, и о том неправомочном, с точки зрения поэта, сенате, который собирает в Риме Юлий Цезарь (III, 103 сл.) и который всецело и раболепно готов подчиняться его произволу. Этому противозаконному сенату Лукал противопоставляет сенат, заседающий вдали от Рима, в Эпире. Законность и полномочность этого сената Лукал доказывает в речи Лентула (V, 7—47). Хотя высшие магистраты и присутствуют здесь в сопровождении ликторов со вставленными в их фасции секирами, которые должны были выниматься в Риме (законном месте собраний сената) в знак отсутствия у высших должностных лиц военных полномочий в стенах столицы, хотя вся обстановка здесь чисто военная, а отнюдь не гражданская, тем не менее Лукал настаивает на том, что собрание в Эпире не лагерь Помпея, а истинный римский сенат, члены которого

... возвещают народам,
Что не сенатом Помпей, а сенат руководит Помпеем.

(V, 15—14)

Такое же указание на главенство сената, олицетворяющего римскую республику, видно и в речи легата Помпея Петрея (IV, 212—235), где противопоставляются Цезарь и сенат, за дело которого Петрей призывает солдат «доблестно пасть».

Вполне понятно поэтому, что Лукал считает позорным бегство Помпея в Египет и порицает побежденного полководца словами приспешника Птолемея Потина, с презрением говорящего:

Он не от тестя бежит; бежит от взоров сената,
Коего большая часть фессалийских птиц накормила.

(V III, 56—567)

Свое отношение к сенату и скорбь о потере им бывшего могущества Лукал окончательно раскрывает в речи Катона, посвященной убитому Помпею:

Умер у нас гражданин, который был, правда, неравен
Предкам в блюденни прав, но все же полезный в том веке,
Что совершенно забыл уважение к праву; могучим
Был он, свободу храня; хоть народ к нему в рабство склонялся,
Частным остался лицом, и хоть взял руководство сенатом,—
Тот неизменно царил...

.....
 Мария, Суалы приход загубил когда-то свободы
 Истинный облик; теперь, со смертью Помпея, исчезнет
 Даже и призрак ее: уже царская власть не зазорна,—
 И потеряет сенат даже всякую видимость власти.

(IX, 196—214)

Политическими воззрениями Лукана определяется и его отношение к действующим лицам поэмы. В первой книге «Фарсалии» Лукан старается дать беспристрастную характеристику обоих соперников — Юлия Цезаря и Помпея Великого, говоря: «В чем оружии более права, ведать грешно» (ст. 126—127). Характеристика обоих вождей дается путем сопоставления (ст. 124—157):

Ты, о Великий Помпей, боишься, чтоб старых триумфов
 Новый герой не затмил...

Затем, обращаясь к Цезарю, Лукан говорит:

... В тебе же к походам привычна
 Дух возбуждает, и ты со вторым не помирись местом:
 Цезарь не может признать кого бы то ни было первым.
 Равных не терпит Помпей...

Помпей,

Тогой гражданской своей давно уже тело покоя,
 Быть разучился вождем от долгого мира...

и желает лишь наслаждаться своею былой славой, а у Цезаря

... был единственный стыд — не выигрывать битву.

Помпея Лукан сравнивает со старым дубом, который,

Хоть и грозит он упасть, пошатнувшись от первого ветра,

все-таки продолжает величаво стоять среди молодых, полных силы лесов.
 А Цезарь подобен сверкающей молнии, которая,

Бурно падая вниз и бурно ввысь возвращаясь,
 Гибель сеет кругом и разметанный огонь собирает.

Такая сравнительная характеристика Помпея и Цезаря развита на протяжении всей поэмы и подтверждается и рассказом о действиях, и картинными описаниями, и сравнениями, и риторическими отступлениями, которые Лукан включает в свою поэму. Всюду Юлий Цезарь отважен, смел, но вместе с тем и рассудителен; Помпей же постоянно проявляет нерешительность и неумение пользоваться своими успехами, хотя и объясняет свои действия высшими государственными соображениями. Так, Помпей не решается использовать свой успех при Диррахии, несмотря на начавшуюся в войске Цезаря панику (VI, 290 сл.). Помпей мог бы, по словам Лукана, прекратить гражданскую войну истреблением войска Цезаря, но

удерживает «ярость мечей» своих воинов. И это вызывает горестные слова Лукана:

От царей свободен и счастлив
 Был бы ты, Рим, и прав не лишен, когда б на том поле
 Сулла тогда победил. О горе, о вечное горе!

 День этот стал бы, о Рим, последним днем твоих бедствий:
 С ним из судьбины твоей могла бы Фарсалия выпасть!

(VI, 301—315)

Совершенно иначе, чем Помпей, поступает Цезарь в конце Фарсальского сражения: щадя лишь народ, он приказывает истреблять сенаторов и всю знать:

Воину сам он меч подает, копые направляет,
 Повелевает разить железом лицо супостата,
 Сам продвигает войска, подгоняет в тылу отстающих
 И оробелых бойцов ободряет ударами древка.
 Он запретил народ истреблять, на Сенат указуя:
 Знает, где кровь страны, кто является сердцем отчины,
 Как ему Рим захватить, где свободу последнюю мира
 Легче всего уязвить. Со вторым сословьем мешаясь,
 Падает знать; и людей, достойных почета, сражает
 Меч: умирают кругом Корвины и гибнут Метеллы,
 Лепиды гибнут в бою и Торкваты, которые часто
 Были вождами страны — все славнейшие после Помпея⁶.

(VIII, 574—585)

Оба — и Цезарь и Помпей — выставляют себя в поэме Лукана патриотами, но Цезарь смело идет походом на Рим, лишь на миг задерживаясь у Рубикона в трепете перед явившимся ему в сумраке ночи призраком «Родины смутной» (I, 185 сл.) и объявляя себя поборником народа и противником «владык», т. е. сенаторов и знати, так заканчивает свое обращение к войску:

Ведь не нищу я себе ни добычи, ни царского трона:
 Мы изгоняем владык из Рима, готового к рабству.

(I, 350—351)

А Помпей отказывается возвращаться в свободный от неприятеля Рим во главе войска, говоря:

... Рим меня встретит,
 Только когда я солдат распущу по домам после боя.

(VI, 319—320)

и, стоя формально на страже законов государства, упускает возможность овладеть Италией и восстановить нарушенный Цезарем государственный строй Рима.

Цезарь не теряет присутствия духа и рассудительности, поняв, что его хотят убить во дворце Птолемея, и одолевает своих врагов (X, 434—513). А Помпей беспомощно отдается в руки египтян и, когда его убивают, за-

⁶ Все это описание гибели римской знати, несомненно, воспринималось во времена Лукана как намек на гонения Нерона на аристократию.

ботится лишь о том, чтобы достойно умереть и не потерять чести (VIII, 561—636).

Но если Юлия Цезаря, несмотря на все его смелые и решительные действия, которые Лукан описывает часто с беспристрастием и даже порою с восхищением, никак нельзя назвать героем Лукана, то и Помпей, как мы видим, отнюдь не является предметом его поклонения: Лукан постоянно его осуждает и подозревает в одно и то же время и в неспособности к военному делу и в честолюбии во вред римской республике, которую должен блюсти независимый и законный сенат. В этом отношении показательна речь Цицерона, обращенная к Помпею перед Фарсальской битвой (VII, 68—85). Цицерон называет Помпея «непоровным в победе», спрашивает его, почему он колеблется верить богам за защиту сената, и заканчивает свою речь такой знаменательной фразой:

Знать желает сенат,— оп войско твое или только
Свята, Великий?

Истинным героем для Лукана был непреклонный противник тираннии Марк Порций Катон Младший (правнук Катона Старшего), не пожелавший подчиниться милости Цезаря и окончивший жизнь самоубийством в 46 г. до н. э. в африканском городе Утике (отчего и назван был «Утичским»). Восторженное преклонение перед этим хранителем римских традиций и республики, возглавляемой сенатом, видно уже в самом начале первой книги «Фарсалии», где Лукан, сопоставляя соперников в гражданской войне — Цезаря и Помпея, говорит:

Мил победитель богам, побежденный любезен Катону.

(ст. 128)

Отношение Катона к гражданской войне и к борющимся друг с другом «тестю» и «зятю», т. е. к Цезарю и Помпею, выясняется в первый раз во второй книге поэмы Лукана (ст. 234—391). Племянник Катона, будущий убийца Юлия Цезаря, Марк Юний Брут приходит к Катону спросить его совета и мнения о гражданской войне, говоря, что «Бруту единственный вождь — Катон».

Разговор Брута с Катоном очень важен для понимания идеологии Лукана и его воззрений не только на историческое прошлое, но и на современный ему государственный строй Рима. Брут и Катон — оба убежденные сторонники аристократической республики, воплощающей, по их мнению, да и по мнению самого Лукана, идею свободы; оба последователи стоической философии, в принципах которой был воспитан Лукан. Но Лукан отнюдь не соединяет Брута и Катона в один отвлеченный и безжизненный образ идеального представителя и стража республиканских традиций. Оба они — живые и живо обрисованные люди, несмотря на всю риторичность характеристики их автором «Фарсалии».

Придя к Катону, Брут сразу заявляет, что он не стоит ни на стороне Помпея, ни на стороне Цезаря (ст. 246), но тут же, как мы видели, говорит, что во всем последует за Катоном. Первый вопрос, который задает Брут Катону — останется ли Катон в гражданской войне нейтральным или примет в ней участие, признав ее тем самым не подлежащей осуждению:

...Пребудешь ли в мире,
Шествуя твердой стопой сквозь смуты тревожной вселенной?
Пль, в преступленья вождей и в раздоры народы народа вмешавшись,
Междоусобицу брань ты рещи оправдать соучастьем?

(ст. 247—250)

Но Брут тут же отвергает возможность участия Катона в «междоусобной брани», так как Катон, чуждый всяких корыстных целей, не может «бой ради боя любить», и советует Катону (уверенный в его согласии) оставаться в стороне от гражданской войны:

...Влачи на покое
 Свой безоружный досуг: так звезды небесные вечно
 Без потрясений текут своей чередой постоянной,—
 Воздух же, близкий к земле, пылает сверкающим молний.
 В долах бушуют ветра, и дождя огневого потоки,—
 Но повелеьем богов Олимпа над тучами блещет:
 Распри ведет лишь то, что ничтожно; то, что велико —
 Свой сохраняет покой.

(ст. 266—273)

Брут доказывает правоту своей мысли тем, что если Катон примет участие в борьбе между Помпеем и Цезарем, он отступит от истинных республиканских принципов, от которых отступили многие сенаторы, должностные лица и другие представители знати. Если же и Катон примет иго Помпея (о возможности подчинения Катона Цезарю Брут, разумеется, и помыслить не может),

... тогда во вселенной свободным
 Будет лишь Цезарь один

(ст. 280—281)

Этим аргументом разгорячившийся Брут хочет окончательно убедить Катона остаться вне борьбы между Помпеем и Цезарем и добавляет, что если Катон решит встать на защиту законов родины и на охрану свободы то

Брут ни Помпею врагом, ни Цезарю ныне не станет:
 Будет он после войны врагом победителю.

(ст. 283—284)

Но Катон вовсе не «Дон-Кихот аристократии», как называет его Момзен, а гораздо более реальный политик, чем его племянник. Он опровергает доводы Брута, советующего быть в стороне от гражданской войны, и заявляет о необходимости для честного человека принять личное участие в защите родины. Он признает преступность гражданской войны, но считает ее роковой необходимостью, переносит ответственность за нее на богов (ст. 286—288). Хотя Катон и смотрит довольно мрачно на исход гражданской войны и опасается, что в нее будут вовлечены иноземные народы, и Рим может пасть «под натиском даков и гетов» (ст. 296), но он считает, что должен будет поступить в таком случае как сын, провожающий тело умершего отца до могилы и собственноручно зажигающий погребальный костер (ст. 297—301). Он восклицает:

... Оторвать меня смогут не раньше,
 Чем обниму я, о Рим, твой труп; и твою, о Свобода,
 Невоплощенную тень провожать я буду до гроба!

(ст. 300—303)

Сравнивая себя с легендарным Децием, пожертвовавшим собою за отечество, Катон готов на то, чтобы его «поразили оба лагеря» — и Цезаря

и Помпея (ст. 309). Он считает себя последним республиканцем, после гибели которого некому будет защищать свободу, а победителю, стремящемуся к царской власти, не придется больше воевать со своими подданными:

Меня лишь мечом поразите —
 Война призранных прав и напрасного стража законов!
 Смерть эта мир принесет, конец трудам и страданиям
 Всех гесперийских племен: властителю после Катона
 Незачем будет война.

(ст. 315—319)

Поэтому Катон считает своим долгом встать на защиту родины под знаменами Республики и под предводительством Помпея (ст. 319—323).

Приведя речь Катона, Лукан в нескольких словах описывает впечатление, какое она произвела на Брута, завершая этим его характеристику. Катон

сказал и острым стрелалом
 Гнев он тогда возбудил и юноши пыл безрассудный,
 В сердце его зародив к усобице страстную жажду.

(ст. 323—325)

Краткая, но очень выразительная характеристика дается Луканом и Катону в конце описания встречи его с Брутом и брака с Марцией (ст. 372—391). Катон считает своим предназначением служить отечеству на благо всей вселенной:

Таковы и нрав, и ученье Катона:
 Мелу хранить, предел соблюдать, идти за природой,
 Родине жизнь отдавать; себя неуклонно считал он
 Не для себя одного, но для целого мира рожденным.

(ст. 380—383)

В дальнейшем мы встречаемся с Брутом и Катонем лишь во второй части «Фарсалии». Но Брут мало интересует Лукана и он не делает его одним из героев поэмы. Кроме простых упоминаний о Бруте как о будущем убийце Цезаря (VIII, 610; IX, 17; X, 342), Лукан посвящает ему всего несколько строк в описании сражения при Фарсале, в котором тот участвует и старается убить Цезаря, переодевшись, чтобы не быть узнанным врагами, в доспехи рядового воина (VII, 586—596).

Зато Катон становится истинным героем книги IX, большая часть которой (ст. 186—949) посвящена описанию его действий в Африке и его изнурительному и страшному походу по Ливийской пустыне.

Говоря выше о взглядах Лукана на сенат, мы уже видели, как Лукан оценивает устами Катона роль Помпея в римской республике: Помпей хотя и не может быть приравнен к истинным древним политически бескорыстным республиканцам, но все же он был полезен государству. В своем могуществе он не нарушил идеи свободы. Руководя сенатом, он не покусился на его суверенные права.

Рад был он власти вождя, но был рад эту власть и сложить он.

(IX, 200)

Отношением к Помпею объясняется и вся деятельность Катона как участника гражданской войны. Однако, если судить по речи, произнесен-

ной Катонем в память убитого Помпея, можно подумать, что непреклонный республиканец и страж «свободы» всецело оправдывает покойного военачальника. Но ведь τὸν τεθνήκοτον μὴ καχολογεῖν (нельзя поносить мертвого), а к живому Помпею Катон относится совсем иначе.

По началу книги IX совершенно ясно, как оценивает Лукан Катона и его отношение к гражданской войне и Помпею. Катон, говорит Лукан,

... пока колебалась судьба и было неясно,
 Кто из гражданской войны всемирным властителем выйдет,
 Хоть за Помпеем и шел, но также его ненавидел:
 Родины участь влекла и ведущая воля сената.
 Но фессалийский разгром склонил его сердце к Помпею.
 Родину он поддержал, лишённую ныне защиты,
 Мощью опять оживил размякшие мышцы народа,
 Выпавший меч возвратил руке, обессиленной страхом.
 Но не за властью гонясь, он вел гражданскую распрю,
 И не пред рабством дрожа: ничего для себя не искал он
 В этих боях: с той поры, как умер Помпей, его целью
 Только свобода была.

(IX, 19—30)

Таким образом, становятся вполне понятными такие слова в книге I:

Мил победитель богам, побежденный любезен Катону.

(ст. 123)

Катон считал, что гражданская война, если не суждено погибнуть обоим ее вождям — и Цезарю и Помпею, должна завершиться установлением тираннической власти над миром. Поэтому он «ненавидел» не только Цезаря, но и Помпея и шел за ним только из патриотизма, подчиняясь воле сената, оставшегося, хотя бы формально, верховным римским учреждением.

В той же IX книге есть еще очень интересное «завещание» Помпея, которое передает его сыну Сексту вдова Помпея, Корнелия:

Ежели час роковой, сыновья, обречет меня смерти,
 Вы продолжайте войну гражданскую, чтобы вовеки,
 Коль еще жив на земле потомок нашего рода,
 Цезарям царства не дать. Могучие крепкой свободой
 Вы города и царей поднимайте именованшим:
 Эту обязанность вам и оружие я оставляю.
 Каждый Помпей найдет себе флот, если пустится в море.
 В мире ведь племена нет, которое в бой не пошло бы
 Вслед за потомком моим: храните же дух непокорный,
 Помните отчужденную власть. Одного только слушаться можно,
 Если он будет стоять за свободу,— только Катона.

(I, 87—97)

Таким образом, Помпей завещает своим сыновьям и всему своему роду продолжать гражданскую войну, чтобы не могли воцариться Цезари; именем Помпея, памятуя о законности его власти, поднимать на эту войну и свободные города, и даже царей; подчиняться в борьбе за свободу одному только Катону.

Такая программа действий в одно и то же время и мстительно-безрас- судна и отвлеченна; кроме того, в ней сквозь внешние государственные ин- тересы (защита сената и «свободы») явно просвечивают личные интересы Помпея. Надо во что бы то ни стало бороться с Цезарями; для этого при- годны всякие средства, лишь бы не допустить Рим до монархии, — даже союз с восточными деспотами! Не так думал Катон — хранитель древних республиканских заветов, опасавшийся, что

... к римским знаменам пристанут
Дальнего моря цари, под звездой рожденные чуждой.

(II, 293—294)

Катон не мог принять такой программы действий: для него династи- ческая власть Помпея и его потомков, даже прикрытая формальными полномочиями, данными сенатом, и нелепа и отвратительна.

Для Катона Помпей становится героем только после своей смерти, окру- женный ореолом трагической славы противника тираннии; но до этого он — только наиболее приемлемое орудие для борьбы с Цезарем, врагом сена- та и свободы. После смерти Помпея борьба эта теряет свою двусмыслен- ность: никто уже не заподозрит Катона, что он сторонник одного из сопер- ников, и Цезарь, говоря словами Брута (II, 273 сл.), уже не станет лико- вать при мысли о том, что такой гражданин, каким является Катон, принимает участие в междоусобной войне. Помпей погиб, а Катон не сдается на милость победителя и, наоборот, с удвоенной силой начина- ет новую борьбу, в которой он выступает как представитель сената, за- щитник свободы, не руководимый никакими своекорыстными побужде- ниями.

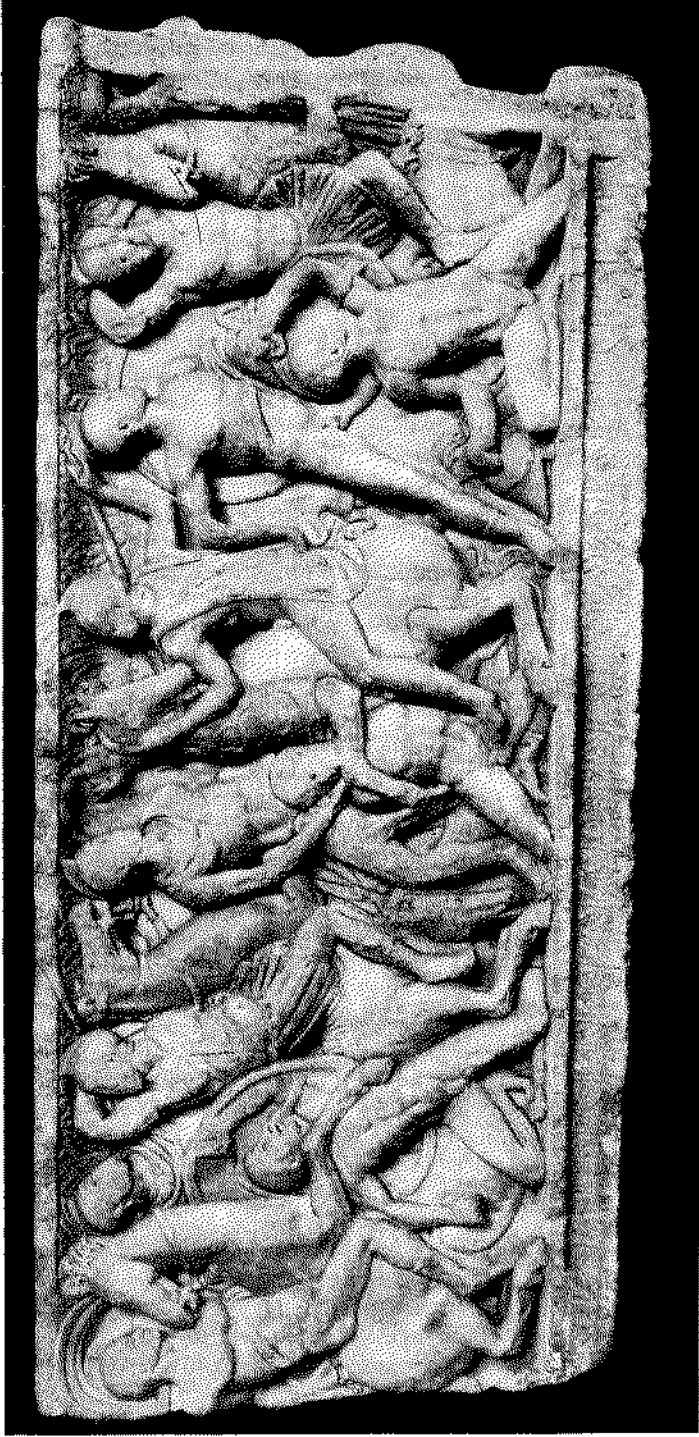
Катон в представлении Лукана — идеальный вождь, деятельный и го- товый на любое самопожертвование. В походе по страшной, полной вся- ких ужасов Африке он переносит все бедствия наравне с простыми вои- нами, он ободряет войско не только вдохновенными патриотическими ре- чами, но и личным примером выносливости и твердости духа. Для него нет и не может быть никаких компромиссов. И Катон у Лукана все время ос- тается не отвлеченным, а живым образом: это во всем человек идеальных стремлений, но никогда не отрывающийся от действительной жизни и деятельности.

Таков, в представлении сенаторских кругов времен Нерона, истинный хранитель «свободы» и борец за Рим, которому он отдает все свои силы. Этот человек для Лукана истинно прекрасен, и он, только он, а не божес- тва, стоящие за Цезаря, к которым Лукан относится с нескрываемым пре- зрением, должен стать истинным богом римлян:

Вот он — отчизны отец настоящий, о Рим, и достойный
Вечных твоих алтарей! Без стыда мог бы им ты поклониться!
И, если ныне пль впрядь восстанешь ты, сбросивши его,
Станет он богом твоим!

(IX, 601—604)

У нас нет никаких документальных данных для того, чтобы судить о первоначальном замысле «Фарсалии» с ее обращением к Нерону, как бу- дущему богу, которого Лукан молит «блюсти равновесие мира» (I, 57); но совершенно очевидно, что, по мере написания поэмы, Лукан коренным об- разом изменил тот замысел, какой можно предполагать в ней, судя по ее



*Битва
(стена саркофага римской работы)*

началу, и обратил ее в произведение, всецело направленное не только против Нерона, но и против деспотизма всяких «Цезарей». Мстительные слова Помпея «Цезарям царства не дать» (IX, 90) приобретают в поэме значение основной программы Лукана и его единомышленников. Понятен поэтому и тот ореол, каким окружает Лукан Катона, его обожествление как героического вождя сената и идеолога «свободы» в представлении аристократических сенаторских кругов времен римской империи.

3. ИСТОРИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ «ФАРСАЛИИ» И ПЕРЕРАБОТКА ИХ ЛУКАНОМ

Излагая в своей поэме события гражданской войны, Лукан соблюдает ту хронологическую последовательность, какую мы находим и в записках Юлия Цезаря о гражданской войне и в других дошедших до нас античных исторических сочинениях. Судя по краткому изложению 109—112 книг «Истории» Тита Ливия, посвященных истории гражданской войны, содержание поэмы Лукана в общем соответствует этим книгам. Но Лукан оставил нам свою поэму незаконченной: она обрывается на изложении действий Юлия Цезаря в Александрии, т. е. приблизительно на тех же событиях, какие изложены Цезарем в третьей, последней, книге его «Записок о гражданской войне».

Однако документальное и подробное изложение последовательных событий гражданской войны не входит в задачу Лукана. Исторические факты служат ему лишь основным фоном, на котором Лукан, как истинный художник, изображает и полные жизни картины (например, картину паники в Риме в кн. I, изображение леса у Массилии в кн. III, переправу Цезаря в лодке в кн. V, описание похода Катона в кн. IX, пир Клеопатры и Цезаря в кн. X и др.), и образы действующих лиц (характеристики Цезаря и Помпея, Катона и Брута в кн. II, Спевы в кн. VI, лодочника Амикла в кн. V и др.). Лукан постоянно стремится дать свою оценку историческим событиям и ввести в изложение собственные, порой довольно отвлеченные рассуждения, использует всякий случай, чтобы ввести в рассказ речи; показывает свою ученость, рассуждая на естественноисторические, астрономические и другие научные темы (описание африканских змей в кн. IX, астрономические указания в кн. III и других, рассуждения жреца Ахорея о Ниле в кн. X и т. д.); вводит в поэму изложение мифов и т. п.

Лукан горячо отстаивает право поэта не придерживаться только «истины» и определенно заявляет об этом, говоря о мифическом саде Гесперид (IX, 357—367), восклицая:

О, как завистлив тот, кто века лишает их славы,
К правде поэтов зовет!

(IX, 359—360)

И вместе с тем Лукан совершенно порывает с обветшалым приемом введения в исторический эпос богов как действующих лиц, которые не только руководят действиями людей, но и сами действуют, подобно гомеровским небожителям. То, что было естественно и обычно для поэтов за несколько веков до Лукана, в его времена, разумеется, стало нелепостью, хотя и поддерживалось косной традицией.

Исторические события гражданской войны излагаются у Лукана далеко не одинаково. Подробно останавливаясь на тех из них, которые дают материал для развития идей, заложенных в «Фарсалии», и для воплощения

картин, возникающих в его творческом воображении, Лукан лишь вскользь останавливается на тех фактах, которые для него несущественны. Так, подробно описывая действия под Массиллией (кн. III) или поход Катона, которому посвящена почти вся книга IX, Лукан чрезвычайно кратко передает события, начиная от переправы Цезаря с войском в Эпир и до действий обоих противников у Диррахия (кн. V). Но от исторической поэмы, разумеется, нельзя требовать того, что требуется от историка. Зато психологические подробности — переживания действующих лиц, их страхи, надежды и т. п. — изображаются подробно, живо и во многих случаях очень глубоко и тонко.

Особенно интересуют Лукана те события гражданской войны, которые позволяют драматизировать изложение и вводить в него живую человеческую речь. О чем бы ни повествовал Лукан, он всюду, где только возможно, заставляет действующих лиц говорить. Само собою разумеется, ни речи главных участников войны, ни тем более таких второстепенных фигур, как Сцева, Ахорей, Брут, Амнкя и жители острова Лесбоса, не могут претендовать на подлинность. Но ведь и античные историки, не только такие, как Тит Ливий, но и такие, как Фукидид, старавшийся быть как можно более точным и критически подходивший к своим источникам (I, 20 сл.), вводили в свое изложение речи, несколько не скрывая, что эти речи никоим образом не могут быть точною записью того, что было сказано в действительности⁷. «Записки» Юлия Цезаря также переполнены речами. Это вполне понятно, потому что и в Греции, и в Риме исторические сочинения считались литературным жанром, близким к ораторскому искусству.

И вот, Лукан, следуя этому обычаю, настолько широко пользуется речами в своем историческом эпосе, что Квинтилиан («О воспитании оратора», X, 1, 90) имел полное право считать его произведение более подходящим для изучения оратору, чем стихотворцу. Лукан настолько увлекается речами, что идет и на некоторые отклонения от исторических фактов, вводя, например, в свою поэму Цицерона, обращающегося с речью к Помпею перед началом Фарсальской битвы, тогда как Цицерона на фарсальском поле не было. Ради риторического эффекта вводит Лукан и речи Брута и Катона в книге II, несмотря на то, что свидание Катона с Брутом в Риме при начале гражданской войны более чем невероятно. Но на такие отклонения от фактов древние мало обращали внимания даже в специально исторических произведениях, каковы, например, сочинения Саллюстия или Тита Ливия и «Записки» Цезаря. Вероятное или правдоподобное легко заменяло собой документальное изложение. У Тита Ливия, да и у других древних историков, считавших свои произведения отнюдь не летописными сводами, а произведениями художественной литературы, мы найдем сколько угодно подобных отклонений.

Однако Лукан делает мало исторических ошибок и ход гражданской войны, как уже указано, передает с достаточной точностью, вводя, впрочем, иногда эпизоды или описания, не имеющие прямого отношения к основному содержанию его поэмы. Благодаря таким отступлениям мы можем по тексту «Фарсалии» познакомиться с очень интересными и мало известными по другим источникам подробностями римского быта, древней географии и этнографии, с религиозными верованиями и т. п. Подробный рассказ Ахорея о Ниле (кн. X), длинное описание посещения Аппием умолкнувшего Дельфийского оракула (кн. V) и тому подобные отступления дают весьма важный материал для истории античной культуры.

⁷ «Речи составлены у меня так, как, по моему мнению, каждый оратор... скорее всего мог говорить...» (Фукидид, I, 22).

Что касается пристрастия Лукана ко всяким «ужасам», а не только к «удивительному», пристрастия, которое сразу бросается в глаза при чтении «Фарсалии», то оно вполне гармонирует с задачей его поэмы: показать ужас гражданской войны и все бедствия, какие обрушиваются на государство, когда люди, стоящие во главе его, а за ними и рядовые граждане, забывая о своей родине и своем долге перед ней, преследуют личные, своекорыстные интересы.

В согласии с учением стоиков, Лукан считает, что все в мире определено судьбой, или роком (*fatum*), законов которого не в силах изменить даже сами боги. При таком мировоззрении богам в его поэме не может быть места. Но, отвергнув божества как действующие силы, Лукан не хочет совершенно порвать с таинственным и чудесным, которое занимает такое важное место в героическом эпосе. В «Фарсалии» мы встречаем и вещие сны, и пророчества, и гадания, и такие картины, как замечательное описание священного леса (III, 399—425), который приказывает вырубить Юлий Цезарь. И хотя Лукан и признает, что допустимо узнавать

Судьбы по жилищам зверей, по птицам, по молниям неба
 Пль по светилам гадать, подобно жрецам ассирийским,
 Или другим ведовством — негреховным,

(VI, 428—430)

по сам он против стремления людей раскрывать предопределения судьбы, осуждая (в начале книги II) «правителя Олимпа» за то, что он тревожит и смущает людей

В грозных пророчествах им открывая грядущую гибель,

(II, 6)

и с полной определенностью высказывает устами Катона свое отрицательное отношение к оракулам (кн. IX). Катон отказывается узнать о судьбе посредством обращения к прорицалищу Юпитера-Аммона (IX, 566—584); особенно же резко порицает Лукан «противные вышним таинства магов» (VI, 430), к которым прибегает Секст, «сын недостойный Помпея» (VI, 420).

Особое место занимают в «Фарсалии» легенды и мифы, которые Лукан очень любит вставлять в повествование, стремясь украсить и оживить ими изложение исторических событий. Так, Лукан пользуется мифами, например, для сравнения спокойного сна воинов Цезаря после Фарсальской битвы с муками Ореста, преследуемого Эвменидами, с безумием Пенфея и с отчаянием Агавы (VII, 777—780); для сопоставления участи кораблей Помпея с кораблем Аргонавтов, проходившем между Симплегадами (II, 711—718), а также и для того, чтобы расцветить подробные географические описания, занимающие в его поэме значительное место. Так, говоря о посещении Аппием Дельфов, Лукан начинает свой рассказ мифом о создании дельфийского прорицалища Аполлоном (V, 79—85); при описании Фессалии (VI, 333—412) поэт проявляет в полной мере свою мифологическую ученость и уснащает это описание всевозможными мифами, связанными с этой областью: тут и Геркулес, и Ахилл, и Агава с головой Пенфея, и кентавры, и Пифон и т. д.

Но наибольший интерес представляют для нас у Лукана те мифы, которые он излагает обстоятельно и подробно. К таким мифам относятся миф об Антее и Геркулесе (IV, 584—660), миф о Налладе-Тритониде и саде Гесперид (IX, 348—367) и миф о Медузе и Персее (IX, 619—699).

Чрезвычайно любопытны различные мотивировки введения в текст поэмы мифа о саде Гесперид и мифа о Медузе и Персее. В первом случае Лукан оправдывает себя правом поэта уклоняться от истины, а во втором,

признавая невозможность уяснить истинные причины происхождения заразных испарений и ядов в Ливийской земле, он указывает на вздорность мифического объяснения:

Столько смертей почему источает Ливии воздух,
 Всякой заразой богат? Какие тайные яды
 В этой смешала земле природа? Трудом и усердьем
 Мы не узнаем того; а сказанье, известное в мире,
 Все обмануло века, за истину выдав неправду.

(IX, 619—623)

И как бы в доказательство нелепости сказочного толкования Лукан превосходно излагает самый миф с неподдельным увлечением.

Очень обстоятельно и ярко рассказан также миф об Антее и Геркулесе, кончающийся прославлением победителя Карфагеняи Сципиона.

Поэма Лукана имела огромный успех и в древности, и в новое время. Особенно популярен был Лукан во времена французской революции, когда один стих из «Фарсалии» был даже выгравирован на саблях Национальной гвардии:

Знает ли кто, что мечи нам даны, чтобы не было рабства
 Ignorantque datos, ne quisquam serviat enses

(IV, 579)

Древнейшие и лучшие списки «Фарсалии» относятся к IX и X вв. Со времени выхода первого в 1469 г. печатного издания и до наших дней появилось более сотни полных изданий текста поэмы. Переводы «Фарсалии» на разные европейские языки также очень многочисленны.

Для нас поэма Лукана имеет очень важное значение потому, что не только освещает историю политической мысли времен Римской империи, но и дает богатый материал для изучения античной литературы, являясь замечательным памятником римского исторического зноса⁸.

⁸ Об отличии поэмы Лукана от других римских эпических произведений см. в гл. VII — о Петронии.



Глава VII

ПЕТРОНИЙ

1. Сведения о Петронии. — 2. Сочинения Петрония. —
3. Содержание «Сатур». Сатрапевники Тримакхиона. —
4. Литературная полемика в «Сатурах». — 5. Латинский язык «Сатур».

1. СВЕДЕНИЯ О ПЕТРОНИИ

От времен принципата Нерона (54—68 гг. н. э.) до нас дошел остаток совершенно своеобразного произведения — романа Петрония.

В средневековых списках с отрывками этого произведения автор его назван Петронием Арбитром (*Petronius Arbiter*). По ряду данных текста, а также по историко-литературным соображениям время написания романа — принципат Нерона. Однако никаких прямых свидетельств о том, кто был Петроний Арбитр, у нас нет; но почти наверное можно отождествить его с тем Гаем Петронием, о котором рассказывает историк Тацит («Анналы», XVI, 18—20); «День, — говорит Тацит о Петронии, — он посвящал сну, ночь — делам и жизненным наслаждениям. Других приводит к славе усердие, его же привела бездеятельность; он не считался гулякою и мотом (*ganeo et profligator*), как другие проживающие свое состояние, но отличался утонченною роскошью (*egredito luxu*). Чем вольнее были его слова и дела, чем яснее обнаруживал он свое легкомыслие, тем охотнее все это принималось за простоту (*in speciem simplicitatis*). Однако, будучи проконсулом в Вифинии, а вскоре затем консулом, он показал себя дельным и умелым в исполнении обязанностей. Затем, опять погружившись в пороки или в подражание порокам, был принят в число немногих приближенных Нерона в качестве арбитра изящества (*elegantiae arbiter*), так что Нерон не считал ничего ни приятным, ни роскошным, пока не получал одобрения от Петрония. Отсюда — зависть Тигеллина¹ как к сопернику, превосходившему его в науке наслаждений. Поэтому он воспользовался жестокостью принцепса, которая у того пересиливала все прочие страсти, обвинив Петрония в дружбе со Сцевином², подкупив раба, запретив защиту и сковав большую часть прислуги Петрония. Случилось так, что Цезарь в это время отправился в Кампанию, и Петроний, проехав до Кум, был там задержан. Он не мог более выносить колебаний между страхом и надеждой. Однако он не сразу расстался с жизнью, но приказывал то открывать, то вновь перевязывать вскрытые жилы и обращался к друзьям не с серьезными речами и не затем, чтобы заслужить от них похвалу своему мужеству. Он не хотел слушать ничего о бессмертии

¹ Начальника императорской гвардии (преторианцев) и приближенного Нерона.

² Участником заговора Пизона (см. в гл. VI — о Лукане).



Глава VII

ПЕТРОНИЙ

1. Сведения о Петронии. — 2. Сочинения Петрония. —
3. Содержание «Сатур». Соправедники Трималхиона. —
4. Литературная полемика в «Сатурах». — 5. Латинский язык «Сатур».

1. СВЕДЕНИЯ О ПЕТРОНИИ

От времен принципата Нерона (54—68 гг. н. э.) до нас дошел остаток совершенно свособразного произведения — романа Петрония.

В средневековых списках с отрывками этого произведения автор его назван Петронием Арбитром (*Petronius Arbiter*). По ряду данных текста, а также по историко-литературным соображениям время написания романа — принципат Нерона. Однако никаких прямых свидетельств о том, кто был Петроний Арбитр, у нас нет; но почти наверное можно отождествить его с тем Гаем Петронием, о котором рассказывает историк Тацит («*Анналы*», XVI, 18—20); «День, — говорит Тацит о Петронии, — он посвящал сну, ночь — делам и жизненным наслаждениям. Других приводит к славе усердие, его же привела бездеятельность; он не считался гулякою и мотом (*ganeo et profligator*), как другие проживающие свое состояние, но отличался утонченною роскошью (*erudito luxu*). Чем вольнее были его слова и дела, чем яснее обнаруживал он свое легкомыслие, тем охотнее все это принималось за простоту (*in speciem simplicitatis*). Однако, будучи проконсулом в Вифинии, а вскоре затем консулом, он показал себя дельным и умелым в исполнении обязанностей. Затем, опять погружившись в пороки или в подражание порокам, был принят в число немногих приближенных Нерона в качестве арбитра изящества (*elegantiae arbiter*), так что Нерон не считал ничего ни приятным, ни роскошным, пока не получал одобрения от Петрония. Отсюда — зависть Тигеллина¹ как к сопернику, превосходившему его в науке наслаждений. Поэтому он воспользовался жестокостью принцепса, которая у того пересливалила все прочие страсти, обвинив Петрония в дружбе со Сцевином², подкупив раба, запретив защиту и сковав большую часть прислуги Петрония. Случилось так, что Цезарь в это время отправился в Кампанию, и Петроний, проехав до Кум, был там задержан. Он не мог более выносить колебаний между страхом и надеждой. Однако он не сразу расстался с жизнью, но приказывал то открывать, то вновь перевязывать вскрытые жилы и обращался к друзьям не с серьезными речами и не затем, чтобы заслужить от них похвалу своему мужеству. Он не хотел слушать ничего о бессмертии

¹ Начальника императорской гвардии (преторианцев) и приближенного Нерона.

² Участником заговора Пизона (см. в гл. VI — о Лукане).

души, ни философских рассуждений (*audiebatque referentes nihil de immortalitate animi et sapientium placitis*), а только легкомысленные песни и легкие стихи. Одних рабов он щедро награждал, других наказал плетью. Возлег за пиршественный стол, затем заснул, чтобы придать насильственной смерти вид случайной. В завещании своем он не льстил, подобно многим умирающим, ни Нерону, ни Тигеллину, ни кому-либо из власть имущих, но перечислил в нем бесчинства принцепса, называя имена распутников и женщин и описывая все новые виды разврата, а затем послал все это Нерону, скрепив своею печатью. Он сломал печатку своего перстня, чтобы она не была использована для чьей-нибудь гибели³. Недоумевая, каким образом стали известны его ночные проделки, Нерон заподозрил Силию, неизвестную благодаря своему браку с сенатором и участницу всех распутств Нерона, а также связанную близкой дружбой с Петронием. Она была наказана изгнанием за то, что якобы из личной ненависти не умолчала о том, что видела и чему сама подвергалась⁴.

Более чем вероятно, что Петроний Тацита и автор романа одно и то же лицо. Название Петрония «арбитром изящества», очевидно, привело к тому, что слово «арбитр» было принято впоследствии за прозвище Петрония и присоединено к родовому его имени как фамильное имя (*cognomen*). Позднейшие латинские авторы называют автора романа то Петронием, то Арбитром (Геренциан Мавр, Аполлинарий Сидоний, Диомед, Сервий и др.), то Петронием Арбитром (Фульгенций). Кроме того, общий тон и отдельные места романа чрезвычайно подходят к характеристике Петрония у Тацита. Не входя здесь в детальное рассмотрение этого, укажем лишь на то, что Тацит подчеркивает легкомыслие Петрония, производившее впечатление простоты (*simplicitas*), или непосредственности, а в эпиграмме, помещенной в главе 132 романа, восхваляются именно *simplicitas* и веселая прелесть (*non tristis gratia*):

Что вы, наморщив лоб, в лицо мне уперлись, Катоны,
И осуждаете труд новый своей простотой?
В милом рассказе моем веселая прелесть смеется,
Правы народа поет мой безмятежный язык⁴.

2. СОЧИНЕНИЯ ПЕТРОНИЯ

То, что дошло до нас от романа Петрония, составляет лишь ничтожную часть его произведения, носившего название «Сатуры». Обычное название, принятое в переводах и вошедшее в обиход — «Сатирикон», есть на самом деле греческий родительный падеж мн. ч.: *satiricon liber* (или *libri*), т. е. книга (или книги) сатур. Это заглавие существовало в древности наряду с латинским *satirarum liber* (или *libri*). Таким образом, правильнее называть роман Петрония не «Сатирикон», а «Сатуры»⁵.

Дошедшие до нас фрагменты «Сатур» Петрония относятся к книгам 15-й и 16-й (и, может быть, к 14-й). Каков был объем всего произведения

³ Путем составления подложного документа.

⁴ Вопрос о времени сочинения «Сатур» Петрония, а также об их авторе формально нельзя считать решенным, так как до сих пор некоторые ученые не признают его написанным во времена Нерона и относят его то к более ранней, то к более поздней эпохе. Но все же отнесение «Сатур» к нероновскому времени и отождествление ее автора с Петронием Тацита остается наиболее вероятным.

⁵ Так же, как мы правильно называем произведение Овидия «Метаморфозы», а не «Метаморфозеон». Как называл сам Петроний свое произведение, неизвестно. Все цитаты из Петрония даны в переводе Б. И. Ярхо.

Петрония, неизвестно. Собранные вместе эти фрагменты не имеют ни начала, ни конца, во многих случаях разрознены, а единственно цельный эпизод представляет собою фрагмент, называемый «Пир у Трималхиона». Этот фрагмент сохранился в Codex Tragicus, т. е. в списке, найденном в Трогире (лат. Tragurium) в Далмации и впервые напечатанном в Падуе в 1664 г.

В конце XVII в. появилась подделка французского офицера Нодо, издавшего, по его уверению, полный текст «Сатур» Петрония по рукописи, будто бы найденной в Белграде. В этой подделке отрывки романа Петрония связаны в целое вставками самого Нодо. Хотя подделка была очень скоро установлена, тем не менее в ряде переводов «Сатур» на новые языки вставки Нодо были сохранены с целью создать впечатление какого-то целого. Сохранены эти вставки (за некоторыми исключениями) и в новейшем русском переводе, но заключены в прямоугольные скобки⁶.

Кроме отрывков из «Сатур» до нас дошло еще некоторое количество прозаических и стихотворных фрагментов, принадлежащих Петронию. Завещание его, о котором говорит Тацит («Анналы», XVI, 19), до нас не дошло. Предположение о тождестве этого завещания с «Сатурами» не выдерживает критики.

Роман Петрония представляет исключительный интерес и как литературное произведение, и как документ, рисующий быт и нравы римского общества времен Нерона. Чрезвычайно важны отрывки «Сатур» и для изучения живого разговорного латинского языка.

Согласно римской литературной терминологии, сочинение Петрония принадлежит к сатурам, т. е. к таким произведениям, в которых допускалось соединение различных жанров, стилей и метрических форм. Это был «свободный вид литературных произведений, который, как письмо, не стеснялся никаким определенным содержанием и предоставлял себе полную свободу задевать все, что попадалось на глаза остроумному наблюдателю»⁷. Следуя римской терминологии, под понятие сатуры подходят и произведения Луцилия, и «Мениппей» Варрона, и сатиры Горация, Персия и Ювенала, и «Отыквление» Сенеки, и роман Петрония, который по-этом и называется в рукописной традиции «Сатурами».

Но отнесение романа Петрония к сатуре, в сущности, чисто формальное и вызвано, по-видимому, лишь смешением в нем прозаического текста со стихотворным, а также включением в текст вставных эпизодов, отдельных новелл и т. д.

С нашей точки зрения, «Сатуры» Петрония скорее всего можно называть романом. И это произведение — первый образец античного романа, так как ничего подобного ему из более ранних произведений не сохранилось ни в римской, ни в греческой литературе.

3. СОДЕРЖАНИЕ «САТУР». СОТРАПЕЗНИКИ ТРИМАЛХИОНА

Располагая лишь незначительной частью романа Петрония, мы не в состоянии судить ни о его содержании в целом, ни о развитии действия. В той части, которая до нас дошла (вероятно, не более одной двадцатой всех «Сатур»), рассказ ведется от лица главного героя — Энколпия, че-

⁶ См. Петроний Арбитр. Сатирик. Перевод под ред. Б. И. Ярхо. М.—Л., Госиздат, 1924, стр. 15.

⁷ В. И. Моде ст о в. Лекции по истории римской литературы. Спб., 1888, стр. 158 — Подробности о ранней римской сатуре, см. в гл. XIV, т. I настоящего издания.

ловека, получившего, несомненно, хорошее литературное образование (гл. 1 и др.), но ставшего, по неизвестным для нас причинам, на довольно-таки сомнительный путь: он оказывается и вором (гл. 12—15), и убийцею (гл. 81), и распутником; к тому же он еще и трус (гл. 82). Остальные действующие лица — бродячий поэт Эвмоли, ритор Агамемнон и другие — по существу нравственно несколько не выше Энколпия. Исключение составляет, пожалуй, лишь один Трималхион — центральная фигура главного эпизода фрагментов — «Пира у Трималхиона» (гл. 26—78). Этот бывший раб родом из Азии, с малых лет ставший любимцем господина и госпожи, а потом полным хозяином в доме, получил вольную и большое наследство по завещанию господина, разбогател благодаря торговым делам, скупил все земли патрона и довел свое состояние до совершенно грандиозных размеров (гл. 75 сл.).

Трималхион (как показывает уже само его имя — «втрое отвратительный») ⁸ должен был бы быть самой гнусной фигурой у Петрония, но этот вольноотпущенник, земли которого, как говорит один из его сотрапезников, «коршуну не облететь» (гл. 37), самым бесстыдным и безвкусным образом выставляющий на показ свои несметные богатства, изображен вовсе не таким отвратительным, как многие другие действующие лица романа. Он добродушен, гостеприимен, щедр, не злобен, легко прощает проступки рабов, не скрывает своего подневольного постыдного прошлого. Словом, по существу Трималхион не столько отвратителен, сколько смешон.

Так как фигура Трималхиона очерчена Петронием очень подробно, а эпизод пира у него представляет единственную законченную часть в наших фрагментах, то на этом эпизоде следует остановиться и постараться уяснить задачи, которые ставил себе Петроний хотя бы в этой части своих «Сатур». Выше уже было указано, что Петроний ставит себе в заслугу простое и правдивое описание народных нравов — «того, что делает народ» (*quodque facit populus*). И действительно, в эпизоде «Пира у Трималхиона» мы видим мастерское изображение представителей той среды, из которой вышел сам Трималхион. Вот его гости, с которыми на пиру встретились Энколпий и его спутники.

Прежде всего мы знакомимся с соседом Энколпия Гермеротом ⁹, отпущенником Трималхиона. Он (гл. 37—38) рассказывает Энколпию о богатствах Трималхиона и о двух сотрапезниках — богаче Гае Помпее Диогене, отпущенном, судя по его второму имени, на волю вместе с Трималхионом ¹⁰, и разорившемся гробовщике Юлии Прокуле. Первый, по словам Гермерота, «вырос из ничего: недавно еще бревна на спине таскал» (*de nihilo crevit: modo solebat collo suo ligna portare*); второй разорился из-за «подлецов-вольноотпущенников». Хотя этот гробовщик и помещается за столом «на месте вольноотпущенников», сам он не из вольноотпущенников, судя по его чисто римскому имени — *Iulius Proculus*. Сотрапезники Дама (гл. 41), Селевк (гл. 42), Филерот (гл. 43), Гавимед (гл. 44) и Эхион (гл. 45) охарактеризованы в их собственных разговорах (гл. 41—46). Все они вольноотпущенники, интересы которых не идут дальше устройства личного благополучия: Дама — пьяница и обжора, для которого «ничего нет лучше, как из спальни прямо переходить в столовую»; Селевк — пошлый резонер, который не каждый день моется, бранит врачей и женщин, рассуждает о человеческой судьбе и надоедает своей болтовней

⁸ *Malchio* ἀπόχρης — противный, отвратительный (Corp. Gloss., II, 126—127).

⁹ Впервые он назван по имени (*Hermeros*) в начале гл. 59.

¹⁰ Полное имя Трималхиона — Гай Помпей Трималхион Меценатин.

соседям; Ганимед — ворчун, хвалящий старое время; Филерот — пустомеля; Эхион в сущности не выше других собеседников по нравственному уровню, но его разговор более содержателен в той части, где он, обращаясь к ритору Агамемнону, рассуждает о воспитании своего сына, которому он постарался дать некоторое литературное и юридическое образование. Ему, однако, все равно, кем будет его сын, домашним ли хозяином, цырюльником, глашатаем или стряпчим: ему важно только то, чтобы профессия сына была выгодной. Но все-таки он сознает пользу образования: «Наука — это клад, и искусный человек никогда не пропадет» (*litterae thesaurum est, et artificium nunquam moritur*), — заканчивает он свою болтовню.

Но все эти сотрапезники Трималхиона явно чувствуют себя ниже хозяина, и только появившийся к концу пира (гл. 65) Габинна держит себя с Трималхионом как равный с равным. Габинна появляется в белой одежде и в сопровождении большой свиты (*cum ingenti frequentia*), предшествуемый ликтором, и направляется к почетному месту — «преторскому ложу», так что Энколпий, пораженный величием нового гостя, принимает его за настоящего претора. А Габинна всего навсего хозяйка каменотесной мастерской и сефир, т. е. один из шести старшин незначительной жреческой коллегии, в которую допускались и вольноотпущенники, не имевшие права занятия других государственных и жреческих должностей. Севирами были и Трималхион (гл. 30 и 61) и Гермерот (гл. 57).

Но эти бывшие рабы полны собственного достоинства и не терпят насмешек со стороны лиц, не принадлежащих к их обществу. Стоило Аскилту поиздеваться над забавами, которыми угощал своих гостей Трималхион, как соотпущенник хозяина Гермерот вспылил и разразился неистовой бранью. В потоке этой брани есть любопытные данные о самом Гермероте, данные, очевидно, типические и для других представителей его среды. Гермерот нажил хорошее состояние: «землицы купил и деньжонок накопил, двадцать животных кормлю да и собаку» (*glaeubulas emi, lamellulas paravi; viginti pasco et canem*); он уважает себя за то, что сам добился свободы, заплатив за свой выкуп тысячу динариев, «а родиться свободным, — говорит он, — так же легко, как сказать — пойдя сюда!»; он хвалится тем, что не получал того ни к чему ненужного образования, какое получали дети свободных граждан, а имеет знания полезные для практических целей: «Я не учился ни геометрии, ни критике, вообще никакой чепухе, но умею читать надписи и вычислять проценты в деньгах и в весе» (гл. 58).

По речи Гермерота ясно виден низкий уровень знаний приятелей Трималхиона и полное презрение их к «свободным искусствам и наукам» (*artes liberales*), не приносящим практической пользы. Если Эхион и уважает науки, то лишь те, которые могут помочь нажить хорошее состояние. Но Петроний хочет как можно ярче показать литературное невежество и безвкусию разбогатевших вольноотпущенников и делает это, предоставляя слово самому хозяину пира.

Трималхион так же невежествен, как и его постоянные гости, но эта невежественность еще лучше видна в нем потому, что он любит похвастать своей образованностью. «И за едой надо быть любомудром» (*oportet etiam inter cenandum philologiam nosse*), — восклицает он, объясняя астрологическое значение двенадцати знаков Зодиака, изображенных на блюде, и хвастливо заявляя, что для него нет ничего неизвестного (гл. 39). Он вскользь упоминает о том, что в детстве читал Гомера, но на самом деле знает о нем, видно, только по наслышке (гл. 48)¹¹; хвастаясь своими сере-

¹¹ Трималхион просит ритора Агамемнона рассказать о том, как Полифем вырвал палец у Улисса. В «Одиссее» об этом нет ни слова, но в народных сказках, очевидно, был такой эпизод (см. Русские народные сказки Афанасьева, т. II, М., 1938, стр. 652).

брюхими сосудами (гл. 52), он говорит, что «на них вычеканено, как Кассандра своих сыновей убивает»; на его винных чашах — «Дедал прячет Ниобею в Троянского коня»; наконец, комментируя игру актеров, изображающих сцены из гомеровского эпоса, Трималхион так передает миф о Троянской войне (гл. 59): «Жили были два брата — Диомед и Ганимед — с сестрою Еленой. Агамемнон похитил ее и принес в жертву Диане лань. Так говорит нам Гомер о войне троянцев с парентийцами. Как и следовало, Агамемнон победил, и дочку свою Ифигению выдал за Ахилла; от этого Аякс помешался, как вам сейчас покажут»; Троию, по словам Трималхиона, взял и разграбил Ганнибал (гл. 50). Лучшим поэтом оказывается, по мнению Трималхиона и его сотрапезников, какой-то неведомый Мопс Фракийский. Но кое-что из литературных произведений Трималхиону известно; так, он декламирует в качестве превосходного произведения стихи Публилия Сира (гл. 52). Трималхион не прочь похвастаться и собственными стихами, причем сочиняет их на простонародный лад, соединяя в своих эпиграммах (34 и 55) по два гексаметра с одним пентаметром¹².

Поскольку от «Сатур» Петрония до нас дошла только ничтожная часть и мы не можем составить сколько-нибудь ясного и полного представления о развитии их сюжета, нам приходится довольствоваться лишь разбором тех отрывков, которые могут пролить свет на такие явления римской литературы, которые бы совершенно остались в тени, не будь у нас фрагментов Петрония.

Одной из интереснейших особенностей «Сатур» является введение в них вставных рассказов, которые несомненно были взяты Петронием из устного латинского творчества, подобно сказке об Амуре и Психее, искусно обработанной Апулеем в его «Метаморфозах», или «Золотом осле».

Таким вставными рассказами являются: анекдот об искусном стекольщике, переданный Трималхионом (гл. 51); сказки об оборотне (гл. 61—62) и о ведьмах (гл. 63), рассказанные Никеротом и Трималхионом так, будто они сами были участниками рассказанного; новелла об уступчивом мальчике (гл. 85—87); новелла Эвмолла о матроне эфесской (гл. 111—112), по существу представляющая собою нравственную сатиру, но рассказанная (в соответствии с общей манерой Петрония) не в обличительных тонах, а так, что слушающие ее моряки встречают ее веселым смехом (*risu exserere fabulam pautae*), Трифена с явным удовольствием и одобрением поведения главного действующего лица и только Лих — с возмущением, считая, что героиню рассказа надо было бы распять на кресте.

Иного рода стихотворные вставки — либо небольшие стихотворения, либо целые поэмы. На одной из этих поэм следует остановиться.

4. ЛИТЕРАТУРНАЯ ПОЛЕМИКА В «САТУРАХ»

В дошедших до нас остатках «Сатур» Петрония виден исключительный интерес к литературным произведениям, особенно к поэтическому творчеству. Для истории римской литературы особенно важны те места романа Петрония, где он занят литературной полемикой, основным вопросом которой является вопрос о том, каким должен быть исторический эпос. Это совершенно закономерно для эпохи Петрония, так как в его время появилась поэма Лукана, которая (по крайней мере, первая часть ее) была хорошо известна Петронию. Петроний вводит в свой роман особое действующее лицо, поэта Эвмолла, который рассуждает о целях и задачах поэзии.

¹² Вероятно, Петроний приводит не подлинные ямбы Публилия, а сочиненные им самим в подражание римскому мимографу.

«Очень многих, — говорит Эвмолп (гл. 118), — ... стихи вводят в заблуждение: удалось человеку втиснуть несколько слов в стопы или вложить в период сколько-нибудь тонкий смысл — он уже и воображает, что избрался на Геликон... Вот, например, описание гражданской войны: кто бы ни взялся за этот сюжет без достаточных литературных познаний, будет подавлен трудностями. Ведь дело совсем не в том, чтобы в стихах изложить факты, — это историки делают куда лучше; нет, свободный дух должен устремляться в потоке сказочных вымыслов по таинственным переходам, мимо святилищ богов, чтобы песнь казалась скорее пророчеством иступленной души, чем достоверным показанием, подтвержденным свидетелями».

После этих восклицаний в пользу фантастичности, которой должен, по мнению Эвмолпа, держаться исторический эпос, Эвмолп декламирует небольшую поэму о гражданской войне, в которой явно виден протест против художественных принципов Лукана¹³.

По содержанию поэма Эвмолпа соответствует первым книгам поэмы Лукана и, несомненно, подражает отдельным ее местам, переделанным на особый лад. Так, начало поэмы Эвмолпа соответствует 160 и следующим стихам первой книги «Фарсалии», картина разложения общества (ст. 39—56) напоминает в целом и в подробностях картину, нарисованную Луканом (I, 176 сл.) и т. д.

Но при подробном сравнении обеих поэм о гражданской войне с полной ясностью видна коренная разница как идейных установок, так и поэтических приемов, применяемых Эвмолпом и Луканом.

Обычно считается, что вложенная Петронием в уста Эвмолпа поэма о гражданской войне «возникла в виде реакции против сухого изложения, пропитанного односторонней политической тенденцией»¹⁴, что Лукан — новатор в области эпической поэзии, считающий, «что до поэзии можно добираться и помимо путей, указанных Гомером, что ее смело можно искать в правде и в истории»¹⁵; что Петроний своей поэмой о гражданской войне хотел «проучить Лукана» и доказать, что его «Фарсалия» «была бы несравненно лучше, будь она написана по правилам старой школы» с непременно введенным в исторический эпос богов, мифологических подробностей и элемента чудесного, от которого отказался Лукан¹⁶.

Таким образом выходит, что Петроний — литературный враг и противник Лукана, что поэма Эвмолпа выражает мнение самого автора «Сатурн», что Лукан открыл новые пути историческому эпосу и порвал с укоренившимися в античной литературе традициями.

Такое представление о Лукане и об отношении Петрония к его поэме вызвано, безусловно, программным заявлением Эвмолпа в главе 118, особенно словами: «дело совсем не в том, чтобы в стихах изложить факты». Действительно, многие из современников Лукана и позднейших римских критиков не считали его поэму поэтическим произведением и не причисляли его к поэтам: «Лукан, — говорит комментатор Вергилия Сервий (IV в. н. э.), — потому не достоин быть в числе поэтов, что, очевидно, сочинял историю, а не поэму»; а схоласт в комментарии к первому стиху «Фарсалии» замечает: «Лукан потому не считается большинством в числе поэтов, что следует только историкам, что не соответствует поэтическому

¹³ Хотя Эвмолп нигде не называет Лукана.

¹⁴ Примеч. 354 к гл. 118 перевода «Сатирикона» Петрония под ред. Б. Н. Ярхо, стр. 189 сл.

¹⁵ Г. Буассье. Общественные настроения времен римских цезарей. Пг., 1915, стр. 201.

¹⁶ Там же, ст. 202—204.



*Изображение гладиатора-мирмиллона императорского времени
(найдено близ Димотики в 1829—1830 гг.)*

искусству»¹⁷. Но не таково было мнение большинства читателей «Фарсалии», которую, по свидетельству современника Лукана, поэта Марциала, раскупали нарасхват:

Правда, иные меня совсем не считают поэтом,
Книгопродавец же мой видит поэта во мне,—

говорит Марциал в надписи для книги с поэмою Лукана¹⁸.

На каком же основании можно считать, что словами Эвмолпа Петроний высказывает свои собственные мысли? То, что говорит этот бродяга, мошенник и развратник, которого все бьют и поносят за его надоедливые декламации, вряд ли может быть мнением самого Петрония. Нанятая, проникнутая школьным консерватизмом тирада в главе 118 гораздо больше походит на издевательство Петрония над современными ему поклонниками старины, чем на его собственное воззрение на поэзию и ее задачи. Сама же поэма Эвмолпа о гражданской войне, перенасыщенная «ученой» мифологией, с ее Плутоном, у которого «разверзается зев, пересыпанный пеплом» (ст. 77), с Тисифоной, к которой обращается Фортуна, говоря ей

... А ты насыщайся смертями без счета,
О Тисифона, и жуй, бледнолицая, свежие раны,
(ст. 119—120)

с Ромулом, «бряцающим дротом огромным» (ст. 268), с Раздором, который

... Растрепав свои космы,
Тянет навстречу вссыпшим личину, достойную ада,
(ст. 271—272)

и со всяческими нагромождениями мифологических ужасов и чудес, какими заполнено это произведение, со всеми событиями, какие, в противоположность изложению Лукана, совершаются не по внутренней необходимости и не в силу естественного хода событий, а лишь «по приказу Раздора» (ст. 295), — вся эта поэма — протест не против Лукана, а против его бездарных современников, мнивших себя хранителями заветов старинной эпической поэзии. Эвмолп, несомненно, один из таких невыносимых поэтов, впитавших в себя без всякого толка надерганную александрийскую мифологическую ученость и считавших себя в праве не только учить Лукана, но и переделывать на пошлейший лад самого Вергилия, пример чего дан Петронием в главе 8).

5. ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК «САТУР»

Исключительно важное значение имеет роман Петрония, и более всего эпизод пира у Трималхиона, для изучения истории латинского языка. На фоне превосходного литературного языка, которым написан этот роман в целом, мы находим живые картины народной разговорной речи в беседах гостей Трималхиона и его самого, которые говорят на так называемой «вульгарной» латыни. Тут мы можем познакомиться и с лексикой, и с морфологией, и с синтаксисом того живого латинского языка, который послужил главной основой языков романских. Хотя своеобразие языка вольноотпущенников на пиру Трималхиона может быть преувеличено

¹⁷ Servius ad Aen. I, 382. Comm. Bern. ad Phars. I, 1.— Оба эти мнения восходят, скорее всего, к источнику I или II в. н. э.

¹⁸ XIV, 194. Перевод Ф. А. Петровского.

автором «Сатур», но все же сопоставление этой особой речи с языком Плавта, со свидетельствами Цицерона, Квинтилиана и других авторов, с данными романских языков и с некоторыми другими документами дает несомненное право считать эту речь одним из важнейших памятников народного латинского языка. Для нас этот язык, представляет особый интерес при изучении молдавского языка ¹⁹.

Богатый материал дает роман Петрония и для исследования таких произведений народного творчества, как поговорки и пословицы, которыми сплошь пересыпаны «Сатуры». Многие из этих пословиц и поговорок имеют своеобразное соответствие в ходовых русских поговорках, другие же дают совершенно оригинальные и метко выраженные мысли. Приведем несколько примеров из того поистине огромного запаса, который имеется у Петрония.

Vitrea fracta — «битая посуда» в смысле нашего «выеденное яйцо».

Post asellum diarium non sumo — после дорогой рыбы я не ем ежедневного пайка (Б. И. Ярхо дает очень остроумный перевод: «после разносолов не хочу харчей»).

Sociorum olla male fervet — артельный котел плохо кипит (ср. «у семи нянек дитя без глазу»).

Ubi semel res inclinata est, amici de medio — где дело пошатнулось, там друзья за дверь.

Utrosque parietes linunt — две стены сразу мажут (ср. «двух маток сосут»).

Holera spectant, lardum tollunt — на овощи зарятся, а сало хватают (ср. «метят в ворону, а попадают в корову»).

Omnis Minervae homo — человек всяческой Минервы, т. е. «на все руки мастер».

Quid nunc stupes tanquam hircus in ervilia — чего ты на меня уставился, точно коза на горох (ср. «как баран на новые ворота»).

Dupundi non facio — совершенно соответствует нашему «ни в грош не ставлю».

Nec sursum nec deorsum non cresco — пусть не расту ни взад, ни вперед (в смысле «чтоб мне ни дна, ни покрышки»; в этой поговорке интересно применение изъявительного наклонения вместо сослагательного).

Сознательно подчеркивая особенности народного говора, Петроний, однако, совершенно не впадает в карикатуру (какая получилась в переводе «Пира у Трималхиона» у И. Холодняка) ²⁰, а создает типический образ речи тех слоев населения, которые в императорскую эпоху играли выдающуюся роль в хозяйственной жизни Рима.

Умение дать настоящую сатиру на нравы определенных слоев римского общества времен Нерона, пусть и не такую резко обличительную, как у Ювенала, искусство создавать типические образы, например разбогатевшего вольноотпущенника Трималхиона, напыщенного ратора Агамемнона, развратниц вроде Трифены, обилие живых подробностей быта Италии и т. д., — все это дает нам право считать Петрония одним из крупнейших римских писателей-реалистов, помогающих изучать жизнь римского рабовладельческого общества и понимать те его стороны, которые без Петрониевых «Сатур» остались бы совершенно не освещенными.

¹⁹ Народному латинскому языку посвящены работы русских ученых: А. Садов. Народная и быденная латынь на древнем Западе. СПб., 1914; С. В. Савченко. Происхождение романских языков. — «Киевские университетские известия», 1916, т. 56, № 4; М. В. Сергиевский. Введение в романское языкознание. М., 1952.

²⁰ «Филологическое обозрение», т. XVIII, 1900. Приложение.



Глава VIII

НАУЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА РАННЕЙ ИМПЕРИИ

1. *Общий характер научной литературы эпохи Империи.*—
2. *Фронтин.*— 3. *Помпоний Мела.*— 4. *Корнелий Цельс.*—
5. *Плиний Старший.*— 6. *«Естественная история» Плиния.*—
7. *Колумелла.*

1. ОБЩИЙ ХАРАКТЕР НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ЭПОХИ ИМПЕРИИ

В эпоху ранней Империи повышенный интерес к литературе, который был так характерен для времени Августа, начал уступать место другим запросам; естественные науки, столь важные для развития сельского хозяйства и укрепления расшатанной экономики римского общества, равно как техника, архитектура, горное и военное дело начали играть все более и более значительную роль; на литературном поприще появляются писатели уже иного склада: это энциклопедисты, затрагивающие в своих работах самые разнообразные вопросы, начиная от вопросов искусства и кончая медициной и техникой. В отличие от крупнейшего энциклопедиста эпохи республики Варрона — эти писатели не пытаются совместить научные занятия с поэтической или политической деятельностью и ограничивают себя, правда, чрезвычайно широким кругом так называемых реальных дисциплин. Такие писатели, как Плиний Старший с его 37 книгами «Естественной Истории» или Цельс, писавший свои «*Artes*», являются типичными представителями нового направления в литературе.

Отличительной чертой научной литературы этого времени было то, что в ней как бы подводились итоги научных достижений по различным отраслям знания и во всех трудах выдвигались чисто практические цели: научить читателей применять на практике те или иные знания. Множество авторов, часто обладающих весьма посредственным талантом, вернее сказать, компиляторов, составляли как бы свод мнений различных специалистов по интересующим их вопросам. Собранный обширный специальный материал располагался систематически, но без всякой заботы о внутреннем единстве, и поэтому нередко вместе оказывались совершенно противоречивые мнения, а наряду с научными достижениями много внимания уделялось различным курьезам и небывидам. Такой некритический подход к подобранным источникам во многих случаях делал ценность этих работ весьма сомнительной и, кроме того, весьма затруднял возможность установить собственные взгляды автора и его точку зрения на тот или иной вопрос.

Таким образом, научная литература эпохи империи приобретала все более и более эмпирический, описательный характер, что было свойственно римской науке и в более ранний период.

Эти специальные работы представляют интерес главным образом для истории науки, например античной техники, военного искусства, права, медицины, архитектуры и т. д. Рост техники за первые два века существования империи достиг максимальной высоты, возможной в античном рабовладельческом обществе. Техника широко применялась в повседневной жизни империи, а также в бурно развернувшемся строительстве как в самом Риме, так и в провинции. Уже у Плиния Старшего встречаются описания всевозможных усовершенствований, применяемых как в сельском хозяйстве, так и в строительном деле. От него же, равно как и от других авторов, мы узнаем о высокой технике разработки природных богатств, о развитии горного дела, о создании сложных по конструкции плавильных печей и о введении в практический обиход различных механизмов. Вместе с тем труды отдельных авторов, часто не имеющих прямого отношения к литературе, являются весьма ценным пособием для изучения литературы, так как они освещают различные вопросы экономики античного общества или затрагивают проблемы взаимоотношений между различными социальными группами. Кроме того, благодаря стараниям отдельных авторов-компиляторов до нас дошли не только имена писателей, игравших в свое время значительную роль в истории литературы, произведения которых, однако, не сохранились, но и выдержки и цитаты из их работ, позволяющие хотя бы в какой-то мере судить об их творчестве. Так, например, Авл Геллий и Макробий знакомят читателей с многочисленными отрывками из безнадежно утраченных для нас произведений.

Для истории литературы не представляется необходимым подробно анализировать все многочисленные работы научного характера, вышедшие во время империи, но для современного читателя может представить известный интерес знакомство с двумя-тремя образцами работ, посвященных специальным вопросам.

2. ФРОНТИН

Одной из наиболее значительных работ, относящихся к достижениям техники того времени, можно считать труд Секста Юлия Фронтинуса (S. Iulius Frontinus, 40—103 г. н. э.) о римских водопроводах. Весьма показательным для научной литературы императорского периода является то обстоятельство, что авторами научных книг становятся общественные и государственные деятели, стремящиеся в специальных работах передать современникам и потомкам накопленный ими опыт. Биография Фронтинуса нам плохо известна, несмотря на сравнительно многочисленные упоминания о нем у различных авторов древности. Из отдельных высказываний Тацита («История», IV, 39, «Агрикола», 12), Светония («Жизнь Домициана», 1) и писем Плиния Младшего (II, 3; IV, 8; V, 1) и других можно сделать вывод, что Фронтин занимал ряд ответственных должностей от префекта города до авгура, о чем мы узнаем из письма Плиния Младшего (IV, 8). Обязанности префекта города Фронтин сложил с себя во время консульства Веспасиана и Тита и эта почетная должность была передана Домициану. Тацит и другой автор древности Вегетий Ренат хвалят стратегический талант Фронтинуса, проявленный во время покорения римлянами мятежных британских племен; Плиний Младший считал его человеком высоких достоинств (IV, 8, 3). По-видимому, Фронтин был разносторонне образованным человеком, но он сознательно старался держаться в тени в период царствования Домициана, как того требовало истинное благоразумие. Впоследствии, при Нерве, Фронтин получил ответственную должность куратора, следящего за состоянием римских

водопроводов (*curator aquarum*), имевших огромное значение для регулярного снабжения водой колоссально разросшегося к тому времени населения Рима. Этими скудными данными и ограничивается наше знакомство с биографией Фронтинна

Кроме работы «Об акведуках» от Фронтинна дошла до нас и другая работа «Стратегемы» («Военные хитрости»), имеющая такой же безыскусственный характер справочного пособия для тех, кто хотел бы воспользоваться опытом Фронтинна-военачальника.

Фронтинн не стремился создать себе репутацию ученого или писателя, его основной целью было создание практического руководства для заинтересованных лиц. В своей работе «Об акведуках» он дает ценнейший материал для знакомства с системой водоснабжения Рима, изучает детальнейшим образом историю этого вопроса, подробно рассказывает о протяженности грандиозных акведуков, об их объеме, перечисляет каналы, приводит интересные данные о расходовании воды во время разных торжеств в Риме и дает ряд статистических исследований. Эта работа является чем-то вроде статистико-экономического отчета и может быть весьма полезна как для экономистов, так и историков.

В работе «Стратегемы», состоящей из трех частей, которую Фронтинн написал в результате своей военной деятельности, он описывал главным образом различные военные хитрости, применяемые в разных видах войск галлами, карфагенянами, греками и римлянами, чтобы познакомить современных ему читателей с военной тактикой крупнейших полководцев древности. Здесь наряду с практическими советами, как производить разведку у неприятелей, как прикрываться пленными, проводить войска через местность, занятую противником, как выбирать наиболее благоприятное время для наступлений, делать вылазки в лагерь врагов и т. п., приводится множество исторических и анекдотических примеров, подтверждающих то или иное положение, выдвинутое Фронтинном. Сочетание исторических фактов с различными, подчас неправдоподобными рассказами (особенно там, где они связаны с верованиями римлян во все сверхъестественное) является весьма показательным для того времени, когда большинство образованных римлян твердо верило в таинственные силы и было полно суеверий и предрассудков.

Язык Фронтинна чист, ясен и прост и отличается тем, что целый ряд фактов, сообщаемых им в виде коротких рассказов, почти всегда излагается в одинаковых словах и выражениях, что делает его повествования несколько однообразными и суховатыми.

3. ПОМПОНИЙ МЕЛА

Из других работ научного характера для современного читателя известный интерес представляет первая книга по географии, дошедшая до нас от времени Рима и принадлежавшая Помпонию Меле (*Pomponius Mela*). Автор ее не был уроженцем Рима, подобно многим другим писателям времени империи он был выходцем из провинции. Его родным городом был город Тингитера в Испании, расположенный недалеко от Гибралтара. Период жизни и деятельности Помпония Мелы относят ко времени Клавдия, на основании того, что в своей работе он восхваляет императора, прошедшего победоносную войну в Британии и получившего триумф; этим императором считают Клавдия, праздновавшего триумф в 44 г. н. э. Время рождения Мелы точно неизвестно, а годом смерти его некоторые исследователи считают 67 г. н. э., отождествляя его с известным интендантом при Нероне, обвиненном в подложных письмах против императора



Июнь

(мозаика, найденная в Помпеях, I в. н. э.)

и вскрывшим себе вены (Тацит, «Анналы», XVI, 17). Но прямых доказательств того, что этот Мела и наш ученый географ — одно и то же лицо, нет, так же как нет точных данных о пребывании географа Мелы в Риме. Скорее можно допустить, что провинциальный ученый создавал свой труд вдали от императорского двора с его интригами и волнениями.

Написанные Помпонием Мелой три книги «О положении мира» (*De situ orbis*) интересны для нас как самое раннее уцелевшее произведение по географии древнего мира. В этой работе этнографическо-географического характера Мела дает общий очерк всего известного тогда света, разделив его на четыре части. Уделяя исключительное внимание морям и приняв за исходный пункт хорошо известное в древности Средиземное море, Мела и делает свои описания различных стран света. В первой книге он описывает Азию и Африку, во второй — Европу, начиная от Скифии и кончая внутренним побережьем Галлии и Испании. В дополнении он говорит об островах на Средиземном море. В третьей книге, наиболее интересной для нас, он касается внешних морей, расположенных

возле Галлии, Германии, Сарматии и Скифии, и, заканчивая свою работу, переходит к описанию Атлантического океана.

Как и большинство авторов подобного рода трудов, Мела не стремился к заведомой точности, а пользовался различными источниками без всякой критики приводимого материала. Широко используя труды Корнелия Непота, карфагенянина Ганнона, Геродота и других писателей, наряду с географическими описаниями (хотя и не всегда точными) он помещал фантастические рассказы о троглодитах, не умеющих говорить, об огромных индийских муравьях, более крупных, чем собаки, о людях с копытами и огромными ушами, которыми они пользуются вместо одеяла и т. п. (*De situ orbis*, или *Chorographia* I, 44; III, 62).

Не придерживаясь научной точности в описании, а также передаче деталей, Мела создал, строго говоря, не научную книгу, а работу полубеллетристического характера, сильно подвергнутую к тому же риторической обработке. Он сам говорит о своем желании риторически приукрасить излагаемый им сухой предмет и обещает сделать в этом направлении все от него зависящее (Предисловие). Действительно, цветистость слога иногда даже затрудняет восприятие приводимых Мелой сведений, но живость изложения заставляет забывать сухость самого предмета.

4. КОРНЕЛИЙ ЦЕЛЬС

Из работ, носящих энциклопедический характер, следует выделить труд энциклопедиста Цельса (*Anulus Cornelius Celsus*) «*Artes*», представляющий несомненную научную ценность для изучения истории медицины. Труд Цельса состоял из шести больших разделов. Несколько книг по сельскому хозяйству, по медицине, по военному делу, риторике, философии, юриспруденции. До нас дошло только восемь книг, посвященных медицине. Это уже настоящее научное медицинское пособие, где автор говорит о необходимости изучать анатомию на трупах, дает ряд практических советов, касающихся режима больного и его диеты, излагает историю хирургии начиная с Гипократа, описывает, как специалист, ряд интересных операций. В восьми книгах своей медицинской работы Цельс показывает себя не как компилятор, а как сведущий врач-практик, высказывающий мнение по тому или иному поводу (III, 5). Это первая работа по медицине, написанная по-латыни хорошим и чистым языком¹. Касаясь в своем труде других дисциплин, Цельс, по-видимому, прибегал к типичной компиляции, заимствуя сведения из различных источников специального характера.

Никаких данных о биографии Цельса до нас не дошло, известно лишь, что его труд был написан не раньше царствования Тиберия, а ссылки на него встречаем у Колумеллы в его работе по сельскому хозяйству (I, 1, 14), у специалиста по военному делу — Вегетия (I, 8), а также у Квинтилиана (III, 1, 21).

5. ПЛИНИЙ СТАРШИЙ

Гаий Плиний Секунд (*C. Plinius Secundus*), автор «Естественной истории» (*Historia naturalis*), родился в 22/23 г. н. э., умер в 79 г. н. э. Место рождения Плиния точно не установлено, имеется предположение, что он был родом из города Вероны, так как в своем предисловии к «Естественной

¹ Труд Цельса «О медицине» переведен на русский язык коллективом Кафедры латинского языка 2-го МГМИ (под редакцией В. И. Терновского и Ю. Ф. Шульца). М., 1959.

Историю» он называет знаменитого римского поэта Катутла своим соотечественником (*contertaneus*). По другим сведениям, родиной Плиния считается город Комо. Об этом упоминается во фрагменте из Светония, а также этот вывод делается в связи с найденными в Комо многочисленными надписями с упоминанием имени Плиниев. Отец Плиния принадлежал к сословию всадников и кроме сына имел еще дочь, вышедшую замуж за сенатора Цецилия и впоследствии ставшую матерью Плиния Младшего.

Биографические данные о Плинии Старшем можно почерпнуть из краткой биографии, написанной Светонием, из весьма ценных писем его племянника Плиния Младшего, усыновленного нашим Плинием, а также из его собственных упоминаний о тех или иных событиях, свидетелем которых был он сам, что и дает возможность установить основные хронологические этапы в его жизни.

Биография знаменитого римского естествоиспытателя представляется нам в следующем виде. Ребенком Плиний был привезен в Рим и воспитывался там под руководством известного поэта Помпония Секунда, близкого ко двору Калигулы. Помпоний Секунд был большим другом отца Плиния и принял самое живое участие в способном и любознательном мальчике. Плиний получил образование обычное для молодых людей из знатных фамилий и имел возможность познакомиться с лучшими учителями своего времени: он упоминает об известном риторе Ареллии Фуске, о знаменитом грамматике Реммии Палемоне, о крупнейшем ботанике того времени Антонии Касторе и других.

Обладая пытливым умом и жадной знаний, Плиний уже с юношеских лет проявлял незаурядные способности. Круг интересов его был чрезвычайно разнообразен: он знакомился с рукописями и автографами известных политических деятелей и знаменитых писателей Тиберия и Гая Гракхов, Августа, Цицерона, Вергилия, много внимания уделял естественным наукам. Эту склонность к научным занятиям в сочетании с исключительной работоспособностью Плиний сохранил до последних дней своей жизни, как об этом рассказывает нам его племянник. Можно сказать, что Плиний пал жертвой своей научной любознательности; в 79 г. н. э. он погиб при извержении Везувия, приблизившись слишком близко к месту действия вулкана для наблюдения над происходившим грозным явлением природы.

Как и большинство его сверстников, Плиний начал свою карьеру с военной службы, сначала командуя пешей когортой, а затем и конным отрядом. В 48 г. он служил в Германии под началом своего старого покровителя Луция Помпония Секунда, а также принимал участие в походе под командой Домиция Корбулона против хавков, одного из германских племен, живших между реками Эмсом и Эльбой. После возвращения из походов в Рим, во время правления Нерона, с 52 г. н. э., Плиний занимался юриспруденцией и литературной работой и стоял совершенно в стороне от активной военной и общественной жизни, живя то в Риме, то в Италии, то у себя на родине в Цизальпинской Галлии. Лишь при Веспасиане и его сыне Тите, с которыми Плиний, по-видимому, служил в Германии и был в самых дружеских отношениях, он начал занимать видные должности: в 69 г. он был назначен имперским прокуратором, т. е. заведовал императорскими доходами — сначала в Нарбоннской провинции, а затем и в Испании, где Плиний и пробыл до 73 г. Впоследствии ему было поручено командование флотом в Мизене, где он и был до конца своей жизни, т. е. до 79 г.

Плиний нигде последовательно и четко не излагал своих политических взглядов, не дошло до нас также упоминаний о них и у других авторов,

но тем не менее можно сделать известный вывод о политических настроениях Плиния. Прежде всего нет ни прямых, ни косвенных указаний на принадлежность Плиния к каким-либо оппозиционным группировкам, с которыми были связаны тогда многие видные представители литературы, как, например, Сенека, Петроний, Лукан и другие лица, причастные к заговору Пизона в 65 г. Далее, на основании изучения «Естественной Истории», единственной работы Плиния, сохранившейся до наших дней, а также кратких биографических сведений, можно считать, что Плиний, по-видимому, принадлежал к тем кругам римского общества, для которых самый факт превращения римской республики в империю являлся вполне приемлемым и не вызывал особых возражений. Плиний был одним из многих, которые разделяли «всеобщее убеждение, что из этого положения нет выхода, что если не тот или иной император, то все же основанная на военном господстве императорская власть является неотвратимой необходимостью»². Хотя Плиний открыто осуждал правителей из дома Юлиев-Клавдиев, главным образом Нерона, которого он называл «бичом и врагом человеческого рода» (VII, 8 (6), 45) и обвинял в различных преступлениях, например, в пожаре Рима, это вовсе не означало, что Плиний был принципиальным врагом императорской власти. При Веспасиане и его сыне Тите, дружеским расположением которых он пользовался, Плиний порицал деятельность их предшественников, что было совершенно безопасно и вполне уместно. Восшествие на престол Веспасиана Плиний восхвалял как благо для государства, называя деятельность этого императора «спасительной, благотворной» для римского народа. Следовательно, вопрос был лишь в том, кто был императором. Плиний сам не принадлежал к верхушке римской знати и приветствовал появление на общественной арене новых людей, выдвигавшихся главным образом из средних италийских слоев. Карьера императора Веспасиана могла служить этому наглядным примером.

Политические симпатии Плиния выявляются из его отдельных замечаний и беглых высказываний, рассеянных по различным главам его «Естественной Истории». Так, заслуживает внимания оценка Плинием деятельности народных трибунов братьев Гракхов, передовых людей своего времени. Выдвинутые Гракхами аграрные законы в интересах римского крестьянства Плиний рассматривает не как попытку расширить права простого народа, а как выступления демагогов, призывавших народ к мятежу и покушавшихся на священные права сената, когда «интерес общественный мало по малу уступил частным интересам, когда стало оскверняться все, что было святого» (XVI, 4 (3), 8). Умалчивая о жестокой расправе римского нобилитета с Гракхами, Плиний в то же время не оставил без внимания факт насильственной смерти Сципиона Эмилиана, одного из самых ярких политических противников Гракхов. Но, любопытно, что Плиний упоминает об этом событии как бы между прочим, в связи с рассказом о смерти дрессированного ворона, любимца римского простонародья. Он рассказывал о том, как римский народ пришел в страшное негодование, когда этот ворон был убит сапожником и как толпа жестоко расправилась с убийцей, сначала прогнав сапожника из его дома, а затем убив его. Ворону были устроены пышные похороны и его провожала многолюдная толпа, тогда как, по ироническому замечанию Плиния, за прахом многих замечательных людей, например, Сципиона Эмилиана, славного победителя Карфагена и Нуманции, не шел никто и никто не

² К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. XV, стр. 606.

отомстил за его смерть, происшедшую, по-видимому, не без молчаливого одобрения простого народа (X, 43 (60), 123).

Те же политические тенденции можно видеть и в оценке, данной Плинием Цицерону. Восторженно отзываясь о Цицероне как виднейшем представителе ораторского искусства и латинской литературы, Плиний, восхваляя деятельность Цицерона как консула, подчеркивал, что величайшими заслугами его перед Республикой были выступления перед Сенатом против аграрного закона (имеется в виду аграрный законопроект Сервилия Рулла в 64 г. до н. э. о наделении землей малоимущего населения) (VIII, 51, (78), 210), а также поведение Цицерона в заговоре Катилины (VII, 30 (31), 117). Консул, сохранивший неизблемыми основы римского государства, справедливо, по мнению Плиния, удостоился чести быть названным «отцом отечества».

Уделяя много внимания изучению различных сторон современной ему экономики, Плиний не мог не замечать существующих противоречий в римском рабовладельческом обществе. Так, исследуя вопрос о сельском хозяйстве, игравшем исключительно важную роль в эпоху империи, Плиний должен был неминуемо столкнуться с одной из неразрешимых проблем — проблемой поднятия доходности земли при наличии рабского труда. Политика правящей верхушки была направлена на укрепление крупного землевладения, что влекло за собой массовое разорение средних хозяйств. Эту политику Плиний не одобрял, о чем свидетельствует его известное замечание о том, «что латифундии погубили Италию и начали уже губить провинции» (XVIII, 6 (7), 35). Применение в широких масштабах рабского труда также пагубно отражалось на доходах мелких и средних самостоятельных хозяев, чьи интересы были наиболее близки Плинию. Не находя выхода из противоречий и тщетно стремясь примирить существующие социальные конфликты, Плиний пытался занять позицию «беспристрастного ученого», перечисляя подряд всевозможные советы, часто диаметрально противоположного характера, чтобы как-нибудь поднять прибыльность сельского хозяйства. Как ученый-исследователь Плиний понимал значение агрономической науки, требующей проведения дорогостоящих мероприятий по улучшению качества земли, ее удобрению, приобретению инвентаря и т. п. Но как расчетливый хозяин-рабовладелец Плиний старался извлечь максимальную выгоду без больших затрат в сельском хозяйстве и в качестве основных положений выдвигал следующие: «считать предпочтительным тот доход, который обеспечивается при наименьших затратах» (XVIII, 5 (6), 30; XVIII, 6 (7), 37); «хорошо обрабатывать землю необходимо, а превосходно — убыточно» (XVIII, 6 (7) 38). Таким образом, он сам стоял за упрощение агротехники, считая, что главное — это максимальное использование рабочей силы. Однако Плиний видел низкую производительность рабского труда и потому неоднократно упоминал о «добрых старых временах» римского государства, когда свободные хозяева сами трудились на земле и когда римские старинные герои, вроде Цицината, Курия Дентата, Серрана, сочетали в себе доблести римского воина и хозяина-землепашца. Эти «золотые времена» Плиний противопоставлял современному положению дел, когда огромные хозяйства-латифундии обрабатывались рабами, закованными в цепи, с клейменными лицами. Эти рабы, по справедливому замечанию Плиния, ненавидели своих господ и, как правило, небрежно относились к своей работе, а сама кормилица-земля, видя столь враждебное к себе отношение, перестала вознаграждать с лихвой труд земледельца, как это было прежде (XVIII, 3 (4), 21). Практического выхода из создавшегося положения Плиний не видел, так как интересы всего римского государства он понимал и рассматривал с точки

зрения лишь своего класса. Малейшие попытки изменить существующие порядки в ущерб привилегиям правящих классов вызвали со стороны Плиния самое решительное осуждение.

В отношении внешней политики Рима Плиний разделял взгляды большинства своих современников, явно одобрявших завоевательную политику римского государства. Восхваляя свою родину — прекрасную Италию и ее столицу — славный Рим, Плиний неоднократно подчеркивал, что основной функцией римского государства было объединение всех стран воедино и «покорение их красноречием и оружием» (III, 5 (6), 39, 42). Указывая, что исключительная роль Рима была предназначена ему свыше, Плиний стремился обосновать эту идею рассуждениями о значении Рима в развитии науки и искусства, об его «благодетельном влиянии на другие народы, о благотворном значении римской культуры для покоренных Римом стран, о том, что лишь благодаря безмерному могуществу «римского мира» различные отдаленные друг от друга страны могут ближе познакомиться с правами, обычаями и природными богатствами друг друга. «Пусть будет вечным это благодеяние богов», — восклицает Плиний, выражая желание, чтобы Рим навсегда оставался этим «источником света» для покоренных народов. Совершенно естественно, что при такой оценке внешней политики Рима, Плиния возмущал тот факт, что покоряемые Римом народы расценивали свое подчинение и утрату национальной независимости как величайшее народное бедствие. Так, рассказывая о германском племени хавков, где еще сохранялся родовой строй общества, Плиний с негодованием замечает, что племена подобные хавкам, несмотря на их убогое существование, еще осмеливаются жаловаться на то, что в случае покорения их римским народом, «они попадут в рабство» к римлянам (XVI, 1, 4).

С другой стороны Плиний выражал сожаление о том, что римский народ, распространив свои завоевания и облагодетельствовав своей властью покоренные им народы, сам стал утрачивать чистоту нравов. Видя начинающийся распад и загнивание современного ему римского государства, Плиний не мог понять, что это являлось результатом развития и упадка рабовладельческого общества, а кроме того, и захватнической политики Рима. Устанавливая определенную связь между укреплением внешнего римского могущества и возросшей страстью к роскоши среди высших слоев римского общества, Плиний пытался объяснить падение нравов своих современников разлагающим чужеземным влиянием. Это увлечение роскошью стало особенно заметным после покорения Греции, когда огромное количество богатой добычи и предметов изысканной роскоши наполнило Рим и римские победители сами подпали под влияние побежденных, как это отмечал еще Гораций в своей поэзии. Плиний проявлял по отношению к грекам явную неприязнь, считая их отцами всех пороков. Греки, говорил Плиний, из всего извлекали денежную выгоду, в науке применяли шарлатанские приемы (особенно в медицине), а главное, привили римлянам изнеженность и распущенность (XXIX, 1 (8), 27). Плиний вполне разделял взгляды Катона Старшего: его ненависть к грекам, а также мнение, что с талантами греков вполне достаточно «познакомиться, но не тщателью их изучать» (XXIX, 1 (8), 28).

Ряд фактов, взятых из самой жизни, а также наблюдений над нравами, давал Плинию основание для его морализирующих рассуждений по поводу безумной роскоши своих современников, их ненасытной страсти к накоплению богатств и праздной жизни, полной развлечений.

Не видя образцов, достойных подражания, в современном ему обществе, Плиний постоянно обращался к отдаленному прошлому Рима, чтобы

показать, как лучшие представители республиканского Рима способствовали процветанию и славе римского государства. Мы находим у Плиния ряд лестных характеристик Помпея, Цезаря, Цицерона, Катона Старшего и других. Катон Старший с его консервативными взглядами вообще был для Плиния одним из наиболее уважаемых представителей римской республики, благодаря не только его советам по сельскому хозяйству, но и деятельности в качестве строгого цензора нравов. Так Плиний подкреплял свое основное положение, «что, без сомнения, на всем земном шаре из всех народов римский варод превосходит всех своей доблестью» (VII, 40 (41), 130).

6. «ЕСТЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ» ПЛИНИЯ

Из писем Плиния Младшего, адресованных историку Тациту (VI, 16) и консулу при Траяне Бебию Макру (III, 5), можно установить, какие работы были написаны нашим Плинием и какие вопросы его интересовали. К сожалению, из всех трудов Плиния до нас дошли лишь 37 книг его «Естественной Истории», а о содержании остальных его произведений можно судить лишь предположительно.

Первой работой Плиния после его возвращения из Германии была «Книга о метании дротика с лошади», созданная, вероятно, на основании собственных наблюдений автора и его личного опыта. Несколькo позже в бытность Плиния в Риме им была написана работа биографического характера, а именно «Жизнь Помпония Секунда в двух книгах», в память любимого командира и друга Помпония Секунда, недавно умершего. В 57 г. Плиний взялся за разработку исторической тематики и занялся историей войн с германцами, в результате чего были подготовлены 20 книг «Германских войн», написанных на основании материалов, собранных Плинием во время пребывания его в различных местах Германии. Здесь рассказывалось о военных операциях римлян против народов, живших по Рейну и Дунаю, и это произведение, как можно предполагать, представляло значительный интерес для своего времени, так как знаменитый историк Тацит упоминает его в числе источников, которыми он пользовался для своих «Анналов» и «Германии».

В правление Нерона, в годы ужасного террора, когда, по выражению Тацита, «бездействие было мудростью» («Агрикола», 6), а, по свидетельству Плиния Младшего, «рабская угодливость сделала опасной всякое чуть-чуть свободное и смелое исследование» (III, 5, 5) — заниматься научными и литературными исследованиями надо было чрезвычайно осмотрительно. Плиний оставил работу над историей и выбрал для себя менее опасную область. В 67 г. он написал 8 книг «Сомнительных слов», труд чисто филологического характера. Это было сочинение, касающееся вопросов фонетики и морфологии латинского языка, широко использованное впоследствии римскими грамматиками.

К этому же времени относится и такое не дошедшее до нас произведение Плиния, как «Изучающий красноречие» (в трех книгах), вероятно какое-то наставление занимающимся искусством риторики. Проблемами преподавания и воспитания молодежи были заняты крупнейшие ученые того времени, и не исключена возможность, что Квинтилиан, называющий Плиния «ученым мужем» («О воспитании оратора», II, 3, 143) воспользовался его трудом при создании знаменитого сочинения *Institutio oratoria*.

В 69 г., после вступления на престол Веспасиана, а позже в правление его сына Тита, Плиний при покровительстве обоих императоров вновь

приступил к работе над историческими источниками, в результате чего появилась 31 книга *A fine Aufidii Bassi*. Он продолжил историю, начиная с того момента, на котором остановился Авфидий Басс, и в своей книге охватывал конец правления Клавдия, затем все правление Нерона и далее период до конца гражданской войны. Утрата этого труда, на который неоднократно ссылался Тацит в своих «Анналах» (XIII, 20; XV, 53) и в «Истории» (III, 29) является весьма значительной, как для римской истории, так и для более четкой характеристики политических взглядов самого Плиния. Будучи очевидцем большинства описываемых им событий, Плиний в этой работе, несомненно, должен был более открыто выявить свои политические взгляды и симпатии и со свойственным ему талантом дать яркую и живую картину своего времени.

К последнему периоду жизни Плиния относится и создание им в 77 г. единственного дошедшего до нас капитального труда — 37 книг «Естественной Истории».

«Естественная История» Плиния представляет собой античную энциклопедию всех существовавших тогда в Риме знаний по космографии, географии, медицине, ботанике, минералогии и другим естественным наукам.

Первоначально «Естественная История» состояла из 36 книг, но впоследствии книга XVIII была разделена на две книги, и таким образом до нас дошло уже 37 книг «Естественной Истории» Плиния.

Она начинается с посвященного Плинием любимому императору Титу «Предисловия», составленного в льстивых выражениях, обычных для того времени при обращении к императорам. Плиний перечисляет все заслуги нового императора, восхваляет его храбрость, доброту и приветливость по отношению к старым товарищам, что дает основание думать, что Тит и Плиний были вместе на военной службе.

«Естественная История» была задумана Плинием как попытка не только показать состояние античной науки, но и увязать ее практически с различными отраслями современной Плинию экономики: с горным делом, торговлей, сельским хозяйством и т. д. Плиний сам указывал, что его труд является новым для римской культуры и предназначается для сельских хозяев и ремесленников. В основу классификации таких наук, как ботаника, зоология и т. п., Плиний кладет принцип полезности тех или иных растений или животных для жизни человека. Самый факт появления таких работ, как «Естественная История» Плиния или «Естественнонаучные вопросы» Сенеки, говорит о том, что естественные науки стали приобретать немаловажное значение в императорскую эпоху, а в связи с этим повысился интерес как к теоретической, так и к практической разработке отдельных вопросов естествознания.

После «Предисловия» в книге I дается указатель содержания и перечень источников, использованных Плинием для создания его труда.

Работоспособность Плиния вызывает глубокое удивление; уделяя много времени государственной службе, Плиний отдавал весь свой досуг научным занятиям. Он сам говорит в «Предисловии» к «Естественной Истории», что он уделял своим научным трудам часть ночи вместо сна (Предисловие, 18). Плиний Младший рассказывает (III, 5), что его дядя непрестанно занимался, писал или диктовал даже во время еды, во время отдыха, в бане, в путешествиях. В результате такой интенсивной работы Плиний ко времени своего пребывания в Испании имел 160 тетрадей выписок по различным вопросам, более чем из 2 тысяч книг различных авторов; Марций Лицин, легат в Испании, предлагал Плинию 400 тысяч сестерциев за одни только эти наброски. Весь собранный материал был систематизирован по определенным отраслям науки. Так, книги II—VI вклю-

чают сведения по астрономии, этнографии и географии, VII — рассказы о человеке, VIII—IX — о животных, X — о птицах, XI — о насекомых, XII—XXII — о кустарниках, деревьях, цветах, травах и целебных свойствах их, XXIII—XXVII — о медицине; XXVIII—XXXII — о лечебных средствах, извлекаемых из тел животных, XXXIII—XXXVII — о минералогии, а также о благородных металлах. Там же дается краткий очерк истории искусств (упоминается о выдающихся художниках и скульпторах), рассказывается о применении красок для живописи и о самой технике создания предметов искусства.

Недостатком работы Плиния является то, что собрав большой материал, он не подвергал его критическому анализу. Плиний сам открыто заявлял, что он брал у отдельных авторов почти дословно целые страницы. Такой метод работы был принят в древности и не вызывал упреков со стороны современников; однако по этой причине выяснить точку зрения самого Плиния по тому или иному поводу представляется часто не только затруднительным, но и невозможным, настолько противоречивы мнения отдельных авторов, приводимые Плинием. Научная ценность работы Плиния снижается часто и тем, что наряду с подлинно научными достижениями своего времени Плиний излагает множество курьезов и небылиц, в которые он сам наивно верит.

Не входя в рассмотрение содержания перечисленных выше 37-ми книг «Естественной Истории», можно сказать лишь одно, что для целого ряда исследователей, занимающихся самими разнообразными отраслями естественных наук, эта работа представляет собой богатейший источник материалов, сохранивших свое значение до наших дней. Кроме того, этот интереснейший памятник литературы знакомит нас с описываемой Плинием эпохой, позволяя представить множество чисто бытовых деталей, рисующих интересы, вкусы и занятия главным образом высших слоев римского общества эпохи империи. Ярко и откровенно выявляет Плиний жажду приобретения, стремление к роскоши и отсутствие общественных интересов, столь характерное для его времени.

Общий тон безумной расточительности задавали сами императоры и близкие к ним люди. Плиний иронически рассказывал о том, как «отец отечества» Нерон пил из драгоценной чаши, купленной им за 30 талантов или как жена Нерона Поппея сделала для своих любимых мулов золотую упряжь (XXXII, 11 (49), 140). Огромные деньги тратились на женские украшения и Плиний передает, как на одном из званых обедов жена императора Калигулы Лоллия Паулина была украшена изумительными бриллиантами и изумрудами, награбленными в свое время ее дедом Лоллием в восточных провинциях. Стоимость этих украшений выражалась в солидной сумме около 40 миллионов сестерциев и Плиний с возмущением говорит, что триумфы знаменитых римских героев Курция или Фабриция стоили значительно меньше, чем украшения одной тщеславной бабенки (IX, 35 (58), 118).

От императоров не отставали их приближенные. Жилища знатных римлян, роскошно украшенные, наполнялись толпами рабов, имена которых часто не были известны самому хозяину. Серебро и черепаха служили для отделки мебели, кубки, украшенные драгоценными камнями и прекрасной резьбой, стали обычным явлением в домах богатых людей. Желая похвастаться своим богатством, многие делали из драгоценных металлов даже кухонную посуду, например, кастрюли из серебра. Плиний рассказывает, как бывший раб Клавдия, некий Друзилл, по прозвищу Ротунд, стал обладателем одного серебряного блюда, весом около 500 фунтов и восьми блюд весом по 250 фунтов, для изготовления которых он завел специальную

мастерскую (XXXIII, 11 (52), 146). Но быть обладателем выдающихся предметов роскоши и возбуждать зависть окружающих было далеко небезопасно и Плиний прямо указывает, что Веррес был проскрибирован Марком Антонием из-за своей знаменитой коринфской бронзы (XXXIV, 1 (3), 6).

Много внимания уделялось еде, пышным пирам и попойкам. Для увлечения своих прихотей богатые римляне в своих хозяйствах устраивали большие птичники, рыбные садки и т. п., на что тратились огромные средства. Для развлечения толпы эдилы устраивали пышные игры, где они стремились поразить народ различными диковинками, вроде показа гиппопотамов или крокодилов, как это впервые произошло при эдиле М. Скавре (VIII, 26 (40), 96).

Большое место в «Естественной Истории» занимают вопросы искусства. Пять книг Плиния знакомят нас с историей античной живописи и скульптуры, Плиний подчеркивает реалистический характер этих видов искусства, наглядным примером чего служит создание знаменитого римского скульптурного портрета. Но постепенно художники отходят от верности природе и начинается вырождение искусства (XXXV, 2 (12), 6), которое Плиний связывает с общим падением нравов. Художники и скульпторы стремятся не увековечить память о замечательных людях и применить свои таланты для пропаганды величия Рима, а преследуют лишь материальную выгоду, создавая предметы роскоши для богатых людей.

Интересны упоминания Плиния о том, как живопись использовалась представителями отдельных римских фамилий в целях пропаганды, чтобы привлечь к себе внимание народа. Так, Валерий Мессала выставил в здании заседаний сената картину, посвященную его победе над Гиероном и карфагенянами в Сицилии, а Сципион выставил в Капитолии картину, прославляющую его победу в Азии. Такого рода агитационные приемы часто вызывали неудовольствие со стороны отдельных заинтересованных лиц и целых группировок; Плиний рассказывает, что поведение Сципиона не понравилось его брату Сципиону Африканскому, так как в этой битве сын последний попал в плен (XXXV, 4 (7), 22). Луций Гостилий Манцин, первым вошедший в Карфаген после его взятия, поместил в общественном месте картину, изображавшую план города, и давал разъяснения собравшейся толпе. Несмотря на то, что это вызвало обиду победителя карфагенян Сципиона Эмилиана, изобретательный Л. Гостилий благодаря такой своеобразной агитации получил поддержку народа и консульство на ближайших выборах (XXXV, 4 (7), 23).

Искусство живописи расценивалось в Риме высоко и ею занимались представители аристократических родов — такие, как Фабий, получивший прозвище «пиктора» (художника), позт Пакувий и многие другие. Что же касается скульптуры, то к ней римляне относились значительно равнодушнее; Плиний говорит, что множество дел и забот, отсутствие свободного времени не позволяли римлянам уделять много внимания этому виду искусства (XXXVI, 5 (8), 27). Римлян больше привлекала монументальность произведений, внешняя форма, роскошное оформление. Иногда это стремление к внешней роскоши приводило даже к порче предметов искусства. Плиний рассказывает, что Нерон велел позолотить статую Александра, сделанную знаменитым скульптором Лисиппом, и статуя много потеряла от безкусной позолоты (XXXIV, 8 (6), 63).

Наряду с вопросами искусства, Плиний касался самых разнообразных явлений культурно-бытовой жизни римлян. Широко используя данные языка, Плиний на основании языкового материала делал ряд интересных выводов, касающихся социальной и экономической жизни общества.

Так, например, слово *pecunia* («деньги») он производил от слова *pecus* («скот») или слово *locuples* («богатый») — от выражения *plenus loci, agri* («богатый землею»), что сразу создавало представление о различных социальных группировках раннего римского общества (XVIII, 3 (3), 11). Интересны исследования Плиния о происхождении отдельных слов у греков, например, слова «металл» или его наблюдения над появлением в свет первых римских прозвищ (*cognomina*), взятых из практики сельского хозяйства. Таково происхождение, например, Цицеронов — от *cicer* («горох»), Пизонов — от *pinso* («растирать, молоть»), Лентулов — от *lens* («чечевица»), Фабиев — от *fabia* («боб») и т. п. (XVIII, 3 (3), 10).

Часто Плиний для обоснования своих рассуждений прибегал к археологическому методу. Это мы видим в его рассказах о появлении золотых, серебряных и медных монет или при рассмотрении истории употребления колец, сначала железных, а затем золотых, а также в ряде других случаев (XXXIII, 2 (4), 8—13).

Но наряду с тонким анализом, объясняющим те или иные факты, касающиеся различных явлений культурно-бытового и социального характера, мы встречаем у Плиния рассказы и совершенно иного порядка. В «Естественной Истории» помещено множество примеров, говорящих о полном отсутствии какого-бы то ни было критического отношения к передаче всевозможных явно фантастических историй, ни в коей мере не соответствующих тому уровню науки, с состоянием которой Плиний так обстоятельно ознакомил своих читателей.

Когда Плиний рассказывает о похожих на людей сатирах, бегающих на четырех лапах (VII, 2 (2), 24), то это можно понять, как описание обезьян. Но, когда он передает небылицы о живущих в Эфиопии людях без языка и без носа или о том, что в Индии живут люди с собачьими головами, а также, что существуют люди с одной ногой, на которой они скачут с поразительной быстротой, а в жаркий день, ложась на спину, отдыхают под тенью, падающей от этой ноги (VII, 2 (2), 23), — то можно только удивляться такому легковерию культурного и образованного ученого.

Мелкие и интересные наблюдения над жизнью животных и рассказы об их нравах переплетаются с наивными рассказами; Плиний пишет, например, о том, что пантеры страшно боятся гиен и не нападут на человека, одетого в шкуру гиены. Мало того, если повесить рядом шкуры гиены и пантеры, то шкура пантеры от страха сейчас же упадет вниз (XXVIII, 6 (27), 93). В таком же духе Плиний приводит примеры ума, необыкновенной скромности и даже религиозности (!) отдельных пород животных, главным образом слонов. Подобного рода занимательные истории придают научному труду Плиния характер сборника различных басен и анекдотов.

Переходя к анализу «Естественной Истории», как литературного произведения, необходимо помнить, что она не является памятником художественной литературы в современном смысле этого слова. Тем не менее характерные черты, свойственные всей литературе того времени, отразились и на ней. Почти в каждой книге, особенно в ее начале, Плиний широко применяет риторические приемы, столь распространенные в современной ему литературе. Таковы, например, рассуждения о судьбе человека, дожившегося на белый свет: призванный судьбою властвовать над всеми, человек тем не менее рождается совершенно беспомощным, способным только плакать и более беззащитным, чем любое другое существо, и рассуждения о том, что лишь человеку свойственны сильные страсти и

пороки: честолюбие, скупость, стремление к роскоши (VII, (1), 1, 5). В другом месте встречаются риторические высказывания о том, что человек не довольствуется непосредственными дарами природы (XIX, 4 (19), 55—56), а потому стремится проникнуть в ее тайны, срывая горы, исследуя недра земли, погружаясь в глубины моря (XXXVI, 1, 2). Типичными образцами риторической декламации являются похвалы воде и источникам с их целительными свойствами (XXXI, 1 (1), 1—4), высказывания Плиния о вреде золота, его рассуждения о роли железа в жизни человека, когда, с одной стороны, используемое для мирных целей, — оно является благом, а с другой, — применяемое для насилий и убийств, — величайшим злом (XXXIV, 14 (39), 138—155). Такую же риторичность мы видим в порицании роскоши, распушенности нравов и т. п.

Стиль Плиния отличается большой неровностью. В отдельных местах, как было уже упомянуто, он риторически красноречив и порой достигает даже высокой поэтичности, а в других случаях — сух, краток и невыразителен. Являясь типичным представителем «серебряной латыни», Плиний применяет множество метафор, антитез и искусственную расстановку слов. Нарочитая архаизация языка и манерность в изложении иногда приводит к неточности в словоупотреблении. Но вместе с тем Плиний, несомненно, обогатил литературный язык введением новых слов и выражений, а его блестящие сентенции, прочно вошедшие в литературный обиход, по праву утвердили за ним репутацию одного из лучших писателей-ученых своего времени.

Свой труд Плиний писал, как он говорил об этом сам, не для собственного удовлетворения, а ради славы римского народа и для пользы всего человечества (Предисловие, 16). Точка зрения Плиния на задачи литературы была характерной для многих римских писателей того времени, и иной подход к литературной и научной деятельности вызывал у Плиния явное осуждение.

Касаясь в «Естественной Истории» различных вопросов морали, религии и этики, подобно большинству образованных римлян того времени Плиний больше всего склонялся к учению стоиков. На его мировоззрение наложили отпечаток и другие философские системы, но следы стоической философии выявились наиболее ярко особенно в размышлениях Плиния о бренности человеческой жизни, о смерти как величайшем благе для человека, о несовершенстве человеческой природы, о превратностях судьбы и т. д. (VII, 55 (56), 188—190; VII, (1), 1—5).

Ранее существующие представления о богах Плиний категорически отвергал, считая, что нельзя приписывать верховному божеству людские слабости и пороки. Вечным божеством является небо, охватывающее всю вселенную, и всевидящее солнце — источник жизни. Восторженным гимном звучит поэтическое обращение Плиния к матери-земле, подательнице жизни, созданной для людей, производящей все для их блага и облегчающей их страдания (II, 63 (63), 154—157). Высшее божество у Плиния отождествляется с природой, поэтому законы природы — это божественные законы, по которым должен жить человек, не подчиняясь своим страстям, часто влекущим его к гибели. Человек может быть богом, когда его деятельность направлена на благо других; таким образом он создает для себя вечную славу. Как пример таких людей-богов Плиний приводит императоров Веспасиана и Тита, противопоставляя их правителям, подобным Сулле, Тиберию или Нерону, созданных, по мнению Плиния, на погибель человеческому роду (VII, 8 (6), 45—46).

В книгах, затрагивающих вопросы искусства, Плиний высказывает и свою точку зрения на задачи искусства, о чем говорилось выше. Основ-

ная цель искусства, также как и любой деятельности — способствовать возвеличению римского государства. Высказываний о литературе у Плиния очень немного. С большой похвалой Плиний отзывается о Гомере, которого он считает источником вдохновения для всех поэтов (II, 5 (4), 13; XVII, 5 (3), 37), а из римских писателей он больше всего восхищается Цицероном, главным образом как политическим деятелем, и часто упоминает о Вергилии. Но из всей поэзии Вергилия Плиний чаще всего ссылается на его поэмы, касающиеся сельской жизни; вообще в вопросах сельского хозяйства Вергилий был для Плиния очень большим авторитетом. Поскольку Плиний нигде не упоминает об упадке римской литературы, а в то же время неоднократно говорит об измельчании искусства, можно предположить, что вопросами литературы он или вовсе не интересовался, или, во всяком случае, не уделял ей такого внимания, как изобразительному искусству.

В Плинии сочетался государственный деятель, ученый и литератор. Как ученый Плиний не был крупной величиной. Не обладая подобно Аристотелю всеобъемлющим умом, чтобы установить какие-либо общие законы развития науки, не будучи также крупным специалистом-эмпириком в какой-либо отдельной области, Плиний часто не мог и не умел отделить подлинно научные достижения от огромного количества сомнительных, а подчас просто недостоверных фактов, которые он передавал читателю. В Плинии соединялся просвещенный ум одного из образованнейших людей своего времени с суевериями обыкновенного обывателя. С одной стороны, он смеялся над Нероном, питавшим необыкновенное пристрастие к магии и прибегавшим к магическим заклинаниям и формулам (XXX, 1 (5), 14—15), а с другой — сам верил во всевозможные приметы и предсказания, например в появление планет, предвещающих несчастье, вещие сны и т. д. Так, его племянник Плиний Младший рассказывал, что наш Плиний начал писать свои «Германские войны» под влиянием вешего сна, когда он увидел умершего Друза Нерона — полководца, прославленного в походах против германцев и призывавшего Плиния почтить его память описанием германских походов (III, 5, 4).

Не одобряя применения магии, Плиний, однако, говоря о медицине, вполне допускал возможность излечивать болезни с помощью магических формул (XXVIII, 2 (5), 29). В числе советов для сельского хозяина Плиний рекомендовал также пользоваться магическими приемами: например, для улучшения урожая проса он советовал обнести вокруг поля жабу, а затем зарыть ее посредине в глиняной посуде (XVIII (45), 158).

Как человек, Плиний, по-видимому, пользовался симпатиями своих современников. Из его «Естественной Истории» можно заметить, что о себе и своих трудах Плиний всегда говорил с большой скромностью, отзываясь о других обычно весьма благожелательно. Высоко ценя в людях такие качества, как великодушие, доброту и щедрость, Плиний с презрением и негодованием осуждал жестокость и низость.

Если Плиний сейчас и не представляет для нас большой ценности как естествоиспытатель, то тем не менее его труд является важным источником для изучения латинского языка времен империи, а широкая образованность Плиния дает нам возможность познакомиться, часто в весьма занимательной форме, с состоянием современной ему науки и искусства,

7. КОЛУМЕЛЛА

Луций Юний Модерат Колумелла (L. Iunius Moderatus Columella) родился в Испании в городе Гадесе. Годы жизни и деятельности его точно не установлены, но, по-видимому, они совпадают со временем правления Тиберия и Нерона, так как из сочинений Колумеллы видно, что он был современником философа Сенеки, о котором он отзывался как о человеке исключительного таланта и учености («О сельском хозяйстве»—*De re rustica*, III, 3, 3).

Биографические сведения, дошедшие до нас, довольно скудны: установлено лишь, что он был военным трибуном в шестом легионе, называвшемся «железным», но где и как он проводил годы своей военной службы, неизвестно. Хотя из свидетельства самого Колумеллы видно, что он был в Сирии и Киликии (*De re rustica*, II, 10, 18), но был ли он там как путешественник или отбывал военную службу вместе со своим легионом, не установлено.

Происходя из состоятельной провинциальной семьи, Колумелла большую часть жизни провел в Риме, где получил хорошее образование, как это было принято у молодых людей из богатых и знатных фамилий. Там он познакомился не только с философией, литературой и ораторским искусством, что было необходимым для всякого образованного римлянина, но и с достижениями в области естественных наук и сельского хозяйства и впоследствии широко применил на практике полученные теоретические знания.

Блестящую практическую подготовку для ведения сельского хозяйства Колумелла прошел у себя на родине в Испании, в имении своего дяди Марка Колумеллы, который был известен, как один из самых ученых и образцовых сельских хозяев в Испании.

Приобретенный еще в юности опыт Колумелла позднее применил в собственных владениях-поместьях, расположенных недалеко от Рима. Хотя у него было несколько имений — одно около Ардеи, другое возле Цере и в других местах, но по всей вероятности это не были крупные хозяйства; сам Колумелла называет, например, свое Церетанское имение «клочком земли» (*agellus*). Никаких указаний на то, что Колумелла был крупным землевладельцем, нигде не встречается.

От Колумеллы до нас дошел его труд «О сельском хозяйстве» в 12-ти книгах и I книга из его работы «О деревьях». Последняя была, по-видимому, частью не дошедшей до нас целиком работы, состоявшей из четырех книг, посвященных также вопросам сельского хозяйства, что впоследствии дало основание Кассиодору говорить о 16 книгах Колумеллы «О сельском хозяйстве». Время написания этих работ точно неизвестно, но по разным данным их относят к 64—65 гг. н. э.

В дошедших до нас 12-ти книгах подробно говорится о необходимости самым тщательным образом заниматься вопросами сельского хозяйства, рассказывается о полях и посевах, о культуре виноградарства, о разведении домашнего крупного и мелкого рогатого скота, о пчеловодстве и других доходных статьях сельского хозяйства, а также очень много и подробно об обязанностях сельских хозяев, главным образом о рациональном использовании рабочей силы, т. е. о наиболее эффективном применении рабского труда. Книга X — о садах — в отличие от всех остальных написана не прозой, а стихами (гекзаметром), где Колумелла, по его словам (*De re rustica*, X, Пред. 3), продолжает дело великого поэта Вергилия, который, говоря в своих «Георгиках» о сельском хозяйстве, умолчал о садоводстве.

Подобно своим предшественникам Катону и Варрону, интересовавшимся проблемами сельского хозяйства, Колумелла дает ряд практических советов, начиная с того, где и как следует приобретать имение и какие культуры разводить на той или иной почве, кончая новыми и весьма важными соображениями о необходимости отдавать часть свободной земли арендаторам-колонам. Вопрос о колонате во время Колумеллы приобрел уже чрезвычайно важное значение.

Интересно сопоставить взгляды Колумеллы и Катона на использование труда рабов и отношение к ним: Колумелла жил уже в те времена, когда восстания рабов и ожесточенная классовая борьба показали рабовладельцам, что раб может быть не только «говорящим орудием», но и грозной общественной силой. А вследствие того, что приток рабов сильно уменьшился с прекращением больших завоевательных войн Рима, в экономике рабовладельческого общества все острее стал ощущаться недостаток в рабочих руках, особенно в сельском хозяйстве. Раб как рабочая единица стал приобретать большую ценность и хорошие хозяева ясно видели всю непригодность старых методов эксплуатации. Понимая, что применение грубого насилия не может в новой исторической обстановке дать плодотворных результатов, Колумелла проводит мысль о том, что прежде всего следует внушать рабам чувство расположения к хозяевам, и тогда рабы по мере своих сил будут способствовать увеличению благосостояния господ. Поэтому следует более гуманно обращаться с большими рабами и лечить их, чтобы они могли поправиться, а не поступать так, как предлагал в свое время Катон — урезать паек у больных рабов или просто продавать их за ненадобностью. Но вместе с тем, по мнению Колумеллы, необходимо помнить, что рабы по природе ленивы, не берегут хозяйского добра и охотно вредят своим господам (*De re rustica*, I, 7, 6—7). Самых нерадивых и злобно настроенных по отношению к хозяевам рабов надо держать в колодках и зорко следить за их поведением. Учитывая способность рабов, их склонности к тому или иному виду труда и даже их внешность и природные физические данные, можно добиться наиболее рационального использования рабского труда. Так, Колумелла рекомендует в пастухи выделять людей свирепого вида, но кроткого нрава, в пахари выбирать народ повыше, а для виноградарства использовать более ловких и мускулистых (*De re rustica*, I, 9).

Таким образом, здесь мы встречаемся уже с тщательно продуманной системой наилучшей эксплуатации рабов, с системой, направленной на то, чтобы найти выход из создавшегося тупика в сельском хозяйстве, явившегося результатом противоречий античного рабовладельческого общества.

Блестящий практик и теоретик в области сельского хозяйства, Колумелла не излагал в своей работе ни философских, ни политических взглядов; он не был замечан ни в какие политические группировки и нигде не высказывал критики существующих порядков, но на основании всей его деятельности можно было сделать вывод, что Колумелла явно не одобрял политики социальной верхушки римского общества, защищавшей образование огромных латифундий, обрабатываемых колоссальным количеством рабов. Он отражал взгляды той части рабовладельцев, которые стремились путем улучшения методов обработки земли добиться наибольшей выгоды на своих средних участках.

Написав чрезвычайно актуальный для своего времени прозаический труд, посвященный сельскому хозяйству, Колумелла отдал дань своим поэтическим склонностям, написав под воздействием уговоров своего соседа по имени Публия Сильвина книгу X своей работы в стихах. Подра-

жая великому римскому поэту Вергилию в тематике, Колумелла стремилась подражать ему и по форме, но, несмотря на несомненный поэтический талант, он далеко уступал своему образцу. Сохраняя классический стиль, Колумелла писал легким и приятным слогом, выгодно отличавшимся от напыщенного и манерного стиля его современников. Язык Колумеллы чист и хорош как в прозе, так и в поэзии, хотя ему и не чужды и риторические приемы, столь распространенные в его время.

Работа Колумеллы рассматривалась в древности не с точки зрения ее литературных достоинств, а расценивалась как труд специального характера; ею интересовались главным образом в связи с актуальными в то время проблемами улучшения сельского хозяйства.

Для современного читателя трактат Колумеллы, написанный во времена Нерона, в первый век римской империи, дает исключительно ценный и интересный материал для изучения сельского хозяйства Италии, применяемой в нем техники, а также для понимания аграрных отношений того времени.



Глава IX

КВИНТИЛИАН

1. Биография Квинтилиана.— 2. Сочинения Квинтилиана.— 3. Политические взгляды Квинтилиана.— 4. Взгляды Квинтилиана на ораторское искусство и на деятельность оратора.— 5. Лексикографические и литературные взгляды Квинтилиана.— 6. Декламации, приписываемые Квинтилиану.

1. БИОГРАФИЯ КВИНТИЛИАНА

По сведениям, сообщаемым поздними авторами (поэтом Авзонием и Иеронимом) родиной Марка Фабия Квинтилиана (M. Fabius Quintilianus) был город Калагурис в Испании; однако в достоверности этого факта иногда высказывались сомнения, так как Марциал, перечисляя своих соотечественников, прославившихся на литературном поприще («Эпиграммы», I, 61), Квинтилиана не упоминает, а называет только двух Сенек (отца и сына), Лукана и малоизвестных Кания, Дециана и Лициниана. Жизнь и деятельность Квинтилиана связана не с его родиной, а с Римом, где уже его отец выступал в качестве учителя риторики (см. Сенека Старший, Контрверсии 10, введ. 2) и где сам Квинтилиан получил образование. Год рождения Квинтилиана точно не известен; предполагают, что он родился в 30-х годах I в. н. э. По окончании образования Квинтилиан, по-видимому, некоторое время жил в Испании, но в 68 г. н. э., по свидетельству Иеронима, с войсками Гальбы вернулся в Рим и остался там до конца своей жизни. Риторическая школа, которую он вскоре открыл в Риме получала субсидию из казны, отличаясь этим от обычных частных школ; очевидно, в это время государство уже было заинтересовано в упорядочении образовательной системы.

После двадцати лет педагогического труда Квинтилиан удалился на покой, но вскоре должен был опять вернуться к преподаванию, однако уже иного характера: император Домициан приказал Квинтилиану взять на себя обучение его внучатных племянников (внуков его сестры), которым он намеревался передать власть. О дальнейшей судьбе Квинтилиана ничего неизвестно; на основании писем Плиния Младшего (VI, 6, 3 и II, 14, 10) предполагают, что он умер в конце I в. (вероятно, в 96 г.). Плиний Младший и, может быть, Тацит были учениками Квинтилиана. Однако свой основной труд «О воспитании оратора» он посвятил не им, а некоему Викторию Марцеллу, сына которого, Гету, он обучал с детства. Судя по введениям к I и VI книгам сочинения Квинтилиана, этот Викторий Марцелл был его близким другом, так как Квинтилиан пишет ему о своих личных чувствах и о бедствиях, постигших его в семейной жизни; а именно: уже немолодым он женился на юной девушке, которая вскоре умерла, не дожив до девятнадцати лет, а вслед за ней умерли в детском возрасте двое сыновей Квинтилиана, на одного из которых он возлагал большие надежды (VI, 1).

2. СОЧИНЕНИЯ КВИНТИЛИАНА

До нас дошло только одно сочинение, достоверно принадлежащее Квинтилиану, — «О воспитании оратора» (*Institutionis oratoriae libri duodecim*), представляющее собой самый полный курс риторики. Сам Квинтилиан упоминает еще об одном своем произведении под названием «О причинах упадка красноречия» (*De causis corruptae eloquentiae*, см. *Inst. or.* VIII, 6, 76), а также о двух сочинениях, не отредактированных им самим и изданных без его согласия его учениками, по записям, сделанным на его уроках (введение к кн. I, 7—8); Квинтилиан выражает свое недовольство тем, что эти несовершенные сочинения ходили под его именем. Относительно сочинения «О причинах упадка красноречия» высказывалась гипотеза, что оно и есть тот «Диалог об ораторах» который включен в произведения Тацита; однако эту гипотезу не только никоим образом нельзя считать доказанной, но трудно даже признать правдоподобной; как стиль, так и чисто историческое освещение вопроса, более глубокое, чем обычное для Квинтилиана, указывают именно на Тацита.

Квинтилиану прежде приписывались также две книги «Декламаций», но в настоящее время его авторство отрицается (о них см. ниже).

В своем главном сочинении Квинтилиан упоминает о нескольких своих речах (VII, 2, 24; IV, 1, 19 и IX, 2, 73), из которых одну он опубликовал сам; издание других, сделанное по стенографическим записям в суде, он резко осуждает.

Произведение Квинтилиана «О воспитании оратора» охватывает в основном следующие вопросы:

1. Первоначальное обучение ребенка (кн. I).
2. Риторика как наука и ее виды (кн. II—III).
3. Полный курс риторики в собственном смысле слова (кн. IV—IX); в него входят: учение о подборе и распределении материала, о составлении доказательств и подыскивании примеров, о выводах, о логических основах речи (эпимемах и силлогизмах), о внешних формах речи, ее украшениях (тропах и фигурах).
4. Литературное образование, необходимое оратору (кн. X); в этой книге Квинтилиан дает очень ценный очерк истории греческой и латинской литературы.
5. Внешнее поведение оратора, манеры и приемы, подобающие оратору при выступлениях (кн. XI).
6. Моральный и общественный образ оратора. Круг необходимых ему знаний (кн. XII).

Этот огромный материал изложен Квинтилианом весьма систематично и упорядоченно; повторения встречаются редко. Манера изложения ясная, местами несколько суховатая, но прекрасный латинский язык и стройность композиции делают чтение книги Квинтилиана, если не увлекательным, то во всяком случае интересным.

3. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ КВИНТИЛИАНА

Говорить о политических воззрениях писателей эпохи империи — задача крайне сложная. Та открытая ожесточенная политическая борьба, которая характерна для двух последних веков республики, стала невозможной уже при Августе, а тем более при его преемниках, а выражение преклонения перед императорами стало обязательным, особенно для тех лиц, которые занимали мало-мальски выдающееся положение. Тем не

менее при императорах из дома Юлиев оппозиция со стороны консервативной сенатско-республиканской группировки была еще довольно значительной; она находила как свое прямое выражение в заговорах в среде нобилитета, так и косвенное — в произведениях литературных; но время шло, подрастало новое поколение, которое теоретически еще могло преклоняться перед «заветами предков» и республиканским строем, но уже не имело ни возможности, ни желания бороться за него, потому что оно в сущности уже не знало, что именно представлял собой этот строй. Этому поколению выпало на долю жить и действовать уже при Флавиях, значительно упорядочивших всю систему государственного управления, расшатавшуюся после смерти Тиберия, и требовавших от подданных аккуратной службы и уплаты налогов, повиновения и лести. Именно в это время жил Квинтилиан, и черты этого времени отразились в таком, казалось бы, далеком от реальной жизни, произведении, как курс обучения красноречью.

Как воспитатель наследников Домициана, Квинтилиан, конечно, не мог не упоминать об этом императоре, который сам не только интересовался литературой, но и пробовал свои силы в поэтическом творчестве; похвалы его по адресу Домициана сильно преувеличены; он называет его «святейшим цензором нравов», «властителем, выдающимся в красноречии, как и во всем другом», и даже обращается к нему, как к богу, который может оказать его труду покровительство «не только как самый близкий, но и как самый благосклонный к наукам» (введение к кн. IV, 3 и 5). Поэтические опыты Домициана он осыпает похвалами (X, 1, 91—92); кто может, по его словам, «лучше воспеть походы, чем тот, кто так ведет их?»; Квинтилиан предоставляет «грядущим векам сказать то же самое, но более углубленно, так как в его время эту славу затмевает блеск доблестей Домициана». Грядущие века действительно высказали свое суждение — из поэмы Домициана не сохранилось ни одного стиха.

Об императорах из дома Юлиев: Нероне, Клавдии, Тиберии — Квинтилиан упоминает только мимоходом: в правление Флавиев едва ли было удобно отзываться одобрительно об их предшественниках, оставивших по себе в Риме недобрую славу. О самом Августе он говорит тоже крайне сухо и сдержанно: он только приводит несколько его остроумных ответов (в разделе о пользовании иронией — VI, 3) и упоминает о его раннем ораторском выступлении в двенадцатилетнем возрасте на похоронах его бабушки, сестры Юлии Цезаря. О самом Юлии Цезаре как об ораторе он отзывался с одобрением, не раз хвалит «мощь» его речи (*vis*) и говорит: «если бы он посвятил себя судебной деятельности, то никто другой, кроме него, не мог бы сравниться с Цицероном» (X, 1, 114). О политической роли Цезаря он не говорит вовсе: однако сама постановка вопроса, отрывающая красноречие Цезаря от его политической деятельности, показывает, насколько чужда и непонятна Квинтилиану вся политическая атмосфера последнего века республики, когда красноречия ради красноречия еще по существу не было вообще. Впрочем, некоторое свое сочувствие антицезарианской оппозиции Квинтилиан все же высказывает; упоминая об инвективе Катутлла против Цезаря (Катутлл, 93), он говорит, что со стороны Катутлла такое выступление было, конечно, безумием (*insania*), но если бы Цезарь осмелился выразиться так же о Катутлле, то это было бы недопустимым высокомерием (*arrogantia*).

Более ясно выявляются политические симпатии Квинтилиана в его суждениях о деятелях более отдаленных веков, хотя он старается говорить о них только как об ораторах и избегает характеризовать их с чисто политической стороны. В общем, он примыкает, как и Сенека-отец, к сенат-

ской консервативной группировке; но в то время как в «Контroversиях» Сенеки еще отражены образы и мнения живых оппозиционеров (Лабиена, Кассия Севера и др.), для Квинтилиана сенатские деятели, противники диктатуры, являются уже только именами и абстракциями.

В качестве такого абстрактного идеала гражданской добродетели Квинтилиан не раз превозносит обоих Катонов. Знаменитым изречением Катона Старшего, определившим оратора, как «*vir bonus dicendi peritus*» Квинтилиан начинает двенадцатую книгу своего сочинения, подводившую итоги всем его взглядам на ораторское искусство и деятельность оратора, а восхвалением многосторонней деятельности и образованности того же Катона Старшего Квинтилиан заканчивает свой труд. Не менее восторженно он говорит и о Катоне Младшем, которого «если не назвать мудрым, то неизвестно, кому же еще можно дать это имя?» (XII, 7, 4). В связи с этим неудивительно, что его отзывы о Клодии резко отрицательны и что, говоря о процессе Милона, он считает наилучшим приемом для защиты Милона тот довод, что убийство Клодия было совершено «ради пользы государства» (*ut id pro re publica fuerit* — VII, 1, 35). Имена же Гракхов и прочих деятелей партии популяров употреблены Квинтилианом как нарицательные обозначения вредных для государства лиц: опровергая мнения тех, кто считает, что ораторское искусство часто приносит вред, Квинтилиан говорит: «На таком основании ни полководцы, ни магистраты, ни лечебное искусство, ни даже сама мудрость не могут быть признаны полезными: ведь полководцем был и Фламиний, государственные должности занимали и Гракхи, и Сатурнины, и Главции, и для лечения применяются яды, и есть философы, во зло употребляющие это имя» (II, 16, 5). Законы Гракхов он называет «враждебными», «ненавистными» (*invisae* — III, 7, 21).

Однако, когда дело идет об ораторском искусстве как таковом, Квинтилиан вслед за Цицероном хвалит Гая Гракха как выдающегося оратора для его времени (I, 10, 27); и когда он предостерегает своих учеников от излишнего увлечения красноречием тех времен, он ставит на одну доску нелюбимых им Гракхов и любимого Катона, указывая, что от чтения «Гракхов, Катона и других ораторов того же рода ученики как бы черствеют и становятся сухими и чересчур трезвыми» (II, 5, 21).

Идеалом, перед которым Квинтилиан преклоняется безоговорочно, является Цицерон. Свою любовь к нему он выражает не только в бесчисленных похвалах его речам и в постоянных ссылках на те или иные его удачные приемы, но и в безусловном одобрении его деятельности: «я вижу, что у него не было недостатка в стремлении быть наилучшим гражданином (*civis optimus*); свидетельством этого является благороднейшим образом проведенное консульство, безупречное управление провинцией, отказ от участия в «совете двадцати», и душа, которую ни надежда, ни страх не смогли отклонить от того, чтобы примкнуть к лучшему направлению, то есть к республиканскому (*optimis partibus id est rei publicae*); некоторым он кажется недостаточно храбрым; он на это прекрасно ответил сам, сказав, что он робеет перед ожидающейся, но не перед наличной опасностью, — что он и доказал своей смертью, которую встретил в высшей степени стойко» (XII, 1, 16—17).

С такой же симпатией отзываясь Квинтилиан о яром стороннике сената, еще более далеком от его времени — об ораторе Лицинии Крассе, которого высоко оценил Цицерон¹. Упомянув о столкновении Красса с демократически настроенным консулом Марцием Филиппом, он называет резкий ответ Красса консулу «голосом независимости, заслуживаю-

¹ См. «Историю римской литературы», т. I. М., Изд-во АН СССР, 1959, гл. XV.

шей величайшего уважения» (*vox honestissimae libertatis* — XI, 1, 37)².

Из этих разрозненных мимолетных высказываний видно то общее направление, которого придерживался Квинтилиан. Однако политические вопросы вообще не затрагивают его глубоко. Его интересы сосредоточиваются на ораторском искусстве и рассуждениях о достоинстве оратора.

4. ВЗГЛЯДЫ КВИНТИЛИАНА НА ОРАТОРСКОЕ ИСКУССТВО И НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРАТОРА

Оценка, которую Квинтилиан дает искусству речи, чрезвычайно высока; он по существу ставит знак равенства между владением речью и искусством речи. Речь является для него главным преимуществом человека над другими живыми существами. «Клянусь, что бог, родитель всех вещей и организатор вселенной, ничем более не выделил человека среди всех прочих смертных существ, чем способностью речи. Ведь мы видим, что эти немые существа превосходят нас величиной тела, силами, крепостью, выносливостью и быстротой... Большинство их защищено от холода благодаря устройству их тела, они владеют природным оружием и пища для них готова, человеку же все это дается большим трудом. Разум же он [бог] дал именно нам и пожелал, чтобы мы именно этим стали сотоварищами (*socii*) бессмертных богов. Но и сам разум не помогал бы нам так сильно и не проявлялся бы в нас так ясно, если бы мы не могли выразить в речи того, что восприняли разумом... Много ли помогает людям, лишенным языка, их небесная душа? Поэтому, если мы ничего лучшего не получили от богов, чем дар речи, что же более заслуживает забот и трудов, чем иным мы можем выделяться среди других людей, как именно тем, чем сами люди отличаются от прочих живых существ?» (II, 16, 12—18).

«Если у каждого животного есть особое выдающееся достоинство (*virtus*), которым оно превосходит всех других или большинство их, — как напр., мощь (*impetus*) у льва, быстрота ног у коня — и если человек несомненно отличается от всех животных разумом и речью (*oratione*), то почему же нам не считать красноречие таким же его достоинством, как и разум?» (II, 20, 9).

Однако Квинтилиан сам замечает, что дар речи вообще и искусное пользование этим даром — не одно и то же, и приходит к тому вопросу, который интересовал теоретиков искусства всех веков — о соотношении природной одаренности (*ingenium*) и выучки (*ars, doctrina*). Квинтилиан чрезвычайно метко формулирует это соотношение: «Совершенный оратор должен обладать и тем, и другим... Но я думаю, что если дело идет о достижении среднего качества, то природная одаренность важнее, совершенство же достигается больше выучкой, чем дается от природы; так с совершенно неплодородной почвой даже самый лучший пахарь ничего не сделает; на плодородной, правда, и без всякой обработки вырастет кое-что полезное, но на ней же хороший земледелец достигнет гораздо большего, чем дает сама земля. Если бы даже Пракситель пытался сделать что-нибудь из булыжника, то я предпочел бы этому простой кусок паросского мрамора; но если бы этот же художник обработал мрамор, то ценно было бы дело его рук, а не сам мрамор. Следовательно, природа является материалом для искусства (*doctrinae*); оно обрабатывает, она обрабатывается.

² Об этом столкновении подробно рассказывает Цицерон в трактате «Об ораторе» (III, 1—2, 1—8). Оскорбленный небрежным обращением с ним консула, Красс заявил, что он не станет считать консулом того, кто его не уважает как сенатора.

Искусство без материала ничто, материал без искусства — нечто; но совершенное искусство ценнее, чем наилучший материал» (II, 19, 2—3).

Это положение Квинтилиан последовательно применяет к искусству речи: «Кто может сомневаться в том, — говорит он, — что люди очень рано получили от самой природы дар речи? усиленно пользоваться ею и развивать ее побудила их насущная выгода (*utilitas*), а довести до совершенства — размышление и упражнение... Итак, начатки речи дала природа, начатки искусства дало наблюдение» (III, 2, 1—3).

Самые некультурные народы, как говорит Квинтилиан, не только пользуются речью для практических потребностей, но ценят искусство речи как таковое. По этому вопросу он вступает в полемику даже со своим излюбленным авторитетом — Цицероном.

«Цицерон приписывает овладение начатками красноречия основателям городов и законодателям, которые, конечно, должны были обладать умением говорить; однако, почему он это считает первым зарождением красноречия, я не понимаю; ведь и до нашего времени существуют кочевники, не имеющие ни городов, ни законов; но и у них есть члены их племен, которые участвуют в посольствах, которые обвиняют или защищают; следовательно, и они считают, что некоторые люди говорят лучше других» (III, 2, 4).

Ряд глав во II книге своего сочинения Квинтилиан посвящает защите искусства речи от тех нападков, которым оно нередко подвергается: оно-де учит защищать и спасать преступников, губить порядочных людей, вводить в обман и т. п. Все эти возражения Квинтилиан отвергает на том основании, что эти примеры говорят не о пользовании искусством речи, а о злоупотреблении им; но в мире нет вещи, которой нельзя было бы не употребить во зло: «Не будем принимать пищи, — иронизирует Квинтилиан, — она ведь часто бывает причиной болезней; не будем входить под крыши домов, — бывает, что они рушатся; пусть никто не кует меча для воина, — им может воспользоваться разбойник. Кто же не знает, что не только огонь и вода, без которых нельзя жить, но даже солнце и луна — эти величайшие светила — могут иногда причинять вред?» (II, 16, 6). Основным же возражением Квинтилиана против нападков на искусство речи является то, что, по его мнению, совершенным оратором может быть только хороший человек; поэтому свое определение риторики он формулирует следующим образом: «Риторика — наука о том, как говорить хорошее (*bene dicendi scientia*). Это определение охватывает разом все качества речи и в первую очередь моральный облик оратора (*mores oratoris*), ибо говорить хорошее может только хороший человек» (II, 15, 34).

Поставив перед собой такой идеальный образ ораторского искусства, Квинтилиан мимоходом подшучивает над бессодержательностью школьных декламаций: «Кроме подлинного злоупотребления искусством речи есть еще и бесполезное ее употребление³ — это пустейшее подражание искусству, в котором, собственно, нет ни хорошего, ни дурного, но это — дело никчемное, как у того человека, который наловчился издала без промаха насаживать горошины на иглу, и которому Александр, увидев это, подарил целый модий гороха, что было достойнейшей ему наградой. С ним можно сравнить тех, кто проводит свой век, усердно трудясь над декламациями, которые они стараются сделать как можно менее похожими на правду» (II, 20, 3—4).

От подлинного оратора Квинтилиан требует и моральных качеств — честности и храбрости — и широкого образования, примыкая в этом к своему главному авторитету — Цицерону; оратору необходимо быть

³ Квинтилиан употребляет здесь греческий термин *κατατοχία* — «пустое дело».

хорошо знакомым с философией, которую Квинтилиан делит на три области (естественную, моральную и рациональную), с юридическими науками, с историей и литературой; последние две привлекаются в качестве источника примеров и цитат (XII, 2—4). Сам Квинтилиан, по-видимому, вполне отвечал этому требованию; он был сведущ в различных областях, прекрасно знаком с греческой и латинской литературой; он ссылается на десятки авторов, известных и неизвестных; исключительно ценными являются его очерки истории ораторского искусства (введение к кн. III; II, 15), греческой и латинской литературы (X, 1, 27); его характеристики риторических школ и стилей (XII, 10, 1—80). Изобразительные искусства тоже не остались вне пределов его изучения; он нередко и очень удачно приводит примеры из области скульптуры и живописи. Так, доказывая необходимость живого подхода к предмету, он приводит в качестве образца статью дискобола Мирона: «Следует часто, отклоняясь от установленного традиционного порядка, изменять кое-что, так же, как мы видим, что в статуях и на картинах изменяются весь облик, лицо, поза. Тело в прямом положении наименее изящно; лицо обращено к вам целиком, руки опущены, ноги сомкнуты, от головы до пят фигура скована (*rigens*). Изгиб, так сказать, движение придает ей действие и чувство. Руки не в одном и том же положении, в лице тысячи оттенков. Некоторые статуи изображают бег и порыв, одни сидят, другие лежат, одни обнажены, другие покрыты, третьи — и то, и другое. Что так изысканно изогнуто, как дискобол Мирона? Если кто осудит эту статую, как слишком непрямую, не покажет ли он свое непонимание искусства, в котором особенно привлекательна именно эта новизна и борьба с трудностями?» (II, 13, 9—10). Еще оригинальнее сравнение с картиной «Жертвоприношение Ифигении», на которой художник закрыл покрывалом голову отца Ифигении (как бы желая этим показать, что такого горя изобразить нельзя), с фразой Саллюстия: «Я считаю, что о Карфагене лучше не сказать ничего, чем сказать мало» (II, 13, 13—14). Интересно также сопоставление истории скульптуры и живописи с историей ораторского искусства (XII, 10, 1—14). «Лелиев, Сципионов и Катонов и, пожалуй, даже Гракхов ты можешь уподобить Полигнотам и Каллонам». С Лисиппом же и Праксителем Квинтилиан сравнивает плеяду ораторов эпохи Цицерона.

Исходя из этого исторически верного взгляда на соответствие каждой формы искусства своему времени, Квинтилиан решительно выступает против культивирования мертвенного аттицизма, который, зародившись еще при Цицероне, продолжал, по-видимому, отстаивать свои позиции через сто лет. «Кто же это будет таким аттическим оратором?» — спрашивает он. — «Лисий? Допустим. За него особенно держатся любители этого названия... Но я хотел бы спросить, говорил ли по-аттически Исократ? Ведь нет никого менее сходного с Лисием. Они, конечно, ответят отрицательно. Но ведь именно из его школы вышли первоклассные ораторы» (XII, 10, 21). «А как обстоит дело с Периклом? Неужели мы можем думать, что Лисиевой «грациозностью» (*gracilitas*) обладала речь того, кого комики сравнивали с молнией и небесным громом?» (XII, 10, 24). Искусство речи, по мнению Квинтилиана, многообразно, как сама жизнь; ему можно учиться, его можно развивать, но ему нельзя давать непоколебимых предписаний. Такт и чутье — основные качества, необходимые оратору: «Не одним и тем же способом он станет говорить о смертном приговоре и о распре из-за наследства... он, конечно, будет многое изменять сообразно с лицом, местом и временем; даже в одной и той же речи он будет разными приемами добиваться соглашения, по-разному возбуждать то гнев, то милосердие, применять одни приемы, чтобы поучать, другие, чтобы растро-

гать» (XII, 10, 70). «Изобилие должно иметь свои пределы, блеск — мужественную сдержанность, а изобретательность должна быть разумна. Таким образом, речь станет длинной, но не чрезмерной; изысканной, но не вычурной; смелой, но не дерзкой; серьезной, но не унылой; глубокой, но не тяжелой; веселой, радостной, но не легкомысленной; шутливой, но не распушенной; величественной, но не многословной» (XII, 10, 80).

Кроме этих общих принципиальных соображений, Квинтилиан в ряде книг детальнейшим образом излагает всю систему изучения искусства красноречия; его труд послужил основой для длинного ряда пособий по риторике и стилистике, создававшихся в течение многих веков. Этот Квинтилиан обязан именно своей исключительной добросовестности и умению тщательно и всесторонне освещать мельчайшие детали, а не каким-либо оригинальным и глубоким мыслям, принадлежащим ему самому. В отношении порядка изложения риторики (о собирании материала, о его расположении, об украшениях и размерах речи и т. д., одним словом, о всей технике ораторского искусства) труд Квинтилиана непосредственно примыкает не только к своим основным образцам — риторическим трактатам Цицерона, но во многом совпадает с положениями, изложенными ясно и сухо уже в «Риторике к Гереннию». Некоторые разделы, например о пользовании иронией и сарказмом, почти полностью перенесены из трактата Цицерона «Об ораторе». Особенно искусным в этом отношении признается, как и у Цицерона, оратор II в. до н. э. Юлий Цезарь Страбон; новых примеров Квинтилиан почти не приводит. Очень детально разработан им раздел о фигурах, изобилующий примерами из поэтических произведений. Прекрасное знание стихотворений Горация, Вергилия, Овидия, Тибулла дало Квинтилиану возможность сделать этот, несколько формальный, раздел особенно живым и наглядным. Так, в качестве примера аллегории он приводит оду Горация о корабле («Оды», I, 14), указывая, что Гораций подразумевает «под кораблем государство, под волнами и бурями — гражданские войны, под пристанью — мир» (VIII, 6, 44); примеры олицетворения он берет из речей Цицерона и Асиния, прибавляя, что многие поэты и философы произвольно создают фантастические образы, «как, напр., Вергилий — Молву, Продик (по словам Ксенофонта) — Соблазн и Доблесть, Энний — Смерть и Жизнь, спор между которыми он изобразил в своей сатире» (IX, 2, 36). Порой он дает меткие характеристики того или другого приема, например, говоря об использовании изречений, которые мы обычно называем сентенциями, он так формулирует их цель: «Они как бы ударяют по сердцу, сразу сильно возбуждают, но своей краткости быстро запоминаются, а благодаря получаемому от них удовольствию действуют убеждающе» (XII, 10, 48).

Переходя к некоторым частичным замечаниям Квинтилиана, нельзя не отметить его остроумных, хотя и беззлобных насмешек над его собственным идеалом — Цицероном; так, он вводит ряд параграфов (XI 2, 16—28), посвященных вопросу о нежелательности хвастовства (*iactatio*) причем упрекает именно Цицерона за похвальбу в речах, а в особенности за знаменитые стихи из поэмы о консульстве: «О счастливый Рим! Ты вторым моей консульской властью!»⁴ (*O fortunatam natam me consule Romam!*). Впрочем, и Демосфен, по его мнению, не свободен от этого недостатка.

Умея сам излагать свои мысли в высшей степени ясно и систематично, Квинтилиан требует этого от всякого оратора: «У некоторых мы встречаем множество пустых слов; эти ораторы, боясь говорить слишком обыденным

⁴ Перевод Ф. А. Петровского.

языком и увлеченные мнимым блеском, многословно обходит то, чего не хотят сказать прямо; ...то соединяя, то смешивая одну группу понятий (series) с другой, сходной с ней, они растягивают речь больше, чем это можно вытерпеть... Это — порок не новый; я читал уже у Тита Ливия, что был один учитель, приказывавший своим ученикам затемнять все, о чем они будут говорить... Оттого и пошла эта, якобы высшая, похвала: „Тем лучше; даже я сам ничего не понял“» (VIII, 2, 18).

Гораздо подробнее, чем у Цицерона, разработан в «Воспитании оратора» раздел о внешнем поведении оратора перед слушателями; уметь держать себя Квинтилиан считает очень важным и посвящает этой теме всю III главу XI книги, содержащую 184 параграфа. Вся эта глава изобилует интереснейшими бытовыми подробностями, которые иногда кажутся нам даже несколько смешными.

Подробнейшим образом изложена вся теория постановки голоса и регулирования дыхания; указано даже, в каких частях своего выступления оратор должен говорить четко, в каких скороговоркой, где он должен повышать голос, где понижать; однако Квинтилиан предостерегает оратора от излишней избалованности и изнеженности, говоря: «Значит, если нам придется выступать под лучами солнца или в ветреный и сырой или в жаркий день, то мы покинем наших подзащитных на произвол судьбы?» (XI, 3, 27). По-видимому, такие детальные советы ораторам были не только у Квинтилиана, но и в других распространенных риторических пособиях, так как Квинтилианронически прибавляет: «Я думаю, однако, что никто, находящийся в здравом уме, не станет выступать объевшись, с переполненным желудком, в пьяном виде, или когда его тошнит, — от чего некоторые предостерегают» (там же).

Еще подробнее излагает Квинтилиан теорию ораторского жеста и в особенности законы изменения выражения лица: «ведь именно благодаря ему мы становимся умоляющими, грозными, ласковыми, грустными, радостными, гордыми, покорными; с выражения нашего лица не спускают глаз слушатели, на него они смотрят; именно лицом мы выражаем любовь и ненависть, понимание, — лицо часто говорит вместо слов (XI, 3, 72). Однако эти общие, совершенно верные замечания становятся несколько смешными, когда Квинтилиан начинает точно устанавливать, можно ли и насколько можно поднять брови, раздуть ноздри, закусить губы и нахмурить лоб. С такими же подробностями он излагает все правила движений туловища, каждой руки и ноги в отдельности, и даже каждого пальца. Некоторые правила для нас непонятны, например: «Поворачиваться правым боком [к слушателям] и выносить вперед правую ногу и правую же руку — некрасиво (deforme est); но «ударять себя кулаком по бедру и даже по лбу» — допустимо; однако от слишком частого повторения таких жестов Квинтилиан все же предостерегает; можно, но также с умеренностью ломать руки и ударять себя в грудь, или, сложив три пальца в щепоть, прикасаться к груди, «как бы беседуя с собою или что-то обдумывая», но предварительно надо откинуть край тоги. Так же тщательно обсуждает Квинтилиан вид одежды, форму складок, ширину пояса и т. п.; например, туника должна быть подпоясана так, «чтобы нижним краем своей оторочки она доходила чуть ниже колен, а верхний приходился на половине коленной чашки; спускать ее ниже могут только женщины, а подтягивать выше — только центурионы» (XI, 3, 138).

Таким образом, Квинтилиан сделал, по-видимому, все, от него зависящее, чтобы поставить перед учеником возможно более полный образ оратора, совершенного и с внутренней, и с внешней стороны.

5. ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ И ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВЗГЛЯДЫ КВИНТИЛИАНА

Прекрасное знание двух языков и непрерывная вдумчивая работа в течение многих лет дали Квинтилиану возможность сделать целый ряд наблюдений, полезных для филологов. Сама сравнительная характеристика, которую он дает греческому и латинскому языку, не лишена интереса. Он отмечает большую твердость и сухость латинского языка, ввиду отсутствия некоторых гласных (греческого *υ*) и согласной, соответствующей греческому *φ*, которого, по его словам, не передают ни *ph*, ни *f*. Благозвучие гласных окончаний греческих слов он противопоставляет частому окончанию латинских слов на «мычащее» *m*, и слогов на резкие согласные *b*, *d*. «Греческая речь настолько приятнее латинской, что наши поэты, когда хотят сделать свои стихи нежными, украшают их греческими словами, тем более, что у нас для многих предметов нет названий, так что их приходится переводить или описывать» (XII, 10, 34). Однако латинский язык имеет и свои достоинства, и Квинтилиан дает оратору такой совет: «чем меньше нам помогает сама речь, тем более надо сражаться с помощью содержания» (*rerum inventione* — XII, 10, 36).

«Мы не можем быть столь изящны; будем же более мощны; в утонченности нас побеждают, будем же сильны в весомости... Талант греков плавает по мелким водам; мы плаваем под более широкими парусами, наша грудь наполнена более мощным духом» (XII, 10, 37).

Практическое доказательство этой общей характеристики латинского языка Квинтилиан дает в нескольких главах VIII книги (2—4), говоря о многозначности слов, о переносе, расширении и сужении значения, о синонимах и архаизмах и иллюстрируя все это примерами из латинской литературы. Он затрагивает ту же тему и в I книге в связи с вопросами первоначального обучения. Не менее интересны его замечания по фонетике, орфографии и грамматике, которые встречаются и в его учении о фигурах речи (VIII, 3) и в курсе первоначального обучения грамоте (I, 3—9). Эти разделы заслуживают детальнейшего разбора историков грамматики и педагогики. Для истории литературы они имеют меньшее значение.

Величайшей точности и сжатости достигает Квинтилиан в той части главы 1 книги X, которая посвящена истории римской литературы; в 50 параграфах (85—131) ему удалось дать очерк с настолько меткими характеристиками, что, несмотря на краткость, в них всегда схвачены наиболее типичные черты. Примером этого могут служить его слова об Овидии: «В «Героидах» Овидий несколько раслущен, и слишком любит своим талантом, но все же заслуживает местами большой похвалы»; или: «Из лириков, пожалуй, заслуживает упоминания один только Гораций; он местами достигает большого подъема, он полон прелести, изящества, в высшей степени счастлив и смел в выборе разнообразных слов и фигур» (§ 96). Однако этого любимого им поэта, из стихотворений которого он охотно берет литературные примеры, в области сатиры Квинтилиан все же ставит ниже Луцилия, обладающего «изумительной образованностью, свободомыслием, и вытекающими отсюда остротой и изобилием соли» (§ 94). Совершенно правильно подчеркивает Квинтилиан, что создание жанра сатиры — исключительная заслуга римлян (*tota nostra est*); напротив, к комедии римлян он относится значительно суровее и превозносит язык греческой комедии, «очарования (*venus*) которого даже и греки в других родах литературы не достигли» (§ 100). С наибольшей гордостью Квинтилиан говорит о самом близком его сердцу ораторском искусстве. «Цицерона я решусь противопоставить любому греческому оратору»

(§ 105). «Мне кажется, что он, полностью желая подражать грекам, достиг мощи Демосфена, богатства Платона, прелести Исократы; однако он не только возродил все то лучшее, что есть в каждом из них; но прекраснейшее изобилие его бессмертного таланта породило само из себя многие, лучше сказать, все его совершенства» (§ 108—109).

Труд Квинтилиана был оценен по достоинству как его современниками, так и последующими поколениями. Исключая время между VIII и XV вв., когда он был почти забыт, Квинтилиан считался основоположником теории ораторского искусства. Однако большие размеры его труда нередко заставляли прибегать к экскерпированию и сокращению. О Квинтилиане существует довольно обширная литература (в области стилистики и педагогики), тем не менее нельзя сказать, чтобы все обилие сведений, заключающееся в его сочинении, было использовано полностью.

6. ДЕКЛАМАЦИИ, ПРИПИСЫВАЕМЫЕ КВИНТИЛИАНУ

Несмотря на то, что Квинтилиан относился с проиной к школьным декламациям, его имя кем-то было поставлено на двух сборниках учебного характера, дающих нам представление о том, как претворялись в жизнь те общие принципы, которые были установлены теоретиками искусства речи. Вопрос о принадлежности этих сборников самому Квинтилиану был предметом многих дискуссий, так как во всех дошедших до нас рукописях, из которых несколько были найдены раньше, чем сочинение самого Квинтилиана, стояло его имя; однако и тематика, и характер декламаций очень близки к «контroversиям и свазориям» Сенеки-отца и отнюдь не соответствуют тем более высоким задачам, которые ставит перед красноречием Квинтилиан. Поэтому вопрос о принадлежности обоих сборников ему в настоящее время решается отрицательно; но это ни в какой мере не снижает интереса, которого заслуживают эти сборники: именно в них мы находим ту повседневную школьную «учебу», которую, по всей вероятности, был обязан проходить любой ученик рядовой риторической школы; мы получаем полное представление о технических приемах обучения красноречию на его начальных стадиях.

Оба сборника принято датировать концом I или началом II в. н. э., т. е. временем, очень близким к тому, когда жил и действовал сам Квинтилиан.

Первый сборник состоит из девятнадцати декламаций: в начале каждой декламации излагается «казус», потом приводится полностью речь обвинителя или обвиняемого, заключающая в себе обычно от 20 до 30 глав; в речах обильно использованы все ходячие риторические приемы — воображаемые диалоги, риторические вопросы и т. п.; построение речей по большей части строго следует традиционной схеме: введение, повествование, опровержение доводов противника, а в заключении — обращение к судьям.

Второй сборник полностью не сохранился: он состоял из 388 образцов, но до нас дошло 145, начиная с 244-го; построение каждого «казуса» несколько иное, чем в первом сборнике; различия заключаются в следующем: во многих случаях прежде всего приводится формула какого-либо закона: однако удалось установить, что в числе этих законов немало таких, которые принадлежали к более древним временам и в императорском Риме уже не действовали; замечено также смешение двух типов законодательства — греческого и римского — и, наконец, некоторые законы даже признаны фиктивными; однако вся дальнейшая аргументация в декламациях основывается на приведенном выше законе как на имеющем действительную силу.

После закона излагается содержание «казуса», а далее в ряде случаев идет краткий план основных пунктов, которые оратор должен особо выделить в своей речи, а кое-где даются и некоторые объяснения и советы для удачного построения речи: эта часть стоит под заголовком *seкто*. В одних случаях *seкто* состоит из двух-трех «наводящих» вопросов, в других она развернута в маленький трактат: так в № 338 даются правила построения пролога и эпилога, в № 337 — конкретные указания по построению речи бедняка-обвинителя, который хочет кончить жизнь самоубийством; в № 359 перечислены все вопросы, которые оратор должен разрешить; в № 363 и 364 вводится техническое слово *color*, означающее, очевидно, особо убедительное доказательство, которое требует от оратора подъема и пафоса и должно подействовать на слушателей не только логически, но и эмоционально.

Наконец, далее идет сама декламация, данная во втором сборнике иногда в форме сжатого конспекта, иногда даже в нескольких словах.

Тематика декламаций чрезвычайно разнообразна: прежде всего обращает на себя внимание почти полное отсутствие декламаций на мифологические и исторические темы: в первом сборнике их нет, во втором — только четыре (№ 222 — о конфликте между Олифом и Афинами, № 322 — об Александре Македонском, № 339 — о Демосфене и № 386 — об Ифискрате).

Большинство декламаций разрабатывает следующие темы: тирannoубийство, покушения и заговоры (II сб., № 274, 282, 288, 293, 329, 345 и др.); темы военно-патриотические — присуждение наград за воинские подвиги и наказание трусов, перебежчиков, предателей и дезертиров (№ 255, 287, 294, 315, 334, 348, 366 и др.); жалкая судьба изгнанных (№ 254, 285, 295, 305 и др.); много декламаций посвящено гражданскому и уголовному праву: дележ наследства (№ 308, 312, 374), лишение наследства и опротестование его (№ 322, 330, 358, 378 и др.); убийство соблазителя или неверной жены (№ 273, 277, 284, 291, 310 и др.), случаи отравления (№ 307, 319, 380 и др.). Все подобные темы повторяются в бесконечно разнообразных вариантах.

Многие «казусы» могли бы служить темой либо трагического романа (сб. II, № 259), повести о загадочных преступлениях (сб. I, № 1 и 2) или веселой комедии (сб. II, № 244, 356 — о выкупе гетер от сводника). Отразились в декламациях и суеверия эпохи — вера в предсказания, в вещи сны, в магию и знахарство (сб. I, № 4, 8, 14, 15).

Во всех этих многообразнейших конфликтах обращают на себя внимание две черты: во-первых, во многих воображаемых судебных процессах главную роль (часто роль обвинителя) играет женщина: иногда это замужняя пожилая матрона, оскорбленная мужем или сыном и подающая жалобу на «дурное обращение» (*mala tractatio*) (сб. I, № 10, 19), иногда соблазненная или похищенная девушка, требующая либо брака с виновным, либо крупного денежного возмещения за обиду, либо даже смертной казни похитителя (сб. II, № 276, 301, 309, 370, 383). В некоторых декламациях ставятся вопросы скорее психологические, чем юридические (папр., в № 286 и 291: жена изменяет нелюбимому мужу со своим первым женихом; насильно разведенная женщина изменяет второму мужу с любимым ею первым мужем). Имеются даже примеры верной, романтической любви (№ 357, 373 — жена отказывается покинуть ослепшего мужа, хотя он много раз изменял ей; вторая жена выкупает мужа из плена, отдав драгоценности, лежавшие в гробнице первой жены; пасынок обвиняет ее в ограблении гробницы, но спасенный ею муж называет ее «лучшей из женщин»). Очень ярко выступает в обоих сборниках на первый

план извечный конфликт между богатством и бедностью: постоянными антагонистами являются в декламациях богач и бедняк (*dives — pauper*); иногда они истинные враги, иногда, напротив, друзья, враждебные отношения между которыми возникают вследствие какого-то случайного столкновения. В большинстве случаев вина на стороне богача — он коварен, жесток, заманивает бедняка в ловушку, потом не признает себя виновным (сб. I, № 7 п 13; сб. II, № 294, 305 и др.); иногда, правда, и бедняк пытается провести богача (напр. № 332 — взаимное завещание всего имущества двух друзей — богача и бедняка; богач умирает первым и бедняк по суду требует себе все наследство).

Крайне интересным — единственным в обоих сборниках — примером контroversии являются 11-ая декламация I сборника и 337-я II сборника. Ввиду своей политической окраски они заслуживают особого внимания. «Казус» изложен в этих двух случаях по-разному, но по существу один и тот же.

Сб. I, № 11. Бедняк и богач — враги. Начинается война. Богач — полководец — уезжает на войну. Распространяется слух о его измене государству. Бедняк выступает в собрании и обвиняет богача в предательстве; толпа в отсутствие богача побивает камнями его детей. Богач возвращается с войны победителем и требует подвергнуть пытке детей бедняка; отец предлагает себя вместо них; богач возражает. По закону предатель карается смертью, а избалованный клеветник должен потерпеть то же самое, что потерпел оклеветанный.

Сб. II, № 337. Бедняк и богач — враги; у обоих есть семья, жена и дети. Богач, назначенный полководцем, два раза терпит поражение; бедняк, обладающий красноречием, утверждает, что богач — предатель. Толпа нападает на дом богача, поджигает его и убивает его жену и детей. Богач в третьем сражении одерживает победу и покоряет врагов. Его солдаты поджигают дом бедняка и убивают его семью. Бедняк хочет покопчить самоубийством, обосновав свое решение перед сенатом. Богач возражает. (Самоубийцу, не давнего заранее объяснения своего решения, было запрещено погребать.) В I сборнике дана речь обвинителя-богача, требующего казни детей бедняка, во втором — речь бедняка, потерявшего и дом, и семью и к тому же обвиняемого в клевете; его речь превращается в резкое обвинение богача:

«Ты говоришь: „Я претерпел то же, что и ты“. Я понимаю все: я, по-видимому, потерпел по заслугам — и это тоже одна из причин, почему я должен умереть, раз я настолько виновен, настолько заблуждался, что сам убил моих сыновей. Признаюсь еще в одном страшном бедствии, постигшем меня: солдаты подожгли мой дом, а народ не встал на мою защиту. Ты скажешь — „то же самое случилось со мной“. А я могу ответить только вот что: если ты переносишь это так храбро, я преклоняюсь перед мужеством; а впрочем, ничуть не удивительно, что ты можешь более храбро переносить беду — ты же богат. О чем из потерянного тобою станешь ты сокрушаться? Правда, ты потерял дом — начнем с этого; ах, несчастный, у тебя, значит, не будет крыши над головой, тебе придется жить на людях, под открытым небом? Конечно, это кое-чем нарушило твои услады: знаем мы ваши замыслы, знаем ваши досуги — если бы дом не сгорел, то тебе бы доставило удовольствие самому его разрушить, или перестроить, или попробовать еще что-нибудь пристроить к нему. Итак, ты потерял дом; ну да, какая страшная несправедливость судьбы, — тебе придется жить в новом доме! Правда, ты потерял жену: но едва ли ты так уж сильно тоскуешь по ней. Разве вы, богачи, уважаете брак? Уважаете? Иные наслаждения влекут вас к себе, иные занятия... Поэтому-то и ваших детей вы не так уж сильно любите; многое тебя развлекает, много у тебя способов утешиться: легко тебе снова найти жену, легко родить других детей; и все эти новые наслаждения не дадут тебе долго горевать.

Но все это перенес и я, бедняк. Однако, если я — я бедняк, говорю — я потерял дом, то это значит, я уже не имею ценза. Как же я сохранил этот дом? Он достался мне от отца. Я, бедняк, потерял детей, я, бедняк, потерял жену; я остался один, я лишился всего, а богач — мой враг... Если бы вопрос шел о том, тяжело ли мне жить, мне достаточно было бы привести лишь одно доказательство — мой враг хочет, чтобы я остался в живых; именно такой мстью он удовлетворяет свою ненависть ко мне.

Почему же я вообще осмелился выступить против него? Почему мне показалось подозрительным, что наше храбрейшее войско было побеждено? Почему я удивлялся тому, что воины, которые два раза показывали врагам спину, дважды потерпев поражение, вдруг оказались победителями? Сознаюсь, я в эту часть речи [богача?] не слишком внимательно вслушивался. Но пускай! Он — победитель, его считают человеком, имеющим заслуги перед государством, — и это тоже одна из причин, по которой я хочу умереть».

Сборники декламаций псевдо-Квинтилиана привлекали к себе внимание исследователей больше со стороны текстологии и определения их принадлежности, чем со стороны содержания, которое принято оценивать как полностью вымышленное; некоторое основание для такой оценки дали, правда, и высказывания Сенеки-отца и самого Квинтилиана. Однако едва ли она вполне справедлива; несомненно многие темы в той или иной форме подсказывала жизнь. Можно вполне согласиться с одним рано умершим немецким ученым, Дессауером, изучившим весь рукописный материал декламаций, который высказывает о них следующее мнение:

«Разрабатываемые темы, правда, подчас являются порождением нелепой фантазии, но соприкосновений с действительной жизнью в них все же немало. В декламациях отражаются значительно сильнее, чем можно предполагать, культурный уровень и этические взгляды эпохи... Суеверия и вера в чудесное, моральные понятия, экономические условия и гражданское право... иногда очень своеобразно освещаются в речах декламаторов»⁵.

⁵ D e s s a u e r. Die handschriftliche Grundlage der 19 Deklamationen. Leipzig, 1898, S. 102. — Цитаты из Квинтилиана даны в переводе М. Е. Грабарь-Пассек.

Глава X

ПЛИНИЙ МЛАДШИЙ

1. Биография Плиния Младшего.— 2. Произведения Плиния Младшего.— 3. Общественно-политические взгляды Плиния Младшего.— 4. Плиний как литератор.

1. БИОГРАФИЯ ПЛИНИЯ МЛАДШЕГО

Имя Гай Плиний Секунд (С. Plinius Secundus), под которым племянник ученого энциклопедиста Плиния вошел в историю литературы, первоначально не было его собственным именем, а перешло к нему от его знаменитого дяди по матери, который, будучи бездетным, усыновил сына сестры, носившего в то время свое родовое имя Публий Цецилий Секунд; после усыновления и перемены имени Публий на Гай племянник Плиния (Старшего) стал называться полным именем Гай Плиний Цецилий Секунд Уфентинский (последнее имя — по трибе, к которой он принадлежал). Среди друзей его, по-видимому, чаще всего называли Секунд (см., например, переписку с Траяном); в истории литературы его принято называть Плинием Младшим.

Биография Плиния известна нам достаточно подробно; правда, основным источником ее служат его собственные произведения («Письма» и «Панегирик»). Из современников Плиния его имя упоминает только Марциал в одной эпиграмме (X, 19); часть этой же эпиграммы приводит и сам Плиний в письме, где выражает свое огорчение по поводу смерти Марциала (III, 24). Дальнейшие свидетельства о Плинии относятся к более позднему (V в. н. э.) времени (Иероним, Сидоний Аполлинарий) и касаются преимущественно литературных произведений Плиния, а не фактов его жизни.

Однако биографические сведения, сообщаемые самим Плинием, подтверждаются эпиграфическими данными — счастливый случай, редко выпадающий на долю римских писателей. На родине Плиния, близ города Комо (древний Комум) уже в XV в. были найдены четыре надписи на камне (предположительно II в. н. э.), посвященные жителями этой местности Плинию и перечисляющие все те его государственные должности, о которых говорит он сам (военный трибун, квестор, претор, консул, авгур и др.) с прибавлением одной, им нигде не упомянутой («куратор русла и берегов реки Тибра и водостоков города Рима»).

Родина Плиния, Комум, некогда очень богатая римская колония в Цисальпийской Галлии, служила передовым укреплением против нашествий полудиких альпийских племен; богатство колонии было обусловлено прежде занятиями земледелием и плодоводством и железорудными разработками, принадлежавшими ей; однако во времена Плиния земле-

деле приносило уже меньше дохода, и Плиний не раз упоминает о хозяйственных неудачах и недоимках по аренде.

В своем родном городе Плиний, по происхождению аристократ и по имущественному положению, если не исключительный богач, то во всяком случае очень состоятельный землевладелец, принадлежал к верхушке общества, очень гордился этим и старался увековечить свою память пожертвованиями на общественные нужды, считая этот путь одним из вернейших к достижению того, к чему он больше всего стремился, — славы памяти в потомстве.

Год рождения Плиния (62 г. н. э.) определяется по его сообщению в письме с описанием знаменитого извержения Везувия в 79 г.; Плинию в то время шел 18-й год (*agebam enim duodevicesimum annum — VI, 20, 5*).

Плиний, по-видимому, рано потерял отца — он упоминает о нем только вскользь, говоря, что ему досталось на родине несколько материнских и отцовских поместий (VII, 1); напротив, с большой любовью и уважением он говорит о Вергинии Руфе, видном военачальнике, который был назначен его опекуном, относился к нему, как отец, и продолжал покровительствовать Плинию до своей смерти (II, 1). В юношеском возрасте Плиний был также под сильным влиянием своего ученого дяди, неутомимой научной деятельности которого он старался подражать всю жизнь, — что ему не удавалось. Характеристику Плиния Старшего и описание его гибели при извержении Везувия Плиний дал в трех своих письмах.

После смерти дяди 18-летний Плиний остался вполне самостоятельным наследником большого состояния и перед ним открылась блестящая государственная карьера. Однако интерес к литературным занятиям, возбужденный, вероятно, примером дяди, не угасал в нем никогда, и он не упускал случая расширить свое образование. В Риме он учился у ритора Никета Сацердота, приверженца азиатского направления, и уже известного в то время Квинтилиана, поклонника Цицерона и более умеренных форм красноречия. Во время своей военной службы в Сирии (в 82—83 гг.) Плиний старался познакомиться с философскими течениями своего времени и свел дружбу с философами Артемидором и Евфратом, которых он впоследствии привлек в Рим и сохранял к ним всегда дружеские чувства; дружба с Артемидором едва не повредила ему в последние годы правления Домициана, объявившего гонение против философов вообще, в особенности против пришедших греков. Однако глубоких философских знаний Плиний не приобрел и оставался всю жизнь приверженцем поверхностной морали человека «из хорошего общества». Едва ли он и имел возможность серьезно заниматься чем-бы то ни было. Даже своим литературным занятиям он предавался тоже только на досуге и они носили всегда несколько дилетантский характер. Богатый, знатный и честолюбивый, Плиний очень рано вступил на общественную арену в качестве судебного оратора в суде центумвиров: «в 19 лет, — пишет он, — я начал выступать на форуме» (V, 8, 8) и «еще совсем юным я выступал перед четырьмя коллегами центумвиров» (I, 18, 3); проходя затем всю длинную лестницу государственных должностей, он никогда не порывал с чисто судебной деятельностью, и, по-видимому, интересовался ею никак не менее, чем литературой, и во всяком случае больше, чем административными обязанностями. Еще при Домициане (убитом в 96 г.) Плиний прошел ряд младших государственных должностей (был квестором в 90 г. и народным трибуном в 91—92 гг., а в 93 был уже претором, в 94—96 — префектом военной казны). Несмотря на то, что и в письмах, и еще более в «Панегирике» Плиний крайне резко отзывался о Домициане и даже говорит, что он

был ненавистен этому «дурному владыке» (*invisus pessimo fui* — «Панегирик», 95), его умеренная сдержанная натура позволила ему все же пройти довольно безболезненно весь этот ряд должностей. По-видимому, ему даже ставилось это кем-то в вину, так как в «Панегирике» Траяну он счел нужным заверить сенат в том, что хотя он был «несколько продвинут по службе этим коварнейшим государем до того, как этот государь выступил, как ненавистник всех порядочных людей (*bonorum*), но после того, как это произошло, его продвижение приостановилось, и он, увидав, каким кратким путем добываются почести, предпочел долгий путь» («Панегирик», 95). Очевидно, он на некоторое время предпочел держаться в тени и имел к этому основания, так как гнев Домициана обрушился на многих лиц, близких Плинию.

Смерть Домициана и быстрая смена императоров (96—98 гг. — Нерва, с 98 г. — Траян) способствовала успешной карьере Плиния: он стал быстро подниматься по служебной лестнице, пользуясь неизменной благожелательностью обоих императоров; с 98 по 101 г. он был префектом эрария Сатурна, в 100 г. — консулом, в 103 г. был принят в коллегию авгуров; после 110 г. управлял несколько лет провинцией Вифинией с широкими полномочиями императорского легата. Год смерти Плиния точно не установлен, неизвестно также, умер ли он в Вифинии или по возвращении отсюда в Риме. После 113 г. о нем нет никаких сведений.

Происходя из провинциальной знати, Плиний всю свою жизнь вращается в кругах, близких к императору; при Домициане он, правда, еще не занимал выдающегося положения, и даже, скорее, был близок к оппозиции, хотя сам и держал себя достаточно пассивно, чтобы не пострадать от руки Домициана. При Траяне его положение окончательно упрочилось, а круг его знакомств и связей непрерывно рос и расширялся.

Плиний был женат три раза, причем все три жены происходили из знатных и богатых семей; имя последней его жены, Кальпурнии, которая была на много лет моложе его, нередко встречается в его письмах, также как имена ее деда, крупного землевладельца Юния Фабата и ее тетки и воспитательницы Гиспуллы. Связанный всеми своими взглядами, интересами и вкусами с этой верхушкой императорского Рима, Плиний Младший является типичнейшим представителем ее, а его произведения — одним из основных источников для изучения ее истории и быта и вернейшим ее зеркалом.

2. ПРОИЗВЕДЕНИЯ ПЛИНИЯ МЛАДШЕГО

Из литературных трудов Плиния Младшего до нас дошел сборник его писем в 10 книгах и «Панегирик императору Траяну» — речь, произнесенная Плинием в сенате при вступлении в должность консула.

Письма Плиния вполне заслуженно привлекали к себе усиленное внимание исследователей; как объем сборника, так и его литературные качества делают его важным источником истории культуры. Книги I—IX включают в себя 247 писем к разным лицам; число адресатов писем в этих книгах очень велико — всего их 98; большинство из них известно только по этим письмам. Единственная крупная фигура среди них — историк Корнелий Тацит, которому адресовано 11 писем; на втором месте (9 писем) стоят письма семейного характера: к деду третьей жены Плиния и его земляку Кальпурнию Фабату и некоему Максиму, приятелю Плиния, управляющему провинциями в Азии. Далее число писем к различным адресатам идет убывая, а к 35 лицам имеется только по одному письму.

Число писем в каждой книге колеблется от 20 до 40¹; X книга стоит особняком: она заключает в себе деловую переписку Плиния в бытность его легатом в Вифинии с императором Траяном, состоящую из 70 писем Плиния, излагающих в довольно краткой форме различные вопросы, возникающие в связи с управлением провинцией, и чрезвычайно кратких ответных писем императора (в количестве 51), разрешающих эти вопросы. В то время как при изучении книг I—IX литературно-исторический и чисто бытовой интерес преобладают, X книга, не подвергшаяся специальной литературной обработке автора, дает много ценнейших сведений для истории общественных условий и управления в восточных провинциях империи. То, что эти письма были изданы самим Плинием, сомнительно; вернее, их собрал и издал отдельной книгой кто-либо наследовавший его архив; это предположение отчасти подтверждается тем, что до нас не дошло ни одной рукописи, заключающей в себе все книги² подряд.

Напротив, книги I—IX собраны самим автором писем: в письме 1 книги I Плиний пишет своему другу Септицию: «Ты часто уговаривал меня собрать и опубликовать те письма, которые я писал несколько более тщательно (*si quas paulo maiore cura scripsissem*, I, 1; 1). Я подобрал их, не соблюдая хронологического порядка (ведь я не собирался писать историю), а как они подвернулись мне под руку». Однако это письмо, возможно, представляет собою не подлинное письмо, а литературное предисловие к первому изданию писем; утверждение Плиния, что письма помещены в том порядке, «как они подвернулись под руку», опровергается и характером, и расположением материала: письма подобраны чрезвычайно искусно; предметы, трактуемые в них, сменяют друг друга так, чтобы под видом кажущейся непринужденности все время соблюдался известный художественно оправданный порядок; в каждой книге есть несколько писем о судебных и государственных делах, несколько — о семейных, несколько — о состоянии литературы, несколько рекомендательных писем или ответов на просьбы о рекомендациях и услугах; многие из этих писем, упоминающие об исторических событиях и лицах, поддаются датировке; но почти во все книги искусно включены письма, не связанные с историческими условиями, а представляющие собой чисто художественные «безделушки» — изящные описания природных красот или шуточные записки о пирушках и литературных выступлениях. Несомненно, автор располагал материал так, чтобы разнообразие его непрерывно поддерживало интерес читателя. Полное равнодушие Плиния к хронологии, о котором он говорит, тоже не подтверждается фактами: она не соблюдена внутри отдельных книг, но сами книги следуют друг за другом в определенном хронологическом порядке; впрочем, это легко объясняется тем, что они, по-видимому, были выпущены в свет в несколько приемов³. Наиболее же ясным доказательством тщательной обработки Плинием его

¹ В I книге 24 письма, во II — 20, в III — 21, в IV — 30, в V — 21, в VI — 34, в VII — 33, в VIII — 24, в IX — 40.

² Сведения об одной такой рукописи имеются, но следы ее утеряны с XVI в.

³ Исследователями писем Плиния, наиболее известным из которых был Т. Моммзен, было затрачено немало труда, чтобы установить хронологический порядок выхода в свет отдельных книг, но к единому достоверному результату прийти не удалось: Моммзен предполагал, что все книги выходили поодиночке (кроме VIII и IX, выпущенных вместе) примерно по одной книге в год между 97 и 108 гг.; другие исследователи (Асбах и Макс Шульц) намечают различный порядок выхода книг группами (I—II или I—III, IV—VI и VII—IX) и тоже расходятся в датировке их с Моммзеном и между собой. Однако эти расхождения имеют значение только для определения чисто исторической ценности писем, как литературное же произведение письма Плиния от I до IX книги представляют собой единое целое.

подлинных писем является то, что каждое письмо посвящено всегда какой-либо одной теме, что чрезвычайно редко бывает в письмах, не предназначенных для опубликования. Так, например, довольно трудно каталогизировать по содержанию большинство писем Цицерона, так как на протяжении одного письма он нередко затрагивает две-три темы⁴; напротив, письма Плиния без всякой натяжки поддаются такого рода каталогизации, и едва ли можно сомневаться в том, что при подготовке писем к изданию, беря за основу действительно написанное им подлинное письмо, Плиний удалял из него все, что не касалось наиболее важной и интересной для письма темы, а эту тему несколько углублял и обрабатывал; последним объясняется введение им в письма сообщений о некоторых фактах, которые едва ли были известны его адресатам, возвращавшимся в тех же кругах, что и сам Плиний (например, об изгнании Домицианом философов из Рима, о казни весталки (IV, 11), о трагической судьбе Траезия Пета и его жены (III, 16) и т. п.), но могли быть неизвестны более широкому кругу читателей.

Таким образом, сборник писем Плиния представляет собой нечто среднее между подлинной перепиской с друзьями и сослуживцами, какой можно считать переписку Цицерона, и литературной фиктивной эпистолографией, образцы которой дает греческая литература первых веков нашей эры⁵.

«Панегрикс» Траяну, как и письма, а вероятно, даже больше, чем они, был обработан Плинием для опубликования; эта огромная речь состоявшая из 95 глав, едва ли могла быть произнесена в одном заседании сената; крайне многословное и тяжеловесное, это сочинение Плиния в неисчерпаемом потоке лести Траяну и похвалений Домициана все же достаточно ясно обрисовывает государственную деятельность Траяна, положение провинций и практические мероприятия для улучшения транспорта и снабжения.

Кроме выше названных дошедших до нас сочинений, Плиний опубликовал ряд своих речей, о чем он не раз упоминает в письмах; в числе их была речь по гражданскому делу о наследстве (VI, 33, 1), две торжественные речи на празднествах в родном городе Комум (I, 8, 2 и V, 5) и несколько судебных речей политического характера против проконсулов, обвинявшихся в вымогательстве. Более всего можно пожалеть об утере речи против доносчика Церта, по вине которого Домицианом был казнен драматург Гельвидий, друг Плиния; эту свою речь Плиний называет «книгой отмщения за Гельвидия»; по всей вероятности, она содержала интересные подробности о процессах при Домициане.

В письмах Плиний упоминает еще об очень многих своих речах, но неизвестно, предназначал ли он их также для опубликования.

Наконец, Плиний попытался испробовать свои силы и на поэтическом поприще, еще с ранней юности начав писать стихи; он упоминает в письмах о трагедии, которую написал в 14 лет, (VII, 4, 2), о своих переводах на латинский язык греческих эпиграмм Аррия Антонина (V, 15), а также о выходе в свет сборника гекзасиллабов (VII, 4, 8) и мелких стихотворений, написанных разными размерами (там же и VIII, 21, 4). В числе этих стихотворений были и некоторые с весьма скользким содержанием, и Плинию пришлось защищаться ссылками на легковесные стишки

⁴ Правда, даже в письмах Цицерона надо учитывать то, что многие из них тоже предназначались для прочтения не только адресатом, но и кружком близких лиц; однако широкое опубликование их не предполагалось.

⁵ См.: «Историю греческой литературы», т. III. М., Изд-во АН СССР, 1960, гл. XII.

Цицерона и других государственных мужей от упреков тех, кто считал, что подобные выходки не совместимы с его возрастом и высоким положением. Одно стихотворение, приводимое Плинием, состоящее из четырех дистихов (VII, 10), о поэтическом таланте не свидетельствует. Сам Плиний большого значения этим забавам, которым он предавался «в колеснице, в ванне и за трапезой» (IV, 14, 2), не придавал и говорил, что он занимался ими, «соблазненный легкостью»⁶ этого занятия (*facilitate corruptus* — VII, 4, 7). Однако жажда литературной славы владела им так сильно, что он решился выступить с публичным чтением своих стихов (VIII, 21) и читал их друзьям в течение двух дней; несмотря на все притворно скромные оговорки, которыми он сопровождает это сообщение, по-видимому, он все же немало гордился тем, что проявил себя и в области поэзии.

3. ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ ПЛИНИЯ МЛАДШЕГО

Судя по тому высокому общественному положению, которое занимал Плиний, и его постоянному интересу к вопросам культуры, можно было бы ожидать, что он, если не сам создаст, то во всяком случае примкнет, подобно Цицерону, к какой-либо системе философских и общественно-политических взглядов; однако этого не случилось: о какой-либо стройной системе политических и философских воззрений Плиния говорить едва ли возможно. Погруженный в множество судебных, служебных и личных дел и относившийся к каждому делу чрезвычайно внимательно и даже педантично, Плиний не имел ни природных данных, ни времени, ни подходящих условий для выработки глубокого понимания современной ему жизни с ее сложными запросами и неразрешимыми противоречиями. Поэтому его политические взгляды всецело определяются его положением в обществе, его личными взглядами и симпатиями. Подчас Плиний сам понимает, что его жизнь заключена в узкие рамки и не дает ему возможности выработать более глубокие взгляды; он даже верно определяет причину этого: «Я был скуп на письма, — пишет он своему другу Сабину, находившемуся в то время на военной службе, — частью из уважения к твоей занятости, частью потому, что сам разрывался между разными, по большей части скучными делами, которые одновременно и отвлекают душевные силы и ослабляют их. Кроме того, не было и материала для того, чтобы много писать. Положение у меня ведь не то же, что у Марка Туллия, следовать примеру которого ты меня зовешь. У него имелся богатейший талант и расцвету этого таланта способствовало и разнообразие и величие событий, тогда происходивших. В каких узких пределах заключен я, ты это сам видишь, даже когда я молчу об этом; не посылай же тебе школьных писем или, если можно так выразиться, писем-теней! (IX, 2, 2—3). Свой образ жизни Плиний не без юмора обрисовывает в другом письме в таких словах: «Удивительно, что каждый день в Риме полон или кажется полным смысла, а если взять их все вместе, то никакого смысла не получается. Спроси любого: „Что ты сегодня сделал?“ Тебе ответят: „Я присутствовал при церемонии совершеннолетия, был на сговоре или на свадьбе; один пригласил меня подписать завещание, другой — выступить в его защиту в суде, третий — подать ему совет“. Все это кажется необходимым в тот день, когда ты этим занят; но если ты подумаешь, что занимался этим изо дня в день, то все это покажется пустым, особенно

⁶ Для перевода цитат Плиния использовано издание: «Письма Плиния Младшего». М.—Л., Изд-во АН СССР, 1950.

если ты уехал из Рима; И тогда вспоминаешь: „Сколько дней я потратил на пустяки“» (I, 9, 1—3). Этот образ жизни, наполненный неотложными, но несущественными делами, изредка наводит Плиния на размышления о том, что человеческая жизнь вообще бесцельна и бессодержательна; эти размышления, однако, мимолетны и овладевают им тогда, когда он видит, что многих из спутников его молодости уже нет в живых: выступая уже в зрелом возрасте в суде центумвиров, Плиний вспоминает о своих первых выступлениях и пишет: «Я стал перебирать — кто были моими товарищами по защите в том суде, кто в этом; только я один выступал и тогда, и теперь; столько перемен принесла или человеческая бренность, или непостоянство судьбы... Посчитать годы, как будто прошло мало времени, счесть сменяющиеся события — скажешь, целый век; это должно нас научить ни в чем не отчаиваться и ни на что не полагаться, ведь мы видим столько перемен в летучем круговороте этого мира» (IV, 24, 2, 6; см. также III, 7, 10—11).

Однако значительно чаще, чем такая тема пассивного разочарования, звучит у Плиния другая мысль, более тесно связанная с его личным характером, мысль о необходимости — именно ввиду непрочности человеческой жизни и счастья — успеть добиться славы и передать свое имя потомству, для чего нужно упорно, не покладая рук, непрерывно трудиться на том или ином поприще. «Меня ничто не волнует так, — пишет он, приводя цитату из Вергилия («Георгики», III, 8), — как страстное желание увековечить себя; для человека нет ничего, более достойного... Поэтому я днем и ночью думаю о том

Способ есть ли какой у меня над землею подняться?»

(V, 8, 3)

Или: «Я считаю счастливейшим того, кто наслаждается предвкушением доброй и прочной славы и, уверенный в памяти потомков, живет будущей известностью... Людям по-моему следует поставить целью одно из двух: либо — бессмертие, либо эту, смертную, жизнь: первые должны бороться и напрягаться, вторые — пребывать в покое» (IX, 3, 2).

Плиний, по-видимому, хорошо понимал, что его друг, историк Корнелий Тацит, имел больше оснований ожидать бессмертия, чем он сам, и поэтому старался, чтобы их имена вошли в историю вместе: «Ты сам себя не хвалишь, но я ни о ком не пишу искреннее, чем о тебе. Будет ли потомкам какое дело до нас, я не знаю, но, несомненно, мы этого заслуживаем, не скажу, талантом (это было бы тщеславием), но усердием, трудолюбием, уважением к тем, кто будет после нас» (IX, 14); в другом письме Плиний прямо обращается к Тациту с просьбой рассказать в «Истории» об одном смелом выступлении в суде. «Предсказываю — и мое предсказание не обманывает меня, что твоя „История“ будет бессмертна: тем сильнее я желаю — говорю откровенно — быть включенным в нее...» (VII, 33, 1). Литературные занятия Плиний считает более надежным путем к славе, чем государственную деятельность; так как «возможность совершать подвиги находится в чужих руках» (III, 7, 14); эта мысль на первый взгляд странная, становится понятной только, если принять во внимание, что назначение на государственные посты, на которых можно было отличиться, всецело зависело от императора; успех же в занятиях литературой в основном зависел не только от таланта, но и от умения показать себя читающей публике. В этой неутомимой жажде славы Плиний даже мечтает стать историком, так как «речи и стихи пользуются малым успехом, если они не исключительно прекрасны, а история доставляет наслаждение, как бы

она ни была написана» (V, 8, 4). Однако при всем своем трудолюбии, которым Плиний часто хвалится, он, несомненно, оказался бы неспособен к тому планомерному углубленному изложению, осмыслению и истолкованию фактов, которого требуют занятия историей и которым в полной мере обладал Тацит. По-видимому, Плиний и не останавливался долго на этом намерении; это была только одна из тех приманок, которыми его дразнила мечта о славе.

Более глубоких философских мыслей о содержании и цели жизни, чем эта погоня за славой, у Плиния найти нельзя. Кое-где он мимоходом высказывает сентенции о ценности хорошего расположения духа и снисходительности к людям, о необходимости сочетать серьезность и веселость, о твердости в болезнях и огорчениях, об истинной щедрости, но все эти сентенции скорее отражают его характер — гибкий, услужливый и мягкий, чем являются последствием сознательной приверженности к какой-либо философской системе. Гораздо искреннее, чем его рассуждения о превратностях судьбы, звучат те его письма, в которых он сокрушается о болезни или смерти кого-нибудь из своих друзей; может быть, наилучшим выражением его отношения к философии служит его письмо о его друге Фундании, потерявшем единственную дочь и обезумевшем от горя: «Он ведь сам очень образованный ученый», характеризует его Плиний, «и с молодости был предан приобретению знаний и изучению высших наук, но сейчас все, что он слышал, все, что сам говорил, — все он отвергает и, отказавшись от всех других доблестей, весь предается только преклонению перед памятью дочери...» (V, 16, 8); по-видимому, опасаясь, что убитого горем Фундания кто-нибудь постарается утешать слишком рациональными философскими доводами, Плиний предупреждает их общего знакомого: «Если ты будешь писать ему об этом его, столь понятном горе, то помни, не прибегай к утешениям как бы наказующим и излишне строгим, а обратись к нему с человеческой лаской» (V, 16, 10). Именно в тех письмах, где Плиний наиболее далек от рациональных рассуждений и честолюбивых планов, он раскрывает лучшие черты своего характера.

Что касается общественных и политических взглядов Плиния, то он является — именно вследствие отсутствия оригинальных мыслей — чрезвычайно ярким представителем остатков той сенатской знати, которая уцелела после правления последних Юлиев и среди которой немало жертв пало от руки Домициана. Вращаясь в кругу этого высшего римского общества, потерявшего реальную почву для государственной деятельности и пытавшегося воспоминаниями о прошлом величии и власти, Плиний усвоил его традиционную идеологию и преклонение перед эпохой республики и господства сената; в сложных же общественных условиях современного ему римского государства он разбирался не слишком хорошо и постоянно подходил к оценке событий с точки зрения личной морали и воображаемой «древней доблести». Слово «древний» (*priscus, antiquus*) является для него высшей похвалой; характерно для Плиния, однако, то, что образы таких, по его мнению, «древних» римлян он находит среди стариков, уже ушедших на покой и проводящих закат своей жизни разумно и спокойно (см., например, письмо II, 1 — о похоронах Вергиния Руфа, III, 1 — о старом Спуринне) или среди пожилых женщин (письмо VIII, 15 — об умершей жене Макрина и III, 16 — о Фаннии, жене Гельвидия Приска). Характерно и то, что Плиний видит проявление этой древней доблести в известном оппозиционном настроении, но не по отношению к единовластию вообще, не к империи как форме правления, а только к тому или другому императору за чрезмерное самоуправство и личную жестокость; его осуждению поэтому подвергается более всего Домициан, вслед за ним Не-

рон; Плиний неоднократно и охотно упоминает о том, что при Домициане ему грозила гибель за некоторые явно оппозиционные поступки, например, помощь философу Артемидору; если даже он не преувеличивает опасности, грозившей ему, то во всяком случае он решился совершить такие поступки отнюдь не из недовольства императорской властью как таковой, а из дружбы к тем лицам, на которых обрушивался беспощадный гнев Домициана. Наиболее активно выступил Плиний в защиту семьи Гельвидиев, с которой он был связан очень близкой дружбой. Судьба этой семьи была исключительно трагична; прадед Гельвидия, друга Плиния, Цецина Пет был приговорен к казни в 37 г. н. э. Клавдием; его жена Аррия (старшая) закололась вместе с мужем; дочь их Аррия (младшая), вышла замуж за Тразею Пета, которому Нерон приказал покончить с собой; их дочь Фанния стала второй женой Гельвидия Приска, сосланном за содействие Гальбе и убитого в ссылке чрезмерно усердными сторонниками Веспасиана без его распоряжения; их сын Гельвидий, ровесник Плиния, женатый на Антее, был казнен Домицианом и оставил двух дочерей и одного сына, в судьбе которых Плиний принимал большое участие; когда обе дочери Гельвидия умерли совсем молодыми от родов, Плиний пишет: «Я поражен горем и горести моей нет меры... Теперь остался только один сын, единственная поддержка дома, так недавно опиравшегося на многих. Я тем более беспокоюсь за его жизнь и за его нравы, что он остался единственным» (IV, 21, 3—5).

Кроме личной близости к семье Гельвидиев, для Плиния были небезопасны и близкие отношения с неким Сенеционом, принадлежавшим к тому же кругу и написавшим, к негодованию Домициана, биографию Гельвидия Приска, за что он и поплатился жизнью (VII, 19, 5). На суде над Сенеционом вдова Гельвидия вела себя очень смело, была сослана вместе с матерью и возвращена в Рим уже при Нерве. Об этом, тяжелом для него, последнем периоде правления Домициана Плиний вспоминает в следующих словах: «Семеро моих друзей были либо казнены, либо высланы: казнены Сенецион, Рустик, Гельвидий, высланы Маврик, Гратилла, Аррия, Фанния; столько молний упало вокруг меня и я, словно опаленный ими, по некоторым верным признакам предчувствовал гибель, нависшую надо мной» (III, 11, 3).

Так как гибель миновала его, то немедленно после смерти Домициана по просьбе вдовы Гельвидия Антеи Плиний выступил в сенате с речью, которую он назвал «отмщением за Гельвидия» и в которой он обвинял доносчика Церта, по вине которого погиб Гельвидий (IX, 13, 11 и 24—25); однако Церт не дождал до наказания, назначенного ему; он умер от болезни.

Система доносов, которой, по сообщению Плиния, постоянно пользовался Домициан, вызвала негодование Плиния; с особенным отвращением он относится к одной из вреднейших креатур Домициана — Регулу, уцелевшему, однако, и при Нерве и при Траяне. Плиний возмущается его наглостью, хвастовством, нагребленным богатством и только после смерти Регула иронически говорит, что ему, пожалуй, даже не хватает Регула на судебных заседаниях, в которых Регул проявлял такое большое рвение. Ненависть Плиния к недостойным фаворитам проявляется и по отношению к таким же креатурам минувших времен; он негодует на то, что фавориту Клавдия Палланту сенат поставил памятник с низкопоклонной надписью, унижающей достоинство сената (VII, 29 и IX, 6). Хотя к Нерве, сменившему Домициана, Плиний относится иначе, но пережитки правления Домициана настолько противны ему, что он даже решается, правда, только один раз, рассказать анекдот, высмеивающий излишнюю мягкость Нервы: «Нерва обедал в небольшом обществе. Вейс-

тон ⁷ возлежал рядом с ним, почти на груди у него. Назвав этого человека я уже сказал все. Зашла речь про Катуллу Мессалина, который, потеряв зрение, еще ожесточил свой злобный нрав. Он ничего не уважал, не стыдился, не жалел; тем чаще Домициан пускал его на лучших людей, как дротик, несущийся слепо и без разума. Во время обеда все говорили о гнусности Мессалина... „Как вы думаете, — спросил Нерва, — что с ним было бы, если бы он остался в живых?“ „Он ужинал бы с нами“, — ответил Маврик» (IV 22, 4—6).

Однако в другом письме Плиний упоминает о Нерве с уважением, указывая, что Нерва «даже в бытность свою частным человеком, внимательно следил за проявлениями порядочности в общественной жизни (*quae recte in publico fierent* — VII 33, 9). Еще большими похвалами он осыпает Траяна, не только в «Панегирике», в котором преследовалась цель восхваления всей деятельности Траяна (что входило в обязанности новоназначенного консула), но и в письмах Плиний не раз с похвалами отзывается о серьезном отношении Траяна к государственным и судебным делам, о его простоте в быту и в обращении с людьми. Переписка Траяна с Плинием (X книга) подтверждает отзывы Плиния о Траяне как о правителе деловитом и разумном; но характерным для взглядов Плиния является все же то, что при всем своем преклонении перед древностью он никогда не высказывает мнения о недостатках единовластия как формы правления, а напротив, считает главным достоинством Траяна именно то, что он сам вникает во все дела; и именно эту сторону императорского единовластия Плиний сам старается возможно больше использовать, когда, ставши правителем Вифинии, он не только не поощряет тенденций к самоуправлению в провинции, но и свои собственные полномочия осуществляет очень робко, постоянно обращаясь к Траяну за решениями.

В письмах Плиния ясно отражено и то экономическое положение римской знати, которое уже, собственно говоря, можно считать началом конца. Плиний был крупным землевладельцем и владел поместьями в различных местностях Италии; большую часть своего времени проводя в Риме, он в то же время охотно ездил отдыхать то в одно, то в другое имение; правда, его выезды были, по-видимому, недолговременными и в своих владениях он чувствовал себя скорее гостем, чем хозяином; но даже из тех кратких зарисовок, которые он дает в письмах, видно, что вся система крупного хозяйства, использующего рабский труд, распалась, доходы от имений уже не растут, а убывают, а недостаточно четко организованная система аренды не служит выходом из создавшегося положения. Плиний несколько иронически отзывается о своих попытках навести порядок в хозяйстве, но за этой иронией слышатся огорчение и беспомощность. Видимо, искренно любя свои родные места, где находились поместья его родителей, он не хочет расставаться с ними и отказывается продать их, когда ему представляется возможность сделать это, но жалуется, что они «плохо обходятся с ним», прибавляя, «а впрочем я уже притерпелся и охладел» (II, 15). Другое письмо он начинает с шутки: «Люди уезжают к себе в имения, чтобы вернуться обогатившись, а я — чтобы обеднеть» (VIII, 2, 1); далее следует длинный рассказ, как он запродал заранее урожай винограда, но ввиду малого урожая в этом году был вынужден сделать скидку, значительно большую, чем это было принято, рассчитывая, однако, что эта уступка принесет ему в будущем некоторый барыш: «Таким образом, мне казалось, лучше всего будет оказать каждому любезность в соответствии с его заслугами в прошлом и привлечь всех на

⁷ Вейнтон был, как и Регул, известным доносителем при Домициане.

будущее к покупке урожая и к уплате денег. Дорого встал мне этот расчет или эта любезность, но это стоило сделать; по всей области хвалят этот новый вид скидки» (VIII, 2, 7—8). Однако, если в данном случае Плиний сумел как-то выйти из положения, в других случаях в его письмах звучит горечь: «я сбежал к себе в Этрурию, чтобы пожить по своей воле. Это, однако, невозможно даже в Этрурии: мне не дают покоя записки моих селян, поступающие со всех сторон и полные жалоб... Иногда я сажусь верхом на коня и разыгрываю в некоторой степени роль хозяина, так как объезжаю некоторые поля, но только ради прогулки» (IX, 15). Плиний жалуется и на то, что стало невозможно найти толкового управляющего, который нужен ему для приведения в порядок Камиллианской виллы деда его жены, Кальпурния Фабата: «Как будто, у меня много приятелей, но такого, какого тебе надо и какого требует дело, пожалуй, нет никого; ведь все они — горожане в изящных тогах; а управление сельскими поместьями требует человека твердого, сельского хозяина, которому ни труд не кажется тяжелым, ни заботы докучными, ни уединенная жизнь унылой» (VI, 30, 4). Наиболее печальную картину рисует Плиний в письме, в котором сообщает некоему Кальвизию, очевидно, хорошему хозяину («я по обыкновению советуюсь с тобой о делах домашних» — III, 19, 1) о своем желании расширить одно свое поместье, купив соседние земли, вклинившиеся в него; здесь особенно ярко видна безвыходность экономического положения: «Земля плодородна, жирна, обильна влагой, — пишет Плиний, — в имении есть поля, виноградники, леса, дающие строительный материал; доход с него небольшой, но верный. Но эта счастливая земля истощена обессиленными земледельцами (*felicitas terrae inbecillis cultoribus fatigatur*). Прежний хозяин слишком часто продавал их имущество; этим он уменьшал на время недоимки с колонов, но исчерпал их силы, а за неимением сил недоимки опять возросли... Когда-то имение стоило 5000 сестерциев⁸, но и нищета колонов (*raepugna solonogum*) и частые в это время неурожай снизили как доходность земель, так и цены на них» (III, 19, 5—7). Плиний хочет оказать помощь этим обнищавшим колонам и тем самым повысить и свои доходы, но может это сделать только одним способом — применить в большей мере рабский труд: «Этих людей надо снабдить честными рабами, пишет он, — это обойдется дороже, но я сам, да и никто в этом округе, не держит рабов в колодках» (там же). Это последнее сообщение очень важно — под «честными» рабами Плиний подразумевает таких, которых можно держать на свободе, не закованными в колодки. Из этого ясно видно, насколько усилилась угроза побегов и восстаний рабов, и можно также представить себе, насколько производительен мог быть труд людей, работавших в колодках; из того, что Плиний особо подчеркивает: «я, и никто в этом круге не держит колодников», — следует, что этот способ обращения был распространен. Личному характеру Плиния преднамеренная жестокость была чужда и это отвращение к слишком грубым проявлениям ее, которое не раз высказывает Плиний, говоря о Домициане и его приспешниках, отражается и на его взглядах на строй римского дома с его клиентами, вольноотпущенниками и рабами. Рабство как институт не вызывает у Плиния никаких размышлений; он и в этой области чужд всяких мыслей о возможности крупных реформ и ограничивается, как и всегда, лично-моральными сентенциями. Особенно ярко эта черта выступает в его высказываниях о рабах; будучи очень богатым человеком, Плиний все же нередко терпел денежные затруднения; в вышеприведенном письме он признается, что почти все его деньги

⁸ Плиний может купить его за 3000 сестерциев, т. е. почти вдвое дешевле.

вложены в имения, а часть роздана в долг; вероятно, отчасти этими затруднениями объясняется то, что он легко и охотно отпускал своих рабов на волю; по всей вероятности, однако, и стоические гуманные сентенции о равенстве людей нашли свой отголосок в сообщении Плиния о том, что он разрешает своим рабам владеть имуществом и составлять завешания, которым он «повинуется, как приказаниям», правда, с оговоркой: «лишь бы это было в пределах моего дома, так как для рабов господский дом — это своего рода государство» (VIII, 16, 2). Здесь же Плиний иронизирует над своей излишней мягкостью, но прибавляет, что отказаться от нее он бы все же не хотел (см. также V, 19). Не без юмора он приглашает свою тещу к себе в имение в надежде, что его «домочадцы, которые встречают меня беспечно и почти нерадиво, наконец подтянутся. У кротких хозяев рабы ведь отвыкают бояться» (I, 4, 3). Не раз он в самых дружественных тонах отзываясь о своих помощниках и чтецах из рабов, жалеет об их болезнях, дает деньги на их лечение. Однако страх перед угрожающей силой, скрытой в этих «домочадцах», прорывается даже у этого рабовладельца, лично скромного и милостивого. Неприятное впечатление производит его письмо о расправе рабов с неким вольноотпущенником Ларцием; сам Плиний называет его «господином гордым и жестоким, который плохо — нет, пожалуй, слишком хорошо — помнил, что отец его был рабом (III, 14, 1). Ларций умер от нанесенных ему ран, но «утешенный мыслью о мести, так как за него, еще живого, наказали так, как обычно наказывают за убитых» (по сообщению Тацита, рабов, покушавшихся на жизнь владельца, сжигали живыми). Плиний не высказывает своего мнения об этой казни, напротив, все это происшествие вызывает у него следующие горькие слова: «Видишь, скольким опасностям, скольким обидам, скольким издевательствам мы подвергаемся. Никто не может быть спокоен потому, что он снисходителен и мягок: господ убивают не по размышлению, а по злобности (*non enim iudicio domini, sed scelere perimuntur* — III, 14, 5).

Наиболее плодотворной стороной государственной деятельности Плиния можно считать его выступления в суде по делам провинций. Одним из преимуществ централизации власти в руках императора было известное упорядочение управления провинциями и решительная борьба с тем неограниченным личным произволом проконсулов, который господствовал при правлении сената, умевшего и желавшего прикрывать беззащитное хозяйничанье в провинциях членов знатных фамилий. Даже императоры, оставившие по себе в Риме наихудшую память, как Нерон и Домициан, не вызывали никакого сопротивления со стороны провинций; появление и довольно длительный успех самозванца лже-Нерона и мятеж дакских легионов при известии об убийстве Домициана, скорее свидетельствовал о том, что в провинциях во время их правления не было особых поводов к недовольству. Это внимательное отношение к отдаленным и пограничным областям, наиболее опасным с точки зрения внешней политики, было вполне естественным и разумным, и Траян, кое в чем изменив приемы внутреннего управления, продолжал политику централизации руководства провинциями, прислушивался к их жалобам и интересовался процессами, касавшимися провинциальных дел. Плиний, как опытный судебный оратор и знающий юрист, охотно примкнул к этой политической тенденции правительства и уже при Домициане выступил в защиту угнетаемых и разоряемых проконсулами провинциалов. Особенно много места занимает в его письмах защита испанской провинции Бетики (нынешней Андалузии); по-видимому, на долю этой несчастной провинции выпадали проконсулы один хуже другого, отчего, по словам Плиния, «пошла в Бе-

тике неплохая поговорка: „обменяли зло на зло“ (горе часто делает людей остроумными)» (III, 9, 3); Плинию по просьбе провинциалов пришлось обвинять еще при Домициане Бебия Массу (VII, 33), а при Траяне Марии Приска, успевшего уже перебраться в Африку и продолжать там свою грабительскую и вымогательскую деятельность (II, 11 и 12) и, наконец, видимо, самого худшего злодея, Цецилия Классика, который даже, не решившись явиться на суд, покончил с собой. «Он предупредил обвинение смертью, то ли случайной, то ли добровольной; его смерть была бесславна (*infamis*), но загадочна», пишет Плиний, несколько наивно удивляясь тому, что Цецилий захотел «смертью избежать позора быть осужденным, он, который не считал позором совершать дела, заслуживающие осуждения» (III, 9, 5).

Приложив много серьезного и честного труда к делу защиты, Плиний не смог, однако, удержаться и здесь от некоторого самовосхваления и надеется на то, что и это дело потомки оценят по заслугам: «Сенат издал очень почетное постановление: я объявлялся заступником провинциалов, если они добьются на то моего согласия. Послы... взывали к моей честности, испытанной ими в деле против Бебия Массы, ссылались на узы, связывающие покровителя и его опекаемых. Тут последовало громкое одобрение сената... и я сказал: „Отцы сенаторы, я не думаю больше, что привел основательные причины для отказа“. Скрамность заявления и его содержание произвели хорошее впечатление» (III, 4, 4).

Именно свое первое выступление в защиту Бетки против Бебия Массы Плиний считает наиболее заслуживающим войти в «Историю» Тацита, так как «известность этого поступка возросла вследствие опасности» (VII, 33, 3).

«Всеми этому, каково бы оно ни было, ты придашь больше известности, славы, величия: хотя я и не требую, чтобы ты превысил меру того, что было совершено; история не должна переступать пределов истины, а для благородных поступков (*honeste factis*) достаточно одной истины» (VII, 33, 9—10). Вся эта тирада чрезвычайно характерна для Плиния.

По поводу управления провинциями Плиний высказывает и в более общей форме «благородные» мысли, следуя, однако, строго сословному принципу в обращении с населением провинций: «Главное здесь в том,— пишет он своему товарищу и сослуживцу Тируну,— чтобы привлечь к себе каждого честного человека и, пользуясь любовью народа, приобрести уважение первых людей (*ita a minoribus amari, ut simul a principibus diligere*)... Придерживайся таких правил, чтобы соблюдать различие между сословиями и между положениями; если они спутаны, приведены в беспорядок, перемешаны, то нет ничего неравноправнее самого равноправия (...*ut discriminem ordinum dignitatumque custodias; quae si confusa turbata permixta sunt nihil est ipsa aequalitate inaequalius* — IX, 5, 1—3). С особым уважением он советует относиться к населению старых провинций с высокой культурой; в этом отношении очень интересно его письмо к Максиму, бывшему прежде проконсулом Вифинии, а потом назначенному в Ахайю. «Подумай, что тебя посылают... к людям, которые по-настоящему люди, к свободным, которые по-настоящему свободны и которые сохранили свое природное право доблестью, заслугами, дружественным отношением и, наконец, священным договором. Чти богов основателей и имена богов, чти древнюю славу... Воздавай почет древности, воздавай его великим деяниям, воздавай даже мифам... не останавливай даже хвастливых речей. Всегда помни, что это та земля, которая дала нам право и прислала законы... Ты опять и опять должен... уяснить себе, что это значит — упорядочить состояние свободных городов» (VIII, 24, 1—7).

Насколько трудно было выполнить все эти благие советы и пожелания, попав в отдаленную от Рима провинцию, в которой нередко интересы самого Рима сталкивались с интересами и претензиями местных «первых людей» и где все более усиливалось недовольство бедных и бесправных слоев населения, вынужденных нести двойной гнет, — все это Плиний испытал на себе, когда в последние годы своей жизни он очутился на трудном административном посту императорского легата в той самой Вифинии, в которой, по его же словам, Максиму было сравнительно легко приобрести славу, так как он находился «среди рабствующих, а не среди свободных» (VIII, 24, 9). На этом посту Плиний, уже немолодой, оказался таким же «новичком», каким был Максим во время своей квестуры. Оказалось, что много легче защищать провинциалов в сенате, хотя бы и с некоторой опасностью для себя, в длительных заседаниях и речах, чем решить дело о постройке бани или плотины и о перенесении тел умерших, похороненных не там, где следовало. Вся X книга писем — переписка с Траяном — свидетельствует о нерешительности Плиния как администратора; он обращается за помощью к Траяну по самым ничтожным поводам, например, просит у него разрешения об отпуске ему двух конных солдат для охраны (X, 27); по-видимому, Траян хорошо понимал слабость Плиния, и его постоянные обращения по пустячным поводам надоедали императору: «Что следует сделать с театром, который начали выкейцы, — пишет Траян, — ты лучше всего обсудись на месте сам... Что посоветовать клавдиополитам относительно бани, которую они начали, как ты пишешь, в непригодном месте, это ты решишь сам. Не может быть, чтобы тебе не хватало архитекторов. В каждой провинции есть и опытные, и талантливые люди: не думай, что их ближе послать тебе из Рима, когда даже к нам они обычно приезжают из Греции» (X, 40). Или: одобряя решение Плиния об уменьшении расходов на отправку торжественных поздравительных посольств, Траян опять указывает ему: «Ведь я именно для того выбрал тебя, человека благоразумного, чтобы ты сам упорядочил обычаи этой провинции и установил порядки, которые навсегда обеспечат этой провинции мирное житье» (X, 117). Едва ли выполнение этих благих пожеланий Траяна было под силу и более искусному в делах правления человеку, чем судебный оратор и литературный критик Плиний; ему оно, несомненно, оказалось не по плечу, и он попал в печальное положение «интеллигента» поставленного в необходимость принимать конкретные решения, а не высказывать моральные сентенции. Поэтому представляется несколько ошибочным мнение, встречающееся у некоторых исследователей писем Плиния, о том, что римские императоры вмешивались во все мельчайшие вопросы управления провинциями и не предоставляли даже минимальной автономии в решении узко местных дел; более вероятно, что только индивидуальные особенности самого Плиния, честного, педантичного, не неумелого и нерешительного, заставили Траяна давать ему такие примитивные советы, какие часто встречаются в X книге писем.

Несмотря на то, что Плиний часто жалуется на свое утомление от судебных дел и сенатских заседаний, они все же составляют едва ли не главное содержание и интерес его жизни. Помимо крупных судебных дел о защите провинций, он принимает на себя ведение ряда гражданских дел (о наследствах, о передаче имущества и т. п. — см. X, 4 и 110).

Высокое общественное положение, которое занимал Плиний, создало ему множество связей и знакомств и доставляло ему немало хлопот, так как к нему непрерывно обращались самые разнообразные лица с просьбами и жалобами; огромное число его писем посвящено именно ответам

на эти просьбы или передачей их в высшую инстанцию, иногда самому императору (например письма о предоставлении «права трех детей» историку Светонию или другу Плиния, Воконию Роману — (X, 94; II, 13). Число этих писем так велико, что из этого можно заключить, насколько большую роль и во времена императорского Рима продолжали играть протекция и связи. Разница по сравнению с республиканско-сенатским строем заключалась только в том, что и эти протекции и связи сосредотачивались вокруг одного лица — императора — и ближайших его подручных и были более или менее длительными и легко контролируемыми, между тем как при господстве сената и нобилитета они изменялись и колебались ежегодно.

Обремененный тысячей крупных и мелких дел, Плиний непрерывно мечтает о «досуге» (*otium*); немало писем содержат жалобы на перегрузку делами и переутомление (IV, 6; IV, 23; VI, 14; IX, 10), но на государственную службу он смотрит как на обязанность, уклониться от которой он не имеет права. Иногда он даже преувеличивает моральное значение государственных титулов, которые в это время стали уже пустой формулой; так, он патетически повествует о том, как он высоко ценил звание народного трибуна, с которым даже судьи должны говорить стоя; именно поэтому он, будучи народным трибуном, не брал на себя ведения судебных дел, что советует и своему адресату, который, по-видимому, смотрел на вещи более реально и не собирався отказываться от выступлений из-за пустого титула. Такое же серьезное, слишком серьезное, отношение Плиния к заседаниям сената отражается в его письмах о введении тайного голосования и в его негодовании по поводу того, что ряд сенаторов использовал это серьезное мероприятие для того, чтобы написать на табличках нецензурные шутки. Вполне естественно, что Плинию нередко хотелось избавиться от той обстановки, в которой ему приходилось жить, и он мечтал о выходе в отставку как о недоступном для себя счастье. «Я с большим удовольствием узнал от общих наших друзей, — пишет он крупному государственному чиновнику Помпонию Бассу, вышедшему в отставку, — что ты пользуешься своим досугом и распределяешь его достойным твоей мудрости образом. Ты живешь в высшей степени приятно, упражняешь свое тело то на суше, то на море, много рассуждаешь, много слушаешь, много читаешь и, хотя знаешь очень много, но каждый день еще чему-нибудь выучиваешься. Так именно надлежит стариться человеку, занимавшему высокие должности, командовавшему войсками и посвящавшему себя государству до тех пор, пока это полагается (*quamdiu decebat*). Ранний и средний возраст жизни должны мы отдавать отечеству, последний — себе самим. Сами законы говорят об этом, возвращая пожилому человеку досуг» (IV, 23, 1—3). И у Плиния, не достигшего еще такого возраста, вырывается вздох: «Когда же будет дозволено мне, когда будет для меня почетно по возрасту подражать этому прекрасному примеру проведения досуга? Когда мои выезды из города (*decessus mei*) получают название не праздности, а покоя?» (там же). Те же мысли высказывает Плиний, описывая жизнь старика Спурины (III, 1).

Тот досуг, о котором Плиний постоянно мечтает, но который выпадает на его долю только урывками, он хотел бы заполнить главным образом занятиями литературой — много читать, кое-что писать. Своей писательской деятельности Плиний придает большое значение, ожидая от нее славы.

Мы уже видели, что Плиний в высшей степени честолюбив, но он стремится к славе не столько в кругу своих современников, сколько у потомков — его личное служебное честолюбие удовлетворено и высоким положением, и связями, и успехом. Очень характерно для взглядов культур-

ного римлянина эпохи империи именно то, что славы в потомстве он ожидает главным образом от занятия литературой, а не от службы государству; в эпоху республики эта мысль могла прийти в голову только человеку, потерпевшему полную неудачу на государственном поприще, — наиболее ярким примером чего является Саллюстий⁹.

4. ПЛИНИЙ КАК ЛИТЕРАТОР

«Если когда-либо занятия науками и искусствами (*artibus liberalibus*) процветали в Риме, то теперь они процветают в особенности» (I, 10, 1). Так начинает Плиний свое письмо, восхваляющее одного его знакомого, философа Евфрата, а кончает его жалобами на тот образ жизни, который приходится вести ему самому: «Я разрываюсь на своей работе, в равной мере и большой, и весьма тяжелой: заседаю в суде, отвечаю на жалобы, составляю протоколы, пишу множество эпистол, не имеющих ничего общего с художественной эпистолографией¹⁰. Иногда ... я жалуюсь Евфрату на эту занятость. Он утешает меня, утверждая, что работать на общественном поприще, судить, творить и осуществлять правосудие, применять на практике то, чему учат философы, — это тоже дело философии и притом прекраснейшее (там же, 9—10).

Удалось ли Плинию посвятить свой «последний возраст», о котором он писал Помпонию Бассу, столь желанным для него занятиям литературой и философией, мы не знаем; но о том, что и в «юном и среднем» возрасте наряду со своими судебными, служебными и хозяйственными делами он уделял этим занятиям много внимания и любви, явствует из множества его писем, посвященных вопросам литературы. Будучи не чужд самолюбования и рисовки, Плиний всегда охотно подчеркивает свой интерес ко всем проявлениям умственной жизни и увлечение литературой. Даже в том, неопценном для нас, письме к Тациту, в котором Плиний описывает извержение Везувия, погубившее Геркуланум и Помпеи, и смерть своего ученого дяди, он не упускает повода похвалить своей серьезностью даже в юношеском возрасте: «Не знаю, назвать ли это мужеством или неразумием (мне шел тогда восемнадцатый год) — я требую книгу Тита Ливия и, словно в полной безопасности, читаю и даже продолжаю делать выписки. Вдруг появляется дядин приятель; ...увидев, что мы с матерью сидим, а я даже читаю, он накинулся на нас, упрекая мать в терпении, а меня в беспечности. Я остался погруженным в книгу» (VI, 20, 5); в другом письме на ту же тему он рассказывает, как его дядя, заинтересованный странной формой облака над Везувием, похожего на пинию, велел приготовить легкое судно — он в это время командовал флотом — и предложил племяннику ехать вместе с ним. «Я ответил, что предпочитаю заниматься, — пишет Плиний, — случилось, что сам он дал мне задание для сочинения» (VI, 16, 7); однако Плиний сумел оценить мужество старого дяди, отказавшегося от своих научных наблюдений ради спасения людей: «Он изменил... свое решение: начав как ученый, он кончил как герой. Он распорядился спустить квадриремы и поехал сам подать помощь... Он спешит туда, откуда бегут другие: он прямо держит путь, он прямо ведет суда навстречу опасности и настолько свободен от страха, что диктует и отмечает

⁹ См. «Историю римской литературы», т. I, гл. XX.

¹⁰ У Плиния игра слов (*scribo inlitteratissimas litteras*), которую по-русски передать точно нельзя ввиду того, что слова «письмо» и «литература» — от разных корней; в переводе М. Е. Сергеевко и А. И. Доватура «письма, в которых нет ничего для письменности» неясен смысл; он разъяснен в примечании. См. «Письма Плиния Младшего». М.—Л., Изд-во АН СССР, 1950, стр. 20 и 476.

все изменения в этом страшном явлении» (там же, 9, 10). Во всем этом эпизоде — кстати, прекрасно написанном — отразился полностью характер Плиния — пассивный, но упорный, педантичный и самолюбивый.

Тем не менее нет оснований сомневаться в полной его искренности, когда он говорит о своем уважении к людям, посвятившим себя науке и литературе, либо полностью, либо, также как он сам, в часы досуга: «Я привык, — пишет Плиний, — чтить всех, кто занят умственным трудом в той или иной области (*qui aliquid in studiis faciunt*), и даже восхищаться ими; ибо это дело трудное, мало доступное и утомительное» (VI, 17, 5).

Связи Плиния с литературой в большой степени зависели и от его личных дружеских отношений с писателями и любителями литературы: он сам не раз упоминает об этом: «Что касается меня, то я был почти на всех чтениях. Авторы, правда, в большинстве, мои друзья: нет ведь почти никого, кто любил бы литературу и в то же время не любил бы меня. Поэтому я задержался в Риме дольше, чем хотел» (I, 13, 5—6).

Круг знакомых поэтов и прозаиков у Плиния очень велик; письма его испещрены их именами: иногда это начинающие молодые писатели, впервые выступающие перед слушателями, иногда уже известные деятели, издавшие ряд книг. В большинстве случаев Плиний остается верен тому почтительному отношению к литературному творчеству, о котором он говорил; отрицательных отзывов в его письмах нет вовсе, одобрительных и даже восторженных, напротив, много. Начитанный в древней литературе, как латинской, так и греческой, Плиний живо откликается на все современные ему литературные явления. «Я принадлежу к тем, кто восхищается древними, но тем не менее не презираю, как некоторые, современных талантов. Природа не устала и не истощилась настолько, чтобы не иметь силы создать что-либо достохвальное» (VI, 21, 1); исходя из такого благожелательного отношения к своим современникам, он хвалит Вергилия Романа за комедию, «написанную по образцу древней комедии так хорошо, что она сама может служить образцом» (там же, 2); Помпея Сатурнина за лирические стихи, приравнивая его к Катуллу и Кальву: «Сколько в них прелести, сладости, горечи, любви! Среди нежных и легких стихов он сознательно помещает и жестковатые — тоже, как Катулл или Кальв» (I, 16, 5); Пассенна Павла Плиний восхваляет за его элегии, отмечая, как положительную черту то, что он «соперничает с древними, подражает им, воспроизводит их (*veteres aemulatur, exprimit, reddit*), прежде всего Проперция, от которого он ведет свой род... Если ты возьмешь в руки его элегию, ты прочтешь стихи отделанные, нежные, приятные... Недавно он обратился к лирическим стихотворениям, в которых он уподобляется Горацию так же, как в элегиях — Проперцию» (IX, 22, 1—2). Еще более восторженны похвалы, которыми он осыпает поэта Октавия, упрекая его за то, что тот не издает своих стихов и не выступает с ними перед слушателями, (II, 10, 1—8) и Аррия Антонина, писавшего эпиграммы и ямбы по-гречески: «Сколько в них вкуса, прелести, как они близки к древним, как остроумны, как правильны! Мне казалось, что я держу Каллимаха, Герода или еще что-нибудь лучшее. Никто из них, однако, не достиг совершенства в обоих этих видах поэзии и обоими не занимался...

Неужели римлянин так говорит по-гречески? Клянусь, я сказал бы, что сами Афины так не говорят по-аттически!.. Я завидую грекам, потому что ты предпочел писать на их языке. Нетрудно догадаться, что смог бы ты сказать на родном языке, если на привитом тебе и чуждом ты написал

такие прекрасные сочинения» (IV, 3, 4—5). Возможно, впрочем, что в этом отзыве скрыт либо упрек, либо легкая насмешка над человеком, предпочитающим из литературного тщеславия чужой язык родному.

Эпиграммы Аррия поправились, однако, Плинию настолько, что он попытался перевести их на латинский язык, о чем написал самому Аррию, предупреждая его, что «они, конечно, от этого проиграли, во-первых, по слабости моего таланта, а затем по бедности или, вернее, как говорит Лукреций, по нищете родного языка» (IV, 18, 1). Эта оговорка, по всей вероятности, сделана Плинием в угоду грекоману Аррию или в оправдание недостатков перевода, потому что нигде в письмах Плиния мы не встречаем жалоб на бедность латинского языка, которым сам он владел отлично и об изяществе которого горячо радел; даже ссылка именно на Лукреция, жившего более чем за сто лет до Плиния и Аррия, неубедительна, тем более, что Лукреций сетовал на неразвитость философской терминологии в латинском языке, а не на бедность языка вообще.

Ни от одного из этих восхваляемых Плинием писателей, как и от многих других, упоминаемых им, до нас не дошло ничего, и мы не можем сказать, правильны или преувеличены были его восторженные суждения о них. Правда, тех немногих, кто нам известен, он оценил верно: он предсказал бессмертие «Истории» Тацита (VII, 33, 1), он дал меткую характеристику Марциала в письме, в котором сообщал о его смерти консулу Корнелию Приску: «Был он человек талантливый, острый, едкий; в писаниях его было много соли и желчи, но не меньше и искренности» (III, 21, 1). Напротив, довольно холодно он отозвался об эпическом поэте Силии Италике (имевшем недобрую славу доносчика в правление Нерона), давая его характеристику, в общем тоже неблагоприятную, в письме к своему другу и земляку Канинию Руфу: «Он писал стихи не столько талантливые, сколько отделанные», — кратко пишет о нем Плиний (III, 7, 5), даже не упоминая о большой поэме Силия «Пунические войны»; впрочем, Плиний вообще не интересовался эпической поэзией, будучи приверженцем «малых форм».

Как уже было сказано, среди многочисленных друзей и знакомых Плиния было много современных ему писателей; при этом для самолюбивого Плиния характерно то, что он редко говорит о ком-нибудь из этой «пишущей братии», не упомянув тут же об отношении данного писателя к нему, Плинию. Настоятельнее всего он подчеркивает свою близость с Тацитом, который, как Плиний хорошо понимал, был самым крупным талантом этого времени:

«Книгу твою я прочитал и как мог тщательнее отметил то, что считал нужным изменить и что исключить. Я ведь привык говорить правду, а ты ее охотно слушаешь. Никто не выслушивает порицаний терпеливее людей, больше всего заслуживающих похвал».

Теперь я жду от тебя мою книгу с твоими пометками. Какой приятный, какой прекрасный обмен! Меня восхищает мысль, что потомки, если им будет до нас дело, станут рассказывать в каком согласии, в какой доверчивой искренности мы жили! Будет чем-то редким и замечательным, что два человека, приблизительно одного возраста и положения, с некоторым именем в литературе (я вынужден говорить так скромно о тебе, потому что одновременно говорю и о себе), заботливо лелеяли работу друг друга. Я юнцом, когда твоя громкая слава была в расцвете, страстно желал следовать за тобой, быть и считаться „далеко, но ближайшим“. Было много славных талантов, но ты казался мне (так действовало природное сходство) наиболее подходящим для подражания и наиболее достойным его. Тем более я радуюсь, что, когда речь заходит о литературных занятиях,

нас называют вместе; что, говоря о тебе, сейчас же вспоминают меня. Есть писатели, которых предпочитают нам обоим, но нас с тобой — для меня не важно, кого на каком месте ставя, — соединяют: для меня всегда первый тот, кто ближе всех к тебе. Даже в завещаниях (ты, должно быть, это заметил), если завещатель не был особенно близок к одному из нас, то мы получаем те же легаты, и притом равные. Все это направляет нас к тому, чтобы мы еще горячее любили друг друга: ведь занятия, нравы, молва, — наконец, последняя воля людей связывают нас столькими узам» (VII, 20, 1—7).

Для судебного оратора, каким был Плиний, чрезвычайно характерно это замечание о равных долях в завещаниях.

Еще более наивным хвастовством звучит его рассказ в письме к некоему Максиму: «Часто я уходил из сената, прославленный так, как только мог пожелать, но никогда я не получал большего удовольствия, чем недавно от разговора с Корнелием Тацитом. Он рассказывал, что во время последних цирковых игр рядом с ним сидел какой-то римский всадник. После разнообразной ученой беседы всадник спросил его: „Ты италик или провинциал?“. „Ты меня знаешь, — ответил тот, — и притом по моим литературным работам“. Тот спросил: „Ты Тацит или Плиний?“. Не могу выразить, как мне приятно, что наши имена связывают с литературой... и что каждый из нас известен по занятиям своим даже тем, кому лично он не известен... Несколько дней тому назад случилось нечто подобное. Со мной возлежал выдающийся человек Фадий Руфин, а повыше его — его земляк, который в этот день впервые прибыл в Рим. Руфин показал ему на меня — „видишь его?“ — и затем рассказал многое о моих литературных работах. Тот ответил — это Плиний... Сознаюсь, я получаю великую награду за свой труд... Я и радуюсь, и открыто заявляю, что радуюсь и не боюсь показаться слишком хвастливым, так как привожу суждение обо мне чужое, не свое» (IX, 23, 2—5).

Подобным же образом в упомянутом уже письме о смерти Марциала Плиний не забывает сообщить о том, что он сам оказал Марциалу денежную помощь в благодарности за стихи, посвященные ему, и далее приводит часть этого стихотворения, причем именно ту, где Марциал, может быть, даже с некоторой иронией, говорит об учености Плиния и его усердии в судебных делах (Марциал, X, 19). Плиний принял все похвалы за чистую монету и заканчивает свое письмо словами: «Не по заслугам ли человека, так обо мне написавшего, я и тогда проводил дружественно, и теперь оплакиваю, как друга? Он дал мне самое большое, что мог; готов был дать еще больше, если бы смог. А что можно дать человеку больше, как не вечную славу и хвалу. Ты скажешь — писания его не будут вечными; может быть, и не будут, но он писал в расчете на вечность» (III, 21, 6).

Если в обоих указанных случаях, подчеркивая свою близость с Тацитом и Марциалом, Плиний обнаружил верное литературное чутье, оценив оба эти крупных таланта, то несколько комическое впечатление производят два хвалебных письма о начинающем поэте Авгурине, который, очевидно, желая заручиться покровительством Плиния, начал со стихов, посвященных ему; Плиний приводит эти стихи, не свидетельствующие о выдающемся таланте Авгурина, который, по-видимому, и в дальнейшем не оставил по себе следа в литературе; Плиний пишет о нем: «Думаю, что за последние годы не было написано в этом роде ничего более совершенного. Может быть, я обманываюсь любовью к нему или тем, что меня самого он превознес похвалами» (IV, 27, 2); более вероятно, на наш взгляд, второе предположение: стихи Авгурина «Плиний лишь один пусть мне

будет первым... Вот он, Плиний, а сколько в нем Катонов» (*unus Plinius est mihi priores... ille o Plinius, ille quot Catones*) — не могли нетронуть сердца Плиния.

О том же удовлетворенном самолюбии говорит письмо Плиния к самому Авгурину: «Если после твоих похвал я начну хвалить тебя, то боюсь как бы не показалось, что я не столько выражаю свое суждение, сколько воздаю благодарность. Пусть, впрочем, кажется — я признаю все твои сочинения прекрасными и особенно то, где ты пишешь обо мне. Это происходит по одной и той же причине: и ты лучше всего пишешь о друзьях, и я читаю, как наилучшие, сочинения, написанные обо мне» (IX, 8, 1—2).

Ту славу в потомстве, которой жаждал и на которую рассчитывал Плиний, он, как можно судить по его письмам, надеялся заслужить не тем, чем он ее действительно заслужил, т. е. не самыми письмами, действительно представляющими собой ценное художественное произведение, а своими речами и стихотворениями. Об утрате всех его речей, кроме «Панегирика Траяну», можно, конечно, очень и очень пожалеть; они были бы ценнейшим документом эпохи и с исторической, и с литературной точки зрения; было бы крайне важно узнать, каким образом претворялись в жизнь, в подлинную судебную практику советы Квинтилиана, учеником которого был Плиний. Об издании своих речей Плиний упоминает в письмах много раз; большое политическое значение имела его речь против Церта, о произнесении которой он подробно рассказывает в письме 13 IX книги; он издал ее под заглавием «Отмщение за Гельвидия»; сам Плиний, по-видимому, ценил ту речь, которую он произнес у себя на родине в день открытия пожертвованной им библиотеки (I, 8); но он долго колебался, следует ли ее издавать, боясь, что ее издание будет принято как похвальба своей щедростью — видимо, Плиний был скромнее, когда речь шла о его действиях, чем о его сочинениях.

Очень важным для теории ораторского искусства является письмо Плиния к Тациту о преимуществах судебной речи — долгой или краткой; это письмо представляет собой небольшой, хорошо построенный трактат (25 параграфов); Плиний выступает в пользу подробной, основательно аргументированной речи: «Длинной, медленно развертывающейся речи присущи обычно известная сила и вес: как меч в тело, так и слово в душу входит не столько от удара, сколько от нажима» (I, 20, 3). «С хорошей книгой бывает то же, что и со всякой хорошей вещью — чем она больше, тем лучше» (там же, 4). «Не укороченная, урезанная речь, а широкая, великолепная и возвышенная гремит, сверкает и приводит в смятение... Самое лучшее, однако, это мера. Кто станет отрицать? Но меры не соблюдает и тот, кто говорит и меньше, чем нужно, и больше, кто слишком сокращает себя и слишком распространяется. Поэтому ты одинаково часто слышишь, как „не в меру и через край“, так и „сухо и слабо“... Краткая речь, однако, приятнее для многих. Да, для ленивцев, считаться с праздностью и удовольствием которых смешно. Если ты их позовешь на совет, то окажется, что лучше не только говорить кратко, а вообще вовсе не говорить. Таково доселе мое мнение; я изменю его, если ты будешь несогласен, но, пожалуйста, объясни, почему ты несогласен. Хотя я и должен уступить твоему авторитету, однако, я считаю правильное в таком деле подчиняться разуму, а не авторитету» (там же, 19—20, 23—24). К сожалению, мы не имеем ответного письма Тацита, но судя по его «Диалогу об ораторах», он едва ли был согласен с Плинием; один из собеседников диалога не слишком почтительно отзываясь о речах Цицерона против Верреса и в защиту Цецины, называя их «необъятными томами» («Диалог об ораторах», 20).

Большое значение придавал Плиний своим стихам, от которых до нас дошли только те, которые он сам приводит в одном письме; один из его корреспондентов, как видно из ответного письма Плиния, спросил его, когда и почему он стал писать «гендекасиллабы», притом несколько скользкого содержания, и даже, очевидно, выразил свое недоумение по поводу такого рода занятия. Плиний отвечает ему, начав, как он сам говорит «издалека»: «Я никогда не был чужд поэзии; в четырнадцатилетнем возрасте я даже написал греческую трагедию. Какую? спрашиваешь ты. Не знаю, — она называлась трагедией. Потом, когда, возвращаясь с военной службы, я был задержан ветрами на острове Икарии, я начал сочинять латинские элегии на это самое море и на этот самый остров. Как-то я пробовал себя на эпосе, а потом в первый раз на гендекасиллабах» (VII, 4, 2—3).

Далее Плиний рассказывает, как однажды во время бессонницы он впервые сочинил те гендекасиллабы, которые он и приводит (там же, 5); они отнюдь не свидетельствуют о поэтическом даровании; но Плиний, видимо, вошел во вкус сочинительства стихов и сообщает: «Я перешел к элегиям и стал сочинять их с такою же быстротой. Легкость эта испортила меня, и я начал добавлять к ним еще и еще. Возвратившись в Рим, я прочитал их приятелям, и они их одобрили. Затем на досуге, особенно в пути, я стал братья за разные размеры и, наконец, решил, по примеру многих, составить особо один томик гендекасиллабов, в чем и не раскаиваюсь. Их читают, переписывают, распевают, и даже греки, которых любовь к этой книжке научила латинскому языку, исполняют их то на кифаре, то на лире. А впрочем, зачем я так хвастаюсь? Поэтам, правда, дозволено безумствовать, и я говорю не о своем, а о чужом мнении; судят ли люди здраво или заблуждаются, но меня это восхищает» (VII, 4, 7—10).

Посылая другому своему приятелю, очевидно, тот же сборник гендекасиллабов, Плиний говорит о них более скромно, называя их «пустышками» и «безделками»; однако и здесь он вынужден защищаться от порицания за легкомысленный характер стихов и ссылаться на известные стихи Катутллы:

Сердце чистым должно быть у поэта,
Но стихи его могут быть иными¹¹

Он просит друга высказать свое мнение и кончает письмо: «Если бы эта вещь была у меня самой значительной или единственной, было бы, пожалуй, жестоко сказать „поищи себе другого занятия“; но сказать „у тебя есть что делать“ — это и мягко, и человечно» (IV, 14, 10).

Похвалами друзей Плиний гордится и посылает им образцы своего поэтического творчества так же охотно, как свои серьезные судебные речи: некоему Мамелиану, находящемуся на военной службе, жалующемуся на «кучу лагерных дел» и тем не менее читающему «шутки и безделицы» Плиния, он обещает послать еще «что-нибудь из царства тех же „Камен“, чтобы эти «воробушки и голубки летали среди орлов» (IX, 25, 3).

Однако успеха у читателей-друзей Плинию казалось недостаточно, и он не раз читал свои стихи на публичных чтениях, причем за чтение стихов легкомысленных он подвергался осуждению: некоторые слушатели «дружески и откровенно» корили его; Плиний защищает, ссылаясь на этот раз не на Катутллу, а на Цицерона, Кальва, Асиния Поллиона и многих других писателей (V, 3), и утверждает, что он выступает перед такой большой аудиторией только потому, что не уверен в себе и хочет «серьезнее относиться к своим писаниям» (там же, 8—9). Этому вполне можно поверить, когда речь идет о подготовке «Панегирика Траяну» (III, 18),

¹¹ Катутлл, 16,5. Перевод А. Пиотровского.

который его знакомые слушали два дня подряд и потребовали, чтобы он читал еще и третий день; но на чтение не слишком пристойных, по признанию самого Плиния, гекдекасиллабов слушатели едва ли собирались для серьезной критики их художественных достоинств; и все же Плиний придает и этим чтениям большое значение, что видно из того, с каким волнением он спрашивает Светония Транквилла о его мнении: «Разреши мои сомнения, — пишет он, — я слышу о том, что я плохо читаю, по крайней мере, стихи; речи — прилично, но стихи — тем хуже. Поэтому, я думаю, при чтении близким друзьям испытать своего вольноотпущенника... он такой же новый чтец, как я — поэт. Сам я не знаю, что мне делать в то время, как он будет читать: сидеть ли мне пригвожденным, немым и безучастным или, как некоторые, подчеркивать то, что он будет декламировать — шопотом, глазами, рукой» (IX, 34, 2).

Поскольку Плиний сам решался выступать на публичных чтениях, он мог переживать то же, что переживали поэты, читавшие свои произведения, горячо сочувствовал им и негодовал, если слушатели вели себя невнимательно и небрежно по отношению к выступавшим: «Я не могу удержаться, чтобы не излить перед тобой в письме... негодования, охватившего меня в аудитории некоего моего друга. Читалось превосходное произведение, его слушали два или три оратора, которых считают красноречивыми несколько человек — в том числе и они сами. Они были похожи на глухонемых: ни разу не раскрыли рта, не шевельнули рукой, даже не встали, хотя бы от того, что устали сидеть. Откуда такая важность? Откуда такая мудрость? Нет, это — равнодушие, заносчивость, неумение себя вести, а вернее — глупость: потратить целый день на то, чтобы оскорбить... Сам ты красноречивее? Тем более не завидуй; завидует тот, кто меньше...» (VI, 17, 1—4).

Еще более разочаровывающую картину рисует Плиний в другом письме: «Я радуюсь процветанию литературы и тому, что людские дарования громко заявляют о себе. Слушатели собираются, правда, лениво. Большинство сидит в портниках, убивает время, вместо того чтобы слушать, на всякую болтовню и велит время от времени докладывать себе, вошел ли уже чтец, сказал ли он только предисловие или прочел уже значительную часть книги. Только тогда, и то лениво и медленно, они появляются, но не остаются до конца, а уходят раньше, одни, скрываясь и тайком, другие открыто и свободно... Тем более заслуживают похвалы и одобрения те, кого эта ленивая и надменная аудитория не отпугивает от писания и от публичных чтений» (I, 13, 1—2, 5).

Множество приведенных выдержек из писем Плиния дает возможность составить мнение о достоинствах того единственного произведения, на долговечность которого он, может быть, рассчитывал меньше, чем на свои речи и стихи. Однако именно его письмам она была суждена в полной мере. Разнообразие их содержания, живость изложения, выпуклые, яркие характеристики, прекрасные описания природы (например, описание его лаврентийского имения — II, 17 или источника Клитумна — VIII, 8) и легкий изящный язык — все это обеспечило письмам Плиния постоянный и прочный успех в течение многих веков. Им подражали уже Симмах и Аполлинарий Сидоний; несколько забытые в средние века, письма Плиния усердно читались в эпоху Возрождения, хотя и не вызывали таких восхвалений, как письма Цицерона. Зато все эпистолографы нового времени высоко ценили письма Плиния. Таким образом, на его долю выпало редкое счастье: «Меня ничто не волнует так, как страстное желание увековечить себя» (VIII, 8), — писал Плиний. И это его желание исполнилось.



Глава XI

ЭПИЧЕСКИЕ ПОЭТЫ I в. н. э.

1. Валерий Флакк.— 2. Папирий Стаций.— 3. Силий Италик

I. ВАЛЕРИЙ ФЛАКК

О наиболее талантливом из эпических поэтов I в. н. э. Валерии Флакке¹ до нас не дошло никаких биографических сведений, кроме одной фразы в сочинении Квинтилиана; в той главе, которую он посвящает обзору римской литературы, он пишет: «Мы много потеряли в лице Валерия Флакка» (X, 1, 90), из чего видно, что Валерий Флакк был достаточно известен и ценим. Квинтилиан выпустил свою книгу в начале 90-х годов (предположительно в 92 г.); к этому же времени можно, следовательно, отнести смерть Валерия Флакка. О годе и месте его рождения ничего неизвестно.

Из первых стихов его поэмы заключают, что он принадлежал к «коллегии пятнадцати» (квиндецемвиров) — жреческой организации, членам которой разрешалось хранить у себя в доме изречения кумской сивиллы; именно об этом говорит Валерий Флакк:

Феб! Мне учителем будь, если кумской пророчицы книги
В доме своем я храню, если лавром зеленым достоин
Голову я увенчать²

(I, 5—6)

Члены этой коллегии принадлежали обычно к знатым и состоятельным семьям; на этом основании исследователями отвергается предположение, что Марциал, говоря в одной эниграмме (1, 76) о бедном поэте Флакке, подразумевает автора «Аргонавтики».

От Валерия Флакка до нас дошла поэма «Аргонавтика» (*Argonauticon libri*), обрывающаяся на половине VIII песни. Оставил ли Флакк свою поэму незаконченной, или ее конец до нас не дошел, неизвестно.

Время написания поэмы определяется точно по введению к ней, обращенному к Веспасиану и написанному в год взятия Иерусалима Титом,

¹ Согласно Ватиканскому кодексу IX в. полное имя его было Валерий Флакк Сетин Вальб (*Valerius Flaccus Setinus Valbus*).

² Переводы отрывков поэмы Валерия Флакка сделаны М. Е. Грабарь-Пассек.

т. е. в 70 г. Обращаясь к Веспасиану, поэт просит его быть милостивым «к тому, кто поет о древних деяниях».

От Домициана же, который тоже пробовал свои силы на поэтическом поприще, Валерий Флакк ожидает поэмы о походах Тита:

... Только твой сын всему миру сумеет
Бой в Идумее воспеть и брата, в пылу от сражений,
С факелом ярким в руке берущего башни Солима.

(I, 11—13)

Это панегирическое посвящение поэмы Флавиям, занимающее только 20 стихов, является единственным открытым упоминанием о них на протяжении всей поэмы, но завоевательная восточная политика Веспасиана едва ли могла найти себе более яркого идеолога, чем Валерий Флакк.

Миф о походе аргонавтов был уже изложен в форме эпической поэмы Аполлоном Родосским³ в III в. до н. э.; эта поэма была почти буквально переведена на латинский язык Варроном Атацинским в I в. до н. э. Для того, чтобы братья вновь за этот миф, один из древнейших мифов Греции, и посвящать Веспасиану поэму, столь далекую от современности, надо было иметь определенную причину, связывающую повествование об этой седой старине с живой действительностью. Этой причиной была совершенно ясно определенная еще при Юлиях политика римских императоров, ориентированная на закрепление римского владычества в восточных провинциях и направленная на расширение владений империи именно на Востоке, всегда грозившем бедой, в противоположность уже замиренному и латинизированному Западу. Валерий Флакк и взял на себя задачу пропаганды военной политики по отношению к Востоку в форме обновленного сказания «о древних деяниях». Герой поэмы Валерия Флакка, Язон, имеет только одну общую черту с Язоном трагедии Эврипида и поэмы Аполлония — свое имя. Вместо лживого, робкого и коварного Язона, соблазителя, убийцы мальчика Апсирта и неверного мужа, беспомощного и постоянно падающего духом Валерий Флакк изображает очень храброго и надменного витязя, ценящего выше всего славу и честь, сознательно идущего на любое рискованное предприятие, т. е. подлинного римлянина в его лучших и худших чертах. Между тем как в поэме Аполлония Язон едет в Колхиду с тяжелым сердцем, против воли и не упускает случая пожаловаться на жестокого тирана Пелия, изгнавшего его с родины, Язон Флакка не может никого обвинять; он едет в Колхиду добровольно, предварительно обдумав этот шаг и взвесив возможности выиграть дело на родине, подняв народное восстание или обратившись к старцам:

Что ж ему делать? К толпе ль ненадежной, враждебной тирану
Зов обратить или к старцам, когда-то любившим Эзона?
Иль положиться на помощь Юноны и девы Паллады,
В звоне оружия надежду искать за пределами моря?
Может быть вдруг из пучин, обузданных подвигом славным,
Слава возникнет! О ты, кто сердца и умы разжигает,
Слава! Цветущей он видит тебя, в нестареющей силе;
Там, на Фасида брегах ты стоишь, призывая героев.

(I, 71—73)

³ См. «Историю греческой литературы», т. III. М., Изд-во АН СССР, 1960, гл. IV.

Обращаясь к Юноне, Язон восклицает: «Скифию дай и Фасид мне!»
Перед отплытием Язон в речи к товарищам раскрывает, так сказать, программу мировой политики Рима.

Видите, други, теперь вы небесных богов мановенью.
Нашим дерзаньям великим великая светит надежда.
Мощь покажите и вы, от отцов унаследовав доблесть.
Нет, не тиранн фессалийский лукавым своим благочестьем
Нас в этот путь посылает! Сам бог, сам бог повеленье
Нам ниспослал; сам Юпитер велит, чтобы в мире широком
Многих людей скрещались пути и сплетались усылья.
Други, идите за мной, неизведанный подвиг свершите.
С радостью вспомним о нем и память оставим потомкам.

(I, 241—249)

Чтобы показать героизм Язона, Валерий Флакк вводит в V песнь новый эпизод: в то время как Язон прибывает в Колхиду, столица Ээта осаждена его братом Персием и Ээт обещает Язону за помощь золотое руно. Сражение явно примыкает к «Энеиде», а сцена, в которой Медея смотрит с городской стены на сражающиеся отряды — к «Илиаде». Однако не в этих литературных реминисценциях, неизбежных в каждой эпической поэме, заключается интерес поэмы Флакка, а в трактовке темы.

После успешного окончания войны с Персием Язон требует награды, но Ээт обманывает его и назначает ему новые испытания. Язон и здесь не сдается и негодует прежде всего на нарушение договора — опять-таки, черта, характерная для римлянина. В своем ответе Ээту и при первой встрече с Медеей Язон подчеркивает именно это:

Ты мне возврат обещал не такой, не такую надежду
Дал ты мнищим, Ээт, чтоб свое облажили оружие
Радн тебя мы. Вот верность твоя! Вот какое коварство
Ваши веленья таят! Я нового Пелия вижу,
Новые беды встречаю. Опять повелением злым
Нас угнетает тиранн. Но меня ни надежда ни храбрость
Век не покинут. Приказу покорен, в бедах неиреклонен.

(VII, 89—95)

В беседе с Медеей он тоже обвиняет Ээта в лживости.

Чем заслужил я, что хочет меня он мученьям подвергнуть?
.....
Множество скифов собрал он откуда? Зачем не велел он
Тотчас уйти мне, немедля предел его царства покинуть?
Он же надеждой манил, а теперь вероломным обманом
Слово нарушил свое...

(VII, 421, 424—427)

Валерий Флакк сильно изменил эпизод встречи беглецов с братом Медеи Апсиртом. По древнейшей версии Медея убила мальчика-брата и разбрасывала по всему пути куски его тела, чтобы задержать преследовавшего ее отца; уже Аполлоний отказался от этой слишком варварской картины, но все же оставил Медею и Язона коварными убийцами; Медея составила план убийства и заманила брата ночью в храм якобы для принесения жертвы. Язон убил беззащитного юношу; у Валерия Флакка образ Апсирта в корне изменен: это смелый и жестокий варварский князь,

угрожающий не только самому Язону, но и его родине. Он догоняет беглецов, когда Язон готовится праздновать свою свадьбу с Медеей на острове у устья Истра и сразу показывает свой непримиримый характер:

...руна не прощу и тебя я,
 Если вернут мне, сестра, не возьму. Нет пути к примиренью.
 Нет и отмщению меры. Могу ли явиться, вернувшись,
 Я перед очи отца моего, не исполнив веленья?
 Иль погублю пятьдесят лишь мужей я и ввергну в пучину
 Этот один лишь корабль? Нет, Греция лживая, ищет
 Ныне тебя моя месть, и в огне твои грады погибнут.
 Брата ты гостем увидишь, сестра, на свадьбе достойной.
 Первым при браке твоём я зажгу пламенеющий факел,
 Первым тебе принесу я свадебный дар...

(VIII, 270—279)

На этом эпизоде поэма обрывается; однако уже видно, что Флакк опустил мотив коварного убийства Апсирта; смерть такого Апсирта могла произойти только в открытом бою и борьба с ним имела бы целью не только защиту себя, но и охрану родины от варварского набега. Этот мотив был опять-таки очень понятен и близок каждому римлянину в ту эпоху, когда охрана границ от варваров стала самой насущной задачей императоров.

Менее существенные, но не менее характерные изменения внес Валерий Флакк и в разработку любовной темы: Язон не просит Медею о помощи, она сама предлагает ему ее, возмущенная, как и он, несправедливостью своего отца. Однако она очень горда, скоро начинает ставить свои требования и, когда спутники Язона уже подумывают о том, не выдать ли Медею брату, она обращается к Язону, требуя от него не столько любви, сколько опять-таки верности данному слову.

... один ты мне клялся.
 Спутники мне не клялись. Поэтому выдать обратно
 Право имеют они, ты же прав таких не имеешь.
 Я за собою тебя повлеку. За то, что свершила,
 Я не одна отвечаю. С тобою бежали мы вместе...
 Где ж твоя верность? Рука ли моя не достойна сраженья?
 Разве не стою я смерти твоей и тех, кто с тобою?

(VIII, 422—428)

Между такими двумя властными характерами неизбежно столкновение, узел которого Флакк завязывает при первом свидании Медеи и Язона; их связь основана на обмане; Венера в образе сестры Медеи внушила Медее, что Язон звал ее. Язон думает, что Медея пришла к нему добровольно, движимая чувством справедливости.

Несомненно, если бы Флакк закончил свою поэму, то он разрешил бы еще один намеченный им конфликт: после отъезда Язона Пелий убил его родителей; поэтому страшная смерть Пелия, сваренного заживо в котле, могла трактоваться как месть за убийство ни в чем неповинных стариков, сына которых Пелий же отправил на верную гибель.

В поэму введены и некоторые сентиментальные мотивы, например трогательный плач матери Медеи и ее подруг после бегства Медеи и очень своеобразный момент — прощанье Медеи со змеем, охраняющим золотое руно. Медея, ежедневно кормившая змея и перед бегством опившая его

сонным зельем, трогательно прощается с ним как с любимым псом, и, обняв его склоненную голову, горько плачет.

На поэме Валерия Флакка можно проследить и влияние риторического образования. Его слог красив, местами даже слишком патетичен, гексаметр благозвучен. Малая известность этого произведения с точки зрения художественной незаслуженна; ее можно объяснить отчасти устарелым мифологическим сюжетом, уже не раз использованным в литературе, а отчасти тем непонятным равнодушием исследователей античной литературы, с которым они обычно относились ко многим произведениям более поздних эпох, сосредоточивая свое внимание исключительно на авторах «классических» периодов греческой и римской литературы. Между тем, изучение произведений именно этих авторов — конечно, не всех — с точки зрения их связи с современной им реальной жизнью может представить немалый интерес.

2. ПАПИНИИ СТАЦИЙ

Годы рождения и смерти Публия Папиния Стация (*Publius Papinius Statius*) в точности не известны; но так как вся его деятельность всецело связана с временем правления Домициана (81—96 гг.), можно предположить, что он родился в 40-х годах I в. н. э., по-видимому, в Неаполе (Партенопее), с которым Стаций оставался связан всю жизнь и где поселился после многих путешествий, цель и причина которых неизвестна; возможно, что он сопровождал Домициана в его военных походах и деловых поездках. Отец Стация был известным преподавателем риторики; он происходил из бедного и неизвестного рода, собственным трудом добился известности, был допущен ко двору Домициана и даже получил из рук императора венки и денежную награду. Его сыну, таким образом, уже была подготовлена более легкая дорога, по которой он и пошел, не смущаясь тем избытком лести и низкопоклонства перед императором, которое потребовалось от него, чтобы удержаться в положении придворного поэта. Еще при жизни отца он также был награжден Домицианом, как и отец. В молодости Стаций увлекся некоей Клавдией, бывшей уже замужем и имевшей дитя; ради него она развелась с первым мужем и вышла замуж за Стация; детей у них не было, а усыновленный Стацием ребенок умер в раннем детстве. Источником этих скудных биографических сведений служат стихотворения самого Стация: «Благодарственное подношение Домициану» (*Eucharisticon ad Imp. Aug. Germanicum Domitianum, Silvae, IV, 2*), «Надгробное слово отцу» (*Epicedion in patrem, Silvae, V, 3*), «Письмо к жене Клавдии» (*Ecloga ad Claudiam uxorem, Silvae, III, 5*) и «Надгробное слово ребенку» (*Epicedion in puerum suum, Silvae, V, 5*), конец которого утрачен.

От Стация дошли до нас следующие произведения:

1. Пять книг стихотворений разнообразного содержания под оригинальным названием «*Silvae*»⁴. Все пять книг посвящены разным лицам из числа приближенных Домициана и снабжены введениями, принадле-

⁴ Слово *silvae* («леса, сады») применялось римскими авторами для обозначения литературных произведений, представляющих собою сборники разнообразного и смешанного материала, как об этом говорит Авл Геллий в предисловии к своим «Аттическим ночам» (§ 5 сл.). Среди разных более или менее вычурных названий таких сборников у греческих авторов он приводит между прочим и название «луга». Квинтилиан обозначает словом *silva* также наброски, или необработанные импровизации. В переводе мы будем передавать этот термин как «сады». Характеристика подобных произведений, данная Квинтилианом (X, 3, 17) вполне подходит к «Садам» Стация.

жащими самому Стацию, местами довольно любопытными, так как Стаций обрисовывает в них цель и характер своего литературного творчества⁵.

2. «Фиваида» — поэма в 12 песнях, описывающая поход семи вождей против Фив.

3. Две песни «Ахиллеиды» — поэмы, по-видимому, незаконченной Стацием; высказывались, правда, предположения, что продолжение ее существовало, но было утрачено.

В первых стихах «Фиваиды» Стаций обещает Домициану воспеть его подвиги — «более мощной лирой» (*fortior oestro* — «Фиваида», I, 32), а в «благодарственном послании» говорит, что «рука Домициана увенчала золотом его, воспевавшего то германские сражения, то битвы с даками» (*Silvae*, IV, 2, 667). Из этих слов можно заключить, что Стацием были написаны какие-то хвалебные оды по поводу «побед» Домициана, но в свои сборники он их не включил.

Дать очерк творчества придворного поэта, т. е. творчества в значительной мере официального, формального, а следовательно, имеющего малоиндивидуальный характер, — задача весьма нелегкая. Именно таким поэтом был Стаций; поэтому при чтении его произведений приходится сильно напрягать внимание, чтобы заметить в нем своеобразные черты, которые все же, несомненно, имеются. Для установления этих характерных черт творчества Стация наилучший материал дают, конечно, не его эпические поэмы, а сборники «*Silvae*».

Одну особенность своего творчества подчеркивает сам Стаций в первых словах введения к I книге. «Я долго колебался, — говорит он, — следовало ли мне выпускать в виде сборника те стишки (*libellos*), которые родились благодаря быстро вспыхнувшему жару и даже некоему наслаждению быстротой». Эти стихи, по его словам, «могут претендовать на некоторое снисхождение ввиду быстроты их написания (*gratiam celeritatis*); ведь ни на одно из них не затрачено более двух дней; некоторые же я сочинил [буквально «излил» — *effusa*] даже в один день, правда, я боюсь, что некоторые стихи достаточно ясно сами об этом говорят... стихотворение о конном колоссе⁶ мне было приказано (*iussus sum*) передать милостивейшему владыке на следующий день после того, как оно было посвящено ему. Впрочем, кто-нибудь может возразить: ты-де ведь и раньше видел эту статую. Но ты, милый Стелла, можешь ответить за меня, что твой эпиталамий, заказанный мне тобой, я написал, как ты знаешь, в два дня; а ведь в нем 277 гексаметров. Впрочем, скажут, ты, может быть, из дружбы готов солгать. Но вот — ученейший Манлий... обычно хвалится тем, что я описал его тибуртинскую виллу в один день. Клавдий же Этруск свидетельствует, что получил от меня описание своей купальни, сделанное в течение пирушки⁷. Подобные же оговорки делает Стаций и по поводу некоторых других стихотворений, указывая, например (во введении ко II книге), что «Надгробное слово» Главции, воспитаннику Мелиора Атедия, тоже написано очень спешно (*festinanter*), чтобы как можно скорее утешить огорченного воспитателя. Такой же спешности (по словам Стация «легкости») требовали от него не только надгробные речи над умершими людьми, но и стихотворения на смерть попугая, принадлежавшего тому же Атедию и на неосжи-

⁵ В кн. I, посвященной молодому аристократу Стелле, шесть стихотворений, во II (Атедию Мелиору) — семь, в III — (Поллиону Феликсу) — пять, в IV (Марцеллу) — девять, в V (Абаскантию) — пять. В каждой книге одно-два стихотворения относятся непосредственно к лицу, которому посвящена данная книга; остальные собраны случайно.

⁶ «Конный колосс» — конная статуя Домициана, восхвалению которой посвящено первое стихотворение I книги «Садов».

⁷ Перевод М. Е. Грабарь-Пассек.

данную гибель любимца Домициана, ручного льва, растерзанного своим, еще неприрученным соседом по клетке; «Это стихотворение,— говорит Стаций,— успело бы простыть, если бы я не передал его немедленно здесь же в амфитеатре над трупом льва святейшему императору». Следует отметить, что из всех «надгробных слов», пожалуй, именно это является наиболее непосредственным и искренним.

Таким образом, Стаций сам характеризует себя как импровизатора. Ясно, что для владения стихом с такой «легкостью» поэт должен был иметь в запасе множество готовых оборотов и формул. Действительно, в стихотворениях Стация подчас встречаются повторения, правда, большей частью не цельных стихов, а начал или концов их; в расстановке слов и соблюдении правильности размеров Стаций является искусным мастером, однако в основном только в гексаметре; другие размеры у Стация встречаются редко; из 32 стихотворений только два написаны лирическими размерами (алкеевой и малой сапфической строфой — IV, 5 и 7) и четыре — одиннадцатисложником (I, 5; II, 7; IV, 3; IV, 9).

Стаций, по-видимому, сам относился к собственному творчеству несколько пронически, так как по поводу одного из серьезных своих стихотворений «О дне рождения Лукана», написанном как раз одиннадцатисложником, он говорит: «Я не мог оказать большего уважения этому писателю, кроме как тем, что опасался написать похвалу ему в моих гексаметрах» (введение ко II книге).

Наиболее официальными и формальными из всех стихотворений Стация, по понятным причинам, являются те, которые посвящены непосредственно Домициану (I, 1; II, 5; IV, 1; IV, 2; IV, 3). Они изобилуют самыми неумеренными восхвалениями таланта Домициана, его храбрости в походах и в то же время его глубокого миролюбия; противопоставление конной статуи Августа на форуме новому колоссу Домициана, конечно, проводится в пользу последнего; даже Минерве, статуэтка которой помещена на левой руке колосса, это место приятнее, чем если бы она была на руке самого Юпитера (I, 1, 40); в связи с XVII консульством Домициана поэт выражает свой восторг по поводу того, что «курии удалось победить своими мольбами скромность императора» (IV, 1, 10) и что юный Домициан намного превзошел Августа, достигшего уже в преклонных годах всего только десятого консульства (там же). В художественном отношении все эти стихотворения довольно слабы и построены по одной схеме: хвалу Домициану поэт произносит не от своего имени, а после вводной части влагает ее в уста кому-либо из местных божеств (Тибру и Янусу).

Интересно отметить, что несколько презрительное отношение к дому Юлиев было при правлении Флавиев не только допустимым, но даже, по-видимому, одобряемым. О первом представителе его, самом Юлии Цезаре, предпочитали совсем молчать; заслуги Августа сильно принижались, Нерон же приобрел тот типичный облик исключительного тирана и злодея, который на многие века остался за ним. Надо заметить, что после смерти Домициана, восхваляемого Стацием, он, вслед за Нероном стал таким же типом тирана. Консервативно-помпеянская тенденция восхвалять аристократию и достоинства сената, которая при Юлиях могла еще рассматриваться как оппозиция императору, при Флавиях приобрела характер, так сказать, «хорошего тона». Этим и объясняется возможность опубликования при Домициане такого яркого панегирика Лукану, который включен Стацием в IV книгу «Садов» и который можно считать одним из лучших его стихотворений. Правда, таково было отношение Домициана к аристократической оппозиции при Юлиях; когда же она подняла голову в его правление, он жестоко расправился с ней.

Сам Стаций, не будучи по происхождению аристократом, благоговел перед патрицианскими родами: в поздравительном стихотворении некоему юноше Криспину по поводу его совершеннолетия и принятия в курию он особо подчеркивает, что Криспина породил не бесславный ряд предков темного происхождения, лишенных древнего блеска, от плебейского корня, что он произошел не от солдатской или матросской крови и не в бедной одежде (буквально «с жалкой оторочкой» — *paupere clavo*) постучался в то высоко чтимое здание, где восседает латинский сенат; ему предшествовала толпа родичей (V, 2).

Наиболее интересная сторона произведений Стация — отражение в них бытовых черт современной ему жизни Рима. Огромное место в жизни тех кругов, в которых вращался Стаций, имели сlishком много досуга, занимают зрелища, празднества и пиры. По приказу Домициана в Рим привозили для цирковых боев диких зверей из Скифии, Ливии, с берегов Рейна и Нила (*Silvae*, II, 5, 28). Далекие страны Востока — Армения, Парфия и даже Индия, а на севере прирейнские и придунайские провинции перестали быть сказочными областями и названия их постоянно встречаются в стихотворениях Стация.

Театральные зрелища настолько привлекали всеобщий интерес, что Стаций в послании к жене, в котором он уговаривает ее не бояться извержений Везувия и переехать к нему в Неаполь, в числе других прелестей Неаполя упоминает «двойную громаду открытого и крытого театра и празднества Пятилетий (*Quinquennia*), не менее пышные, чем на Капитолии» (*Silvae*, III, 5, 91—92). А в уже упоминавшемся поздравлении Криспину по поводу принятия его в курию, Стаций приводит сравнение, которое в наше время производит несколько комическое впечатление: сенаторы также ждут появления Криспина, как «в римском цирке на празднествах ожидают красивого на вид жеребца, с пышной родословной, имеющего длинный ряд заслуженных предков; все его приветствуют аплодисментами и даже как будто и пыль, и меты с радостью знакомятся с ним» (*Silvae*, V, 2, 21—26).

В двух шуточных стихотворениях, посвященных Сатурналиям, Стаций с юмором рассказывает о шумной трапезе, в которой участвовал сам император, — об увеселениях, играх и обмене шуточными подарками.

Большое место в стихотворениях Стация занимают описания вилл, в которых ему приходилось бывать и гостить, и украшающих их произведений искусства. Описания двух вилл (S. I, 3; II, 2), купальни (*Silvae*, I, 5), несмотря на многие мифологические и риторические прикрасы, дают ясную реальную картину, почти буквально совпадающую с прозаическими описаниями подобных загородных жилищ состоятельных римлян в письмах Плиния Младшего. Два описания статуй Геркулеса несколько слабее, так как слишком перегружены мифологией; но в них отражается близкое знакомство Стация с корифеями изобразительного искусства — Мироном, Лисиппом, Праксительем. Наиболее же интересным стихотворением с точки зрения реалистического изображения является описание постройке Домициановой дороги и моста через Тибр; в этом стихотворении слышится искренний восторг перед мощью человека, преодолевающего своей волей все трудности, которые ставит на его пути природа (*Silvae*, IV, 3).

Социальные мотивы в произведениях Стация отражены очень слабо. Можно заметить только все растущую роль вольноотпущенников и приближенных рабов, живших на положении воспитанников (*famuli*); едва ли случайно, что два «надгробных слова» посвящены именно умершим любимцам-воспитанникам (*Silvae*, I, 2; I, 6) приятелей Стация; поздние браки и все более частые случаи бездетности, вызывавшие беспокойство уже у Ав-

густа, содействовала этому явлению — усыновлению чужих детей даже из среды домашних рабов.

Единственную интересную картину, рисующую положение образования в Риме, Стаций дал в «надгробном слове» о своем отце, известном риторе; живо и без излишних ухищрений он рассказывает, чему и как обучал его отец, как постепенно росла его слава и как стали стекаться к нему ученики с разных концов империи; даже если сын несколько преувеличил круг деятельности старика, то все же эти его слова являются новым доказательством важности риторического образования.

С чисто художественной стороны стихотворения Стация едва ли заслуживают высокой оценки; они гладки и благозвучны, погрешностей против ритма и построения в них очень мало, но редко встречаются в них оригинальная, живая, метко и сжато выраженная мысль, еще реже — отражение каких-либо душевных переживаний. Даже в «надгробных словах» отцу и приемному сыну искры подлинного горя гаснут в клубах риторического многословия, мифологических эпитетов и сравнений. Еще слабее «надгробные слова», адресованные друзьям, потерявшим кого-либо из близких (отца — *Silvae*, V, 3, жену — *Silvae*, V, 1). Увещания и советы, которые должны бы смягчить горе утраты, могли лишь раздражать адресата своей банальностью. Некоторые места даже просто смешны; так в «надгробном слове» о жене Абаскантия, Присцилле, Стаций пишет вдовцу: «Не боишься ли ты, что Присцилла испугается лая Цербера? Но он умолкает перед благочестивыми. Или — что опоздает перевозчик и что на водах будет волнение? Нет, тех, кто заслуживает, он перевозит сейчас же и мирно успокаивает воды своим благожелательным веслом» (V, 1, 249—251). Гораздо больше, чем вся риторическая болтовня в этом стихотворении, вероятно, сказали Абаскантию несколько простых слов во введении к V книге «Садов». «То уважение, с которым ты чтить память своей Присциллы, характерно для тебя и не может оставить равнодушным никого, особенно женатого человека. Ибо живую жену любишь с радостью, умершую — с благоговением. Я же берусь за это послание не как случайный человек и не по обязанности; ведь Присцилла любила мою жену и своей любовью сделала ее мне еще дороже».

Стаций слишком охотно использует весь мифологический аппарат; стихотворения его исцещрены греческими и латинскими именами богов и героев. Чисто мифологическим темам посвящены и обе его эпические поэмы. Попытки рассказать миф с буквальными подробностями приводят его к тому, что некоторые эпизоды становятся смешными: так в «Ахиллеиде» Фетида, желая спасти Ахилла от ужасов Троянской войны, в которой ему предсказана гибель, похищает Ахилла от Хирона и перевозит его на остров Скирос; однако она заранее не обдумала, куда и как перевезет его и некоторое время размышляет, какой остров наиболее пригоден для укрытия; решив избрать Скирос, она видит, что Ахилл, крепко спящий, слишком тяжел для нее и вызывает для перевозки двух дельфинов. Ахилл, уже взрослый юноша, всю дорогу безмятежно спит, как новорожденный младенец; проснувшись, он недоумевает, где он, но уже через несколько минут влюбляется в красавицу Деидамию, участвует в празднествах Вакха. События развиваются очень быстро; уже к концу I песни Деидамия тайком рождает ему сына. II песня написана лучше: раскрытие обмана, свадьба Ахилла и Деидамии и прощанье новобрачных написано живо и искренно.

Огромная и тяжеловесная «Фиваида» только в редких местах не лишена поэтических достоинств. Нагромождение материала в ней такое, что чтение чрезвычайно утомительно. В основную тему повествования о походе

семи против Фив вплетен, притом очень подробно, ряд посторонних мифов: так, вся V книга посвящена истории Гипсинылы, гибельнее питомца, сына царя Ликурга, рабой которого она является, и совершенно неожиданному и необоснованному появлению ее родных сыновей-близнецов (ее детей от Язона), которые, оказывается, уже достигли 20 лет. Вся VIII книга повествует, опять-таки очень подробно, о пастухе Гиппомедоне и его жизни в Аркадии; это дает Стацию повод ввести буколическую тему; в VI книге, согласно эпической традиции, повествуется о погребальных играх в честь Архемора. Живых характеров, последовательно раскрывающихся в действии, «Фиваида» не дает. Наиболее удачны в ней массовые сцены, например, в V песне описание войска, умирающего от жажды и спасенного Гипсинойлой, звучит значительно лучше, чем растянутый рассказ Гипсинылы об ее печальной судьбе.

Стаций, по его словам, работал над «Фиваидой» 12 лет. Он заканчивает ее пожеланием ей долгой жизни, несмотря на то, что она, конечно, не может и пытаться сравниться с «божественной „Энеидой“, за которой она могла следовать лишь издали и даже малейший след которой должен вызывать к благоговению перед ней».

Очевидно, у «Фиваиды» нашлись в последующие времена читатели и поклонники, благодаря которым она дошла до нас наряду с его «Садами» как памятник той эпохи, когда римская литература уже потеряла свежесть, но известное поэтическое умение еще сохранилось. Именно эта ловкость и легкость письма, особенно отразившаяся в «Садах», придает известную привлекательность неглубоким эфемерным стихотворениям Стация.

3. СИЛИЙ ИТАЛИК

Вторым чисто-эпическим поэтом I в. н. э. является Тит Катий Силий Италик (T. Catius Silius Italicus). Его биография известна нам достаточно подробно из письма Плиния Младшего (III, 7), который, сообщая своему приятелю Капинию Руфу о смерти Силия, последовавшей в возрасте 75 лет, дает краткий обзор его жизни. Письмо Плиния, как предполагают, относится к 101 г., следовательно, Силий родился в 26 г. н. э. и пережил правление и Юлиев и Флавиев. Плиний дает о нем следующие сведения:

(1). Только что сообщили о смерти Силия Италика, покончившего с собой голодом в своем неаполитанском имении.

(2). Причина его смерти — болезнь. У него появилась неизлечимая опухоль; замученный ею, он неуклонно стремился к смерти. До последнего дня был он совершенно счастлив, если не считать потери младшего сына; зато старшего, лучшего, он оставил в полном благополучии и даже консуляром.

(3). Он повредил своему доброму имени при Нероне; думали, что он добровольно занимался обвинениями. При Вителлии, однако, будучи его другом, он вел себя разумно и доброжелательно; из проконсульства в Азии вернулся со славой и смыл пятно прежнего усердия похвальным удалением от дел.

(4). Он был одним из первых людей в стране и жил, не ища власти, не навлекая ненависти: его навещали, его почитали, хотя он много лежал в постели, и спальня его всегда была полна людей, приходивших совершенно бескорыстно; время он проводил, если не был занят писанием, в учнейших беседах.

(5). Он писал стихи не столько талантливые, сколько отделанные; иногда он их читал, желая знать мнение публики.

(6). Совсем недавно, повинувшись возрасту, он удалился из Рима и обосновался в Кампании, откуда не двинулся даже по прибытии нового государя.

(7). Великая честь Цезарю, при котором была такая свобода; великая честь и тому, кто этой свободой осмелился воспользоваться.

(8). Он был *φιλόκαλος* ⁸ настолько, что его можно было упрекнуть в мании к покупкам. У него было несколько усадеб в одних и тех же местах: увлеченный новыми, он забрасывал прежние. Повсюду множество книг, множество статуй, множество портретов, которые были для него предметом не только собственности, но и почитания, особенно портрет Вергилия, чей день рождения он праздновал благоговейнее, чем своей собственной, главным образом в Неаполе, где он имел обыкновение ходить на его могилу, как в храм.

(9). Среди этого покоя он скончался 75 лет от роду; сложения он был скорее нежного, чем болезненного. И как был он последним, кого назначил консулом Нерон, так последним из всех, кого Нерон назначал консулами, он и умер.

По словам Тацита («История», III, 65), он принимал участие в переговорах между Вителлием и братом Веспасиана, Флавием Сабинном.

Из обоих этих сообщений видно, что Силий принадлежал к высшему кругу римского общества, был знатен и богат и занимал ряд высоких государственных должностей; на то, что он был приверженцем учения стоиков, указывает не только избранный им способ самоубийства, но и прямое свидетельство в книге Эпиктета: «Италик, казавшийся мне более склонным к философии, чем все другие, жаловался однажды на свою жизнь, говоря, что он невыносимо страдает: „Я не могу больше терпеть, освободите меня [помогите мне], сделайте меня таким, как он“, — сказал он, показав на меня» (Эпиктет, III, 8/7).

Имя Силия встречается также в нескольких эпиграммах Марциала, льстиво восхваляющих не только самого Силия, но и его поэму, которой он предсказывает бессмертие («*Perpetui nunquam moritura volumina Sili*» — VII, 63). Силию, не стесненному в деньгах, удалось, по-видимому, купить участок земли, некогда принадлежавший Цицерону и также то место, где был похоронен Вергилий; этому событию Марциал посвящает две эпиграммы (XI, 48 и 49) и не упускает случая сказать, что Силий «сам не меньше Вергилия»; едва ли такой талантливый поэт, как Марциал, мог это думать, между тем как даже Плиний, склонный к преувеличенному восхищению своими современниками, отзывается о творчестве Силия очень сдержанно. Еще две эпиграммы Марциала посвящены событиям в семье Силия — назначению его старшего сына консулом (VIII, 61) и смерти его младшего сына Севера (IX, 86). Из этого всего можно заключить, что Марциал был близок к этому богатому и родовитому поэту-патрону и считал допустимым хвалить его гораздо более пылко, чем он того заслуживал.

От Силия до нас дошла одна эпическая поэма «Пуническая война» (*Punica*) в XVII книгах. Поэма сохранилась полностью. Вопреки предсказанию Марциала, она, по-видимому, была скоро забыта; имя Силия упоминается только у одного из позднейших писателей, Сидония Аполлинария, и рукопись поэмы Силия была как бы заново открыта в начале XV в. в Сан-Галленском монастыре; другая рукопись, не совсем полная, была найдена в XVI в. Обе эти рукописи впоследствии пропали; в изданиях, сделанных с них, имеются, однако, лишь незначительные разночтения.

⁸ Любителем красивых вещей.

Поэма Силия посвящена Второй пунической войне; основным историческим источником, к которому она примыкает, считают «Историю» Тита Ливия, а поэтическим образцом — «Энеиду», хотя местами заметны мелкие заимствования из Гомера и из Аполлония Родосского. По своему чисто повествовательному характеру она более всего приближается именно к «Аргонавтике» Аполлония: в ней также события нанизываются одно за другим, не концентрируясь тематически.

Со времени Второй пунической войны до правления Домициана и Траяна прошло более трехсот лет и пунические войны отошли в область героических преданий. Однако эта тема все же давала возможность для реального исторического подхода, тем более, что уже существовало несколько исторических трудов, в первую очередь «Истории Рима от основания города» Тита Ливия, дававших точное описание событий в хронологическом порядке. И в то время как Валерий Флакк, обратившись к одному из древнейших мифов, постарался вложить в него идеи римской завоевательной политики, современной ему, а Стаций в «Фиваиде» ограничивался комбинацией нескольких мифов, внося в них лишь некоторые бытовые подробности, Силий пошел скорее путем древнейших римских поэтов-хроникеров Невия и Энния и, строго придерживаясь хронологии, рассказал о всем ходе Второй пунической войны; поэма его предшественника Невия была посвящена Первой пунической войне, в которой Невий сам принимал участие; не исключена возможность, что Силий рассматривал свой труд, как продолжение труда Невия и поставил себе задачей изложить в поэтической форме тот исторический материал, которого Невий еще не мог использовать. Если поэму Силия рассматривать именно в таком плане, как хронику в гексаметрах (в отличие от устаревшей, поэмы Невия, написанной еще сагурнийским стихом), и не искать в ней особых поэтических достоинств, то надо признать, что Силий неплохо выполнил свою задачу: он последовательно и спокойно развертывает перед читателями ход событий, и его поэма могла, вероятно, служить хорошим «пособием» по отечественной истории для римских школьников. Она охватывает все события от высадки Ганнибала в Испании и осады Сагунта (I песня) до битвы при Заме и триумфа Сципиона (XVII песня); переход Ганнибала через Альпы рассказан в III песне, сражение при Требии в IV, гибель Фламиния в V; битве при Каннах посвящены IX и X песни; XI и XII повествуют о пребывании Ганнибала в Капуе и его последней попытке взять Рим, XIV — о сицилийском походе и взятии Сиракуз Марцеллом, а в последних трех песнях, правда, довольно сбивчиво повествуется об испанском периоде пунической войны, об отъезде Ганнибала из Италии и окончательной победе римлян.

Социальные мотивы в поэме Силия звучат настолько слабо, что их удается найти лишь с большим трудом. Едва ли можно причислить к ним многословный панегирик Флавиям в III песне (582—616), превозносящей Веспасиана и Тита, уже в это время умерших, и гораздо больше их восхваляющий Домициана, еще здравствовавшего во время опубликования поэмы Силия; Силию можно, пожалуй, даже поставить в заслугу то, что этот льстивый панегирик он включил в середину III песни, а не начал с него свою поэму; еще единственный раз он вскользь, не называя имени Домициана, упоминает в конце XIV песни (645—647) о его политике покровительства провинциям и обуздании жадности проконсулов, что совпадает с той характеристикой, которую дает началу правления Домициана Светоний. Некоторая сдержанность Силия по отношению к Флавиям может объясняться тем сообщением, которое дает Плиний: о близости Силия к Нерону, о том, что он едва ли не состоял в числе его доносчиков

и был назначен консулом в последний, страшный для Рима, год правления Нерона. Напротив, то, что он все-таки включил в свою поэму этот панегирик Флавиям, объясняют слова Плиния о том, что Траян проявил особую снисходительность, не разгневавшись на Силлия, когда тот не выехал приветствовать нового императора при высадке его в Италии, что могло быть воспринято Траяном как преднамеренная оппозиция флавианцев; но Траян был, очевидно, умнее своих предшественников и ценил подобные панегирики по их действительному достоинству.

Подлинная политическая установка Силлия, по всей вероятности, была та же, которая была так распространена в среде знати, его окружавшей, — преклонение перед древностью, господством сената и доблестью предков, соединившееся у некоторых членов этого круга с умеренной оппозицией к тому или другому императору, но не к империи вообще; Силлий также любит подчеркнуть достоинства предков и начинает свою поэму словами:

Я повествую о битвах, которые славой до неба
 Племя Энея ввели и нашим закопом смирили
 Злобный народ карфагенский. Дозволь воскресить мне, о Муза,
 Древней Гесверии подвиг и память о том, сколько было
 Мощных в то время мужей...

(I, 1—5)⁹

Отношение Силлия к своему времени по сравнению с героическим прошлым прорывается в его поэме только один раз, в двух заключительных стихах X песни:

Вот чем был некогда Рим. И коль суждено ему было
 Нравы свои изменить, то лучше б стоять Карфагеву.

Это «общее место» о падении нравов после взятия Карфагена, встречается не раз у римских писателей, начиная с Саллюстия.

Ряд исторических картин написан Силлием довольно живо и сильно; обязан ли он этим самому себе или своим источникам, мы сказать не можем; наиболее удалась ему: осада Сагунта и массовое самоубийство его граждан (I, 600 и сл.), подготовка к защите Рима при приближении войск Ганнибала (XII, 288—305) и осада Сиракуз, долго защищавшихся благодаря гениальным изобретениям Архимеда (XIV песнь). Заслуживает внимания то, что Силлий не раз вводит в описание боев подлинные черты поздней военной техники: так, он изображает как карфагеняне штурмовали Сагунт, используя «боевую крышу» (I, 354) упоминает о баллисте и таране (I, 325), об особых формах вооружения варваров (II, 76); он вносит в описание вооружения Фламиния даже еще более позднюю черту — шлем Фламиния украшен человеческим скальпом, который «Фламиний снял с головы побежденного им короля свевов Гаргена и всегда носил на шлеме» (V, 130); но этот жестокий обычай снятия скальпов, распространившийся в Риме во время войн с германцами, едва ли мог быть в употреблении во времена пунических войн. Возможно даже, что этот образ непосредственно взят с Домициана, так как в другом месте Силлий упоминает о «победе Домициана над золотокурым королем батавов» (III, 596), которого он, кстати, и не победил, повернув обратно до встречи с германскими полчищами.

⁹ Перевод отрывков поэмы Силлия сделан М. Е. Грабарь-Пассек.

Во всем изложении хода войны Силий всегда охотно останавливался на разумности сдержанной политики сената и ее главного представителя, Фабия Максима Кунктатора; столь же охотно он подчеркивает все неудачи, простирающиеся из отклонения от этой политики: (смерть Фламиния — V, 109—580—607), авантюру Минуция, едва не погубившего римские резервы (VII, 360—704) и более всего интриги «демократического» агитатора, консула Варрона, выступавшего против сенатской политики (VIII, 225—330 и 579—605). Силий с большим уважением относится к нерушимости договоров, заключенных римским государством, дважды выводит на сцену богиню «Верности» (Fides) и в I песне влагает в уста этой богини предсказание неизбежной гибели Ганнибала именно на том основании, что он нарушил договор с Сагунтом.

К представителям древней римской доблести Силий относит, кроме Фабия, еще и Марцелла, покорителя Сиракуз, и в розовых красках изображает радость и победителей и побежденных после этого события и скорбь Марцелла по поводу случайного убийства Архимеда (конец XIV песни). Вообще Силий любит изображать благородные и возвышенные чувства и поступки, в чем отражаются его стоические представления о природе человека, причем он не исключает возможности таких чувств и у врагов Рима: речь Ганнибала над телом Фламиния (V, 605—622) и прощанье его с женой (III, 80—155) являются примерами этой идеализирующей тенденции.

В описаниях битв в поэме Силия всегда борются между собой черты реальных наблюдений над римской военной техникой и литературная традиция, согласно которой принято изображать битву как ряд поединков или эпизодических схваток между тремя-четырьмя противниками; для изображения битв во время пунических войн, которые велись уже тысячными армиями, разделение сражений на отдельные поединки было уже недопустимо, но литературные приемы описания массовых сражений в поэмах еще не были выработаны; поэтому описание битвы при Каннах, которому Силий уделил две песни, ему не удалось.

С художественной точки зрения значительно слабее, чем хроникальное описание исторических событий и ситуаций, использован в поэме Силия весь чисто литературный аппарат эпоса. Уже Вергилию было нелегко внести сколько-нибудь живую струю в беседы богов и мотивировать их роль в отдельных событиях человеческой жизни; однако исключительный талант дал Вергилию возможность местами нарисовать довольно яркие поэтические картины (например, полет богини мести, Аллекто, превращение кораблей Энея в нимф). В поэму Силия «вмешательство богов» включено совершенно механически; большинство бесед точно скопировано с поэмы Вергилия, местами непосредственно используется и Гомер (например, явное подражание «Илиаде» имеется в битве воды и огня — IV, 650—674 и в изображении плачущих коней — VIII, 445). Также формально и случайно введены рассказы о чудесных явлениях (о расцветшем копье Сципиона в XV песне и о камне Кибелы в песне XVII)¹⁰. Единственным случаем «чуда», написанным в ярких красках, является рассказ о страшной змее, которая выползла из-под жертвенного камня в Сагунте и, проскользнув среди толпы, бросилась в море, что послужило поводом к началу паники и отчаяния среди защитников Сагунта, — «так как бог-хранитель покинул обреченный город» (I, 570).

Местами Силий, прерывая нить основного повествования, вводит этнологические мифы, которые были бы не лишены интереса, если бы мы

¹⁰ Интересно отметить, что этот рассказ о чуде, якобы совершившемся при доставке в Рим из Малой Азии камня «Матери богов», в которое Силий, конечно, не верил, через 200 лет после него с полной верой передает мистик-неоплатоник, император Юлиан.



Поэт и муза
(рельеф римской работы)

могли быть уверены в том, что они подлинны, а не сочинены самим Силием: таков миф о происхождении названия Пирснеев от имени Пирсны, девушки, соблазненной и покинутой Геркулесом на его пути к Гибралтару (III, 410—435), миф о происхождении прекрасного Фалернского вина (VII, 160—205), о нимфе Авне, сестре Дидоны (VIII, 45—185) — почти наверное литературная фикция, примыкающая к «Энеиде». Более исторический характер имеет предание о героине войны с Порсеной, молодой Клелии (X, 465—470). Несколько растянутое историческое отступление позволяет себе Силий, вводя рассказ о трагической судьбе Регула (VI песнь); в эту повесть внесены даже некоторые сентиментальные черты — патетические речи жены Регула Марции (VI, 492 и сл.).

Установившиеся литературные приемы эпоса используются Силием в высшей степени однообразно и трафаретно: два раза даются «каталоги войск» (III, 218—395 — карфагенское войско, VIII, 335—590 — римское), на которые в общем затрачено более 400 стихов. В XIV песне описаны

надгробные игры, а вся XIII песнь посвящена посещению царства мертвых Сципионом; эта песнь, превратившаяся в голое перечисление будущих подвигов римлян, — самая неудачная во всей поэме. По-видимому, в эту позднюю эпоху в число трафаретных литературных приемов эпоса было включено и обязательное введение буколического мотива (см. Стаций, «Фиваида», XIII); Силий называет в числе сицилийцев при защите Сиракуз юношу Дафниса, что дает ему повод рассказать о его предке, знаменитом певце-пастухе (XIV, 435—445) Дафнисе, которого слушали нимфы и сам Киклоп (по-видимому, реминисценция из Феокрита).

Некоторые характерные риторические моменты тоже не обойдены Силием — его герои подчас произносят патетические речи, правда, не очень длинные, а в IX песне он вводит сцену, напоминающую самые фантастические темы из риторических «контroversий»; сын, стоящий на страже римского лагеря, убивает отца, долго бывшего в плену в Карфагене и пытающегося ночью перебежать к римлянам; после сцены «узнавания» отец умирает, а сын закалывается собственным мечом, предварительно написав своей кровью на щите предупреждение полководцу Баррону, чтобы он не начинал сражения при таком страшном предзнаменовании, как убийство отца сыном; если случаи, когда члены одной семьи сражались в противоположных лагерях, были вполне возможны в действительной жизни, то мотив оставления письма, написанного собственной кровью на щите, — чисто риторическая фикция.

Стойческий вариант мифа о Геракле на распутье введен Силием в XV песнь, где из-за молодого Сципиона спорят две женщины — Доблесть и Наслаждение (*Virtus* и *Voluptas*) — и где он, разумеется, избирает первую.

Силий пытается вводить в свою поэму и «контroversии» в полном смысле слова, т. е. речи полководцев о способах защиты Рима и военной тактике: в X песне спорят Метелл и Сципион, в XVI — Сципион и Фабий. Речи изложены точно, обоснование и доводы логичны, и все было бы даже хорошо «сделано», если бы это была не поэзия; но полное отсутствие умения обрисовать человеческие характеры делает и эти сцены только изложениями в стихах тех мыслей, которые легче и лучше могут быть изложены в прозе.

Поэма Силия написана тщательно, но гексаметр его тяжел, построение фраз не всегда ясно, постоянный перенос частей фраз из стиха в стих (так называемый *enjambement*) иногда на протяжении трех-четырех стихов, делает чтение «Пунической войны» медленным и затруднительным. Поэтому, хотя фактически предсказание Марциала исполнилось и стихи Силия дошли до нас через много веков, эпитет «бессмертные», прилагаемый к ним, верен разве только в том смысле, что живыми в полном смысле слова они никогда и не были.

Глава XII

МАРЦИАЛ

1. Античные свидетельства о Марциале.—2. Биографические сведения о Марциале.—3. Эпиграммы Марциала.—4. Суждения Марциала о собственных эпиграммах.—5. Сюжеты эпиграмм Марциала.—6. Критика мифологического эпоса Марциалом.—7. Отношение Марциала к историческому эпосу.—8. Литературное окружение Марциала.—9. Сульпиция.

1. АНТИЧНЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА О МАРЦИАЛЕ

Марк Валерий Марциал (M. Valerius Martialis)—крупнейший римский поэт-эпиграмматист, творчество которого приходится на времена императоров Тита, Домициана, Нервы и Траяна, хорошо известен нам по его произведениям, но никакой античной биографии его до нас не дошло.

Полное имя Марциала совершенно точно устанавливается по его собственным произведениям. Он сам называет себя то по личному имени (praenomen) Marcus («Эпиграммы», I, 5; I, 55 и др.), то по родовому (nomen) Valerius в соединении с фамильным (cognomen) Martialis (предисловия к книгам II, VIII, XII), то по одному последнему (I, 1; I, 117; VI, 82 и др.). Плиний Младший (III, 21) называет его Валерием Марциалом.

В письме Плиния Младшего, относящемся, самое позднее, к 104 г. н. э., заключается единственное стороннее свидетельство, касающееся биографии Марциала, а именно свидетельство о его смерти: «Слышу, что умер Валерий Марциал и сожалею об этом,— пишет Плиний.— Он был человек умный, ловкий, острый, имевший в писаниях своих очень много соли и желчи, но не менее прямодушный»¹.

Кроме этого письма Плиния, в котором, помимо известия о смерти Марциала, есть и некоторые сведения о взаимоотношениях этих двух писателей, у нас нет никаких известий о жизни Марциала, кроме его собственных произведений. По этим данным и по сопоставлению их с рядом фактов римской истории и со сведениями о лицах, упоминаемых Марциалом в его эпиграммах, можно в общих чертах, а иной раз и в некоторых подробностях восстановить биографию Марциала. Лучшим исследованием по разработке этих данных остается книга А. Олсуфьева².

¹ Перевод А. Олсуфьева.

² «Марциал». Биографический очерк. М., 1891. В дополнение к сказанному об имени Марциала надо указать, что в глоссарии Скриверия под словом *petaso* (окорок) приводится один стих из эпиграммы Марциала (III, 77), названного здесь *Martialis Coquus* — «Марциал Повар». Это последнее прозвище встречается лишь в поздних ссылках на Марциала: у Иоанна Салисберийского (XII в.) и Винсента из Бове (XIII в.). Прозвище «Повар», имеющееся в списках эпиграмм Марциала XV в. и в старинных изданиях, считается обычно возникшим из-за ошибки переписчиков в тексте Лампрдия (см. ниже), где вместо слов *Martialis quoque* было написано *Martialis*.

Произведения Марциала дошли до нас с редкою для античного писателя полнотою. Сохранилось большое собрание эпиграмм, изданных отдельными небольшими книжками самим поэтом. Этот сборник включает в себе, во-первых, одну книгу эпиграмм, посвященных зрелищам, устроенным императором Титом, и обычно называемую «Книгою зрелищ» (*Liber spectaculorum* или *de spectaculis*), хотя такое название и не восходит к самому Марциалу; во-вторых, двенадцать книг (I—XII) эпиграмм на разные темы, изданных в основном при Домициане; в-третьих, две книги (XIII—XIV) «Посвящений» (*Xenia*) и «Гостинцев» (*Arphoreta*) — надписей для подарков, посылаемых друзьям и раздаваемых гостям в декабрьский праздник Сатурналий. Таким образом, весь сборник состоит из пятнадцати книг. Книгам I, II, VIII, IX, и XII предпосланы посвяtitельные прозаические предисловия.

Несмотря на то, что и при жизни и по смерти Марциала его эпиграммы пользовались большим успехом, как указывают, между прочим, цитаты из них на надписях (см. *Hermaeus*, «*Hermes*», 48, 450), античных свидетельств о его стихах исключительно мало, а, кроме того (за вычетом указанного выше свидетельства Плиния Младшего), свидетельства эти очень поздние. Такие свидетельства имеются в сборнике под названием «Писатели истории августов» (*Scriptores historiae augustae*), составление которого приписывается шести историкам, о которых ничего, кроме имен, неизвестно. У одного из этих историков, Элия Спартиана, в биографии Луция Вера (161—169) указывается, что этот император называл Марциала своим Вергилием (*Martialem, epigrammaticum poetam, Vergilium suum dixisse*), а Элий Лампридий в биографии Александра Севера (222—235) сообщает анекдот, для иллюстрации которого приводит (с разночтениями против рукописного предания) эпиграмму V, 29 Марциала. Кроме того, поэт V в. Сидоний Аполлинарий (*Sidonius Apollinaris*), перечисляя нескольких римских поэтов (стихотворение 9), называет Марциала «безмерно язвительным» (*mordax sine fine*). В произведениях этого поэта, как и в стихах поэта IV в. Авзония, видно сильное влияние Марциала.

2. БИОГРАФИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ О МАРЦИАЛЕ

Годы рождения и смерти Марциала устанавливаются на основании слов самого поэта, который говорит в эпиграмме X, 24, что ему минуло 57 лет, и на основании указанного выше письма Плиния Младшего (III, 24). Но так как время сочинения эпиграммы X, 24 можно установить лишь приблизительно — между 95 и 98 г. н. э., а дата письма Плиния также не может быть определена иначе как между 102 и 104 г., то и надо считать, что Марциал родился около 40 г. н. э., а умер не позднее 104 г. Но девь

соци (см. у Олсуфьева, стр. 4, примечание). Но возможно, что прозвище «Повар» возникло (скорее всего уже по смерти Марциала) на основании текста его эпиграмм, в которых он часто касается кулинарных или гастрономических тем (ср. III, 77; XI, 34; кн. XIII и др.). Могло возникнуть это прозвище и на основании эпиграммы IX, 81, где «повара» — это поэты:

Слушатель книжки мой и читатель, Авл, одобряют,
Ну а какой-то поэт лоска не чувствуют в них.
Я не волнуюсь ничуть: предпочту, чтоб за нашим обедом
Блюда скорее гостям нравились, чем поварам.

Укажем, кстати, что мысль о том, что суждение мастеров может иметь меньшее значение, чем оценка рядовых людей, или потребителей, развита Аристотелем в «Политике» (III, 6, 10, р. 1282a), где, между прочим, сказано: «о пиршестве гость будет судить правильнее, нежели повар».

рождения Марциала известен совершенно точно: 1 марта, согласно указаниям самого поэта (IX, 52; X, 24 и XII, 60):

День рождения мой, Календы Марта,—
 День прекраснее всех Календ годичных,
 День, когда мне и девы шлют подарки,—
 Пятьдесят уж седьмой пирог кладу я
 На алтарь ваш с ларцом для фимиама.
 К этим го́дам, прошу я, если можно,
 Восемнадцать годов вы мне прибавьте,
 Чтоб еще стариком не ставши дряхлым,
 Но проживши три срока нашей жизни,
 К рощам девы сошел я Елисейской.
 Сверх же Нестора лет и дня не надо³.

(X, 24)

Родиной Марциала был городок Бильбила (Bilbilis) в северо-западной части Тарраконской Испании на левом берегу притока реки Ибера (ныне Эбро) Салона (ныне Халон) (см. эпиграммы I, 61; X, 103; XII, 18). Бильбила, находившаяся около нынешнего города Калатаюд, носила почетное название Августа (X, 103) и была римским муниципием, жители которого пользовались правами полного римского гражданства.

Кто были родители Марциала и каково было их социальное положение, неизвестно⁴. Только в одной эпigramме упоминает о них Марциал, да и то в форме общего места, противопоставляя жалкую участь человека образованного судьбе разбогатевшего неуча-сапожника:

Ты, что зубами привык растягивать ветхую кожу,
 Или подошву, в грязи сгнившую, старую грымзть,
 Ты превестинской землей после смерти патрона владеешь
 Где и в каморке тебя видеть зазорно бы мне.
 Поляшишь ты, пьяный, огнем фалерна хрустальные чашни,
 Да и господский тебя тешит теперь Ганимед.
 Вот обучили меня родители грамоте сдуру:
 Что до грамматикой мне или до риторев всех?
 Легкие перья сломай и порви ты книжки, Талія.
 Если сапожника так может башмак одарить.

(IX, 73)

Можно, однако, предполагать, что родители Марциала были люди зажиточные для условий жизни в Испании и владели хорошим поместьем; но для жизни в Риме их средства были бы ничтожными. Вот что говорит Марциал, обращаясь к своему знатному другу Стертинию Авиту:

Страшно, Авит, для тебя, что до старости живши в Латинском
 Городе, все говорю я о далеких краях.
 Тянет меня на Таг златоносный, к родному Салону
 И вспоминаю в полях сельский обильный наш дом.

³ Все эпиграммы Марциала даются в переводе Ф. А. Петровского.

⁴ Считать упоминаемых в эпigramме V, 34 Фронтон и Флакциллу родителями Марциала (Miguel D o l e. Hispania y Marcial. Barcelona, 1953, p. 93) можно только предположительно, и мы вполне согласны с Олсуфьевым (указ. соч., стр. 15 сл.), что никаких убедительных данных в пользу того, что Марциал в этой эпigramме обращается к своим отцу и матери, привести нельзя.

Та по душе мне страна, где при скромном достатке богатым
 Делаюсь я, где запас скудный балует меня.
 Землю содержим мы здесь, там земля нас содержит; тут скупю
 Тлеет очаг, и горит пламенем жарким он там;
 Дорого здесь голодать, и рынок тебя разоряет,
 Там же богатством полей собственных полнится стол;
 За лето сносишь ты здесь четыре тоги и больше,
 Там я четыре ношу осени тогу одну.
 Вот и ухаживай ты за «царями», когда не приносит
 Дружба того, что тебе край наш приносит, Авит.

(X, 96)

Недостаток сведений о детстве и юности Марциала побуждал исследователей извлекать данные о его молодых годах из совершенно не идущих к делу эпиграмм его сборника. Поэтому некоторыми учеными сочтена была автобиографической эпиграмма XI, 39 только на основании того, что она написана от первого лица; а то, что эта эпиграмма по своему содержанию никоим образом не может относиться к самому Марциалу, на это они не обратили внимания, как справедливо указал А. Олсуфьев⁵.

Но если и нельзя извлечь из эпиграмм Марциала никаких определенных сведений о его молодости в Испании, можно все же с полной уверенностью сказать, что он получил там хорошее образование, не уступая в этом отношении римской молодежи, принадлежавшей к высшим общественным слоям. Однако отзывы Марциала о школьных учителях, очевидно основанные на его личном опыте, далеко не лестны (см. V, 56; VIII, 3; IX, 68; X, 62). И хотя отрицательные отзывы о школьных учителях и во многих случаях представляют общее место не в одной только римской литературе, Марциал не мог говорить о тогдашних педагогах, не имея собственного опыта.

В Рим Марциал приехал уже взрослым — в возрасте от 23 до 26 лет⁶. Точнее определить год прибытия Марциала в Рим не представляется возможным⁷, но во всяком случае он приехал туда до раскрытия заговора Пизона в 65 г., что явствует из эпиграммы IV, 40, в которой поэт, обращаясь к Постуму, говорит:

В дни, когда атрий стоял Пизонов со всей родословной,
 Да и ученого дом Сенеки чтим был тройне,
 Царствам столь славным тебя одного предпочли мы, о Постум!
 Всадник ты был и бедняк, мне же ты консулом был.

Как жил и чем занимался Марциал в Риме в последние годы правления Нерона (когда он, как видно из только что приведенной эпиграммы, остерегается сближения с домами Пизонов и своего земляка Сенеки) и во время правления Гальбы, Отона, Вителлия и Веспасиана (т. е. до 79 г.), нам неизвестно. Можно лишь предполагать, что он уже пробовал силы на поэтическом поприще (см. XII, 94), пренебрегая профессией стряпчего,

⁵ А. Олсуфьев. Указ. соч., стр. 17 сл.

⁶ См. M. Valerii Martialis epigrammaton libri. Mit erklärenden Anmerkungen von Ludwig Friedlaender. Erster Band. Leipzig, 1886, стр. 4 и А. Олсуфьев. Указ. соч., стр. 27 — на основании эпиграмм X, 103 и 104.

⁷ Хотя на основании эпиграмм X, 103 и 104; XII, 34 и 31 Олсуфьев (стр. 28 сл.) и считает имеющиеся данные достаточными для определения, что Марциал прибыл в Рим в 65 г., еще до раскрытия заговора Пизона, но эти арифметические выкладки никак нельзя считать безусловно точными.

которую советовали ему избрать его друзья, как это можно заключить из эпиграммы II, 30:

Двадцать тысяч взаимы сестерциев раз попросил я:
 Даже в подарок их дать было б совсем пустяком.
 Ибо просил-то я в долг у богатого старого друга
 И у кого без нужды деньгами полон сундук.
 Он же в ответ: «Наживешь богатство, заделавшись странчим!»
 Денег я, Гай, у тебя, а не совета прошу!

Из трех невыгодных, по словам Марциала (III, 38), способов обеспечить себе существование в Риме — профессии юриста, занятия поэзией и положения клиента — Марциал выбрал последние два. Но положение клиента, которым сделался Марциал в Риме, было важно для него не столько потому, что давало какие-то средства к существованию, сколько потому, что предоставляло возможность проникать в дома богатых и знатных римлян, где он мог получить признание как поэт. «Нет сомнения, — замечает Олсуфьев⁸, — что родители Марциала, хотя были люди с некоторым достатком, все-таки не обладали средствами настолько, чтобы доставить сыну возможность жить в Риме своими лишь доходами, не прибегая к какому-либо заработку. Марциалу пришлось избирать какое-нибудь поприще. Выбор его, как надо полагать, остановился с первого раза на карьере клиента, но не клиента, зависящего всецело от своего патрона, а такого, у которого сами патроны должны были заискивать, так как клиент этот в совершенстве владел обоюдоострым оружием — эпиграммой».

Что отдавать себя под покровительство патрона побуждала Марциала не действительная нужда, а желание лишь улучшить свое имущественное и общественное положение, ясно из ряда эпиграмм, по которым видно, что, по крайней мере с 85 г., он был вполне обеспечен не только для провинциальной, но и для римской жизни. По эпиграммам книги первой можно лишь догадываться о материальном благосостоянии Марциала (см. I, 2; I, 50; I, 58; I, 70; I, 71), но из эпиграмм последующих книг ясно видна и материальная обеспеченность Марциала и его хорошее общественное положение: он получил звание трибуна, делавшее его равноправным с римскими всадниками, имеет «право троих детей» (III, 95)⁹, в окрестностях Номенты у него поместье (VI, 43), в Риме собственный дом и пригородная усадьба (IX, 18 и 97). И если Марциал продолжает разыгрывать роль клиента, то это несколько не доказывает его пресловутой бедности и ничтожества, как не доказывают этого и такие эпиграммы:

Глянул, Руф, на меня недавно некто,
 Как учитель борцов иль как торговец,
 И, тайком осмотрев и тронув пальцем,
 «Ты ли, ты ль Марциал, — сказал, — тот самый,
 Чьи остроги и шутки всякий знает,
 Кроме тех разве, кто с батавским ухом?»
 Усмехнувшись слегка и поклонившись,
 Я не стал отрицать, что я тот самый.

⁸ А. Олсуфьев. Указ. соч., стр. 37.

⁹ Это право давалось первоначально только тем, у кого действительно было трое детей, но во времена Марциала его получали не только бездетные, но и холостые. Право это давало и общественные преимущества, и освобождение от налогов, и даже вспомоществование от казны.

«Что же плащ у тебя так плох?» — спросил он.
 «Видно», — я отвечал, — плохой поэт я». —
 Чтоб с поэтом так больше не случилось,
 Присылай-ка мне, Руф, плащей получше.

(VI, 82)

Если и можно доверять бедности Леснида Тарентского на основании его эпиграмм, то уж никак нельзя верить Катулле, когда он говорит о своем кошельке полном паутины и о кровати со сломанной ножкой. Нельзя верить в этом отношении и Марциалу, несмотря на его жалобы, что он живет на чердаке (I, 108), что ему приходится голодать или есть дрянную пищу на обеде у патрона (I, 43; III, 60 и др.).

Положение клиента в Риме времен Империи коренным образом изменилось в сравнении с республиканскими временами. Патронат и клиентела, имевшие первоначально важное политическое значение, в императорскую эпоху совершенно вырождаются: родовитая знать теряет свои преимущества и влияние, уступая место богачам, из которых значительная часть была вольноотпущенниками, а клиенты, которые, в эпоху Республики будучи тесно связаны с патронами, могли быть даже значительной военной силой в их руках¹⁰, обращаются либо в живущих подачками бедняков, либо в людей, ищущих покровительства влиятельных лиц, с помощью которых стараются сделать выгодную карьеру. Никакими обязательствами взаимной верности (*fides*), отраженными еще в законах Двенадцати таблиц, клиенты со своими патронами не связаны. Они составляют свиту патронов на улицах и площадях и с раннего утра являются приветствовать своих покровителей, стремящихся к внешней пышности, но никакой политической силы собой не представляют. Среди всевозможных бедняков и попрошаек в этой толпе клиентов находятся и сенаторы, и трибуны, и преторы. Картина «визита» к патрону запечатлена в яркой зарисовке Ювенала:

...на самом пороге

Ставят подачку, — ее расхищает толпа, что одета
 В тоги. Однако сперва вам в лицо поглядят, опасаясь,
 Не подставной ли пришел и не ложным ли именем просишь;
 Признан — получишь и ты. Чрез глаглатая кличет хозяин
 Даже потомков троин: и они обивают пороги
 Так же, как мы. «Вот претору дай, а потом и трибуну».
 Вольноотпущенник — первый из нас: «Я раньше, мол, прибыл.
 Что мне бояться и смело свое не отстаивать место:
 Пусть я рожден у Евфрата, в ушах моих женские дырки —
 Сам я не спорю, но пять моих лавок четыреста тысяч
 Прибыли мне принесут; что желаннее пурпур широкий
 Даст, коль Корвин сторожит наемных овец в лаврентийском
 Поле, а я — побогаче Палланта или Лицина».
 Стало быть, пусть ожидают трибуны и пусть побеждают
 Деньги: не должен же нам уступать в священном почете
 Тот, кто недавно был в Рим приведен с ногой набеленной,
 Раз между нами священной всего — величье денег.

(Перевод Д. С. Недовича и Ф. А. Петровского; I, 93—112)

¹⁰ Как, например, во времена Суллы, когда Гней Помпей явился к нему весной 83 г. до н. э. с двумя легионами, составленными из клиентов и арендаторов.

В разряд таких клиентов попал и Марциал, не нуждавшийся, разумеется, в мелких подачках, будь то спортула, заключающаяся в корзинке с едой или в ничтожной сумме денег, либо какой-нибудь плащ. Но тем не менее такие подачки он должен был принимать наряду с прочими клиентами и даже выклянчивать их у своих патронов, чем несомненно доставлял им немалое удовольствие; так, с просьбой о плащах обращается он в последней из приведенных нами эпитаграмм (VI, 82), хотя по эпитаграмме 43 той же книги VI мы знаем, что у него уже есть усадьба в окрестностях Номенты.

Положение Марциала в Риме при Домициане совершенно упрочилось, и его талант получил широкое признание, хотя попасть к императорскому двору ему так и не удалось. Тем не менее Марциал был принят в кругах богатых и влиятельных римлян и чувствовал себя в Риме прекрасно, не смотря на то, что не переставал постоянно вспоминать о родной Испании, искренняя привязанность к которой видна в его эпитаграммах, начиная с первой их книги (см. I, 49; IV, 55; X, 96 и др.). К концу почти тридцатилетней жизни в Риме, откуда (не считая поездок в Байи, Номент и т. д.) он уезжал на довольно продолжительное время только в Цисальпийскую Галлию в 87/88 г. (когда была издана книга III эпитаграмм), Марциала стало сильно тянуть на родину, что хорошо видно по приведенной выше эпитаграмме X, 96. И вот, по-видимому, весной 99 г. он навсегда уезжает в Испанию.

Мы не знаем точно, почему Марциал решил покинуть столицу, но очень вероятно, что основной причиной этого была резкая перемена в его общественном положении после воцарения Нервы и затем Траяна. Мириться с новыми порядками на старости лет Марциалу было трудно, попасть в милость к новым цезарям не удавалось, и он покидает «владычный город», получив последнюю подачку — деньги на путевые издержки (*viaticum*) от Плиния Младшего.

По приезде на родину Марциал смог наконец насладиться той покойной и беззаботной жизнью, о которой он, бывало, мечтал в Риме, что видно по таким эпитаграммам, как I, 55; III, 58; V, 20 и др., в правдивости которых нельзя сомневаться, сопоставив их с полными искренности эпитаграммами 18 и 31 книги XII. Первая из них обращена к Ювеналу, вторая — к Марцелле, богатой и образованной женщине, подарившей Марциалу прекрасное поместье в Испании. Обе эти эпитаграммы настолько живо говорят о жизни Марциала в Испании, что мы приводим их целиком.

Ты теперь, Ювенал, быть может, бродишь
 Беспокойно по всей Субуре шумной,
 Иль владычной Дианы холм ты топчешь:
 Понукает тебя к порогам знати
 Потогонная тога, и томшься
 Ты, всходя на Большой и Малый Целий.
 Я ж опять, декабррей проживши много,
 Принят сельскою Бильбилой родною,
 Что горда своим золотом и сталью.
 Здесь беспечно живем в трудах приятных
 Мы в Ботерде, в Платее — кельтиберских
 То названия грубые местечек.
 Сном глубоким и крепким сплю я, часто
 Даже в третьем часу не пробуждаясь:
 Отсыпаюсь я всласть теперь за время,
 Что все тридцать годов не досыпал я.

Тоги нет и в помине; надеваю
 Что попало, с поломанных взяв кресел.
 Я встаю — уж очаг горит приветно
 Кучей дров, в дубняке соседнем взятых.
 Все оставила ключница горшками.
 Тут как тут и охотник. Ты такого
 Сам не прочь бы иметь в укромной роще,
 Оделяет рабов моих приказчик
 Безбородый — он все остричься просит.
 Так и жить я хочу и так скончаться.

(XII, 18)

Рощица эта, ключи, и сплетенного сень винограда,
 И орошающий все ток проведенной воды,
 Луг мой и розовый сад, как в Пестуме, дважды цветущем,
 Зелень, какую мороз и в Январе не побьет,
 И водоем, где угорь у нас прирученный ныряет,
 И голубятня под цвет жителей белых ее —
 Это дары госпожи: вернувшись чрез семь пятидесяти,
 Сделан Марцеллою я был этой дачи царьком.
 Если бы отчие мне уступала сады Навсикая,
 Я б Алкиною сказал: «Предпочитаю свои».

(XII, 31)

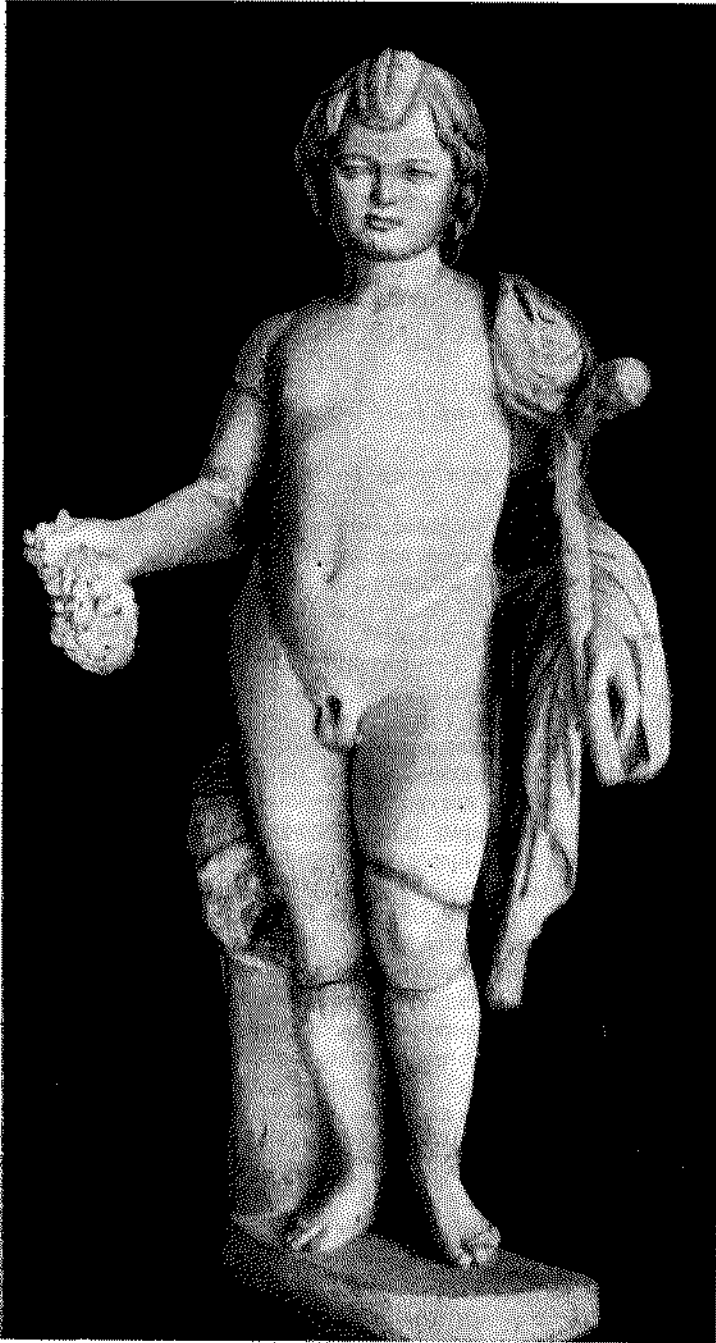
Но вернувшись в родную Испанию и наслаждаясь там мирною и покойною жизнью, Марциал все-таки никак не может забыть хлопотливой и суетливой, но привычной ему жизни в Риме. Вдали от столицы он забрасывает литературные заветия и на целых три года замолкает («Я знаю, что должен выступить в защиту своего упорнейшего трехлетнего безделья», — начинает он письмо Приску, посылая ему XII книгу своих эпиграмм); ему не достает нужной и знакомой ему аудитории, а без этого он не способен писать: «ведь если что нравится в моих книжках, то это внушено мне моим слушателем», — говорит Марциал в том же письме; а таких слушателей и ценителей его поэзии у него теперь нет, как нет ни библиотек, ни театров, ни общества, а вместо этого — злобные сплетни и зависть провинциалов. Оживил Марциала только приезд в Испанию его друга и земляка Теренция Приска; поэт снова взялся за стихи и в самое короткое время написал и преподнес Приску новую (XII) книгу эпиграмм, надеясь, что его «испанская» книга будет иметь успех и в Риме. Но, как говорит Н. М. Благовещенский¹¹, «это были лебединые песни веселого поэта; вскоре затем он умер, в самом начале второго века».

3. ЭПИГРАММЫ МАРЦИАЛА

В римской литературе мало найдется поэтов, которые так ярко и интересно отражали бы в своих произведениях подлинную жизнь, как это делает Марциал. Немного найдется и таких, у кого содержание и эмоциональная окраска их стихов были бы столь разнообразны, как у этого поэта.

Сборник стихов Марциала называется «Эпиграммы», но это название далеко не соответствует всему составу тех пятнадцати книг, которые остались его наследием, даже если принять значение слова «эпиграмма» в том расширенном смысле, какое оно получило в позднейшие времена. Эпиграммы Марциала в ряде случаев — небольшие сатиры (см. I, 41; II, 14;

¹¹ «Римские клиенты Домицианова века». «Русская мысль», 1890, апрель, стр. 52.



*Статуя мальчика
(римская работа I в. н. э.)*

III, 82; III, 93; VI, 64; VII, 20; XI, 56)¹², а многие из его стихотворений относятся к области искренней и душевной лирики (см. I, 49; IV, 64; V, 78; VI, 86; X, 78; X, 96; X, 104; XII, 18; XII, 31; XII, 34).

Но сам Марциал постоянно называет свои стихи именно эпиграммами, начиная с предисловия к книге I, где он оправдывает язык и стиль собственных эпиграмм, ссылаясь на пример своих предшественников: «так пишет и Катулл, и Марс, и Гетулик, и каждый, кого читают и перечитывают». И в первой же эпиграмме книги I он так рекомендует себя читателю:

Вот он тот, кого вновь и вновь читаешь,—
 Марциал, по всему известный свету
 Эпиграммами в книжках остроумных.
 Славой той, какой, ревностный читатель,
 Наделил ты живого и в сознания,
 Даже мертвый поэт владеет редко¹³.

А в эпиграмме 110 той же книги он говорит:

Ты мне пеняешь, Велокс, что длинны мои эпиграммы.
 Сам ты не пишешь совсем. Право, короче нельзя!

Но лучше всего виден взгляд Марциала на свои произведения как на эпиграммы, в отличие от других литературных жанров, в эпиграмме, обращенной к некоему Тукке:

Эпос я начал писать; ты начал тоже: я бросил,
 Чтобы соперником мне на оказаться твоим.
 Наша Талия в котурн трагический ногу обула;
 Тотчас же сирму и ты длинную тоже надел.
 Стал я на лире бряцать, подражая Калабрским Каменам;
 Ты, неотступный, опять плектр вырываешь у нас.
 Я на сатиру пошел; ты сам в Луцилии метишь.
 Тешусь элегией я; тешишься ею и ты.
 Что же ничтожней найти? Сочинять эпиграммы я начал;
 Первенства пальму и тут хочешь отнять у меня.
 Брось хоть одно что-нибудь, на все ведь кидаться бесстыдно.
 И нежеланное ты, Тукка, оставь для меня!

(XII, 94)

Оправдание в эпиграмме I, 110 интересно тем, что в нем Марциал полемизирует с защитниками короткой эпиграммы, не признававшими за ней права удлиняться и борющимися против искажения ее исконной формы¹⁴.

¹² А. О л с у ф ь е в. Указ. соч., стр. 77, примечание.

¹³ По этой эпиграмме ясно видно, что уже до издания первой книги эпиграмм Марциала были хорошо известны и пользовались большим успехом у публики, знакомившейся с ними по небольшим их спискам (libelli).

¹⁴ Ср. эпиграмму греческого поэта римской эпохи Пармениона (AP, IX 342):

Музам противно, по мне, если много стихов в эпиграмме
 Разное дело совсем — стадий и длительный бег;
 Много кругов совершают соперники в длительном беге;
 Больших усилий зато требует стадий в одном.

(Перевод Л. В. Блауменау)

Против такого формального взгляда на эпиграмму Марциал горячо восстает, говоря:

Если, Косконий, тебе слишком длинны мои эпиграммы,
 Лучше уж было б тебе салом подмазывать ось!
 Этак тебе и Колосс покажется слишком высоким,
 И маловатым сочтешь Мальчика Брутова ты.
 Знай, что тебе невдомек: у Марса с ученым Педоном
 Часто для темы одной по две страницы идет.
 Вовсе не длинны стихи, от каких ничего не отнимешь,
 А у тебя-то, дружок, даже двустистишья длинны¹⁵.

(II, 77)

Менее резко говорит Марциал, отстаивая эпиграммы, написанные дактилическим гексаметром в книге VI, помещая это оправдание непосредственно после самой длинной из своих эпиграмм (32 строки), написанных этим размером:

«Пишешь гексаметром ты эпиграмму?» — заметит мне Тукка.
 Тукка, ведь принято так, Тукка, так можно писать.
 «Но ведь она же длинна!» — Но и это принято, Тукка.
 Любишь короче? Читай только двустистиши ты.
 Договоримся с тобой: эпиграммы ты длинные можешь,
 Тукка, мои не читать, я же их буду писать.

(VI, 65)

Вполне понятно, что в данном случае Марциал защищается довольно слабо, потому что он и сам, очевидно, не считал подходящим для эпиграммы сплошной дактилический гексаметр и применил его всего четыре раза: I, 53; II, 73; VI, 64; VII, 98, да и то эпиграммы II, 73 и VII, 98 состоят всего из одного стиха каждая¹⁶.

Сущность эпиграммы для Марциала гораздо больше определяется ее содержанием, ее остротой, чем формой и величиной. Об этом он сам вполне определенно говорит в одной из своих эпиграмм «без адресата»:

Хоть ты и пишешь одни только сладкие все эпиграммы,
 Чистя их так, что они кожи белевой белей,
 И ни крупинки в них нет солевой, ни капельки горькой
 Желчи, ты хочешь, глупец, чтобы читали их все ж!
 Пицца — и та ведь пресна, коль не сдобрена вкусом едким,
 Что нам в улыбке, коль с ней ямочки нет на щеке?
 Яблок медовых и смокв безвкусных давай-на ты детям,
 Мне же по вкусу лишь та фи́га, которая жжет.

(VII, 25)

Итак, эпиграмма для Марциала это первым делом острое стихотворение, вовсе не определяемое непременною краткостью. Более точного определения эпиграммы с точки зрения Марциала и по отношению к его собственным стихотворениям мы у него не найдем. Но если рассматривать его

¹⁵ Упомянутый в этой эпиграмме Колосс, посвященный бегу Солнца, был передан по приказу Веспасиана из статуи Нерона (Светоний, «Веспасиан», 18), а статуэтка Брутова Мальчика, о которой говорит Плиний Старший (XXXIV, 82) упоминается Марциалом еще в эпиграммах IX, 50 и XIV, 171.

¹⁶ Две эти эпиграммы считаются некоторыми учеными поэтому за неполные. См. А. И. М а л е н. Марциал. СПб., 1900, стр. 79 сл.

произведения вне зависимости от его собственных определений, то, пожалуй, точнее всего определить его стихи как небольшие произведения самого разнообразного содержания и разной стихотворной формы, лишь с преобладанием в его сборнике едких и острых злободневных стихов, какие и с нашей современной точки зрения являются эпиграммами.

4. СУЖДЕНИЕ МАРЦИАЛА О СОБСТВЕННЫХ ЭПИГРАММАХ

Как из приведенных нами, так и из многих других стихотворений Марциала открывается очень характерная особенность его творчества, какая, правда, заметна и у некоторых других римских поэтов (Катулла, Овидия, Ювенала), но которая особенно ярко выделяется у мастера римской эпиграммы. Это самоанализ. Марциал не предоставляет суждения о своих стихах исключительно читателю, но считает нужным комментировать свои произведения и в них самих, и в специальных предисловиях и посланиях. Такие предисловия, написанные прозой, имеются к книгам I, II, VIII, IX и XII. За исключением предисловия к книге I, все эти послания обращены к определенным лицам, а именно: предисловие к книге II адресовано стоику Дециану, к IX — Торанию, к XII — Теренцию Приску и только одно предисловие, к книге VIII, обращено к самому принцу Домуциану.

Из этих предисловий особенно важны для характеристики Марциала предисловия к I и VIII книгам, в которых Марциал оправдывает содержание своих эпиграмм. В предисловии к книге VIII он льстив и осторожен; в предисловии к книге I — гораздо искреннее и смелее. «Эпиграммы, — говорит он в этом предисловии, — пишутся для тех, кто привык смотреть на игры в честь Флоры. Пусть не входит в наш театр Катон, а коль уж вошел, пусть смотрит. Мне кажется, я вправе заключить мое предисловие стихами:

Коль ты об играх в праздник резвой знал Флоры,
О шутках легких и о вольности черни,
Зачем в театр явился ты, Катон строгий?
Иль только для того вошел, чтоб вон выйти?»

Очень возможно, что это предисловие вызвало насмешки и нарекания, и поэтому в предисловии к книге II Марциал устами Дециана сам пронизывает над подобными предисловиями в прозе, указывая, что эпиграммы должны говорить сами за себя: «Эпиграммам глашатай не нужен и довольно им своего, то есть злого языка: на какую страницу ни взглянуть — вот и послание». И вот, ни к одной из следующих книг Марциал прозаических предисловий не пишет, ограничиваясь лишь вступительными стихами. Одной из самых характерных эпиграмм-посланий является стихотворение в начале второй половины книги III:

Лишь до сих пор для тебя, матрона, написана книжка.
«Ну, а кому же, скажи, дальше писал ты?» — Себе.
Здесь я про стадий пишу, при гимнасий, про термы. Уйди же!
Я раздеваюсь: нагих видеть мужчин берегись.
Тут, после роз и вина, отбросила стыд Терпсихора
И что угодно сболтнуть может она, захмелев.
И не намеком уже, но открыто она называет
То, что приемлет, гордясь, в месяц Венера шестой;

Что посредные своих огородов староста ставит,
 То, на что дева глядит, скромно прикрывшись рукой.
 Если я знаю тебя, то ты длинную скучную книжку
 Бросить хотела. Теперь — жадно прочтешь ее всю.

(III, 62)

Четвертая из пяти вступительных эпиграмм книги I прямо примыкает к тому, что сказано в предисловии к ней и снова оправдывает «Игривую правдивость слов, то есть язык эпиграмм». Обращаясь к цезарю (Домициану) Марциал говорит:

Коль попадутся тебе мои книжки как-нибудь, цезарь,
 Грозных для мира бровей ты из-за них не нахмурь.
 Ваши триумфы сносить приучились тоже насмешки,
 Да и предметом острот быть не зазорно вождю.
 Как на Тимелу порой и на гаера смотришь Латина,
 С тем же челом, я прошу, наши стихи ты читай.
 Может позволить вполне безобидную шутку цензура:
 Пусть шаловливы стихи, жизнь безупречна моя.

Таким образом, оправдывая свои «вольные» стихи, Марциал сравнивает их не только с распущенностью театральных представлений своего времени, но и с народными песенками, искони распевавшимися солдатами на торжественных триумфальных шествиях полководцев-победителей¹⁷. И то же оправдание Марциал приводит в начале книги седьмой:

В праздничном воин венке озорной перебранкой займется,
 В свите когда он пойдет лавром увитых коней.
 Да и тебе не грешно игривым остротам и песням,
 Цезарь, внимать, если их любит и самый триумф.

(VII, 8)

Но, разумеется, самого Домициана (по крайней мере, при его жизни) Марциал не осмеливался делать предметом острот и подносимую этому цезарю книгу V совершенно очистил от шаловливых вольностей, какими полны его предыдущие сборники эпиграмм:

Вам, матронам, и мальчикам, и девам,
 Мы страницы вот эти посвящаем.
 Ты же, тянет кого к бесстыдным шуткам
 И кому по душе их непристойность,
 Ты игривых прочти четыре книжки.
 В этой, пятой — забавы для владыки;
 И Германик ее, не покрасневши,
 Пред Кекроповой девой прочитает.

(V, 2)

¹⁷ Песенки эти известны главным образом по Светониевой биографии Юлия Цезаря (гл. 49 и 51). Например:

Галлов Цезарь покоряет, Никомед же Цезаря.
 Нынче Цезарь торжествует, покоривший Галлию,
 Никомед не торжествует, покоривший Цезаря.

(Перевод Ф. А. Петровского).

Но не только перед цезарем приходилось оправдываться Марциалу, а и перед рядовым читателем, так как игривость и обнаженность его эпиграмм вызывали протест у современных ему Катонов:

Что пишу я стихи не очень скромно
И не так, чтоб учитель толковал их,
Ты, Корнелий, ворчишь. Но ...
.....
Уж таков для стихов закон игривых:
Коль они не зудят, то что в них толку?
А поэтому брось свою суровость...

(I, 35)

Несомненно, однако, и то, что вкусы читателей Марциала были далеко не однородны, и поэтому свою III книгу он остроумно разделяет на две части, предпосылая второй из них приведенное выше стихотворение, а затем в одной из следующих эпиграмм, будучи совершенно уверен, к чему приведет предупреждение матроне, говорит:

Чтоб не читала совсем ты игривую часть этой книжки,
Я и внушал, и просил; ты же читаешь ее.
Но коль Паникула ты, непорочная, смотришь с Лативом,
То не найдешь ничего худшего в книжке. Читай!

(III, 86)

Марциал отлично знал вкусы «непорочных» римлянок, смотревших на представления мимов!

В книге XI, изданной уже в правление императора Нервы к празднику Сатурналий 96 г., Марциал не считает нужным извиняться или оправдываться ни перед новым цезарем, ни перед публикой, над лицемерием которой он постоянно издевается. Характеризуя свои шутки в нескольких начальных эпиграммах этой книги, он не только не защищается и не оправдывается, а наоборот, открыто заявляет, что в настоящее время, да еще в праздник Сатурналий, надо говорить именно так, как он это делает:

Брови угрюмые, взгляд исподлобья суровый Катона,
Да и Фабриция с ним, нахаря, бедная дочь,
Снеси личина и с ней лицемерная благопристойность, —
Что моему существу чуждо, — ступайте вы прочь!
В честь Сатурналий «но!» восклицают стихи мои, слышишь?
Так нам при Нерве теперь можно и любо кричать.
Строгие люди пускай изучают корявого Сантру,
Мне же нет дела до них: эта вот книга — моя.

(XI, 2)

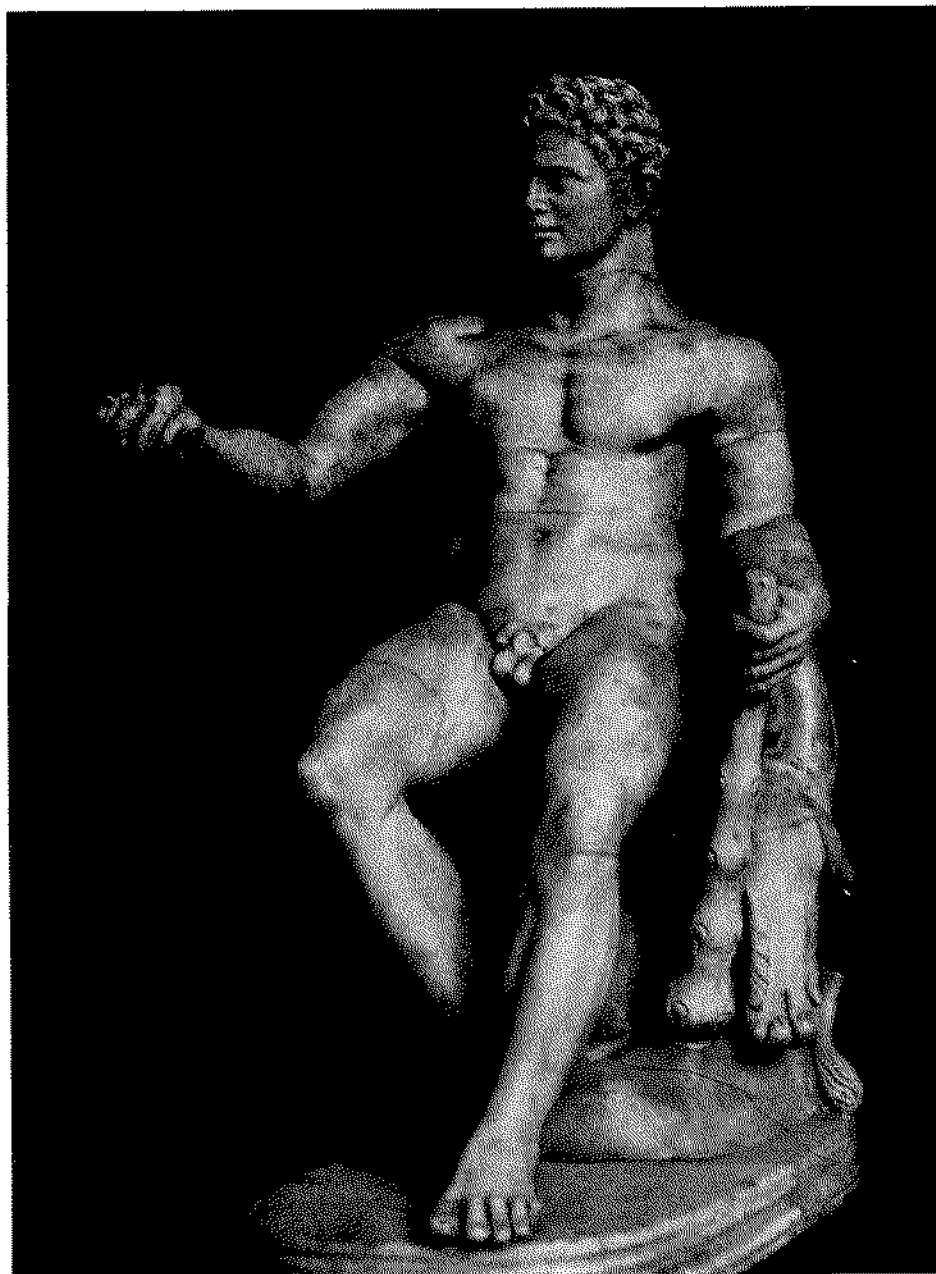
Маленькую оговорку Марциал все-таки делает в одном двустишии:

Вовсе не каждый листок в нашей книге для чтения ночью:
Есть и такие, Сабин, что ты и утром прочтешь.

(XI, 17)

На ту же тему, что и эпиграмма XI, 2 написаны и эпиграммы XI, 6, XI, 15 и XI, 16. В них Марциал повторяет хорошо известные его читателям замечания: в эпиграмме 15 — «Нравы вовсе не наши в этой книжке» (ср. I, 4, стр. 8), в 16 (ср. III, 68):

Книгу мою, покраснев, Лукреция в сторону бросит,
Но лишь при Бруте: уйди только ты, Брут, — и прочтет.



Пирующий Геракулес

(римская работа по оригиналу Лисиппа; реставрирована)

Доводы в защиту и оправдание своих эпиграмм, приводимые Марциалом в начальных стихотворениях книги XI, высказываются им с гораздо большей уверенностью и определенностью, чем в книге I, выпущенной десять лет назад «под властью сурового владыки» (*sub principis duro*), т. е. Домициана (XII, 6).

5. СЮЖЕТЫ ЭПИГРАММ МАРЦИАЛА

По предисловию к книге I и по только что приведенным эпиграммам Марциала ясно видно, что он считает нужным оправдывать одни лишь «вольные» свои стихи. Но далеко не только такого рода стихи составляют содержание книжечек Марциала. Больших, или малопристойных, эпиграмм у него значительно меньше, чем стихотворений иного рода, в которых он является нам и совершенным художником и замечательным бытописателем императорского Рима: «Он все видел и все описал: блюда и обстановку богатого пира и убогого угощения, наряд щеголя и убранство гетеры, тайны римских терм и спадеи, роскошь городских дворцов и загородных дач, все прельщения и разврат театров и цирка, вакханалии Субуры и ужасы Колизея и вместе с тем — такова обаятельная сила его дарования — заставляя еще нас, после восемнадцати столетий грустить с ним над смертью рабыни-малютки и сочувствовать отцу, льющему слезы над могилкой безпреречно похищенной дочери»¹⁸. И все свои зарисовки римской жизни Марциал делает ясным и ярким языком, всегда стремясь к полноте мысли и сжатости ее выражения.

Многие из сюжетов эпиграмм Марциала совпадают с темами его современников — Плиния Младшего и Ювенала, но существенное отличие римского эпиграмматиста от римского сатирика в том, что у него не «порождается стих возмущением», как у Ювенала (сатира I, 79), а он живописует римские нравы со спокойным юмором и острой насмешкой. Кроме того, Марциал описывает жизнь современного ему Рима, а Ювенал в большинстве случаев не то, что есть, а то, что было. Марциалу совершенно чужда «Ювеналовская злость», даже когда он негодует на ужин у какого-то Манцина (I, 43), который, пригласив к себе шестьдесят человек подает им только одного жалкого кабана, или возмущается неким Цецилианом (I, 20), в одиночку пожирающим отборные грибы, «на глазах у толпы приглашенных». Если сравнить обе эти эпиграммы с пятой сатирой Ювенала, сразу станет ясна коренная разница между двумя бытописателями Рима. Одна и та же, по существу, тема занимает у Ювенала целых 173 стиха, а Марциал ограничивается в одной эпиграмме четырнадцатью, а в другой всего четырьмя строчками, но написанными с предельной яркостью и выразительностью.

Подобное же сопоставление можно сделать, если сравнить две эпиграммы Марциала, посвященные статуэтке Геркулеса (IX, 43 и 44) с шестой «Сильвой» книги четвертой Стация. Это сопоставление тем более интересно, что и Марциал и Стаций не только обрабатывают одну и ту же тему, но и говорят об одной и той же статуэтке, принадлежащей Виндику. Можно даже с большой степенью вероятности предполагать, что обе эпиграммы Марциала (в 14 и в 6 строчек) написаны в противовес «Сильве» Стация (в 109 стихов). Надо сказать, что по художественным достоинствам и пятая сатира Ювенала и «Сильва» Стация, облекшего свое стихотворение в форму своего рода новеллы, не уступают кратким эпиграммам Марциала; здесь дело в литературном жанре: эпиграмма должна быть краткой, сатира и стихотворная новелла — давать более подробную и поэтому большую по размерам литературную картину.

¹⁸ А. О л с у ф ь е в. Указ. соч., стр. 80.

6. КРИТИКА МИФОЛОГИЧЕСКОГО ЭПОСА МАРЦИАЛОМ

Но если эпиграммы IX, 43 и 44 написаны в противовес «Сильве» Стация, то выступление с ними Марциала вызвано скорее всего только соперничеством одного поэта-клиента с другим; тематика же указанной «Сильвы» Стация несколько не чужда Марциалу. Но решительно и резко Марциал выступает тогда, когда он восстает против безжизненных произведений на мифологические темы, бывшие в его время в большой моде. Отрицательное отношение Марциала к мифологической поэзии, которой он противопоставляет свои эпиграммы, чуждые всякой напыщенности, видно по многим стихотворениям из разных книг его сборника (IV, 49; V, 53; X, 4; X, 35 и др.). Так, он говорит:

Флакк, уверяю тебя, ничего в эпиграммах не смыслит,
 Кто их забавой пустой или потехой зовет.
 Больше забавы у тех, кто пишет про завтрак Терей
 Лютого, иль про обед твой, беспощадный Тиест;
 Или как сыну Дедал прилаживал плавкие крылья,
 Иль как циклов Полифем пас сцилийских овец.
 Нет! Нашим книжкам чужда напыщенность¹⁹ всякая вовсе,
 Сирмой безумной совсем Муза не грезит моя.
 «Но ведь поэтов таких превозносят, восторженно хвалят!»—
 Хвалят их, я признаю, ну а читают-то нас.

(IV, 49)

Марциалу до смерти надоели и Терей, и Тиесты, и Дедалы, и Полифемы, составлявшие предмет сочинений эпигонов классического эпоса и драмы. В этом отношении он полный единомышленник Ювенала (см. «Сатиры», I, 1—14 и 51 сл.), но, в противоположность римскому сатирику, он остается спокоен: его эпиграммы имеют больше успеха, чем произведения современных ему эпиков и трагиков. И, обращаясь в эпigramме X, 4 к некоему Мамурре (наверное тому же, кого он высмеивает в IX, 59), которого привлекает всякий «вздор на жалкой бумаге», он советует читать свои эпиграммы:

Это читай, где сама жизнь говорит: «Это я»,

и продолжает:

Здесь ты нигде не найдешь ни Горгон, ни Кентавров, ни Гарший,
 Нет: человеком у нас каждый листок отдает.

И, говоря *hominem pagina vostra sapit*, Марциал дает точнейшую характеристику основ своего творчества. Но Мамурра и ему подобные вовсе не хотели узнавать «ни нравов своих, ни себя» в эпиграммах Марциала.

Несмотря, однако, на отвращение Марциала к оторванной от жизни и томительно скучной мифологической поэзии, составлявшей основной предмет публичных декламаций («рцитаций»), он сам постоянно пользуется мифологическими образами, но в огромном большинстве случаев он прибегает к ним вовсе не в угоду вкусам римских поклонников напыщенной поэзии: он применяет эти образы для придания красочности и вырази-

¹⁹ *Vesica* (собственно — мочевой пузырь). Впервые в смысле «напыщенность», «надутость» засвидетельствовано в этой эпigramме.

тельности своим эпиграммам и вводит их в самые насмешливые свои стихи:

Бегал ли Феб от стола и обеда Тиеста, не знаю,
Но от обедов твоих прочь я бегу, Лигурин.

(III, 45)

Так он говорит сочинителю «проклятых поэм», читавшему их гостям во время обеда, задерживая подачу лакомых блюд (см. III, 50 и 44). Мифологические образы и имена не отягчают его эпиграмм: то, что для нас может казаться излишним или непонятным, для современников Марциала было ясно без всяких комментариев.

Суждения Марциала о мифологическом эпосе крайне резки и непримиримы; пожалуй, только в одной из своих эпиграмм, в которой приглашает к себе на обед своего друга Юлия Церриалия, он упоминает о нем с шуточным добродушием:

Юлий ты мой Церриалий, со мной пообедаешь славно;
Коль приглашения нет лучшего, к нам приходи.
Сможешь к восьми подоспеть; с тобой мы помоемся вместе
Знаешь, как близко живу я от Стефановых бань.
Первым тебе будет подан латук, для сваренья желудна
Очень полезный, и с ним перья с порей стеблей;
Следом соленный тупец, покрупнее мелкой лацеры,
Зеленью руты покрыт будет и яйцами он;
Яйца тебе подадут и в золе испеченные теплой,
И на велабрском огне сыра копченого круг;
Да и маслины еще, знававшие холод Пицена —
Это закуска. Теперь хочешь узнать про обед?
Чтобы пришел ты, солгу: будет рыба, устрицы, вымя,
Жирная птица с двора, будет болотная дичь,
Да и такая, какой и Стелла лишь изредка кормит...
Больше того: я тебе вовсе не буду читать.
Лучше уж сам ты читай «Гигантов» опять или «Села»,
В коих к бессмертным стихам близок Вергилия ты.

(XI, 52)

Но добродушие Марциала (правда, с примесью иронии) объясняется тем, что Церриалий был другом Марциала, а друзей своих и покровителей он не задевает!

Отвергая с презрением и негодованием современный ему мифологический эпос, как и «Начала» Каллимаха (X, 4), Марциал с присущей ему дипломатической осторожностью умалчивает о мифологическом творчестве Овидия, которого он постоянно восхваляет как «певца любви» (I, 61; II, 41 и др.). Единственный его отклик на «Метаморфозы» — дистих в *Aprophoreta*:

Этот объемистый том, состоящий из многих листочков,
Целых пятнадцать тебе песен Назона несет.

(XIV, 192)

Также дипломатически относится Марциал и к «Энеиде» Вергилия, которого он оценивает чрезвычайно высоко во многих эпиграммах, но лишь в двух (V, 5 и XIV, 185) упоминает о его эпосе. Видимо, и римские классики мифологической поэзии были не по вкусу Марциалу.

7. ОТНОШЕНИЕ МАРЦИАЛА К ИСТОРИЧЕСКОМУ ЭПОСУ

Совершенно иначе относится Марциал к эпосу историческому — к произведениям Лукана и Силия Италика. Правда, восторженное отношение Марциала к Силию, которого он называет (IV, 14) «славою и честью се-стер Касталских» (*Castalidum decus sororum*) за то, что он в своей поэме о войне Рима с Карфагеном «мощным гласом» громит «нарушение клятв народом диким» и «покоряет славным Африканам» коварного Ганнибала и вероломных карфагенин, можно было бы счесть за лесть влиятельному человеку, которого он просит благосклонно отнестись к его эпиграммам, но такое предположение неосновательно. Если бы Марциал превозносил Силия только для того, чтобы заслужить его благосклонность к себе как поэту, то не стал бы восхвалять его так в эпиграммах VII, 63, XI, 48 и 49 (по изданию Хереуса — 50). Несомненно Марциал приравнивал Силия к Вергилию прежде всего за то, что он взял темой своего эпоса исторические события, а не мифологические вымыслы, жизнь, а не сказки. При такой теме Марциал допускает введение и мифологических образов (которых много в поэме Силия) на том же основании, на котором вводит их и в свои собственные эпиграммы.

Не менее восторженно относится Марциал и к другому автору исторического эпоса — своему трагически погибшему современнику Лукану (тут уж ни о какой лести не может быть и речи), которого он ценит и как автора «Фарсалии» и как автора игривых стихов:

Коль попадутся тебе наши книжки, Полла-царица²⁰,
 Шутки читая мои, лба своего ты не хмурь.
 Твой знаменитый певец, Геликона нашего слава,
 На пизарийской трубе ужасы певший войны,
 Не устыдился сказать, игривым стихом забавляясь,
 «Коль не миньоном мне быть, Котта, на что я гожусь».

(X, 61)

Судя по эпиграмме XIV, 194 с леммой «Лукан»:

Правда, иные меня совсем не считают поэтом,
 Книгопродавец же мой видит поэта во мне,

надо полагать, что большинство римлян было такого же мнения об авторе «Фарсалии», как и Марциал, и только такие «иные», каков был Плиний Младший, считавший Силия Италика не столько талантливым поэтом, сколько ловким версификатором (III, 7, 5) и ни разу не обмолвившийся ни одним словом о Лукане в своих «Письмах», держались другого взгляда на представителей исторического эпоса.

Ни о каких других представителях этого жанра времен ранней империи мы из эпиграмм Марциала не знаем, если не считать упоминания поэмы о «Капитолийской войне», названной в его эпиграмме (V, 5, 7) «поэмой небесною» (*caelestia carmina*), благодаря чему можно предполагать, что ее автором был Домициан. Кроме упоминания об этих стихах у Марциала, никаких сведений о них нет; темой же этих стихов было, очевидно, взятие Рима войсками Антония Прима в 69 г. н. э.²¹

²⁰ Полла Аргентария, вдова Лукана.

²¹ См. Н. А. М а ш к и н. История древнего Рима. М., 1949, стр. 455.

Что касается раннего римского исторического эпоса, то о «Пунической войне» Марциал не говорит ни слова, а Энния упоминает только однажды (V, 10), с пренебрежением отзываясь о поклонниках всякой старины, которой Марциал никогда не увлекался в ущерб произведениям нового времени.

8. ЛИТЕРАТУРНОЕ ОКРУЖЕНИЕ МАРЦИАЛА

Из приведенных на предыдущих страницах примеров видно, как, в сущности, поверхностны суждения Марциала и о тех литературных произведениях, какие ему по вкусу, и о тех, какими он возмущается. Впрочем, нельзя и требовать от поэта-эпиграмматиста глубокого литературного анализа, если он не входит в его основную тематику; но судить о литературных вкусах Марциала можно по его замечаниям и об авторах, предшествовавших ему, и о современных ему писателях.

Что касается классиков греческой и римской литературы, то и Гомер, и Сафо, и Софокл, и Вергилий, и Гораций для Марциала непререкаемые авторитеты. Если он и подшучивает над Сафо, которая для него и «учена» и «любопытна» (VII, 69; X, 35), или говорит, что Вергилий одолел бы «Калабрийского Флакка на Пиндаровой лире» (VIII, 18), то ничего более значительного о признанных всеми классиках он не говорит. К элегикам времен Августа — Проперцию (VIII, 73; XIV, 189), Тибуллу (IV, 6; VIII, 70 и 73; XIV, 193) и даже к Овидию (I, 61; II, 41; III, 38; V, 10; XII, 44; XIV, 192) Марциал относится сочувственно, но суждения его о них интереса не представляют. Гораздо ближе ему эпиграмматисты этого периода — Педон и Марс, которых он упоминает, наряду с Катуллом и казненным Калигулой Гетуликом, в предисловии к I книге в числе своих предшественников.

Но самым любимым поэтом прежних времен был для Марциала Катулл. В ряде своих эпиграмм Марциал и подражает Катуллу и шуточно пародирует его (ср. I, 7 — о голубке Аррунтия Стеллы); в эпиграммах VII, 14 и XI, 6 Марциал более чем игриво толкует «воробья» Лесбии; Катулловы «поцелуи» используются в эпиграммах VI, 34 и XII, 59. Наиболее же интересная из новейших Катулло эпиграмм — I, 109 (о собачке Иссе). В эпиграмме X, 103 Марциал приравнивает себя к Катуллу. Из других поэтов, современников Катулла, Марциал упоминает о Гае Гельвии Цинне, которому Катулл посвятил свое 95-е стихотворение и о котором как об истинном поэте упоминает Вергилий («Эклоги», IX, 35). Судить о творчестве Цинны мы не можем, так как от его произведений не дошло до нас ничего, кроме нескольких разрозненных строчек, но Марциал говорит о Цинне крайне неодобрительно в эпиграмме X, 21. Эта эпиграмма очень существенна для определения литературных позиций Марциала:

Секст, что писанья твои едва и Модест пошмает
Или Кларак, почему это приятно тебе?
Книги твои невозможно читать: Аполлона тут нужно!
Если ты прав, то Марон Цинною был превзойден.
Пусть восхваляют тебя, а я пусть буду любезен,
Секст, для ученых людей и без ученых людей.

(X, 21)

В эпиграмме XIV, 196 Марциал упоминает (согласно лемме) о поэме Кальва «О пользовании холодной водой»:

Эта бумага тебе родники называет и реки,
Но ей бы лучше самой в этой поплавать воде.

(XIV, 196)

Возможно, что этот Кальв — Лициний Кальв, друг Катуллы, но доказать этого нельзя, так как из других источников о такой поэме Лициния Кальва ничего не известно.

Из других писателей катулловского времени Марциал неодобрительно отзывается о грамматике и драматурге Сантре, которого он в одной из приведенных выше эпиграмм (XI, 2) называет «жорявым» (*salebrosus*).

Существенный интерес представляют эпиграммы Марциала и для освещения литературных вкусов и его самого и его современников, а также для выяснения причин упадка римской поэзии, с точки зрения писателей «серебряного века», сознававших преимущества писателей «золотого века» римской литературы перед их собственными произведениями. Марциал утверждает, что ему препятствует стать великим и бессмертным поэтом отсутствие плодотворного для творчества досуга (*otium*) и недостаток таких покровителей, каким был для Вергилия и Горация Меценат. Обращаясь к какому-то Луцию Юлию, Марциал говорит:

Все пристаёшь ты ко мне, драгоценный Луций мой Юлий:
«Праздный лентяй, напиши важное ты что-нибудь!»
Дай мне досуг, но такой, какой в минувшие годы
Флакку мог Меценат, другу Вергилию дать:
Я попытаюсь создать вековечное пронаведение
И от огня уберечь как-нибудь имя свое.
Полею бесплодным идут под ярмом воли неохотно:
Тучная почва томит, но веселит самый труд.

(I, 107)

Оскудение поэзии Марциалу тем более досадно, что в его время Рим стал несравненно благоустроеннее и просторнее, чем в прежние времена:

Ежели дедовский век современности так уступает
И при владыке своем так разрастается Рим,
Ты удивлен, что ни в ком нет искры священной Марона
И не способен никто мощно о войнах грубить.
Будь Меценаты у нас, появились бы, Флакк, и Мароны:
Ты б и на поле своем встретить Вергилия мог.
Землю свою потеряв по соседству с несчастной Кремоной,
Плакал и тяжко скорбел Титир по овцам своим;
Но рассмеялся тогда Этрuscoй Всадник и, бедность
Злую прогнав, обратил в быстрое бегство ее.
«Обогащу я тебя, и да будешь главою поэтов
И полюбишь, — он сказал, — можешь Алексия ты».
Этот красавец служил за столом своему господину,
Темный вливая фалеры мраморно-белой рукой.
Кубки отведывал он губами, что розы, какими
Даже Юпитера мог он привести бы в восторг.

Ошеломленный забыл о толстой поэт Галатее
 И загоревшей от жаты тут Фестилиде своей.
 Тотчас «Италию» стал воспевать он и «Брани и мужа»,
 Он, кто оплакать едва мог до тех пор «Комара».
 Что же о Варии мне говорить, и о Марсах, и прочих
 Обогащенных певцах, трудно которых и счесть?
 Значит, Вергилием я, если дашь мне дары Мецената
 Стану, Вергилием — нет: Марсом я стану тогда.

(VIII, 66)

В связи с начальными стихами этой эпиграммы нельзя не вспомнить эпиграмму, в которой Марциал восхваляет благоустройство Рима при Домициане:

Встарь всю столицу у нас захватил себе лавочник наглый,
 Так что нельзя и пройти было нам к нашим домам,
 Ты же, Германик, велел расширить все переулки:
 Вместо тропинок теперь всюду дороги ведут.
 Нет уже больше столбов, увешанных цепью бутылок,
 И не приходится лезть претору в самую грязь.
 Спихнутый всюду толпой не бреет цирюльник вслепую,
 Не занимает уже улицы грязный кабак.
 Повар, мясник, брадобрей, трактирщик сидят по порогам:
 Рим возродился и стал Римом из рынка теперь.

(VII, 61)

Но, жалуясь на отсутствие досуга (чему одной из главных причин были для Марциала и других поэтов скучные и утомительные обязанности клиента) и на исчезновение щедрых меценатов, Марциал вместе с тем отлично сознает, что не в этом основной корень зла для художественной литературы: это прекрасно видно по заключительному двустопию эпиграммы VIII, 55.

Не имея в своем распоряжении произведений большинства упоминаемых Марциалом современных ему писателей, мы, разумеется, не в состоянии проверить его мнения о них, а должны ограничиться лишь их перечнем с указанием на то, что он об них говорит. Из современных ему писателей, произведения которых до нас дошли, Марциал упоминает следующих: Лукана, Сильия Италика (об отношении к ним Марциала было сказано выше), Персия, единственную книгу которого ценит выше всей «Амазониды» Марса (IV, 29), Плиния Младшего, которому он дает (X, 20, ст. 14 сл.) несколько проницательную характеристику, Квинтилиана, которого называет «главой наставников юношей шатких» и «славою и честью римской тоги» (II, 90), философа Сенеку, называя его «речистым» (VII, 45). Своего ближайшего современника и соперника Стация он нигде не называет по имени. К Стацию, как автору мифологического эпоса, Марциал относился, вне всякого сомнения, отрицательно, и то, что в своих «Сильвах» Стаций писал на те же темы, как и он сам²², не могло ему быть по душе; а таких тем

²² Ср. 1) о статуэтке Геркулеса — Марциал IX, 44, Стаций IV, 6; 2) о банях Этруска — М. VI, 42, Ст. I, 5; 3) о смерти Этруска — М. VI, 83 и VII, 40, Ст. III, 3; 4) о Лукане — М. VII, 21—23, Ст. II, 7; 5) об отступнике Атедия Мелиора — М. VI, 28 и 29, Ст. II, 1; 6) о женитьбе Стеллы — М. VI, 21, Ст. I, 2; 7) о волосах Эарина — М. IX, 16, 17 и 36, Ст. III, 4.

много. Издатели Марциала — Фридендер и Гильберт — предполагают, что Стаций выведен им под именем Гавра в эпиграмме IX, 50:

Как утверждаешь ты, Гавр, мое дарованье ничтожно,
 Ну а любим я всегда только за краткость стихов.
 Не возражаю. Но ты, что в двенадцати книгах Приама
 Выспреяне битвы поешь, ты-то, спрошу я, велик?
 Брутова мальчика мы создаем и живого Лангона,
 Твой же, великий наш Гавр, слеплен из глины Гигант.

В других эпиграммах имя Гавр явно не относится ни к какому писателю, за единственным исключением (II, 89), где, обращаясь к Гавру, Марциал говорит:

То, что ты пишешь стихи без помощи муз с Аполлоном,
 Это хвалить мы должны: сам Цицерон так писал.

Что касается поэтессы Сульпиции (X, 35 и 38), то ее нельзя отождествлять ни с той, от имени которой написана сатира против Домициана, ни с той, стихи которой вошли в сборник элегий Тибулла. В первой из указанных эпиграмм Марциал дает очень интересный отзыв об этой своей современнице:

Все Сульпицию пусть читают жены,
 Что хотят лишь своим мужьям быть милы,
 Все Сульпицию пусть мужья читают.
 Что хотят лишь своим быть милы женам.
 Ни о страсти Колхийки там нет речи,
 Ни о пире свирепого Тиеста;
 В Скиллу с Библидой вовсе там нет веры:
 Учит чистой она любви и верной,
 Удовольствиям, ласкам и забавам.
 Кто достойно стихи ее оценит,
 Никого не найдет ее игривей,
 Никого не найдет ее невинней.
 Таковы, я уверен, были шутки
 У Эгерии в гроте Нумы влажном.
 При таком руководстве или дружбе
 Ты ученой, Сафо, была б и чище.

(X, 35)

В этом стихотворении Марциал кратко высказывает: 1) протест против вздорной мифологической поэзии; 2) одобрение игривой, но не извращенной любовной поэзии; 3) протест против изощренной и противостественной эротики.

Остаются под сомнением упоминания о Ювенале (VII, 24 и 91; XII, 18), так как нельзя с полной достоверностью отождествлять его со знаменитым сатириком. Во всяком случае ни в одной из указанных эпиграмм Марциал не говорит об этом своем друге, как о поэте.

Из писателей, произведения которых до нас не дошли, следует упомянуть следующих:

Стертиний Авит. Консул 92 г. Поэт, друг Марциала, поставивший его бюст в своей библиотеке. Во вступительной эпиграмме книги IX он

назван «величавым поэтом». В этой же эпиграмме Марциал дает одну из лучших своих автохарактеристик:

Тот я, кто в шутках всегда среди всех остается первым:
 Не восторгаешься мной — любишь, читатель, меня.
 Большие пусть о большем поют, мне ж, довольному малым,
 Хватит того, что всегда вновь вы берете меня.

К Авиту обращена и эпиграмма I, 16:

Есть и хорошее, есть и так себе, больше плохого
 Здесь ты читаешь. Иных книг не бывает, Авит.

Каний Руф. Друг Марциала. Историк, поэт и увлекательный рассказчик (I, 61 и 69; III, 20 и 64; VII, 69 и 87; X, 48).

Юлий Цериалий. Друг Марциала. Поэт, автор «Георгик» и поэмы о гигантах, подражавший Вергилию. Как о поэте говорится о нем только в XI, 52, но, видимо, несколько иронически. Так как Цериалий был другом Марциала, он нигде прямо не порицает его мифологической тематики.

Церриний. Эпиграмматист, не желавший обнародовать своих эпиграмм чтобы, как говорит Марциал, не соперничать с ним, его другом (VIII, 18).

Дециан из Эмериты. Друг Марциала. Стоик, литератор, (I, 8; 24; 39; 61; II, предисловие; II, 5). Из обращений к Дециану представляет интерес послание Марциала ко второй книге, написанное в форме диалога с Децианом:

«К чему нам, — говоришь ты, — твое послание? Разве тебе мало того, что мы читаем твои эпиграммы? Что ты еще собираешься сказать здесь такого, чего не в состоянии сказать в стихах? Я понимаю, почему предпосылают послания к трагедиям и комедиям, раз они не могут говорить сами за себя. Эпиграммам глашатай не нужен и довольно им своего, то есть злого, языка: на какую страницу ни взглянуть — вот и послание».

Марциал одобряет Дециана за то, что будучи стойком, он не признает нелепых крайностей этой философской школы.

Фавстин. Поэт, не публиковавший своих произведений; Марциал убеждает их издать (I, 25); покровитель Марциала (III, 2; IV, 10). В эпиграмме VII, 12 Марциал просит Фавстина защитить его от подлогов:

Что мне за выгода в том, коль иные за наши считают
 Стрелы, какие Ликамб кровью своей обагрил,
 Иль изрыгают на всех под именем нашим отраву
 Те, кто не смеют на свет Фебовых выйти лучей?

(ст. 5—8)

Флакк. Бедный поэт из Патавия (I, 61 и 76), которого Марциал уговаривает бросить поэзию и заняться более прибыльной юридической деятельностью. Некоторые комментаторы считали этого Флакка Валерием Флакком, но это неверно.

Лициниан. Судебный оратор, друг и земляк Марциала (I, 49 и 51). Ничего из его речей до нас не дошло, кроме крошечного отрывка из одной речи, приведенного Плинием Младшим: «Какие шутки шутишь ты, Фортуна! Из учителей делаешь сенаторов, из сенаторов — учителей» («Письма», IV, 11, 2). Отрывок этот приводит Норден²³.

²³ E. Norden. Die antike Kunstprosa. Leipzig, 1909, S. 320.

Мемор. Автор трагедий, от которых осталось всего полторы строчки, брат сатирика Турна. Назван в эпиграмме XI, 9 «Римской трагедии честь».

Парфений. Постельничий Домициана. Он был, как видно из эпиграмм IX, 49 и XII, 11, и поэтом. Марциал говорит о нем с похвалой, но чисто внешней.

Турн. Сатирик, брат Мемора (VII, 97; XI, 10). В первой эпиграмме Марциал называет произведения Турна «славными», во второй — его талант «могучим».

Варрон. Какой-то современный Марциалу поэт, которого он считает и отличным драматургом, и лириком, и элегиком. Ничего о нем не известно.

Уник. Поэт, родственник Марциала (XII, 44), по-видимому, элегик, не желавший публиковать своих стихов, как и его брат. Марциал хвалит его, сравнивая с Катуллом и Овидием.

Надо упомянуть еще двух поэтов — *Кара*, одержавшего победу на празднестве в честь Минервы (IX, 23 и 24), и *Коллина*, получившего венок на Капитолийских играх (IV, 54). Никакой характеристики этим поэтам Марциал не дает, а посвятил им свои эпиграммы, очевидно, только как «лауреатам». В эпиграмме V, 5 Марциал упоминает еще поэму о «Капитолийской войне», называя ее «поэмой небесною» и говоря, что ее надо поставить в Палатинской библиотеке рядом с произведениями Вергилия. Можно с полным основанием предполагать, что эта поэма была сочинена Домицианом.

Кроме упомянутых в нашем перечне писателей — современников Марциала, у него есть еще ряд упоминаний об авторах, которых он называет под вымышленными именами потому, что отзывы его о них крайне неблагоприятны.

Как видно из эпиграмм Марциала, далеко не все авторы, которых он упоминает, стремились обнародовать свои произведения. Причины этого могли быть различны, но одной из главных была та, что их сочинения шли вразрез с требованиями, предъявлявшимися Домицианом и его приближенными к литературе, и заключали в себе либо намеки, либо прямые выпады против императора и его приспешников, что было далеко не безопасно, как видно из такой довольно смелой эпиграммы:

Ты шепчешь на ухо всем и каждому, Цинна,
Ты шепчешь то, что можно каждому сказать громко,
Смеешься на ухо, плачешь ты, ворчишь, стонешь,
Поешь ты на ухо, судишь ты, молчишь, воешь,
И до того засел в тебе такой недуг,
Что на ухо, Цинна, ты и Цезаря хвалишь.

(I, 89)

Принимая на себя обличье покровителя литературы, Домициан устраивал каждое пятилетие литературные состязания на празднествах в честь Юпитера Капитолийского, а на своей Альбанской вилле — ежегодные театральные представления и соревнования ораторов и поэтов (Светоний, «Домициан», 4). Нет сомнения в том, что на этих состязаниях награды получали те, кто рабодешно старался угождать «владыке Девяти Сестер», как льстиво именует Домициана Марциал, прося Парфения показать императору роскошно отделанный свиток своих эпиграмм (V, 6). К такой лести, очевидно, были склонны далеко не все дилетанты и поэты того времени.



*Погребальная урна
(найдена под Римом на Via Cassia)*

Из писателей своего времени Марциал самый разносторонний. И так же разносторонен он и как человек. То он льстит и заискивает, то издевается над своими патронами; то он злится на то, что ему не дают тех же кушаний и вин, какие пьет пригласивший его хозяин, то самым добродушным образом смеется над самим собой; то он делается мрачен и угрюм встречая негодяя в обличье строгого философа-книжника, то бывает веселодобродушен, разговаривая с каким-нибудь приезжим, удивляющимся тому, что у него, знаменитого поэта, такой плохонький плащ. Он упоен столичной жизнью и вместе с тем тоскует по родной Испании; ему надоел Рим, где его увижают обязанности клиента, и он бросает его, надолго уезжая в Корнелиев Форум (III, 4), где погружается с таким же интересом в провинциальную жизнь, с каким он наблюдал и живописал жизнь столицы. Он искренне предан своим истинным друзьям и едко подсмеивается

над всяким тщеславием и лицемерием. Пишет напыщенную поздравительную эпиграмму Регулу (I, 12) и искренне жалеет самых незначительных людей. Непосредственные движения души мешаются у Марциала с поддельными восторгами, добродушие с едкой злостью, увлечение римской жизнью с тоской по родине. Все многообразие личности Марциала, все его достоинства и недостатки ярко отражаются в его эпиграммах. Приобретя многих друзей, он нажил, вероятно, еще больше врагов, но завоевал себе необыкновенную популярность при жизни и неувядаемую славу на все века.

9. СУЛЬПИЦИЯ

В 1493 г. в монастыре Боббио²⁴ было обнаружено небольшое поэтическое произведение в 70 стихотворных строк — *heroicum Sulpiciae carmen*, т. е. стихотворение Сульпиции, написанное дактилическим гексаметром. Оно было опубликовано в 1498 г. в Венеции под заглавием «Стихи Сульпиции, жившей во времена Домициана, найденные недавно Георгием Мерулой Александрийцем вместе с другими сочиненьицами» (*Sulpiciae carmina, quae fuit Domitiani temporibus. Nuper a Georgio Merula Alexandrino cum aliis opusculis reperta*). Список, найденный в Боббио, не существует, а вторым древнейшим текстом стихов Сульпиции служит лишь пармское издание 1499 г., сделанное, по всей вероятности, с той же рукописи, что и венецианское.

Стихотворение Сульпиции написано против Домициана, главным образом по поводу его эдикта об изгнании «всех философов из Рима и Италии»²⁵ (Светоний, «Домициан», 10). В конце стихотворения предсказывается (устаи Музы) гибель Домициана.

Эти не известные до конца XV в. гексаметры возбудили живой интерес филологов. Новый образец римской сатиры и то, что автором этого «короткого рассказа» (*fabella*) является поэтесса (см. стр. 8 — *Prima... Romana docui* — и ст. 65, в котором Муза называет автора *cultrix mea*), открывали интересную страницу истории римской литературы; кроме того, это стихотворение было особенно интересно тем, что, очевидно, было написано еще при жизни Домициана.

Имя Сульпиции в заголовке, имя ее мужа Калена в стихе 62, автохарактеристика поэтического творчества в начале стихов и, наконец, упоминание царя Нумы и нимфы Эгерии в стихах 67 и 68 побудили считать «сатиру Сульпиции» написанной той самой Сульпицией, которая была известна всего лишь по нескольким ее строчкам²⁶ и главным образом по двум эпиграммам Марциала (X, 35; X, 38), одна из которых (X, 35) была приведена выше²⁷.

Надо сказать, что творчество Марциаловой Сульпиции, по характеристике римского эпиграмматиста, совершенно отличается от той «сатиры», которая была открыта в конце XV в. Это главное препятствие к тому, чтобы считать эту сатиру подлинной. Кроме того, во всех древних свидетельствах о Сульпиции (у Авзония, Фульгенция, Аполлинария Сидония, в схолиях к Ювеналу) мы видим образ поэтессы Сульпиции подобным тому, который нарисован Марциалом, но не встречаем ни одного упоми-

²⁴ См. «Историю римской литературы», т. I. М., Изд-во АН СССР, 1959, гл. III, стр. 28.

²⁵ Эдикт Домициана относится к 94 г. н. э. (за два года до смерти Домициана).

²⁶ См. схолия к 6,537 Ювенала; стихотворение 9,262 Аполлинария Сидония; Авзоний, 28; Фульгенций, «Мифология», предисловие.

²⁷ Никаких других сведений о Сульпиции и Калене у нас нет.

нания о ней, как об авторе какого-либо сатирического стихотворения. Подозрение в подлинности «сатиры Сульпиция» вызывают и указания в начале «сатиры», где поэтесса говорит о необычности для нее серьезных стихов в гексаметрах, и ни к чему не нужное упоминание Калена (которого упоминает Марциал совершенно естественно), и Нумы с Эгерией, опять-таки встречающееся в первой из эпиграмм Марциала. Данные языка и метрики тоже заставляют сомневаться в отнесении «сатиры» к временам Домициана. Да и самое «открытие» этого произведения лишь в конце XV в., открытие, окруженное какой-то таинственностью и утратой рукописи, вызывают законные подозрения.

Следует обратить внимание на то, что филологии XIX—XX вв. были совершенно противоположных мнений по вопросу о подлинности «сатиры Сульпиция». Издатель римских сатириков Ян считал ее подлинной, Бюхелер — подделкой, Боот считал это произведение фальшивкой XV в., Тиле²⁸ выступил в защиту подлинности этого произведения, считая его посмертно изданным наброском Сульпиция.

Таким образом, вопрос о стихотворении Сульпиция надо считать открытым, но, все-таки, соображения, вызывающие сомнения в отнесении его к творчеству Марциаловой Сульпиции и даже к поэзии времен Домициана, остаются до настоящего времени более вескими, чем доказательства принадлежности его поэтессе, жене неведомого нам Калена.

²⁸ «Hermes», 1916, Bd. 51, S. 233.

Глава XIII

ЮВЕНАЛ

1. Биографические данные о Ювенале.— 2. Сатиры Ювенала.—
3. Тематика сатир Ювенала.

1. БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ О ЮВЕНАЛЕ

«Юний Ювенал, неизвестно — сын или питомец богатого вольноотпущенника, почти до средних лет занимался декламациями, скорее по внутреннему влечению, нежели с целью подготовиться к школьной или адвокатской деятельности. Затем, сочинив остроумную сатиру в немногих стихах на Париса [пантомима] и поэта Клавдия Нерона, чванлившегося короткой, полугодичной военной службой, он усердно занялся литературным трудом этого рода. Несмотря на это, он довольно долго не решался читать что-нибудь даже в небольшом кругу слушателей. Потом, однако, он выступил два или три раза перед многолюдным собранием и с таким успехом, что стал вставлять в новые произведения и сочиненное раньше:

То, чего знатный не даст, даст актер; чего ж ты хлопочешь
У Камерннов, Барей, в просторных приемных вельможи?
Ведь «Пелопея» префектов дает, «Филомела» — трибунов¹.

В те времена любимцем при дворе был актер, и ежедневно многие вышались благодаря его покровительству. Поэтому возникло подозрение, будто Ювенал обиняком осуждает современность, и его тотчас, под предлогом почетной военной службы, удалили из Рима, несмотря на восьмидесятилетний возраст, и отправили префектом к когорте, стоявшей в самой дальней части Египта. Такое наказание было выбрано, как соответствовавшее легкому проступку — шутке. Однако спустя короткое время он умер от тяжкой тоски².

Так гласит одно из жизнеописаний (vitae) Ювенала, дошедших до нас в списках его сатир. Ни начального имени Ювенала, ни годов его рождения и смерти эта краткая биография не дает, но по указаниям некоторых списков сатир, относящихся к X и XI столетиям, можно установить, что начальным именем Ювенала было Децим. Таким образом, крупнейшего римского сатирика времени Империи звали Децим Юний Ювенал (Decimus Iunius Iuvenalis).

¹ Ст. 90—92 из 7-й сатиры Ювенала. Переводы из Ювенала принадлежат Д. С. Недвижчу и Ф. А. Петровскому.

² Приводимый текст взят из издания Гейнриха (D. Iunii Iuvenalis Satirae cum commentariis Caroli Frid. Heinrichii..., I—II. Bonn, 1839).

Кроме сведений, имеющихсЯ в упомянутых жизнеописаниях Ювенала, мы располагаем кое-какими биографическими данными из сохранившихся к его произведениям; но из самих сатир Ювенала нельзя извлечь почти никаких данных о его жизни. Что же касается, посвятельной надписи, найденной на родине Ювенала — в городе Аквине (CIL., 10, 5382)³, а равно и эпиграмм Марциала (VII, 24 и 91; XII, 18)⁴, то доказать с несомненностью, что они относятся к сатирику Ювеналу, не представляется возможным.

Таким образом, имеется чрезвычайно мало документальных данных для составления хотя бы краткой, но достоверной биографии Ювенала; добавим, что и его *vitae*, несмотря на вероятное восхождение их к общему источнику, в отдельных случаях дают несогласные показания. Вот что можно извлечь из указанных документальных данных.

Децим Юний Ювенал родился в Аквине (нынешнем Аквино), древнем городе вольсков в Лации (сатира 3, 319). Был ли он сыном или воспитанником вольноотпущенника, как указывается в приведенном жизнеописании, установить по другим источникам нельзя, но по намекам в его сатирах (1, 101 и 4, 98) можно думать, что происхождения он был незнатного. Однако родители Ювенала были несомненно людьми состоятельными, благодаря чему он мог получить хорошее риторическое образование (сатира 1-ая, 15 сл. и 6-я, где приводятся примеры школьных декламаций). Когда Ювенал приехал в Рим, решить нельзя, но что он хорошо знал известных в его времена литераторов, видно по его собственным свидетельствам. Так, он говорит о Стации:

Смотришь, бегут на чтение приятной для всех «Фиваиды»,
Только лишь Стаций назначил день и обрадовал город.
Что за нежностью он охватил плененные души,
Что за страсть у толпы послушать эту поэму!
Но хоть скамьи и трещат под народом,— а Стацию кушать
Нечего, коль не продаст он новинку «Агаву» Парису:
Должности тот раздает почетные часто и щедро
И на полгода кольцом золотым обручает поэтов.

(7, 82—89)

³ Вот перевод этой надписи (дополнения несохранившихся частей даны в скобках):
Ц[ере] ре [Д. Ю]ний Ювенал [трибун I] ког[орты] Далматов, дуум[вир] квинк[с]
[еиннальский], фламин божественного Веспасиана, посвятил это, согласно обету, на
свои сред[ства].

⁴ Последняя из этих эпиграмм приведена в гл. XII. Первые две гласят следующее:

VII, 24

Всячески сорить меня пытаюсь с моим Ювеналом,
Слетает каких только ты, злостный язык, не плетешь?
Из-за вранья твоего и Орест не влюбил бы Пилада,
И Пирифою бы мог стать ненавистен Тезей;
Братьев поссорил бы ты Сицилийских, и славных Атридов,
И во врагов обратить мог бы и Леды сынов.
Вот какой кары тебе за бесстыдство твое я желаю:
То, что паверное ты делаешь, делай язык!

VII, 91

Вот сатурнальских тебе, Ювенал мой речистый, орехов
Я посылаю теперь с маленькой нашей земли.
Все остальные плоды раздарил шаловливым девчонкам
Щедрый распутник у нас — бог — охранитель садов.

Обе эти эпиграммы изданы Марциалом в декабре 92 г.

О Квинтилиане Ювенал упоминает трижды (6, 75 и 280; 7, 186—189). Нельзя, однако, решить по этим указаниям, что Ювенал был в близких отношениях с каким-либо из этих писателей. Можно говорить о дружбе Ювенала только с литературным врагом Стация — Марциалом, если только указанные выше эпиграммы Марциала относятся к сатирику Ювеналу, а не к другому одноименному с ним лицу. Сам Ювенал нигде о Марциале не упоминает.

Хотя никаких данных о годе рождения Ювенала из его собственных произведений извлечь не представляется возможным⁵, но в одной из его vitae сообщается, что Ювенал родился во времена Нерона (*oriundus est temporibus Neronis Claudii imperatoris*), а в другой сказано, что он умер в царствование Антонина Пия (*decessit... Antonino Pio imperatore*). Так как эти указания очень правдоподобны и косвенно подтверждаются некоторыми данными сатир, то можно думать, что они правильны; и мы вправе определять время жизни Ювенала приблизительно 60—140 гг. н. э.

Рассказ об актере Парисе и о ссылке Ювенала в Египет на должность префекта когорты никакими данными самих сатир не подтверждается. Но рассказ или легенда о ссылке Ювенала встречается и у византийских авторов летописца VII столетия Иоанна Малалы (*Хроника*, 10, р. 341 *Chilm.*) и лексикографа десятого века Свиды (под словом *Юуვენάλιος*). Что касается слов латинского поэта V в. Сидония Аполлинария, в которых видят указание на ссылку Ювенала, то несмотря на вероятность такого предположения текст Сидония Аполлинария не дает имени Ювенала⁶.

Был ли действительно сослан Ювенал, решить в настоящее время не представляется возможным; Ф. Вильнев в предисловии к изданию Ювенала⁷ считает эту ссылку совершенно легендарной. Но если Ювенал и был выслан из пределов Италии, то уж никак не в Британию, как указывают некоторые жизнеописания, а в Египет⁸. Во всяком случае, близкое знакомство Ювенала с Египтом можно считать совершенно несомненным на основании сатиры 15, особенно стихов 44—46, где Ювенал ссылается на личное наблюдение:

Правда, Египет

Груб, но по роскоши, сколько я сам замечал, не уступит
Эта толпа дикарей пресловутому граду Канону.

⁵ Предположение Фридендера на основании сат. 13, 17, что Ювенал родился в 67 г. н. э., в настоящее время можно считать опровергнутым (см. W. S. Teuffel. *Geschichte der Römischen Literatur*, Bd. 3, Leipzig, 1913, § 331, 1).

⁶ Вот что говорит Сидоний Аполлиний (*Carm.*, 9, 269):

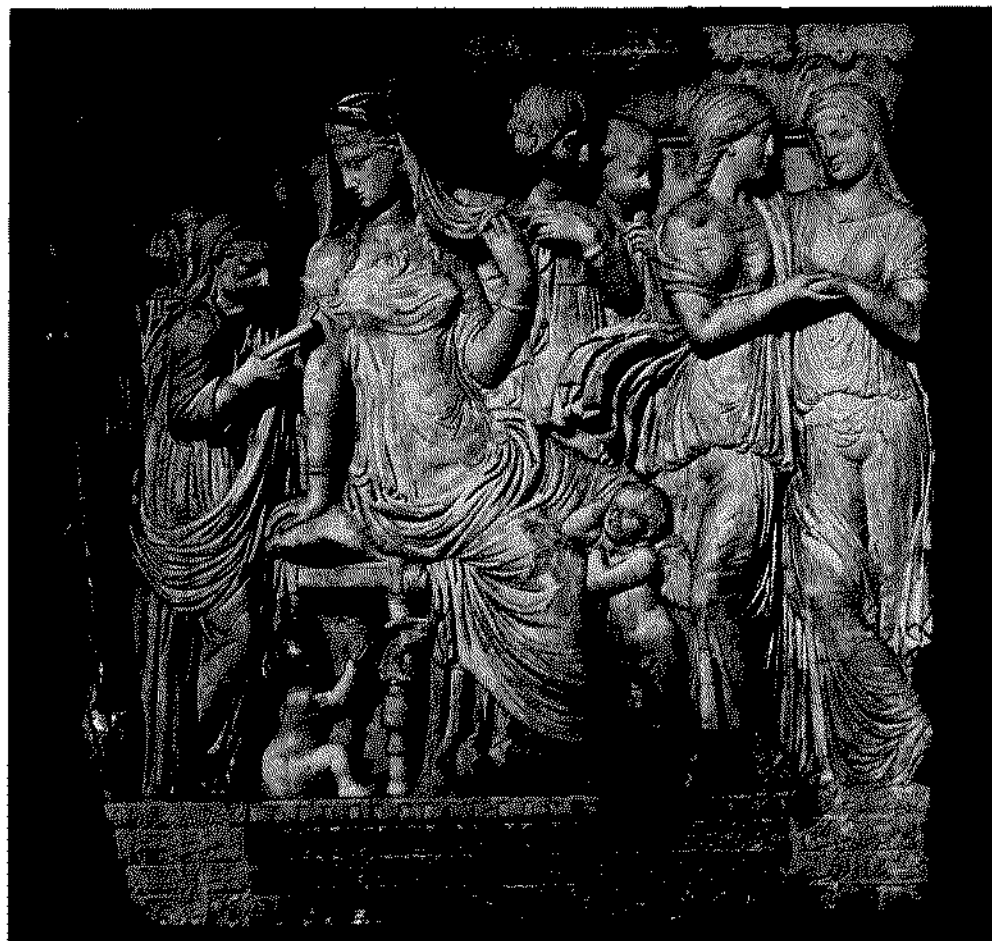
Non qui tempore Caesaris secundi
Aeterno incoluit Tomos reatu,
Nec qui consimili deinde casu
Ad vulgi tenuem strepentis auram
Irati fuit histrionis exul.

И не тот, времен Цезаря второго,
Кто навек присужден был к жизни в Томах,
И не тот, кто потом на ту же участь,
Из-за сплетен толпы и слухов вздорных,
Изгнан был раздраженным лицедеем.

(Перевод Ф. А. Петровского)

⁷ J u v é n a l. *Satires*, Paris, 1931, p. XIX.

⁸ См. А. Адольф. *Сатиры Д. Юния Ювенала*. М., 1888, стр. XVI.



Федра со своей кормилицей
(стенка саркофага; найдено на Via Aurelia)

Да и другие тексты Ювенала говорят о знакомстве его с Северной Африкой (см. 10, 194; 11, 124).

Указания жизнеописаний на Париса, на высылку и назначение префектом когорты восьмидесятилетнего старика, свидетельство одного из жизнеописаний, что Ювенал в ссылке дополнил и многое изменил в своих сатирах, — все это создает полную путаницу свидетельств Ювеналовых жизнеописаний и до настоящего времени не привело ни к каким достоверным указаниям относительно его биографии. Можно только сказать, что тематика сатир Ювенала касается главным образом времен правления Домициана.

2. САТИРЫ ЮВЕНАЛА

Произведения Ювенала его сатиры (или сатуры) дошли до нас в списках, из которых древнейший, заключающий лишь восемь последних стихов сатиры 14 и 43 начальных стиха сатиры 15 вместе со схолиями, датируется IV в. Это палимпсест, находящийся в настоящее время в ватиканской библиотеке. Древнейшая полная рукопись относится к IX в.; это Codex Pithoeanus, названный так по имени его прежнего владельца французского ученого XVI в. Пьера Питу. В настоящее время этот манускрипт находится в Монпелье, почему и называется также Codex Montepessulanus. Сохранились и древние комментарии (схолии) к Ювеналу⁹.

Шестнадцать сатир Ювенала были в древности объединены в сборник, разделенный на пять книг (I книга — сатиры 1—5; II — сатира 6; III — сатиры 7—9; IV — сатиры 10—12; V — сатиры 13—16). По такому счету цитирует их, между прочим, грамматик Присциан (491—518 гг.).

Время сочинения отдельных сатир Ювенала можно определить лишь очень приблизительно, а общераспространенное мнение буржуазных ученых о том, что сатиры Ювенала (или по крайней мере, книги, в которых они распределены) следуют в сборнике в хронологическом порядке, ни на каких веских данных не основано.

1-я сатира написана не ранее 100 г. н. э. (при Траяне), что устанавливается по стиху 49-му, в котором упоминается как изгнанник Марий Приск, осуждение которого произошло в январе 100 г.¹⁰

2-я сатира, судя по стихам 29 и 160, написана вскоре после смерти императора Домициана (в 96 г.), так как в первом из этих стихов Ювенал намекает на связь Домициана с его племянницей Юлией, а во втором говорит о завоевании римскими войсками Оркад (т. е. нынешних Оркнейских островов, к северу от Шотландии), что произошло в 84 г. н. э. (см. Тацит, «Агрикола», 10). И о связи Домициана с Юлией, и о завоевании Оркад Ювенал говорит как о событиях недавних¹¹.

В 3-й сатире, по-видимому, нет указаний на время ее сочинения.

4-я сатира, очевидно, написана после 1-й, так как ее начальные слова «Снова Криспин» (*Esse iterum Crispinus*) можно отнести только к стиху 26 1-й сатиры. Но даже и это весьма неопределенное хронологическое указание нельзя считать безусловным: имя Криспин, которое встречается и в сатирах Горация, и у Персия, и у Марциала, вполне могло быть не столько собственным, сколько нарицательным именем. По упоминанию

⁹ Подробный разбор рукописного предания Ювенала см. в книге: D. Iunii Iuvenalis Satirae. Editorum in usu edidit A. E. Housman. Cambridge, 1938.

¹⁰ О процессе Мария Приска см. П л и н и й М л а д ш и й. Письма, II, 11 и 12.

¹¹ В ст. 29 стоит *purper*, а в ст. 160 — *modo*. Относительно промежутка времени, обозначаемого наречием *purper*, см. ниже, стр. 228.

Домициана как «последнего Флавия» (*lasceret Flavius... ultimus*) в стихах 37—38 ясно, что сатира написана после смерти Домициана.

По тексту 5-й сатиры определить время ее сочинения не представляется возможным.

6-я сатира. Время сочинения этой самой длинной из сатир Ювенала, занимающей в его сборнике всю книгу II, обычно определяют по следующим данным.

1. В указании стиха 555, что «Дельфийский оракул умолк» (*Delphis oracula cessant*) видят доказательство издания 6-й сатиры при Траяне, так как дельфийское прорицалище было восстановлено императором Адрианом; а следовательно, этот оракул снова заговорил.

2. В стихе 205 упомянуты золотые монеты, названные *Dacicus* и *Germanicus* — титулами, относящимися (по данным нумизматики) к Траяну.

3. В стихах 407—411 говорится о сильном землетрясении в Антиохии. Считается несомненным, что имеется в виду землетрясение 115 г. (или ближайших лет). Так же определяется и время появления упомянутой в этих стихах кометы.

На основании этих данных полагают, что сатира 6 написана при Траяне.

Но данные эти очень неопределенны.

1. Указание на молчание Дельфийского оракула вполне могло быть сделано и при Адриане, так как заботы этого императора о возобновлении дельфийских прорицаний были в достаточной мере тщетны. В этом указании можно было бы видеть и доказательство того, что 6-я сатира написана и до правления Траяна, поскольку этот император тоже старался восстановить пришедшее в упадок дельфийское прорицалище¹².

2. Золотые монеты времен Траяна были в обращении и после его смерти.

3. Указание на комету и землетрясение в связи с контекстом, изображающим женскую болтовню и сплетни, не может иметь никакого хронологического значения. Кроме того, такие астрономические феномены, как кометы, в отличие, например, от затмений Луны, никоим образом не могут служить достоверным опорным пунктом для восстановления хронологии.

Ясно поэтому, что время сочинения 6-й сатиры из ее текста сколько-нибудь точно не определяется. В этой сатире нет никакого стройного плана: она как бы составлена из отдельных кусков. Скорее всего можно думать, что отдельные ее части написаны в разное время, а датировать окончательное ее составление более чем затруднительно.

7-я сатира тоже не поддается датировке. Начальный стих этой сатиры:

Только в Цезаре смысл и надежда словесной науки

Адольф¹³ считает относящимся несомненно к Траяну; Вейднер¹⁴ осторожно говорит, что, если сатиры в сборнике Ювенала расположены в хронологическом порядке, Цезарь, к которому относится начальный стих, должен быть Адриан; Фридлиндер¹⁵ полагает, что большая часть 7-й

¹² См. A. Bouché-Lesclercq. *Histoire de la divination dans l'antiquité*. t. 3. Paris, 1880, p. 200 sqq.

¹³ «Сатиры Д. Юния Ювенала», стр. 255.

¹⁴ D. Iunii Iuvenalis *Saturae*. Erklärt von Andreas Weidner. Leipzig, 1873, S. 15, § 16.

¹⁵ Friedländer. *Sittengeschichte*, III, 413. Приводим мнение Фридлиндера по ссылке на него Вейднера (там же, примечание 3).

сатиры (начиная со стиха 22 или 36) написана при Траяне, а начало ее сочинено при Адриане. Можно добавить еще, что автор приведенного выше жизнеописания Ювенала указывает на то, что некоторые стихи 7-й сатиры принадлежат к самым ранним поэтическим опытам Ювенала.

Доводы указанных нами ученых настолько шатки, что приходится считать время сочинения 7-й сатиры тоже неопределимым.

8-я сатира дает единственное точное хронологическое указание на современные Ювеналу события в стихе 120:

Раз так недавно Марий раздел догола африканцев.
Cum tenuis nuper Marius discinxerit Afros.

Процесс Мария Приска (как уже указано выше при разборе датировки первой сатиры) происходил в 100 г. н. э. Но наречие *nuper* (недавно) здесь так же неопределенно, как в сатирах 2, 29; 4, 9; 15, 20 и как *modo* в сатирах 2, 160 и 4, 77. Можно, таким образом, установить только то, что 8-я сатира написана после 100 г. н. э.

В 9-й сатире никаких хронологических указаний на время ее сочинения нет.

10-я сатира. «В сатире, — говорит Адольф¹⁶, — не встречается никаких хронологических указаний, но, несомненно, что она, как и следующие за ней сатиры, написана в преклонных летах поэта, когда едкость сатиры сменилась спокойным размышлением старца, наученного житейским опытом относиться более снисходительно к человеческим заблуждениям». Совершенно очевидно, что подобные рассуждения не имеют никакой доказательности, а других доводов в пользу сочинения этой сатиры Ювеналом в старости нет.

По сатирам 11-й и 12-й установить время их написания невозможно¹⁷.

В сатире 13-й есть, на первый взгляд, определенное хронологическое указание:

Изумляться тебе ль, что несешь за плечами
Шесть десятков годов, что рожден в консулат Фонтя?

(ст. 16—17)

Вероятнее всего¹⁸, Ювенал указывает на консулат 67 г. н. э. Прибавив 60 лет, мы получим год написания сатиры 127-й. Но беда в том, как правильно указывает С. К. Апт¹⁹, что *sexaginta* вовсе не указывает точно на шестьдесят лет, так как число 60 употреблялось римлянами для неточного обозначения большого числа. Кроме того, доказать, что Ювенал имеет ввиду именно консулат 67-го, а не 59-го (или даже 12-го) года н. э., безусловно, невозможно²⁰.

Упоминание в стихе 98 Архигена, известного врача времен Домициана, Нервы и Траяна, также не дает никакой хронологической опоры.

В 14-й сатире нет опорных пунктов для ее датировки.

Сатира 15-я считается оконченной, безусловно, не ранее 128 г. на основании указания в стихе 27, что случай каннибализма, описанный

¹⁶ «Сатиры Д. Юния Ювенала», стр. 343.

¹⁷ Только по стихам 201 сл. сатиры 11-й можно, да и то предположительно, заключить, что она написана Ювеналом в старости.

¹⁸ См. А. Адольф. Сатиры Д. Юния Ювенала, стр. 423.

¹⁹ «Сатира Ювенала» (диссертация). М., 1950.

²⁰ См. ниже, в разборе хронологии сатиры 15-й.

в этой сатире, произошел в недавнее консульство Юнка (*purer consule Iunco*). Но доказательства такой датировки далеко не безусловны.

1. Чтение *Iunco* в стихе 128, принимаемое новейшими издателями Ювенала²¹, отнюдь не является единственным рукописным чтением. Хотя оно и засвидетельствовано палимпсестом из Боббио, датированным концом IV в. (Во. 5750 в библиотеке Ватикана), Мюнхенской рукописью XI в. (A) и некоторыми другими, но лучший список Ювенала — *Codex Pithoeanus* (P) дает чтение *iunpro*, а списки класса ψ (за исключением OU, дающих *iunio-iunio*, которое К. Ф. Гейрих²² считает единственно правильным (добавим: и труднейшим — *lectio difficilior*, то есть по закону критики текста предпочтительным)²³.

Во времена Ювенала, говорит Гейрих, было два консула Юния; один в 119 г., одновременно с Адрианом — *Quintus Iunius Rusticus*, другой — при Домициане.

2. Ссылка на то, что случай каннибализма указывается Ювеналом как происшедший недавно (*purer*), совершенно не годится для хронологических комбинаций, так как Ювенал, как и другие римские писатели, не придает этому наречию определенного временного значения с указанием на ближайшее время²⁴.

3. Если принимать в стихе 27 чтение *Iunco* и полагать, что под этим именем разумеется консул Л. Эмилий Юнк, то почему же не считать возможным, что для обозначения года Ювенал мог здесь указать имя консула не только первого по упоминанию в консульских фастах, а даже совсем в них не упомянутого, а известного в качестве консула 127 г. лишь по другим источникам?²⁵ Ведь в доказательство того, что в сатире 13-й указывается консул 67-го, а не другого года, исследователи Ювенала ссылаются как раз на то, что в хронологических указаниях древних авторов год указывается непременно по имени первого из консулов (так сказать, консула-эпонима).

Надо сказать, что затруднения возникают и при чтении *Iunio* (о чтении *iunio* и *iunio* нечего и говорить, т. е. *Iunio-Junjo* (в два слога). Консула 119 г. как можно считать установленным²⁶, звали не Юний, а Мессий Рустик; что же до консула времен правления Домициана (*unter Domitian*), то для нас совершенно неясно, кого имеет в виду Гейрих. Единственно возможным предположением представляется нам то, что под именем консула Юния (если принимать чтение P) разумеется консул 53 г. н. э. (при Клавдии, на третий год рождения Домициана) Децим Юний Силан (*Decimus Iunius Silanus*), имя которого в консульских фастах стоит на первом месте. Но при таком предположении никаких точных данных о времени сочинения 15-й сатиры на получается.

²¹ См. *J u v e n a l. Satires. Texte établi et traduit par P. de Labriolle et F. Villeneuve. 2-me éd., Paris, 1931; D. Iunii Iuvenalis Saturae... edidit A. E. Housman. Cantabrigiae, 1938.*

²² *D. Iunii Iuvenalis Satirae. Ex emend. et c. comm. C. F. Heinrichii, vol. II. Bonn, 1839, p. 501.*

²³ О рукописях Ювенала см. предисловие к указанному выше изданию Хаусмана (Housman). Условные обозначения кодексов Ювенала даны по этому изданию.

²⁴ У Юлия Цезаря, например, *purer* употребляется при рассказе о событиях, происшедших два года назад («Записки о Галльской войне», I, 6), несколько месяцев (там же, I, 37) и 13—15 лет тому назад (там же, I, 40).

²⁵ Об этих источниках см. в издании *D. Iunii Iuvenalis Saturae. Erklärt von Andreas Weinder (Leipzig, 1873, S. 295). W. S. Teuffel. Geschichte der Römischen Literatur, Bd. 3, § 331, 1 (Leipzig, 1913).*

²⁶ См. А. Адольф. Сатиры Д. Юния Ювенала, стр. 476 со ссылкой на Боргеги, а также в издании Вейднера (стр. 295) откуда, очевидно, и взял свое примечание Адольф.



*Алтарь с маской Зевса-Аммона
(I в. н. э.)*

Принимая во внимание все сказанное, мы можем заключить только то, что данные текста 15-й сатиры не дают никаких твердых оснований для ее датировки.

Что касается 16-й сатиры, которую, по словам схоластика, многие не одобряют и считают не принадлежащей Ювеналу (*Ista a plerisque expeditur et dicitur non esse Iuvenalis*), то в настоящее время она признается несомненно подлинной. Что же до времени ее сочинения, то данных для определения этого не имеется.

При перечислении сатир Ювенала мы нарочно остановились на многих вопросах о датировке их, чтобы показать, насколько критерии этой датировки неопределенны и во многих случаях очень шатки. Основной ошибкой аргументации при определении времени сочинения или издания отдельных сатир Ювенала (если только такие отдельные издания были при его жизни) следует считать общераспространенное, но совершенно априорное убеждение в том, что сатиры в дошедшем до нас их сборнике расположены в хронологическом порядке. Против этого убеждения очень основательно выступил С. К. Апт в уже упомянутой нами выше диссертации.

Наиболее полным переводом сатир Ювенала на русский язык в XIX в. является перевод Фета (1885). Перевод А. Адольфа, напечатанный вместе с латинским текстом, вышел в 1888 г. Перевод этот снабжен обширным

комментарием, но некоторые части отдельных сатир не переведены, а сатира 9-я совсем выпущена. Полный перевод сатир Ювенала со включением и стихов, сохранившихся только в Оксфордской рукописи XI в. и обнаруженных в 1899 г. Винстедтом (34 стиха между стихами 365 и 366 и два стиха после стиха 373 сатиры 6-й), сделан Д. С. Недовичем и Ф. А. Петровским и вышел в 1937 г.

Несмотря на недостаточность и недостоверность сведений о жизни Ювенала и на отсутствие данных в его собственных произведениях, за исключением всего нескольких отдельных указаний, которые могут быть автобиографичны²⁷, мы тем не менее можем с полной несомненностью заключить, во-первых, что Ювенал был современником Марциала, Стация, Тацита и Плиния Младшего, а во-вторых, что основная тематика его сатир возникла из наблюдений современного ему римского общества, главным образом времен Домициана.

Хотя на основании каких-либо документальных данных невозможно определить общественное положение Ювенала с достаточной степенью достоверности, но общая направленность и тон его сатир довольно ясно указывают, что Ювенал занимал в римском обществе далеко не высокое положение. Если мы и не имеем права безусловно отождествлять сатирика Ювенала с Ювеналом, другом Марциала, у нас есть, однако, данные для заключения, что оба эти поэта — эпиграмматист и сатирик — принадлежали к одному и тому же слою римского общества. Очень вероятно, что Ювенал, как и Марциал, был в Риме клиентом²⁸. Благодаря этому Ювенал мог быть хорошо знаком с бытом и нравами господствующих слоев римского общества, наблюдать его разложение. Доказательств такого знакомства в сатирах Ювенала сколько угодно, а наиболее яркие примеры дают сатиры 1-я и 6-я.

Дошедший до нас сборник сатир Ювенала, несомненно, представляет собой не простой свод его произведений, а книгу, в которой отдельные части распределены по возможности систематически. Очень хорошо это видно по 1-й сатире сборника, которая представляет собой не только отдельное самостоятельное произведение, но и введение ко всем остальным сатирам. В этой сатире Ювенал излагает свое писательское credo.

Содержание этой сатиры таково.

В с т у п л е н и е (1—21). Протестуя против бесплодной и мертвой мифологической поэзии и публичных декламаций современных ему поэтов (1—14), Ювенал говорит, что ввиду общего увлечения сочинительством он и сам решает сделаться поэтом, но последовать примеру не современных «певцов» (*vates*), а избрать поприще Луцилия, т. е. писать сатиры (15—21).

О с н о в н а я ч а с т ь (22—146). — Обратиться к сатире Ювенала побуждает крайний упадок нравов в Риме, упадок, дошедший до степени настоящего общественного бедствия. С искусством подлинного художника Ювенал, не тратя лишних слов и в исключительно ярких красках, описывает разврат, обманы, грабеж, подлоги, зазнайство безродных выскочек и всевозможные другие пороки, захватившие римское общество, потерявшее всякий стыд, совесть и чувство собственного достоинства. Ювенал негодует на упадок и разложение родовой римской знати, на разбогатевших вольноотпущенников, вышедших из среды иноземных рабов, на побе-

²⁷ Считать даже такие стихи, каков, например, стих 203 сатиры 11-й с указанием на старческий возраст безусловно относящимся к действительному Ювеналу, а не к литературному «я», от лица которого написана та или другая сатира, никак нельзя.

²⁸ Указание на это в сатире 1-й, 95—108 можно считать достаточно автобиографичным.

дившую все и вся власть денег. Картины живописуемого им бедствия Ювенал как бы обрамляет восклицаниями о том, что все это неизбежно вызывает обличения в сатире: «Трудно сатир не писать...» (30 сл.), «Ясно, каким раздраженьем пылает иссохшая печень...» (45), «Это ли мне не считать венецийской лампы достойным²⁹, Этим ли мне не заняться?»³⁰ (51 сл.), «Разве не хочется груды страниц на самом перекрестке враз исписать...» (63 сл.). И эти замечания заключаются знаменитым изречением (79):

Si natura negat, facit indignatio versum.
Коль дарования нет, порождается стих возмущеньем.

Эта формула имеет исключительно важное значение для суждения о взглядах Ювенала на поэзию, которая, по его мнению, должна иметь своим источником жизнь, а не выдуманную безжизненную тему. Жизнь во всех ее проявлениях и во взаимном их переплетении — вот истинная тематика поэзии и особенно поэзии сатирической, сатуры в ее исконном значении:

С самой истопа поры, когда при вздувшемся море
Девкалион на судне всплыл на гору, судьбы пытая,
И понемногу согрелись дыханьем размякшие камни,
И предложила мужам обнаженных девушек Пирра,
Все, что ни делают люди, — желанья, страх, наслажденья,
Радости, гнев и раздор — все это начинка для книжки³¹.

(см. 81—86)

З а к л ю ч е н и е (147—171). Заключительная часть 1-й сатиры посвящена Ювеналом вопросу об отношении сатирического жанра к современной поэту жизни Рима и о возможности сочинения сатир в тех общественно-политических условиях, какие создались в императорскую эпоху. Ювенал считает, что самый богатый материал для сатиры доставляет именно его время, когда (149)

Всякий порок до предела дошел,

и (147)

Нечего будет потомству прибавить к таким нравам
Нашим.

Но для обличительной сатиры необходимы: «талант, равносильный предмету» (*ingenium par materiae*), безрассудная смелость, потому что за любой намек на живое лицо, достойное сатирического изображения, можно поплатиться жизнью. Древние (разумей: Луцилий) обладали возможностью говорить прямо о том, «что придет сгоряча им в голову» (150 сл.), ну а теперь гораздо безопаснее «сталкивать Энея с Рутулом диким», т. е. писать на мифологические темы |

²⁹ Имеются в виду сатиры Горация, который был родом из Венузии.

³⁰ Это замечание дополняется напоминанием о ничтожности мифологической тематики:

... А что еще более важно?

Путь Диомеда, Геракла, мычанье внутри Лабиринта,
Или летящий Дедал и падение в море Икара?

³¹ *Nostri farrago libelli est.* Слово *farrago* вполне соответствует по значению исконному смыслу термина *satura*. См. «Историю римской литературы», т. I. М., Изд-во АН СССР, 1959, гл. XIV — «Равняя римская сатура».

Принимая все это во внимание, Ювенал решает попробовать

...что позволительно против
Тех, кого пепел покрыт на Фламиньевой или Латинской,

(см. 170—171)

т. е. писать сатиры на умерших уже сильных мира. Формально Ювенал и нападает или только на умерших, или же на тех из живых лиц, какие не могут ему повредить, как, например, присужденный к вечному изгнанию Марий (Приск), о котором он говорит в 1-й сатире (49 сл.); но по существу он, разумеется, имеет в виду главным образом не мертвых (вроде Нерона, Мессалины и др.), а живых, которых он либо совсем не называет по имени, либо разумеет под другими именами, как это было общепринято в его время.

2-я сатира направлена против лицемеров, которые, наделяя личину блюстителей нравов и выдавая себя за философов-моралистов, предаются самым гнусным порокам. Ювенал обличает разврат и пороки мужчин, используя очень выразительно прием градации. Свое возмущение лицемерием он облакает в форму риторического вопроса:

Разве терпимо, когда мятежом возмущаются Гракхи?³²
Кто не смешал бы небо с землей и моря с небесами,
Ежели Верресу вор не по праву, Милону — убийца,
Если развратников Клодий винит, Катилина — Цетега,
А триумвиры не терпят проскрипций учителя-Суллы?

(см. 24—26)

В заключительных стихах 2-й сатиры Ювенал, констатируя полное неверие своего века в загробный мир с его Хароном, Стиксом и во все прочие мифологические и суеверные бредни, требует от римлян, так сказать, гражданского религиозного сознания: уважения к доблестным римлянам славного прошлого — к манам Курия, Сципионов, Камилла и к душам воинов, погибших в битвах за Рим. А теперешний Рим учит покоренные им народы не строгости нравов, а только отвратительному разврату.

Во 2-й сатире имеются в виду главным образом времена Домициана, принявшего в 84 г. н. э. звание неперменного цензора (*ensor perpetuus*) (Дион Кассий, 67, 4; ср. Светоний, «Домициан», 8). В сатире трижды делается намек на Домициана: в стихах 29—33, 63 и 121.

В сатире 3-й как бы осуществляется то восклицание, с которого начинается сатира 2-я:

Лучше отсюда бежать — к ледяному хотя б Океану,
За савроматов...

Но Умбриций, от лица которого написана вся сатира, начиная со стиха 21, уезжает все-таки не так далеко: он переселяется из Рима всего только на юг Италии, в Кумы.

В Риме, говорит Умбриций, нельзя жить честным трудом (21 сл.); всякие иноземцы и главным образом греки, проникшие (72)

В недра знатных домов, где будут они господами,

³² *Quis tulerit Gracchos de seditione querentes?* Этот стих вошел в поговорку.

совершенно затерли природных римлян-клиентов (58 сл.); всем правят только деньги (126 сл.); наконец, в Риме опасно жить из-за полного неблагоустройства города: обвалов домов, пожаров и т. д., а также из-за столкновений с ночными гуляками и грабителями (190 сл.).

В заключение Умбриций мечтает встретиться с Ювеналом не в Риме, а в родном Ювеналу Аквине, обещая помочь ему там в сочинении сатир.

4-я и 5-я сатиры посвящены гастрономическим темам: в 4-й сатире изображается заседание дворцового совета, созванного Домицианом (которого Ювенал никогда не называет по имени) для обсуждения того, как приготовить гигантскую рыбу, поднесенную цезарю. В 5-й сатире описывается обед у богатого патрона, который сам угощается великолепными яствами и вином, а клиентам подает всякую дрянь. Тема этой сатиры использована во многих эпиграммах Марциалом, а также в одном из писем Плиния Младшего (II, 6), но ни тот, ни другой не развивают ее в такую грандиозную сатирическую картину, какую мы находим у Ювенала.

Надо заметить, что 4-я сатира состоит из двух отдельных частей: начинается она с изображения распутного обжоры Криспина, но затем Ювенал как бы забывает об этом и посредством нескольких, довольно искусственно вставленных стихов (28—36), заключающихся пародическим воззванием к Каллиопе и Пиэридам, переходит к Домициану. Очень возможно, что начало этой сатиры представляет собой незаконченное самостоятельное произведение, присоединенное впоследствии к сатире на Домициана и его придворных.

6-я сатира — самая яркая и сильная из всех сатир Ювенала. Она обличает пороки женщин высшего римского общества и дает богатый материал для истории нравов (или, скорее, безнравственности) римлянок императорской эпохи. Поистине страшные картины этой сатиры усиливаются тем, что она крайне бесформенна по своей композиции. Эта бесформенность создает назабываемое впечатление невероятного хаоса, царящего в римском обществе; можно думать, что, если Ювенал и не намеренно придал 6-й сатире хаотический характер, то, во всяком случае, при обработке этой сатиры он сознательно не систематизировал частей этого, самого крупного своего произведения.

Следует отметить, что один из списков Ювенала (Оксфордская рукопись XI в.) дает более полный текст этой сатиры, чем все другие списки после стиха 365 в этом списке идут еще 34 дополнительных стиха, а после стиха 373 — два. Скорее всего, эти стихи относятся к особому редакционному варианту самого Ювенала.

7-я сатира изображает тяжелое положение римской интеллигенции, вся надежда которой, говорит Ювенал в начале сатиры, только на цезаря³³. Поэты (стихи 1—97), историки (98—104), адвокаты (105—149), учителя красноречия — риторы (150—214), учителя словесности — грамматика (215—243), — все терпит тяжелую нужду. Место былых меценатов заняли вольноотпущенники и актеры, которые ничего не понимают в истинном даровании и не оказывают никакой поддержки талантливым людям. Спокойно заниматься поэзией могут только баловни судьбы, люди материально обеспеченные (вроде Лукана)³⁴, и такие риторы, каков разбогатевший Квинтилиан (188 сл.).

³³ Et spes et ratio studiorum in Caesare tantum. Какого именно цезаря имеет в виду Ювенал, решить вряд ли возможно. Обычно считается, что это либо Траян, либо Адриан.

³⁴ Упоминание Лукана в стихе 79 вряд ли может быть использовано для определения времени написания 7-й сатиры, но интересно тем, что Ювенал, очевидно, считает его истинным поэтом.

К первым семи сатирам сборника, в которых со всею едкостью и возмущением изображают римские нравы, примыкает и сатира 9-я, тема которой — обличение омерзительного мужского разврата в Риме.

Сатиры 8, 10, 11 и 13—15 имеют по преимуществу характер рассуждений.

В сатире 8-й Ювенал рассматривает вопрос об истинном благородстве и доказывает, что оно определяется не пышным родословным деревом, а личными заслугами и доблестью.

Сатира 10-я посвящена вопросу об истинном благе. Ювенал приходит к выводу, что истинное благо — это внутренняя независимость, которая дает возможность стать выше того, что посылается человеку случайной судьбой. Образцом достижения внутренней независимости Ювенал считает философа-моралиста Демокрита. Следует отметить, что в этой сатире имеется яркая картина народного гнева против временщика императора Тиберия — Сеяна (56 сл.).

Тема 11-й сатиры — восхваление умеренности. Первая часть этой сатиры (1—55) — обличение неразумной роскоши, разоряющей современных Ювеналу римлян. Во второй части (56—208) восхваляется патриархальное благополучие, дающее возможность жить простой и честной жизнью, находя удовольствие не в развратных столичных развлечениях, а в разумном препровождении времени, каково чтение творений истинных поэтов — Гомера и Вергилия (162—181).

13-я сатира посвящена рассуждению о спокойствии духа, которое следует сохранять при житейских невзгодах, и об угрызениях совести, неизбежно преследующих обманщиков и других преступников. Сатира эта написана в виде поучения Кальвину, потерявшему 10 тысяч сестерциев, доверенных приятелю.

В 14-й сатире Ювенал рассуждает о ложных и губительных принципах воспитания.

Сатира 15-я посвящена обличению суеверия на примере африканских людоедов.

Из двух остальных сатир — 12-я — послание другу с выражением радостных чувств по случаю его возвращения из опасного морского путешествия; другая — 16-я — говорит о преимуществах военной службы.

3. ТЕМАТИКА САТИР ЮВЕНАЛА

Тематика сатир Ювенала, о которой он говорит в 1-й сатире (85—86):

Все, что ни делают люди — желания, страх, наслажденья,
Радости, гнев и раздор,—

совпадает во многом с тематикой эпиграмм его современника Марциала и с «Сатурами» Петрония. Но в отношении к предметам этой тематики, к явлениям жизни этих трех писателей, огромная разница.

Петроний любит героями своих сатур; пороки и уродливые стороны изображаемой им жизни при всем их порою омерзительном безобразии вызывают у него самого либо добродушную (хотя порой очень едкую по существу) насмешку, либо иной раз даже сочувствие; «арбитр изящного», при всей живости и подлинной художественности своего описания, смотрит на описываемых им людей и на их поступки свысока: для него все это забавно и занимательно; он и сам не прочь принять участие и в «пире у Три-малхиона», и в других приключениях своих действующих лиц, но всегда он

сам остается вне их среды: он может, если ему захочется, войти в нее, может в любое мгновение покинуть ее и забыть о ней.

Иное дело — Марциал. Он сам живет в той среде, какую он описывает, всецело принадлежа к тому обществу, которое изображает в своих эпиграммах. Но, подобно Петронию, он не переживает никакого ужаса при описании современного ему Рима. Мало того: он умеет видеть и положительные стороны нового Рима по сравнению со старым.

Но оба эти автора — и Марциал, и Петроний — при всем их крупном даровании и мастерстве — главным образом бытописатели, наблюдатели.

В противоположность им, Ювенал, соединяющий в своем творчестве и яркий талант бытописателя, и живое негодование, делающее его творчество особенно важным и интересным, создает подлинную обличительную сатиру. Такие римские сатирики, как Гораций и Персий, никогда не могли дойти до той силы обличения, какой достигает Ювенал. Очень вероятно, что такой силой обладал Луцилий; но это можно лишь предполагать, так как произведения этого родоначальника римской обличительной сатиры дошли до нас лишь в разрозненных и ничтожных по размеру фрагментах. Во всяком случае Ювенал определенно заявляет в начале 1-й сатиры, что он

...избрал состязанье на поприще, где уж
Правил конями великий питомец Аврунки — Луцилий.

(см. 19—20)

И если Гораций мог сохранять в своих сатирах спокойствие духа, то Ювенал полон глубокого негодования: у него действительно «порождается стих возмущеньем» (1,79).

Несмотря на то, что биографические сведения о Ювенале весьма скудны и во многом мало достоверны, мы по некоторым его сатирам имеем возможность, хотя бы в общих чертах, определить его социальное лицо, исходя из таких высказываний, которые нельзя заподозрить в неискренности.

В этом отношении представляют особый интерес сатиры 3-я, 11-я и отчасти 12-я. В них Ювенал предстает перед нами как зажиточный землевладелец, ненавидящий и презирающий суетную жизнь столицы. Его Умбриций (в 3-й сатире) — вовсе не жалкий бедняк, каким его считает Гастон Буасье³⁵, а скорее всего человек с достатком, покидающий родной Рим³⁶, потому что в нем стало невыносимо и невозможно жить природному римлянину. Умбриций уезжает из Рима в Кумы, где надеется устроить себе спокойную, патриархальную жизнь, ищет родины вне пределов родного города, в котором нельзя заниматься честным трудом, где все продажно, который обратился из римского в греческий:

Перенести не могу я, квириты,
Греческий Рим!³⁷

³⁵ Gaston Boissier. L'opposition etc. Paris, 1875, p. 334.

³⁶ Ст. 29: cedamus patria = ст. 26 по переводу Д. С. Недовича и Ф. А. Петровского.

³⁷

...non possum ferre, quirites,
Graecam urbem.

Очень важны для понимания позиций Ювенала прощальные слова Умбриция, которыми заканчивается 3-я сатира:

Помни о нас, прощай! Всякий раз, как будешь из Рима
 Ты поспешать в родной свой Аквин, где ждет тебя отдых,
 Ты и меня прихвати из Кум к Гельвинской Церере,
 К вашей Диане. Приду я, послушать готовый сатиры,
 Коль не гнушаешься мной, на прохладные нивы Аквина³⁸.

В сатире одиннадцатой, как уже было указано, Ювенал восхваляет патриархальное благополучие и довольство простой и честной жизнью вне столицы. Эта сатира представляет собой интересную параллель к сатире 3-й. В 3-й сатире говорит старинный друг автора (*vetus amicus* — ст. 1) Умбриций, покидающий Рим, а сам Ювенал остается в столице; в 11-й сатире автор изображает себя постоянным сельским жителем, совершенно оставившим Рим³⁹, тогда как Персик, которого Ювенал приглашает к себе — постоянный житель столицы, всецело ею поглощенный. Поэтому Ювенал зовет его погостить всего один день (183—185), заключая свое послание Персику полными спокойного благодушия словами, из которых видно, что он понимает, как надоедает горожанину однообразная и тихая сельская жизнь, несмотря на все ее преимущества (206—208):

Так я пяти бы ты дней подряд не провел, потому что
 Образ жизни такой ведь довольно-таки надоедлив:
 Нам удовольствие в том, что с нами бывает не часто.

Образ жизни, описанный в 11-й сатире от лица автора, и обед, которым он собирается угостить своего столичного приятеля, указывают отнюдь не на бедность, а на зажиточность хозяина. В меню угощения входят: откормленный молочный козленок, горная спаржа, крупные только что снесенные яйца, виноград, умело сохраненный свежим еще с осени, груши, не только из Лация, но и сигнийские, т. е. лучшего сорта, яблоки не хуже пиценских:

Некогда это считалось роскошным обедом у наших
 Первых сенаторов.

(ст. 77—78)

Этим Ювенал хочет доказать, что и в его время можно прекрасно, спокойно и беззаботно жить римлянам, которые обеспечены достаточной земельной собственностью, рабами и т. д. и чужды соблазнам столичной жизни.

³⁸ ...Ergo vale nostri memor, et quotiens te
 Roma tuo refici properantem reddet Aquino,
 Me quoque ad Helvinam Cererem vestramque Dianam
 Converte a Cumis. Saturarum ego, ni pudet illas,
 Auditor gelidos veniam caligatus in agros.

³⁹ Чтобы еще больше подчеркнуть свою постоянную жизнь вне Рима и преимущество патриархального благополучия вне его стен, автор изображает себя стариком или, по крайней мере, пожилым человеком:

В цирк пусть идет молодежь: об заклад им прилично побиться;
 Им-то идет покричать, посидеть с нарядной соседкой,
 Наша же кожа в морщинах пусть пьет весеннее солнце,
 Того откинувши прочь.

(ст. 201—204)

Следует заметить, что нет никакой принципиальной разницы в идейных установках 3-й и 11-й сатир. Так что, если даже допустить, как это обычно делается, значительный хронологический промежуток между временем сочинения этих двух сатир, все равно необходимо признать, что обе они выражают одну и ту же основную мысль.

Сатира 12-я дает как бы дополнительную иллюстрацию к той картине мирной сельской жизни, которая нарисована в 11-й сатире.

По тем данным, какие можно извлечь из этих трех сатир, и по некоторым указаниям биографий Ювенала мы имеем право заключить, что Ювенал обладал полной возможностью жить той жизнью, которую он с таким вкусом описывает в сатире-послании Персику, убеждая его в своей полной искренности (11,56 сл.).

Эта 11-я сатира очень интересна противопоставлениями условий жизни в Риме и вне его.

В Риме, говорит Ювенал, все покупается на рынке, а в имении «Блюда у нас... не с рынка мясного» (64), но из своих запасов; в Риме не хотят обедать за столом с ножками не из драгоценной слоновой кости, а у Ювенала самая скромная обеденная утварь (120 сл.); в Риме разрезают мясо специалисты, прошедшие школу резания, но вороватые, — у Ювенала режут мясо простые деревенские рабы, пусть и неловкие, но зато честные (136 сл.); римские рабы — иноземцы из какой-нибудь Фригии или Ликии, разряженные и развращенные, в имении Ювенала рабы свои, деревенские, природные латиняне, одетые в простое, но добротное платье и чуждые всякого разврата (145 сл.); развлечения за обеденным столом в Риме и в сельской тиши тоже совершенно разные: там развлекают хозяев и гостей непристойно извивающиеся танцовщицы, тут обедающие наслаждаются, слушая «Илиаду» и произведения Вергилия (162 сл.); в Риме все отравляют заботы о деньгах, постоянные измены развратных жен, рабы, которые все портят, и особенно неблагодарные друзья, а за столом у Ювенала нет никаких такого рода забот, потому что дома все спокойно и целомудренно (185 сл.); в Риме постоянная суматоха: празднества в честь Кибелы, цирковые состязания и т. п., в усадьбе сельская тишина и покой, можно погреться на солнышке, не спеша пойти в баню и т. д. (193 сл.).

Но эта сельская жизнь, с таким мастерством описанная Ювеналом, все-таки не удовлетворяла его. Его тянуло в суматошный, беспокойный и развратный Рим, нравы которого он так беспощадно бичует и ярко описывает в начальных сатирах своего сборника. Ювенал превосходно знает Рим, но не находит в нем ничего, что бы не возбуждало его негодования. Он вмешивается в толпу клиентов, наблюдает разорение родовитых римлян и полный упадок старинной республиканской «доблести», проникает в дома высшего римского общества, с горечью и отвращением описывая разврат, царящий в столице, слушает декламации скучнейших, безжизненных и надутых поэм на мифологические сюжеты, с ужасом смотрит, как заполняют Рим и завладевают им всевозможные чужестранцы, сознает, что Рим гибнет, забыв заветы суровых предков, но не может предложить никаких мер против очевидного для него общественного бедствия. Все у Ювенала сводится к восхвалению старых республиканских идеалов и к тому, что (2,1)

Лучше отсюда бежать — к ледяному хотя б Океану,
За савроматов.

Ювенал, разумеется, не мог не понимать, что «бегство» из Рима ничем не может помочь исправлению столицы и спасению римского государ-

ства, разложение нравов в котором дошло, по убеждению сатирика, до предела:

Нечего будет прибавить потомству к этим нравам
 Нашим: такие дела и желанья у внуков пребудут.
 Всякий порок до предела дошел.

(1, 147—149)

Восхваление патриархальной древности, идеализированной (но отнюдь не подлинно исторической) римской республики не идет у Ювенала дальше мечты; воплотить же свои идеалы он находит возможным лишь в отстранении себя и людей своего социального круга от столицы. Хотя Ювенал и пытается (в последних сатирах своего сборника) указать пути для исправления римлян, он, однако, не идет дальше проповеди добродетели. До проникновения в сущность социальной системы римского государства он никогда не доходил.

Однако несмотря на то, что Ювенал не сознавал необходимости и неизбежности коренной реформы римского государства, исключительная наблюдательность и несомненный ум, присущие сатирику, приводят его и к ценным для истории общественной мысли выводам. Это было отмечено Марксом и Энгельсом, превосходно знавшим и высоко ценившим Ювенала. Так, Маркс в своей работе «Финансовое положение Франции», относящейся к 1861 г., говорит: «Современная Франция дала нам ключ к тем местам из сатир Ювенала, где внезапно приобретенное богатство рассматривается как преступление против народа»⁴⁰.

Для дальнейшего выяснения позиций Ювенала и его отношений к римскому обществу имеет большое значение сатира 7-я, в которой изображается тяжелое положение римской интеллигенции.

В связи с тем, что в императорском Риме появилось несравненно больше представителей интеллигентного труда, чем во времена Республики, материальное положение поэтов, риторов, школьных учителей, адвокатов стало гораздо более затруднительным. Не входя в подробное рассмотрение судьбы представителей всех интеллигентных профессий, о которых говорит Ювенал, остановимся на судьбе поэтов, которая больше всего занимает Ювенала и в 7-й, и в других его сатирах.

Положение поэтов было нелегким и во времена Республики; одни только драматурги могли рассчитывать на более или менее определенный заработок, продавая свои пьесы для постановки на государственной сцене (см. Теренций, «Евнух», пр. 20, «Свекровь», пр. 57). Заработок других поэтов, за редкими исключениями, был болсе чем сомнителен. Все поэты, кроме таких состоятельных людей, как, например, Катулл, должны были искать себе богатых и влиятельных покровителей, чтобы иметь возможность заниматься творчеством. Во времена Августа это покровительство было очень распространено; имя главного покровителя поэтов стало впоследствии нарицательным:

Будь Меценаты у нас, появились бы, Флакк, и Мароны.
 Sicut Maecenates, non deerunt, Flacce, Marones.

(Марциал, VIII, 36, 5)

В императорские времена, когда поэтов становилось все больше и больше, а влиятельных знатоков и покровителей, обладающих истинным пониманием и хорошим вкусом, — все меньше, положение поэтов делалось

⁴⁰ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 15, стр. 387.



*Погребальная урна, украшенная венками из плюща
и масками Вакха
(конец I в. н. э.; найдена в Риме)*

все затруднительнее. Об этом со свойственным ему остроумием говорит в своих эпиграммах Марциал (V, 56; III, 4 и др.).

Страсть к стихотворству среди римлян, которую отметил уже Гораций («Послания», 2,2, ст. 108 сл.), дошла во времена Ювенала, видимо, до пределов повальной болезни, особенно в отношении мифологических поэм. Из-за этой страсти возросла и конкуренция между стихотворцами, поставившая неимущих поэтов в чрезвычайно тяжелое положение, осложненное еще и тем, что новые меценаты отнюдь не обладали ни вкусом, ни щедростью своего родоначальника, а были скупы и невежественны:

Скупой богатея научился
 Авторов только хвалить, поэтам только дивиться,
 Как на павлина дивится юнец —
 didicit iam dives avarus
 Tantum admirari, tantum laudare disertos,
 Ut pueri Iunonis avem.

(7, 30 сл.)

Кроме того, они сами были одержимы модной страстью писать стихи, оказываясь таким образом не столько покровителями, сколько соперниками поэтов (7, 36 сл.).

Для Ювенала не могло быть сомнения в том, что все эти причины приводили к полному упадку истинной поэзии, которая воплощалась, согласно его убеждению, в творениях Гомера и Вергилия (11, 180 сл.; ср. также 6, 434 сл.). Чтобы осуществить свое поэтическое дарование в истинно художественных произведениях, говорит Ювенал, нужна материальная обеспеченность; он уверен, что Гораций мог быть вдохновенным лириком только потому, что был сыт:

Был сыт, восклицая «Эвоя», Гораций
 Satur est cum dicit Horatius Euhoe⁴¹

(7, 62)

Держась такого убеждения, Ювенал не может привести ни одного примера плодотворного поэтического вдохновения, не зависящего от

Всех тех средств, что нужны бывают и дню и ночи
 Телу...

(7, 61)

Такого поэта он в состоянии только вообразить:

Этот поэт — я не знаю его, а чувствую только...
 Hunc, qualem nequeo monstrare et sentio tantum...

(7, 56)

Все свои рассуждения Ювенал подкрепляет примерами, подобранными со всею горечью сатирика, причем особенно следует отметить то, что вступительные слова 7-й сатиры, в которых восхваляется цезарь как истинный и благодетельный ценитель поэтов, остаются висящими в воздухе: Ювенал забывает о своей льстивой надежде на главу государства и рисует в 7-й сатире только картину унижения и нищеты представителей интеллигентных профессий. Ювенал, очевидно, отлично понимал, что покрови-

⁴¹ Здесь Ювенал прямо намекает на 19-е стихотворение книги II «Од» Горация.

тельство цезаря (какого бы из них ни имел он в виду) не может помочь делу, что положение интеллигентных тружеников отчаянно, что поэтическое искусство неуклонно падает.

Следует, однако, обратить внимание на то, что именно имеет в виду Ювенал, говоря о поэтических произведениях. Как по 7-й сатире, так и по другим сатирам видно, что он, говоря о повальной болезни писательства (*scribendi cacoethes* — 7,52), понимает в первую очередь поэзию мифологическую, поэмы на мифологические сюжеты (см. 1, ст. 2 и 5 сл., 52 сл., 162; 7, ст. 12, 29, 38, 72 сл., 80 сл.).

Ко всей современной ему мифологической поэзии Ювенал относится с полным презрением и негодованием как к безжизненной, нелепой и бездарной. Все эти «Тезейды» (1, 1), «Алкитой», «Тереи» «Фивы» (7, 12), «Телефы», «Оресты» (1,5 сл.), «Атреи» (7, 72), заполнившие всю литературу и угнетавшие Ювенала на бесконечных публичных чтениях, совершенно нестерпимы, все равно, кому они принадлежат — великим или ничтожным поэтам:

Эти приемы одни у больших и у малых поэтов
Exspectes eadem a summo minimoque poeta

(1, 14)

Ни одного выдающегося поэта, который (7 54 сл.)

не выводит на такую привычный узор, не чеканит
 Пошлых стихов одинакой для всех разменной монетой,

Ювенал среди современных ему стихотворцев не знает.

Нам не известны теперь ни поэты (Пакций, Фавст, Телесин и др.), которых упоминает Ювенал, ни их произведения, за исключением «Фиваиды» Стация, которому Ювенал иронически сочувствует (7, 82 сл.), и «Фарсалии» Лукана, которому он, видимо, завидует (7, 79). Но если судить по поэме Стация, в двенадцати книгах воспевавшей борьбу «семерых против Фив», и по неоконченному эпосу на тему об Аргонавтах Валерия Флакка (которого Ювенал не упоминает), то нельзя не видеть упадка, постигшего римскую мифологическую поэзию, и того тупика, в который она зашла в императорскую эпоху.

Глава XIV

ТАЦИТ

1. Биография Тацита.— 2. Литературная деятельность Тацита. «Разговор об ораторах».— 3. «Агрикола».— 4. «Германия».— 5. «История».— 6. «Летопись».— 7. Политические взгляды Тацита.— 8. Философские и религиозные взгляды Тацита.— 9. Тацит как историк.— 10. Речи у Тацита.— 11. Источники Тацита.— 12. Язык и слог Тацита.— 13. Отношение современников и последующих поколений к Тациту и его сочинениям.

1. БИОГРАФИЯ ТАЦИТА

Сведения о жизни Тацита чрезвычайно скудны. Никто из древних не оставил нам его биографии, добывать эти сведения приходится из следующих источников: из писем его современника и друга Плиния Младшего; из сочинений самого Тацита; из нескольких случайных упоминаний о нем у римских писателей позднейшего времени. Но извлекаемые из этих источников сведения слишком отрывочны, чтобы можно было на основании их составить сколько-нибудь связную биографию Тацита; для пополнения ее приходится прибегать к догадкам — иногда довольно сомнительного достоинства.

Прежде всего, в наших источниках двояко передается личное имя (praenomen) Тацита. Писатель V в., Сидоний Аполлинарий, называет его Гаем; в наиболее древней и авторитетной рукописи сочинения Тацита «Летопись» (Codex Medicus) он назван Публием; обыкновенно же в рукописях его сочинений совсем не ставится его личное имя, а только родовое (nomen) Корнелий (Cornelius) и прозвище (cognomen) Тацит (Tacitus). Замечательно, что и Плиний в письмах нигде не называет его личного имени. Так как Публий можно считать лучше засвидетельствованным в наших источниках, то, вероятно, полное имя нашего писателя было Публий Корнелий Тацит (Publius Cornelius Tacitus).

Различны мнения ученых нового времени также о месте рождения Тацита. В наших источниках это место нигде не упомянуто. Но один из писателей «истории императоров» (Scriptores historiae augustae) Воппск в биографии императора Тацита, правившего в 275—276 гг., говорит, что, считая историка Корнелия Тацита своим родственником, император велел переписывать его сочинения каждый год в десяти экземплярах и помещать их во всех библиотеках (Воппск, «Тацит», гл. 10 — «Шесть писателей императорской истории», стр. 192 издания Петера). А, так как этот император был уроженец города Интрамны (Interamna — позднее Terni), то на основании этого известия жители города Терни в 1514 г. поставили статую нашему историку Тациту как своему славному согражданину. Но, если даже историк Тацит был одним из предков императора Тацита, то из этого не следует, что историк, живший за два столетия до императора был уроженцем того же города, что и его потомок. Поэтому ученые более

нового времени выставили другие гипотезы о месте рождения Тацита, столь же мало обоснованные.

Точно так же нет известий о происхождении Тацита; и по этому вопросу приходится прибегать к гипотезам. Судя по его образованию, можно предполагать, что он принадлежал к зажиточному и образованному семейству, в котором был развит вкус к литературе; но, кто именно были его родители, неизвестно. Плиний Старший в своей «Естественной истории» (VII, 16, 76) рассказывает о некоторых особенных уродствах и приводит в пример оленя из них «у сына Корнелия Тацита, римского всадника, управлявшего финансовою частью в Галлии Бельгийской». Предполагают, что упомянутый здесь Корнелий Тацит есть отец нашего Тацита, а сын его, страдавший таким уродством, был брат нашего Тацита. Если это так, то можно думать, что наш Тацит родился в Галлии Бельгийской. Но все-таки название того Корнелия Тацита римским всадником дает некоторое право предполагать, что и наш Тацит принадлежал ко всадническому сословию, т. е. ко второстепенной римской знати. Косвенным образом знатность рода Тацита подтверждается его блестящей служебной карьерой, женитьбой на дочери консула Агриколы и прекрасным образованием.

Относительно времени рождения Тацита тоже нет прямых указаний в источниках; опять приходится прибегать к догадкам. Определяется приблизительно год его рождения на основании следующих свидетельств. В «Разговоре об ораторах» (гл. 1) Тацит говорит о себе, что он слышал этот разговор еще «очень молодым человеком» (*iuvenis admodum*). Это понятие, как и наше «молодой человек», растяжимо, но в общем им обозначается возраст около 18—20 лет. Это выражение Тацит употребляет в своем сочинении «Агрикола» (7, 2) о Домициане, которому было в описываемое там время 18 лет. Разговор, при котором присутствовал Тацит, происходил в 74 или 75 г. н. э. Если Тациту было тогда 18—20 лет, то год его рождения приходится на 54—57 гг. н. э.

Сочинения Тацита показывают, что он получил блестящее по тому времени образование. Это подтверждают и свидетельства наших источников, правда, очень скудные. Есть предположение, что Тацит учился ораторскому искусству также у Квинтилиана, знаменитого тогда преподавателя риторики; но ни сам Тацит, ни другие источники об этом не упоминают, так что это предположение ни на чем не основано.

По обычаю многих молодых людей из высшего общества Тацит готовился к карьере адвоката и потому усердно занимался ораторским искусством. Обыкновенно отец отводил сына, достигшего совершеннолетия, т. е. после 17 лет, к какому-нибудь знаменитому оратору, при котором сын и должен был находиться, сопровождая его и слушая его речи. Тацит так описывает эту пору своей жизни в «Разговоре об ораторах» (гл. 2): «Марк Апп и Юлий Секунд были знаменитейшие в то время таланты нашего форума, которых я старательно слушал не только в судах, но и на дому и сопровождал их в общественных местах вследствие удивительной жажды к учению и какого-то юношеского увлечения, чтобы вполне усвоить даже их разговоры, ученые беседы и тайны уединенной декламации».

В то время было в обычае с ранних лет выступать на форуме в качестве адвоката по гражданским делам пред коллегией ста мужей (*centumviri*). Плиний начал эту деятельность в 19-летнем возрасте, как он сам говорит в письме V, 8, 8. По всей вероятности, так же поступил и Тацит по окончании своего риторического образования. До нас не дошли адвокатские речи Тацита; но, по словам Плиния, он был выдающимся оратором. Об этом можно до некоторой степени судить на основании тех речей, которые произносят действующие лица в его исторических сочинениях, и которые на

самом деле, по обычаю древних историков, сочинены самим автором: и в этих речах видно высокое красноречие и благородство выражения.

Из собственных слов Тацита мы знаем, что в 78 г. он женился на дочери Гнея Юлия Агриколы, бывшего консулом в 76 г., девушке, «подававшей большие надежды» (*egregiae spei filia*) (Тацит, «Агрикола», 9), имени ее он не называет. Судя по тону, каким он обращается в конце этого сочинения к ней и к ее матери через двадцать лет после брака, можно думать, что их семейная жизнь протекала в любви и согласии. Если такой важный сановник удостоил взять себе Тацита в зятя, то, значит, он видел, что Тацит стал на прочную жизненную дорогу, т. е. тоже подавал надежды на государственной службе.

О своей служебной карьере Тацит сам говорит следующее («История», I, 1). «Гальба, Отон и Вителлий не были мне знакомы ни по милости, ни по обиде. Не стану отрицать, что почетное положение мое (*dignitas*) началось при Веспасиане, возвысилось при Тите и еще дальше было выдвинуто Домицианом». При Веспасиане Тацит стал квестором в 78 или 79 г., при Тите — адилом в 80 или 81 г., при Домициане претором в 88 г. Последняя дата засвидетельствована самим Тацитом: упоминая о том, что Домициан устроил так называемые «вековые игры» в 88 г., Тацит говорит, что он сам принимал деятельное участие в их устройстве, имея звание жреца коллегии пятнадцати и будучи претором («Летопись», XI, 11).

В 93 г. умер в Риме Агрикола, тесть Тацита. Вспоминая об этом, Тацит говорит («Агрикола», 45), что он с женою не мог находиться при нем во время его болезни, и что он «был потерян для них за четыре года вследствие их долгого отсутствия». Смысл этих слов тот, что Тацит с женою еще за четыре года до смерти Агриколы уехали из Рима. Стало быть, они уехали в 89 или 90 г. Где был Тацит эти четыре года, по какой причине ускал и даже когда вернулся в Рим, он не говорит.

Во время короткого правления императора Нервы Тацит в 97 г. был назначен консулом после умершего консула Вергиния Руфа и на похоронах его произнес надгробную речь. В 100 г. Тацит вместе с Плинием выступал обвинителем в процессе проконсула Африки, Мария Приска, обвиненного в лихоимстве.

Последним известным нам фактом, из жизни Тацита была служба его в должности проконсула Азии. Так как после Тиберия промежуток между годом консульства и годом проконсульства в среднем равнялся 12—13 годам, то надо полагать, что Тацит стал консулом приблизительно в 110—111 гг. или позднее¹. Об этом событии нам стало известно из греческой надписи, открытой в Карии французскими археологами и опубликованной в журнале «Bulletin de correspondance hellénique» в 1890 г.

К этому же времени относится одно упоминание о Таците: в 20-х и 30-х годах XIX в. было найдено по частям в земле близ Рима завещание некоего Дазумия, который в числе наследников своих назначает Тацита и Плиния, отказывая каждому по два фунта золота. Завещание это составлено было в 108 г. н. э. Этим документом подтверждаются и слова Плиния о том, что даже в завещаниях их обоих (Плиния и Тацита) назначают наследниками вместе, и притом в равных долях («Письма», VII, 20, 6)².

¹ В. И. Модестов. Заметки по Тациту. ЖМНП, 1894, № 5, стр. 133—134.

² По обычаям того времени считалось почти позором для завещателя не отказать никакой доли наследства друзьям; поэтому даже богатые люди радовались таким упоминаниям их в завещании. Этот обычай был уже во время Цицерона по его свидетельству (II, 16, 40). В императорскую эпоху этим обычаем пользовались императоры для своего обогащения: завещателю приходилось завещать какую-нибудь часть наследства императору из опасения, чтобы он не присвоил себе все наследство.

О дальнейшей жизни Тацита у нас нет сведений; известно лишь, что он занимался литературными трудами, о чем сказано ниже. Год смерти его в точности неизвестен. Основываясь на словах самого Тацита о том, что он имел намерение написать историю времени Августа («Летопись», III, 24), Нервы и Траяна («История», I, I), и однако не исполнил его, они думают, что он умер вскоре после окончания «Летописи». Но из этого нельзя сделать вывод, что смерть помешала ему исполнить это намерение: могли быть и другие причины. Что Тацит был жив еще около 120 г., подтверждается до некоторой степени тем, что Светоний не упоминает Тацита в своем сочинении «Биографии 12 цезарей», изданном в 119—124 гг.; а Светоний вообще не упоминает о людях, которые были еще живы в его время. Таким образом, достоверным можно считать лишь то, что Тацит прожил приблизительно от 55 по крайней мере до 120 г., т. е. около 65 лет или больше.

Из обстоятельств жизни Тацита следует еще упомянуть об его дружбе с Плинием Младшим. Плиний родился в 62 г. и был моложе Тацита на несколько лет. В собрании писем Плиния находятся 11 писем к Тациту: I, 6; I, 20; IV, 13; VI, 9; VI, 16; VI, 20; VII, 20; VII, 33; VIII, 7; IX, 10; IX, 14. Они относятся приблизительно к 96—109 гг., т. е. к зрелому возрасту обоих корреспондентов. Кроме того, о Таците говорит Плиний в нескольких письмах, адресованных к другим лицам: II, 1; I, 11; IX, 23. Из этих писем видно, что они были связаны тесной дружбой, по-видимому, с очень раннего времени. Замечательно, что нет ни одного письма Плиния к Тациту, в котором не было бы сказано что-нибудь о литературе, тогда как письма его к другим имеют очень разнообразное содержание: очевидно, их связывала общность научных и литературных интересов. Они давали друг другу свои сочинения на просмотр. В этом отношении интересно следующее письмо (VII, 20): «Сочинение твое я прочитал и как можно тщательнее отметил, что, по моему мнению, следует изменить и что исключить: как я привык говорить правду, так и ты любишь слушать ее. Никто не выслушивает порицаний с таким терпением, как те, которые наиболее заслуживают похвал. Теперь я жду от тебя своего сочинения с твоими замечаниями. Какой приятный, какой прекрасный обмен!».

Следующее письмо (VII, 33) показывает, как высоко Плиний ценил Тацита и его «Историю». «Я предсказываю, и предсказание не обманывает меня, что твоя „История“ будет бессмертна; тем более (откровенно сознаюсь) я хочу быть упомянутым в ней». Как видно из дальнейшего текста письма, Плиний желал увековечить свое имя в «Истории» Тацита в связи с одним инцидентом при суде над Бебием Массой, в котором Плиний участвовал в качестве его обвинителя. Исполнил ли Тацит желание друга, мы не знаем: суд этот происходил при Домициане, а та часть «Истории», в которой Тацит описывал правление Домициана, не дошла до нас.

Еще в одном письме (I, 20) Плиний просит Тацита высказать свое мнение по вопросу, какая речь лучше: краткая или длинная.

Однако и Тацит, по-видимому, ценил мнение Плиния: из приведенного выше письма (VII, 20) видно, что Тацит дал ему на просмотр какое-то свое сочинение; о таком же случае говорится в другом письме (VIII, 7). Тацит прислал ему на просмотр тоже какое-то сочинение, написав при этом, что он посылает его как учитель учителю и как ученик ученику. На это Плиний отвечает: «Не как учителю учитель, не как ученику ученик (как ты пишешь), но как ученику учитель... послал ты сочинение... Мне не следует называться не только твоим учителем, но даже и учеником».

Из приведенных писем видно, что Плиний относился к Тациту, как низший к высшему, несмотря на свое самомнение и тщеславие. Особенно это бросается в глаза, если сравнить тон писем Плиния к Тациту с тоном его писем к Светонию. Тут заметно отношение обратное: тон этих писем, хотя вполне дружественный и доброжелательный, но вместе с тем и покровительственный; видно, что Плиний чувствует себя выше своего корреспондента.

2. ЛИТЕРАТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТАЦИТА. «РАЗГОВОР ОБ ОРАТОРАХ»

Как видно из цитированных выше писем Плиния, Тацит писал какие-то сочинения; какого характера они были и к какому времени относились, об этом мы не можем судить. Так как письма Плиния, по исследованиям специалистов, принадлежат ко времени 97—109 гг., мы ничего не можем сказать о литературной деятельности Тацита в эпоху более раннюю. Как адвокат, он, конечно, говорил речи, но неизвестно, издавал ли их. Во всяком случае, никаких его речей до нас не дошло.

Дошли до нас следующие сочинения Тацита, относящиеся уже к его среднему возрасту, и в таком хронологическом порядке: 1) «Разговор об ораторах» (*Dialogus de oratoribus*); 2) «Агрикола», или полнее, «О жизни и характере Юлия Агриколы», (*De vita et moribus Iulii Agricolae*); 3) «Германия», или полнее, «О происхождении, положении, нравах и народах Германии» (*De origine, situ, moribus ac populis Germaniae*); 4) «История» (*Historiae*); 5) «Летопись», или полнее, «Летопись после кончины бо жественного Августа» (*Ab excessu divi Augusti annales*).

«Разговор об ораторах» представляет собою страницу из истории римского ораторского искусства и потому заслуживает подробного изложения. В нем Тацит воспроизводит беседу лучших ораторов времени Веспасиана о причинах упадка красноречия — беседу, при которой будто бы он сам присутствовал в ранней молодости, хотя и не принимал в ней участия. Поводом к этой беседе послужило то, что оратор и поэт Матерн только что публично прочел свою новую трагедию «Катон», в которой задел намеками влиятельных лиц и этим вызвал в высших сферах неудовольствие, грозившее ему неприятностями. На следующий день добрые его знакомые, популярные ораторы Марк Апри и Юлий Секунд, пришли убеждать его бросить поэзию, которая опасна и фантастична, и снова отдаться исключительно ораторской деятельности, которая необходима многим, и потому безопасна и очень жизненна.

В блестящей речи (гл. 5—10) Апри доказывает всю важность занятия красноречием, которое доставляет самые разнообразные выгоды: славу, почет, богатство, политическое значение и скорее всего может ограждать личную безопасность. Матерн в своем ответе (гл. 11—13) защищает поэзию, говорит, что она доставляет не меньшую славу, чем красноречие, и приводит в пример Вергилия, пред которым в театре, по прочтении его стихов, вся публика встала со своих мест и приветствовала его, как Августа. Апри выставляет невыгоду занятия поэзией еще в том отношении, что для поэта, желающего произвести что-нибудь высокое, требуется удаление от шума городской жизни и друзей в леса и рощи, в уединение. Матерн замечает на это, что наслаждение уединенной беседой с музами в лесах и рощах он далеко предпочитает тревожной и суетливой жизни форума.

Приходит Випстаив Мессала, человек высоко образованный, поклонник блестящего красноречия времени республики и знаменитый оратор своего времени. С его приходом завязывается спор о том, какое красноречие вы-

ше: республиканского времени или империи. Апп доказывает (гл. 16—23), что красноречие империи не уступает красноречию времени Цицерона, Цезаря, Брута и Азиния Поллиона и в некоторых отношениях даже превосходит его. На стороне современного красноречия — остроумие, блеск, быстрота, изящество, поэтический колорит; все это не может считаться недостатком, как блеск мрамора и золота, составляющих украшение современных храмов. Возражая ему (гл. 25—26; 28—32; 33—35), Мессала выставляет на вид все превосходство здорового красноречия республики перед кривляньем современных ораторов, которые иногда гордятся тем, что их речи можно петь и танцевать. Причину такого упадка красноречия он видит прежде всего в недостатках воспитания и неразумном преподавании в риторских школах, где учатся декламировать на разные неправдоподобные темы, с тем чтобы изощрить язык и голос. Оратором может назваться тот, кто о всяком вопросе может говорить прилично, красиво, убедительно и к пользе слушателей, приспособляясь к предмету и времени. А современные ораторы не знают ни законов, ни сенатских решений и не чувствуют потребности в философском образовании. К этому он прибавляет недостаток практической подготовки: прежде приготавлились к ораторской деятельности не только школой и наукой, но и самой жизнью. Молодого человека отдавали под руководство какого-нибудь знаменитого оратора, которого он везде сопровождал: и в судах и в собраниях, — слушая его речи. Слушал он и других ораторов, посещал форум, суды, привыкал к судебной практике и знакомился как с судьями, так и с публикой. В противоположность этому современные ораторы готовятся в риторских школах, «где, не легко сказать, что причиняет более вреда талантам: место ли самое, или товарищи, или род занятий». В школах этих преподаются два рода красноречия: увещательное (*suasoriae*) и судебное (*controversiae*). Увещательным родом красноречия занимаются ученики помоложе, а судебным как более трудным — те, кто постарше. Этим последним дают самые странные темы: награды за убийство тиранов, жалобы соблазненных женщин, средства против морской язвы, кровосмешение матерей и все другое, о чем ежедневно ведутся речи в школе, а на форуме — или редко, или даже никогда.

Здесь значительный пропуск в рукописях. Недостаёт конца речи Мессалы и начала речи Матерна; даже нельзя с уверенностью сказать, точно ли Матерну принадлежит последняя речь. Матери ставит вопрос на историческую почву и развивает мысль, что времена переменились не в пользу красноречия, для процветания которого современное положение дел не доставляет простора: нет ни бурной политической жизни, которая поднимает оратора, ни важных предметов, способных воодушевить его. Самая обстановка суда неблагоприятна для оратора: он говорит теперь речь не в присутствии многочисленной публики и не на форуме, где прежде были слушателями целые трибы и делегации от городов, а обыкновенно перед коллегией ста мужей, решающих незначительные тяжбы, после того, как Август «умиротворил красноречие, как и все остальное». Жалеть об этом, впрочем, нечего. «То великое красноречие есть питомец своеволия, которое глупцы называют свободой, спутник возмущений, подстрекательство необузданного народа, без покорности, без повиновения, высокомерное, безрассудное, гордое, которому нет места в хорошо устроенных государствах!» Матерну хотел возражать Мессала, но ввиду позднего времени спор был отложен до другого раза.

Это сочинение принадлежит к очень распространенному в древности роду сочинений, в которых вопрос (по большей части философский) рассматривается с разных сторон в диалогической форме, причем каждый

из собеседников защищает свою точку зрения. Таковы, например, диалоги Платона, философские и риторические сочинения Цицерона. Так, в этом сочинении рассматриваются два вопроса: 1) какой род занятий заслуживает предпочтения: поэзия или ораторская деятельность? 2) когда ораторское искусство стояло выше: в эпоху республики или в эпоху империи? Оба эти вопроса, вероятно, были актуальными во время Тацита и служили предметом разговоров в образованных кругах Рима; сочинение Тацита, так сказать, резюмирует эти разговоры.

Но возникает вопрос: происходил ли в действительности разговор, изложенный Тацитом в этом сочинении, или он есть только фикция, представленная Тацитом в виде действительного факта? Правда, Тацит говорит, что он, по просьбе Фабия Юста, высказывает не свое мнение, а воспроизводит беседу красноречивейших мужей, при которой он сам присутствовал в ранней молодости; но и это, может быть, является лишь литературным приемом.

Другой вопрос касается автора этого сочинения. «Разговор об ораторах» помещается в изданиях сочинений Тацита как принадлежащее ему сочинение; но многие ученые высказывали сомнение по поводу авторства Тацита. Спор по этому вопросу породил в филологической науке большую литературу. История этого вопроса вкратце такова. Около 1458 г. из Германии в Италию была привезена рукопись, содержащая «Германию» Тацита, «Разговор об ораторах» и отрывки из сочинения Светония «О знаменитых мужах». На основании списков с этой рукописи были сделаны первые печатные издания «Разговора» вместе с другими сочинениями Тацита. Но уже вскоре ученый Беат Ренан (Beatus Rhenanus) в своем издании 1519 г. высказал сомнение в принадлежности «Разговора» Тациту. На его сомнение ученый мир не обратил внимания; только Юст Липсий (Justus Lipsius), знаменитый голландский филолог XVI—XVII вв., превосходный знаток Тацита, в первом своем издании сочинений Тацита 1574 г. с полной уверенностью заявил, что «Разговор» не может быть произведением Тацита. В последующих изданиях Липсий несколько ослабил это утверждение, сделав приписку, что для него неясно, кто был автором «Разговора».

Благодаря огромному авторитету Липсия, большинство ученых, занимавшихся этим вопросом, рабски следовало за ним. Но, если автором «Разговора» был не Тацит, то надо было отыскать, кто же был автором его. Было высказано несколько предположений. Одни (как и сам Липсий в первом своем издании) называли автором Квинтилиана, другие Плиния Младшего, Светония, Матерна, некоторые даже неизвестного нам писателя. Однако были и противники этих гипотез, стоявшие за принадлежность «Разговора» Тациту. Обе стороны имели в своих рядах очень крупных ученых. Так спор этот тянулся три столетия, до последнего времени; но, кажется, теперь уже все признают принадлежность «Разговора» Тациту³.

Вопрос этот, наделавший столько шума в ученых кругах и породивший огромную литературу, в сущности праздный. В рукописи, содержащей «Разговор», он был помещен как принадлежащий Тациту. Если мы в аналогичных случаях верим рукописям, то нет основания не верить и этой рукописи. Тут дело лишь в том, что язык и стиль «Разговора» отличается от языка и стиля других сочинений Тацита (особенно «Истории» и «Летописи»), приближаясь к способу выражения Цицерона, и даже

³ По крайней мере И. М. Гревс говорит: «Полемика теперь прекратилась» («Тацит», М.—Л., 1946, стр. 89). В «Истории римской литературы» Тейфеля-Кролля издания 1913 г. тоже сказано, что этого вопроса уже нет (§ 334, примечание 1).

по своей композиции напоминает философские и риторические сочинения Цицерона. Таким образом, возникает общий вопрос: возможно ли, чтобы у автора был разный язык и стиль в разных сочинениях? Те, кто решает этот вопрос в положительном смысле, не видят причины отвергать авторство Тацита; те, кто считает это невозможным, должны отвергнуть это предположение.

Первая точка зрения представляется более правильной. Более точные исследования языка Тацита в разных его сочинениях, сделанные учеными нового времени, показали, что отличия по языку и стилю обуславливаются главным образом разницей литературных жанров, отчасти, может быть, также разницей возраста автора: «Разговор» принадлежит к жанру ораторскому, остальные сочинения — к жанру историческому; «Разговор» написан значительно раньше «Летописи» и несколько раньше остальных его произведений. И все-таки оказалось множество точек соприкосновения между ними по языку и стилю.

В пользу авторства Тацита говорит также и то обстоятельство, что между «Разговором» и другими сочинениями Тацита есть много общего по мировоззрению, суждениям, нравственному настроению. Такова, например, сентенция о том, что не следует хвалить только прошлое и не видеть ничего хорошего в настоящем («Разговор», гл. 18; «Летопись», II, 88; «Агрикола», гл. 1). Матерн в своей речи, начиная с главы 38 выражает прямо Тацитовскую мысль, что время республики прошло, и что принцепат, водворивший мир, есть дело исторической необходимости, с которой следует примириться. Эту мысль можно назвать Тацитовскою потому, что никто из древних писателей не формулировал ее с такой отчетливостью, как Тацит: в начале «Истории» (I, 1) он прямо говорит: «После битвы при Акции дело мира потребовало, чтобы вся власть была передана одному лицу». Эту же мысль Тацит высказывает далее устами Гальбы (I, 16): «Уже давно мы дошли до такой необходимости, что ни моя старость не может дать римскому народу ничего более, как хорошего преемника, ни твоя юность — ничего более, как хорошего государя».

Наконец, в пользу авторства Тацита говорит то, что ни один из предлагавшихся вместо него писателей не мог быть автором «Разговора» — даже по хронологическим соображениям. Квинтилиану в 74—75 гг. было более 30 лет от роду, и потому он не мог назвать себя «очень молодым»; да и его литературные взгляды не совпадают с мнениями, высказанными в «Разговоре»; так, он превозносит Цицерона в своем сочинении «Об ораторском образовании», а автор «Разговора» находит в нем много недостатков. Плинию Младшему в 74—75 гг. было только около 13 лет; он был тогда мальчиком, а не юношей. Светонию в этом году было 5—6 лет. Матерн еще при Нероне писал трагедии, так что в 74—75 гг. никак не мог быть «очень молодым». Наконец, предполагать автором какое-то никому не известное лицо нет оснований; если бы такой хороший писатель существовал, вероятно, какие-нибудь сведения о нем дошли бы до нас. Таким образом, Тацит остается единственным известным нам лицом, которого можно считать автором «Разговора».

Большим вопросом является вопрос о времени написания «Разговора». Относительно времени, когда происходил описанный Тацитом (действительный или фиктивный) разговор, есть указание в самом этом сочинении. Именно, из слов Апра в гл. 17 видно, что он происходил спустя 117—118 лет⁴ после смерти Цицерона (43 г. до н. э.), в 6-й год правления

⁴ В тексте «Разговора» дано число — 120 лет; но из приведенного там расчета лет видно, что точное число должно быть 117 или 118 лет, а число 120 дано только как круглое.

Веспасиана, т. е. в 74—75 гг. н. э. Гораздо более сложен вопрос о времени, когда Тацит написал это сочинение. Прямых указаний на это нет; приходится прибегать к догадкам, и потому он решается разными учеными различно, и, по-видимому, не может быть решен даже с приближительной точностью.

В каком бы году не был написан «Разговор об ораторах», во всяком случае — это первое беллетристическое произведение Тацита, которое нам известно.

3. «АГРИКОЛА»

Вторым по времени беллетристическим произведением Тацита было сочинение «Агрикола», или полнее, «О жизни и характере Юлия Агриколы» (*De vita et moribus Iulii Agricolae*).

Это биография Агриколы, отца жены Тацита, начиная с его детства и кончая смертью, и похвала ему. Более половины этого сочинения занимает история войн, которые вел Агрикола в Британии в должности легата императора Домициана для подчинения этой страны римскому владычеству, в связи с чем предварительно дается описание самой Британии и ее народов, а также история прежних попыток римлян покорить их.

Как видно отсюда, это сочинение в основе своей принадлежит к биографическому жанру.

Но «Агрикола» представляет собою не биографию в чистом виде, не обычное у римлян похвальное слово умершему родственнику, а сочинение, в котором сочетаются элементы похвального слова и истории. Это вполне естественно. Похвальное слово в честь всякого выдающегося государственного деятеля должно было содержать и элементы истории: восхваляя какого-нибудь Сципиона, автор не мог не касаться его заслуг пред отечеством, т. е. истории событий, участником которых был умерший.

Так же поступил и Тацит, а поэтому главная часть его монографии обратилась в историю завоевания Британии римлянами с географическим и этнографическим экскурсом описания ее. Эту часть даже легко выделить из всего сочинения как самостоятельное целое (гл. 10—38).

Какую цель поставил себе автор в этом сочинении, он указывает сам: оно предназначено служить «к чести» Агриколы (гл. 3, 4), к прославлению его как завоевателя всей Британии и присоединения ее к римской империи. Эта цель ясно видна из композиции всего сочинения: о событиях жизни Агриколы до назначения его наместником Британии и о событиях после отозвания его оттуда Домицианом в течение восьми лет говорится коротко: только по шесть глав для того и другого периода его жизни (гл. 4—9; 40—45). Эти главы и являются элементом биографии или похвальной речи в собственном смысле. Напротив, о войнах его в Британии в течение семи лет говорится обстоятельно; по мере приближения рассказа к главнейшему событию — решительному сражению при Граунийских горах (в теперешней Шотландии), последствием которого было подчинение всей Британии владычеству римлян, изложение становится все подробнее; рассказ о событиях одного седьмого года пребывания Агриколы в Британии, в который произошла эта битва, занимает десять глав, т. е. почти четвертую часть всего сочинения (гл. 29—38).

Уже в этом первом историческом произведении Тацит обнаруживает вкус и искусство в изображении войны со всеми подробностями хода кампании, сражений, устройства лагерей, укреплений, вооружения, приемов тактики и т. п. Но особенно любопытно, что, описывая военные дей-

ствия в отдаленном и мало известном краю, населенном непохожими на римлян племенами, автор уделяет большое внимание изучению быта бриттанцев. Как уже сказано, несколько глав специально занято очерком географии и этнографии Британии; но и по всей повествовательной части книги рассыпаны дополнительные черты, связанные больше всего с военными нравами островных племен, характеризующими, впрочем, и их образ жизни вообще. Эти описания позволяют нам предчувствовать ставшую впоследствии столь знаменитой «Германию» Тацита.

В «Агриколе» уже имеются речи главных деятелей изображаемых событий, обычные в древней историографии. Так, произносит речь Калгак, один из вождей бриттанцев, боровшихся за независимость, в которой дается яркая картина господства Рима в провинциях, не скрывающая ни гнета, ни злоупотреблений римских властей (гл. 30—32). Калгак говорит о римлянах: «Это грабители вселенной: когда, при опустошении всего, им недостает земель, они уже обшаривают море; если враг богат, они руководятся корыстью; если беден — жаждою славы; их не насытит ни восток, ни запад; они одни с равной страстью гонятся и за богатством и за бедностью. Хищничать, убивать, грабить они называют лживым словом «владычество», а когда обратят страну в пустыню, это называют миром» (гл. 30, 5).

Другая речь, как бы ответная, принадлежит самому Агриколе: он воодушевляет своих воинов, указывая на трусость неприятелей.

Может быть, заслуги Агриколы преувеличены Тацитом, но теплота тона придаст этому сочинению привлекательную окраску. Он восхваляет личные качества Агриколы, его умение сочетать строгость начальника с милостью (гл. 9), его умеренный и благоразумный образ действий по отношению к подозрительному Домициану (гл. 42). Все сочинение производит впечатление искренности, и в изложении уже предчувствуется талант первоклассного писателя.

Заканчивает Тацит биографию Агриколы воззванием к душе его: «Если для душ благочестивых уделено какое-нибудь место, если, как думают философы, великие души не исчезают вместе с телом, то покойся в мире». По мнению автора, нельзя оплакивать таких замечательных людей; надо только возносить хвалу их величию. «Все, что мы любили в Агриколе, чему мы удивлялись в нем, остается и останется в душах людей, в вечности времен, благодаря памяти о его деяниях. Многих из древних покрыло забвение, но Агрикола, переданный потомству в моем повествовании, будет бессмертен» (гл. 46).

Время написания «Агриколы» определяется довольно точно на основании слов самого Тацита. В гл. 3 этого сочинения он говорит об императоре Нерве как о живом еще, но уже усыновившем Траяна, который стал его соправителем. Это время было между 18 сентября 97 г., когда Нерва усыновил Траяна, и 27 января 98 г., когда Нерва скончался. Стало быть, это сочинение написано или, по крайней мере, окончено за четыре с небольшим месяца 97/98 г. Что император Нерва был тогда еще жив, видно из того, что автор не прибавляет к его имени эпитета «божественный» (*divus*), который прибавлялся к именам умерших императоров вследствие обоготворения их. Таким образом, это сочинение Тацит писал вскоре после убийства Домициана (18 сентября 96 г.) под еще свежим впечатлением ужасов его правления. Этим легко объясняются выпады его против Домициана в начале и в конце сочинения, которые вместе с тем послужили ему для противопоставления личностей Агриколы и Домициана как контрастов между строгой честностью и жизнью по долгу — с одной стороны, и открытым злодейством и произволом — с другой.

Язык и стиль в «Агриколе» имеют значительно меньше сходства с Цицероновым способом выражения, чем в «Разговоре». С некоторой степенью вероятности можно указать на два места в эпиллоге «Агриколы», напоминающие два места из Цицеронова сочинения «Об ораторе»: III, 2, 8 и III, 3, 12. В первом Цицерон говорит о Крассе: «Не увидел он ни Италии, объятной пламенем войны, ни сената, сгоравшего завистью, ни государственных мужей, обвиняемых в злодейских поступках... ни неистовств Гая Мария, ни падения государства, в котором покойный блистал своими доблестями». Подобно этому место в гл. 45 «Агриколы»: «Не видел Агрикола осажденной курии и запертого вооруженной силой сената, не видел одновременного изгнания стольких людей консульского звания, ссылки и бегства стольких знатнейших женщин». Во втором месте Цицеронова сочинения сказано: «Но моему мнению, ты, Красс, и счастливый в жизни, и во-время застигнутый смертью, родился и скончался по соизволению богов». На это похожа фраза в гл. 45 «Агриколы»: «Счастлив ты, Агрикола, не только славой своей жизни, но и тем, что умер во-время».

Но гораздо больше в «Агриколе» следов влияния Саллюстия. Не говоря уже о краткости выражения, в чем Тацит, особенно в «Летописи», пошел дальше его, достаточно сравнить описание битвы в гл. 37 «Агриколы» с описанием битвы при Цирте в «Югурте» Саллюстия (гл. 101), или речь Калпака в гл. 30—32 «Агриколы» с речью Катилины в «Катилине» Саллюстия (гл. 58).

4. «ГЕРМАНИЯ»

В «Агриколе» есть большой экскурс географическо-этнографического характера. Всецело этой теме посвящено третье в хронологическом порядке сочинение Тацита «Германия», или полнее, «О происхождении, положении, нравах и народах Германии» (*De origine, situ, moribus ac populis Germaniae*).

«Германия» разделяется на две части: общую (гл. 1—27) и специальную (гл. 28—46).

Начинает Тацит с географического положения Германии (гл. 1). Затем говорит о происхождении жителей этой страны, рассказывает несколько преданий, высказывает мнение, что германцы — исконные жители своей страны и не смешаны с другими народами, что доказывается и однообразием общего всем им типа (гл. 2—5). Говорит потом о земле, ее плодородности и скрытых в ней сокровищах (гл. 5), об оружии и способе войны у германцев (гл. 6), о князьях, полководцах и жрецах (гл. 7), о женщинах и уважении к ним (гл. 8), о религии и ее обрядах (гл. 9—10), о совещательных собраниях (гл. 11), о судопроизводстве (гл. 12), о юношах, составляющих княжескую свиту (гл. 13), о воинственных наклонностях народа (гл. 14), о мирных его занятиях (гл. 15), об отсутствии городов, об устройстве деревень и домов (гл. 16), об одежде мужчин и женщин (гл. 17), о супружестве и нравственности женщин (гл. 18—19), о воспитании детей и наследстве (гл. 20), о преемственном переходе в семействе дружбы и неприязни, о гостеприимстве (гл. 21), об обыденной жизни, между прочим, о пьянстве, ссорах и разговорах на пирушках (гл. 22), о нашивках и пище (гл. 23), о зрелищах (гл. 24), о рабах и отпущенниках (гл. 25), об отсутствии барышничества, о земледелии и временах года (гл. 26), о погребении и его обрядах (гл. 27). — В специальной части говорит о каждом племени в отдельности. В основу изложения положен порядок топографический: сперва берутся племена, жившие вдоль правого

берега Рейна; потом автор переходит к востоку и северо-востоку, перебирая племена одно за другим. Здесь автор делает остановку и бросает общий взгляд на историю войн римлян с германцами, причем не скрывает и перенесенные римлянами неудачи. В дальнейшем описании он возвращается вновь к германским племенам северной группы и прослеживает их вплоть до устья Эльбы и Кимврского (Датского) полуострова. Обзор оканчивается у берегов Восточного (Балтийского) моря.

Время написания «Германии» определяется точно на основании того, что Тацит говорит (гл. 37) о втором консульстве Траяна как о современном событии. Это был 98 г. н. э. Стало быть, и «Германия» написана в 98 г., вскоре после «Агриколы».

Спорным является вопрос о том, какими источниками пользовался Тацит при составлении «Германии». Все исследователи, правда, согласны, что он пользовался сочинениями авторов, писавших до него о Германии; но одни предполагают, что, кроме этого, он сам лично так или иначе, в большей или меньшей степени, видел страну и ее жителей и наблюдал их учреждения, обычаи и т. д.; другие, напротив, совершенно отрицают возможность личного наблюдения со стороны Тацита и стараются доказать, что сочинение его всецело основано на литературных материалах и на показаниях других лиц.

Решение этого вопроса находится в тесной связи с решением вопроса о том, где был Тацит во время своего «долгого отсутствия» по окончании срока его преторства (т. е. после 88 г.). Те, кто предполагает, что в это время он был наместником Бельгии (или вообще занимал какую-нибудь должность в местах около Германии или в самой Германии), допускают и предположение о личных наблюдениях Тацита; те, кто не признает первой гипотезы, конечно, не могут допустить и второй, потому что, как уже было сказано, эти годы в жизни Тацита были единственным временем, когда он мог лично познакомиться с Германией.

Конечно, нельзя доказать с полной ясностью, что Тацит видел собственными глазами страну и народы, которые он описывает; но если читать «Германию» без предвзятой мысли, то получается впечатление, что это рассказ очевидца. Трудно думать, что Тацит, при всем своем мастерстве, мог бы дать такое живое, наглядное описание только на основании книг или со слов других лиц. Всего вероятнее, как уже было сказано, что после 88 г. он был в Германии, все это наблюдал, даже, по-видимому, разговаривал с жителями (он приводит несколько германских слов), перечитал соответствующую литературу, расспрашивал сведущих лиц и из всего этого материала составил свое сочинение.

Другой спорный вопрос относительно «Германии» — это вопрос о цели, с которой было написано, это сочинение. Тацит сам не дает указаний об этом. Поэтому в науке возникло много догадок.

При чтении «Германии» без предвзятой мысли прежде всего получается впечатление, что это просто географическое и этнографическое сочинение, предназначенное для ознакомления римлян со страной, мало известною им, но интересною для них ввиду ее враждебности и опасности для Рима. Правда, многие ученые предполагают в этом сочинении какую-то особую, сокровенную цель. Но, кажется, теперь в серьезной и беспристрастной науке упрочилось понимание «Германии» как обстоятельного географическо-этнографического этюда, не имеющего никакой другой цели, кроме общей всякому ученому труду этого рода — ознакомить публику с предметом, заслуживающим внимания. Тацит, естественно, особенно интересуется явлениями жизни германцев, отличавшимися от соответствующих форм римской жизни, которые сами собой наталкивают на

сравнение нравов того и другого народа, нередко не в пользу римлян⁵. Однако от этого еще далеко до сатиры.

Насколько достоверны сведения о германцах, сообщаемые Тацитом, судить трудно. Сообщения его о нравах германцев считаются по большей части довольно достоверными; меньшего доверия заслуживает то, что он говорит о положении страны, происхождении германцев, их религии, политическом устройстве. Как иностранец, Тацит легко мог ошибаться; но, судя по его обычной правдивости, надо думать, что его ошибки не были намеренными искажениями истины. В общем, для немецких историков, изучающих старину своей страны, «Германия» является драгоценностью. Если бы ее не было, пришлось бы, за неимением памятников, начинать историю германского народа лет на пятьсот позже, когда появилась «История франков» Григория Турского и впервые были записаны нормы обычного права салического племени.

Общий тон этого сочинения — спокойный научный. Написано оно языком простым и ясным; риторика в нем мало; нет ни пролога, ни эпилога, которые были тогда в моде и которые Тацит помещал в других своих сочинениях.

5. «ИСТОРИЯ»

Как сказано выше, значительная часть «Агриколы» представляет собою историческое сочинение. После «Германии» Тацит предался уже всецело занятиям историей, плодом которых было два главных его сочинения, доставивших ему славу в потомстве — «История» и «Летопись».

Нам неизвестно, оставил ли Тацит свою прежнюю профессию — ораторскую и адвокатскую деятельность. Судя по тому, что в письмах Плиния нет никакого упоминания об ораторских выступлениях Тацита после 100 г., можно думать, что их больше уже не было; но, как известно, заключения, основанные на молчании автора, ненадежны. В двух письмах (VII, 20; VIII, 7) Плиний говорит о просмотре им каких-то сочинений Тацита, которые он называет словом *liber*; однако нельзя с уверенностью сказать, что это были части его «Истории», как думают некоторые, потому что под этим словом могут разумеаться как книги в собственном смысле, так и речи. Но в письме VII, 33 он говорит уже прямо об «Истории» Тацита, предсказывая ей бессмертие. Однако даже если Тацит и не оставил вполне ораторскую деятельность, все-таки главные его литературные занятия во вторую половину жизни были посвящены указанным сейчас большим историческим сочинениям.

Исследователи, конечно, интересуются, почему Тацит в возрасте около 50 лет избрал себе новый род деятельности и занялся именно историей. Решить этот психологический вопрос с достоверностью, конечно, нельзя, но можно сделать некоторые предположения.

Прежде всего надо заметить, что по теории древних, история считалась как бы отраслью ораторского искусства⁶. Так, Цицерон говорит: «История есть произведение в высшей степени ораторское» («О законах», I, 2, 5). В другом месте он высказывает подобную же мысль: «Какой голос, как не голос оратора, дает истории бессмертие?» («Об ораторе», II, 9, 36). Стало быть, по воззрениям древних, писать историю способен только оратор. Таким образом, обращение Тацита к занятиям историей не было пе-

⁵ Для примера могут служить гл. 18—20 «Германии».

⁶ См. об этом также в главе о Тите Ливии («История римской литературы», т. I. М., Изд-во АН СССР, 1959, стр. 486).

реходом в какую-то чуждую ему область, а было лишь применением ораторского искусства в другой его отрасли.

Кроме того, как видно из слов Тацита в «Разговоре об ораторах» (гл. 1), оратор того времени, став судебным защитником, адвокатом, переставал даже называться оратором. Профессия оратора-адвоката была в то время, по-видимому, далеко не интересной в духовном отношении. Матерн в «Разговоре», сравнивая занятие поэзией с адвокатурой, находит много неприятного в адвокатуре: судебные дела называет он теснинами, в которых он достаточно и даже более, чем достаточно обливался потом (гл. 4); адвокатам приходится работать среди траура и слез подсудимых (гл. 12); у них жизнь беспокойна и полна забот (гл. 13); связанные подлой угодливостью, они и правителям никогда не кажутся достаточно рабами, и гражданам — достаточно свободными (гл. 13). «Да не буду больше и испытывать с душевным трепетом безумия и непостоянства форума и приносящей бледность славы», — говорит Матерн (гл. 13). Кроме того, к этому времени Тацит, вероятно, приобрел хорошее состояние адвокатской практикой и государственной службой. Устами Матерна Тацит высказывает свои мнения, и потому естественно, что, как Матерн уходит от форума к поэзии, так и Тацит — к истории.

Наконец, у Тацита мог быть и другой мотив, по которому он решил обратиться именно к истории. Рим только что избавился от ужасной тирании Домициана. Все были озлоблены; всем хотелось выразить чем-нибудь свое негодование по поводу пережитых ужасов. Ювенал говорит: «Негодование слагает стих» (1, 79) — и начинает писать сатиры. Тацит хочет выразить свои чувства описанием событий этой жестокой эпохи — описанием, которое по самому свойству этих событий должно иметь характер сатиры, в котором «правда хуже всякой лжи». В «Агриколе» (гл. 3), написанном вскоре после убийства Домициана, он говорит, что, хотя у него грубый голос, т. е. нет искусства писателя-историка, ему все-таки будет приятно написать сочинение, содержащее «воспоминание о прежнем рабстве и настоящем счастье». Здесь под «прежним рабством» он разумет, может быть, весь период с начала принципата Августа, но главным образом именно правление Домициана. Как в «Агриколе» (гл. 2, 7, 44, 45), так и в «Истории» (IV, 2, 39, 85, 86) есть резкие выпады против Домициана, показывающие неприязненные чувства Тацита к этому деспоту. Вероятно, очень ясно эти чувства выражались в рассказе о правлении Домициана, который до нас не дошел. Таким образом, «История» должна была дать потомству материал для суда над Домицианом и ему подобными, согласно выраженному Тацитом положению: «Главным долгом летописи я считаю то, чтобы не замалчивались добродетели, и чтобы дурные слова и дела боялись позора в потомстве» («Летопись», III, 65)⁷. И замечательно то, что повествование о «настоящем счастье», т. е. о принципате Нервы и Траяна, Тацит отложил на неопределенное время, на старость («История», I, 1), а начал работу с описания «рабства»: по-видимому, в данную минуту ему казалось более важным и интересным описать это ужасное время. Правда, он говорит, что, «кто заявляет о своей неподкупной любви к истине, тот должен изображать всех без любви и без ненависти» («История», I, 1); но все-таки непосредственным мотивом к описанию «рабства» могло быть чувство негодования по поводу только что пережитого.

Из упомянутых выше двух больших исторических сочинений Тацита более раннее — «История». Сочинение это дошло до нас лишь в одной

⁷ Подобным образом Григорий у Пушкина видит в летописи Пимена донос, вследствие которого Борис не «уйдет от суда людского».

рукописи и там оно помещено без заглавия. Заглавие мы узнаем из слов христианского писателя III в. Тертуллиана («Апология», 16): «Корнелий Тацит в пятой своей „Истории“ (Cornelius Tacitus in quinta historiārum suarum), а также из приведенного выше письма Плиния к Тациту (VII, 33): „Предчувствую, и меня не обманывает предчувствие, что твоя „История“ будет бессмертной» (auguror, nec me fallit augurium, historias tuas immortales futuras). Отсюда видно, что это сочинение носило заглавие «История», так же, как сочинение Сизенны⁸, Саллюстия⁹ и Азиния Поллиона¹⁰. Это слово по-русски буквально переводят множественным числом — «Истории», но такой перевод неверен, что часто бывает с буквальными переводами. В латинском языке множественное число *historiae* может употребляться наряду с единственным применительно к историческому сочинению; а по-русски даже о многотомном историческом сочинении употребляется единственное число — «История»¹¹. Поэтому и сочинение Тацита (а равно Сизенны и Саллюстия) следует называть словом «История» в единственном числе.

Словом *historia* («История») древние обозначали также историческое сочинение, в котором излагаются события, современные автору, а словом *Annales* («летопись») — всякое историческое сочинение, в котором изложение событий ведется по годам. Так, по словам Веррия Флакка¹², некоторые определяли слово *historia* (Авл Геллий, V, 18). Сервий (в примечании к «Энеиде», I, 373) дает такое определение различия этих слов: «История есть сочинение о тех временах, которые мы или видели, или могли видеть... а Летопись — о тех временах и годах, которые наш век не видел. Поэтому Саллюстий состоит из истории, а Ливий — из летописи и истории. Однако эти слова смешиваются по произволу». Кроме того, в «истории» предполагается прагматический элемент изложения, с указанием причины и цели исторического факта¹³. В «Истории» Тацита излагались события 69—96 гг., т. е. такие, свидетелем которых он был сам; а в «Летописи» — события более ранние, со времени смерти Августа (14 г.) до смерти Нерона (68 г.).

«История» дошла до нас далеко не в полном виде; сколько именно книг было в ней, определить невозможно. Христианский писатель Иероним (IV в.) в «Истории» и «Летописи» вместе насчитывает 30 книг (в комментарии к книге пророка Захарии 3,14 = т. XXV изд. Migne, стр. 1522). Но, так как и «Летопись» сохранилась тоже не в полном виде, то остается неизвестным, сколько книг было в каждом из этих сочинений. Господствующим в науке является мнение, что «История» состояла из 14, а «Летопись» из 16 книг. Однако некоторые ученые на основании разных соображений (в общем не имеющих решающего значения) предполагают, что в «Истории» было 12, а в «Летописи» 18 книг.

До нас дошли из «Истории» только книги I—IV и часть книги V, т. е. приблизительно треть всего сочинения.

В полном виде «История» должна была содержать изложение событий начиная со второго консульства Гальбы (1 января 69 г., через несколько

⁸ См. «Историю римской литературы», т. I, стр. 251.

⁹ Там же, стр. 274.

¹⁰ Там же, стр. 492.

¹¹ В Толковом словаре русского языка под редакцией Д. Н. Ушакова (т. I, стр. 1258) прямо сказано, что в этом смысле слово «история» употребляется только в единственном числе.

¹² «История римской литературы», т. I, стр. 504.

¹³ Подробно этот вопрос разобран в сочинении: Hermannus Peter. Veterum historicorum Romanorum reliquiae, I, 1870, p. XLVIII—L.

месяцев после смерти Нерона) и кончая убийством Домициана (18 сентября 96 г.) Дошедшая до нас часть сочинения заключает в себе описание событий только неполных двух лет (69—70 гг.). Книга I начинается с того момента, когда в Рим, недовольный правлением Гальбы, приходит известие, что германские легионы возмутились и провозгласили императором своего главнокомандующего Вителлия.

Книга V, последняя из сохранившихся, прерывается на не оконченном рассказе о восстании Цивилиса в Германии. Описание и оценка Тацитом деятельности Веспасиана и Тита остается неизвестной. Не сохранилось и описание пятнадцатилетнего правления Домициана, которое должно было быть главной частью содержания «Истории».

Очень драматично Тацит сам излагает содержание «Истории» (1, 2)¹⁴: «Приступаю к сочинению, изображающему много несчастий, жестокие сражения, раздор партий, проявившийся в возмущениях, жестокости даже во время самого мира. Убиты мечом четыре государя; произошло три междоусобных войны, еще больше внешних войн, и часто те и другие разом; успехи на Востоке, неудачи на Западе; восстала Иллирия, заколебалась Галлия; была покорена Британия и тотчас оставлена; поднялись против нас сарматские и свебские народы; даки получили известность благодаря нашим и их поражениям; едва и парфия не взялись за оружие вследствие обмана лже-Нерона. Италия была постигнута новыми или спустя длинный ряд веков повторившимися бедствиями. Поглощены [морем] или разрушены города на самом плодородном побережье Кампании; Рим опустошен пожарами, причем были истреблены самые древние храмы, а сам Капитолий был сожжен руками граждан. Осквернены священные установления; [совершались] прелюбодеяния в знатных семействах. Море наполнено ссыльными; скалы напитаны кровью. Рим испытал более ожесточенные гонения: знатность, богатство, отказ от почетных должностей или принятие их были преступлением, и вернейшая смерть следовала за доблестями. Награды доносчикам возбуждали ненависть не менее, чем их преступления, когда одни из них, получая жреческие должности и консульства, как военную добычу, а другие — должности прокураторов и влияние при дворе, приводили в движение и перевертывали все, возбуждая ненависть и ужас. Рабы подкупались против господ, вольноотпущенники — против патронов; а те, у кого не было врагов губились друзьями».

Время написания и издания «Истории» можно определить приблизительно. В письме Плиния VII, 33 есть упоминание об «Истории», причем Плиний просит Тацита рассказать в ней об одном судебном инциденте, происшедшем при Домициане. Так как письма VII книги Плиния относятся приблизительно к 107 г.¹⁵, то на основании этого надо заключить, что в 107 г. Тацит еще писал «Историю», но не закончил описания правления Домициана, которое должно было находиться в последних книгах. Больше сочинения в то время издавались по частям; вероятно, так же издавалась и «История», и потому надо думать, что Тацит начал писать ее несколькими годами раньше 107 г. (но после «Агриколы»), а кончил и издал несколькими годами позже, но раньше «Летописи», как видно из того, что в ней (XI, 11) есть ссылка на описание в «Истории» правления Домициана.

¹⁴ Это изложение дано в переводе В. И. Модестова (с некоторыми изменениями); но он представляет лишь бледное отражение подлинника, гораздо более многословное. Передать сыкатый слог подлинника в более близком переводе едва ли возможно.

¹⁵ Th. Mommsen. Gesammelte Schriften, Bd. IV, 385.

6. «ЛЕТОПИСЬ»

Заглавие второго исторического сочинения нам тоже в точности неизвестно. Первая часть его сохранилась в единственной рукописи (Mediceus I), но в ней заглавия нет: рукопись начинается словами: *Ab excessu divi Augusti* («От кончины божественного Августа»), а затем следует прямо текст сочинения. Сам Тацит в нескольких местах называет его *Annales* («Летопись»): III, 65, IV, 32; XIII, 31, но употреблял ли он это слово здесь в смысле заглавия, или просто в смысле сочинения, в котором изложение ведется по годам, определить нельзя. Поэтому в наших изданиях оно носит разные заглавия: по большей части *Annales*, но в некоторых (например в издании Ниппердея *Ab excessu divi Augusti* — это заглавие аналогично заглавию *Ab urbe condita* Ливия); в издании Орелли оно озаглавлено так: *Annalium ab excessu divi Augusti quae supersunt*. Удобнее называть его *Annales* — «Летопись», «Анналы», — ввиду краткости этого названия, а также и потому, что оно склоняется, тогда как выражение «От кончины божественного Августа» нельзя склонять.

О различии между названиями «История» и «Летопись» уже сказано выше; в «Летописи» описываются события, свидетелем которых сам Тацит не был; но способ изложения по годам и прагматический характер в обоих сочинениях одинаков.

По общепринятому мнению, «Летопись» состояла из 16 книг. Число это подтверждается еще тем, что в рукописи (Mediceus II) вслед за XVI книгой «Летописи» помещена «История», как продолжение «Летописи», и потому I книга «Истории» помечена числом 17, а следующие ее книги следующими числами до 21 включительно. Отсюда видно, что рукописное предание считало XVI книгу «Летописи» последней. Но до нас дошла «Летопись» не в полном виде: сохранились полностью книги I—IV, от V — только начало (очень небольшое); от VI — конец (по-видимому, большая часть книги); книги VII — X совсем потеряны; книги XI — XVI сохранились, но не вполне: нет начала XI и конца XVI книги.

Первые шесть книг содержат историю правления императора Тиберия (14—37 гг.); XI — XII — конец правления Клавдия (47—54 гг.); книги XIII — XVI — правление Нерона (54—66 гг.).

Таким образом, не сохранилась часть истории Тиберия, все правление Калигулы, начало правления Клавдия и конец правления Нерона.

Следовательно, в полном виде «Летопись» обнимала историю правления первых четырех императоров, т. е. 14—68 гг. и таким образом примыкала непосредственно к «Истории», начинающейся с 69 г. Поэтому впоследствии «Летопись» и «История» были соединены, как видно из того, что Иероним считал их за одно сочинение в 30 книгах, а в рукописи «История» следует непосредственно за «Летописью», и книги ее нумеруются как продолжение «Летописи».

«Летопись» была разделена на книги самим Тацитом, и он старается окончить книгу каким-нибудь важным событием: так, книга II оканчивается смертью германского вождя Арминия, V — вероятно, смертью Сеяна, XI — казнью Мессалины, XII — смертью Клавдия, XIV — последними днями Октавии, XV — раскрытием заговора Пизона, XVI — смертью Нерона.

«Летопись» Тацита по содержанию и особенно по изложению совершенно не соответствует тому представлению, какое мы привыкли соеди-

нять со словом «летопись». Правда, изложение событий в ней ведется по годам¹⁶, но это не сухой перечень их, а блестящий рисунок.

Содержание «Летописи» приблизительно следующее. Приступая к этому труду, Тацит дает обещание излагать историю беспристрастно *sine ira et studio*, а не так, как предшествовавшие историки, из которых одни писали под влиянием лести, а другие под влиянием ненависти. Он пропускает историю Августа, а только говорит, как совершился переход от республики к империи. «После гибели Брута и Кассия у республики не было войска. Когда Помпей потерпел поражение у Сицилии, Лепид остался без войска, Антоний лишил себя жизни, даже у Юлианской партии не оставалось другого вождя, кроме Цезаря [=Августа]. Он, сложив с себя звание триумвира, выступает на сцену в качестве консула и показывает, что он довольствуется правами трибуна для защиты простого народа. Но как только он привлек на свою сторону войско подарками, народ — раздачей хлеба, а всех вообще сладостью мира, то он стал мало по малу поднимать голову, стягивать к себе права сената, должностных лиц, законов. Никто не оказывал ему противодействия, так как наиболее пылкие [республиканцы] погибли в боях или от проскрипций, а остальная знать награждалась, по мере готовности к раболепству, богатством и почетными должностями и, найдя в новом порядке вещей для себя выгоду, предпочитала безопасность в настоящем пользе опасностей прошлому. Да и провинциям этот порядок вещей не был противен, так как власть сената и народа через соперничество сильных и корыстолюбие должностных лиц потеряла доверие, а помощь законов, нарушаемых насильем, происками, наконец подкупами, не имела силы» (1, 2).

По смерти Августа, консулы, сенат, войско и народ присягнули Тиберию. «В Риме консулы, сенаторы, всадники ринулись в раболепство. Чем знатнее был кто-либо, тем с большим лицемерием и поспешностью, а также с поддельным выражением лица, — чтоб не казаться веселым по случаю кончины одного государя и слишком печальным при вступлении во власть нового, — мешал слезы и радость, сожаления и лести» (1, 7).

Затем следует у Тацита ряд картин, полных комизма, где низкая лесь сената изображается наряду с не менее низким лицемерием Тиберия.

Первые шесть книг «Летописи» заняты рассказом о правлении Тиберия. Тацит делит его на два периода: первый кончается смертью сына Тиберия, Друза, в 23 г., а второй начинается после этого года. Тиберий становится особенно жестоким после смерти в 29 г. Ливии, его матери, жены Августа. Ливия больше всех умела сдерживать злые порывы его. Автор признает за ним дарования правителя, но главными свойствами его считает, наряду с жадной самовластия, мрачную подозрительность, отсутствие веры в людей, скрытность и лицемерие, злопамятную жестокость.

Целая полоса актов жестокости тянется в повествовании Тацита через все годы правления императоров — от Тиберия до Нерона.

Из описания Тацита мы узнаем еще одно характерное для того времени явление, — владычество временщиков во дворце цезарей. Таков любимец Тиберия — Сеян. Сеян, префект преторианцев, ловкий, вкрадчивый, неразборчивый в средствах для достижения своих целей, до того опутал Тиберия, что он официально признал его помощником в правлении. Не довольствуясь таким отличием, Сеян задумал сам овладеть верховною властью и смело пошел к этой цели. Первым шагом к исполнению этого плана была

¹⁶ Иногда Тацит отступает от этого принципа и приводит извещенье по этому поводу: так в VI, 38 он говорит: «События эти, происшедшие в два лета, я рассказал подряд, чтобы успокоиться душой от домашних зол».

придуманная им реформа в преторианской гвардии. Затем он решился уничтожить всех членов императорской фамилии: Друза (сына Тиберия), Агриппину (жену Германика, внука Августа) с двумя ее сыновьями. На этом месте «Летопись» прерывается в дошедшей до нас рукописи (V, 3), и речь идет уже о казни Сеяна и его детей и сообщников (V, 9).

Говоря о жестокостях Тиберия, Тацит не отрицает его государственных дарований; не скрывает его заботы в первые годы о нуждах управления; признает, что он не обременял провинций податями, оказывал помощь разоренным городам, соблюдал осторожность при назначениях на ответственные должности, в Риме помогал беднякам, пострадавшим от пожаров и других общественных бедствий; Тацит рассказывает и о борьбе Тиберия с упадком нравов в Риме. Он приводит слова из послания его к сенату с осуждением роскоши, распутства и излишества, которым предаются знатные. «Что мне прежде всего запретить, что ограничить и привести к прежним нравам? Бесконечную ли величину вилл? Число ли рабов и различные их национальности? Вес ли серебра и золота? Чудные ли изделия из бронзы и создания живописи? Одинаковые ли одежды мужчин и женщин? Или ту специальную женскую роскошь, чрез которую ради камней наши деньги переносятся к чужестранным или даже вражеским народам? Мне известно, что на пирах и в кружках осуждают это зло и требуют его ограничения; но если кто издаст закон, назначит наказания, то те же люди станут кричать, что переворачивается государство, что хотят истребить всю знать, что никто не свободен от обвинения в этом преступлении» (III, 53—54).

В данном случае Тацит оправдывает Тиберия; вообще же он считает не только правом, но даже обязанностью историка бороться против зла, стало быть, и обличать его (III, 65). Поэтому он произносит над ним строгий суд, заканчивая свое скорбное и негодующее повествование о его правлении картиной последних лет его жизни, когда он, добровольно запершись на острове Капри, предался самым грязным порокам. Книга VI оканчивается рассказом о смерти Тиберия на 78-м году жизни: его задумали придворные, набросив на него много одежды (VI, 50).

Военная история занимает много места в «Летописи», как и в «Истории», причем военные события относятся преимущественно к борьбе римлян с германцами на Рейне. Эти страницы дают ценные дополнения к сочинению «Германия». Они же рисуют и военное устройство римлян, их походы, обстановку, сражения, военный быт со всеми подробностями. Главным героем борьбы Рима на севере с варварским миром является Германик, племянник Тиберия, благородство которого противопоставляется отталкивающим свойствам Тиберия: это любимый прием Тацита — сопоставлять контрасты личностей.

«Летопись» богата подробностями из различных сфер жизни государства и общества, преимущественно в Риме и Италии; гораздо меньше говорится о провинциях. Автор сообщает немало фактов о развитии крупного землевладения, о росте императорской собственности, о борьбе императоров со знатью на этой почве. У него можно найти много сведений о земельных конфискациях, как постоянной мере социальной политики императоров, направленной к собственному обогащению и разорению сенаторского сословия. Он указывает также на угрожающее усиление ростовщичества и на попытки Клавдия обуздать хищничество денежных дельцов. Упоминаются и экономические кризисы, хозяйственные бедствия, повторяющиеся в Италии голодовки, упадок земледелия и волнения народа от недостатка продовольствия. Говорится и о восстаниях рабов, огромные массы которых в поместьях магнатов нередко выходили из

повиновения и нарушали мир в разных местах Италии¹⁷. Против них власти боролись воинскими силами, подавляя вспышки рабских восстаний, и усиливая затем репрессии против них. При Нероне издан был специальный закон, по которому, если раб убьет господина, все рабы, находившиеся в доме во время преступления, должны были предаваться смерти.

Вторая часть «Летописи», т. е. книг XI—XVI, посвящена описанию правления Клавдия и Нерона. Одной из характерных особенностей исторической точки зрения Тацита является высокая оценка роли личности в истории. Вторая часть «Летописи» содержит множество изображений индивидуальных фигур правителей, борцов, общественных деятелей, писателей, дельцов, доносчиков, прожигателей жизни — как мужчин, так и женщин.

На первом плане стоят, конечно, императоры. Клавдий был бездарный правитель, сам представлявший мало интереса для историка; но интересны личности его двух жен, оказывавших большое влияние на государственные дела: развратной Мессалины и умной, но властолюбивой, жестокой и тоже порочной Агриппины Младшей. Слабоумный Клавдий казнил людей даже за то, что они видели, например, будто бы предвещающий ему несчастье сон (XI, 4).

Главное же внимание автора в последних книгах (XIII — XVI) «Летописи» сосредоточено на времени и на личности Нерона. Книга XVI дошла до нас без конца: рассказ обрывается на описании событий 66 г., именно на описании последних минут жизни Пета Тразея, лишаящего себя жизни по приговору Нерона. Не сохранившаяся часть книги XVI должна была заключать в себе историю событий конца 66 г., всего 67 г. и 68 г. до смерти Нерона включительно (11 июня), а может быть (это совсем неизвестно), и конца 68 г., т. е. первых месяцев правления Гальбы, после чего с января 69 г. начинается повествование «Истории».

Окружают Нерона и участвуют в его деяниях главным образом его любимцы и жертвы: знатные и незнатные, честные и низкие, мужчины и женщины. События разворачиваются в Риме и в Италии в связи с передвижениями самого императора, мнившего себя и мудрым правителем, и великим артистом — превосходным певцом и искусным всадником на конских состязаниях. Вместе с лицами обрисовывается и фон их действий, выясняются настроения общества.

Один из знаменитых рассказов второй части «Летописи» — описание страшного пожара в Риме в 64 г., когда огнем была уничтожена или сильно повреждена большая часть города; это одно из лучших мест в литературном отношении не только в «Летописи», но и во всем сохранившемся наследии Тацита.

«Пожар начался в части цирка, смежной с Палатинским и Целийским холмами. Огонь распространился по лавкам с легковоспламеняющимися товарами и, с самого начала сильный, да еще раздуваемый ветром, охватил цирк во всю длину. Не было там ни домов, огражденных крепкими заборами, ни храмов, окруженных стенами, и вообще никакого другого препятствия. Пожар, бурно распространялся сперва по местам ровным, потом поднимался на места возвышенные, и снова спускался, опустошая низменные. Огонь опережал средства борьбы с ним своей быстротою истребления, а также тем, что ему способствовали узкие улицы города, загибающиеся то туда, то сюда, с неправильными рядами домов, каков

¹⁷ То была постоянно грозившая опасность. Сенека («О милосердии», I, 24) предостерегает крупных собственников. Пусть они подумают: вдруг рабы станут подсчитывать, сколько их и сколько нас. Не выходили из памяти и прежние восстания рабов

был старый Рим. Сверх того, рыдания испуганных женщин, дряхлые старики или беспомощные дети, люди, хлопотавшие о себе и люди, хлопотавшие о других, таща или поджидая слабосильных, то останавливавшиеся, то спешившие люди, — все это мешало тушить пожар. И часто, когда бежавшие оглядывались назад, огонь охватывал их с боков или сзади; а если они ускользали от него в соседние улицы, то, когда и эти загорались, они бежали в улицы, которые казались им далекими, но и эти оказывались в таком же положении. Наконец, не зная, чего избегать и чего искать, люди наполняли дороги, ложились по полям; некоторые погибли, потеряв все имущество, лишившись даже дневного пропитания; другие, хотя и могли спастись, погибли из-за любви к родным, которых не могли вырвать из огня. И никто не смел останавливать огня, так как часто слышались угрозы людей, запрещавших тушить его, и так как другие открыто бросали факелы, громко крича, что они имеют на это приказание, — для того ли, чтобы им было свободнее грабить, или действительно по приказанию» (XV, 38).

Интересна характеристика Сенеки, знаменитого философа-стоика, воспитателя Нерона, а потом и его советника. Тацит говорит о Сенеке в разных местах «Летописи». Если собрать все эти отрывки вместе, то получится почти полная картина жизни его при Нероне и близкая к истине характеристика сложной, противоречивой природы, одевенной Тацитом пронциательно и, по существу, справедливо. Тацит признавал Сенеку первоклассным философом, высоко образованным человеком и прекрасным стилистом. Многие его идеи он воспринял с сочувствием, но внимательно знакомился с его жизнью как историк.

Нерону наскучила опека со стороны Сенеки, а враги непрерывно наущивали императору, что Сенека считает себя выше самого цезаря дарованиями и хочет стоять выше его и во власти. Сенека увидел, что ему надо отойти от двора и, отказавшись от благ и почестей, искать безопасности в уединении. Тацит приводит характерный по содержанию разговор, происходивший будто бы между государем и его главным бывшим советником на испрошенной Сенекою аудиенции (XIV, 53—56).

В последних, дошедших до нас, частях «Летописи» изображаются ужасные гонения, последовавшие за раскрытием заговора Пизона. От казней погибло множество людей, виновных и невинных; были казнены родственники Сенеки, в том числе и его племянник, поэт Лукан. Тогда же погиб сенатор Тразея Пет, стоик, один из любимых исторических образов Тацита. Рассказ о нем проходит через всю историю правления Нерона. Автор преклоняется перед ним за твердость убеждений и за открытые, спокойные протесты против произвола императора. В то время как все сенаторы были в вечном страхе и раболепстве, Тразея один высказывал Нерону правду в лицо, хотя бы выразительным молчанием. Такой человек в эпоху Нерона, разумеется, должен был умереть. В последней главе дошедшей до нас части «Летописи» описаны его предсмертные минуты.

Ученым трудно было примириться с потерей такой большой части «Летописи». Сделана была попытка воссоздать утраченные части. Французский ученый аббат Бротье (Broët) изложил на латинском языке историю событий, которые должны были составлять содержание книг VII — X и конца книги XVI, стараясь подражать слогу Тацита. Эти дополнения (*supplementa*) помещены в его издании сочинений Тацита 1771 г. и впоследствии были несколько раз перепечатаны. Конечно, автор не претендовал на то, что его работа восстанавливает подлинный текст Тацита — это своего рода литературная игрушка, которая должна была показать его искусство писать по латыни слогом Тацита. Но эти допол-

нения все-таки полезны: автор собрал разрозненные свидетельства об излагаемых им событиях из разных сочинений древних писателей (Светония, Диона Кассия и др.) и соединил их в связный рассказ, из которого читатель может получить сведения об истории того периода. Так же поступил Фрейнштейн по отношению к утраченным книгам Т. Ливия¹⁸. Подобным образом К. Л. Рот (C. L. Roth) в своем немецком переводе «Летописей» изложил содержание книг VII—X и утраченной части книги XVI на немецком языке, причем даже указал места древних писателей, по которым составлено изложение.

Кроме этих, рассмотренных нами сочинений, Тацит имел намерение написать историю времени Августа («Летопись», III, 24), Нервы и Траяна («История», I, 1), но, по-видимому, не исполнил этого намерения — по случаю ли смерти (как предполагают ученые), или по каким-либо другим причинам.

7. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ ТАЦИТА

Тацит любит сентенции на разные темы — политические, религиозные, нравственные. Это заметили ученые XVII в. и стали пользоваться его сочинениями как источником политической мудрости. Появились сборники сентенций и соответствующих примеров из его сочинений, сопровождаемые комментариями с этой точки зрения и перифразом; они служили для преподавания в школах политических наук. Многие молодые люди посещали эти школы, привлекаемые желанием сделаться государственными деятелями. Такое собрание сентенций из сочинений Тацита (но без всяких комментариев) помещено в издании Нодэ (Naudet), 1819—1820, т. V, стр. 243—342. Теперь такое применение сочинений Тацита отошло в область преданий; мы изучаем Тацита как историка и художника.

На основании таких высказываний Тацита и вообще его повествования мы можем представить себе, какие политические, религиозные, моральные взгляды он проводит в своих сочинениях. Однако надо помнить, что высказываемые им взгляды могут не вполне соответствовать его действительным взглядам, что он мог не высказывать свои задушевные мысли. Не надо упускать из вида, что он писал в императорскую эпоху. Правда, это было в правление Траяна, при котором, как он говорит, были «времена замечательно счастливые, когда можно было чувствовать, что хочешь, и говорить, что чувствуешь» («История», I, 1). Но едва ли и при Траяне можно было откровенно высказать отрицательное мнение о монархии как образе правления.

Тацит вообще мало говорит о себе; нигде не высказывает он открыто и того, какой государственный строй, по его мнению, заслуживает предпочтения, не излагает политической программы. Поэтому нам приходится делать выводы относительно этого на основании его отношения, положительного или отрицательного, к рассказываемым им событиям или описываемым лицам. Однако и этим путем можно добыть лишь очень мало сведений положительного характера, но зато много сведений отрицательного характера. Таким образом, легко усмотреть, какие формы государственного строя он не одобряет, но нельзя или трудно угадать, какие одобряет.

В «Летописи» (IV, 33) он говорит: «Всеми народами и городами управляют народ, или первые люди, или отдельные лица», разумея под этим

¹⁸ См. «Историю римской литературы», т. I, стр. 473.

демократию, аристократию и монархию; но ни одним словом не указывает, какому образу правления отдает предпочтение. Из того, что он говорит о каждом из этих носителей власти, можно заключить, что ни один из них не пользуется его сочувствием.

Так, эпоху принципата до времени Нервы и Траяна он называет «рабством» («Агрикола», 3); хотя, вероятно, имеет в виду главным образом эпоху Домициана, но в нее входит и время, описанное в «Истории», т. е. время начиная с принципата Тиберия. Но началом рабства он считает уже диктатуру Юлия Цезаря: день похорон его он называет «днем еще не созревшего рабства и неудачно восстановленной свободы» («Летопись», I, 8). О принципате Августа он отзываяется, хотя и сдержанно, но все-таки неблагоприятно: «После битвы при Акцие великие таланты перестали являться» («История», I, 1); на дела государственные граждане стали смотреть как на чужие; писатели были преданы или лести, или ненависти («История», I, 1). Высота власти императоров затмевает личные заслуги частных людей («Летопись», XIV, 47); принцепс не может выносить при себе старинной знати и славных имен и уничтожает добродетельных людей: «Было пролито много крови, и громкая известность стала причиною гибели» (там же, III, 55). Подобные же мысли о принципате высказывает Тацит в других местах: «Летопись», IV, 13; VI, 10, XIV, 57. Вообще принципат меняет характер человека: «Веспасиан, в противоположность всем своим предшественникам, был единственный государь, переименовавшийся к лучшему» («История», I, 50). Напротив, Тиберий, Нерон падали в нравственном отношении все ниже и ниже; особенно этому способствовали царедворцы.

Мрачными красками рисует Тацит и носителя аристократической власти — современный ему сенат. Трудно сказать, кто возбуждает большее отвращение в рассказе Тацита, — императоры ли с их безумными жестокостями и пороками или сенат с его раболепием и подобострастием. Сенат сам виновен в своем унижении. Между принцепсом и сенатом происходит какое-то взаимодействие: принцепс всячески унижает сенат и побуждает его к раболепству, а сенат своим все возрастающим раболепством поощряет императоров к расширению своего самовластия и сумасбродства. Так, Нерон решился отвергнуть свою жену Октавию лишь тогда, когда увидел, что сенат прославляет его преступления по отношению к ней как славные подвиги.

Вообще, «время Тиберия», замечает Тацит, «до того было пропитано разазою и грязною лезтью, что не только первые лица государства, которым необходимо было прикрывать свою известность угодливозтью, но и все бывшие консулы, значительная часть бывших преторов и многие даже низшие сенаторы наперерыв вставали, чтобы подать омерзительное и чудовищное мнение» («Летопись», III, 65).

Даже самим императорам это раболепство сената было противно: так, Тиберий, «который боялся свободы, но ненавидел лезть» (там же, II, 87), «всякий раз, как выходил из курии, произносил по-гречески: «О люди, созданные для рабства!» «Это значит, — прибавляет Тацит, — что даже человеку, который не хотел народной свободы, было противно столь униженное пресмыкательство рабеленных людей» (там же, III, 65). И относительно императора Клавдия Тацит приводит аналогичный случай. «Когда консул Випстан вошел с докладом, что следует назвать Клавдия отцом отечества... то Клавдий сам остановил консула, как зашедшего в лезть слишком далеко» («Летопись», XI, 25). Даже Нерон, «когда сенаторы предложили ему статую из цельного серебра или золота, не согласился на это. Хотя сенаторы предложили также, чтобы начало года было в де-

кабре месяце, в котором Нерон родился, он сохранил старое религиозное установление считать начало года с январских календ (там же, XIII, 10). Как сказано, раболепство было уже при Тиберии; с течением времени оно усиливалось; каждое поколение стремилось превзойти в лести своих предшественников: «Сенаторы определяют,— говорит Тацит,— в память Друза те же почести, какие были определены Германику, очень многое прибавив, как это обыкновенно любит делать последующая лесь» («Летопись», IV, 9). Придумывали новые способы и формы лести.

Раболепство сената выражалось и в его официальных постановлениях: таким образом, к нему были причастны не только отдельные лица, но и вся корпорация в полном составе. Немногие уцелевшие потомки Циципонов и других родов древней аристократии не составляли исключения. Мало того, родственники казненных участников заговора Пизона (правда, не из лести, но вследствие террора) должны были выражать радость по этому поводу: «Рим был полон похорон, Капитолий был полон жертв: один, потеряв сына, другой, потеряв брата, родственника или друга, приносили благодарность богам, украшали лаврами дома, принадлежали к коленам государя и покрывали его правую руку поцелуями» (там же, XV, 71).

Ясно, что такую аристократию Тацит не мог считать пригодной для управления римской державой. Правда, он изображает аристократию при императорах, бывших до Траяна; но, как видно из сатиры Ювенала, она и при Траяне, если даже не была столь раболепной, то во всяком случае утратила древнюю доблесть (*virtus*) Цициппатов и Фабрициев.

Мрачными красками изображает Тацит и римский народ, этого носителя демократического принципа. Надо сказать, впрочем, что Тацит говорит не о всем населении римской империи незнатного происхождения; он говорит лишь о низших классах населения Рима, которое в то время состояло главным образом из иностранцев, пришедших со всех концов мира, из вольноотпущенников, лишь недавно бывших рабами, едва умевших говорить по-латыни и не имевших в себе ничего римского, даже языка. Однако это население своей массой воздействовало на императоров,¹ внушало им некоторый страх, так что им приходилось задабривать его. Тацит считает народ непригодным для ведения общественных дел: народ сам не знает, чего хочет; он «желает переворотов, но вместе с тем и труслив» («Летопись», XV, 46); он «находит удовольствие в возмущениях и в записывающем у него правительстве, чувствует сильную приманку к междоусобной войне в своеволии и грабеже» («История», I, 83); «у него нет другой государственной заботы, кроме заботы о хлебе» (там же, IV, 38). Очень ярко охарактеризована римская толпа в рассказе о сражении между солдатами Веспасиана и солдатами Вителлия (там же, III, 83): она смотрит на это сражение, как на представление в цирке или в амфитреатре. «Народ присутствовал при битвах как зритель и, как бы на потешном сражении, одобрял то ту, то другую сторону криком и рукоплесканиями. Всякий раз, как одна сторона терпела поражение, народ требовал, чтобы укрывшихся в лавках или убежавших в какой-нибудь дом солдат вытаскивали и убивали, а сам завладевал большей частью добычи: в то время, как солдаты предавались кровопролитным убийствам, добыча переходила к черни».

Конечно, Тацит не мог чувствовать симпатии к государственному строю, в котором главную роль играла бы такая сила.

Но, может быть, Тациту нравилась римская республика до битвы при Акции, когда Август поработил ее? По-видимому, тоже нет. Уже в раннем сочинении Тацита «Разговоре об ораторах», Матери (выражающий, как полагают, мнение самого автора) указывает более на дурные стороны

римской республики, чем на хорошие, хотя оратор как раз должен был бы сожалеть о ней. Он вполне признает, что в условиях республики оратор гораздо больше мог прославиться, чем в условиях империи, «потому что, чем сильнее кто был словом, тем легче приобретал почести, тем скорее в самых почестях опережал своих товарищей, тем больше снискивал себе расположения у главных лиц республики, тем больше значения в сенате, тем больше известности в народе» («Разговор об ораторах», 36).

Однако, продолжает Матерн, «то великое красноречие есть питомец своеволия, которое глушцы называют свободой, спутник возмущений, подстрекательство необузданного народа, без покорности, без повиновения, высокомерное, безрассудное, гордое, которому нет места в хорошо устроенных государствах!»

«Рим, — говорит Матерн далее, — истошал себя партиями, раздорами и несогласиями; не было мира на форуме, согласия в сенате, порядка в судах, уважения к высшим, умеренности среди магистратов». Хотя при республике для ораторов было более простора, но были и опасности, и «Цицерон не искупил славою своего красноречия печальной кончины» (там же, 40).

Этого неблагоприятного мнения о римской республике Тацит не переменял и позднее. В «Летописи» (IV, 33) он говорит, что «форму правления, выбранную и смешанную из трех [демократической, аристократической, монархической], легче хвалить, чем осуществить на деле, а, если она и бывает осуществлена, то не может быть долговечной. Под этой смешанной формой Тацит разумеет римскую республику, какой она была в дни своего благополучия. Такое мнение о ней высказал Полибий около конца Пунических войн. Консулы, как он думал, представляют собою власть монархическую, сенат — аристократическую, народное собрание — демократическую. Этому мнению держится и Цицерон в своей «Республике». Но Тацит, как видно из выше приведенной фразы его, находит эту форму правления красивой в теории, но непригодной на практике.

Таким образом, Тациту ни одна из существовавших в древности форм правления не кажется удовлетворительной. Но, по-видимому, у него не было никакой своей политической программы, и потому в его суждениях иногда замечается какая-то двойственность. Так, у него видны аристократические предрассудки, оставшиеся от прежних времен римской республики. Высоко ценя «добродетель», он понимает ее однако не в том смысле, как стоики: «Гельвидий Приск, — говорит он, был последователем тех учителей мудрости, которые признают благом только то, что честно, злом — только то, что позорно, а власть, благородство происхождения и прочее, что вне духа, не причисляют ни к благу, ни к злу» («История», IV, 5). Тацит, напротив, держится того убеждения (как и Феогнид), что благородство происхождения и духа находятся в неразлучном единении. Древние патрицианские роды уже почти угасли в его время¹⁹, для него благородными являются сенаторы. В этой новой служилой знати Тацит видит носительницу «добродетели». Каким-то странным образом у него уживается представление о добродетели этой знати с его же собственным мнением об ее отвратительном рабстве. По-видимому, он, подобно Светонию («Тибериус», 27), видел в этом рабстве явление нормальное. Такая

¹⁹ Потомков древних аристократических родов уже мало оставалось при Нероне. В 48 г. Клавдий пополнил сенат провинциалами; Тацит по этому поводу говорит («Летопись», XI, 25): «Уже мало оставалось семейств, которые Ромул назвал старшими (maiores), а М. Брут — младшими родами (minores gentes), и угасли даже те семьи, которые диктатор Цезарь и принцесса Августа причислили к патрициям». Клавдий еще уменьшил их число. Последние остатки их были истреблены Домицианом.

непоследовательность, вероятно, объясняется тем, что он сам по происхождению принадлежал к новой знати и вращался в кругах, в которых по традиции жили аристократические предрассудки. Как бы то ни было, но он считает всякий благородный и гордый поступок достойным древнего имени. Так, Мамерк Скавр, известный знатностью рода, но порочной жизни, подвергшись обвинению при Тиберии, «предупредил осуждение, как это было достойно древних Эмилиев, по совету жены своей, которая убедила его добровольно лишиться себя жизни и разделила с ним смерть» («Летопись», VI, 29). «Г. Кассий, правитель Сирии, восстанавливая старинную дисциплину, делая смотры легионам, обнаруживал такую же заботливость и предусмотрительность, как если бы наступал неприятель: это, как он думал, достойно его предков и фамилии Кассиев» (там же, XII, 12). Вследствие того же убеждения о добродетели знати он предъявляет к сенаторам и их семьям более высокие требования: человек знатный не должен водиться с незнатными; так, он возмущается тем, что Ливия, сестра Германика, обесчестила себя, своих предков и потомков связью с любовником из муниципия, т. е. с Сеяном (в 23 г.) (там же, IV, 3). Может быть, он не так бы осуждал ее, если бы она выбрала знатного вельможу²⁰. Когда Тиберий хотел женить Друза, сына Клавдия, на дочери Сеяна, стоявшего тогда на высоте своего могущества (в 20 г.), «народ был недоволен тем, что сыну Клавдия назначался тестем Сеян. Находили, что Тиберий запятнал этим знатность своей фамилии» («Летопись», III, 29). Значит, даже на всемогущего тогда Сеяна смотрели как на выскочку за то, что он был уроженцем муниципия. «В то время, как Рим находился в трауре, оплакивая столько смертей [в 33 г. н. э.], явилась новая печаль, что дочь Друза, Юлия, некогда жена Нерона, вступила посредством брака в семью Рубеллия Бланда, деда которого, родом из Тибура, римского всадника, помнили многие» (там же, VI, 27). Вероятно, этими же аристократическими симпатиями Тацита объясняется то, что в «Летописи» в конце года он приводит перечень смертей знатных лиц.

Указанные сейчас факты, — конечно, лишь мелочи. Но аристократические предрассудки Тацита проявляются и в более важных фактах. Мы не всегда находим у него ту возвышенность мысли и благородство души, благодаря которым Сенека умел стать выше мнений толпы и во многих отношениях опередил свой век. Он защищает некоторые злоупотребления только потому, что они были освящены давностью, хотя, по здравому смыслу, он не мог их одобрить. Кровь гладиаторов, которой наслаждался Друз, Тацит называет «дешевой» или «дурной» (*vilis sanguis*) («Летопись», I, 76)²¹. Он совершенно спокойно говорит о сенатском

²⁰ Происхождение из муниципия считалось бесчестьем в аристократических кругах еще во времена республики. Цицерон говорит («Филиппика», III, 6, 15): «Смотрите, как презирают всех нас, уроженцев муниципиев» Ювенал говорит о Цицероне (сатира 8, 237—238):

Новый, незнатный совсем человек из Арпина, недавно
Всадником бывший простым...

(Перевод Д. С. Недовича и Ф. А. Петровского)

²¹ Но и в этом отношении нельзя особенно упрекать Тацита: он разделяет только моральную нечувствительность почти всех своих современников; и Ювенал не осуждает варварства римлян и их жестокие удовольствия. Даже добродушный Плиний, не находя ничего предосудительного в этих зрелищах, поздравляет Траяна, говоря, что он пробудил в народе вкус к этого рода играм («Панегирик», 33); он говорит, что муж, опечаленный смертью жены, не может сделать ничего лучшего, чтобы почтить ее дорогую память, как устроить такое кровавое празднество («Письма», VI, 34). Но не таково было мнение Цицерона и Сенеки о гладиаторских играх: они возмущались их жестокостью.

постановлении (19 г.), по которому решено было «четыре тысячи вольноотпущенников отвезти на остров Сардинию, потому что не велика будет потеря, если они там погибнут от тяжелого климата» (там же, II, 85). Тацит нисколько не возмущается тем, что Нерон вместо факелов сжигал христиан на празднествах, а только замечает, что «хотя они были виноваты и заслужили самые жестокие наказания, к ним рождалась жалость как к людям, которые истреблялись не для общественной пользы, а для удовлетворения жестокости одного человека» («Летопись», XV, 44).

Такое же приблизительно уважение к сенату в теории было мнением римского народа вообще (даже и низших классов): по традиции сенат, не имевший на практике никакого значения, в теории был окружен ореолом величия. Очень характерна в этом отношении речь Отона, произнесенная перед солдатами (в 70 г.) (История», I, 84): «Пусть римская армия никогда не услышит о ваших возгласах против сената! Эту главу империи и честь всех провинций не дерзнули бы потребовать к наказанию даже те германцы, которых теперь именно ведет против нас Вителлий. Неужели же какие-нибудь сыны Италии и настоящее римское юношество могут требовать крови и избения того сословия, блеском и славой которого мы еще более увеличиваем грязь и темноту происхождения партии Вителлия? Вителлий имеет на своей стороне некоторые народы; у него есть некоторый призыв армии; но с нами сенат. А отсюда выходит то, что на этой стороне стоит государство, а на той — враги государства. В самом деле, неужели вы думаете, что этот прекрасный город заключается в домах, кровлях и куче камней? Эти немые, неодушевленные здания могут быть разрушены и могут быть восстановлены; вечность римского государства, мир народов, мое и ваше благо утверждаются на неприкосновенности сената. Сенат этот, учрежденный счастливо отцом и основателем нашего города, существовавший без перерыва от царей до императоров и бессмертный, мы, как получили от предков, так должны передать и потомкам: ибо, как из вашей среды происходят сенаторы, так из сенаторов — государя».

Если не идеалом, то по крайней мере наилучшим государственным строем должна была представляться Тациту римская республика в древнейшую эпоху своего существования, когда Цинциннаты сами пахали свои поля. Как вообще римляне позднейших времен уважали древность, так и Тацит восхваляет первобытных людей, а в римской республике — время до законов Двенадцати таблиц.

Само собою разумеется, что этот идеальный строй с равенством всех граждан, существовавший в крохотной общине (да и то, вероятно, лишь в воображении позднейших поколений), не мог быть воскрешен в громадной империи. Конечно, Тацит, как и другие, и не думал о восстановлении этого строя и даже вообще республики в какой бы то ни было форме; и он, и все другие уже давно примирились с монархией и желали лишь того, чтоб монархом был человек хороший. О необходимости монархии для того времени Тацит не раз говорит в своих сочинениях. Особенно ясно выражена эта мысль в речи Гальбы, когда он рекомендовал Пизона в преемники себе по принципату («История», I, 16): «Если бы огромное тело империи могло стоять и держаться в равновесии без управителя, то я был бы достоин того, чтоб от меня началась республика; но уже давно мы дошли до той необходимости, что ни моя старость не может дать римскому народу более, чем хорошего преемника, ни твоя молодость — более, чем хорошего государя». Эту же мысль Тацит высказывает и от себя. Принципат Августа он мотивирует тем, что «после битвы при Акции дело мира потребовало, чтобы вся власть была передана одному лицу» (там же, I, 1). Приблизительно то же сказано и в «Летописи» (I, 1 и I, 9).

Вкратце можно формулировать политические взгляды Тацита словами Моммзена: «Тацит был монархист, но по необходимости,— можно сказать, из отчаяния»²². Такое отношение вполне понятно: массы народа были расположены к новой системе; в течение 500 лет мы видим заговоры против цезарей лично, но не видим ни одной практической попытки к восстановлению республики, которая уже никого не привлекала. «Основанная на военном господстве императорская власть,— говорит Энгельс,— является неотвратимой необходимостью»²³.

Тацит желает того, чтобы императором был человек хороший, а для этого нужно, по его мнению, чтобы власть переходила от императора к его преемнику не по родству, а путем усыновления императором гражданина, достойного быть правителем. Примером такого способа назначать себе преемника служит усыновление Гальбой молодого человека, Пизона Лициниана. Об этом факте Тацит рассказывает в «Истории» (I, 14—19). На этот раз такой способ преемства власти не удался. Лишь впоследствии, в эпоху Антонинов, он на некоторое время вошел в употребление.

8. ФИЛОСОФСКИЕ И РЕЛИГИОЗНЫЕ ВЗГЛЯДЫ ТАЦИТА

Философские и религиозные убеждения Тацита, так же как и политические, нигде не формулированы им ясно и определять их приходится по случайным его высказываниям или по суждениям о каких-либо фактах.

Прежде всего видно, что Тацит не принадлежал всецело ни к какой философской школе. Хотя из его сочинений видно знакомство со стоической и эпикурейской философией, но не особенно глубокое, достаточное лишь для практического государственного деятеля. Ни одной из этих систем он не отдавал предпочтения: в признании того принципа, что добродетель есть высшее благо, он сочувствовал стоикам; но в отрицании мифологических богов он скорее следовал эпикурейцам. Иногда он приводит рядом догматы эпикурейской и стоической школы, не зная, какой отдать предпочтение.

Нигде не видно, чтобы он признавал богов как существа личные, имеющие какую-нибудь форму; напротив, он был склонен видеть в боге нечто такое, что не может быть заключено ни в какие формы. Это можно предполагать на основании его рассказа о том, как представляли себе божество германцы и иудеи. «Германцы,— говорит он,— считают сообразным с величием небесных существ не держать богов заключенными в стенах и не придавать им никакой человеческой формы» («Германия», 9). О верованиях иудеев он выражается так: «Иудеи признают единое божество и представляют его только в уме. Они считают нечестивыми тех, которые делают из бранных веществ изображения богов наподобие людей. Бог для них есть существо верховное и вечное, неподражаемое²⁴ и не может погибнуть» («История», V, 5).

Тем не менее Тацит приписывает богам гнев, мщение, милость и другие свойства: так, характеризуя время, которое он намерен описывать в «Истории», он говорит: «Никогда еще более жестокими бедствиями народа римского и более верными знаменами не было доказано, что боги заботятся не о безопасности нашей, но о мщении» (I, 3). Сеян, по мнению Тацита, привязал к себе Тиберия «не столько своей ловкостью, сколько вследствие гнева богов на Рим» («Летопись», IV, 1). Бури и болезни при

²² Цитата приведена в книге. Gaston Boissier. Tacite, Paris, 1903, p. 176.

²³ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 19, стр. 311.

²⁴ По другому чтению: «неизменяемое».

Нероне, а также «множество пролитой им крови» Тацит приписывает тоже гневу богов (там же, XVI, 13 и 16). «Армии Отона и Вителлия побудил к междоусобию тот же гнев богов» («История», II, 38). Вообще у Тацита боги являются по большей части враждебно настроенными против римлян и очень редко милостивыми: так, при Клавдии был голод, но «благодаря большой милости богов и умеренности зимы дело не дошло до последней крайности» («Летопись», XII, 43). Во время сражения римлян с Цивилисом «все шло к выгоде неприятелей», но «не без помощи божией у победителей внезапно изменилось душевное настроение, и они обратились в бегство» («История», IV, 78).

Наряду с богами, но еще чаще, Тацит упоминает о влиянии на события рока или судьбы (*fatum*), счастья (*fortuna*) и случая (*fortis* и *casus*). Различие между этими понятиями недостаточно ясно. «Поневоле приходилось в сомнение, от чего зависит расположение государей к одним и нерасположение к другим — от судьбы ли и жребия рождения, как и все остальное, или тут имеет некоторое значение и наше благоразумие» («Летопись», IV, 20). Здесь судьба, рок (*fatum*) и жребий не разнятся между собою. В другом случае счастье (*fortuna*) играет роль судьбы: Нерон называет дарами счастья (*fortunae munera*) красоту Поппеи и рождение ею божественного ребенка (там же, XVI, 6).

Всего яснее высказывает Тацит свое отношение к религии в следующем месте: «Я не могу решить, идут ли человеческие дела по закону судьбы и необходимости, или они подчинены случаю. Мудрейшие из древних лиц последователи их учения расходятся во мнениях. У многих [= эпикурейцев] укоренилось мнение, что ни начало, ни конец, ни вообще люди не составляют предмета заботы для богов и что потому чаще всего несчастья постигают хороших людей, а дурные благоденствуют. Другие [= стоики], напротив, полагают, что события повинуются судьбе, однако не в силу движения звезд, а в силу основных начал и связи естественных причин, и все-таки они [= стоики] оставляют нам выбор жизни, и, как только сделаешь этот выбор, за ним следует определенный ряд неизбежных событий; они говорят, что зло или добро есть не то, что таким считает толпа, что многие, по-видимому, постигнутые бедствиями, счастливы, а очень многие, несмотря на большие богатства, в высшей степени несчастны, если первые переносят тяжелую судьбу с твердостью, а последние неразумно пользуются счастьем. Впрочем, большая часть людей не покидает веры, что при самом зарождении человека ему назначается будущее, но думает, что кое-что происходит иначе, чем предсказано, вследствие лжи лиц, говорящих то, что они не знают: таким образом, говорят они, подрывается вера в науку [= астрологию], ясные доказательства которой дали и древнее время и наше. Действительно, сыном того же Тразилла была предсказана императорская власть Нерону» («Летопись», VI, 22). Из этой цитаты видно, что у Тацита не было ясного представления о роли судьбы в человеческих делах; он только приводит мнения эпикурейцев и стоиков по этому вопросу.

Равным образом, Тацит не высказывает определенно своего мнения о бессмертии души. Главное место, касающееся этого верования, представляет последняя (46) глава «Агриколы». «Если для душ благочестивых людей уделено какое-нибудь место, — если, как думают философы, великие души не исчезают вместе с телом, то покойся в мире» и т. д. И здесь о бессмертии души Тацит говорит лишь условно, и тоже со ссылкой на мнения философов.

Столь же неопределенно отношение Тацита к предсказаниям и предзнаменованиям. В то время разного рода суеверия были очень распростра-

нени не только среди простого народа, но и среди образованных людей, даже таких, как оба Плиния, Светоний. Тацит также приводит часто предзнаменования. «Мы поверили, — говорит он, — что по сокровенному закону судьбы как знаменьями, так и ответами оракулов Веспасиану и его детям была предназначена императорская власть» («История», I, 10). Оракул храма Венеры Пафосской предсказал Титу удачу в предприятиях (там же, II, 4), а оракул Аполлона Кларосского предсказал Германику скорую смерть («Летопись», II, 54); и то и другое предсказание сбылось. При удалении Тиберия в Кампанию астрологи предсказывали, что он уже больше не вернется в Рим, и отсюда заключали о близости его смерти; между тем, он прожил после этого 11 лет. Тацит по этому поводу замечает: «Впоследствии обнаружилось, как близко граничит эта наука (= астрология) с заблуждением. и какую тьму в ней покрыта истина: предсказано было верно, что Тиберий не возвратится в Рим, но насчет остального ошиблись, так как он дожил до крайней старости, проводя время поблизости в деревне или на берегу и часто под самыми стенами города» («Летопись», IV, 58). При Нероне, по словам Тацита, «произошло много чудесных знамений, но не имевших значения. Женщина родила змею; ... солнце померкло внезапно, и все четырнадцать частей Рима поражены были молнией. Но все это происходило до такой степени без заботы богов, что еще много лет после того продолжалась власть и злодеяния Нерона (там же, XIV, 12). Тацит, по-видимому, осуждает Гальбу за то, что он рекомендовал войску усыновленного им Пизона в «дождливый день, ознаменованный громом, молнией и небесными угрозами больше, чем обыкновенно». «Такого рода небесные знаменья, — прибавляет он, — издревле служившие к прекращению народного собрания, не устрашили Гальбу, который все-таки пошел в лагерь, как человек, пренебрегавший такими явлениями как случайными; или того, что предстоит по воле рока, нельзя избежать, хотя оно и указано знаменьями» («История», I, 18).

На основании приведенных высказываний Тацита и других подобных можно заключить, что и он разделял вместе со своими современниками веру в такие чудесные явления, но он отделял свои суеверия от суеверий народных. По поводу обмелений Рейна вследствие засухи он говорит: «Люди невежественные принимали самую скудость вод за предзнаменование, будто бы нас покинули и воды, эти старинные ограды империи: то, что во время мира приписывается случаю или природе, теперь называлось определением судьбы и гневом божьим» (там же, IV, 26). Рассказывая о сильном дожде во время похорон Британника, Тацит замечает: «Простой народ видел в этом предвещание гнева богов против преступления» (имеется в виду отравление Британника Нероном — «Летопись», XIII, 17).

9. ТАЦИТ КАК ИСТОРИК

Как уже было сказано, одной из характерных особенностей исторической точки зрения Тацита является высокая оценка роли личности в истории, и потому в его сочинениях, особенно в «Летописи», содержится множество изображений разных лиц и общественных групп.

На этой высокой оценке личности в ходе событий основан прагматизм повествования Тацита. Он не ограничивается одним рассказом событий, а старается найти их причины. Причины эти он находит в душе действующих лиц, показывая связь событий со страстями человека; для этого он вводит в повествование психологический анализ. Анализ этот не ограничивается у него отдельными лицами, главным образом императорами,

но прилагается и к целым общественным группам, настроению которых в данную минуту важно для объяснения описываемого события, — сената, народа и войска. Так, во введении к «Истории» он говорит о впечатлении, произведенном на разные классы общества низвержением Нерона, и хочет дать понять, каких событий должно было ожидать от этого в Риме и в провинциях. «Прежде, чем начать писать о том, что предположено, — говорит он, — мне кажется необходимым показать, каково было в это время состояние Рима, каково настроение войск, какое было положение провинций, что было в целом мире здорового, что болезненного, чтобы можно было знать не только течение событий и исход их, который бывает очень часто делом случая, но и внутреннюю связь их и причины. Смерть Нерона после первых порывов радости произвела различные движения в умах не только в Риме — среди сената, народа и столичного войска, но и среди всех легионов и полководцев, после того как была обнаружена тайна императорской власти, что главою государства можно сделаться не только в Риме, но и в другом месте» (I, 4).

Тацит во многих местах изображает раболепство сената, равнодушие народа к общественному позору («Летопись», XVI, 4), его непостоянство, какое-то сладострастие рабства («История», I, 90), жадность, продажность и недисциплинированность войска. Вникая в эту психологию римского общества, читатель легко понимает причину деспотизма императоров, которые, видя такое соревнование граждан в раболепстве и опираясь на подкушаемое податками войско, позволяли себе всякие безобразия и жестокости. Тацит не любит объяснять события из причин, которые их произвели; изредка обращается он к общим законам жизни человеческих обществ, например, когда он высказывает убеждение, что равенство может существовать только в малых государствах, или что совершенная форма правления существует скорее в идеале, чем в действительности, и что врожденная человеку страсть к господству была причиной, почему Рим не мог сохранить ни равенства, ни совершенной формы правления («Летопись», IV, 33). Но обыкновенно причины событий становятся ясными читателю из описания настроения действующих лиц, из психологического анализа их. В этом отношении повествование Тацита, особенно «Летопись», имеет сходство с драмой: как в драме автор ничего не говорит от себя, а дает понять зрителю причины действий выведенных лиц из слов и поступков их самих или других персонажей, так и Тацит изображает людей того времени с их мотивами действий, выражающимися в минах, словах и поступках, представляет то время со всей сценической обстановкой общественной жизни, со страстями и стремлениями разных классов народа.

Рядом с проявлениями темных сторон римского общества, объясняющих положение вещей в империи, Тацит, считая своим нравственным долгом предохранять добродетель от забвения («Летопись», III, 65), указывает на борьбу с существующим порядком вещей, которую вели люди благородного характера, но тут же указывает и на бесцельность и бесплодность этой борьбы.

О цели своего исторического труда («Летописи» и «Истории») Тацит сам дает некоторые сведения. Прежде всего, он не имеет намерения забавлять читателей. «Собирать басни, — говорит он, — и забавлять читателей вымыслами я считаю несовместимым с серьезностью настоящего труда» («История», II, 50). Не хочет он сообщать сведений пустых и маловажных. «В консульство Нерона второе и Л. Пизона, — говорит он в другом месте, — произошло мало достойных повествования событий, если только кто не хочет наполнять томы похвалами фундаментам и балкам построенного

Цезарем [= Нероном] на Марсовом поле громадного амфитеатра; сообразно с достоинством римского народа вошло в обычай помещать в летописи громкие деяния, а такие — в ежедневной газете Рима («Летопись», XIII, 61). Не стоит приводить в серьезном сочинении такие «вздорные вещи», как то, что Август умер «в тот же день, в который когда-то получил власть», и «что он окончил жизнь в Ноле, в том доме и в той комнате, где скончался и отец его, Октавий»; что «число его консульств равнялось консульствам Валерия Корва и Гая Мария вместе взятым» и т. п. (там же, I, 9).

Цель своего сочинения Тацит видит в гораздо большем: «Полезно собирать и передавать такие события [какие составляют главное содержание «Летописи», главным образом, прения в сенате], так как немногие люди своей прозорливостью отличают честное от дурного, полезное от вредного, а большинство учится этому на примерах других» («Летопись», IV, 33). В другом месте он говорит прямо: «Я положил себе за правило приводить лишь мнения, выдающиеся по честности или замечательные по безобразию, так как главною обязанностью «Летописи» считаю то, чтобы не замалчивались добродетели и чтобы дурные слова и дела боялись позора в потомстве» (там же, III, 65). Коротко говоря, цель Тацита — не развлекать и забавлять читателей, а приносить им пользу. Такой же целью руководился и Ливий при составлении своей истории²⁵. Чрезвычайно важен вопрос, соответствует ли действительности повествование Тацита, насколько оно правдиво. Дело в том, что Тацит самыми мрачными красками рисует эпоху римской империи и почти всех императоров. Между тем, другие источники (некоторые древние авторы, надписи) изображают это время и тех же лиц в несколько ином свете.

Большинство исследователей как старого, так и нового времени считают Тацита безусловно правдивым историком, считая, впрочем, что он, как и всякий человек, мог ошибаться, но не признавая, что он сознательно искажал истину. Однако уже с древних времен раздавались голоса, подвергнувшие сомнению достоверность рассказа Тацита. Сомнение было высказано прежде всего христианскими писателями Тертуллианом и Орозием. Тертуллиан («Защита христиан против язычников» — *Apologia adversus gentes pro christianis*, 16) называет Тацита лжецом (*mendaciorum loquacissimum*) за его дурные отзывы об иудеях («История», V, 2—8) и христианах («Летопись», XV, 44). Хотя эти отзывы Тацита совершенно не соответствуют действительности, все-таки нельзя думать, что он намеренно искажал истину: он только сообщил слухи о них, ходившие в народе. Мнение о лживости Тацита в этом отношении поддерживалось церковными католическими писателями и в более поздние времена. Орозий («История», I, 5) по поводу рассказа Тацита о гибели городов в Пентаполе (в Палестине)²⁶ и образовании Мертвого моря обвиняет его, что он имел возможность узнать истину, но у него не было желания сообщить ее.

Гораздо важнее обвинение Тацита в лживости со стороны политической, — именно в том, что он изобразил римскую империю в ложном свете, что на самом деле она была вовсе не так дурна. Это обвинение возникло уже в новые времена и исходило главным образом от сторонников монархического образа правления.

По-видимому, впервые сомнение в правдивости Тацита было высказано Вольтером: «Стоило только, — говорит он, — одному из римских импера-

²⁵ См. «Историю римской литературы», т. I, стр. 476.

²⁶ Разумеются библейские города Содом и Гоморра.

торов погибнуть под ударами преторианской гвардии, как тучи литературных воронов налетели на труп его доброго имени». Здесь под «литературными воронами» у Вольтера разумелся и Тацит. У Тацита, по словам Вольтера, нагромождается столько ужасов, когда он описывает действия цезарей, что именно невероятность возникающей картины делает ее позорительной: «что противоречит природе вещей, тому не следует верить, а такие фигуры, какие нарисовал Тацит, постыдны для природы человека».

Наполеон I, выступая в защиту античных цезарей, называл Тацита «носителем человечества». Тацит, по его мнению, «извратил историю с целью дать драматические картины», «оклеветал империю, не понимая, сколько было благодетельного и необходимого во вновь установленном режиме». В начале XIX в. голос Наполеона оставался одиноким; на римскую империю продолжали смотреть как на эпоху разложения, согласно мнению, которое высказал о ней в XVIII в. французский философ Монтескье (в сочинении «Об упадке Рима»). Но со второй половины XIX в. углубленное изучение памятников времени римской империи, особенно огромного количества надписей, привело историков к мысли о необходимости пересмотреть сложившееся воззрение на характер императорского переворота и значение его для судеб римского мира.

Во главе литературы, открывшей новую точку зрения на римскую империю, стоят французский историк Амедей Тьерри²⁷ и английский историк Меривель²⁸. По мнению Тьерри, история Рима от начала до конца представляет постоянный ход к прогрессу, в котором империя является кульминационной точкой. Для Меривеля римская империя не являет примера постоянного пути к прогрессу, но все-таки в утверждении ее на развалинах республики он видит больше блага, чем это было на самом деле. Конечно, при таком взгляде на римскую империю как на факт прогрессивный и благодетельный для Рима, ужасающая картина императорской эпохи, нарисованная Тацитом, должна была казаться лживой.

К этому направлению примкнули ученые 60 и 70-х годов — французский Е. Р. Дюбуа-Гюшан²⁹, немецкие — А. Штар³⁰, Г. Р. Зиверс³¹, Фрайтаг³² и русский ученый М. Н. Драгоманов³³.

Как видно уже из заглавий этих сочинений, спор касался главным образом оценки императора Тиберия: Тацит изображает его в самом ужасном виде, а между тем, из других источников (между прочим и из надписей) нам известно, что Тиберий был искусный политик, хорошо управлял провинциями, что при нем империя пользовалась миром. Поэтому нашлись защитники Тиберия, ставшие порицать Тацита.

Еще более сильный удар авторитету Тацита как историка нанесло исследование французского ученого Фабиа³⁴. Целью его было доказать, что исторический метод у Тацита, как и у других историков древности, не стоит на высоте современных требований, и что его «История» и «Летопись» написаны не на основании первоисточников, а представляют собою, самое большее, компиляцию из вторых рук. На мерку современного научного идеала он не более, чем посредственность.

²⁷ Amédée Thierry. *Tableau de l'Empire Romain*, 1862.

²⁸ Charles Merivale. *A history of the Romans under the Empire*, 1856.

²⁹ Dubois G u c h a n. *Tacite et son siècle*, 1861.

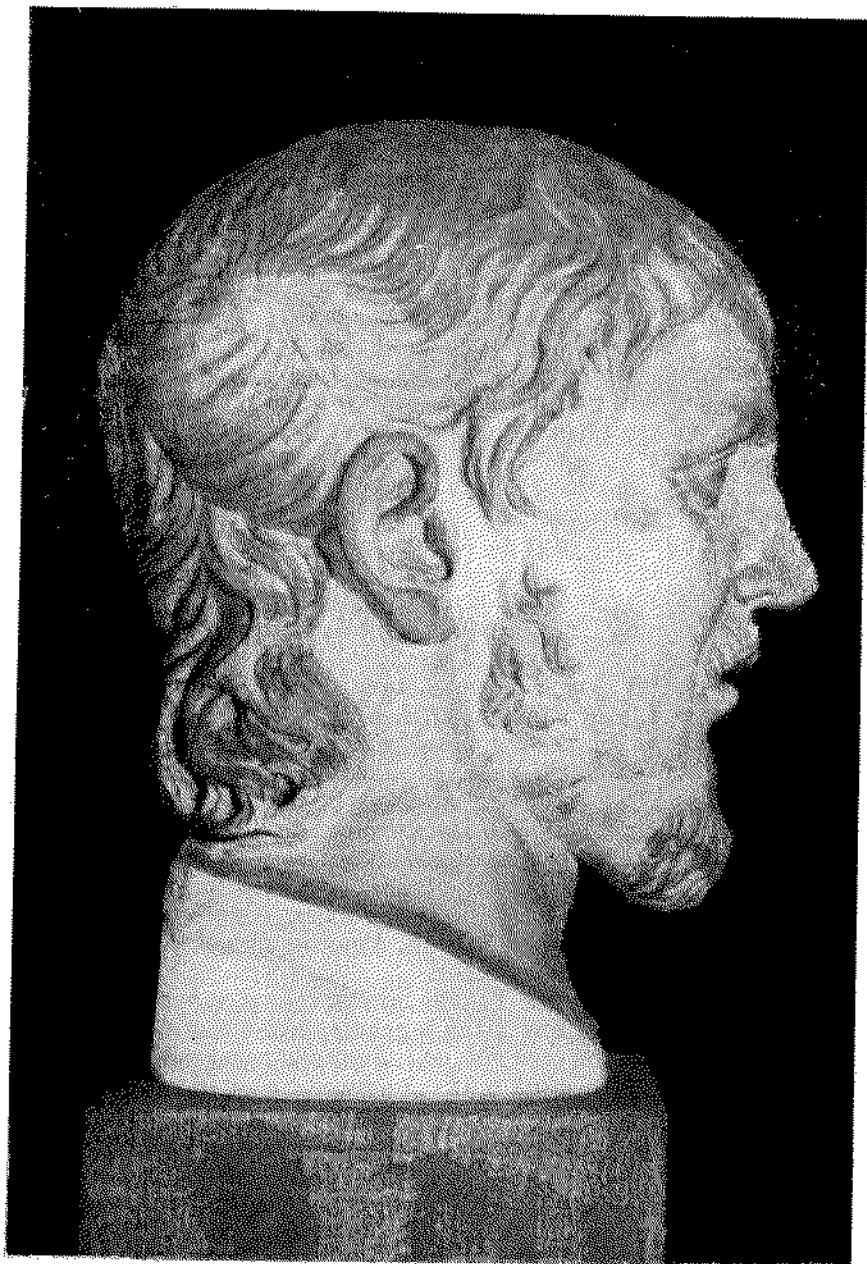
³⁰ A. S t a h r. *Tiberius Leben*, 1862.

³¹ G. P. S i e v e r s. *Tacitus und Tiberius*, 1870.

³² F r e y t a g. *Tiberius und Tacitus*, 1870.

³³ М. Н. Д р а г о м а н о в. *Император Тиберий*, 1864.

³⁴ Ph. F a b i a. *Zes sources de Tacite*, 1893.



*Голова варвара-германца
(из Рима; конец II в. н. в.)*

Все подобного рода предположения очень ненадежны. Вообще говоря, мы не в состоянии в точности решить вопрос о достоверности показаний Тацита: до нас не дошли источники, которыми он пользовался, и потому мы не можем судить, насколько они были правдивы и насколько правильно Тацит передает их сообщения. Особенно трудно проследить достоверность фактов, сообщаемых Тацитом в «Летописи», на которую почти исключительно направлены нападения. Легче судить об «Истории»: о ней мы имеем свидетельство современника, — Плиния Младшего.

Но уже вполне достоверным доказательством правдивости Тацита служит то, что рассказ современных ему историков о тех же событиях, — Светония, Диона Кассия, различаясь в мелочах, в существенных чертах согласен с рассказом Тацита. Утверждать, как делает Боша, что эти историки просто списывали у Тацита, нет оснований: сходство всегда может быть объяснено предположением, что они все пользовались общим источником³⁵. Но даже если они пользовались Тацитом, то и это показывает, что они были согласны с его мнением об императорах. Из последующих историков также никто не высказал мнения, противоположного мнению Тацита, хотя они могли пользоваться и другими источниками.

Противники Тацита указывают еще на то, что провинции благоденствовали при Тиберии, что иудей Филон отзывался о нем хорошо. Это вполне понятно: провинции, находясь вдали от императоров, мало страдали от их гнева; он обрушивался главным образом на ближайших к ним лиц и отчасти на Италию. Поэтому Филон, не бывавший в Риме и судивший о Тиберии на основании того, что в Иудее жить было при нем хорошо, хвалил Тиберия; но другой иудей, Иосиф Флавий, живший долго в Риме, судит о Тиберии так же, как и все другие.

Противники Тацита ссылаются также на то, что о некоторых императорах, может быть, самых злых, жалели солдаты и народ. Но нам известно, что это расположение было приобретено ими только посредством щедрых раздач, т. е. своего рода подкупом. Несмотря на это, однако, одни, узнав о смерти Тиберия, бегали по улицам с криком: «Тиберия в Тибр», а другие молились Матери-Земле и богам-Манам, чтоб они не давали другого места покойнику, кроме как среди нечестивых (Светоний, «Тиберий», 75). Он не был удостоен обожествления. Равным образом, не были удостоены этой чести Калигула и Нерон.

Указывают еще на пессимизм Тацита, вследствие которого он изобразил цезарей в худшем виде, чем они были в действительности. Это, конечно, возможно, но в очень малой степени: под влиянием пессимизма он мог сгустить краски в своих суждениях о них, но не мог выдумать несуществующие факты. По крайней мере, Плиний, вовсе не бывший пессимистом, держится такого же мнения о цезарях.

То же самое надо сказать еще об одном предполагаемом препятствии для Тацита быть правдивым историком: говорят, что он был в первую очередь художником, везде искал и видел картину, что его цель всегда — сильный эффект, что сценичность всегда составляет самую сущность его картины, что его талант очень далек от склонности к реализму, что он весь глубоко субъективен и в этом смысле прямо нетерпим по отношению

³⁵ Массе утверждает, что хотя Светоний знал «Историю» Тацита и пользовался ею как второстепенным источником, главным источником она для него не была (A. Masse. Essais sur Suétone. Paris, 1900, p. 375—377). С. Вехов говорит, что «составить биографии, подобные Светониевым, на основании только сочинений Тацита и Диона Кассия было бы невозможно» (С. Вехов. Об источниках Г. Светония Транквила в биографиях XII цезарей. Варшава, 1888, стр. 23).

к действительности, которую радикально, хотя бы и бессознательно, перерабатывает на свой лад, что самый характер его художественного таланта в корне отнимал у него возможность быть объективным³⁶. В этой характеристике таланта Тацита есть много преувеличения: ради стремления к драматическим эффектам он мог пропускать какие-нибудь неинтересные в драматическом отношении события, мог важное событие описать особенно драматически, обратив внимание на какие-нибудь интересные в этом отношении детали; но не мог же он ради этой цели совершенно выдумать или совсем исказить исторический факт. Стремление к драматичности не исключает стремления к правдивости.

Вообще все приведенные сейчас аргументы против правдивости Тацита не убедительны. Это все гипотезы, не подкрепленные вескими фактами. У нас нет достаточных оснований не верить собственным заявлениям Тацита, высказанным во вступлениях к обоим большим историческим трудам.

В предисловии к «Истории» (I, 1), он противопоставляет себя историкам или мало знакомым с предметом своего повествования, или из лести и ненависти намеренно искажающим истину.

Таким образом, надо предполагать, что Тацит хотел говорить истину; но, так как ни один историк не может быть вполне объективен, а рассказывает события так, как они представляются ему в его уме, то возможны какие-нибудь неточности, — вероятно, ничтожные. Так, ему ставят в упрек, что ради риторических целей, чтобы не делать рассказ скучным, он пропускает мало интересные факты, дает круглые числа вместо точных, например о количестве убитых в сражении, о времени, не всегда приводит имена лиц и названия местностей и т. п.; но все это мелочи, не влияющие на достоверность основной части рассказа. Делая такие упреки Тациту, забывают, что он писал не для узкого круга специалистов-историков, а для большой публики, для которой эти мелочи действительно неинтересны.

Косвенным доказательством стремления Тацита к правдивости может служить также то, что он иногда даже приводит с некоторым сомнением дурные слухи об императорах, которые ходили в народе и которые засвидетельствованы без всякой оговорки другими историками. Так, он говорит («Летопись», IV, 11—12): «Мне не хотелось бы пропустить ходившего в то время слуха, который был до того силен, что до сих пор не проходит», — именно, слуха о том, что Тиберий отравил своего сына Друза. Потом он продолжает: «Это говорилось в народе; но, независимо от того, что оно не подтверждается ни одним верным источником, оно легко может быть опровергнуто»; и затем он приводит свои соображения относительно малой вероятности такого события. Все говорили, что Нерон был виновником огромного пожара в Риме в 64 г., его винят в этом Плиний Старший, Стаций, Светоний; но Тацит об этом выражается осторожно («Летопись», XV, 38): «Последовало бедствие, неизвестно, случайно ли происшедшее, или по умыслу государя: писатели передают и то и другое». Наконец, в пользу правдивости Тацита говорит и то, что он не щадит аристократию, к которой сам принадлежал по своему служебному положению, изображая ее мрачными красками, как уже сказано выше.

В общем, надо полагать, что в своей характеристике императоров Тацит следовал общепринятому в то время дурному мнению о них, не стараясь представить их в еще худшем виде.

³⁶ Все приведенные сейчас выражения взяты из статьи М. Дювернуа «Историческая объективность Тацита» («Гермес», 1908, № 18, 19, 20).

10. РЕЧИ У ТАЦИТА

С вопросом о правдивости Тацита соприкасается вопрос о речах разных лиц в его сочинениях. Действительно ли этими лицами были произнесены какие-нибудь речи при данных обстоятельствах или они всецело сочинены самим Тацитом? Если были произнесены этими лицами речи, то насколько близко к их подлинной форме переданы они Тацитом? Ясно, что мы не можем точно решить эти вопросы за неимением фактических данных; могут быть высказаны только предположения.

Обычай историков вводить в повествование речи действующих лиц — очень древний; у Фукидида речи уже есть; а родоначальником этого обычая можно считать автора или авторов гомеровских песен: и в них уже действующие лица произносят речи, и иногда довольно длинные. Обычай этот соблюдался у последующих греческих историков, а от них перешел и к римским; первым из римских историков, применившим его, по нашим сведениям, был анналист Целлий Антипатр. Речи считались необходимой принадлежностью исторического повествования; Диодор Сицилийский прямо говорит: «Так как история должна быть украшена разнообразием, то в некоторых местах необходимо прибавлять и такие речи» (XX, 20, 1). Древние не требовали, чтобы речи у историков были точною передачей действительно сказанных речей; все понимали, что они сочинены самими историками; полагалось только, чтобы речь соответствовала характеру выведенного лица и предполагаемых обстоятельств ее произнесения. Однако и эти условия не всегда соблюдались: речь могла быть и просто школьным упражнением в риторике на какую-нибудь тему, даже мало подходящую выведенному лицу и не имеющую прямого отношения к данному моменту.

Таким образом, уже а priori можно предполагать, что и Тацит, следуя этому обычаю, также не стремился передавать действительно сказанные речи с буквальной точностью, а только излагал их общий смысл, но внешнюю форму обрабатывал по своему вкусу. Возможно даже и то, что иногда он выводил говорящими и тех людей, которые на самом деле ничего не говорили в данном случае или речи которых были ему совершенно неизвестны.

Об его отношении к действительно сказанным и известным ему речам можно судить на основании сравнения приведенной им в «Летописи» (XI, 24) речи императора Клавдия (о даровании галлам заальпийским права быть сенаторами) с подлинной речью его об этом предмете, из которой два больших отрывка сохранились на бронзовой доске³⁷. Из этого сравнения видно, что Тацит не старался сохранить подлинную речь, а в сущности написал собственную речь на эту тему.

В некоторых случаях Тацит даже и не мог воспроизвести в точности произнесенную кем-нибудь речь: отчасти потому, что не мог иметь о ней сведений, отчасти потому, что речь была произнесена каким-нибудь иностранцем на его родном языке. Так, несомненно, сочинены Тацитом две речи батава Цивилиса, которые не могли быть известны ему, потому что они были произнесены не на латинском языке и притом тайно от римлян: одна речь — ночью в роще, во время пира («История», IV, 14), другая — тоже тайно (там же, IV, 17). Речь британца Калгакса была сказана им, конечно, на родном языке («Агрикола», 30—32).

³⁷ Эта речь была вырезана на бронзовой доске, части которой были найдены в Ливоне в 1527 г. Сохранившийся текст напечатан в изданиях «Летописи» Орелли, Ниппердея и др.

Особенность Тацита по отношению к речам состоит в том, что он любит приводить речи двух противников, так что получается как бы состязание их в аргументации за и против какого-нибудь тезиса. Так, по поводу «пятилетних» игр, учрежденных Нероном в 60 г., историк приводит две речи разных ораторов: одну — против учреждения игр, другую — в пользу учреждения («Летопись», XIV, 20—21). При Тиберии один сенатор сделал предложение, чтобы магистрата, который получил в управление провинцию, не сопровождала жена. По этому вопросу три оратора говорят речи у Тацита: один (автор предложения) — в пользу его, двое — против (там же, III, 33—34). Тацит настолько входит в роль говорящих, что придумывает для того и другого оратора убедительные аргументы, и потому в конце концов невозможно различить, какое мнение его собственное, на чьей стороне его симпатии.

Две речи противоположного содержания Тацит приводит также по следующему случаю («История», IV, 6—8). В тот день, когда сенаторы присуждали императорскую власть Веспасиану (в 69 г.), было постановлено послать к нему депутатов. Это породило перебранку между Гельвидием Приском (зятем Тразеи Пета) и Эприем Марцеллом (доносчиком на Тразею). Гельвидий требовал, чтобы депутатами были назначены известные лица по выбору, а Марцелл, — чтобы они были выбраны по жребию. Оба они произносят речи — каждый в защиту своего предложения. Симпатии Тацита, несомненно, находятся на стороне благородного Гельвидия, а не на стороне презренного доносчика Марцелла. Однако Марцелл произносит речь не менее убедительную, чем Гельвидий, — настолько убедительную, что читатель, пожалуй, готов согласиться с его мнением.

Это можно объяснить, конечно, тем, что Тацит сам колеблется между двумя мнениями, не зная, которому отдать предпочтение, или тем, что он, по беспристрастию, не хочет навязывать читателю своего мнения, а предоставляет ему самому вывести суждение. Но, скорее всего, тут просто проявляется укоренившаяся у него со времени школы привычка говорить о предмете за и против. Как известно, в риторических школах ученики упражнялись в искусстве говорить обо всем с разных точек зрения, восхвалять предметы, совершенно не заслуживающие похвалы.

Можно предполагать, что и Тацит не мог отрешиться от этой привычки, и переносил ее в свои исторические сочинения.

Одной из причин, почему историки не хотели вставлять в свое повествование подлинные речи разных лиц, могло быть нежелание нарушать единообразие своего изложения вставкой речей, составленных в другом стиле; а наш обычай приводить цитаты на иностранных языках показался бы древним прямо нелепостью.

11. ИСТОЧНИКИ ТАЦИТА

Какими источниками пользовался Тацит в «Истории» и «Летописи» и как он ими пользовался, определить с точностью невозможно, потому что историческая литература императорского периода, существовавшая до Тацита, кроме сочинения Веллея Патеркула, не сохранилась. Сам Тацит, по обычаю древних историков, называет поименно лишь очень немногих авторов, а обыкновенно делает ссылки неопределенно: «передают» (*tradunt*), «думали» (*arbitrabantur*), «нахожу у некоторых авторов» (*invenio apud quosdam auctores*), «большая часть авторов согласны» (*plurimi auctores consentiunt*) и т. п.; таким образом, по его словам, он пользовался очень многими источниками. Старинные ученые относились с полным доверием к этим его заявлениям. Так продолжалось до 60-х годов XIX

столетия. В 1863 г. вышло в свет сочинение немецкого ученого Ниссена, посвященное исследованию источников Тита Ливия³⁸, в котором на основании главным образом сравнительного изучения Ливия и Полибия автор пришел к заключению, что древние историки при пользовании источниками в повествовании о событиях, очевидцами которых они не были, ограничивались выбором одного источника, заслуживавшего наибольшей веры, наиболее подходящего по направлению, или вообще представлявшего наибольшие удобства для пользования, и такой источник клали в основу своего повествования, лишь в случае нужды дополняя или исправляя его посредством других, значение которых, однако, оставалось в общем невелико сравнительно с главным источником. При большем размере сочинения в основу отдельных частей могли быть положены различные источники; но принцип оставался один и тот же и сохранял свою силу. Таким образом, творческая деятельность древнего историка состояла преимущественно в проверке и художественной обработке готового материала, данного главным источником, сообразно со своими политическими убеждениями и потребностями читателей. Теория Ниссена приобрела значение почти общепринятого в западноевропейской науке взгляда и даже называется «законом Ниссена»; она была применена к исследованию источников значительного числа древних историков: Ливия, Полибия, Флора, Плутарха, Диона Кассия, Диодора и др. «До изобретения книгопечатания, — прибавляет Ниссен, — было обычным способом писать историю по сочинениям предшественников». Эту теорию Ниссен нашел возможным приложить во всей строгости и к «Истории» Тацита в своей статье «*Histoire des Tacitus*»³⁹.

У Ниссена нашлись последователи, которые тоже предполагали, что Тацит в «Истории» пользовался одним главным источником, даже старались найти его: одни считали таким источником не дошедшее до нас историческое сочинение Клувия Руфа, другие — тоже не дошедшую до нас «Историю» Плиния Старшего.

Из более новых последователей Ниссена особого упоминания заслуживает французский ученый Фабиа, который в своем обширном сочинении «Источники Тацита в Истории и Летописи»⁴⁰ старается доказать, что в «Летописи» главным источником Тацита был Авфидий Басс для времени правления Тиберия, Калигулы и для большей части правления Клавдия, а для остальной части правления Клавдия и для правления Нерона главным источником был Клувий Руф и два второстепенных — Плиний Старший и Фабий Рустик; в «Истории», по мнению Фабиа, почти единственным источником Тацита был Плиний Старший.

Таким образом, по мнению Фабиа, к первоисточникам Тацит не обращался, а избирал для известной части своего труда сочинение какого-либо прежнего историка и перерабатывал его на свой лад, делая некоторые отступления, сокращения, кое-что вставляя из второстепенного источника. На долю Тацита Фабиа оставляет очень мало: его работа заключалась главным образом в самостоятельном расположении материала, в самостоятельном способе изложения и в сочинении речей. В конце концов Фабиа считает Тацита первоклассным мыслителем и первоклассным писателем, но не великим историком.

³⁸ H. N i s s e n. Kritische Untersuchungen über die Quellen der vierten und fünften Dekade des Livius, 1863.

³⁹ «Rheinisches Museum für Philologie», 1871, XXVI.

⁴⁰ Ph. F a b i a. Les sources de Tacite dans les Histoires et les Annales. Paris, 1893.

Профессор В. И. Модестов тщательно разобрал сочинение Фабия в статье «Заметки по Тациту»⁴¹ и вполне доказал несостоятельность его теории. Из этих статей В. И. Модестова вытекает следующий вывод об отношении Тацита к источникам: Тацит не повторял рабски кого-либо из своих предшественников, а старательно изучал все бывшие в его распоряжении сведения и только после зрелого и всестороннего обсуждения их решался высказываться так или иначе, очень часто оставляя вопрос не решенным по недостатку материалов или убедительных свидетельств. Это не приемы компилятора, а настоящие научные приемы, которых мы требуем и от современных нам историков. Если допустить, что вся работа Тацита заключалась только в том, что он, почти совершенно оставляя в стороне основные материалы, выбирал себе руководящего историка, время от времени сличая его с другими историками и при помощи их делая кое-какие добавления и исправления, как это предполагает французский буржуазный ученый, то такая работа не потребовала бы около 20 лет труда для ее исполнения.

Наконец, у нас нет оснований не верить ссылкам самого Тацита на авторов, которых он, не называя по именам, обозначает множественным числом: «передают», «все авторы», «некоторые авторы», «очень многие авторы», «знаменитые авторы» и т. п.

12. ЯЗЫК И СЛОГ ТАЦИТА

Как уже сказано выше, по мнению Цицерона («О законах», I, 2, 5), «история есть произведение в высшей степени ораторское». В другом месте он высказывает подобную же мысль: «Какой голос, как не голос оратора, дает истории бессмертие?» («Об ораторе», II, 9, 36). Тацит, как мы видели, прежде чем сделаться историком, был оратором. Поэтому вполне естественно предполагать в его исторических сочинениях более или менее сильное влияние риторических учений того времени. И действительно, в них видна значительная степень риторической окраски, видна забота о красоте формы как в изложении, так и вообще в композиции сочинения, даже с чисто внешней стороны видно желание заинтересовать читателя⁴².

Это выражается уже в выборе описываемых фактов: особенно охотно рассказывает он крупные, драматические события, опускает мелкие, опускает детали, неинтересные для читателя. Так, он не хочет описывать «фундамент и балки» громадного амфитеатра, построенного Нероном («Летопись», XIII, 31). Рассказывая о неудавшейся попытке Нерона утопить свою мать Агриппину, Тацит не находит нужным описать детали устройства корабля, который должен был рассыпаться в море и погубить ее (там же, XIV, 5).

Может быть, по этой же причине неясны его описания сражений: несмотря на все старания исследователей уяснить себе ход какой-нибудь военной операции, описанной у Тацита, это не удается сделать: вдруг войско оказывается в каком-нибудь месте: как оно туда попало, не сказано. Не удается определить в точности место сражения: было оно в Германии или в Британии. Ввиду этого о Таците, как военном, высказываются иногда очень не лестные мнения: Моммзен называет его «самым несведущим в военном деле из всех писателей» (*unmilitärischten aller Schrift*

⁴¹ ЖМНП, 1894, № 4—5.

⁴² «Римская история», т. V, стр. 159 русского перевода 1885 года — стр. 165 подлинника.

steller)⁴³. Немецкий ученый Асбах (Asbach) находит немислимым, что Тацит когда-нибудь командовал легионом или даже когортой⁴⁴.

Такие суждения, конечно, ошибочны: нельзя предполагать, чтобы Тацит, прошедший все служебные ступени в такое обильное войнами время, не имел понятия о военном искусстве. Дело объясняется, по-видимому, гораздо проще: по правилам риторики, не следовало приводить деталей сражения, которые мешают воспринять общее впечатление о битве; надо было описать только наиболее эффектные моменты сражения. В этом отношении Тацит поступает одинаково со многими другими древними историками: и у Т. Ливия нет ясного описания мест сражений; то же у Саллюстия, Диона Кассия, Геродиана, Аммиана Марцеллина и др. Вообще, чем более склонен к риторике писатель, тем свободнее относится он к описанию сражений; они служат также к украшению рассказа. Замечено даже, что некоторые детали в описании их заимствуются из описаний военных операций у других авторов. И Тацит, как предполагают, в описании битвы с каледонцами («Агрикола», 35 и сл.) позаимствовал некоторые краски из описания битвы с маврами у Саллюстия («Югурта», 101).

Также по риторическим соображениям, чтобы не наводить скуку на читателей, Тацит не любит приводить чисел. Это обычно для древних историков. Так Плиний в одном письме (IX, 16, 1) говорит: «Я не удивляюсь, что ты получил огромное удовольствие от такой богатой охоты, раз ты по обыкновению историков пишешь, что нельзя было и сосчитать добычи». По свидетельству Орозия (историка V в.), Тацит сказал (в не дошедшей до нас части «Летописи» — о Домициане), что «Саллюстий и многие другие авторы установили обычай умалчивать о числе убитых, и он сам по большей части этого держался» (VII, 10, 4). Геродиан откровенно говорит об одном сражении, что «число убитых или взятых в плен с обеих сторон каждый из тогдашних историков приводил, какое хотел» (III, 7, 6). В нескольких местах Тацит приводит лишь круглые числа — в тысячах или сотнях («Летопись», IV, 73; XIV, 35; «История», II, 17; «Агрикола», 37).

В связи с нежеланием приводить числа, Тацит прибегает иногда к таким общим обозначениям, как «все» (omnes), хотя речь идет только о двух лицах («Летопись», I, 13); «столько» (tot) — о троих (там же, II, 34; VI, 24); «всегда» (semper) и «часто» (saepe) — о двукратном действии (там же, V, 47; III, 18; XIII, 6).

Эстетическими соображениями можно объяснить то, что Тацит самую композицию сочинения и его отделов старается сделать более стройной, изящной или удобной для читателя, оканчивая отдел или книгу (в древнем смысле) описанием какого-нибудь важного события или какой-либо сентенцией. Например, в конце II книги «Летописи» помещена сентенция: «Мы превозносим старое, равнодушны к новому»; в конце XI книги — восклицание, относящееся к только что описанному событию: «Хорошие дела, из которых, однако, должны были произойти очень дурные дела».

Риторические соображения воздействовали особенно на способ выражения Тацита. Плиний (II, 11, 17), рассказывая об одной речи Тацита, говорит, что он «отвечал [своему противнику на суде] очень красноречиво и сурово и это составляет его выдающуюся особенность (eximium)». Греческое слово *εὐμῶς* всего более соответствует нашему «величественно», «величаво». Такая величавость языка и слога видна и в исторических

⁴³ Вообще о языке императорского периода очень ярко говорит Сенека в «Письмах к Луцилию» (114 и 115).

⁴⁴ «Histor. Taschenbuch», VI, 5, 73.

сочинениях Тацита. Она выражается во многих фактах языка: в стремлении избегать одних слов и конструкций и в предпочтении других.

Так, иногда он избегает слов простых, общепринятых, технических терминов, иностранных слов, заменяя такие слова необычными словами, описаниями; употребляет поэтические слова. Например, вместо слишком простых слов «лопаты и кирки» (*palae et ligones*) он пишет: «посредством чего выносятся земля и вырезается дерн» («Летопись», I, 65); вместо «Сатурналии» он пишет: «в праздничные дни Сатурна» (*fasti Saturni dies* — «История», III, 78; «Летопись», XIII, 15); вместо обычного *virgines Vestales* — *virgines Vestae*; вместо технического *sella curulis* — *sedes curulis* («Летопись», II, 83; XV, 29) и т. п.

Чтобы избежать греческого слова *σωτήρ* Тацит употребляет такое описание: «он усвоил себе название спасителя, выраженное греческим словом этого значения (*conservatoris sibi nomen Graeco eius rei vocabulo adsumpsit*)» («Летопись», XV, 71). Сенека принимает «яд, которым умерщвлялись осужденные уголовным судом в Афинах» (там же, XV, 64) — это описание заменяет собою греческое слово *κίβητος* — «цикута». — Выражение «евнух Абд» он описывает посредством родительного падежа качества — *Abdus ademptae virilitatis* (там же, VI, 31).

Вот несколько примеров поэтических слов: *regnator* — «царь» («Германия», 39); *magniloquus* — «хвастливый» («Агрикола», 27); *festus* — «праздничный день», обыкновенно употребляемое в соединении со словом *dies*, Тацит употребляет в других сочетаниях (как поэты): *festa plebs* — «народ в праздничном платье» («Летопись», II, 69); *regnatrrix* — «царица» в сочетании *domus regnatrrix* — «царский дом» (там же, I, 4) более нигде в литературе не встречается.

Многие обычные слова употребляются Тацитом в значениях, встречающихся только в поэзии: *cura* и *scriptura* в значении «книга» («Летопись», IV, 11; IV, 32); *fabula* в значении «болтовня»; *sinister* в значении «враждебный», «неблагоприятный» (*sinistros de Tiberio sermones* — там же, I, 74).

Есть много слов, встречающихся только у писателей серебряного века или в значениях, которые они имели в языке серебряного века: *delator* — «доносчик»; *fraternitas* — «братство» («Летопись», XI, 25); *professor* в сочетании *professor sapientiae* — «наставник мудрости» («преподаватель философии») («Агрикола», 2); у Квинтилиана (X, 5, 18) *professor* без родительного падежа в значении «преподаватель»; *scholasticus* в значении «ритор», «учитель красноречия» (несколько раз в «Разговоре об ораторах», например в гл. 35); *advocatus* в значении «адвокат» («Летопись», XI, 5); *auctor* в значении «автор», «писатель» (там же, III, 30).

Наиболее характерными особенностями изложения Тацита являются следующие: краткость, малое число периодов, отсутствие частиц для связи мыслей, стремление к разнообразию построения параллельных частей мысли и вследствие этого нарушения симметрии.

Краткость состоит отчасти в том, что одно слово заключает в себе два или несколько понятий, даже целую мысль; отчасти в том, что в предложении не хватает одного или нескольких слов, и их надо дополнить мысленно; передок от этого получается неясность, похожая на загадку. Например: *hostes, qui classem, qui naves, qui mare exspectabant* — «неприятели, которые ожидали флота, ожидали кораблей, ожидали нападения во время морского прилива» («Агрикола», 18): здесь в одном слове *mare* заключается целая мысль. *Primus Antonius nequaquam pari innocentia post Cremonam agebat* — «Прим Антоний держал себя после Кремоны совсем не с такою безупречностью» («История», III, 49): здесь «после Кре-

моны» значит «после сражения под Кремоной»⁴⁶. *Senatu ad infimas obtestationes procumbente* — «когда сенат припадал к ногам Тиберия с самыми униженными мольбами» («Летопись», I, 12); буквально: «припадал для самых униженных молений», т. е. здесь полностью эта мысль должна была бы быть выражена так: *Senatu ad pedes eius procumbente, ut infimis obtestationibus eum exoraret. Ut ad externa rumoribus intestinum scelus obscuraretur* — «чтобы злодеяние внутри государства было менее заметно, когда народ будет занят толками об иностранных делах» (там же, XVI, 23); буквально: «чтобы внутреннее злодеяние было менее заметно благодаря толкам, касающимся внешних дел»; полностью надо было бы выразить эту мысль так: *civitate (populo) ad externa spectante et ea potissimum rumoribus agitante*.

В противоположность стилю классической эпохи, в которой преобладает периодический строй речи, у Тацита, из-за его стремления к краткости, периоды сложные (какие, например, бывают у Ливия) являются исключением; чаще бывают периоды коротенькие, но часто речь состоит из отдельных предложений, даже не связанных между собою никакими союзами. Например: *Vocat senatum praetor urbanus; certant adulationibus ceteri magistratus, accurrunt patres* — «сзывает сенат городской претор, состязаются в раболепстве другие должностные лица, прибегают сенаторы» («История», I, 47). *Comitate profugos liberos matres, secutae maritos in exsilia coniuges, propinqui audentes, constantes generi, contumax etiam adversus tormenta servorum fides, supremae clarorum virorum necessitates, ipsae neces fortiter toleratae* — «провожали своих покидавших родину детей матери, следовали за мужьями в изгнание жены, родственники [были] смелые, твердые зятья, упорна [была] даже по отношению к пыткам верность рабов, крайне тяжелое положение высокопоставленных лиц, самая смерть мужественно переносилась» (там же, I, 3).

Стремление Тацита к разнообразию проявляется в том, что он часто выражает одинаковые в грамматическом отношении части предложения разными грамматическими конструкциями. Так, приводя две причины какого-нибудь факта, он выражает одну из них творительным падежом, а другую — падежом с каким-нибудь предлогом, или причастием глагола, или целым придаточным предложением; приводя две цели, он ставит в одном случае герундий, в другом — придаточное предложение с *ut* и т. п. Вот примеры. *Onerabant multitudinem obvii ex urbe senatores equitesque, quidam metu, multi per adulationem, ceteri ac paulatim omnes, ne, aliis proficiscentibus, ipsi remanerent* — «прибавляли обременение к этой толпе выходившие навстречу из Рима сенаторы и всадники, некоторые из страха, многие вследствие раболепства, а остальные и, мало-помалу, все для того, чтобы не оставаться дома, когда идут другие» («История», II, 87): здесь указаны три причины, из которых одна выражена творительным падежом без предлога *metu* (чего в переводе выразить нельзя), другая — винительным падежом с предлогом *per*, третья — придаточным предложением цели с союзом *ne*. *Partem bonorum publicandam, pars ut liberis relinqueretur, censuerat* — «он подал мнение, что часть имущества должна быть конфискована, а часть чтобы была оставлена детям» («История», IV, 20): здесь в первом члене поставлен *accusativus cum infinitivo* с герундивом, во втором — предложение с *ut*.

Риторические фигуры часто встречаются у Тацита: метафора, анафора, зевгма, гендиадис и др.

⁴⁶ Подобным образом и по-русски можно сказать: «После Бородина» в смысле «после сражения под Бородиным».

В чисто грамматическом (синтаксическом) отношении у Тацита есть много отступлений от языка классической прозы, например употребление родительного падежа при прилагательных (так называемых относительных), где родительный падеж выражает отношение или область, в которой проявляется свойство прилагательного: *laelus animi* — «веселый духом» («Летопись», II, 26); *potentiae securus* — «уверенный в своем могуществе» (там же, III, 28); дательный падеж цели в таких выражениях: *Amici accendendis offensionibus callidi* — «друзья ловкие [= ловко умеющей] разжигать оскорбления» (там же, II, 57).

Слог в разных сочинениях Тацита — неодинаковый. В «Разговоре об ораторах» он напоминает слог Цицерона — пространный, обильный периодами. В «Агриколе» и «Германии» элементов Цицеронового слога уже значительно меньше, в «Агриколе» заметно влияние Саллюстия; но все-таки в этих двух сочинениях часто встречаются риторические фигуры (плеоназмы, анафоры), дающие слогу впечатление обилия и легкости.

В «Истории» эти ораторские приемы встречаются уже реже, но все-таки слог «Истории» еще достаточно богат и цветист. Но в «Летописи» все эти риторические прикрасы почти исчезают; слог «Летописи» — сжатый, величественный.

Таким образом, слог Тацита постепенно менялся и лишь в «Летописи» он дошел до того состояния, которое и считается специфически тацитовским слогом. Исследователей занимал вопрос о причинах этого изменения. Вот, например, какую причину приводит Гудеман (A. Gudeman) в предисловии к своему изданию «Разговора об ораторах» (Boston, 1894). Главной причиной изменения стиля у Тацита, по его мнению, является изменение душевного настроения его под влиянием ужасов Домицианова правления. Тот же смысл, вероятно, имеет выражение М. Шанца⁴⁶: «язык разбитого сердца» или фраза Б. Г. Нибура: «учителем Тацита была скорбь того времени»⁴⁷.

Этому мнению можно было поверить, если бы Тацит после ужасов Домицианова правления стал писать самым небрежным слогом: было бы понятно, что у человека, глубоко потрясенного, впавшего в пессимизм, пропала охота заботиться о способе выражения мыслей, об отделке слога, что он стал писать, как придет в голову. Ничего подобного мы не видим у Тацита: его своеобразный слог требовал, напротив, глубокого напряжения мысли: «Каждая фраза,— говорит Лео⁴⁸,— носит печать глубокой продуманности; выражение отточено и заострено для верного эффекта, и нередко один сильный и меткий термин является центром тяжести всей мысли». Трудно предположить, чтобы писать с такой тщательностью и вычурностью заставляло человека «разбитое сердце» и «скорбь времени»!

Кроме того, если такова была причина перемены его стиля, то надо было бы ожидать, что она ярче выразится в сочинениях, ближайших по времени к правлению Домициана, т. е. в «Агриколе», «Германии» и «Истории». А между тем она выразилась всего ярче в «Летописи», самом удаленном от времени Домициана сочинении, когда тяжелое впечатление должно было значительно изгладиться при правлении Нервы и Траяна.

Конечно, мы не можем с уверенностью определить причину перемены слога Тацита. Но скорее можно думать, что перемена эта была сознательная, а не какая-то стихийная, происшедшая независимо от воли автора.

⁴⁶ M. S c h a n z. Geschichte der römischen Literatur, S. 325.

⁴⁷ «Лекции по римской истории», т. III, стр. 224. Приблизительно такого же мнения держится и К. Ниппердей в предисловии к своему изданию «Летописи» (стр. 41, изд. IX).

⁴⁸ Фр. Лео. История римской литературы. Перевод И. И. Холодника. СПб. 1908, стр. 57.

Если Тацит мог мастерски владеть любым стилем и менять стили по своему желанию, то, может быть, он сознательно выбрал и выработал для себя новый, суровый стиль, находя, что он производит более впечатление величественности и более подходит для мрачного сюжета «Летописи», чем округленный, цветистый стиль Цицерона.

13. ОТНОШЕНИЕ СОВРЕМЕННОКОВ И ПОСЛЕДУЮЩИХ ПОКОЛЕНИЙ К ТАЦИТУ И ЕГО СОЧИНЕНИЯМ

Как уже сказано выше, Плиний Младший предсказывал «Истории» Тацита бессмертие (VII, 33). Однако, по-видимому, предсказание его не сбылось; может быть, Плиний и подобные ему ученые люди того времени читали и хвалили сочинения Тацита, но в общем мы не видим никаких следов популярности сочинений его в древние времена. Кажется, младший современник Тацита, Светоний, перебил ему дорогу.

Слог Тацита для нас труден. Причина этого, может быть, заключается в недостаточном знании латинского языка; но все-таки, сравнивая Тацита с другими латинскими авторами, мы имеем право сказать, что он труднее многих из них для понимания, и что поэтому он был тяжел и для современников его: читая его, и они должны были вдумываться в каждое слово, отыскивать в слове и в целой фразе недоговоренное. Можно предполагать, что уже это свойство сочинений Тацита мешало их популярности.

Серьезное содержание сочинений Тацита также не могло способствовать распространению их среди широкой публики. Он и сам говорит, что развлекать читателей вымыслами он считает несовместимым с достоинством своих произведений («История», II, 50) и что он описывает события, «наводящие скуку» («Летопись», IV, 33), а что главная цель его истории — поучительная: «предохранить доблести от забвения и показать, что за дурные слова и дела бывает неизбежно позор у потомства» (там же, III, 65).

К тому же в очень скором времени, уже при Адриане, появилось стремление к архаизму речи и увлечение древнейшей литературой, которое тоже было неблагоприятно для Тацита.

В историографии ясный, простой, чуждый риторике рассказ Светония со скандальными сплетнями о частной жизни императоров пришелся более по вкусу читателям того времени, чем глубокомысленное повествование Тацита о государственных делах. Предпочтение Светония Тациту внешним образом выразилось в том, что сочинение Светония дошло до нас почти полностью и в большом числе рукописей, а от сочинений Тацита дошло менее половины, да и то каждое в одном экземпляре!

Начиная со Светония вошло в моду изложение истории в форме биографий императоров; это направление держалось в историографии в течение двух последующих столетий, вплоть до Аммиана Марцеллина, вернувшегося к хронологическому способу изложения; он задумал дать продолжение исторических трудов Тацита, именно, составить историю событий, начиная с правления Нервы и кончая смертью императора Валента (в 378 г.). Отсюда видно, что на Тацита он смотрел как на идеал историка.

Первым христианским писателям языческая литература вообще не импонировала, а к Тациту они относились особенно недружелюбно за его отзыв о христианах и иудеях. У грамматиков нет никаких упоминаний о Таците. Некоторые отклики Тацита можно заметить у позднейших пи-

сателей (Сульпиция Севера, Орозия, Аполлинария Сидония, Кассиодора), но во всяком случае ясно, что Тацит не производил глубокого воздействия на духовную жизнь древности. На это же указывает известие о том, что император М. Клавдий Тацит (275—276 гг.), считавший себя потомком нашего историка, приказал переписывать сочинения своего великого предка каждый год в десяти экземплярах и помещать их в библиотеках. Но правление этого императора было так коротко, что приказание его, вероятно, не было исполнено.

Еще одно обстоятельство, может быть, указывает на непопулярность сочинений Тацита в древности: в то время, как из сочинений Тита Ливия, Трога Помпея, Валерия Максима, Диона Кассия ввиду их большого размера были сделаны извлечения, из сочинений Тацита не было сделано подобного извлечения: по-видимому, на них не было спроса у читающей публики.

Как бы то ни было, сочинения Тацита, вероятно, переписывались редко, и в Средние века им грозила полная гибель. Встречаются цитаты из них, по возможности, что они заимствуются не непосредственно, а из других авторов. В эпоху Каролингов (IX в.), когда древний мир стал несколько оживать, Тацит был известен. Некий Рудольф из Фульды в середине IX в. пользовался Тацитом, по крайней мере, первыми книгами его «Летописи» и «Германий»; может быть, пользовались им и другие ученые того времени. После эпохи Каролингов в течение нескольких столетий о Таците нет никакого упоминания. Только во второй половине XIV в. к Тациту опять появляется интерес: именно, последние книги «Летописи» и «Истории» были известны тогдашним ученым. Уже Боккачио (1313—1375 гг.) пользовался этими частями в нескольких своих сочинениях. В начале XV в. итальянский ученый Никколо де Никколи (1363—1437 гг.) имел рукопись «Летописи», которая сохранилась до нашего времени и называется теперь Медицейской II рукописью; может быть, это и есть та рукопись, которая была у Боккачио. В середине XV в. из Германии в Италию была привезена рукопись, содержащая три меньших сочинения Тацита. В начале XVI в. папа Лев X приобрел рукопись с первыми книгами «Летописи»; это теперешняя рукопись Медицейская I. Так, в начале XVI в. стали известны ученому миру все сочинения Тацита, которые известны теперь. Первое, неполное, печатное издание сочинений Тацита появилось около 1470 г., полное — в 1515 г.

Однако у гуманистов эпохи Возрождения Тацит встретил не очень дружелюбный прием: это было время особенного почитания Цицерона, а Тацит совсем не похож на Цицерона по языку.

Как ни странно, Тацит первоначально привлек к себе внимание публики главным образом как политический мыслитель; его сочинениями стали пользоваться как источником политической мудрости. Замечательно, что и сторонники абсолютной монархии и приверженцы демократии искали в нем опору для своих мнений. Равным образом и во время французской революции его усердно читали, находя сходство между современностью и описанной им эпохой.

Однако, наряду с этим течением, было и другое, которое можно назвать филологическо-критическим. Начало этому направлению положил знаменитый голландский филолог Юст Липсий (Justus Lipsius, 1547—1606 гг.), издавший в 1574 г. сочинения Тацита с комментариями критическими и реальными, причем, исправил конъектурами много испорченных мест. Липсий знал наизусть всего Тацита и хвалился, что может прочесть наизусть любое место из Тацита, даже если ему при этом приставят к горлу нож, чтобы вонзить при первой ошибке или заминке. Он даже


переменил свой латинский стиль: писал прежде Цицероновским стилем, потом стал писать Тацитовским. За изданиями Липсия (их было несколько) последовали и другие издания.

Тацитом стали впоследствии пользоваться и литераторы: на основе Тацита Корнель написал своего «Оттона» (1665 г.), Расин — «Британника» (1669 г.), М. - Ж. Шенье — «Тиберия» (ок. 1807 г.), Альфьери (1749—1803 гг.) — «Октавию».

В настоящее время Тацита изучают главным образом с исторической и филологической точек зрения; большой публике он известен мало. Были и есть у него также и критики, как со стороны стиля, так и со стороны реальной, — понимания им событий и правдивости изложения их. О них сказано выше.

ЛИТЕРАТУРА ПОЗДНЕЙ ИМПЕРИИ





Глава XV

РИМСКАЯ ЛИТЕРАТУРА ВРЕМЕНИ УПАДКА

Начиная со II в. н. э. в римской литературе все отчетливее проявляются признаки оскудения. Это явление в литературе неразрывно связано с общим упадком римской рабовладельческой империи. Духовный кризис римского общества следует тотчас за его экономическим кризисом и даже опережает кризис политический.

Рабовладельческий способ производства постепенно изживает себя. Рабский труд становится непроизводительным, рабство начинает уступать место колонату. Разложение рабства разоряет прежде всего мелких и средних муниципальных землевладельцев — основную опору принципата. Происходит быстрая концентрация земель в руках крупных собственников. Хозяйство натурализуется, связь между провинциями слабеет. Резко обостряются социальные противоречия между кучкой земельных магнатов и массами разоренной бедноты — колонов и рабов. Участвовавшие вторжения варварских племен усиливают напряженность ситуации. Императоры сперва пытаются по-прежнему опираться на мелких и средних землевладельцев, главным образом в провинциях, еще не затронутых кризисом; это конец принципата, II — III вв., время правления последних Антонинов (117—192 гг.) и Северов (192—235 гг.) — период, который заканчивается полувекковой анархией середины III в. — временем господства солдатских императоров. После этого императоры начинают опираться на крупных земельных магнатов: наступает период домината (III — V вв.) — время Диоклетиана, Константина и преемников Константина, христианских императоров — период, который завершается подъемом народных восстаний в соединении с новой волной варварских нашествий; после этого Западная Римская империя перестает существовать.

Углубление кризиса империи сказывается на распространении культуры. В духовной жизни империи все более важную роль играют провинции, менее затронутые общим кризисом. Африка дает римской литературе Апулея, Галлия — Авзония, Сирия — Аммиана Марцеллина: лучшего прозаика, лучшего поэта, лучшего историка поздней империи. В этом культурном подъеме провинций ведущее место, естественно, заняли восточные, греческие, области с их давними культурными традициями (так называемое «эллиническое возрождение» II — начала III в.). В конце принципата эллинофильство становится модой: Фронтон и Апулей декламируют на обоих языках, галл Фаворин и пренестинец Элиан славятся чи-

стотой аттического слога, даже императоры-философы Марк Аврелий и Юлиан Отступник пишут свои сочинения по-гречески. В период домината положение меняется. Ослабление связей между провинциями кладет конец распространению греческой культуры на западе, а римскую литературу дробит на ряд областных литератур, общих по языку, но различных по стилю: слог африканцев — Августина и Драконтия — не похож на слог галлов — Аполлинария Сидония и Павлина Ноланского. В этих областных школах закладывается начало латинских литератур средневековья.

Меняется и содержание античной культуры. Обострение социальных противоречий разрушает сознание единства личности и общества: человек ощущает себя одиноким, уходит в себя, развиваются индивидуалистические настроения. Разочарование в привычных жизненных ценностях подрывает основу рационалистического мировоззрения: от рассудочной философии человек обращается к иррациональной религии. Стоицизм с его проповедью подчинения личности мировому целому превращается из оппозиционного направления в последнюю идеологическую опору принципата; но под пером Марка Аврелия он уже проникается таким безысходным пессимизмом, что окончательно теряет привлекательность для масс. На смену ему в обществе распространяется неоплатонизм, в котором высшее начало представляется уже не мировым разумом, а божественным светом, не постигаемым рассудком и доступным лишь экстатической интуиции. Широкую популярность получают восточные мистические культы Митры, Исиды, Кибелы и других божеств. Даже авантюрный роман Апулея осмысливается как символическая апология религии Исиды. В переплетении народных суеверий, мистической философии и восточных религий постепенно выделяется и крепнет христианство.

В разлагающемся античном обществе литература быстро утрачивает то общественное значение, каким она обладала в век Лукана и Ювенала. Чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить письма Симмаха с письмами Плиния Младшего и панегирики галльских риторов с панегириком того же Плиния Младшего. Литература отворачивается от жизни и замыкается в кругу формальных задач и чистой развлекательности. Изысканность стиля становится самоцелью и вырождается в маньеризм, лучший образец которого представляет слог Апулея. Фронтон, законодатель вкуса при дворе последних Антонинов, ставит выше всего «новизну выражения» (*elocutio novella*) и «неожиданные слова» (*inopinata verba*). В поисках этих «неожиданных слов» риторика обращается к новообразованиям, к вульгаризмам, к диалектизмам, к греческим заимствованиям и особенно к вышедшим из употребления словам старинных писателей. На смену «новому стилю» Сенеки и классицизму Квинтилиана приходит архаизм Фронтоня — странный плод школьного педантизма.

Естественно, что формалистические упражнения поздней литературы полнее всего выразились в поэзии. «Новые поэты» изощряются в вычурности ритмов, Октавиан сочиняет фигурные стихотворения, Авзоний и другие поэты складывают центоны из вергилиевских полустихий, менее талантливые стихотворцы развлекаются тем, что излагают в стихах самые прозаические предметы (дидактические поэмы Серена Самоника, Теренциана Мавра, Авиена, Палладия). В то же время темы стихов становятся все более незначительными: по стихотворениям Авзония мы составляем полное представление о вкусах и привычках их автора, но не можем с уверенностью сказать, был он христианин или язычник. Господствуют мелкие жанры. Лишь на рубеже V в. последний крупный поэт античности, Клавдиан, пытается возродить большие формы сатиры, мифоло-

гического и исторического эпоса. Однако эту сосредоточенность поздней поэзии на мелких субъективных темах нельзя расценивать только как упадок — это хотя и слабое отражение того индивидуализма, того внимания к глубинам душевной жизни, величайшим памятником которого осталась «Исповедь» Августина. Здесь зарождается тип лирики нового времени — лирики, в которой главным является не выдержанность жанра и совершенство стиля, а выражение личности поэта.

Понижается уровень научной литературы: серьезные сочинения вытесняются краткими руководствами и сборниками анекдотов. Если Плиний выписывал из своих источников самое важное, то Авл Геллий выписывает самое любопытное. Флор составляет сокращение Ливия, Фест — сокращение Веррия Флакка, Солин — сокращение Плиния; по тому же пути идут Евтропий, Фест Руф, Аврелий Виктор и другие. Светоний заменяет связный исторический рассказ цепью биографий, у его продолжателей этот жанр обращается в пустую коллекцию анекдотов и любопытных мелочей. На правах исторических сочинений ходят по рукам романы о троянской войне и о приключениях Александра Македонского. Усиливается нездоровый интерес к мистике, к астрологии, к магии. Юлий Обсеквент составляет по Ливию список всех предзнаменований в римской истории, Фирмик Матерн пишет трактат по астрологии, Макробий привлекает всю неоплатоническую мистику для толкования Вергилия и Цицерона. В начале рассматриваемого периода славой чародея пользовался Апулей, а в конце его Фульгенций изображает магом и некромантом самого Вергилия.

Рядом с ослабевающей языческой литературой в это время зарождается и достигает расцвета латинская христианская литература. Во II и III вв. ей еще приходится бороться за свое существование; но в период домината христианство становится государственной религией, и христианская литература постепенно начинает вытеснять языческую. Рассмотрение деятельности блестящей плеяды христианских писателей — Минувция Феликса, Тертуллиана, Киприана, Лактанция, Амвросия, Пруденция, Иеронима, Августина — не входит в задачу настоящего обзора по двум причинам. Во-первых, почти все обширнейшее наследие этих и близких к ним авторов не ставит никаких художественных целей: это были толкования Священного писания, трактаты по богословским проблемам, критика язычества, полемика с еретиками, популяризация христианского вероучения, наставления новообращенным христианам, проповеди, похвальные слова, церковные гимны, стихотворные пересказы из Ветхого и Нового завета, дидактические поэмы. Во-вторых, эта литература принципиально отрешается от всех традиций римской литературы, провозглашает новые духовные ценности, отвергает обреченное на гибель земное величие Рима во имя «града божьего», которому служит верующий. Именно эта свобода от национальных связей и традиций дала возможность христианской церкви и христианской литературе не погибнуть вместе с Римской империей и достигнуть безраздельного господства в европейской культуре средних веков. Латинская христианская литература IV — V вв. — это не конец, а начало литературного процесса, пролог к средневековой латинской литературе. Конечно, христианство было подготовлено античной религией и философией, христианская литература использовала богатое наследие античной литературы; но элементы античной культуры были полностью переосмыслены христианством и заняли лишь подчиненное положение в системе его мировоззрения.

Перед лицом наступающего христианства античность в последний раз собирает свои культурные силы. Ее опорой служат во-первых, неизмен-

ные воспоминания о былом величии Рима, древней религии и классической поэзии, и во-вторых, неоплатонизм — последняя форма религиозной философии античности. Во главе языческого сопротивления стоял узкий круг сенатской аристократии — семейства Симмахов, Никомахов, Претекстатов и близкие к ним. В это общество с его культом классиков и уклоном к мистике нас вводят сочинения Макробия; к этому обществу, по-видимому, был близок и Аммиан Марцеллин. Инициативе Симмахов и Никомахов мы обязаны работами по исправлению и толкованию Вергилия, Ливия, Теренция и других классических писателей — плодами труда целого поколения грамматиков. Однако и за пределами этого аристократического круга традиции языческой литературы держались стойко: Авзоний, Клавдиан, Намациан жили при дворе христианских императоров, но их произведения насквозь пропитаны языческой мифологией, классическими реминисценциями, верой в вечность земного величия Рима. Подражание римским классикам долго держится в литературе и лишь постепенно ассимилируется складывающейся поэтикой средневековой христианской литературы.

Падение последнего императора Западной империи в 476 г. лишь условно может считаться концом античной литературы. Традиции латинской литературы империи держатся еще два-три поколения при дворах константинопольского императора и варварских королей — в творчестве Драконтия, Луксория, Кориппа, Максимиана, Боэция, Венанция Фортуната — и лишь к концу VI в. теряются в наступающем невежестве «темных веков».

Глава XVI

РИТОРИКА. ПОЭЗИЯ. НАУКА II—III вв.

1. Фронтон. — 2. Взгляды Фронтонна на литературу и ораторское искусство. — 3. Авл Геллий. — 4. Юридическая литература. — 5. «Новые поэты».

1. ФРОНТОН

Известнейший латинский ритор II в. н. э., Марк Корнелий Фронтон (M. Cornelius Fronto), был родом из Цирты в Африке. Свое образование он получил у Афинодота и Дионисия, имена которых известны только по упоминанию их Фронтоном; возможно, что местом, где он обучался в юности, была Александрия, о которой он впоследствии не раз говорит как о городе, хорошо знакомом ему. Но большую часть жизни он провел в Риме. Фронтон пользовался при своей жизни широкой известностью и как учитель риторики, и как судебный оратор. Слава его была настолько велика, что император Антонин Пий пригласил его в качестве воспитателя к Марку Аврелию и Луцию Веру. Оба его ученика, особенно Марк Аврелий, по-видимому, очень привязались к своему учителю; Фронтон же, чрезвычайно преданный риторике и считавший ее самым высоким искусством, которое доступно человеку, прилагал величайшие усилия к тому, чтобы сделать из Марка Аврелия, талантом которого он не мог нахвалиться, лучшего оратора своего времени. Расцвет педагогической и ораторской деятельности Фронтонна падает на 40 и 50-е годы II в. н. э. Нам неизвестны точные даты ни его рождения, ни его смерти, но, судя по тому, что в его письмах нет упоминания ни об одном событии 70-х годов II в., можно предположить, что он умер между 165 и 169 г. Многие письма его к Марку Аврелию полны жалоб на тяжелую болезнь (ревматизм или подагра), которая не давала ему возможности даже писать и приковывала его к постели. В остальном Фронтон мог считать себя любимцем Фортуны: близость к императорскому двору доставила ему, помимо славы, и должность консула (в 143 г.), которую он, правда, занимал всего несколько месяцев; от проконсульства в Азии, которое было ему предложено на следующий год (144 г.) он был вынужден отказаться по болезни. По-видимому, он вообще редко выезжал из Рима, где имел собственный дом и владел знаменитыми «Меценатовыми садами»; ему принадлежало и поместье в Африке.

До начала прошлого века о Фронтоне можно было судить лишь по отзывам, сохранившимся в произведениях его современников и позднейших писателей, среди которых его авторитет как придворного ритора, знатока старой римской литературы, друга и советчика «философа на троне»

Марка Аврелия был чрезвычайно велик. Современник Фронтон Авл Геллий изобразил ратора почтительно окруженным учеными людьми, которые благоговейно прислушиваются к его словам («Аттические ночи», II, 26; XIII, 26; XIX, 8, 10, 13). Позднее Евмений назвал его «не второй, но другой славой римского красноречия» (*Paneg. Const.*, 14), конечно, под первой славой он подразумевал Цицерона. Минуций Феликс, Макробий, Клавдиан Мамерт, Сидоний Аполлинарий, Иероним, Кассиодор упоминают Фронтон как выдающегося оратора, определяя его стиль то как ясный и точный, то как блестящий, отмечая также, что он пишет строго и с достоинством. Капитолин сообщает нам, что Фронтон был любимым учителем Марка Аврелия, который уважал его больше всех других своих учителей и почтил его статуей в сенате («Жизнеописание Марка», 2). Однако рукописи, найденные в 1815 г. кардиналом Анджело Майи в библиотеках Милана и Рима, разочаровали исследователей. Правда, речей Фронтон не сохранилось, но найденная переписка его с учениками и друзьями, отрывки из длинных посланий на риторические темы, декламации открыли в нем наивно тщеславного, довольно слащавого и малоостроумного ратора, влюбленного в риторику как таковую, убежденного архаиста, преклоняющегося только перед древнейшей римской литературой.

Доставшееся нам наследие Фронтон состоит из пяти книг писем к Марку Аврелию-Цезарю, двух книг писем к нему же в бытность его императором, двух книг к его соправителю Луцию Веру, отрывков из посланий к ним на риторические темы *de eloquentia* и *de orationibus*, книги писем к Антонину Пию, двух книг писем к друзьям, книги писем на греческом языке, отрывков из исторических трактатов, нескольких декламаций или риторических упражнений вроде «Похвалы дыму и пыли», «Похвалы пренебрежению», «Ариона» и совершенно незначительного фрагмента из речи за карфагенян. В письмах мы находим упоминание о его благодарственной речи императору в сенате во время консульства, о панегириках Адриану и Антонину, о речах в защиту карфагенян, вифинцев и различных его друзей, о речи против Герода Аттика. Сидоний Аполлинарий восторженно хвалит речь против Пелопы (*Epist.* VII, 10), Минуций Феликс упоминает в своем «Октавии» его речь против христиан (9 и 31). О том, каковы эти речи, мы можем только догадываться по стилю писем и по содержащимся в них высказываниям Фронтон по разным вопросам риторики, которые мы воспринимаем как отголоски его ораторской теории.

Невозможно точно определить, кто издал письма Фронтон. По предположению Моммзена, это был сам Фронтон, по мнению Гейнса — его зять и друг Авфидий Викторина, неоднократно упоминающийся в письмах. Мнение Гейнса более вероятно: от Фронтон можно было бы ждать большей систематизации в расположении его собственных писем.

Кое-где письма расположены по хронологическому принципу, иногда же они объединены тематически (письма, относящиеся к консульству — во II книге к Марку Цезарю или письма о процессе Герода — в III книге к нему же), но ни тот, ни другой принцип последовательно не проведен.

Для установления хронологии писем пользовались рассыпанными по письмам различными данными о Марке Аврелии, Фронтоне и других известных лицах и событиях. Этим специально занимался Моммзен¹ и Гейнс², сделавший попытку в своем издании расположить письма

¹ «Hermes», 1874, VIII.

² The correspondence of M. Cornelius Fronto... edited... by C. R. Haines, I—II. London, 1919—1920.

в хронологическом порядке. Можно сказать почти с полной уверенностью, что все они были написаны между 139 и 166 г. н. э.

Основной характер большинства писем воспитательный: это переписка между ревностным учителем и благодарными преданными ему учениками — она полна советов, поучений по поводу разных риторических частных дел, вопросов о здоровье, разговоров о погоде и окрашена взаимной лестью; письма Фронтон к Антонину Пию — это письма к господину и благодетелю; письма к друзьям — главным образом рекомендательные; часть писем к матери (М. Аврелия) и к друзьям (например, к исторiku Аппиану) написана по-гречески. Хотя Фронтон сознается, что он не так уж силен в греческом языке: «Твоей матери я написал письмо по-гречески, — пишет он М. Аврелию, — такова моя самонадеянность — и связал его с моим письмом к тебе. Ты прочти его первый и, если там есть варваризмы, поправь их — ведь твой греческий гораздо свежее, чем мой; и уж потом отдай матери. Я же не хочу, чтоб твоя мать презирала меня как невежду» (I, 8, 7) ³.

2. ВЗГЛЯДЫ ФРОНТОНА НА ЛИТЕРАТУРУ И ОРАТОРСКОЕ ИСКУССТВО

Фронтон является одним из самых ярких архаистов II в. н. э. Если греческие ораторы этого времени — Герод Аттик, Элий Аристид и др. — стремились говорить «по-аттически» и мечтали вернуть ораторское искусство к временам Лисия, Исократы и Демосфена, то римским ораторам пришлось волей-неволей восхищаться речами Катона Старшего и Гракхов. Это течение, против которого возражает уже Цицерон (*Ad Att.*, IV, 19), от которого предостерегает своих учеников Квинтилиан (*Inst. or.*, X, 1, 100), тем не менее сохранило свою силу во II в. н. э.; самым ярким представителем его и был Фронтон. Все страницы его писем испещрены восторженными отзывами о Катоне и Гракхах, Луцилии и Лаберии, а также о поэтах и драматургах — Эннии, Невии, Акции и Пакувии. Он явно предпочитает их Цицерону, Цезарю и Горацию и видит в них примеры для подражания; он не скрывает, что архаизирующий стиль Саллюстия нравится ему больше, чем стиль Цицерона.

На первый взгляд может показаться странным, что такой благонамеренный приверженец империи и императорского дома преклоняется перед писателями времен расцвета республики. Однако для Фронтон взгляды и убеждения того или иного писателя не имеют никакого значения; он рассматривает их произведения и советует изучать их только с точки зрения «отбора слов».

В письме 3 книги IV, Фронтон дает настолько интересные и характерные советы своему ученику Марку Цезарю, присоединяя к ним попутно критику Цицерона, что необходимо их привести целиком.

... «Очень немногие из древних писателей отваживались на этот усердный и рискованный труд — тщательные поиски слов. С давних пор из всех ораторов этим отличался только один Марк Порций да его прележный последователь Гай Саллюстий. Из поэтов особенно Плавт, еще больше — Энний и его ревностный соперник Л. Целий, и, конечно, Невий, Лукреций, кроме того, Акций, Цецилий, а также Лаберий... Здесь ты меня тотчас же, конечно; спросишь, какое же место я отвожу М. Туллию, который считается главой и источником римского красноречия. По моему мнению, он во всех своих сочинениях отличается необыкновенной красо-

³ Все цитаты из Фронтон даны в переводе И. П. Стрельниковой.

той языка и как никто другой из ораторов он был великолепен в своем умении красиво изобразить то, что хотел особо выделить. Мне кажется, однако, что он был далек от тщательных поисков слов... может быть потому, что избегал труда или был уверен в том, что даже без особых поисков у него всегда будут наготове такие слова, какие другим едва ли попадутся, даже если бы они их и искали. Поэтому... он необычайно богато и обильно пользуется словами всех родов, словами в прямом и переносном значении, простыми и составными, а также теми, которые повсюду сверкают в его сочинениях — возвышенными и часто просто восхитительными. Однако во всех его речах ты найдешь только очень немного неожиданных и непредвиденных слов, которые выискиваются не иначе, как с помощью усердия, заботы, бодрствования и памяти, хранящей много стихов древних поэтов⁴. А неожиданным и непредвиденным я называю такое слово, которое обнаруживается вопреки ожиданию и мнению слушателя и читателя. Поэтому я тебя очень хвалю за то, что ты прилагаешь к этому делу заботу и старание, извлекая слово из глубины вещей и придавая ему наибольшую выразительность» (IV, 3,2—3).

Столь же большое значение придает Фронто сочетание и расстановке отобранных слов. «... Есть науки, — пишет он, — где можно скрыть свое невежество и ненадолго сойти за человека, знающего то, чего на самом деле не знаешь. Но по выбору и расстановке слов твое незнание немедленно раскроется. Никто не может долго пользоваться словами так, чтобы не обнаружилось, что слов он не знает, судит о них неправильно, оценивает наугад, пользуется ими неискусно и не понимает ни уместности употребления слова, ни его силы» (IV, 1). «Я даже не знаю, полезно ли показывать, сколько труда, тщательной и беспокойной заботы надо приложить к тому, чтобы правильно оценить слово; боюсь, как бы это не охладило пыл юношей и не ослабило в них надежды на успех» (IV, 4). Далее Фронто приводит примеры неправильного употребления приставок (IV, 5 и 6) и дает интересные указания по поводу сочетаний слов; так, после слова «корабль» он разрешает ставить эпитет «трехвесельный», но не советует начинать с эпитета, ибо «корабль» после «трехвесельный» — уже бесполезное добавление; ведь нет опасности, что подумают, будто после «трехвесельный» могут идти слова «носилки», «повозка» или «кифара» (IV, 7). Своего ученика он порицает за выражение: «широкие рукава удерживают зной». «Каким образом можно вообще „удерживать зной“? Я тебя не за то упрекаю, что ты так смело выступил с этой метафорой, так как я вполне разделяю мнение Энния, что оратор должен быть смелым. Конечно, пусть оратор будет смелым, как требует Энний; но пусть он в своих выражениях никогда не отходит далеко от того предмета, о котором он хочет говорить. В самом деле, я очень одобряю и хвалю твое желание и попытки искать слова; но я порицаю небрежность в употреблении этого найденного тобой слова, которое просто неуместно, ибо невозможно «удерживать зной» просторными рукавами, которые свободно развеваются и полощутся по ветру» (IV, там же).

Как ни серьезно относится Фронто к своим преподавательским обязанностям, он понимает, однако, что едва ли его царственному ученику удастся полностью отдаться «поискам слов»: «конечно, никто не осмелится, — пишет он в том же письме, — обращаться с предписаниями к тебе, свободному человеку, рожденному свободными родителями, стоящему

⁴ Однако Фронто умеет оценить по достоинству и Цицерона и высказывает о нем совершенно верное мнение: «Я думаю, что все письма Цицерона надо прочесть, по моему мнению, даже скорее, чем все его речи. Нет ничего совершеннее писем Цицерона» (II, 5,5).

выше всаднического сословия, человеку, мнения которого спрашивают в сенате. Нам же, посвятившим себя рабскому служению ученым ушам, необходимо с величайшей тщательностью относиться к этим тонкостям и мелочам. Одни слова, как булыжник, обрабатываются ломом и молотом, другие, как драгоценные камни, — резцом и молоточком» (IV, 6).

Фронтон в другом письме даже как бы предостерегает Марка Аврелия от погони за излишним легковесным изяществом речи: «Я предпочел бы одежду строгую — из мягкой шерсти, а не из прозрачной или шелковой ткани изысканных расцветок, и притом не ярко-алую или желтую, как шафран, а темно-пурпурную: вам, которым необходимо одеваться в пурпур и багряницу, нужно и речь иногда одевать в те же цвета. Поступай так, и ты будешь выглядеть в высшей степени сдержанным и умеренным» (I, 8, 3).

«Красноречие Цезаря должно быть подобно звуку походной трубы, а не звукам флейты: в нем меньше звонкости, но больше веса» (III, фрагм. 1).

Что во времена империи ораторское искусство не имело уже того огромного общественного значения, как в римской республике, является общим местом в любой истории литературы. Совершенно несомненно, что речи в сенате утратили свой дискуссионный характер и превратились в панегирические подтверждения повелений императоров; напротив, судебные речи должны были в той или иной мере выражать мнения спорящих сторон. Это понимал и Фронтон, о чем свидетельствует его переписка с М. Аврелием по судебному делу, возбужденному афинянами против Герода Аттика: Марку Аврелию хотелось замять это дело, так как Герод Аттик, — пишет он, — «вырос в доме моего деда, ты же был моим наставником. Поэтому я и проявляю столько сердечной заботы о том, чтобы это неприятное дело завершилось благополучно» (III, 2); Фронтон, конечно, готов оказать любую услугу своему ученику, но все же сильно смущен: «Что я не должен говорить помимо дела ничего такого, что могло бы повредить Героду, в этом я не сомневаюсь; но факты, которые относятся к самому делу, ведь совершенно ужасны; как мне поступить — вот в чем я сомневаюсь (III, 3). И дальше: «когда жестоки преступления, должны быть жестоки и слова о них. Именно такими словами я буду говорить об оскорбленных и ограбленных людях, чтобы они почувствовали в этих словах горечь и негодование; ну, а если я его назову грубым и неотесанным греком, то ведь это его не убьет» (там же).

Это последнее замечание Фронтона особенно забавно тем, что, по всей вероятности, Герод Аттик, уроженец Афин, охотно дал бы такую же оценку своему противнику, латинскому ритору из Африки.

По-видимому, однако, и помимо судебных дел, оратор попадал иногда в такое положение, когда ему приходилось считаться с общественным мнением: Фронтон рассказывает М. Аврелию в одном письме о том, как он вызвал неудовольствие слушателей, и дает ему практический совет «угождать народу»: он начинает с описания успеха своей речи, но далее выясняется, что успех был не так уж велик: «Сколько одобрительных отзывов вызвала моя речь и каким хором похвал были встречены слова — „в те дни каждое изображение украшали патрицианские знаки отличия“! Но когда я, сравнивая знатное сословие с незнатным, сказал, что это может делать только тот, кто полагает, что огонь костра подобен пламени алтаря, так как они одинаково светят, то в ответ на это некоторые загудели неодобрительно» (I, 8, 1). Очевидно, недовольны остались те, кого сравнили с костром, т. е. неаристократические слои слушателей. «К чему я тебе это рассказал? — продолжает Фронтон. — Чтобы ты, мой господин, когда будешь выступать в широком собрании, был подготовлен

и знал, чем можно угодить их слуху: конечно, не везде и не во всех отношениях, но все-таки иногда и в значительной степени... ведь даже преступников и негодяев вы прощаете по требованию народа. Стало быть, повсюду народ господствует и берет верх — и мы должны так поступать и так говорить, чтобы быть удобными народу... Но нужно, чтобы та лесть, которой оратор намеревается ласкать слух народа, не была слишком бесстыдной» (I, 8, 3).

Итак, несмотря на то, что главное внимание Фронтон хотел бы уделить внешней форме речи, он признает необходимость хорошо обдумывать и ее содержание и даже не раз дает совет своим ученикам и друзьям скорее допускать в своей речи несовершенство формы, чем отсутствие мысли; но сам он плохо исполняет этот совет — его собственные письма и фрагменты весьма бедны мыслью. Со стороны формы они, как и следовало ожидать, обработаны очень тщательно и читаются легко; по сравнению с плавными, тонко разработанными периодами Цицерона, его речь, конечно, более отрывиста и проста, поскольку он — последователь архаизирующего стиля. Местами он злоупотребляет метафорами и сравнениями, а также цитатами и афоризмами, взятыми у древних писателей. Нередко он пытается шутить, но юмор его тяжеловесен. Наиболее удачны те письма, где он говорит о формальной стороне своего искусства и о своем искреннем желании передать все, чего он в этом искусстве достиг, своим ученикам.

Письма Фронтона, несмотря на ограниченность содержания и указанные недостатки стиля, бесспорно, имеют ценность как подлинные документы своего времени, которые доносят до нас литературные веяния эпохи Антонинов, сближают с жизнью литераторов того времени и дают представление о формировании молодого Марка Аврелия, личность которого в истории Рима представляет значительный интерес.

3. АВЛ ГЕЛЛИЙ

О жизни Авла Геллия (A. Gellius) не сохранилось никаких свидетельств древних авторов, поэтому его произведение «Аттические ночи» (*Noctes Atticae*) является единственным источником, который помогает нам выяснить более или менее определенно социальное лицо Геллия, обстоятельства его жизни и деятельности, отношение его к общественно-политическим вопросам. Труд этот, состоящий из 20 книг, дошел до нас почти полностью, если не считать книги VIII, от которой сохранились лишь названия глав, начала книги VI, начала и конца книги XX.

Время жизни Авла Геллия приходится на середину II в. н. э., на период правления императоров династии Антонинов — от Адриана до Марка Аврелия. О годе и месте рождения Геллия «Аттические ночи» не дают прямых указаний. Время рождения этого автора по совокупности отдельных моментов отнесено исследователями приблизительно к 130 г. н. э. Место его рождения, по всей вероятности, — Рим, где Геллий провел свои детские и отроческие годы. Об этом можно судить по словам самого Геллия в XVIII, 4, где он говорит, что в Риме он достиг юношеского возраста (т. е. 17 лет) и сменил детскую тогу на мужскую. О социальном происхождении Геллия ничего неизвестно. Нигде не упоминает он о своих родителях, не говорит об их имущественном положении. Однако можно предполагать, что они были достаточно состоятельными людьми, так как смогли дать сыну хорошее по тому времени образование — он обучался у известных учителей в Риме и Афинах. Далеко не у всех людей была материальная возможность

после получения первоначального философского и риторического образования в Риме обучаться дальше в афинских философских школах. Риторика и философия, литература и история были доступны по преимуществу образованным представителям господствующего класса.

Со слов Геллия нам известны имена многих его учителей, под руководством которых он изучал грамматику, риторику, философию. Большим авторитетом у Геллия пользовался ритор Антоний Юлиан (IX, 5; XV, 1; XVIII, 5; XIX, 9), которого Геллий считал большим знатоком древней литературы и языка (I, 4). С похвалой отзывается Геллий о риторе Тите Кастриции (XI, 13; XIII, 21), не один раз упоминает своего учителя грамматики Сульция Аполлинария (VI, 6; XVIII, 4; XX, 6). Для понимания творчества Геллия особенно важно отметить, что он называет своим учителем Фронтон. Именно Фронто, возглавлявшему во II в. литературное течение архаистов, и следовал Геллий. Живя в Риме, он часто бывал у Фронтон; и, как говорится в XIX, 8, ему никогда не случалось после разговора с этим человеком уйти от него, не унеся с собой каких-либо званий. Очень часто в «Аттических ночах» встречается также имя философа софистического направления Фаворина, привлекаемого автором на страницы сборника по самым различным вопросам философии, грамматики, права. С большим уважением Геллий относился к нему, называя его в XX, 1 устами Секста Цецилия единственным искусным знатоком не только римских, но и греческих философов. Очевидно, Фаворин был одним из любимых учителей Геллия, как можно заключить из его слов в XIV, 2, где он рассказывает о помощи, оказанной ему Фаворином в судебной деятельности в Риме. Геллий проводил целые дни со «сладкоречивым» Фаворином, следуя за ним повсюду (XVI, 3).

Как уже говорилось, Геллий, по обычаю молодых людей «хорошего общества», получив в Риме начальное образование, отправился в Афины для продолжения занятий по философии (I, 2; II, 21). Здесь он получил довольно широкое философское образование, хотя нельзя сказать, чтобы оно было систематическим. Геллий не придерживался какой-либо определенной системы взглядов. Учителями его были философы разных направлений: Тавр (VI, 13; XII, 5) — последователь Платона, Перегрин (XII, 11) — представитель кирической философии; знаком он был и с софистом Геродом Аттиком, собиравшем у себя молодых людей, приехавших из Рима для обучения (I, 2).

Но если нельзя говорить о приверженности Геллия к определенному философскому направлению, то, во всяком случае, следует отметить, что его мировоззрение подверглось в какой-то мере воздействию некоторых философских систем. Наибольшие симпатии Геллия привлекала идеалистическая философия Платона и отчасти Аристотеля, как это можно увидеть из его рассеянных по всему сборнику замечаний. Хотя чаще всего, приводя, например, спор философов различных школ по какому-либо вопросу, сам Геллий ни одного из них не поддерживает и не осуждает. Так, в V, 15 и V, 16 Геллий излагает спор между стоиками, эпикурейцами, и академиками о материальности голоса и о свойствах зрения. Находя подобные споры праздными и бесполезными, он заключает их словами из «Неоптолема» Эниия о том, что следует знать лишь начала философии, а не углубляться в нее и не философствовать по всякому поводу.

Завершив образование в Афинах, Геллий возвратился в Рим (XIX, 1; IX, 4; XVI, 1) и некоторое время занимался судебной деятельностью. Сначала он был назначен преторами судьей по гражданским делам (XIV, 2), позже был избран консулами судьей на время календ (XII, 13). Геллий очень серьезно относился к своей общественной должности, как видно

из его же слов. Он тщательно разыскивал книги на греческом и латинском языке по вопросам судопроизводства с целью изучения их, с большой осторожностью подходил к разбору дел, предварительно консультируясь у знавших законы людей. Так, в первом судебном деле, которое ему нужно было разбирать, он, не доверяя собственному решению, обратился за советом к опытному другу — философу Фаворину.

Ничего неизвестно о последних годах жизни Геллия, также как и о его смерти. Вероятно, смерть помешала осуществлению намерения Геллия продолжать работу над сборником «Аттические ночи». В предисловии к своей книге он говорил, что собирается посвятить литературным занятиям весь свой досуг, все время, свободное от домашних дел и воспитания детей, и что хочет жить лишь до тех пор, пока будет в состоянии работать над своим трудом.

Начало литературной деятельности Геллия относится к афинскому периоду его жизни. Сколько времени он находился в Афинах, неизвестно, но, вероятно, долго, так как именно в Афинах была заложена им основа фундаментального сочинения, озаглавленного «Аттические ночи». Там Геллий начал выписывать из прочитанных книг, все, что считал интересным и достойным внимания, а для этого надо было затратить немалое время. Точно установить время творчества Геллия нельзя. Однако на основании некоторых косвенных данных можно отнести его приблизительно к 50—60 гг. II в. В рукописях Геллия сохранилась пометка средневекового писателя Радульфа Дицетского: «А. Геллий пишет в 169 г.»; может быть, это известие восходит к античным источникам.

В предисловии к книге Геллий говорит о своей склонности к выписыванию цитат и отрывков, заинтересовавших его, склонности, ставшей потом привычкой. К составлению сборника из собранных им выписок и к оформлению их Геллий приступил также в Афинах, «в длинные зимние вечера», как он говорит в том же предисловии. Отсюда и произошло название книги, не связанное, по существу, с содержанием, но лишь с местом и временем ее написания. В Риме Геллий продолжал работу по сбору и обработке извлечений разного характера из всей той обширной литературы, которую он прочитывал.

Труд Авла Геллия представляет собой сборник многочисленных выписок из греческих и римских авторов на самые разнообразные темы. Здесь читатель может почерпнуть весьма интересные и часто важные сведения из разных областей знания: литературы, грамматики, философии, юриспруденции, истории древнего мира, а также сокращенные изложения более ранних трудов. Самым ценным для нас здесь является то, что все эти сведения часто приводятся в виде точных цитат из утерянных произведений древних греческих и римских авторов. Геллий сохранил нам, таким образом, многочисленные фрагменты древних писателей.

Среди источников, приводящих цитаты из несохранившихся произведений, Геллий занимает видное место, уступая обилием цитат только позднему компилятору Нонию. Геллий цитирует в своем сборнике около 400 авторов. В этом главная ценность его труда.

О композиции сборника говорит читателю сам Геллий в предисловии к нему. Порядок расположения всего сборного материала в сборнике случайный, бессистемный; автор не придерживается какого-либо определенного плана в распределении его по книгам. Рассказы, сведения и замечания самого разнообразного характера следуют одни за другими без какой бы то ни было систематизации по тематике. Тут смешаны всевозможные темы: о медицине и поэзии, о грамматике и геометрии, о физике и логике, забавные анекдоты из бытовой жизни и размышления на фило-

софские темы. Может быть, порядок изложения материала следует порядку накопления его автором.

Иногда все же, правда, в очень редких случаях, Геллий пытается объединить отдельные сходные по теме выписки, с тем чтобы преподнести их читателю в одном месте. В качестве примера можно указать на XVII, 21, где Геллий собрал воедино свои выписки, касающиеся истории древних времен, выписки из жизни «знаменитых мужей» (*virorum illustrium*), живших в эти времена. Здесь же Геллий предупреждает читателя о том, что он не собирается писать обстоятельные *συχρονισμοί* (синхроника) знаменитых римлян и греков, а стремится разнообразить «цветками истории» (*historiae flosculis*) свои «Аттические ночи».

Весь материал, расположенный в 20-ти книгах и 434 главах, Геллий снабдил подробным оглавлением, помещенным непосредственно после предисловия, чтобы читатель сразу мог просмотреть содержание книги и найти ему нужное место.

Выписки Геллия обычно оформлены в виде коротких рассказов из жизни образованных слоев римского и афинского общества. Эти небольшие бытовые сценки никак не связаны одна с другой. Геллий использует различные средства художественной подачи собранного материала, с тем чтобы заинтересовать читателя: среди них монологи (размышления философов о языке, быте, нравах древних и т. п.), диалоги и споры о различных предметах, сказки. Сборник Геллия—неистощимое хранилище анекдотов, знакомящих читателя с литературой, общественной и бытовой жизнью Рима и Греции разных эпох. Часто Геллий излагает действительные события; многие из выведенных им лиц названы их подлинными историческими именами. Находятся в сборнике Геллия любопытные сценки, раскрывающие нам отношения отдельных писателей друг к другу. Известно, например, что Менандр пользовался у современников меньшим успехом чем Филемон, угождавший вкусам зрителей более грубыми комедийными приемами. И вот в XVII, 4 Геллий рассказывает будто Менандр встретив Филемона, спросил у него: «Неужели ты не краснеешь [от стыда] когда одерживаешь надо мной победу?». Здесь же, как бы в защиту Менандра, Геллий рассказывает об аналогичных победах над Эврипидом писателей, стоящих ниже его.

Часто встречаются в сборнике рассказы с вымышленным содержанием: повесть о приключениях музыканта Ариона (XVI, 19), притча о дружбе человека и льва из «Египетских повестей» Апиона (V, 14), басня Эния о жаворонке (II, 29), рассказ о различных чудесах (IX, 4) и т. д.

В предисловии к своей книге Геллий говорит о том, что он не хотел бы, чтобы она уподобилась тем объемистым произведениям, при чтении которых скорее состаришься или умрешь от скуки, чем получишь какое-либо удовольствие или пользу. Чтобы не утомлять читателя и не наскучить ему, Геллий предлагает выбирать для чтения из его книги лишь то, что каждый сочтет для себя важным и интересным; если же что-либо покажется ему неясным и неполным, он может дополнить это сам, найдя сочинение, из которого сделана выписка. Ведь выписка и сделана, собственно, для напоминания, а не для научения, говорит Геллий, и добавляет, что труд свой он писал исключительно для образованной части общества, а не для темного народа. Это последнее чрезвычайно живо характеризует не только самого автора «Аттических ночей», но и общую направленность всего его творчества.

Творчество Авла Геллия является закономерным и логическим отражением времени, в которое он жил. Упадок политической активности общества, характеризующий империю этого периода, отразился на его

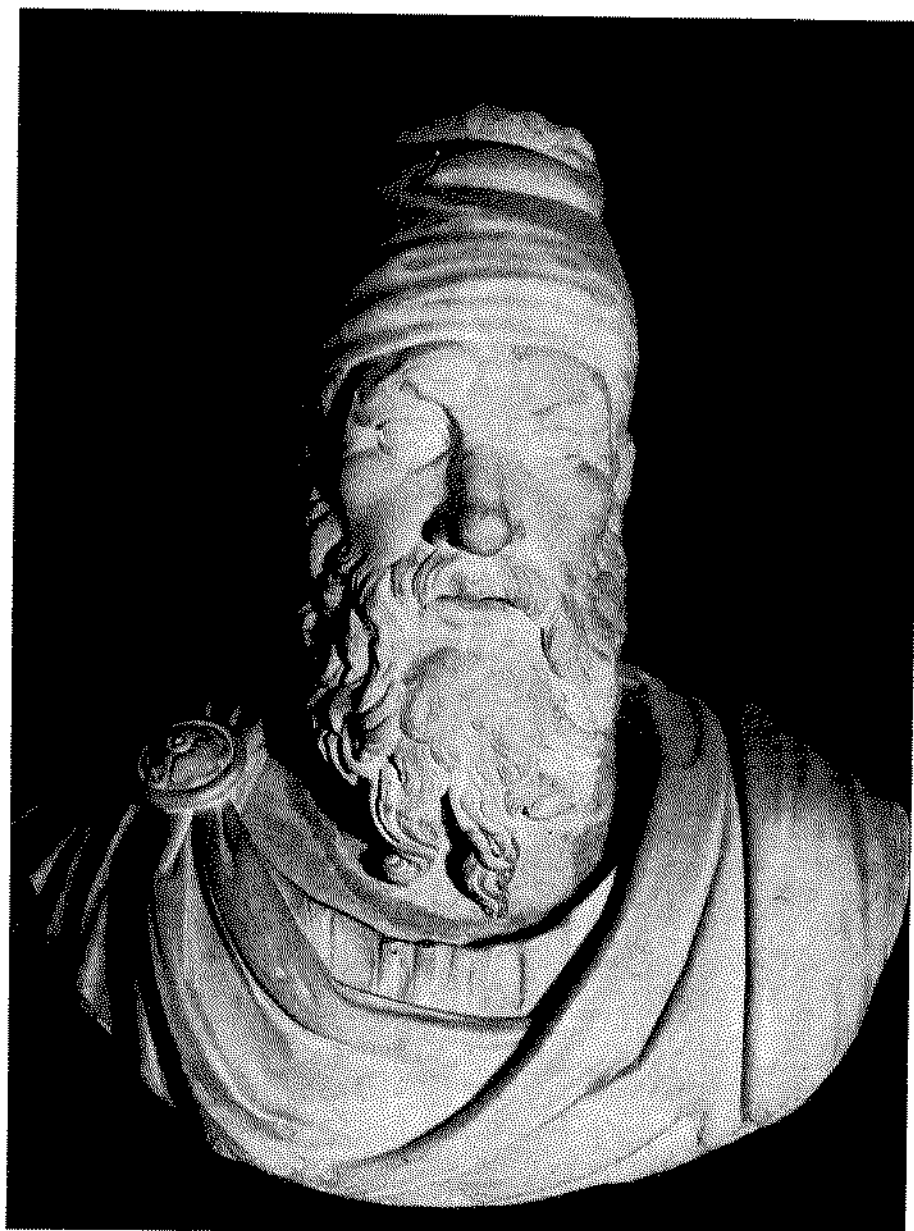
умственной жизни, в первую очередь на литературе, ярко свидетельствующей о снижении общего идейного уровня. Аполитичность, уход от социальных проблем, замкнутость писателей в сфере личных бытовых интересов, незначительность тематики, — вот что характеризует тогдашнюю литературу. Особенное развитие получают архаистические тенденции, повышенный интерес к памятникам старины, как в области ранней римской литературы, так и в области права, морали, языка, обычаев. В связи с возбуждением интереса к антикварной учености изменился язык литературных произведений, ставший теперь более тяжеловесным, педагогичным, насыщенным архаическими элементами. Вместо дальнейшего развития художественной литературы процветают ученые занятия в области грамматики, риторики, истории, права. Литература, философия, наука деградируют, оригинальные произведения сменяются компиляциями. Геллий был последователем Фронтоня, вождя римских архаистов. Странники Фронтоня, убежденные поклонники старины, подражали языку древних авторов. Считалось достойным, с их точки зрения, возобновлять в памяти читателей известные места и выражения из древних писателей. Ярким примером такой литературной компиляции, в которой собраны всевозможные антикварные сведения со ссылкой на древних авторов, и являются сочинения Авла Геллия.

Из труда Геллия можно почерпнуть большое количество интересных сведений лингвистического характера: о правильности произношения и употребления различных слов и о значении их в трудах древних авторов, о происхождении слов и выражений, о свойствах ударений и многое другое. Геллий сопоставляет данные разных авторов, что очень важно для изучения грамматиков. Интересно, например, рассуждение Геллия о собственном значении слова *humanitas*. Он первый из грамматиков обратил внимание на неправильное понимание и употребление этого слова большинством людей в смысле греческого *φιλανθρωπία* и определил действительный его смысл (XIII, 16).

Ряд сведений разного характера об авторах ранней римской литературы мы узнаем исключительно по сохранившимся записям Геллия. Так, Геллий сообщает любопытные подробности о Невии (I, 24; XV, 24; III, 3): название его драм («Гадатель», «Леонт»), место Невия среди римских стихотворцев, установленное Воллаццем Седигитом в книге «О стихотворцах», а также об Эннии (XVII, 17; XVIII, 5), Пакувии (VII, 14) и Ливии Андронике (XVII, 24; VIII, 9). В II, 29 Геллий приводит заключительные стихи из перевода Эннием басни Эзопа о жаворонке и ее птенцах, цитируемой здесь же. Мы узнаем от Геллия о числе комедий, принадлежащих Плавту и о толкователях его текстов (III, 3). Много места уделяет Геллий римскому комику Цецилию Стацию (IV, 20; XV, 14). Он сохранил в своем сборнике недошедший до нас отрывок из комедии Цецилия «Ожерелье», сопоставив его с отрывком из той же комедии Менаандра, которую Цецилий перевел вольно и довольно грубо (II, 23)⁵. В наглядном и живо сделанном сравнении с приведением цитат, подобранных для литературного сопоставления, Геллий показывает, как слаб и неискусен перевод Цецилия и как мало он похож на подлинник. Он убежден, что римский автор искажал Менаандра, не будучи в состоянии воспроизвести его достойным образом.

Особенно много отрывков Геллий приводит из произведений Катона, к которому он относится с особым уважением, ценя его не только как писателя, но и как образец высокой морали, олицетворение древней стро-

⁵ См. «Историю римской литературы», т. I. М., Изд-во АН СССР, 1959, стр. 98—100.



Голова дака

(с форума Траяна в Риме; начало II в. н. э.)

гости и честности. Самый большой отрывок из книги IV «Начал» Катона, приведенный Геллием в III, 7, относится к периоду Первой пунической войны. Здесь передан рассказ Катона о храбрости войскового трибуна, который отвлек на себя и своих воинов неприятельское войско и тем самым спас от гибели римское войско⁶. Сохранены Геллием несколько интересных отрывков из речи Катона в защиту родосцев из книги V «Начал». Защищая эту речь от придирчивой, по его мнению, критики Тирона в письме к Кв. Аксию, Геллий замечает, что «все это, возможно, могло быть сказано более последовательно и более благозвучно, но с большей силой и живостью, мне кажется не могло быть сказано» (VI, 3, 53). Он находит в этой речи необыкновенные богатства, подчеркивает непосредственную силу и genialность красноречия Катона. Геллий говорит и о других сочинениях Катона, например о поэме «*Carmen de moribus*» (XI, 2); в XIII, 25 и X, 3 он приводит отрывки из обвинительной речи Катона против Минуция Терма, в I, 23, рассказывает историю о Папирии из речи против Гальбы.

Часто, приводя ту или иную цитату из древнего автора, Геллий тем самым невольно изобличает римское общество. Интересно с этой точки зрения изречение Катона из его речи о разделе военной добычи, о своеволии полководцев, присваивающих себе государственные деньги, цитируемое Геллием в XI, 18 и позволяющее нам судить о едкости обвинительных речей Катона: «Воры, укравшие у частных людей, проводят жизнь в цепях и кандалах, а воры, обворовавшие государство — в золоте и пурпуре». Геллий отмечал, что критика эта сделана в стиле живом и блестящем (XI, 18). В другом месте, приводя выдержку из книги Цинция⁷ о военных делах, Геллий пишет, что для уменьшения этого грабежа римский воин, новобранец, обязан дать присягу войсковому трибуну, что он будет красть не больше, чем по одной серебряной монете в день (XVI, 4). В X, 3 Геллий цитирует отрывки из речи Гая Гракха о произволе и своеволии римской аристократии в провинциях и муниципиях.

Цитируются Геллием отрывки из Корнелия Сципиона Африканского (IV, 18; XI, 10; XV, 12), Корнелия Непота (VII, 18). Интересен отрывок из мима Лаберия «Веровочник» (X, 17), а также стих из его пьесы *Alexandrea* (XVI, 7). Лестно отзываясь Геллий о мимах Публилия Сира, современника Лаберия, которые он находит возможным сравнивать с мимами Лаберия. В XVII, 14 он дает серию изречений из этих мимов, представляющих собой рецепты практической морали, составленные в духе стоицизма и годные к употреблению в разговоре.

Геллий сохранил нам четыре эпиграммы, принадлежащие поэтам доцицероновской эпохи: Валерию Эдитую, Порцию Лицину, Кв. Лутацию Катуту (XIX, 9), эпиграмму Варрона Реатинского из его «Седьмица», написанную им к изображению Гомера (III, 11).

Есть в сборнике Геллия целый ряд упоминаний о недошедших до нас произведениях древних авторов, помогающих нам полнее уяснить их творчество. Упоминает Геллий, например, сочинение Туллия Тирона с греческим названием *καυδέχται* (XIII, 9), а также письмо Тирона к Аксию с разбором речи Катона в защиту родосцев. Ряд сведений о Туллии Тироне как биографе и литературном помощнике Цицерона мы находим в VI, 3, о переиздании им речей Цицерона в I, 7; XIII, 20. В I, 3 Геллий указывает на сочинение перипатетика Феофраста «О дружбе», послужившее образцом для трактата Цицерона «О дружбе», о чем говорит и сам Цицерон в своих речах.

⁶ См. «Историю римской литературы», т. I, стр. 144—145.

⁷ Там же, стр. 122.

Мы находим у Геллия целый ряд сведений об ораторах, историках, юристах: о Гортензии (XIX, 11), об Ацилии (VII, 14), об Антистии Лабее-не (I, 12; VII, 15; XIII, 10; XIII, 12; XV, 27 и др.). Часто упоминаются Геллием историки доцицероновской эпохи: Семпроний Азеллион (II, 13; V, 18; XIII, 21), Клавдий Квадригарий (III, 8; X, 13; XVII, 21), Сизенна (II, 25; XII, 15).

Среди множества упоминаемых на страницах сборника авторов не встречаются имена таких известных поэтов золотого века, как Тибулл, Проперций, Овидий. Нет среди цитируемых авторов имен и более близких по времени к Геллию писателей, например Марциала, Лукана, Квинтилиана, Плиния Младшего, Валерия Флакка и др. Обычно все авторы «серебряной латыни» обходятся упорным молчанием или же подвергаются обвинениям Геллия, как, например, представитель «нового стиля» Сенека, критические замечания которого о Цицероне, Вергилии и Эннии, извлеченные им из утерянной книги XXII писем к Луцилию, он называет «шутками глупого и неразумного человека» (XII, 2, 11). Здесь Геллий показал свою солидарность со взглядами школы архаистов, руководимых Фронтоном.

Несмотря на столь явное предпочтение древним авторам, Геллий с большим удовольствием относился к Вергилию, Варрону, Цицерону, Саллюстию, Катутлу. Последнего он называет в VII, 20 «самым изящным из поэтов» (*elegantissimus poeta*). Одарен изысканным изяществом, по мнению Геллия, и Вергилий (XX, 1, 54; XVII, 10, 6), который особенно ценится им за тонкое умение выбирать слова, чтобы придать стиху наибольшую звучность и мелодичность (XIII, 21, 10—11; II, 26, 11), за мастерство перевода (XVII, 10; XIII, 27), за прекрасное знание древностей (V, 12, 13). Говоря о поэтическом даровании Вергилия, Геллий приводит, со слов Фаворина, отзыв самого Вергилия о методе его работы над произведением: он рождает свои стихи, как медведица, которая облизывает после рождения своего детеныша, чтобы придать ему форму; грубые и несовершенные, они после многократной обработки становятся красивыми и законченными (XVII, 10).

Вопросы стиля стоят у Геллия на первом плане. Чистота и правильность словаря писателя являются для него критерием эстетической оценки. Первостепенное значение придается выбору писателями слов и употреблению их в собственном значении, результатом чего, по мнению Геллия, является изящество и точность языка — качества, которые он особенно ценит. Высоко оценивается им, например, Плавт за его чисто латинскую речь (VI, 17, 4); с похвалой отзывается он о языке Цезаря (X, 24), характеризую его как человека превосходных дарований и блюстителя чистоты языка. Он приводит устами Фаворина слова Цезаря из его книги «Об аналогиях»: «Избегай неслыханных и необычайных слов, как подводного камня» (I, 10, 4). Из этого же произведения Геллий сообщает читателю интересные грамматические подробности (XIX, 8). Именно за особенную чистоту языка Геллий ставит выше всех современников Сципиона Младшего (II, 20).

Вызывает восхищение Геллия и язык Лукреция, сохранивший древние слова и грамматические обороты (XVI, 5, 7; XII, 10, 8); он отмечает умение Лукреция находить благозвучные слова, ласкающие слух (XIII, 21, 24), сравнивает его в изяществе стиха с Вергилием и даже считает, что последний заимствовал у него не только отдельные слова, но и целые стихи (I, 21, 7). Философию же Лукреция он явно недооценивал (X, 26), что и неудивительно при ярко выраженной идеалистической направленности взглядов Геллия.

Язык самого Геллия лишен изящества и легкости, изобилует греческими словами и техническими терминами. Недаром Геллий предупреждает об этом читателя в предисловии, говоря, что его сочинение по тщательности отделки и изяществу стиля уступает многим другим. Возможно, что и в цитатах, приведенных Геллием, есть ошибки: Геллий часто цитировал на память.

Следует отметить, что, несмотря на приверженность Геллия к старинным словам и оборотам, он весьма отрицательно относится к излишней вычурности языка отдельных древних писателей, хотя бы того же Сизенны (XII, 15; II, 25), а также к многословию. Целую главу посвящает Геллий резкому осуждению безрассудного многословия, часто лишённого всякого смысла. Слова должны рождаться не в устах, а в самом сердце, говорит он; язык не должен быть необузданным, а должен управляться разумом (I, 15). В подтверждение своих слов Геллий приводит цитаты из Цицерона, Катона, Эврипида, Геслода, Эпихарма, Аристофана, Саллюстия. Он предостерегает читателя от легкомысленного увлечения стройным течением беглого красноречия, предлагая прежде вникать в суть самих вещей и слов (XI, 13), а в XI, 7 рассуждает о том, что не следует пользоваться слишком устарелыми и вышедшими из употребления словами.

Вряд ли можно говорить о каких-либо определенных общественно-политических взглядах Геллия, который не только не излагает своих политических взглядов, но и вообще не касается этого вопроса. Политические мотивы в его творчестве звучат слабо. Геллий почти никогда не затрагивает вопросов социально-экономической жизни Рима, не говорит о текущих политических событиях и настроениях, никогда не выражает своих политических симпатий, не ставит вопросов об имущественном и правовом неравенстве и др. При всем бесконечном разнообразии содержания «Аттических ночей» идеологическая направленность их остается неизменной: на первом плане у Геллия — тяготение к старине, уход от современности и насущных политических вопросов. Ритор по образованию, Геллий постоянно лишь излагает факты, не исследуя их. Всесторонние знания его не отличаются глубиной, скорее они даже поверхностны. Характерна для Геллия крайняя узость кругозора, углубление в незначительное и занимательное, фиксирование подробностей, неумение выделять важное от несущественного. В отрывистом, беспорядочном изложении фактов и сведений почти невозможно встретить собственную оценку цитируемых источников. В подавляющем большинстве случаев Геллий относится к передаваемым им фактам не критически. О своих размышлениях он не говорит, впечатления не анализирует. Касаясь, например, мнения того или иного философа, историка, грамматика по какому-либо вопросу, Геллий, обычно этим и ограничивается, не дав себе труда высказать свое отношение. Ставя проблемы, он лишь сопоставляет противоположные точки зрения, уклоняясь от прямого разрешения их. Часто вместо разъяснения какого-либо вопроса Геллий удовлетворяется тем, что говорит, как, например, в заключении к I, 18: «Об этом деле я судить не могу, поскольку оно касается человека такого блестящего образования» (имеется в виду Варрон).

Большой популярностью пользовался Геллий у современников и в средние века, когда он был известен под именем Агеллия.

Сам по себе сборник «Аттические ночи» представляет для нас большую объективную ценность как неистощимый источник разнообразных сведений об общественной, литературной и бытовой жизни древнего мира, сохранивший многочисленные фрагменты из недошедших до нас произведений древних авторов.

4. ЮРИДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Совершенно особое место в научной литературе II—III в. н. э. занимает обширная юридическая литература, богато расцветшая в это время и представленная дошедшими до нас трудами и фрагментами из произведений знаменитых юристов того времени Ульпиана (Domitius Ulpianus), Папиниана (Aemilius Papinianus), Гая (Gaius) и др.

Юридическая литература эпохи империи представляет исключительный интерес для исследователей античного общества, так как в этой литературе наиболее ярко отразилось правовое положение различных классов рабовладельческого общества. Социальные и экономические противоречия, начинающие все сильнее и сильнее обостряться в эпоху империи, а также аграрный кризис, обусловленный, с одной стороны, концентрацией земель, а с другой — крайним недостатком рабочей силы в связи с отсутствием притока новых рабов, — все эти явления и раньше находили свое отражение в литературе эпохи ранней империи, как, например, у Колумеллы. С течением времени по мере усиления общественных противоречий появилась насущная необходимость закрепить правовым порядком новые взаимоотношения как между отдельными группировками свободных классов, так и между свободными и рабами. В юридических памятниках того времени мы находим некоторые попытки путем законодательства поставить хотя бы слабые преграды полному произволу рабовладельцев, ограничить их власть над рабами и улучшить положение последних. В источниках римского права можно видеть, как переживаемый рабовладением кризис привел к широкому развитию вольноотпущеничества, когда, не получая пользы от непосредственной эксплуатации рабского труда и стремясь избавиться от непроизводительных затрат по содержанию рабов, рабовладельцы давали им возможность переходить на положение вольноотпущенников. В юридической литературе можно найти и отражение развития колоната, а также и ухудшения положения колоннов, юридически являющихся свободными, а фактически прикрепленных к арендуемой им земле, и много других постановлений, касающихся важнейших сторон римской жизни.

Уже во время принципата Августа юристы начали играть заметную роль в обществе. Два крупнейших юриста, соперники Антистий Лабеон и Гней Атей Капитон стали родоначальниками двух основных юридических школ. Впоследствии приверженцы одной школы стали называться прокулеянами, от имени Прокула, ученика Лабеона, а сторонники другой — сабинианцами от имени Сабина, ученика Капитона. Лабеон происходил из аристократического рода и был сторонником республики, тогда как Капитон был приверженцем нового режима и его род, поднявшийся только при Сулле, знатностью не отличался. В чем состояли противоречия между этими двумя школами, трудно судить. «Дигесты» (1, 2, 2, 47) говорят о Лабеоне и Капитоне: «Эти два человека первые создали как бы различные школы: именно, Атей Капитон придерживался прецедента, а Лабеон вводил многие новшества, полагаясь на достоинства своего таланта и на уверенность в науке»... На основании этого текста некоторые исследователи сравнивают противоположность между школой Лабеона и школой Капитона в юриспруденции с противоположностью между школой аналогистов и школой аномалистов в грамматике. Впрочем, с течением времени принципиальный характер противоречий между школами утратился и самая их борьба угасла.

Во II и начале III в. наблюдалось заметное повышение значения юридической науки в жизни римского государства, что выразилось особенно

наглядно в связи с особыми полномочиями совета императора, сильно возросшими в это время. Этот неофициальный совет, организованный впервые при Августе, приобретал все большее значение при последующих императорах, выдвигавших в него в противовес сенату своих ставленников — крупных чиновников-юристов. Эти члены совета получали определенное жалованье, их пребывание в совете являлось важной государственной службой. Для высказывания мнений по тем или иным вопросам было чрезвычайно важно иметь широкое юридическое образование, и вполне понятно, что на самые ответственные посты стали выдвигаться крупнейшие юристы, получавшие особо важные привилегии. Одной из таких привилегий стало так называемое *ius respondendi*, т. е. право давать при судебных процессах свои решения как бы от имени императора; эти решения, данные в письменном виде, являлись законом и, следовательно, имели для судей обязательную силу. Однако, если в эпоху республики ораторы-юристы занимались главным образом практической деятельностью, т. е. давали консультации и вели судебные дела, то во время империи основным занятием юристов была теоретическая разработка различных правовых норм. Составлялись учебники по истории права, всевозможные сборники юридического характера: наблюдалось также широкое распространение литературно-юридических произведений, так называемых комментариев к наиболее важным законам. Так, упомянутым выше Ульпианом была написана среди его прочих трудов 51 книга комментариев. Его помощник юрист Юлий Павел составлял критические замечания на сочинения его предшественников. Много трудов осталось после знаменитого Папиниана. В помощь практической деятельности юристов издавались многочисленные *responso*, т. е. собрания решений, вынесенных юристами по поводу различных случаев, встречавшихся в их практике, а также приводились аналитические разборы разнообразных судебных казусов.

Роль юристов во время империи была столь велика, что, например, при Септимию Севере на пост префекта претория, являвшегося как бы заместителем императора в области судопроизводства и игравшего видную роль в делах управления государством, был назначен знаменитый юрист Папиниан, впоследствии в 212 г. казненный императором Каракаллой по обвинению в антигосударственной деятельности.

Другой крупнейший юрист — Домиций Ульпиан, — занимавший ту же ответственную должность префекта претория при малолетнем императоре Александре Севере, фактически был непосредственным помощником императора. Судьба его не менее трагична, чем судьба Папиниана. В 228 г. н. э. среди преторианцев, недовольных политикой нового малолетнего императора и его матери Маммеи, ставшей фактической правительницей, начались беспорядки из-за снижения солдатского жалованья в связи с полным расстройством финансов в стране. Свой гнев преторианцы выместили на Ульпиане: он был убит разъяренными солдатами на глазах императора.

Расцвет юридической науки и литературы связан с именем самого крупного и видного юриста времени империи — Гая, пользовавшегося громкой известностью. О жизни Гая до нас не дошло никаких сведений; неизвестно даже его полное имя, равно как и точное время жизни. Но внимательный анализ его трудов дает основание предполагать, что Гай жил во II в. и был современником Адриана, Антонина Пия, Марка Аврелия и, возможно, даже Коммода. Место деятельности Гая — также предмет спора исследователей: одни считали, основываясь на том, что Гай написал обширный комментарий к провинциальному эдикту, что Гай жил и работал где-то в провинции — в Малой Азии или Сирии. Другие исследователи утверждали, что Гай был тесно связан с Римом и в доказательство

приводили то, что комментарий Гая был обобщающего характера и имел значение для всех провинциальных эдиктов.

Дошедшие до нас «Институции» Гая делятся на четыре книги: в них дается изложение гражданского права, как цивильного, так и преторского. В первой книге говорится о положении свободных и рабов, свободнорожденных и вольноотпущенников, во второй и третьей книгах — о различных видах имущества, с точки зрения юридической, а также о правах наследования, в четвертой — о разных исторических формах процесса, об исках, интердиктах и т. д. Ясность и простота изложения «Институций» Гая сделали этот труд образцовым произведением, предназначенным для преподавания права в юридических школах и пользовавшимся чрезвычайной популярностью. Основные положения римского права, широко известные еще в период республики и принципата, превратились при поздней империи в строго разработанную, стройную юридическую систему.

В связи с общим углублением социально-экономического кризиса, намечившегося достаточно ясно уже к концу II в., римская юриспруденция заметно падает с половины III в., и, хотя мы находим следы существования юридических школ, юридическая литература этого времени количественно и качественно оскудевает. Изданный императором Адрианом (117—138 гг.) так называемый «Вечный эдикт» являлся систематизацией всего наиболее ценного материала из существовавших тогда эдиктов преторов.

Из обширной юридической литературы времен римской империи до нас дошло сравнительно немного. Кроме упомянутых «Институций» Гая сохранились лишь отрывки из произведений других юристов, собранные позже в знаменитых «Дигестах», известном законодательном сборнике императора Юстиниана (VI в. н. э.).

5. «НОВЫЕ ПОЭТЫ»

По сравнению с риторикой поэзия занимает второстепенное положение в литературе II—III вв. От Адриана и до Константина римская поэзия не дала ни одного имени, способного стать хотя бы рядом с именем Стация или Авзония. Как и проза, поэзия становится в это время поприщем для ученых стилистических упражнений. Поэтому исчезают большие формы, вслед за трагедиями выходят из моды эпические поэмы, и излюбленным поэтическим родом остается лирика.

По этой причине общий для литературы эпохи Антонинов архаический уклон приобретает в поэзии этих лет своеобразные формы. В поисках образцов поэтам приходится обращаться не к древним эпикам — Невию, Эннию и другим, — а к лирикам I в. до н. э.: Левию, Матнию, Лутацию Катулу и даже к Катулле и Кальве, которые теперь уже казались также «старинными поэтами». Таким образом, в литературе II в. н. э. неожиданно воскресают александрийские традиции неотеризма. Самое название, под которым выступают стихотворцы этого времени, — «новые поэты» (*poetae neoterici*) — напоминает о неотериках. Ученость содержания, утонченность чувства, изысканность языка, виртуозность метрики — все эти особенности, характерные для первых «римских александрийцев», вновь становятся предметами величайшей заботы. Маньеризм выступает как одна из форм архаизма.

Собственно, традиция Катулла и Кальвы никогда не прерывалась в литературе эпохи империи. Отголоски неотеризма слышатся в скудных отрывках Цесия Басса, поэта нероновского времени, единственного рим-

ского лирика, которого Квинтилиан (X, 1,96) считал возможным ставить рядом с Горацием. «Катуллу, Кальву и древним» подражали поэты, о которых сообщает нам Плиний Младший: Помпей Сатурнин (I, 16, 5), Сентий Авгурин (IV, 27,4) и другие. В эпоху, когда выше всего ценилось подражание вергилиевскому эпосу, стихотворные упражнения такого рода оставались достоянием дилетантов плиниевского общества. Но с падением квинтилианова классицизма они становятся центральным явлением в поэзии своего времени.

Стихотворения «новых поэтов» известны нам лишь в скудных отрывках, приводимых по большей части грамматиками и метриками в качестве образцов редких языковых форм или стихотворных размеров. По именам мы знаем лишь четверых поэтов этой школы: это Анниан (Annianus), Септимий Серен (Septimius Serenus), Альфий Авит (Alfius Avitus) и Марриан (Marianus). Содержанием их стихов были древности, природа и любовь. Ученым темам были посвящены поэма Марриана «Лунеркалии» и несколько книг стихов исторического содержания «Великие» (Excellentiae), принадлежащих Альфию Авиту. На ученые темы беседовал Анниан со своим другом Авлом Геллием, напевавшим его в фалисском поместье в Этрурии: об ударении слова affatim у Плавта и Теренция («Аттические ночи», VI, 7), об искусстве Вергилия в деликатной трактовке эротических моментов (IX, 10), о связи южного ветра с фазами луны (XX, 8). Стихи о природе и о сельской жизни писали Анниан и Септимий Серен; из поэмы Анниана «Фалиска» (по названию этрусского имения Анниана) цитируются четыре стиха, написанные редким «калабрийским размером», от «Сельских стихов» Септимия Серена сохранилось около 30 отрывков, написанных семнадцатью различными размерами. Эротическая тема нашла выражение в «Фесценнинах» Анниана, представлявших собой обработку старинных разнузданных свадебных песен; на него ссылается Авзоний в оправдание непристойности своего «Свадебного центона».

Среди отрывков «новых поэтов» есть многие, не лишённые поэтических достоинств. Таково чувствительное описание умирающего на охоте зайца в стихах Септимия Серена:

Погиб, умирает зайчика, прощается с душой:
Душа его горемычная торопится отлететь.

Таковы строки о шуме ветра:

В трепете, в шелесте веток сосны,
Слышу я, песню заводит зефир.

Таково воззвание к богу Янусу, написанное хорямбом (это самый длинный из сохранившихся отрывков Септимия Серена):

Янус-отец, видящий все, бог с головой двуликой,
Ты, чей посев в мире цветет, ты — всех богов начало,
Ты, перед кем стонет порог и косяки грохочут,
Если твоя длань разомкнет мира златые двери,—
Ты, для кого с древних времен в храме алтарь дымится,

(Переводы М. Л. Гаспарова)

Близость к поэтике неотеризма выказывают и стихотворные опыты императора Адриана, сохранённые его биографом Элием Спартианом. Адриан писал стихи по-латыни и по-гречески, воспевал предметы своих любовных увлечений, сочинил в подражание Антимакху несколько книг

ученых стихов под названием «Катаханна». Элий Спартиан сохранил два коротких экспромта, принадлежащих Адриану. Однажды поэт Флор написал ему шутивное четверостишие, намекая на утомительные разъезды императора по провинциям его державы:

Цезарем быть не желаю,
По британцам всяким шляться,
〈По германцам〉 укрываться,
От снегов страдая скифских.

Адриан ответил ему следующим четверостишием:

Флором быть я не желаю,
По трактирам всяким шляться,
По харчевням укрываться,
От клопов страдая круглых.

(Переводы Ф. А. Петровского)

Другое стихотворение с изысканными ритмическими вариациями и с обилием нежных уменьшительных (к сожалению, не передаваемых в переводе) было написано Адрианом на смертном одре:

Душа моя, скиталица,
И тела гостя, спутница,
В какой теперь уходишь ты
Унылый, мрачный, голый край,
Забыв веселость прежнюю?

(Перевод Ф. А. Петровского)

Задорный собеседник Адриана, поэт Флор (Florus), известен нам еще по нескольким стихотворениям, включенным в так называемую «Латинскую антологию» VI в. н. э. и образующим цикл под заглавием «О том, какова жизнь» (De qualitate vitae). Эти стихотворения написаны очень изящным трохайческим тетраметром, в них чувствуется подлинная поэзия. Одно из них, со звуочной аллитерацией в последнем стихе, превосходно переведено на русский язык Валерием Брюсовым:

Грушу с яблоней в саду я деревцами посадил,
На коре пометил имя той, которую любил.
Ни ковыца нет, ни покою с той поры для страстных мук:
Сад все гуще, страсть все жгучей, ветви тянутся из бука.

В другом стихотворении любовная тема затрагивается более скептически:

Плохо, если ты без денег, плохо, если при деньгáх.
Плохо, если ты смиренен, плохо, если ты наглец.
Плохо, если ты безмолвен, плохо, если говорлив.
Плохо, если нет подружки, плохо, если есть жена.

(Перевод М. Л. Гаспарова)

Личность Флора представляет собой любопытную историческую проблему. Дело в том, что в начале II в. мы встречаем известия сразу о трех лицах, носивших это имя. Один из них — наш поэт, другой — историк Флор, о котором подробнее будет сказано далее, и третий — ритор Флор, сочинивший трактат на распространенную школьную тему «Является ли

Вергилий оратором или поэтом?» Трактат не сохранился, но до нас дошло вступление к нему, в котором автор рассказывает вымышленному собеседнику о своей жизни: он родился в Африке, в молодости жил в Риме и достиг громкой известности как поэт, но на капитолийских поэтических состязаниях потерпел поражение из-за недоброжелательности императора Домициана; после этого он покинул Рим, совершил путешествие на Восток, потом на Запад и, наконец, обосновался в прибрежном испанском городе, где зарабатывает на жизнь преподаванием риторики. Не исключена возможность, что этот ритор Флор и поэт Флор — одно и то же лицо; в таком случае надо предположить, что ко времени правления Адриана Флор покинул свое испанское уединение и вернулся в Рим. Были попытки отождествить этого поэта-ритора Флора и с историком Флором; но такое отождествление более сомнительно; вернее предположить, что это были два разных человека.

Наряду со стихотворениями Флора в «Латинской антологии» имеется еще несколько произведений, которые по стилистическим признакам могут быть отнесены к эпохе «новых поэтов». Лучшим из таких произведений бесспорно является большое стихотворение — «Ночное бдение Венере» (*Pervigilium Veneris*). Автор его неизвестен: в разное время оно приписывалось Валерию Катулле, его тезке мимोगрафу Катулле, философу Сенеке, Апулею, Флору, Тиберриану, Флавиану (IV в.), Аполлинарию Сидонию (V в.), Луксорию (VI в.) и, наконец, имитаторам эпохи Возрождения. Стихотворение написано трохаическим тетраметром; неравной длины строфы перемежаются припевом:

Пусть полюбит не любивший, пусть любивший любит вновь! —

Построено стихотворение как гимн, предназначенный для весеннего праздника в честь Венеры, справлявшегося в течение трех ночей; предполагаемое место действия — Сицилия. Гимн начинается славословием весны и любви:

Вновь весна, весна и песни; мир весною возрожден.
 Вся любовь весной взаимна, птицы все вступают в брак.
 Дождь-супруг своею влагой роще косы распустил,
 И Диона, что скрепляет связь любви в тени ветвей,
 Обвивает стены хижин веткой мирта молодой.

Перекликающиеся образы новобрачной девушки в слезах и расцветающей розы в каплях росы сочетаются в искусно разворачиваемой картине:

Ведь сама богиня в пурпур одевает год весной,
 Теплым ветра дуновеньем почки свежие растит,
 Распускает их на ветках, и сверкающей росы
 Рассыпает капли-перлы, этой влажной ночи след.
 И дрожа слезинки блещут, вниз готовые упасть.
 Вот стремительная капля задержалась на лугу
 И, раскрывшись, почки пурпур не стыдись являют свой.
 Влажный воздух, что почками звезды светлые струят,
 Утром с девушек-бутонов покрывала снимет их.
 Всем Диона девам-розам повелела в брак вступить.
 Создана Киприда кровью, поцелуями любви,
 Создана она из перлов, страсти, солнечных лучей.
 И стыдливость, что скрывало покрывало лишь вчера,
 Одному супруга мужу завтра явит не стыдись.

ЛИТЕРАТУРА ПОЗДНЕЙ ИМПЕРИИ

Далее следует описание праздника, на котором присутствуют и Амур, и Вакх, и Феб, и Церера; далее — прославление Венеры как мировой животворящей силы и как прародительницы римского народа. Изображение Венеры — «мировой души» (пневмы), пронизающей все мироздание, представляет собой любопытное преломление стоического учения:

А сама богиня — крови и рассудка госпожа —
Проникает в нас дыханьем сил таинственных своих.
Через небо, через землю, через ей подвластный Поют
Напоила теплотою непрерывный жизни ток,
Чтобы мир пути рожденья своего познать сумел.

Заканчивается стихотворение красивым контрастом: вслед за описанием брачного ликования животных и птиц следует заключительное четверостишие, которое одинаково можно понять и как голос молодых девушек, которым не суждено еще праздновать в этом году праздник Венеры, и как голос самого поэта, возвращающегося к поэзии после долгого перерыва:

Вот запела. Мы безмолвны. Где же ты, моя весна!
Словно ласточка, когда же перестану я молчать!
Музу я сгубил молчаньем, Феб не смотрит на меня.
Так Амиклы их молчанье погубило навсегда.

(Переводы Ю. Ф. Шульца)

Поэтическое экспериментаторство «новых поэтов» повысило и теоретический интерес к вопросам стиля и особенно метрики. В конце II в. н. э. африканец Юба пишет многотомный трактат по метрике, черпая примеры из «новых поэтов»; это сочинение дошло до нас лишь в скудных отрывках. Современник и земляк Юбы Теренциан Мавр (Terentianus Maurus) пошел еще дальше и написал дидактическую поэму «О буквах, слогах и метрах», изложив правила стихосложения в стихах с иллюстрациями из римских поэтов от Невия до Анниана. Поэма Теренциана сохранилась. Собственно, это целых три поэмы, случайно объединенных переписчиками в одно целое. После вступления, написанного гликонем, следует поэма «О буквах», написанная вычурным размером — сотадеем; затем поэма «О слогах», изложенная трохаическим тетраметром и гексаметром; и наконец, главная часть этого стихотворного трактата, поэма «О метрах», в которой последовательно рассматриваются сперва гексаметр и производные от него размеры, потом ямбический триметр и его производные, потом фалекий и его производные, и наконец горацевские лирические метры, не вошедшие в эту схему, — и при этом каждый размер описывается в стихах этого самого размера. По-настоящему, что от такого произведения трудно ожидать поэтического вдохновения; и действительно, однообразные предписания по образованию стоп и стихов не становятся поэзией от того, что они излагаются аккуратными стихами; но стихотворная техника Теренциана почти безукоризненна, и трудный материал укладывается в его строки, не теряя логичности и ясности. Теоретик «новой поэзии» показал себя достойным соперником тех поэтов, чей опыт он обобщал в своем труде.



Глава XVII

АПУЛЕЙ

1. Биография Апулея. — 2. Философские и риторические сочинения Апулея. — 3. «Золотой осел». — 4. Апулей как писатель.

1. БИОГРАФИЯ АПУЛЕЯ

Луций Апулей (L. Apuleius), один из самых талантливых и крупных писателей II в. н. э., родился в городе Мадавре, римской колонии, находившейся в Северной Африке на границе Нумидии и Гетулии. Годом рождения Апулея принято считать 124 г. н. э., год смерти его точно неизвестен.

Главным источником наших знаний о жизни Апулея является «Апология», имеющая биографический характер, — речь, произнесенная на суде самим Апулеем в защиту против обвинения его в магии. Кое-какие подробности жизни нашего писателя можно почерпнуть также из его знаменитого романа «Метаморфозы» или «Золотой осел», снискавшего Апулею громкую известность у современников и мировую славу у потомков.

Апулей родился в семье крупного чиновника Мадавры. Отец его занимал высокое положение и был одним из первых магистратов города, где он пользовался большим влиянием и, как говорит о нем сам Апулей, был осыпан всяческими почестями. В своем родном городе Апулей получил лишь начальное образование, а затем переехал в Карфаген, главный город провинции Африки, где он и занимался изучением риторики. Карфаген того времени был крупнейшим культурным центром не только в своей провинции, но и во всей обширной римской империи, и мог даже соперничать с самим Римом. К Карфагену Апулей до конца своих дней сохранил чувство глубокой привязанности и неоднократно упоминал о нем в своих позднейших риторических выступлениях.

Смерть отца сделала Апулея вместе с его братом наследниками состояния, хотя и довольно скромного, но давшего Апулею возможность поехать в Афины для продолжения образования, как это было тогда в моде у состоятельной провинциальной молодежи. В политическом отношении Афины играли незначительную роль, но влияние их как культурного центра было очень велико, особенно при эллинофильски настроенных римских императорах династии Антонинов. В славную столицу древней Греции со всех концов античного мира стекалась молодежь, чтобы поучиться философии и риторике у крупнейших софистов и раторов своего времени.

Годы, проведенные в Греции и связанные с учением в Афинах, а также путешествия по всей стране оказали огромное влияние на формирование

мировоззрения и развитие таланта Апулея. Именно там Апулей познакомился с различными философскими системами, тогда же оформились его философские взгляды. Во времена Антовинов философия переживала явный упадок: наибольшим влиянием пользовались идеалистическая философия Платона и полное мистики учение неопифагорейцев. Апулей сам считал себя философом-платоником.

Путешествуя по Греции, Апулей познакомился также с различными религиозными учениями и сектами, сам принимал участие во многих культах и религиозных мистериях, стал причастным к множеству таинств и святынь и тщательно берег таинства и наставления, полученные им от священнослужителей («Апология», 55). Мистические учения пали на благодарную почву, подготовленную ранее идеалистическими идеями Платона и неопифагорейцев, что наложило свой отпечаток на формирование таланта молодого Апулея. Мистической окраской проникнуты не только основные философские работы Апулея, но и его «Апология», а также и роман «Метаморфозы». С другой стороны, масса впечатлений, полученных непосредственно из самой жизни, встречи с людьми самых различных социальных кругов, знакомство с обычаями и правами отдельных областей и городов, — все это давало богатый материал и способствовало творческому росту молодого писателя.

В Греции Апулею пришлось неоднократно слушать выступления знаменитых софистов и риторов, привлекавших слушателей своими речами, обычно довольно бессодержательными, но полными пафоса и риторических украшений. Сама внешность оратора, его манеры и ораторские приемы оказывали огромное влияние на аудиторию; толпы молодежи окружали любимых наставников. Круг интересов Апулея был весьма широк: кроме философии он уделял много внимания естественным наукам, а также медицине, музыке и геометрии. Он сам говорил о себе, что он «осушил в Афинах не мало разнообразных чаш учености: тумавящую чашу поэзии, прозрачную — геометрии, сладостную — музыки, терпкую — диалектики и, наконец, неисчерпаемый кубок всеобъемлющей философии» («Флориды», XX).

После нескольких лет пребывания в Греции Апулей переехал в Рим, где он самостоятельно занялся усовершенствованием в латинском языке, а также пополнил свое риторическое образование, начатое им еще в Карфагене. В школах красноречия в то время основное внимание обращалось на форму, на внешний блеск речей-декламаций, с которыми выступали молодые ораторы; содержание этих речей играло второстепенную роль. Риторические школы оказали несомненное влияние на формирование литературного стиля и языка Апулея. Они познакомили его с модным в то время «архаистическим» направлением в литературе и языке, возглавляемым в Риме земляком Апулея, африканцем Фронтонем. Это течение, отрывавшее литературный язык от запросов современности и от живого разговорного языка, культивировало вычурность художественной формы и искусственный архаический язык. Оно оказало вредное влияние на многих писателей того времени, в том числе и на Апулея.

После двухлетнего пребывания в Риме Апулей покинул его и вернулся к себе на родину в Африку. Приехав в свой родной город Мадавру, Апулей жил там некоторое время, не занимая никакой официальной должности, готовясь, по-видимому, к дальнейшей деятельности. Постигнув в совершенстве искусство риторики и блестяще владея греческим и латинским языками, что было тогда необходимым условием для выступлений разнообразно образованных ритором перед широкой публикой, Апулей начал выступать перед многочисленной аудиторией с лекциями на различные

темы. Вскоре он сделался одним из наиболее популярных риторов-лекторов, переезжающих из города в город и привлекающих своим красноречием толпы людей. Собираясь предпринять поездку в Египет, а оттуда на Восток, куда его влекли полные мистики религиозные восточные учения, Апулей, по дороге в Александрию, оказался в городе Эе, где он и остановился в семье своих знакомых Аппиев. Там же он встретился с молодым Понтианом, одним из своих товарищей по занятиям в Афинах, который познакомил его со своей матерью — немолодой богатой вдовой, Эмилией Пудентиллой. Апулею в то время было 30—32 года, а Пудентилле было уже свыше сорока. Неожиданная болезнь задержала Апулея в Эе и он, по просьбе Понтиана, переехал к нему в дом, пользуясь гостеприимством своего друга и его матери. Понтиан, как об этом впоследствии говорил сам Апулей на судебном процессе, настойчиво уговаривал Апулея жениться на Пудентилле, и при содействии Понтиана этот брак вскоре состоялся.

Но после брака матери Понтиан резко изменил свое отношение к Апулею. Подстрекаемый своими родственниками — дядей Сицинием Эмилианом и Гереннием Руфином, на дочери которого он недавно женился, Понтиан начал распускать об Апулее различные неблагоприятные слухи, обвиняя его в безнравственности, в корыстном расчете завладеть богатством Пудентиллы и в применении магических приемов, чтобы заставить немолодую женщину выйти за него замуж.

Апулей горячо протестовал против обвинения, объясняя, что в Пудентилле его привлекли ее высокие моральные качества, но весьма вероятно, что материальный расчет действительно играл здесь известную роль. Как бы то ни было, Понтиан скоро раскаялся в своих обвинениях и помирился с Апулеем.

Но Понтиан вскоре неожиданно скончался, и его младший брат Пудент при поддержке родных, боявшихся, что богатая Пудентилла может завещать молодому, красивому и образованному мужу все свое состояние, возбудил против Апулея процесс, обвиняя его в том, что своими магическими средствами он околдовал его мать.

На основании обращения обвиняемого Апулея к проконсулу Африки Клавдию Максиму который был председателем на его процессе, можно считать годом создания «Апологии» 157 или 158 г., так как временем проконсульства Максима считаются именно эти годы. «Апология», дошедшая до нас под названием «В защиту самого себя по обвинению в магии», представляет собой защитительную речь Апулея, где он блестяще оправдал себя, искусно применяя риторические приемы, широко распространенные в судебных речах. «Аполонгия» является весьма интересным памятником культурно-исторического и литературного характера; ниже мы остановимся на ней подробнее.

Вторая половина жизни Апулея проходила в Карфагене, где он с большим и неизменным успехом продолжал выступать перед публикой со своими речами, произносимыми по самым разнообразным поводам, но главным образом на темы философского и этического характера. Дошедший до нас сборник отрывков из его речей-декламаций — («Цветник» «Флориды») — дает представление о тематике его выступлений. Слава Апулея широко распространилась по всей провинции и была так велика, что по распоряжению властей ему еще при жизни была поставлена статуя как выдающемуся оратору. Широкая образованность молодого софиста, его красивая внешность, эффектные ораторские приемы, — все это способствовало его популярности среди широких кругов населения, а умелая лесть и приветственные речи, угодные высшим официальным лицам,

снискали Апулею доверие и приязнь влиятельных кругов и имперских чиновников, о чем говорит также и факт назначения Апулея жрецом провинции. Подробных сведений о второй половине жизни Апулея у нас нет, даже точный год его смерти неизвестен.

2. ФИЛОСОФСКИЕ И РИТОРИЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ АПУЛЕЯ

Литературная деятельность Апулея была весьма разнообразна. Он писал произведения по философии, естественным наукам, медицине, а также пробовал свои силы в различных литературных жанрах на греческом и латинском языках. Он сам хвастливо говорит: «Эмпедокл сочинял песни, Платон — диалоги, Сократ — гимны, Эпихарм — мимы, Ксенофонт — историю, Кратет — сатиры, а ваш Апулей с равным усердием подвизался во всем этом, упражняясь в трудах всех девяти Муз («Флориды», XX).

До нас дошли лишь те произведения Апулея, которые написаны на латинском языке: три философских трактата — «О Платоне и его философии», «О божестве Сократа» и «О вселенной», — затем «Флориды» — сборник выдержек из его публичных выступлений перед аудиторией в Карфагене, упомянутая выше «Апология», или «В защиту самого себя по обвинению в магии», и его лучшее произведение — замечательный бытовой роман «Метаморфозы», или «Золотой осел». Никаких работ Апулея о медицине, рыбах, деревьях и пр., о которых он упоминает, до нас не дошло.

Установить точную хронологию создания работ Апулея не представляется возможным и наиболее точную датировку можно применить лишь к его «Апологии», как было сказано выше. Сборник риторических выступлений «Флориды» относится к более позднему времени, чем «Апология», так как среди этих выступлений встречаются несомненные отголоски процесса Апулея. Что касается философских работ Апулея, то время написания их остается для нас неизвестным, так же как нет оснований говорить, в каком именно году вышел роман «Метаморфозы», или «Золотой осел». Мнения историков литературы по этому поводу расходятся: одни исследователи считают, что роман был написан Апулеем еще в юношеском возрасте и в бытность его в Риме, но что он не имел тогда большого распространения и был мало знаком широкой публике. Другие полагают, что «Метаморфозы» появились значительно позже процесса Апулея. В доказательство приводится соображение, что враги Апулея, придиравшиеся к каждому его слову и поступку, не оставили бы без внимания это сочинение, упоминавшее о применении магических средств, так как именно в этом они и обвиняли Апулея.

Рассмотрим в самых общих чертах работы Апулея по философии, где наиболее отчетливо отразился его идеализм, склонность к мистике и эклектичность его философского учения. В своей философской трилогии Апулей стремился классифицировать и анализировать научный метод трех крупнейших философов древности: Сократа, Платона и Аристотеля. Все три его работы «О божестве Сократа», «О Платоне и его философии» и «О вселенной» связаны единой общей мыслью — прославлением идей платонизма, что видно как при изложении учения Сократа, так и при свободной передаче Апулеем знаменитого аристотелевского труда «О вселенной».

Не претендуя на создание собственного философского учения и называя себя учеником Платона, философом-платоником, Апулей выбирает

из идеалистического учения то, что соответствует его собственным вкусам, особо выделяя элементы фантастики и магии. Платонизм Апулея — это смесь платонизма и неопифагорейства, облеченная в религиозно-мистическую оболочку.

Ставя своей основной целью пропаганду учения своего любимого философа, Апулей много внимания уделял платоновскому определению добродетелей и пороков и подробно останавливался также на реакционной платоновской теории государства. В «Божестве Сократа», касаясь вопроса о «демонах» Сократа, Апулей классифицирует этих «демонов» по различным категориям в соответствии со взглядами Платона. Любопытно отметить, что наличие демонов в природе Апулей объясняет нежеланием богов общаться непосредственно с людьми, а потому прибегающих к посредству демонов, подобно тому, как правители на троне, не желая иметь дело с простой толпой, общаются с нею через избранных.

В своей третьей работе — «О вселенной» — Апулей подражал знаменитому труду Аристотеля, носящему то же название и посвященному его ученику — Александру Македонскому. Апулей свою работу также посвящает своему ученику, некоему Фаустину — лицу, нам не известному. В своей работе Апулей пытается познакомить читателей с учением Аристотеля о мироздании, но излагает его идеи в явно идеалистическом духе и далеко уводит читателей от философских взглядов Аристотеля. Старинные исследователи с большим основанием называли эту работу Апулея так: «Космография Апулея, философа платоника, или Трактат о вселенной, посвященный Фаустину».

Работа Апулея «Апология» или в защиту самого себя по обвинению в магии является для нас главным источником для изучения биографии писателя. Вместе с тем этот труд знакомит нас с провинциальным бытом и нравами эпохи Антонинов, от которого до нас почти не дошло никаких материалов.

Обвинение в подлинном виде до нас не дошло, но Апулей в своей защитительной речи говорил, что он будет возражать по порядку против всех выдвинутых пунктов обвинения и это дает возможность легко восстановить общую картину процесса. Вероятно процессы подобного рода происходили довольно часто и в борьбе за богатое наследство применялись самые разнообразные приемы вплоть до обвинения в колдовстве и магии. «Апология» знакомит нас с рядом лиц, принимавших участие в этом процессе: перед читателем проходят мастерски обрисованные отдельные фигуры главных обвинителей Апулея. Здесь тупой и жадный старик Сициний Эмилиан, сам имевший виды на богатую вдову и пылающий ненавистью к молодому, красивому и бойкому софисту, отбившему у него богатую невесту; и слабый, бесхарактерный Понтиан, сначала убеждавший своего друга жениться на Пудентилле, а затем под влиянием уговоров обиженных родственников ставший ярым врагом своего отчима; и распущенный мальчишка-подросток, младший сын Пудентиллы Пудент, использовавший для своего обвинения также интимную переписку своей матери; и бывший тесть покойного Понтиана, привлечший Пудента на свою сторону с помощью своей молодой овдовевшей дочери, женщины весьма легкомысленного поведения, и многие другие. Но самой яркой фигурой в этом процессе является сам Апулей.

Обвинение было предъявлено Апулею всего за пять дней до начала процесса, и мало правдоподобным кажется то, что Апулей мог так стройно изложить все свои аргументы против обвинителей без большой предварительной подготовки. Вероятнее всего, эта речь, как и некоторые речи Цицерона (например речь «За Милона») была произнесена на суде в не-

сколько иным виде, а затем доработана ее автором в более спокойной обстановке.

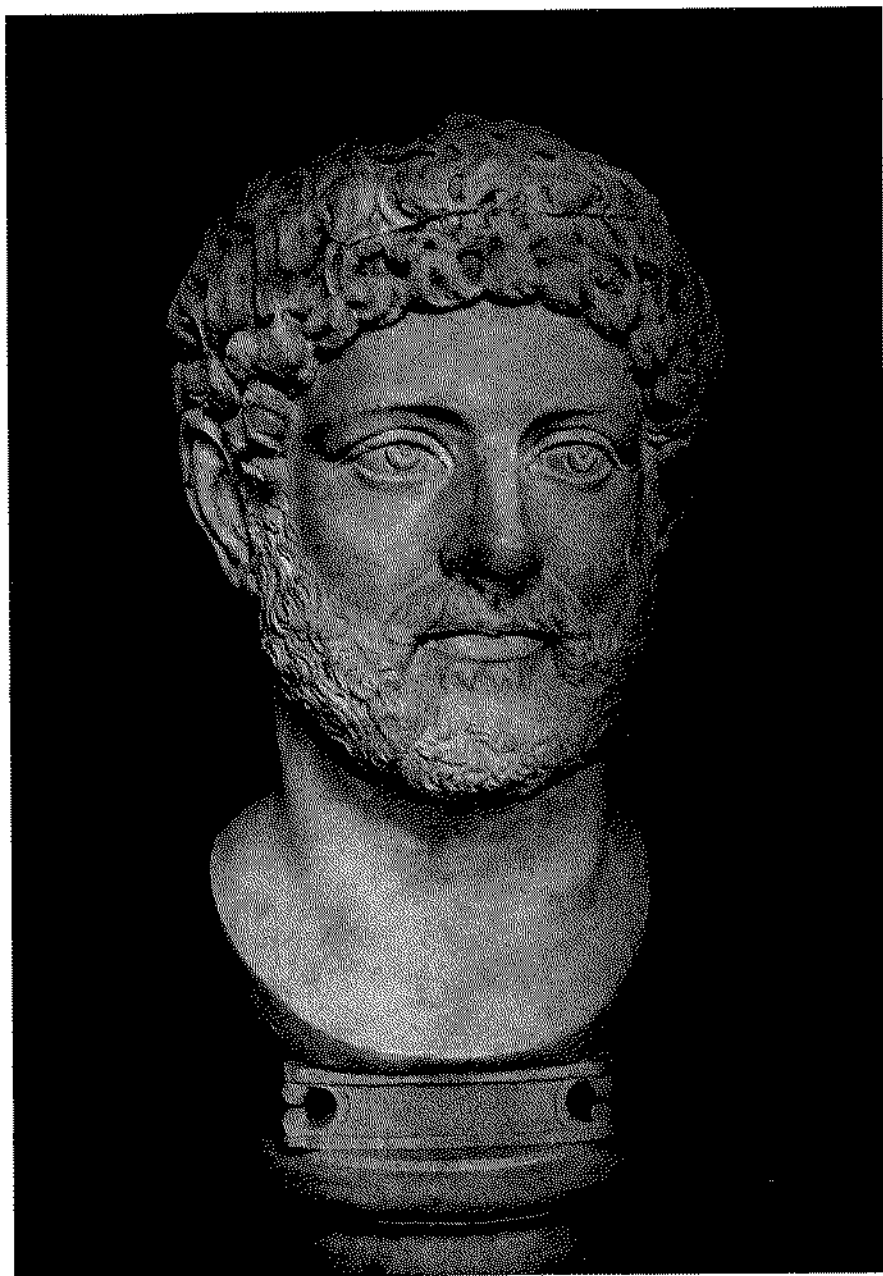
Речь можно разделить на две части по ее стилю и тону: в одной говорится о личных обвинениях против Апулея и его отношении к магии, в другой — Апулей возражает против обвинения в привораживании Пудентиллы. Но это деление является чисто условным и в самом тексте на это нет прямых указаний!

Любопытен самый подбор обвинений: здесь и упреки в слишком большой заботе Апулея об его внешности, что, по мнению обвинителей, недостойно философа, и обвинение в безнравственности, в сочинении легкомысленных стихов, а главным образом в злоупотреблении магией. Обвинители доказывали, что Апулей для магических действий покупал особые сорта рыб, для этой же цели пользовался зеркалом, что, применяя свою магическую силу, Апулей околдовал мальчика-раба, чтобы узнать будущее. Кроме того, Апулей обвинялся в том, что он принимал участие в ночных жертвоприношениях и хранил какие-то таинственные предметы культа, тщательно пряча их от посторонних глаз.

Вера в колдовство процветала в те времена, и самые просвещенные люди разделяли эти верования толпы. Восточные культы получили широкое распространение во времена императоров; занятия астрологией, составление гороскопов, а также всевозможные гадания были чрезвычайно распространены. Но все эти занятия официальными властями не поощрялись, а в некоторых случаях применение магических средств каралось смертью. Еще в древности, в законах Двенадцати таблиц запрещалось заниматься магическими действиями, направленными, например, во вред урожаю или имевшими целью увести к себе на поле урожай соседа и т. п.

Таким образом, обвинение в магии могло причинить Апулею много весьма серьезных неприятностей, и он постарался искусно отвести от себя обвинения, чему способствовало не только его выдающееся красноречие, но и очевидная нелепость самих обвинений. Опровергнув все доводы своих врагов, зло и остроумно высмеяв невежество, Апулей, прекрасно понимавший истинную причину выдвинутых обвинений — боязнь его противников лишиться наследства после смерти Пудентиллы, уделил много внимания вопросу о своем браке с Пудентиллой. Прежде всего он стремился доказать, что ему как истинному философу и ученому вообще чуждо стремление к богатству. Брак для него не был выгодной сделкой, а был вызван лишь многочисленными добродетелями его жены. В материальном отношении, по заявлению Апулея, он ничего не выиграл, так как по его настоянию Пудентилла в своем завещании оставила сыновьям почти все свое имущество. Ни о каком воздействии с его стороны на Пудентиллу, чтобы она вышла замуж именно за него, не могло быть и речи. Весьма вероятно, что тут он был совершенно прав: 45-летняя вдова вполне добровольно предпочла выйти замуж за блестяще образованного и красивого Апулея, чем за скупого невежественного старика Эмилиана.

В своей речи Апулей проявил себя как отличный оратор-адвокат, построив собственную защиту по всем правилам, установленным риторикой для данных случаев, с применением всех украшений и приемов, принятых для подобного рода выступлений. Как типично риторические упражнения выглядят его высказывания о бедности, свойственной всем подлинным философам и вообще многим добродетельным людям, Говоря об этом, Апулей высказывал такой афоризм: «жизнь человека — это океан, где выплывают легкие тела, и где тонут обремененные тяжестью [т. е. богатством]» («Апология», 21). Такой же характер риторических рассуждений имеет та часть его речи, где он говорит о пользе зубного порош-



Император Адриан

ка, употребление которого также ставилось ему в вину, равно как и пользование зеркалом; риторическим пафосом проникнуто его полное негодование выступление против неблагоприятного пасынка Пудента и т. п. («Апология», 18).

Но не только к риторическим приемам прибегал Апулей для своей защиты, он пользовался и более действенными средствами. Смешивая с грязью своих противников, он упрекал их в невежестве, в тупости и жадности, выставляя своих обвинителей и их свидетелей в самом непривлекательном виде. Так, главных своих врагов — Геренния Руфина, тестя молодого Понтиана, он изобразил как совершенно аморальную личность, а жену и дочь его охарактеризовал как падших женщин. Сициния Эмилиана выставил скупцом и безбожником, а свидетелей Юния Красса, обвинявшего Апулея в совершении ночных магических жертвоприношений, как пьяницу и продажного свидетеля.

Вместе с тем Апулей стремится все время показать самого себя в самом выгодном свете. Подчеркивая собственные незаурядные знания по философии и литературе, он постоянно ссылался на различных философов (чаще всего на Платона) и поэтов (например на Катулла и Вергилия). Возражая против обвинения его в применении им рыб для магических целей, он подробно рассказывал о своих опытах, связанных с изучением естественных наук, а также прибегал к чтению выдержек из своих работ. Обращаясь непрестанно к ведущему процессу проконсулу Клавдию Максиму, Апулей рассыпался в лстивых выражениях по адресу своего просвещенного судьи, восхищаясь его образованностью, его умением вести процесс и извиняясь перед Максимом за то, что он, Апулей, против своего желания отнимает у судьи его драгоценное время разными пустяками.

Исход процесса, как и следовало ожидать, оказался в пользу Апулея. Он был полностью оправдан в совершении им магических действий, но репутация мага осталась за ним, что, впрочем, несколько не повредило ему в его дальнейшей блестящей карьере.

Следующая работа Апулея «Флориды» представляет собою собрание выдержек из четырех книг его публичных речей перед слушателями в Карфагене, а также и в других городах. Автор этого сборника, приводящий целиком большие отрывки из речей Апулея, нам неизвестен, равно как и то, по какому принципу производился отбор этих отрывков, но самый факт составления подобного сборника уже говорит за то, что Апулей пользовался большим успехом как оратор, и текст его выступлений сохранялся почитателями его риторического таланта.

Вопросы, затрагиваемые в его выступлениях, были весьма разнообразны. Он с одинаковой легкостью касался литературы, ораторского искусства, археологии и даже естественных наук, но больше всего внимания, как это принято у ораторов того времени, Апулей уделял вопросам философии. Собирая своим красноречием огромные толпы людей, Апулей все силы своего блестящего ораторского таланта употреблял на то, чтобы популяризировать идеалистические идеи Сократа, Платона и Пифагора. Эту тенденцию можно ясно видеть не только в прямом изложении основных идей этих философов, но в основной направленности всех дошедших до нас работ Апулея.

В «Цветнике», как и в «Апологии», встречаются указания биографического характера, например упоминание о процессе Апулея с Сицинием Эмилианом. Правда, об этом событии говорится не прямо, а лишь намеком — в виде повествования о мифическом состязании бога Аполлона с невежественным и безобразным Марсием. Здесь в лице Аполлона, блистающего красотой и красноречием, Апулей выставляет самого себя, а в облике

грубого необразованного Марсия — своего противника Эмилиана. С точки зрения языка «Флориды» представляют образцы блистательных риторических выступлений, а по своему содержанию являются живым отголоском тех лекций-уроков, которые Апулей часто и охотно излагал перед своими многочисленными слушателями.

Но ни сборник риторических упражнений Апулея, ни его философские работы не могли бы создать ему мировой славы одного из самых талантливых и увлекательных писателей древности. Этой славе Апулей обязан своему замечательному бытовому роману «Метаморфозы», или «Золотой осел».

3. «ЗОЛОТОЙ ОСЕЛ»

Сам Апулей называл свой роман «Метаморфозами», и он вышел в свет именно под таким названием, но уже Августин называл этот роман *Asinus*, т. е. «Осел». Позже это произведение получило название «Золотого осла»; в нем главным действующим лицом является некий Лудий, превращенный в осла, а эпитет «золотой» применялся в значении похвалы со стороны многочисленных читателей, восхищавшихся этим романом, подобно тому как пифагорейцы с похвалой отзывались о «золотых» словах своего учителя или знаменитый Лукреций — о «золотых» словах Эпикюра.

Источником происхождения романа «Метаморфозы» считается греческая повесть, не дошедшая полностью до нашего времени и приписываемая некоему Лукию из Патр. Эту повесть, но в сокращенном виде, мы встречаем в греческой литературе под названием «Лукий или осел»; авторство ее приписывают знаменитому греческому писателю Лукиану, хотя этот факт и оспаривается. О том, что автором повести «Лукий или осел» является Лукиан, упоминает в своем сборнике заметок константинопольский патриарх Фотий (вторая половина IX в.), где он говорит, что читал «Метаморфозы» Лукия из Патр, имевшего склонность к чудесному, и что первыми двумя книгами его пользовался Лукиан в своем произведении «Лукий или осел». Сюжет этой повести был обработан Апулеем и сильно расширен за счет вставных новелл полуфольклорного характера, получивших широкую известность не только в античной, но и мировой литературе, как, например, высокохудожественная сказка об Амуре и Психее.

«Метаморфозы», или «Золотой осел» (как мы будем дальше называть этот роман) находился в тесной связи с жанром так называемых «милетских рассказов», введенных в литературу неким Аристидом из Милета в конце II или в начале I в. до н. э. Сборник этих рассказов в эпоху Суллы был переведен на латинский язык Корнелием Сизенной, назвавшим их *Fabulae Milesiacae*, т. е. «Милетские рассказы». От перевода Сизенны до нас сохранилось всего 15 строк, но о характере этих рассказов можно судить на основании свидетельства Плутарха, который в биографии Красса рассказывал, что этими историями сильно увлекались офицеры в войске Красса и что книжки «Милетских рассказов» были захвачены парфянами после битвы при Каррах. «Милетские рассказы» не примыкали, строго говоря, ни к одному из существующих жанров, имели своеобразный характер. В экзотическую рамку вставлялись приключения героев, обычно любовного характера, где пикантность сюжета соединялась с фантастическим вымыслом, а наряду с этим давались подробности чисто реалистические, что придавало рассказам особую занимательность.

Повести со вставками во вкусе «Милетских рассказов» были, по-видимому, распространены в литературе эпохи империи (ср. в романе Петрония

новеллу об Эфесской матроне.) Широко распространенный среди любителей легкого чтения, этот жанр не пользовался уважением серьезной публики. Так, Септимий Север упрекал полководца Клодия Альбина, своего соперника в борьбе за императорскую власть, в том, что тот занимался чтением, недостойным серьезного человека, а именно, «чтением милетских пунических рассказов», имея в виду роман Апулея. Да и сам Апулей в начале своего «Золотого осла», обращаясь к читателю, говорил о том, что цель своей работы он определяет как развлечение для читателя, а потому стремится «сплести на милетский манер разные басни, слух благосклонный твой усладить лепетом милым» («Метаморфозы», I, 1). Свое обещание «развлечь» читателя Апулей добросовестно выполняет: его «Золотой осел» представляет причудливое сочетание фантастики, связанной с суевериями того времени, и различных фольклорных сюжетов с реалистическими описаниями быта и общественной жизни различных слоев провинциального римского рабовладельческого общества эпохи империи.

Роман «Золотой осел» представляет большой интерес для исследователей творчества Апулея прежде всего с точки зрения автобиографических данных. Книга II романа особенно интересна для изучения биографии нашего писателя, так как в ней Апулей прямо говорит о герое Луция как о самом себе, даже называет его родным городом Мадавру, хотя ранее упоминалось, что Луций был уроженцем Гипаты. Вероятно, к биографии самого Апулея можно так же отнести различные события, связанные с пребыванием его героя в Риме, где в свое время Апулей занимался адвокатской деятельностью. Таким образом, из фантастической истории выдуманного героя Луция можно извлечь некоторые данные о жизни самого Апулея.

Кратко содержание романа «Золотой осел» заключается в следующем. Молодой богатый греческий юноша Луций отправляется по делам в Фессалию, исконную родину волшебниц. Приехав в город Гипату, он останавливается в доме богатого скупого ростовщика Милона, женатого на колдунье Памфиле. Желая проникнуть в тайны волшебства, Луций вступает в любовную связь со служанкой Памфилы, Фотидой, и просит свою возлюбленную помочь ему познакомиться с искусством ее госпожи. Несмотря на отговорки Фотиды, Луций, сведомый любопытством, продолжает настаивать на своем желании и при помощи Фотиды оказывается свидетелем превращения Памфилы в сову. Луций просит Фотиду превратить также и его в птицу, но Фотида, перелутова волшебную мазь, превратила Луция не в птицу, а в осла. Для того чтобы вновь вернуть себе человеческий образ, Луций должен съесть розу, но так как в данный момент под руками роз не оказалось, то Фотида предложила ему подождать до утра.

С этого момента и начались злоключения Луция. В эту ночь разбойники напали на дом Милона, ограбили его, забрали много добра и увели с собою злополучного Луция в облике осла. Переходя от одних хозяев к другим, Луций в виде осла слышит и видит много занимательного, а так как люди совершенно не стеснялись бессловесного животного, то это дало Луцию возможность лучше изучить человеческую природу во всей ее неприглядности. Претерпев много всевозможных злоключений, часто оказываясь на волосок от смерти, побывав в руках жестоких и грубых хозяев: разбойников, беглых рабов-дровосеков, бродячих шарлатанов — служителей жрецов сирийской богини, вольноотпущенника, обучавшего осла разным фокусам, и не имея возможности в силу самых разнообразных обстоятельств вкусить спасительных для него роз, Луций-осел, убежав от хозяина и очутившись на берегу моря, обратился с мольбой

к богине Изиде, прося ее вернуть ему человеческий облик или послать смерть, чтобы прекратить его страдания. Во сне ему является сама богиня Изиды и обещает помочь ему с тем условием, однако, чтобы он остаток жизни посвятил служению ей. На другой день во время торжественной процессии, посвященной Изиде, Луций получил из рук верховного жреца венок из роз и, съев цветы, снова превращается в человека. Он становится ревностным почитателем Изиды и других богов и остается таковым до конца своей благочестивой жизни.

Большое место в романе занимает фольклорный материал.

Начиная с самого основного сюжета — превращения главного героя романа в осла в наказание за его любопытство, мы находим много вставных новелл, часто имеющих явно фантастический характер и заимствованных из сокровищницы народных сказок и преданий.

Не разбирая подробно всех сказочных мотивов, встречающихся в романе, остановимся лишь на одном из лучших мест «Золотого осла» — на вставной новелле-сказке об Амуре и Психее («Метаморфозы», IV, 28—35; V; VI, 1—24).

Рассказ о прекрасной девушке, выданной за таинственного и невидимого супруга, теряющей его из-за происков злых и завистливых родных и находящей возлюбленного лишь после долгих испытаний и страданий, — один из самых распространенных сюжетов народных сказок всего мира.

В сказке об Амуре и Психее рассказывается о том, как прекрасная царская дочь Психея, соперничающая красотой с самой Венерой, навлекла на себя гнев богини, которая, разгневавшись, приказала своему легкомысленному сыну Амуру влюбить дерзкую смертную в самого последнего человека на земле. Но крылатый бог, пленившись красотой девушки, влюбляется в нее сам, и Психея, покинув, по предписанию оракула, родительский дом, выходит замуж за всемогущего бога, никогда его не видя и не зная, кто ее муж. Козни злых сестер, завидующих счастью Психеи, нарушают счастливую жизнь молодой четы. Простодушной Психее сестры внушают мысль, что ее муж — страшное чудовище, которое она должна убить. Решившись выполнить этот совет сестер, Психея ночью зажигает лампу и видит спящего Амура. Очарованная его красотой, Психея не может отвести глаз от прекрасного бога и, склонившись над ним, нечаянно проливает на него горячее масло из лампы. Амур, проснувшись от боли, немедленно покидает свою любопытную супругу. Отправившись на поиски любимого мужа, Психея терпит много бед и преследований со стороны мстительной и ревнивой Венеры, пока, наконец, после долгих испытаний она вновь не соединяется с Амуром при покровительстве самого Юпитера.

Поэтический сюжет, высокая художественность образов и занимательность сказки делают эту вставную новеллу настоящим шедевром художественной литературы, который мог бы сам по себе принести ее автору мировую славу.

Из народного творчества заимствован также вставной рассказ о шутке, разыгранной с Луцием с помощью колдовства, когда он якобы убивает трех людей, а на самом деле распарывает ударами своего меча три надутых меха («Метаморфозы», II, 32, III, 1—11). Сказочный колорит носит рассказ о стороже, который должен был уберечь труп богатого покойника от ведьм. Сторож с успехом выполнил эту задачу, но не заметил при этом, как ведьмы ловко отрезали у него самого уши и нос, заменив их восковыми (там же, II, 21—30). И других сказочных мотивов в романе встречается много: таков, например, рассказ о ведьме, превратившей неверного любовника в бобра (там же, I, 10), появление оборотня-дракона в виде старика и многие другие.

Ряд комических новелл о неверных женах, прятанных своих любовников, одного в корзину для белья, где он выдал себя чиханием, другого в бочку («Метаморфозы», IX, 24; IX, 23) Апулей взял из эротического фольклора, впоследствии они были использованы Боккаччо для его новелл в «Декамероне».

Эти вставные новеллы представляют большой интерес для исследователя литературы и с точки зрения композиции романа «Золотой осел». Стержневой фабулой романа является превращение человека в осла, а его приключения дают возможность включить различные новеллы, рассказываемые по тому или иному поводу. Но это не простой сборник новелл; наличие героя Луция определяет непрерывность рассказа с начала до конца. Вторым главным действующим лицом в романе является Судьба, которая все время преследует несчастного героя, превращенного в осла.

Эпизоды вставляются чаще всего как рассказы одного из действующих лиц, иногда как рассказ слышанный в данной местности. Как правило, эти вставные эпизоды имеют эротический или детективно-уголовный характер и так же, как комические рассказы бытового порядка, переплетаются с фантастическими выдумками о колдуньях и чудесных превращениях, составляя фон, на котором разыгрываются приключения главного действующего лица.

4. АПУЛЕЙ КАК ПИСАТЕЛЬ

Каковы же были политические симпатии Апулея, его взгляды на современное ему общество и оценка им различных явлений общественной жизни? Прямого ответа на все эти вопросы сам Апулей не дает; описывая с большим искусством нравы и людей своего времени, он старался избегать острых тем, но анализ его творчества позволяет нам все же сделать известные выводы.

Мировоззрение Апулея ясно определялось теми философскими и религиозными идеями, которые он неуклонно проповедовал и развивал во всех своих произведениях, начиная от чисто философских работ и кончая авантюрно-бытовым романом «Золотой осел»: сущность философских взглядов Апулея составляло сочетание идеалистического учения Платона с мистикой неопифагорейцев, что являлось характерным во II в. для господствующих классов эпохи империи. Для общественно-политической позиции Апулея показательным то, что широко используя свой сатирический талант для показа ярких картин социальной жизни римской провинции, он все же нигде не дал серьезной критики существующего политического строя. Как в общественной, так и в литературной деятельности Апулей не ставил целью обличение недостатков и пороков высших классов общества, а стремился главным образом развлечь читателей и слушателей. Откликаясь на события текущей жизни, он не затрагивал основных принципиальных вопросов. [Так, обличая солдат-легионеров, притеснявших мирное население («Метаморфозы», IX), он не касался высших военных чиновников; критикуя судебные учреждения, не вывел ни одного судьи-взяточника, ограничиваясь лишь общей декларацией по поводу продажности судей (там же, X, 33). Даже блестящая сатира на жрецов сирийской богини, которых Апулей выставляет в их настоящем виде, как воров, распутников и шарлатанов (там же, VIII, 26—31), в значительной мере теряет свою остроту из-за «благочестивого» конца всего романа.

Апулей не является сатириком в полном смысле этого слова, у него есть лишь элементы сатиры, которой он умело пользовался при разоблачении

6

ростовщиков, эксплуататоров-рабовладельцев, обманщиков-гадателей, жрецов и колдунов, обирающих простой народ. Сатирически изобразил Апулей и богов древнего Олимпа, очеловечив их и приблизив к персонажам античной комедии. Рассказывая сказку об Амуре и Психее, Апулей пользовался различными речевыми и стилевыми приемами, чтобы представить Венеру и других богинь в виде настоящих обывательниц-кумушек, сплетничающих по поводу друг друга. Происходило явное несоответствие между положением, занимаемым богами, и их поведением: грозный отец богов и людей, Юпитер, представлен Апулеем как добродушный отец многочисленного семейства, постоянно нарушающий к тому же своими любовными похождениями Юлиев закон, принятый людьми. Человеческие законы оказались действительными и для богов: подобно тому как на земле объявляли через глашатая о беглых рабах, так Меркурий объявил о бегстве Психеи, служанки Венеры; боги являлись на собрание по списку, составленному девятью музами, и за неявку на собрание должны были платить большой штраф, Юпитер должен был узаконить брак Амура и Психеи, иначе он считался недействительным; есть и много других мест подобного рода. Боги с их мелкими интересами, жадные и завистливые, были низведены до уровня простых обывателей, и современники Апулея узнавали в них знакомое им общество с его интересами и запросами.

Произведения Апулея и в первую очередь его увлекательный роман «Золотой осел» были рассчитаны на вкусы определенных групп, не народа, а средних состоятельных кругов античного общества, видевших в литературе лишь развлекательное чтение. Не ставя перед читателем никаких острых социальных проблем, Апулей вполне удовлетворял вкусам своей публики, развлекая ее, а попутно и увлекая в дебри мистики и суеверия. Ироническое отношение Апулея к религии и его насмешки над суевериями различных сект не помешали ему самому быть убежденным проповедником религиозного культа богини Изиды, хотя и здесь поведение жрецов вызывало его неодобрение («Метаморфозы», XI, 28—29).

Безотрадные картины нищеты и бесправия простого народа, показывающие его тяжелую жизнь во всей ее неприглядности, даются Апулеем не с целью вызвать сочувствие или сострадание к беднякам и угнетаемым рабам, так как они сами выставлены в весьма непривлекательном виде. Апулей показывает их несвежественными и грубыми людьми, жадными и жестокими, и в большинстве случаев не вызывающими сожаления у читателей. Такого рода картины вряд ли смогли смягчить сердца даже сентиментально настроенных читателей, а ирония, часто скрытая в самом тоне автора и отвлекающая от самого сюжета, придавала лишь особую остроту и пикантность отдельным эпизодам. Пестрая толпа действующих лиц с их причудливо фантастическими приключениями, о которых Апулей повествовал со свойственным ему юмором и меткой наблюдательностью, помогала Апулею уводить читателей от реальной действительности и забавлять их сочетанием грустного и смешного, реального и чудесного, что он и обещал выполнить в начале своего «Золотого осла».

Если сопоставить Апулея с крупнейшим сатириком его времени греческим писателем Лукианом, остро критикующим современность и вскрывающим порочность самих устоев рабовладельческого строя, то станет очевидным, что Апулей не поднимался над общим уровнем современного ему общества. Даже в обработке одного и того же сюжета о чудесном превращении человека в осла виден различный подход к этой задаче у обоих писателей: у Лукиана, рассказывающего о приключениях осла, финал рассказа носит характер пародии, забавляющей читателя; у Апулея конец романа содержит проповедь культа Изиды.

Сравнивая Апулея с другим замечательным сатириком древности, римским писателем Петронием, автором бытового романа, можно также отметить, что сатира Петрония намного острее и содержательнее. В своем весьма реалистическом романе Петроний нигде не морализирует, никого не поучает, но проникая в самую глубину современного ему общества, дает блестящую картину его распада. Апулей не создает ни одного типа такой глубины и правдивости, как Трималхион Петрония, а реалистическое описание своей эпохи часто строит и разворачивает на фоне авантюрных приключений и мистических настроений.

Но не только религиозно-мистическая направленность творчества Апулея говорит с очевидной ясностью о его консервативных взглядах, об этом же говорит и откровенная лесть по адресу высших римских чиновников. В качестве известного риторика-софиста Апулей произносит хвалебные речи в честь римских правителей в провинции Африки — Лоллия Авита, Клавдия Максима, Севериана и других, превознося их заслуги перед местным населением. В книге II «Золотого осла» Апулей с чувством благоговения рассказывает о том, как жрец Изида читает «молитвы о благоденствии верховного правителя, почтенного сената, всадников и всего римского народа».

Блестящий оратор, с большим мастерством применяющий усвоенные им уроки риторики, Апулей хорошо знал свою аудиторию и умело пользовался накопленными им знаниями по различным отраслям науки, главным образом по философии и литературе. Поучая слушателей, он в своих выступлениях цитировал греческих и латинских писателей, поэтов и прозаиков, рассказывал исторические и литературные анекдоты, приводил забавные афоризмы, пересыпая речь намеками на события, известные и понятные его аудитории. Его выступления часто имели вид импровизаций, но Апулей несомненно пользовался заранее подготовленными по определенному шаблону высказываниями по тому или иному поводу. Взвешивая каждый свой жест и каждое слово, Апулей выступал с огромным успехом по всей провинции Африке, главным образом в Карфагене. Конечно, были и у него, как говорил сам Апулей, завистники, которые не разделяли всеобщих восторгов от выступлений этого типичного оратора-софиста. Но кто были эти завистники, нам не известно, по-видимому, они не имели большого влияния и не могли причинить Апулею никакого вреда. Местные власти несомненно пользовались услугами Апулея как декламатора, выступающего с тематикой, далекой от актуальных политических вопросов современности и развлекающего толпу блестящими пустыми риторическими рассуждениями.

Поэтические жанры, преобладающие в «золотом веке» римской литературы, т. е. в эпоху становления империи, во II в. уступили место прозе, столь характерной для «серебряного века». Даже такой высоко поэтический сюжет, как роман Амура и Психеи, изложен не в стихах, что было бы вполне уместно для передачи этой очаровательной сказки, а передан прозой. Но проза в этот век часто подражала поэзии, отличалась ритмичностью, сохраняла чисто поэтическую фразеологию: в ней широко применялись созвучия окончаний, аллитерации и другие приемы поэтического языка.

Словарный состав произведений Апулея, обогащенный литературными источниками, подвергся также несомненному влиянию и пополнению из живого народного языка, который Апулей слышал и воспринимал во время своих многочисленных и многолетних путешествий по Греции, Африке, а также в Риме. Известное влияние на язык Апулея оказала процветавшая тогда деятельность римских «архаистов», направленная на

подражание авторам доцицероновского периода, а это в свою очередь обуславливало и самый выбор слов для художественных произведений. Апулей отдал дань «архаическим» веяниям своего времени; применяемые им устарелые и редкие слова, которыми он пользовался наряду с оборотами, введенными из живого разговорного языка, придают особую оригинальность его языку. Отмечается у Апулея также склонность к образованию новых слов, встречается много малоизвестных или даже просто неизвестных слов, которые он часто создает сам, соединяя два понятия в одно, а также вводя новые уменьшительные имена.

Стиль Апулея чрезвычайно индивидуален: усвоенное им в совершенстве риторическое искусство наложило отпечаток и на его манеру письма, характеризующуюся сочетанием метких народных выражений и изысканных речей, составленных по правилам риторики. Все это придает его стилю несколько претенциозный и манерный характер, что было тогда в большой моде.

В качестве образца стиля Апулея приведем лишь один отрывок, который даже в переводе дает известное представление о своеобразии этого автора. Характеризуя одну из ненавистных Луцию хозяек, которая жестоко обращалась с злополучным ослом, Апулей говорит о ней так: «Не было такого порока, который отсутствовал бы у этой негоднейшей женщины, но все гнусности в нее стекались, словно в грязную помойную яму: злая, шальная, до мужчин охочая, до вина падакая, упорная, непокорная, в гнусных хищениях жадная, на глупые издержки щедрая. Презируя и попирая законы божественных небожителей, исполняя вместо этого пустые и праздные обряды некоей ложной и святотатственной религии и заносчиво утверждая, что чтит единого бога, всех людей и несчастного мужа своего вводила она в обман, сама с утра предаваясь пьянству и постоянным блудом оскверняя свое тело».

Этот отрывок, кроме своих необычайно замысловатых внутренних рифм и аллитераций, интересен еще и по содержанию, так как в этой характеристике женщины, почитающей какого-то единого бога, исследователи видели изображение христианки в устах языческого писателя.

Апулей одинаково искусно владел различными стилями, изменяя их в зависимости от темы. В своей «Апологии», в которой он стремился подражать Цицерону, он менее всего применял риторические украшения, которым так много места уделено в его «Флоридах». Что касается стиля «Золотого осла», то здесь скрещивается несколько стилистических линий: простой стиль прозаического произведения, свойственный Апулею при сатирическом изображении отдельных лиц и различных явлений быденной жизни, уступает место напыщенному и высокопарному стилю в мистических частях романа. Особенно это проявилось в последней XI книге «Золотого осла», где Апулей пускается в благочестивые размышления и религиозные наставления.

Сам Апулей был чрезвычайно высокого мнения о своих талантах, постоянно и много говорил о себе, о своих научных занятиях, о своих разнообразных знаниях и т. п., что являлось обычными темами всех ораторов-софистов.

Слава Апулея не только как писателя, но и как чародея была очень велика, чему несомненно способствовало возбужденное против него обвинение в магии и, хотя в свое время он и оправдал себя перед судом, но репутация мага прочно укоренилась за ним не только до конца его жизни, но и после смерти. Апулей был широко известен главным образом у себя на родине в Африке, о чем свидетельствуют упоминания о нем его соотечественников — христиан и язычников. Апологет христианства Ав-

густин считал его чародеем и называл философом-платоником (Aug. De civ. d. VIII, 12, 14, 19). Сидоний Аполлинарий и другие писатели отзывались о нем с большим уважением. Апулей был местной знаменитостью и как бы родоначальником африканской латинской литературы, давшей в течение четырех последующих веков целую группу талантливых авторов.

Но наиболее популярным Апулей как блестящий и талантливый писатель стал в средние века, и особенно в эпоху Возрождения, а также и в XVIII в. Ряд ветавных новелл из «Золотого осла» использовал Боккаччо в «Декамероне». Особенно большой известностью пользовалась в литературе сказка об Амуре и Психее, обработанная впоследствии различными писателями. Эта сказка, раскрывающая бесценные красоты народного творчества, встречающаяся в фольклоре многих народов (ср. например, с «Аленьким цветочком» в изложении С. Т. Аксакова), в позднейшее время подвергалась различному истолкованию. Первый, кто заинтересовался ею, был церковный писатель V в. н. э. — Фульгенций, пытавшийся придать поэтическому рассказу о любви Амура и Психеи мистически-аллегорический характер. Он видел здесь не литературный вариант народной сказки или истолкование греческого мифа об Амуре и Психее, а сказание о страданиях человеческой души *Psyché*, разлученной с источником счастья и благодати и обретшей его вновь после долгих испытаний и заблуждений.

Этот сюжет мы находим также и в новой литературе, в частности у польского писателя Жулавского и у Лафонтена. У нас в России эта сказка была использована Богдановичем в его «Душеньке», была хорошо известна А. С. Пушкину, любившему и охотно читавшему Апулея.

Для советского читателя Апулей, несмотря на все его мистические рассуждения, представляет большой интерес не только как блестящий и занимательный рассказчик невероятных приключений заколдованного осла, но и как острый талантливый бытописатель своего времени, знакомящий нас с жанром бытового «античного романа» и показавший благодаря своему замечательному таланту яркую картину современного ему античного общества, явно клонившегося к упадку.



Глава XVIII

ИСТОРИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

II—III вв.

1. Светоний.— 2. Биографии двенадцати цезарей.— 3. Другие сочинения Светония.— 4. Светоний как историк.— 5. Язык и слог Светония.— 6. Отношение современников и последующих поколений к Светонию.— 7. Флор.— 8. Ампелий.— 9. Граний Лициниан.— 10. Марий Максим и Юний Корд.

1. СВЕТОНИИ

Гаий Светоний Транквилл (С. Suetonius Tranquillus) был младшим современником Тацита. Из обстоятельств его жизни мы знаем очень немногое: кое-что (но очень мало) он говорит о себе сам в одном из своих сочинений; некоторые сведения дают шесть писем Плиния Младшего и ответ императора Траяна Плинию; об одном событии его жизни упоминает историк конца III в. Спартиан, еще об одном — византийский историк VI в. Иоанн Лидийский. Вот и все источники наших сведений о жизни Светония. Комбинируя сообщения этих источников и делая из них некоторые выводы, мы и получаем очерк жизни Светония в общих чертах, — конечно, крайне недостаточный. Отсюда множество догадок ученых нового времени, касающихся его биографии.

О происхождении Светония нам известно из его собственных слов. Он говорит («Отон», 10): «В этой войне участвовал мой отец, Светоний Лет (Suetonius Laetus), трибун тринадцатого легиона, имевший право носить тунику с узкой каймой (tribunus angusticlavius)». Здесь разумеется сражение при Бедриаке (69 г. н. э.), в котором войска Отона были разбиты войсками Вителлия¹. Как видно из рассказа Светония, его отец находился в армии Отона. Должность войскового трибуна (одного из шести командиров легиона) была высоким военным постом, который имели право занимать только лица, принадлежавшие к сенаторскому или всадническому сословию. Первые носили на тунике как знак отличия широкую пурпурную кайму, вторые — узкую кайму. Таким образом, из этого свидетельства Светония видно, что отец его, а потому и он сам, принадлежал к сословию всадников².

В каком году родился Светоний, прямых указаний нет. Он говорит («Нерон», 57), что он был «молодым человеком» (adolescens), когда спустя 20 лет после смерти Нерона, т. е. в 88 г., появился самозванец, выдававший себя за Нерона. Для того, чтобы на основании этого свидетельства определить приблизительно год рождения Светония, надо уяснить

¹ Н. А. М а ш к и н. История древнего Рима. М., 1949, стр. 455.

² Без всякого основания С. И. Ковалев в своей «Истории Рима» (1948, стр. 314) говорит, что «Светоний происходит из вольноотпущенников».

себе, какой возраст Светоний разумел под словом *adulescens*. Это понятие, как и наше «молодой человек», растяжимо. В главе 20 биографии Августа Светоний говорит, что Август вел войну в Далмации «еще молодым человеком» (*adulescens adhuc*), причем *adhuc* указывает на пору молодости, уже близкую к среднему возрасту. Это было в 34 г. до н. э., когда Августу было уже 28 лет. А в главе 26 биографии Клавдия Светоний говорит, что Клавдий имел двух невест «очень молодым человеком», (*admodum adulescens*) причем *admodum* указывает на раннюю пору молодости. Это было в 10 г. н. э., когда Клавдию было около 18 лет. Таким образом, под этим словом разумеется возраст приблизительно от 18 до 30 лет. Если Светонию в 88 г. н. э. было 18 лет, то надо думать, что он родился не позднее 70 г., однако возможно, что и раньше этого года, но едва ли на много раньше. Это видно отчасти из писем Плиния Младшего: Плиний, родившийся около 62 г., называет Светония своим «соучеником» (*condiscipulus*) и «сожителем» (*contubernalis*), но в общем тон Плиния по отношению к нему показывает, что Светоний был хотя и близким, но младшим товарищем Плиния («Письма», I, 13, 5 и IV, 1).

Кроме того, отец Светония, как сказано в выше приведенной цитате («Отон», гл. 10), был трибуном в XIII легионе. Этот легион, как нам известно, был поставлен Августом на границах верхней Германии после поражения Вара и оставался там с 10 до 67 г., когда он был послан в Паннонию Нероном, а в 68 г. им же был призван в Италию. После смерти Гальбы легион сражался с Вителлием на стороне Отона, потерпел поражение, и Вителлий наложил на него принудительную работу — постройку амфитеатра в Кремоне. Всех офицеров легиона Вителлий заменил своими приверженцами. Поэтому можно предположить с некоторой вероятностью, что отец Светония женился во время пребывания легиона в Риме в 68 г., до поражения в битве с Вителлием в апреле 69 г. Это предположение, если и не может служить подтверждением гипотезы о рождении Светония около 70 г., но и не противоречит ей.

Моммзен относит рождение Светония к 77 г. Это невозможно допустить: в таком случае, в 88 г. ему было бы 11 лет, что совершенно не подходит к понятию *adulescens*. Кроме того, мнению Моммзена противоречит письмо Плиния (I, 24), относящееся, по мнению специалистов, к 97 г. В этом письме Плиний просит своего знакомого устроить для Светония покупку небольшой усадьбы. Он называет Светония словом *scholasticus*, которое означало в век Плиния не вообще ученого человека, но именно преподавателя, профессора (главным образом риторики). Если верить предположению Моммзена, то оказалось бы, что Светоний уже в 20 лет был профессором. Кроме того, из общего тона этого письма можно заключить, что речь идет о человеке экономном, мечтающем об отдыхе, о садике, где «можно было бы дать покой голове и отдых глазам, тихонько обойти по меже вокруг, побродить по одной дорожке, знать все свои лозы и пересчитать деревья». Такая характеристика гораздо более подходит человеку лет 27—28, чем двадцатилетнему юноше.

Детство и отрочество Светония прошло в царствование Веспасиана, Тита и Домициана, юность — в царствование Домициана и Нервы. Его родители, по-видимому, были люди со средствами, но не богатые, судя по тому, что Светоний желает купить усадьбу небольшую, по дешевой цене. Вероятно, он получил образование, какое по тому времени было прилично для ребенка всаднического сословия. От деда и отца он слышал рассказы о прежних императорах. Жил он с родителями в Риме, судя по упоминанию им одного факта, при котором он сам присутствовал, будучи еще совсем молодым человеком (*adulescentulus*) в царствование

Домициана («Домициан», 12). Но никаких точных сведений об этом раннем периоде его жизни мы не имеем.

Важным событием в жизни Светония была его дружба с Плинием Младшим, одним из выдающихся людей того времени. Как уже говорилось, Плиний был старше Светония, выше по положению и оказывал ему покровительство. Что соединяло их, неизвестно,— вероятно любовь к литературным занятиям. Когда началась эта дружба, мы не знаем; но письма Плиния к Светонию или те, в которых есть упоминание о нем, относятся к 97—113 г., т. е. приблизительно к тому времени, когда Светонию было 28—44 года, а Плинию было 35—51 год; стало быть, дружба продолжалась до самой смерти Плиния, последовавшей около 113 г.

Из писем Плиния мы и узнаем о некоторых фактах в жизни Светония. Из письма I, 18, относящегося к 97 г., видно, что Светоний в это время занимался адвокатурой. Это письмо настолько характерно, что его следует привести полностью. «Ты пишешь, что ты перепуган сном и боишься, как бы не проиграть тебе своего дела. Ты просишь, чтобы я ходатайствовал об отсрочке и нашел бы для нее извинение, по крайней мере на ближайшие дни. Это трудно, но я попытаюсь: „ведь и сон исходит от Зевса“³. Дело однако в том, предвещают ли тебе обычно сны то, что случится, или противоположное этому. Я вспоминаю собственный сон, и, по-моему, твой, тебя напугавший, предвещает тебе полный успех. Дело было так: я взялся за дело Юния Пастора, и мне приснилось, что теща моя, припав к моим коленям, заклинала меня не выступать. А я выступал еще совсем юнцом, выступал перед четырьмя коллегиями, выступал против могущественных людей в государстве, и притом друзей Цезаря⁴; любого из этих обстоятельств было достаточно, чтобы потерять голову после такого мрачного сна. И однако я выступал, сообразив, что „знаменье лучше всех: за отечество храбро сражаться“⁵. Отечеством, если есть что дороже отечества, казалась мне верность слову. Все кончилось благополучно: это дело открыло для меня уши людей, открыло дверь к славе. Поэтому подумай, не обратишь ли и ты свой сон по этому примеру себе во благо, а не то напиши, если считаешь более безопасным известное правило всех осторожных людей: „в чем сомневаешься, того не делай“. Я найду какой-нибудь предлог и поведу твое дело так, чтобы ты мог вести его тогда, когда пожелаешь. У тебя, конечно, другое положение, чем было у меня. Суд центумвиров нельзя ведь отложить ни в коем случае, а этот твой, хоть и с трудом, но все-таки можно. Будь здоров»⁶. И на такую тему вполне серьезно рассуждают два ученейшие человека того времени!

По-видимому, адвокатура не удовлетворила Светония: письмо Плиния (III, 8), относящееся к 101 г., показывает, что Светоний искал должности войскового трибуна и получил ее по протекции Плиния, но, еще не будучи внесен в список, уже решил почему-то отказаться от нее и опять обратился к Плинию с просьбой выхлопотать ему отставку, а взамен его устроить на эту должность его родственника. Плиний очень любезно соглашается ходатайствовать и об этом деле. В пояснение этого желания Светония надо сказать, что трибунат в то время был первой ступенью государственной службы; таким образом, Светоний хотел начать служебную карьеру, но раздумал. О причине этого, кажется, можно догадаться. Плиний ходатай-

³ Цитата из «Илиады», I, 63.

⁴ Домициана.

⁵ Цитата из «Илиады», XII, 243.

⁶ Цитируется по «Письмам Плиния Младшего» в переводе М. Е. Сергеевко, А. И. Доватура и В. С. Соколова с некоторыми изменениями.

ствовал о назначении Светония на эту должность перед Л. Нерацием Марцеллом, который должен был, в качестве императорского легата, ехать в Британию и набирать себе штаб; Светоний и должен был сопровождать его. Служба легата в провинции продолжалась несколько лет. Вполне понятно, что Светоний, ученый человек, желавший мирно бродить по своему маленькому поместью близ Рима, поразмыслив, нашел такую должность для себя не подходящей, хотя она была выгодной, и просил Плиния передать ее своему родственнику.

Таким образом, надо думать, что приблизительно с 101 г. Светоний пользовался полным досугом и мог посвящать его научным и литературным работам. И действительно, какое-то сочинение он составил за это время, но не решался издать его. Плиний в письме V, 10, написанном в 105—106 г., укоряет Светония, что он не хочет выпустить в свет свой труд. Письмо это в высшей степени любезно и вместе с тем шутливо и остроумно. Как оказывается, Плиний написал стихотворение, которое обещало друзьям, что выйдут в свет сочинения Светония.

Насколько можно судить по этому письму, Светоний уже написал какое-то сочинение, и притом важное по содержанию (так как публика ждет с нетерпением его выхода в свет) и обширное по размеру (на что указывает множественное число: «сочинения» — *scripta tua*, «книжки» — *libelli*, «свитки» — *volamina*, пожалуй, даже слово «работа» — *opus*, под которым обыкновенно разумеется значительное сочинение, как под нашим словом «произведение»). Можно предполагать, что речь идет о первом сочинении Светония, которое, по мнению Плиния, уже совсем готово для издания, а, по мнению самого автора, еще не готово. Какое именно сочинение, разумеется, неизвестно; но, судя по указанным сейчас признакам, это было какое-то важное, интересное и большое сочинение⁷. Всего скорее, это было историческое и историко-литературное сочинение Светония «О знаменитых мужах», от которого дошла до нас некоторая часть. Если это предположение верно, то надо сказать, что Светоний все-таки не исполнил желания своего друга: это сочинение было издано гораздо позднее — между 112 и 114 г.

После этого у нас нет никаких известий о Светонии до 108—109 гг.

В 111—112 или 112—113 гг. Плиний был послан императором Траяном в должности императорского легата (наместника) в Вифинию и Понт. Неизвестно, поехал ли с ним Светоний; некоторые ученые решают этот вопрос в положительном смысле на основании того, что Плиний в письме к Траяну из Вифинии (X, 94) говорит: «Я принял к себе в дружбу уже давно Светония Транквилла...»

Это письмо было написано Плинием, вероятно, незадолго до смерти. Дружба Светония с Плинием, таким образом, продолжалась около 15 лет. Дружба эта должна была принести Светонию еще и ту пользу, что он встречался в доме Плиния со многими выдающимися людьми, каковы были, например, знаменитый уже тогда историк Тацит, Гай Фанний, написавший сочинение в трех книгах «О смерти лиц, казненных или сосланных Нероном» (упоминаемое Плинием в письме V, 5). От этих лиц Светоний мог слышать рассказы или даже получить какие-нибудь письменные материалы об императорах, биографии которых он писал. Кроме того, сам Плиний интересовался литературными работами Светония, даже написал стихотворение об ожидаемом выходе в свет

⁷ В переводе М. Е. Сергеевко, А. И. Доватура и В. С. Соколова, стр. 511 примечание 56, сказано: «Плиний шутливо олицетворяет стихи Светония, представляя их как людей, которым грозит суд». Это неверно: 1) Светоний не писал стихов; 2) суд грозит стихам Плиния.

сочинения его и побуждал нерешительного друга ускорить издание его (как видно из упомянутого выше письма V, 10).

О жизни Светония после смерти Плиния мы имеем лишь одно известие: он был некоторое время (приблизительно в 119—121 гг.) одним из секретарей императора Адриана. Как он попал на эту высокую должность, мы не знаем; у нас есть только литературное свидетельство об его отставке от этой должности. Можно лишь догадываться, что его порекомендовал Адриану Септиций Клар (Septicius Clarus), друг Плиния, бывший в то время командиром преторианской когорты (praefectus praetorii). Должность секретаря «заведующего письмами» (ab epistulis или (позднее) magister epistularum) была очень важной, в своем роде министерской. Обязанности этого сановника подробно описаны в одном стихотворении Стация («Сильвы», V, 1, ст. 83—107): он должен был рассылать по всему свету приказания императора, заведовать силами и вспомогательными средствами государства, принимать вести о победах, о проникновении римского оружия в самые отдаленные страны; он производил назначения в войске, извещал, кто получил начальство над когортой, трибунат, начальство над отрядом всадников; он должен был требовать сведений, был ли разлив Нила достаточным для урожая, выпал ли дождь в Африке, и вообще производить множество справок. Но за то он становился богачом: по словам Стация, жена такого сановника на своем смертном одре закланала мужа поставить в честь ее на Капитолии золотое изображение императора в сто фунтов. Ее погребение было совершено с царской пышностью; ее памятник был целым дворцом. Секретариат требовал литературного образования, так как императорские грамоты и рескрипты сочинялись правителями канцелярии от имени императора и в форме, достойной его; поэтому можно предположить, что эту должность получали лишь люди с общепризнанною литературною славою. Титиния Капитона, который занимал эту должность при Домициане, Нерве и Траяне, Плиний причисляет к главным украшениям этого века и называет его восстановителем и преобразователем стареющей литературы («Письма», VIII, 12 и I, 17)⁸.

Таким образом, Светоний, уже известный тогда писатель и ученый, был вполне подходящим лицом для этой должности, тем более, что и сам Адриан был человек высокообразованный, поэт и прозаик, хотя и любивший стиль с архаизмами и вместе с тем с неологизмами, в противоположность Светонию, поклоннику стиля классического периода.

Но недолго Светоний занимал этот высокий пост: в 121 или 122 г. по приказу Адриана, бывшего в то время в Британии, он был уволен. Об этом факте так рассказывает Спартиан, один из «шести писателей истории императоров», в биографии Адриана (XI, 3): «Септицию Клару, префекту преторианцев, Светонию Транквиллу, заведующему письмами, многим другим, которые тогда вопреки его приказанию (или: без его приказания) вели себя с его женою Сабиной более фамильярно, чем этого требовало уважение к императорскому дому, он дал преемников».

Какая была причина увольнения этих высокопоставленных лиц? Рассказ Спартиана слишком неясен в этом отношении, и потому учеными нового времени было высказано несколько предположений; но все они не обоснованы и неубедительны. Одно можно сказать с уверенностью: причиной не могло быть какое-нибудь романтическое приключение, касающееся Сабинны: этому противоречит указание, что число лиц, заслужив-

⁸ Л. Фридендер. Картины из бытовой истории Рима. СПб., 1914, стр. 54—55.

ших немилость императора, было большое; выражение историка, что проступок был совершен ими «вопреки приказанию императора», было бы смешно; наконец, дальше историк сообщает, что Адриан, «как сам говорил, развелся бы с женою, как с капризной и неприятной (*incommodam et asperam*), если бы был частным человеком»: если бы Сабина была участницей романа, то, конечно, Адриан должен был прежде всего указать на этот факт, как на причину развода, а не на ее характер вообще.

Итак, какая бы ни была причина отставки Светония, его служебная карьера, вероятно, кончилась в 122 г., когда ему было лет пятьдесят с небольшим, тем более, что Адриан, по словам того же Спартиана (XV, 2), «почти всех, друзей ли самых близких, или тех, кого он возвысил до высших почестей, считал потом врагами». Во всяком случае, у нас нет никаких известий о дальнейшей судьбе Светония; мы не знаем даже, когда он умер.

Но служба при дворе на таком высоком посту должна была быть ему очень полезной для его литературной деятельности: благодаря этой должности ему были доступны архивы прежних императоров, откуда он мог почерпнуть множество нужных ему сведений, которые он нередко и приводит.

Светоний был ученый и писатель, плодовитый и разносторонний. В этом отношении он напоминает Варрона, хотя и не может равняться с ним. Заглавия его сочинений приводит (по-гречески) Свидя в своем лексиконе (под словом «Транквилл Светоний»), но не все, так что полного списка его сочинений мы, вероятно, не имеем.

Насколько можно судить по заглавиям, сочинения Светония разделяются на следующие разряды (но иногда по заглавию трудно угадать содержание сочинения):

I. Исторические: 1) биографии императоров; 2) о знаменитых мужах (в области римской литературы); 3) о знаменитых гетерах; 4) о царях.

II. Антикварные: 1) о Риме: а) нравы и обычаи; б) римский год; в) римские праздники; г) одежда; 2) об играх греков; 3) об общественных должностях; 4) о Цицероновом сочинении «О государстве».

III. Естественно-исторические: 1) о людях (о телесных недостатках); 2) об определениях времени; 3) о природе вещей.

IV. Грамматические (филологические): 1) о греческих бранных словах; 2) о разных грамматических вопросах; 3) о знаках в рукописях.

Из числа сочинений Светония до нас дошли только следующие: 1) «Биографии двенадцати цезарей» в 8-ми книгах; 2) «О грамматиках и риториках» (в неполном виде). От остальных сочинений сохранились ничтожные отрывки или даже одни заглавия; от некоторых, вероятно, даже и заглавия не сохранились.

2. «БИОГРАФИИ ДВЕНАДЦАТИ ЦЕЗАРЕЙ»

В это сочинение вошли биографии следующих императоров: Юлия Цезаря, Августа, Тиберия, Калигулы, Клавдия, Нерона, Гальбы, Отона, Вителлия, Веспасиана, Тита, Домициана. Это сочинение дошло до нас почти в полном виде; но, как предполагают, недостает начала биографии Юлия Цезаря. И действительно, эта биография начинается со слов: «На шестнадцатом году он потерял отца». Кроме того, византийский писатель VI в. Иоанн Лидийский (из города Филадельфии в Лидии) в трактате «О магистратах римской республики» сообщает, что Светоний посвятил это сочинение уже упоминавшемуся Септицию Клару — префекту преторианских когорт. Это сообщение ясно показывает, что сочи-

нение Светония было снабжено посвящением, которого нет в дошедших до нас рукописях. На утрату начала биографии Юлия Цезаря указывают и некоторые другие факты; так, в этой биографии нет сведений о роде Юлиев, о рождении и детстве самого Цезаря, о предзнаменованиях его будущего величия, тогда как в других биографиях, которые Светоний составляет всегда по определенной схеме, подобные сведения сообщаются. Наконец, в нашем тексте нет одной фразы, которую Сервий цитирует в комментарии к Энеиде: «Светоний в биографии Цезаря говорит, что по всему миру были распространены предсказания оракула о том, что рождается непобедимый полководец» (Комментарий к «Энеиде», VI, 799). Таким образом, утраченная часть сочинения Светония была, вероятно, довольно значительна и заключала в себе предисловие с посвящением Септицию и начало биографии Цезаря; скорее всего, потерян первый кватернион рукописи (тетрадь в 4 листа, т. е. в 16 страниц). Потеря произошла между VI в., когда писал Иоанн Лидийский, и IX в., к которому относится древнейшая из дошедших до нас рукописей сочинения Светония.

Сообщение Иоанна Лидийского дает возможность определить довольно точно год издания «Биографий двенадцати цезарей». Так как известно, что Септиций Клар занимал должность префекта преторианцев от 119 до 121 или 122 г., когда был удален Адрианом от двора вместе со Светонием, то издание «Биографий» в 119—121 гг. не подлежит сомнению. Всего вероятнее, что это было в 121 г., поскольку в биографиях есть сведения, которые Светоний мог почерпнуть только из императорских архивов: если положить два года на отыскание их, то и получится 121 г.

Как уже сказано, из сочинений Светония сохранились полностью только «Биографии цезарей», и потому для нас он является почти исключительно историком, и его сочинением мы пользуемся как одним из главных исторических источников для I в. римской империи. Однако это сочинение не есть историческое в собственном смысле — это ряд биографий биографического характера.

Таким образом, Светоний является продолжателем биографического жанра; но сочинения его предшественников по большей части до нас не дошли, так что для нас он является почти зачинателем этого жанра. Сверх того, сочинение Светония, вероятно, сильно отличается от трудов его предшественников: последние писали биографии отдельных, избранных ими, лиц, которых они считали достойными этого (таковы сочинения Варрона и Корнелия Непота); затем, биографии и частных лиц и императоров писали обыкновенно люди, близкие к ним (как, например, Тацит, Арулен Рустик, Николай Дамаский). Поэтому, конечно, такие биографии были обыкновенно хвалебными. Особенность Светония та, что его сочинение, во-первых, содержит биографии императоров не с выбором, а подряд, начиная с Юлия Цезаря и кончая Домицианом, тем самым до некоторой степени давая историю столетнего с лишком периода; во-вторых, его целью является вовсе не восхваление императоров, а довольно бесстрастное описание их частной жизни со всеми их пороками.

В императорскую эпоху начала II в. н. э. интерес публики к республиканской истории Рима был вполне удовлетворен огромным сочинением Тита Ливия; едва ли могла явиться у кого-либо охота конкурировать с ним. История других стран более или менее была представлена в огромном сочинении Помпея Трога. История Рима при первых императорах описывалась Тацитом в двух тоже больших сочинениях: «История» — около 107 г., «Летопись» — около 115—117 гг. Между тем, с течением времени публике становилось все более и более ясно, что и на внешнюю политику и на положение отдельных граждан оказывают громадное влияние лич-

ные свойства императора, что государство, так сказать, сливается с императором. Поэтому у публики естественно должен был возникнуть интерес узнать личную жизнь и личные свойства императоров, а у историографии — желание удовлетворить этот интерес.

Но история не сразу переходит в биографии правителей: на рубеже между старым и новым направлением истории стоит Тацит. Он понимает задачу историка еще по старым образцам, описывает события по годам; но для него самого на первом плане стоит психологический анализ, и, читая историю годов правления Тиберия, всякий невольно чувствует, как история эпохи концентрируется в одном лице императора.

Современник Тацита Светоний пришел к мысли дополнить его сочинение тем, что стало интересовать в то время большую публику. «Историю» Тацита, вышедшую около 107 г., он, конечно, знал; о содержании «Летописи», еще до выхода в свет, тоже, вероятно, знал, потому что Тацит, как и он сам, принадлежал к кружку Плиния. Конкурировать с Тацитом сочинением того же типа он, вероятно, и не мог, и не хотел, чувствуя себя не столько историком, сколько археологом-антикварием; описание частной жизни императоров, таким образом, подходило к его научным интересам, потому что частная жизнь прошлого времени входит в область археологии наряду с предметами материальной культуры.

Древние проводили строгое различие между историей и биографией: излагая биографию, они предполагали со стороны читателя знание исторической основы, на которой проходила жизнь описываемого лица. Поэтому они касались крупных исторических фактов лишь слегка, настолько, насколько это было необходимо для понимания биографии. Так, Непот говорит в начале жизнеописания Пелопида (гл. 1): «Не знаю, как писать о его достоинствах, боюсь, что, если начну излагать подробно события, то покажется, что не жизнь его рассказываю, а пишу историю; а если коснусь только главных фактов, то людям, незнакомым с греческой литературой, будет неясно, какой великий муж он был»⁹. Равным образом, Плутарх, начиная жизнеописание Александра (гл. 1), просит читателей не винить его за то, что он будет сообщать не все факты, а знаменитые факты не очень подробно, но по большей части в сжатом виде. «Ведь мы не историю пишем, а биографию,— говорит он далее,— и не из самых славных деяний войны бывают добродетели или пороки, но часто малый какой-нибудь факт, слово, шутка дает более возможности судить о характере человека, чем сражения с десятками тысяч убитых, чем громадные боевые операции, чем осады городов... Нам следует дозволить больше проникать в душевные свойства и на основании их изображать жизнь каждого человека, предоставив другим описывать великие события и битвы».

Светоний в своем сочинении вполне следует этому правилу. Он стремится изолировать личность и жизнь своих героев от окружающей их среды и общего течения современной им государственной и общественной жизни. Поэтому он, во-первых, оставляет почти совершенно в стороне все остальные лица, современные императорам, игравшие роль в истории государства, и даже о тех, которые были самыми близкими участниками в правлении и имели весьма сильное влияние на развитие характера и направление деятельности отдельных императоров, говорит очень кратко, и часто по случайным поводам, как например, о Меценате и Агриппе в биографии Августа, о Ливии в биографиях Августа и Тиберия, о

⁹ Отрывки без указания переводчика переведены в этой главе С. И. Соболевским.

Сеяве в биографии Тиберия, об Агриппине, Сенеке и Бурре в биографии Нерона и т. д.

Во-вторых, Светоний старается по возможности короче сообщать о государственной деятельности императоров, приводя лишь те подробности, которые находятся в прямой и тесной связи с личностью императора, с обстоятельствами личной его жизни, или указывают на те или другие стороны его характера. Наоборот, на частной жизни правителей, на их личности, он останавливается очень охотно, тщательно сообщая различные подробности относительно их семейных и других интимных отношений, повседневного образа жизни, привычек и странностей, пороков и добродетелей, литературных и других склонностей, наружности, преречений, сказанных ими или о них, предсказаний и предзнаменований, касающихся их, и всего, имеющего анекдотический или скандальный характер, не отступая в этом случае ни перед мелочными подробностями относительно стола, туалета, строения тела, ни перед картинами самого возмутительного разврата¹⁰.

В-третьих, Светоний обращает мало внимания на хронологию, а излагает свой материал по известной схеме. Сам он говорит о своем способе изложения так (в биографии Августа, гл. 9): «Представив как бы краткий очерк его жизни, я буду излагать ее части в отдельности — не в хронологическом порядке, но по группам, чтобы можно было яснее эти части описать и понять». Хотя схема не во всех биографиях выступает с одинаковой отчетливостью, в общем ее можно представить в таком виде:

1. Род императора. Здесь Светоний сообщает факты по истории рода, часто не известные из других источников. Биографии Августа предпослана краткая история рода Октавиев, биографии Тиберия — история рода Клавдиев и т. д.

2. Затем Светоний сообщает время и место рождения императора.

3. Далее он описывает детскую жизнь императора, но не с одинаковой полнотой, так как, конечно, не обо всех можно было собрать нужные сведения. Тут же приводятся обыкновенно все предзнаменования императорского сана, притом часто самого невероятного характера.

4. За рассказом о детстве следует рассказ о начале карьеры будущего императора: перечисляются должности его до вступления на престол.

5. До сих пор факты сообщаются в хронологическом порядке; но, переходя ко времени правления, Светоний оставляет хронологию в стороне и дает перечень событий из времени правления в такой связи, что часто бывает трудно уловить мотивы, которыми он руководствуется при этом перечислении. Меры важные и неважные, распоряжения, касающиеся внутреннего порядка в империи и Риме, и факты внешней политики, — все это упоминается рядом.

6. После такого очерка правления автор переходит к описанию внешнего вида императора, говорит о его росте, сложении, глазах, выражении лица.

7. Затем следует описание характера императора, и тут по поводу отдельных черт его часто приводятся крупные исторические события, но тоже без хронологии.

8. В связи с очерком характера упоминаются литературные занятия императора, если они были (например, «Цезарь», 56; «Клавдий», 41;

¹⁰ Таким образом, сочинение Светония в этом отношении совершенно отличается от Тацитовой биографии Агриколы: у Тацита центр тяжести лежит на описании государственной деятельности его героя.

«Домициан», 20), или указываются литературные вкусы его («Тиберий», 70).

9. Наконец, излагаются обстоятельства, при которых умер император. Если был заговор, то рассказывается его история и подробности убийства. Тут Светоний старается быть точным и собирает свидетельства, если возможно, из первых рук: так, об убийстве Домициана приводится подробный рассказ мальчика, случайно бывшего свидетелем этого события («Домициан», 18). Светоний сообщает даже число ран, полученных Цезарем и Домицианом.

Рассказу о смерти предпосылаются обыкновенно целые главы о вещих снах и предзнаменованиях.

За такое пренебрежение к хронологии и вообще к исторической обстановке, окружавшей императора, Светоний постоянно подвергается нареканиям со стороны ученых нового времени. Ему противопоставляют Плутарха, Тацита и вообще биографов, которые излагают жизнь своих героев в хронологической последовательности, как единственно дающей возможность представить постепенное образование и развитие характера в связи с событиями и обстоятельствами жизни; ему ставят в упрек, что он забывает, что герои его биографий — не частные лица, а правители всемирного государства, и что для потомства жизнь их должна быть особенно интересна именно с этой стороны. Эти упреки не вполне справедливы. Не следует забывать и того, что древние предъявляли к биографии совершенно другие требования, чем к истории; поэтому нельзя автора винить за то, что он не дал того материала, который и не намеревался давать. Кроме того, если для потомства было бы интереснее иметь биографии императоров с большей исторической окраской, то для современников Светония это, может быть, и не было нужно: как раз перед изданием «Цезарей» были изданы два исторических сочинения Тацита, которые Светоний считал известными читателям и не находил нужным повторять то, что в них сказано. Противопоставлять ему Плутарха нельзя, потому что Плутарх писал для греков, которые Тацита не читали и соответствующего ему историка римской империи на греческом языке в то время не имели.

Наконец, могло иметь влияние и то обстоятельство, что Светоний желал сделать свое сочинение занимательным для массы читателей, в его время уже в значительной степени утратившей интерес к государственным делам и настроенной оппозиционно к императорам. Этого он надеялся достичь, представив ей не серьезный труд, посвященный обзору государственной деятельности каждого императора, а нечто вроде собрания анекдотов о них, часто диких и скандальных. Поэтому он касался событий государственной жизни и участия в них императоров лишь настолько, насколько это было неизбежно, и избавлял себя от труда устанавливать хронологическую связь между событиями, а читателей — следить за этой связью. Что Светоний при этом не ошибся в своих расчетах угодить читателям, видно из большого уважения, которым он пользовался в древности и в средние века, и многочисленности его подражателей и компиляторов, а также и из того, что его биографии цезарей сохранились до нас в полном виде (за исключением случайной утраты начала), тогда как исторические сочинения Тацита дошли до нас с огромными потерями.

Более справедлив другой упрек, который делают Светонию ученые нового времени. Указывают на то, что он даже как биограф имеет много недостатков: старательно выбирая из источников различных направлений примеры для характеристики описываемых лиц, он вовсе не заботится

о том, насколько эти примеры находятся во внутреннем согласии друг с другом. Вследствие этого читатель нередко приходит в недоумение относительно возможности существования у одного и того же лица, и притом одновременно, столь противоположных и исключающих друг друга свойств и совершения им столь противоположных действий. Так, например, отзыв Светония о чрезвычайной обходительности Тиберия (гл. 26) и гуманности даже к людям незначительным (гл. 32) резко противоречит рассказу о его жестокостях (гл. 57). Поэтому из сочинения Светония трудно вынести определенное представление об общем нравственном облике изображаемых им лиц, которые часто выставляются то чуть ли не образцами людей и правителей, то чудовищными тиранами и позором человеческого рода¹¹.

Некоторые критики могут даже указать причины таких недостатков Светония. По их мнению, у него не было природного исторического таланта и способности к психологическому анализу; он не владел историческим методом; кроме того, он не знал государственной жизни; жизнь его была посвящена исключительно кабинетным занятиям историко-литературного, археологического, преимущественно же грамматического и риторического характера.

Слабость этих аргументов бросается в глаза. Мы почти ничего не знаем о жизни Светония; как же можем мы так решительно судить о его способностях или беспособностях? Быть может, правильнее было бы объяснить эти особенности Светония не его беспособностью писать историю, а тем, что он не находит нужным это делать: он поставил себе целью описать частную жизнь императоров; для ясности он описывал их достоинства и недостатки по известным рубрикам; хронологический порядок сильно затемнял бы эти рубрики: пришлось бы, например, говорить, какие черты характера были у императоров в молодости, какие в средние годы, какие в старости; может быть, для таких характеристик у него и не было материала. Ему важно было под одной рубрикой собрать примеры для той или другой черты характера, хотя бы эти факты относились к разным периодам жизни.

Вероятно, Светоний смотрел на своих «Цезарей» не как на историческое в строгом смысле, но как на художественное произведение, позволяя себе те же вольности по отношению к истории, какие позволяли себе авторы романов и эпикей. Как известно¹², от романа древние не требовали верных описаний характеров и страстей и вообще точных описаний повседневной жизни. Непристойность и безнравственность стали, так сказать, необходимым условием в этом роде литературы. На заботу Светония о художественности указывает также то обстоятельство, что он оканчивает фразы не любыми сочетаниями слогов, а лишь известными; таким образом, его изложение представляет собой сильно ритмизированную прозу¹³.

Наконец, исторические неточности были свойственны всем древним историкам, потому что на историю смотрели вообще как на произведение ораторского искусства и предоставляли историку те же привилегии, что и оратору, а для оратора считалось позволительным не только группировать факты по своей фантазии и представлять их в том виде, в каком

¹¹ Сам Светоний так отзывался о Калигуле (гл. 22): «До сих пор мы говорили о нем как о принце; остальное надо рассказывать как о чудовище».

¹² Гастон Буассье. Картины римской жизни времен цезарей. Перевод Н. Н. Спиридонова. М., 1913, стр. 200 и сл.

¹³ А. М а с е. *Essai sur Suétone*. Paris, 1900, стр. 379 и сл.

ему хотелось, но и выдумывать заведомые небывлицы. Некоторые неточности в подробностях находятся даже у Тацита¹⁴.

Свое сочинение Светоний мыслил как единое целое, а не как ряд отдельных биографий, какими представляются, например, биографии Плутарха. На это указывает, во-первых, то обстоятельство, что нередко о событиях, рассказанных в одной биографии, в последующих говорится уже как об известных, и иногда настолько кратко, что понимание их без знакомства с предыдущими биографиями бывает невозможно. Особенно наблюдается это в сообщениях, относящихся к смутам после смерти Нерона, игравшим большую или меньшую роль в жизни шести последних императоров, о которых рассказывает Светоний. Так, в биографии Отона (гл. 4) сказано, что он «первый присоединился к попыткам Гальбы»; какие это были попытки, не сказано, потому что о них говорилось в биографии Гальбы (гл. 9 и сл.). Во-вторых, из начальных слов Светония в биографиях Гальбы и Веспасиана видно, что он ставит их в непосредственную связь с предшествующими: так, биография Гальбы начинается словами: «род цезарей прекратился с Нероном».

3. ДРУГИЕ СОЧИНЕНИЯ СВЕТОНИЯ

Кроме рассмотренного сейчас сочинения Светония «Биографии двенадцати цезарей», до нас дошло из разных источников несколько его работ историко-литературного характера. Так, в рукописи, содержащей малые сочинения Тацита, находится трактат под заглавием «О грамматиках и риториках» (*De gramaticis et rhetoribus*) без указания автора. Вскоре после находки этого трактата (в 1455 г.) учеными было признано, что он составляет часть большого сочинения Светония, которым пользовался Иероним (IV в.) как образцом для своего сочинения «О знаменитых церковных писателях» (*De viris illustribus*) и которое у Светония носило то же (или приблизительно то же) заглавие. Судя по уцелевшим отрывкам, можно заключить, что сочинение Светония в полном виде заключало в себе трактат о людях, прославившихся в области литературы, и притом только римской литературы.

Этим же сочинением Светония пользовался Иероним для другой своей работы, именно, для перевода «Хроники» Евсевия с греческого на латинский язык. Он заимствовал из сочинения Светония историко-литературные заметки, дополняя ими «Хронику». Благодаря этому мы имеем возможность представить себе в общих чертах содержание сочинения Светония. Как видно из этих извлечений Иеронима, сочинение Светония обнимало пять отделов: «Поэты», «Ораторы», «Историки», «Философы», «Грамматики и риторы»; в каком порядке были поставлены эти отделы, нельзя угадать. Но о методе автора можно вывести заключение на основании сохранившегося материала. В каждом отделе было три части: оглавление (список лиц, вошедших в состав отдела), введение и статья о каждом лице.

Кроме извлечений Иеронима, сохранились еще в других источниках большие фрагменты отдела «Поэты», а именно:

1) «Биография Теренция» в комментарии Доната к комедиям Теренция, причем сказано, что она принадлежит Светонию.

2) «Биография Горация»; прямого указания на принадлежность ее Светонию нет; но это видно из того, что в схолиях под именем Светония сообщаются факты, упоминаемые в этой биографии.

¹⁴ Гастон Б у а с с ь е. Картины римской жизни, стр. 251 и сл.

3) «Биография Лукана», в ней тоже нет прямого указания на принадлежность ее Светонию; но на основании некоторых внутренних признаков можно об этом предполагать с достаточной степенью вероятности. В ней нет начала, и есть пропуски в середине.

4) Статья «О жанрах в поэзии», сохранившаяся у грамматика Диомеда (*Grammatici latini*, I, 482), которая считается введением к отделу «Поэты».

5) «Биография Пассиена Криспа» (из отдела «Ораторы») сохранилась в схолиях к Ювеналу.

6) «Биография Плиния Старшего» (из отдела «Историки») дошла до нас в рукописях «Естественной истории» Плиния.

Так как Иероним в своих извлечениях не упоминает ни одного оратора раньше Цицерона и ни одного историка раньше Саллюстия, то можно предположить с некоторой (правда, не особенно значительной) вероятностью, что Светоний начинал отдел «Ораторы» с Цицерона, а отдел «Историки» с Саллюстия; более древние ораторы и историки, возможно, упоминались только вкратце во введениях к этим отделам. До какого времени довел Светоний эту свою «Историю Римской литературы» (как можно назвать это сочинение), нельзя определить с точностью. Большинство исследователей полагает, что он окончил ее эпохой Домициана, как и «Биографии цезарей». По мнению других (Масэ), он довел ее до более позднего времени. Фактически разница получится малая: в первом случае в это сочинение вошли знаменитые мужи, умершие раньше 96 г. (года смерти Домициана); во втором случае — те, кто умер между 96 г. и годом издания этого сочинения.

Это было, по-видимому, первое по времени сочинение Светония. Оно и есть то большое сочинение, о котором еще до выхода его в свет Плиний написал свои гексаксиллабы и о котором он говорит в своем письме к Светонию, прося его поторопиться с изданием. На основании этого письма и некоторых соображений можно определить время выхода в свет этого сочинения с достаточной точностью. Письмо Плиния (V, 10) датируется 105—106 г. Это есть *terminus post quem*. Если можно делать выводы из молчания Плиния об этом сочинении в более поздних письмах, то опубликование его надо отодвинуть еще на несколько лет. Последняя книга писем Плиния относится, по мнению специалистов, к 109 г.: если бы Светоний ранее этого года издал свое сочинение, то Плиний, так интересовавшийся им, вероятно, упомянул бы о нем в письме или к самому Светонию, или к кому-нибудь другому. Равным образом, выпрашивая у императора Траяна для Светония «право троих детей» в письме от 111—113 г. (X, 94), он рекомендует императору его как «человека в высшей степени честного, благородного, ученого», он не преминул бы упомянуть в числе его заслуг и издание такого важного сочинения (особенно после слова «ученого»), если бы оно вышло в свет к этому времени.

Как видно из этого обзора, из сочинения «О знаменитых мужах» до нас дошел (и то не в полном виде) лишь один отдел «О грамматиках и риториках», а из остальных отделов — только пять биографий и значительное количество ничтожных фрагментов. В наиболее полном виде сохранилась биография Теренция; по ней можно судить и о первоначальном виде всех других статей, входивших в состав этого сочинения. Утрата его является большим ущербом для истории римской литературы.

Как сказано выше, в каждом отделе этого сочинения было введение и статья о лицах, относящихся к данному жанру литературы. Так, в дошедшем до нас отделе о грамматиках и риториках имеются введения, содержащие в себе краткую историю грамматики (филологии) и риторики

в Риме. «Грамматика в Риме,— говорит Светоний,— некогда не была даже в употреблении, а уж о каком-либо почете и речи быть не может, потому что государство тогда было еще грубо и воинственно и не имело времени для занятия свободными науками... Первый, внесший в Рим занятие грамматикой, был Кратет из Малла (горда в Киликии), современник Аристарха», и т. д. Далее следуют короткие, довольно бесцветные, биографии 20 знаменитых грамматиков, в том числе Орбиллия, учителя Горация.

Во введении к «Риторам» также дается небольшой очерк возникновения риторики в Риме и судьбы первых риториков. Распространение ее, по словам Светония, встретило даже более препятствий, чем грамматика, и преподавание ее иногда даже запрещалось правительством. Затем приводятся очень краткие биографии пяти знаменитых риториков. Конец этого трактата утрачен: как видно из оглавления к нему, в нем были биографии еще 11 риториков, в том числе Квинтилиана. Из этих биографий Иероним приводит в «Хронике» ничтожные отрывки.

«Знаменитые мужи» имеют некоторые точки соприкосновения с «Биографиями цезарей»: иногда в первом сочинении упоминаются какие-нибудь, касающиеся цезарей, факты, которых нет во втором сочинении; иногда и в том и в другом приводятся одни и те же факты, но в разных версиях. Заметьте, что в обоих сочинениях Светоний гораздо более интересовался императорами династии Юлиев, чем последующими (всего более Юлием Цезарем и Августом).

Интересны в «Биографии Горация» подлинные цитаты из писем Августа к Мecenату и к самому Горацию, в которых Август приглашает Горация быть его секретарем (*ab epistulis*); несмотря на его отказ, Август не рассердился на него и не прекратил дружбу с ним, а напротив, опять обратился к нему с таким же предложением (297, 17—32)¹⁵.

Интересно также сообщение в «Риторах» о том, что Август даже во время Мутинской войны не переставал упражняться в декламации (268, 30).

В разных версиях приводится предсказание Сенеки о будущей жестокости Нерона: в «Биографии Нерона» сказано, что Сенека, ставши учителем Нерона, видел сон, будто он — наставник Калигулы (т. е. жестокого императора), и Нерон вскоре подтвердил правдивость этого сна, выказав свою лютую натуру, как только представилась к этому возможность (173, 13—16). В «Биографии Сенеки» этот факт излагается так: «Сенека скоро заметил, что Нерон рожден свирепым и лютым, и рассказывал об этом своим близким друзьям, что невозможно, чтобы к этому свирепому льву, раз он попробует человеческой крови, не вернулась врожденная лютость» (Reifferscheid, стр. 95—96; у Масэ, стр. 260).

В «Биографии Нерона» не названо имя поэта, который был его соперником, а из «Биографии Лукана» видно, что этим соперником был Лукан, ненавидевший его, бывший «знаменосцем» заговора Пизона, сочинивший ругательное стихотворение на Нерона и его могущественных друзей и даже осмелившийся процитировать стих Нерона в применении к одному непристойному случаю (299, 25—35).

На основании этого можно думать, что Светоний при составлении этих сочинений пользовался разными источниками (отсюда и разница в изложении одного и того же факта), что в «Биографиях цезарей» он не стремился повторять материал, уже использованный им в «Знаменитых

¹⁵ По изданию С. Suetoni Tranquilli quae supersunt omnia. Rec. C. L. Roth, Teubner, 1875 (страница, строка).

мужах», и что в «Биографиях цезарей» он не брал все факты, известные ему, а делал из них выбор.

Как уже сказано, кроме рассмотренных двух сочинений, Светонием было написано много других, и притом очень разнообразных по содержанию. Но от них сохранились лишь ничтожные отрывки или даже одни заглавия, так что о содержании их высказать сколько-нибудь достоверное мнение невозможно.

Некоторые сочинения, может быть, были написаны Светонием по-гречески. Наверное утверждать это нельзя, но по отношению по крайней мере к двум сочинениям это предположение довольно вероятно, именно, по отношению к сочинениям «О бранных словах» и «Об играх у греков».

Светоний, по-видимому, хорошо знал греческий язык и греческую литературу, и потому мог писать по-гречески. В его сочинениях, дошедших до нас, нередко встречаются греческие слова среди латинского текста. Таким образом, нет ничего невероятного в предположении, что Светоний некоторые сочинения написал на греческом языке.

4. СВЕТОНИЙ КАК ИСТОРИК

Светоний нигде не высказывает прямо своих политических убеждений; но их можно заметить по его «Биографиям цезарей». В общем он держится той же политической точки зрения, которой держатся Тацит и Плиний. Он живет в римском обществе с его старыми традициями, а потому Рим, сенат, народ, Италия стоят у него на первом плане, а факты из жизни провинций занимают его очень мало.

Поэтому мы находим у Светония политические иллюзии сенаторского круга того времени, — конечно, лишь спорадически и в прикрытом виде. Так, он вполне серьезно сообщает, что, «после того как Калигула отрешил от должности консулов, республика в течение трех дней оставалась без высшей власти» («Калигула», гл. 26). Юлий Цезарь, говорит Светоний, «злоупотреблял своим господством, по общему мнению, и убит по справедливости» («Цезарь», гл. 76). Главным образом ему ставится в вину непочтительность к сенату: «когда к нему пришли все сенаторы в полном составе с очень многими чрезвычайно почтительными декретами, он принимал их сидя» (гл. 78). В неуважении к сенату Светоний винит также и Калигулу и Нерона. «Некоторых сенаторов, занимавших очень высокие должности, Калигула заставлял, одевшись в тогу, бежать рядом со своей колесницей на расстоянии нескольких миль, а за обедом приказывал им стоять, опоясавшись полотном, то у спинки обеденного ложа, то у ног» («Калигула», гл. 26). «Нерон много раз делал недвусмысленные намеки, что не пощадит и остальных сенаторов и уничтожит со временем все это сословие» («Нерон», гл. 37), и «собирался уничтожить на пире ядом весь сенат» («Нерон», гл. 43). И консулы у Светония представляются по старинному важными властями: «они вместе с сенатом и городскими когортами заняли Форум и Капитолий, чтобы охранять общую свободу» («Клавдий», гл. 10). Даже народ иногда упоминается, как будто бы была еще республика: Нерон «не созвал ни сената, ни народ» («Нерон», гл. 41); Гальба, провозглашенный императором, объявил себя легатом сената и народа римского» («Гальба», гл. 10).

Но наряду с такими мнениями встречаются и противоположные: так он не находит в лести сената по отношению к императорам ничего возмутительного («Тиберий», гл. 27). Даже у Домициана, о котором с ненавистью говорили Плиний и Тацит, он находит похвальную черту: «Домициан с таким усердием сдерживал своеволие городских магистратов

и провинциальных наместников, что никогда они не были более сдержанны и справедливы; а между тем, после него большинство из них навлекло на себя обвинение во всевозможных преступлениях» («Домициан», гл. 8). Наконец, тот факт, что он был личным секретарем у императора Адриана, тоже не свидетельствует о враждебных чувствах его к монархии и о горячем стремлении к республиканскому режиму.

Судя по этим фактам, можно сказать, что Светоний стоял вне партий. Уже в древности это было замечено: Вопписк называет его «самым исправным и беспристрастным писателем» (*Emendatissimus et candidissimus scriptor*) («Шесть писателей истории императоров», XXIX, 1—стр. 220, изд. Петера). Причину того, что он относился с меньшей ненавистью, чем Тацит, к людям и событиям предшествующего столетия, один из историков нового времени¹⁶ видит в том, что он был лет на 20 моложе Тацита и потому менее чувствовал гнет Домициана и вообще был менее страстен, чем он. Но в общем, из его «Биографий» читатель выносит впечатление, что до восстановления влияния сената время империи было в высшей степени печальным и ужасным. «Каковы были условия жизни того времени,— говорит Светоний по поводу убийства Калигулы в 41 г.,— всякий может видеть из следующего. Когда распространилась весть об убийстве Гая Калигулы, то сразу никто ей не поверил, и подозревали, что Гай сам распустил ложный слух, чтобы выведать отношение к себе людей... Сенат показал такое единодушие в намерении восстановить республику, что консулы сначала созвали его не в курию, потому что она называлась Юлиевой, а на Капитолий; некоторые же сенаторы предложили уничтожить самую память цезарей и разрушить их храмы» («Калигула», гл. 60).

Может быть, в связи с этим находится тот факт, что он сознательно сообщает даже лживые известия, слухи, ходившие в народе, предоставляя читателю возможность самому судить о них. Он редко высказывает свое мнение по поводу событий: спокойно, без возмущения, рассказывает о жестокостях или о разврате описываемых лиц. Однако есть случаи, когда он дает понять читателю свое неодобрение описываемого факта,— правда, иногда довольно смешным образом применяя фигуру умолчания: так, поставив слово «пропускаю» или «не буду говорить», он тем не менее сообщает какой-нибудь непристойный факт, о котором «не будет говорить» (например, «Цезарь», гл. 49). В биографии Клавдия (гл. 1) он делает такую заметку: «Некоторые осмелились утверждать, что Август взял Друза под подозрение и отозвал из провинции, а так как он медлил, отравил его ядом. Последнее я сообщаю скорее ради того, чтобы не пропустить чего-либо, чем потому, что считаю это истинным или правдоподобным». «Тем более странным кажется мне сообщение некоторых, будто Друз был вероломно умерщвлен Сеяном» («Клавдий», гл. 27). «Следующий факт превосходит всякую меру вероятности» (там же, гл. 29). Иногда, из самого рассказа можно заметить, как относится Светоний к сообщаемому факту.

Светоний собирал сведения для биографии императоров из всевозможных источников. По обычаю древних историков, он редко называет имена авторов, у которых он заимствует эти сведения. Всего больше таких указаний в биографиях Юлия Цезаря и Августа; для биографий последующих императоров он имел меньше источников. Но даже в названные им сочинения не дошли до нас; тем труднее определять источники, которых он

¹⁶ R a n k e. Weltgeschichte, III, 2, 320.

не называет. Не раз в научной литературе, в том числе и в русской¹⁷, делались попытки определить их, но ни к каким твердым выводам нельзя прийти по указанной сейчас причине.

Вот, например, каких авторов он называет: Цицерона («Юлий», гл. 55 и 56), Сенеку («Тиберий», гл. 73), Плиния Старшего («Калигула», — гл. 8), Азиния Поллиона («Юлий», гл. 30 и 55), Бальба («Юлий», гл. 81); но гораздо чаще встречаются такие неопределенные указания, как «некоторые», «многие», «другие» и т. п. Нигде не заметно у него пользование Тацитом, Веллеем, Плутархом, Иосифом Флавием.

Кроме источников литературных, Светоний пользовался часто и первоисточниками, к которым он имел доступ, занимая высокую должность личного секретаря Адриана. К числу таких первоисточников принадлежат письма императоров к разным лицам и их речи. Так, он ссылается на письма Цезаря («Юлий», гл. 26), приводит выдержки из письма Августа к Агриппине («Калигула», гл. 8), к Ливии («Клавдий», гл. 4); к Тиберию («Тиберий», гл. 21; «Август», гл. 51; 71; 76); к Меценату («Биография Горация», стр. 297 изд. Рота) и др. Светоний читал эти письма в подлиннике, как видно из следующего места в биографии Августа (гл. 87): «Я заметил в его подлинной рукописи такие особенности: он не разделяет слов и не переносит с конца строки лишние буквы на другую, но там же тотчас пишет их внизу и обводит чертою».

Светоний, благодаря своему официальному положению, пользовался также документами, малодоступными или совсем недоступными частным лицам: автобиографией императора Тиберия («Тиберий», гл. 61), его речами в сенате (гл. 28 и 67), его письменными заявлениями в сенате (гл. 67), протоколами сенатских заседаний («Август», гл. 5), которые не публиковались со времени Августа, как сообщает сам Светоний («Август», гл. 36), отчетом Августа о своем правлении, который теперь у нас носит название Monumentum Ancyranum («Август», гл. 101).

Светоний собирал сведения также от свидетелей событий; этим источником он мог пользоваться, конечно, только для биографий императоров, бывших незадолго до него. Так, он упоминает рассказы деда («Калигула», гл. 19), рассказы «старших» («Клавдий», гл. 15), отца («Отон», гл. 10), мальчика, присутствовавшего при убийстве Домициана («Домициан», гл. 17). Об одном факте он рассказывает, что сам был его свидетелем («Домициан», гл. 12).

Светоний часто приводит подлинные слова императоров, их шутки, иногда довольно остроумные. Вот, например, афоризм Тиберия по поводу взимания налогов в провинциях: «Хороший настух стрижет овец, а не сдирает с них шкуру» («Тиберий», гл. 32). Веспасиан «в день триумфа своего, утомленный медленностью и скукой торжественной процессии, не удержался от восклицания: „Поделом мне и мука за то, что я на старости лет так безрассудно пожелал триумфа, будто это — мой долг перед предками или сам когда-либо мечтал о нем“» («Веспасиан», гл. 12). Такие слова представляют хороший материал для характеристики.

Стремление Светония использовать первоисточники тем более достойно внимания, что римским историкам оно вообще чуждо.

К числу источников Светония надо отнести также привожденные им эпиграммы, продукт народного творчества, содержащие насмешки над императорами и показывающие отношение населения к ним. Таковы, например, эпиграммы на Тиберия: «Ты, Цезарь, изменил золотой век Сатурна и, пока ты жив, вечно будет век железный» («Тиберий», гл. 59).

¹⁷ С. В е х о в. Об источниках Г. Светония Транквилла в биографиях Цезарей. Варшава, 1888.

«Ему противно вино, потому что он жаждет уже крови: так жадно пьет он ее, как прежде пил вино» (там же, гл. 59). Незадолго до смерти Домициана ходила такая эпиграмма: «Недавно ворона, севшая на вершине Тарпейской, не могла сказать «теперь хорошо», а сказала: «будет [хорошо]» («Домициан», гл. 23).

В сочинении «Знаменитые мужи» Светонием названы были некоторые авторы, служившие ему источниками: Варрон, Сантра, Корнелий Непот, Фенестелла. Варрон упомянут в биографии Теренция (стр. 293, 3); Сантра (современник Цицерона) — в биографии Теренция (стр. 293, 28) и в заметке о грамматике Курции Никии (стр. 263, 37); Корнелий Непот — в биографии Теренция (стр. 292, 13; 293, 20) и в «Риторах» (стр. 270, 18); Фенестелла — в биографии Горация (стр. 292, 5; 292, 12). Конечно, таких ссылок было несравненно больше в полном сочинении «Знаменитые мужи», но до нас дошла из него ничтожная часть; кроме того, многими авторами Светоний пользовался, не называя их имен: так, наверное, пользовался Гигинием¹⁸, хотя в дошедших до нас частях нет ссылок на него.

5. ЯЗЫК И СЛОГ СВЕТОНИЯ

О языке и слогe Светония можно судить главным образом по биографиям императоров, так как только это сочинение дошло до нас в подлинном виде, чего нельзя сказать с уверенностью об остальных его сочинениях.

Язык и слог Светония ясен, прост и чужд риторике, которую в то время была полна и поэзия, как видно из Ювенала, и история, как видно из Тацита. На риторике воспитывались тогда молодые римляне и вносили ее во все произведения. Риторикой проникнуты и сочинения Плиния Младшего; однако Светоний не последовал в этом отношении за своим другом. Равным образом свободен он и от стремления к архаическому колориту речи, которое тогда начинало входить в моду (например Фронтон) и которое было свойственно и Адриану. Притом у Адриана была странная смесь архаизмов с неологизмами; все это чуждо Светонию, хотя он и был личным секретарем Адриана.

Напротив, Светоний старается соблюдать традиции классического периода; он восхищается ясностью языка Августа и особенно Цицерона, но, подобно им, не боится примешивать к своей речи греческие слова. Он нередко устами описываемых лиц выражает свои суждения о языке и стиле. Так, он рассказывает, что Август смеялся над старинными словами, называя их «смердом устарелых слов» («Август», гл. 86), а Марка Антония считал безумным за то, что он употребляет слова, которые Саллюстий заимствует из «Начал» Катона, «чему люди будут скорее удивляться, чем понимать» (там же). «Не щадил Август и Тиберию, искавшего иногда вышедших из употребления, забытых выражений» (там же). Вообще «стилистов напыщенных и подражателей старине он равно презирал за их разнородные недостатки, а иногда и пробирал их, в особенности своего друга Мецената, «надушенные завитушки» которого он постоянно преследовал и высмеивал, шутливо их пародируя» (там же).

В общем Светоний стремится к краткости выражения, как это заметил еще Воппек (один из «Шести писателей истории императоров»): «Светонию было свойственно любить краткость» (биография Фирма, гл. 1, 2). Стремление к краткости бывает у него причиной некоторых неправильностей речи («анаколуфов»), обилия конструкций с причастием. Но

¹⁸ См. «Историю римской литературы», т. I. М., Изд-во АН СССР, 1959, стр. 506.

вместе с тем у него часто встречаются плеоназмы, бросающиеся в глаза: выражение одного понятия двумя синонимами без заметной разницы в значении, например: *membra partisque imperii* — «члены и части империи» («Август», гл. 48); *astu ac dolo* — «хитростью и коварством» («Тиберий», гл. 49); *invalidus atque aeger* — «немогущий и больной» («Август», гл. 13); *salum et incolumem* — «целый и невредимый» («Нерон», гл. 34); *hortatur et monet* — «убеждает и увещевает» («Август», гл. 3). Подобно этому, иногда одна и та же мысль выражается и положительным и отрицательным оборотом (как нередко у Гомера): *gratis et sine mercede ulla* — «даром и без всякой платы» («О грамматиках», 13); *soli huic nec ulli praeterea grammatices parti deditus* — «предавшись только этому и никакому еще отделу грамматики» (там же, 24); *matrum adhuc pcedum caelibem* — «еще мужа и еще не вдовца» («Гальба», гл. 5). Но несмотря на его уважение к языку классического периода, и у него есть много особенностей, свойственных поэзии вообще и прозе серебряного века, например употребление отвлеченных существительных вместо конкретных: *matrimonia* — «браки» в смысле *matronae* — «замужние женщины» («Цезарь», гл. 51); *amicitias et familiaritates* — «дружбы и приятности» в смысле «друзья и приятели» («Тиберий», гл. 51).

Из грамматических особенностей Светония особенно замечательна та, что, начиная рассказ о чем-нибудь, он ставит на первом месте то слово, которое служит темой этого рассказа и является как бы заголовком его, например, в биографии Цезаря: гл. 60 *proelia* — «сражения», гл. 65 *militem* — «солдат», гл. 67 *delicta* — «проступки» и т. д. В синтаксисе есть отступления от нормы классического периода, например употребление перфекта сослагательного наклонения в предложениях следствия при прошедшем времени в управляющем предложении.

6. ОТНОШЕНИЕ СОВРЕМЕННИКОВ И ПОСЛЕДУЮЩИХ ПОКОЛЕНИЙ К СВЕТОНИЮ

Светоний уже при жизни своей пользовался славой: как уже было сказано, Плиний даже в стихах извещал публику о предстоящем выходе в свет его сочинений; а Светонию было тогда лет 36. Позднее, когда ему было около 50 лет, он был назначен Адрианом на высокую должность личного секретаря императора, которую получали лишь люди с общепризнанной литературной славой.

В позднейшей римской литературе Светоний стал знаменитостью: ему подражали и им пользовались писатели не только конца древнего мира, но даже и средних веков. Наибольшее влияние на последующие поколения имели его «Цезари». Это влияние шло по двум направлениям: подражали этому сочинению с формальной стороны и пользовались им как историческим источником.

Что касается формальной стороны, то изложение биографий по схемам стало господствующим в историографии в течение двух последующих веков вплоть до Аммиана Марцеллина, вернувшегося к хронологическому способу изложения истории. Явился целый ряд историков, писавших биографии императоров по способу Светония; первым из них был Марий Максим (ок. 165—230 гг.), написавший продолжение сочинения Светония, именно, биографии императоров, начиная с Нервы и кончая Элагабалом. Это сочинение не сохранилось, но его использовали продолжатели этого жанра «Шесть писателей истории императоров», от которых сохранились биографии императоров с Адриана до Карина вклю-

чительно, правивших в общей сложности с 117 по 284 г. В средние века подражателем Светония с формальной стороны был Эйнгард (Einhardus, или Egiohardus), составивший около 830 г. биографию Карла Великого, в которой он не только следует плану биографий Светония, но даже заимствует у него целые выражения.

Как исторический источник «Цезари» служили многим писателям последующих веков. Не всегда можно с уверенностью сказать, черпали ли они материал непосредственно из этого сочинения, или уже из вторых рук, но во всяком случае влияние Светония заметно как у латинских, так и у греческих историков: Евтропия, Аврелия Виктора, Орозия, Полиена, Кассия Диона. Интересно стихотворное упражнение Авзония (IV в.): он изложил стихами биографии всех 12 императоров, каждую четверостишием.

Сочинение «О знаменитых мужах» также было известно в последующих веках: как уже говорилось, Иероним (IV в.) пользовался этим сочинением как формальным образцом для своего сочинения «О знаменитых [церковных] писателях». Оно же служило ему историческим источником для другой его работы — перевода «Хроники» Евсевия с греческого на латинский язык. Дополняя «Хронику», он брал из сочинения Светония заметки историко-литературного содержания; хотя эти извлечения очень кратки (по большей части они состоят из одной фразы), но все-таки благодаря им мы можем представить себе хотя бы содержание сочинения Светония. Пользовались этим сочинением также схоластики и грамматики, как видно из сохранных ими биографий Теренция, Горация, Лукана, Плиния Старшего.

Сочинениями антикварными и естественно-историческими Светония, не дошедшими до нас, тоже пользовались римские и греческие писатели как в конце античного периода, так и в Средние века (в том числе и византийцы), например Авл Геллий, Цензорин, Солин, Макробий, Сервий, Тертуллиан, особенно Исидор Севильский (VII в.). Проследить точное влияние этих сочинений мы не можем вследствие их утраты.

7. ФЛОР

Следующим по времени историком после Светония был Флор. Кто он был, совершенно неизвестно; об этом есть в науке только предположения. Неизвестно даже его личное имя (praenomen).

Под именем Флора дошло до нас историческое сочинение, носящее следующие заглавия в двух лучших рукописях: в одной: *Epitoma Iuli Flori de T. Livio bellorum omnium annorum DCC libri duo* — «Извлечение Юлия Флора из Т. Ливия, две книги всех войн в течение 700 лет»; в другой: *L. Annaei Flori epitoma de T. Livio* — «Извлечение Л. Аннея Флора из Т. Ливия» (в четырех книгах); в остальных рукописях автор тоже называется Аннеем Флором. Таким образом, неизвестно даже какое родовое имя (nomen) было у Флора — Юлий или Анней.

Как видно из заглавия, это было не вполне самостоятельное сочинение, а лишь извлечение из истории Т. Ливия, и притом касающееся не всех сторон жизни римского народа, а только войн в течение 700 лет. Делилось это сочинение различно: одними — на две книги, другими — на четыре.

При рассмотрении содержания сочинения в подлиннике мы действительно находим, что оно все состоит из описания войн, причем разделено на главы (всего 81 глава), и почти каждая война составляет отдельную главу, лишь какой-нибудь переходной фразой связанную с предшествую-

щим описанием; всего лишь несколько глав занято другими сюжетами, кроме войны, например, «О Гракховых законах» (кн. II, гл. 1).

Порядок изложения в общем хронологический, но бывают иногда и отступления. Для деления римской истории автор придумал интересный способ: он рассматривает народ как отдельного человека и поэтому делит историю Рима на четыре периода, по возрастам: детство, юность, зрелый возраст, старость (*infantia, adulescentia, inventus, senectus*). Детство, около 400 лет, — время при царях; юность, 150 лет, — от начала республики до подчинения Италии; зрелый возраст, 150 лет, — время от подчинения Италии до Августа, в течение которого римский народ умиротворил весь мир; старость, немного меньше 200 лет, — период от Августа до времени автора, в течение которого вследствие «бездеятельности цезарей» Рим, так сказать, состарился, и только при Траяне он «двинул руками, и, сверх ожидания всех, старость империи вновь зазеленела, как-будто ей возвращен зрелый возраст» (Предисловие). Это деление римской истории на возрасты не ново: его приводил и Сенека Старший в своей истории, только он ее делил на семь возрастов; неизвестно, заимствовал ли один из них у другого, или каждый придумал такое деление самостоятельно.

Как уже говорилось, сочинение Флора делится в одних рукописях на две книги, в других — на четыре. Деление на две книги считается более правильным.

Содержание сочинения — следующее. Книга I заключает в себе (кроме маленького предисловия) 47 глав о времени царей, переходе монархии в республику и войнах с разными народами — италийскими и иноземными, — кончая войной с парфянами под начальством Красса. Следующая за этим заключительная глава содержит в себе краткий обзор всего предыдущего рассказа и рассуждение об упадке нравов римлян, следствием которого были гражданские раздоры и войны. Книга II, заключающая в себе 34 главы, начинается рассказами о мятежах Гракхов, Апулея, Друза; далее речь идет о внутренних и внешних войнах — с союзниками, с рабами, со Спартаксом и т. д. — и кончается войнами с кантабрами и асгурийцами при Августе, миром с парфянами и возвращением ими римских знамен, отнятых у Красса, закрытием храма Януса после 700 лет войны и дарованием цезарю священного титула «Август». Об императорском периоде Рима Флор не говорит, может быть, потому, что героем его истории является римский народ, а при императорах эта роль народа кончается.

Как сказано в заглавии, сочинение Флора есть извлечение из истории Т. Ливия. Это не вполне верно: в нем находят даже противоречия с рассказом Т. Ливия, находят и следы заимствований из других писателей, из Саллюстия, из Лукана. Но в общем, действительно, почти весь исторический материал взят из Ливия, но именно материал, а не внешняя форма. Правда, есть много заимствований из Ливия по языку даже буквальных, но все-таки изложение с сильной риторической окраской принадлежит самому Флору.

Какую цель преследовал автор в этом сочинении, он сам говорит в предисловии. Указав на великие подвиги римского народа и на то, что «укреплению власти его наперерыв содействовали Доблесть и Счастье», он продолжает: «Однако эта громадность сама себе мешает, и разнообразие деяний утомляет внимание; поэтому я поступлю подобно тем, которые рисуют географические карты: я помещу весь его образ, так сказать, на маленькой картинке и надеюсь, что не мало буду содействовать возвеличению первого народа, если опишу вкратце все его величие».

Как видно из этих слов, цель автора состоит не в том, чтобы просто

изложить историю римского народа, как делали другие историки, а в том, чтобы, на основании уже известных исторических фактов, возвеличить римский народ; иначе говоря, автор хочет писать не историю, а панегирик, пользуясь для этого историческим материалом, выбранным из сочинения Т. Ливия. Это заметили уже древние: Августин (христианский писатель IV—V вв. н. э.) говорит, что Флор хотел «не столько рассказать войны римлян, сколько восхвалить римское владычество» («О граде божием», III, 19). Само собой разумеется, что для этой цели не было надобности излагать все события римской истории; надо было выбрать события, наиболее способные вызвать в читателях восхищение перед величием римского народа, стало быть, надо было выбрать события наиболее эффективные. С удивительной ловкостью автор умеет выставить в ярком свете блестящие факты и ясным обозрением их дать представление об их величии. В глазах большой публики великими событиями являются не столько дела мирного строительства, сколько войны, завоевания чужих стран. Поэтому вполне естественно, что автор для своей цели выбрал темой сочинения именно войны, а не другие какие-либо факты государственной жизни. Для великих подвигов нужен был и герой; таким героем у Флора является не отдельный человек, а весь народ римский, которого он и рассматривает как отдельного человека, придавая ему даже человеческие возрасты. Такое воззрение на народ у него видно и в способе выражения: он не говорит, например, что такой-то консул одержал победу, а говорит, что при таком-то консуле народ римский победил. Очень часто слово «народ» даже и не ставится как подлежащее фразы, а подразумевается само собою: «Вследствие просьб Кампании [он] напал на самнитян не для защиты себя, но для защиты союзников» (I, 11, 1). Конечно, автору приходилось иногда и искажать события, чтобы представлять их в нужном для его цели свете; он преувеличивает успехи римлян и встречающиеся им трудности и, наоборот, смягчает их ошибки, вероломство, жестокость; войны, которые они ведут, по его изображению, были только оборонительными, навязанными им. Иногда он искажает события, может быть, и просто по небрежности или по незнанию, так как историческая точность для него не представляла большой важности. Так, он дает действующим лицам звания, которых они не имели; консулов называет диктаторами, а легатов — консулами; искажает или изменяет имена, противоречит себе, допускает хронологические ошибки.

Таким образом, сочинение Флора есть скорее риторическое, чем историческое; историк не может пользоваться им как источником. Но кроме стремления возвеличить римский народ, у Флора заметна и тенденция правоучительная (как часто бывает у историков); поэтому у него много изречений (афоризмов), например: «Труднее удерживать провинции, чем образовывать: приобретаются они силою, удерживаются справедливостью» (II, 30, 29). «Не вполне погашенный пожар вновь разгорается большим пламенем» (I, 40, 14). «Каков полководец, таково и войско» (I, 34, 11). В общем сочинение Флора представляет собой по характеру единственное, своеобразное произведение во всей римской литературе — это какой-то гимн римскому народу на исторической основе.

Политические взгляды автора вполне ясны: его идеал — «юность» и «зрелый возраст» римского народа, т. е. время республики, но и то лишь первая половина его, когда «годы были чистые, благочестивые, золотые, без позорных деяний, без преступлений, пока была неподдельная, невинная чистота того пастушеского образа жизни, и пока страх перед неприятелями-пунийцами поддерживал древние порядки» (I, 47, 1—2). Стало быть, это хорошее время продолжалось до разрушения Карфагена,

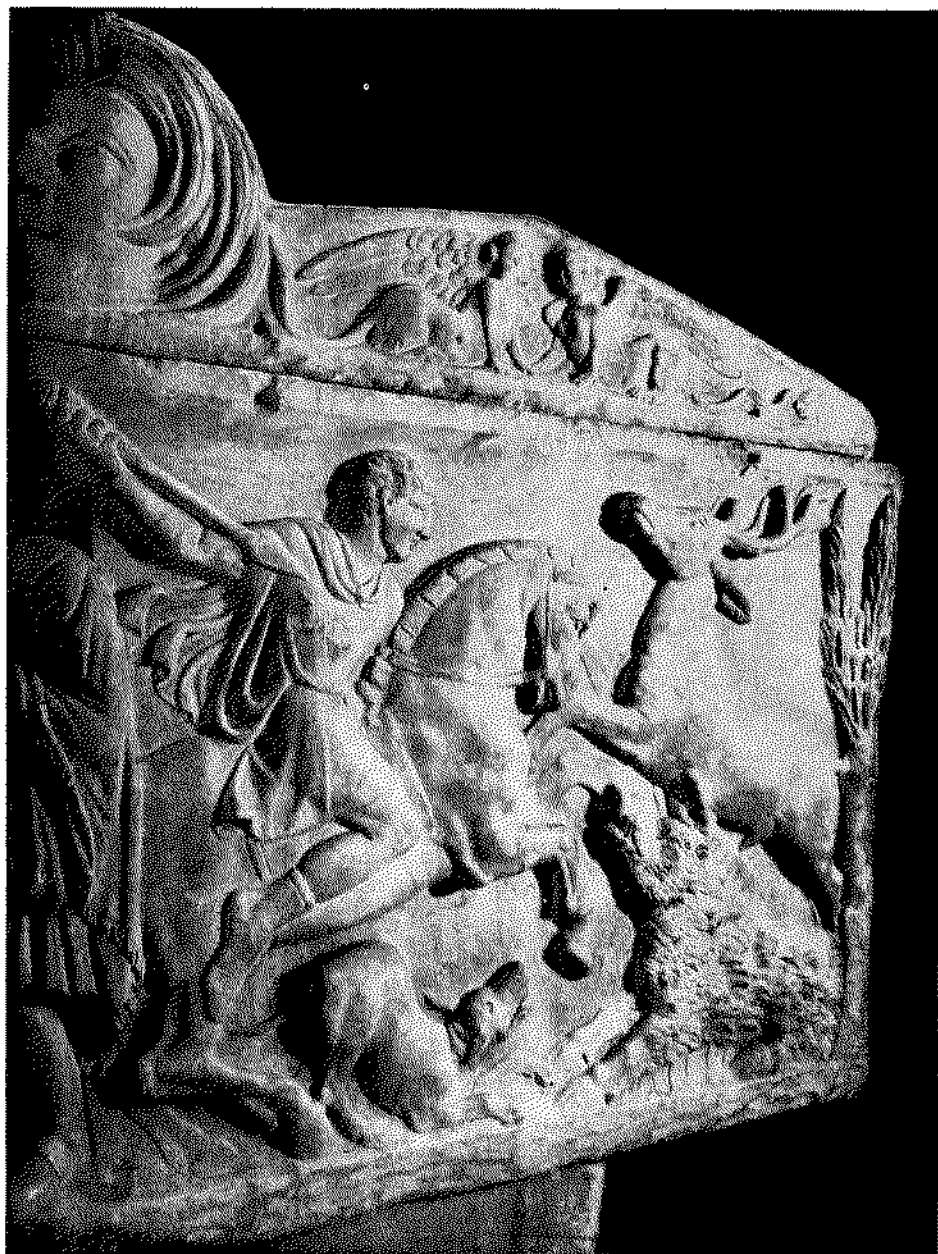
Коринфа и Нуманции. Затем начались внутренние раздоры и упадок римского народа. Флор относится отрицательно к принципату, во время которого «вследствие бездеятельности цезарей народ состарился и растратил силы» (Предисловие). Только Траяну, как уже говорилось, он делает комплимент (там же). Однако древняя республика — идеал лишь в теории: на практике же Флор, подобно Тациту и другим, признает необходимость принципата и восхваляет Августа: «Надо считать счастьем при таких волнениях, — говорит он, — что верховная власть досталась именно Октавию Цезарю Августу: он своим умом и искусством привел в порядок потрясенное со всех сторон и расстроенное государственное тело, которое, несомненно, никогда не могло бы соединиться и образовать согласное целое, если бы не управлялось мановением одного главы, как бы его жизненной силой и разумом» (II, 14,5—6). А вот образчик политической философии Флора: «Поводы ко всем внутренним беспорядкам подавала власть трибунов. Под видом охраны плебеев, в помощь которым она была учреждена, она на самом деле искала для себя неограниченного господства, и потому старалась приобрести популярность и расположение народа аграрными, хлебными, судебными законами» (II, 1, 1).

Время, когда написано это сочинение, определяется на основании слов самого автора: «От Цезаря Августа до нашего века [прошло] немного меньше двухсот лет» (Предисловие, 8). Если под словами «от Цезаря Августа» разумеется год его рождения, т. е. 63 г. до н. э., то под словами «наш век» надо разуместь время несколько ранее 137 г., т. е. правление императора Адриана. Несколько сомнительной делают эту дату дальнейшие слова автора: «Только при государе Траяне он [народ] двинул руками, и, сверх ожидания всех, старость империи вновь зазеленела». Дело в том, что в этой фразе есть важные разночтения в рукописях: в одних — прошедшее время — «двинул» (*movit*) и «зазеленела» (*revivuit*), в других — настоящее время — «двигает» (*movet*) и «зеленеет» (*revirescit*). Чтение с настоящим временем принято во многих старых изданиях. Если оно верно, то надо предположить, что под «нашим веком» автор разумеет время Траяна. Однако в наиболее надежном издании (стереотипном издании Гальма 1863 г.) принято чтение с прошедшим временем на основании лучшей рукописи. В таком случае надо считать несомненным, что время Траяна для автора есть уже прошедшее и что он писал свое сочинение во время правления Адриана, т. е. между 117 г. (началом правления Адриана) и 137 г. (указанным выше). Новейшими историками литературы эта дата принята¹⁹.

Как писатель, Флор имеет свои достоинства и недостатки. Видно, что он был очень образованный по тогдашнему времени человек, отлично усвоивший правила риторики. Изложение его сжато, но блестяще; ему часто удается несколькими словами обрисовать положение, представить полную картину: на одной странице он изложил весь заговор Катилины, не опустив ничего существенного (II, 12). Он любит наглядно изображать события и потому часто прибегает к сравнениям.

Но недостаток его тот, что он злоупотребляет своим риторическим искусством, применяя риторические приемы в чрезмерном количестве, от чего слог его становится неестественным, искусственным, напыщенным

¹⁹ Впрочем, может быть и еще одно сомнение по поводу этой даты: что разумеет под словами «от Цезаря Августа»? Обыкновенно разумеется год рождения, т. е. 63 г. до н. э. Но можно разуместь и какой-нибудь другой год, например начало его единодержавия, т. е. 31 г. до н. э., или год его смерти, т. е. 14 год н. э. Тогда «наш век» оказался бы гораздо позднее. Но это мало вероятно по литературным свойствам сочинения.



*Охотник
(деталь стенки саркофага римской работы)*

до смешного. У него много метафор, антитез, гипербола, сравнений, восклицаний, риторических вопросов и т. п., что придает речи даже поэтический характер; получается что-то вроде стихотворной прозы. Пожалуй, самым большим недостатком слога является погона за новым, необычным, способом выражения, иногда очень странным, так что даже сам автор находит нужным прибавить слово *quasi* — «как будто» (которое насчитывают у него 125 раз). Вместе с тем бросается в глаза некоторое однообразие: так, не раз встречается сравнение войны с огнем, например: «Победив Антиоха, римляне преследовали факелы [поджигателей] азиатской войны» (*victo Romanus Antiocho faces Asiatici belli persequabatur* — I, 25, 9)²⁰.

Общая оценка Флора как писателя, конечно, зависит от личных вкусов каждого: кому нравится этот приподнятый, патетический стиль, те считают его красноречивым, изящным автором; кому такой стиль не нравится, те не одобряют его. Поэтому суждения ученых о нем различны: так, Салмазий, первоклассный французский ученый XVII в., называет его сочинение *elegantissima epitoma*, а Гревий, знаменитый голландский филолог того же столетия, резко критикует стиль Флора. Современникам своим он должен был нравиться, так как они едва ли могли представить себе панегирик, написанный в простом стиле²¹. Из ученых нового времени, хвалящих Флора, надо назвать особенно О. Россбаха (в статье о Флоре в VI томе Энциклопедии Паули-Виссова, 2761—2770).

Несмотря на те свойства Флора, которые кажутся недостатками, в его сочинении все же есть целые главы, в которых критика не могла найти ничего, заслуживающего порицания: такими можно назвать, например, рассказ о Катилине (II, 12) и описание битвы при Мунде (II, 13, 78—87).

Что касается собственно языка в лексическом и грамматическом отношении, то в нем мало отступлений от нормы классического периода. В общем, за исключением сугубо риторических и потому неясных оборотов, текст читается довольно легко.

До нас не дошло никаких упоминаний античных авторов о сочинении Флора, но в середине века его много читали благодаря тому, что оно по своей краткости представляет очень удобный и вместе с тем занимательный очерк римской истории республиканского времени; ценили также в нем и назидательные изречения. Им пользовались как источником истории Орозий (V в.) и Иордан (VI в.). В новое время оно употреблялось в школах при изучении латинского языка.

8. АМПЕЛИЙ

Вместе с сочинением Флора в наших современных изданиях помещается также небольшое сочинение Луция Ампелия (*Lucius Ampelius*) под заглавием *Liber memorialis* — «Памятная книга». Внутренней связи между этими двумя сочинениями нет; соединяются они только по традиции, — потому что французский филолог XVII века, Салмазий (в латинской форме *Salmasius*, во французской форме *Saunaise*), открывший в од-

²⁰ И по-русски у поэтов встречается эта метафора: «Бранный пламень» (у Хомякова):

²¹ Уже древние обратили внимание на вычурность стиля современных им писателей. Псевдо-Лонгин говорит так: «Все такие недостойные явления вводятся в речь по одной причине, — из пристрастия к повизне в выражении мыслей, — безумие, которым очень сильно заражены нынешние писатели» («О высоком», гл. 5).

ной рукописи сочинения Ампелия, напечатал его в конце своего издания Флора в 1638 г.; с тех пор так же поступают и другие издатели Флора.

Сочинение Ампелия в соответствии с заглавием содержит в себе научные сведения разного рода. Оно составлено по желанию какого-то Макрина (вероятно, ученика Ампелия), который хотел знать все достойное знания. В книжке этой 50 глав. В первых 9-ти главах говорится о мире, звездах, ветрах, странах, морях, чудесах света, богах. С главы 10 начинается очерк истории: говорится о семи мировых державах — ассирийцев, мидян, персов, спартацев, афинян, македонян и римлян. Главная часть сочинения занята историей римлян (главы 17—50), если только это можно назвать историей: это скорее какой-то конспект, по большей части состоящий из перечня собственных имен с самыми ничтожными характеристиками лиц, носивших эти имена. Вот, например, содержание главы 18 — «Знаменитейшие вожди римлян»: «Брут, который ради общественной свободы убил своих детей. Валерий Публикола, который из-за этой же свободы вел войну против Тарквиниев; он же усилил народ, дав ему право свободы» и т. д. Глава 19: «Римляне, которые были славны в тоге» (т. е. не на войне) и т. п. Последние по времени факты, упомянутые Ампелием, относятся к правлению Траяна. Судя по этому, можно думать, что эта книжка написана вскоре после его смерти, т. е. в правление Адриана.

9. ГРАНИЙ ЛИЦИНИАН

В 1853 г. среди рукописей, поступивших из одного египетского монастыря в Британский музей, оказался палимпсест, на нескольких листах которого первоначально было написано историческое сочинение на латинском языке, потом этот текст был счищен, и был написан текст сочинения латинского грамматика, потом и этот текст был счищен, и был написан богословский текст на сирийском языке. При помощи химических средств первоначальный исторический текст был отчасти восстановлен. Оказалось, что это были части сочинения латинского историка Лициниана (Licinianus).

Кто был этот Лициниан и когда он жил, неизвестно. Предполагают, что это был Граний Лициниан, упоминаемый Макробием (I, 16, 30) и Сервием (в комментарии к «Энеиде», I, 737). С текстом Лициниана сохранилось 12 листов. Они содержат отрывки из разных мест большого сочинения по римской истории, заключавшего в себе (как видно из указаний в рукописи) по крайней мере 36 книг (но, по-видимому, небольшого размера). В этих отрывках речь идет о событиях 165, 105, 87 и 78 гг. до н. э. Как предполагают, сочинение это было извлечением из истории, Т. Ливия, причем автор выбирал главным образом рассказы о разных любопытных явлениях, чудесах, поучительные примеры, но не интересовался крупными политическими событиями. Судя по некоторым признакам, автор жил после Адриана, — может быть, даже в III или IV в. н. э.

10. МАРИЙ МАКСИМ И ЮНИЙ КОРД

Как мы видели, историком, ближайшим по времени к Светонию, был Флор, но его скорее следует считать ритором, чем историком; следующие за Флором авторы — Ампелий и Граний Лициниан — не могут быть даже названы самостоятельными историками.

Первым продолжателем исторического жанра Светония следует считать Мариа Максима (Marius Maximus). Его сочинение не дошло до нас, но из него сохранилось много крупных фрагментов в дошедшем до нас большом сборнике биографий разных императоров, известном под названием «Шесть писателей истории императоров», составленном в IV в. В этом сборнике упоминается большое число других авторов, писавших биографии отдельных императоров II и III вв., но о них мы ничего или почти ничего не знаем.

О жизни Мариа Максима нам ничего неизвестно: «Шесть писателей» ничего об этом не сообщают.

На основании ссылок у «Шести писателей» можно составить понятие о размерах, содержании и способе изложения сочинения Мариа Максима. Это было большое сочинение, заключавшее в себе 12 биографий императоров: Нервы, Траяна, Адриана, Антошина, Пия, Луция, Вера Марка Аврелия, Коммода, Пертинакса, Септимия Севера, Элагабала, т. е. императоров, правивших в течение 96—222 гг., причем каждая биография составляла отдельную книгу. Как видно, сочинение это было непосредственным продолжением сочинения Светония (также продолжения были довольно обычны у древних историков — греческих и римских). Автор в нем даже подражал Светонию: у него то же число биографий (12), как и у Светония; он также интересовался только личной жизнью описываемого лица, а не государственными делами; каждая биография также представляла самостоятельное целое, даже еще более самостоятельное, чем у Светония, так что Марий повторял иногда кое-что, что уже было сказано в другой биографии; рассказ он тоже вел по рубрикам. Но были и отличия: Марий был чрезвычайно многословен: homo omnium verbosissimus, называет его Вописк (один из «Шести писателей» — т. II, стр. 204, § 4 по изданию Пестера 1865 г.). Так, биография Марка Аврелия не уместилась у него в одной книге, а была разделена на две. Кроме того, он ввел такое новшество: в то время как древние историки цитируют документы в изложении своими словами, чтобы не нарушать единообразия стиля, Марий приводил их в подлиннике, и притом не вставлял их в текст рассказа, но относил в приложение в конце книги (может быть, тоже чтобы не нарушать единообразия стиля основного текста?). При описании личной жизни императоров Марий пользовался сведениями из «Городской газеты» (Acta urbis), в которой помещались всякие сплетни и анекдоты, особенно скандального характера; это был его главный источник²².

По-видимому, сочинение Мариа считалось публикой правдивым: так его характеризует Юлий Капитолин (один из «Шести писателей»). «Кто хочет иметь об этом более точные сведения, пусть читает Мариа Максима из латинских историков, а из греческих — Геродиана, которые сообщали по большей части правдивые известия» (т. I, стр. 164, § 12). Вописк (также один из «Шести писателей») указывает на него тоже как на одного из историков, «которые предали памяти события не столько красноречиво, сколько правдиво» (т. II, стр. 187, § 2).

²² Acta urbis (буквально: «дела города») — городская газета, в которой в период от Цезаря до Августа сообщались также сенатские постановления и протоколы, а в последующее время — сведения об императорской фамилии, о приеме разных лиц, городские новости и др. О композиции этой газеты можно судить по подражанию ей у Петрония (гл. 53), где представлена дневная ведомость о событиях в имениях Тримакхиона. Лампридий (один из «Шести писателей») в биографии Коммода рассказывает, что сам император приказывал публиковать в этой газете сведения о своих самых скверных делах, «как об этом свидетельствуют сочинения Мариа Максима» (т. I, стр. 99, § 13).

Сочинение Мариа сохранялось довольно долго: не только «Шесть писателей» пользовались им, но и публика читала его охотно (может быть, благодаря пикантным рассказам, содержавшимся в нем). Аммиан Марцеллин (историк IV в.) так говорит о своих современниках: «Иные боятся науки, как яда, читают с большим вниманием только Ювенала и Мариа Максима и в своей глубокой праздности не берут в руки никакой другой книги» (XXVIII, 4, 14). Но дальнейших сведений о нем нет: может быть, причиной гибели этого сочинения было именно то, что «Шесть писателей» очень много материала почерпнули из него для своих сочинений.

Марий Максим написал биографии не всех правителей избранного им периода времени. Его дополнил Элий (или Юний) Корд (Aelius Cordus или Iunius Cordus), написавший биографии правителей «менее известных» — *obscuriores*. Так они названы Капнтолином (т. I, стр. 183, § 1), потому что о них было мало известно.

О жизни этого автора совсем ничего неизвестно; но, так как Корд упоминал об убийстве обоих Филиппов (императора и его сына в 249 г.), то, следовательно, он жил еще после этого события («Шесть писателей», т. II, стр. 50, § 4).

Сочинение его было очень низменного характера: он рассказывал «глупо и смешно» о вещах, «не стоящих упоминания», «о домашних удовольствиях и прочих самых низменных вещах», «сколько рабов имел каждый император, сколько друзей, сколько плащей, сколько раз выходил из дома, когда менял кушанья, когда менял платье, кого когда посылал в должности», «о вещах, знание которых ни на что не нужно»; рассказывал, конечно, и о любовных делах своих героев, рассказывал о наружности своих героев, — все это подробно, с точными цифрами, добавляя неизвестное своими вымыслами. Об исторической истине он мало заботился, так как главной целью его было дать интересный рассказ читателям. Так, читатели узнавали у него, что император Клодий Альбин натошак съел 500 вишневых ягод, 100 персиков, 10 арбузов, 20 фунтов винограда, 100 маленьких птичек, 400 устриц («Шесть писателей», т. I, стр. 162, § 11). Император Максимин будто бы съедал в день 60 фунтов мяса («Шесть писателей», т. II, стр. 5, § 4). Его рост был свыше 8 футов, а большой палец был такой толщины, что вместо кольца он носил жемчужный браслет («Шесть писателей», т. II, стр. 7, § 6).

Наконец, у Корда были и прямые подделки: он цитировал письмо того же Максимина, риторически составленное, которого Максимин сам составить не мог, потому что он был грубый, необразованный фракиец; для большего правдоподобия Корд прибавил, что письмо было продиктовано самим императором именно в этой форме («Шесть писателей», т. II, стр. 11, § 12).

Глава XIX

ПОЭЗИЯ III—V вв.

1. Введение. — 2. Серен Самоник. — 3. «Дистихи Катона» и «Изречения семи мудрецов». — 4. Немесиан. — 5. Авзоний. — 6. Авиан и «Ромул». — 7. Клавдий Клавдиан. — 8. Рутилий Намациан. — 9. «Кверол». — 10. Аполлинарий Сидоний. — 11. Малые поэты III—V вв. — 12. Латинская антология и анонимные стихотворения.

1. ВВЕДЕНИЕ

Социальные и идеологические противоречия, все более обострившиеся в течение четырехвекового существования «поздней» римской империи и нашедшие свое яркое отражение как в греческой литературе этого периода, так и у ряда римских прозаиков (Апулея, Аммиана Марцеллина и др.), оказали воздействие и на творчество поэтов: хотя это влияние выступает по большей части не так наглядно, но его можно обнаружить как в жанровых чертах поэтических произведений, так и в их содержании. Хотя и косвенным образом, подчас в беглых намеках, подчас в выборе самой темы, в поэзии также отражаются основные противоречия эпохи: между рабами и рабовладельцами, между остатками старого нобилитета и временщиками, между богатыми и деимущими, между все усиливающимся воинствующим христианством и угасающим язычеством, и, наконец, все яснее намечается раскол между двумя частями империи — Восточной и Западной, — из которых каждая по существу всегда жила своей собственной жизнью; некоторые императоры пытались заставить население обеих частей забыть об этом и затрачивали немало труда и на охрану границ, и на сглаживание внутренних противоречий, но как только рука Рима ослабевала, коренная разница в интересах, быте, воззрениях и культуре обеих половин империи выявлялась с полной силой.

Поэзия четырех веков поздней империи богата именами, но небогата значительными художественными произведениями. Общественное значение ее, по-видимому, было невелико, ей редко удавалось сказать свое оригинальное живое слово. В ней сильны традиции и подражание древним; многие стихотворения носят чисто личный характер, но не в смысле изображения подлинных душевных переживаний: они служат достижению материальных благ или высокого положения для их авторов; печальная роль «придворных» поэтов, к сожалению, выпала на долю двум наиболее талантливым представителям литературы — Авзонию и Клавдиану.

Наименее плодотворны для литературного творчества оказались II и III вв.; так называемый «золотой век» Антонинов, временно стабилизовавший строй императорского Рима и благотворно отразившийся на греческой литературе, не вызвал поэтического расцвета в литературе

римской; вполне понятно, III в., переполненный политическими и социальными бурями, тем более оказался почти бесплодным.

В IV и V вв. в римской литературе снова появляется ряд интересных поэтических произведений — уже в последний раз; в это время наряду с поэтами, всецело придерживающимися традиций античной языческой поэзии, выступают и одаренные поэты-христиане, творчество которых служит переходной ступенью к религиозной поэзии раннего средневековья.

Характерная черта этого времени — сравнительно большое число анонимных поэтических произведений, которые по своим художественным достоинствам превосходят стихотворения известных поэтов этой же эпохи. Не иссякает и источник эпиграмматического творчества. Но, как и в эпоху эллинизма, имевшую некоторые общие черты с поздним Римом, многие поэты понапрасну тратят свои силы на создание изощренных стихотворных фокусов, лишенных художественной ценности.

Тем не менее поздняя римская поэзия заслуживает тщательного изучения, путем которого раскрываются ее тесные связи с реальной жизнью эпохи; многие поэты прилагали усилия как раз к тому, чтобы уйти от этой реальной жизни, слишком тяжелой и гнетущей, стремились отгородиться от ее бедствий, уйти в мир узкой личной морали, и именно вследствие этого они ясно отразили в своих стихах настроения и тенденции своего времени.

2. СЕРЕН САМОНИК

Стихотворные наставления и предписания самого различного содержания уже издавна встречались в античной литературе. Жанр дидактической поэмы также очень древний. В греческой литературе Гесиод и Арат, в римской Лукреций дали прекрасные образцы этого рода поэзии, а Лукреций создал поистине всеобъемлющее творение. Однако в эпоху поздней империи в дидактической поэзии более чем когда-либо преобладают элементы практицизма, конкретного приложения уже известных знаний. Такова «Медицинская книга» (*Liber medicinalis*) Квинта Серена Самоника (*Q. Serenus Samonicus* или *Sammonicus*) — поэма в 1107 гексаметров, состоящая из вступления и 64 глав.

Известны два человека, носившие имя Серена Самоника, — отец и сын. Отец, плодовитый писатель и ученый, жил во время правления императоров Септимия Севера (193—211 гг.) и Каракаллы (211—217 гг.); в 212 г. по приказу последнего он был убит на пиру (Спартиан, «Жизнеописание Каракаллы», гл. 4,4). Он был обладателем огромной библиотеки, насчитывавшей около 62 тысяч сочинений. Серена Самоника-отца упоминает Макробий («Сатурналии», III, 16, 6). Что касается младшего Самоника, то он был другом Гордиана I (родился около 159 г.) и учителем Гордиана II (родился около 192 г.). Известно, что, умирая, он оставил своему ученику богатую библиотеку отца. Сама поэма к сожалению не дает никаких сведений о личности ее автора. Весьма скудные данные о нем содержатся в биографии Александра Севера, написанной Элием Лампридием («Жизнеописание Александра Севера», гл. 30, 4), где сказано, что наряду с трактатами Цицерона «Об обязанностях» и «О государстве», а также с произведениями Горация, Александр Север читал и Серена Самоника, «которого он лично знал и высоко ценил» (*quem ipse noverat et dilexerat*).

Существуют две точки зрения на авторство поэмы. Одни ученые считают ее творением отца, другие — сына. Следует сказать, что аргументы, приводимые в пользу Самоника-сына, более вески, однако вопрос этот

и до сего времени остается спорным. Несомненно, однако, что ее автор — человек, высоко образованный, превосходный знаток латинской поэзии и неплохой поэт. Полагают также, что Серен почерпнул эрудицию не только из книг, что он сам занимался медицинской практикой.

Поэма начинается с традиционного в римской литературе вступления — обращения к божеству, в данном случае к Фебу-Целителю:

Феб, вдохнови целебную песнь, что мы сочиняем:
 Это созданье твое благосклонным укрась одобрьем.
 Ты, овладевший искусством врача, возвращающий к жизни,
 Можешь и души умерших призвать на высокое небо.
 Ты обитаешь в Эгеях, в Пергаме живешь, в Эпидавре;
 Кожей дракона покрытый, ты занял Тарпейские выси
 В годы былые, и с ними гремевшие славою храмы,
 Прочь изгоняя недуги своею божественной волей.
 К нам снизойди, и теперь изложи на папирусе тонком
 Все, что, со мной говоря, ты поведал внимавшему жадно.

(Перевод Ю. Ф. Шульца)

Композиция поэмы характерна для многих медицинских сочинений. Болезни и способы их лечения излагаются «с головы до пят» (a capite ad calcem). Так, глава 1 посвящена лечению головной боли, а глава 41 — подагре, болезни ног. Начиная с главы 42 излагаются средства, применяемые при лечении различного рода ранений, укусов ядовитых животных, лихорадок. Особо сказано о ядах и противоядиях. Большую начитанность автора подтверждают многочисленные реминисценции из древних римских поэтов (Энний, Плавт) и поэтов классического периода (Лукреций, Вергилий, Гораций, Овидий). Поэтика Серена находится под несомненным влиянием Лукреция и его поэмы «О природе вещей». Источником медицинской поэмы Серена является прежде всего «Естественная история» Плиния Старшего и, вероятно, отчасти сочинение «О медицине» Корнелия Цельса.

Цель, которую поставил перед собой поэт, хорошо сформулирована в стихе 394:

Мы же для бедных должны целебные дать предписанья.
 (At nos pauperibus praecepta dicamus amica)

Отдавая дань своему времени, автор поэмы включил в нее ряд магических средств (например знаменитую «абракадабру»), но не они определяют ее истинное лицо; поэма интересна тем, что основной упор в ней делается на многочисленные целебные средства растительного и животного происхождения, нашедшие широкое применение.

В эпоху раннего средневековья поэма Серена была одной из самых популярных медицинских книг, неоднократно переписывалась и комментировалась. Она дошла до нас в многочисленных списках IX—XV вв. Под влиянием этой поэмы написано много медицинских (поэтических) сочинений V—IX вв. и в том числе ценный гуманистами эпохи Возрождения «Садик» (Hortulus) Валаффрида (Страбона), посвященный описанию лекарственных растений монастырского сада в Рейхенау. Знаменитый философ и врач Пьетро из Абано (1250—1316 гг.), умерший в застенках инквизиции, также знал поэму Серена. Первое издание ее вышло в свет в Милане около 1484 г.¹

¹ Перевод поэмы, сделанный Ю. Ф. Шульцем, вышел из печати Медгиз, 1961.

3. «ДИСТИХИ КАТОНА»
И «ИЗРЕЧЕНИЯ СЕМИ МУДРЕЦОВ»

Особым видом эпиграммы уже в греческой литературе были «гномы» — моральные сентенции, изложенные в стихотворной, легко запоминающейся форме. От римской литературы республиканского периода до нас таких стихотворных дидактических произведений не дошло, но «Поучение сыну» Катона Старшего, написанное прозой, переходя из поколения в поколение и вбирая в себя постепенно взгляды более поздних времен, стало по-видимому, тем прототипом, под который стали, так сказать, «подгонять» сборники практически-моральных изречений. Изложение такого свода обиходной морали в стихотворной форме напрашивалось само собой, особенно если учесть распространенность этой формы у стоиков и неопифагорейцев. Именно такая сводка правил практической мудрости — весьма практической, как мы увидим — дошла до нас в так называемых «Дистихах Катона» и в стихотворных «Изречениях семи мудрецов». Не обладая особенно высокими художественными достоинствами, эти произведения дают ясное представление о ходячей морали, пригодной для среднего человека в императорском Риме².

Точно определить время составления сборника не удалось. От IV в. н. э. сохранились надписи, использующие отдельные изречения, а в письме Виндициана, советника императора Валентиниана, имеется уже ссылка на сборник, якобы написанный неким «Катоном». Итак, в IV в. этот сборник уже существовал. Влияние христианской морали на нем еще не отразилось, хотя скептическое отношение к языческим верованиям и обрядам уже проступает то тут, то там, но оно не носит того патетического обличительного характера, который присущ сочинениям писателей раннехристианского периода, боровшихся в то время за власть над умами. Интересно отметить, что, несмотря на отсутствие специфических черт христианского правоучения, этот сборник пользовался впоследствии чрезвычайно широким распространением и уважением в средневековых монастырских школах в качестве учебного материала. Легкий по языку и по содержанию, практически применимый в житийском обиходе, он был очень подходящим материалом для школьников. Кроме значительного количества рукописей, сохранивших нам латинский оригинал, имеется огромное число подражаний и переводов, начиная с IX и вплоть до XVIII в. Нередко для этих переводов пользовались не только языками крупных народностей (старо-французским, средне-верхне-немецким и древнеанглийским), но и языками малых стран (ирландским и чешским), и даже диалектами (лотарингским, энгадинским и др.).

На малоизвестном валлийском (кельтском) языке тоже имелось несколько переводов.

Имя Катона, стоящее во многих рукописях как имя составителя сборника, едва ли является его подлинным именем; это имя в течение веков стало просто символом строгого учителя морали; заголовки рукописей имеют явно подражательный характер: *Dicta Marci Catonis ad filium suum*, *Marci Catonis ad filium salutem* и *libri Catonis philosophi*, автор одной рукописи, очевидно, не отличал Катона от другого римского моралиста, Сенеки, тоже неоднократно использованного в средние века, и приложил к Катону прозвище «Кордуанский» (*Cordubensis*) (Кордуба — родина Сенеки). Уже из этого видно, что имя Катона является только литературной фикцией.

² Они собраны в III томе изданных Э. Беренсом «*Poetae latini minores*» (1-е изд. — 1882; 2-е изд. — 1914. Лейпциг, Тейбнер).

Если бы Катон Старший мог прочесть сборник, который носил его имя, он был бы чрезвычайно удивлен тем полным отсутствием общественного сознания, чувства любви к своему отечеству и государству, которое господствует в сборнике; для римлянина времен республики государственная жизнь и обязанности каждого римского гражданина по отношению к ней были основой всей его моральной системы. Напротив, в сборнике «Дистихи Катона» изложена только мораль индивидуального, частного человека. Эта мораль узка, часто себялюбива, даже враждебна людям и скорее предостерегает от дурных последствий злых поступков, чем учит добрым.

Общее число дистихов — 144; они разделены на четыре книги (в кн. I — 40 дистихов, кн. II — 31, кн. III — 24, кн. IV — 49), но какой-либо системы в расположении их установить нельзя; сентенции общего характера беспорядочно сменяются мелкими житейскими правилами; довольно часты повторения одних и тех же мыслей. Возможно, что разделение на четыре книги было сделано не составителем сборника, а одним из позднейших редакторов. Это тем более вероятно, что II, III и IV книгам предосланы стихотворные прологи, явно отличающиеся по стилю от самих дистихов, а всему сборнику предшествует введение в форме письма к сыну, подлинность которого тоже берется под сомнение. В этом письме говорится следующее: «Когда я увидел, как много людей тяжело заблуждается во всем, что касается нравов, я счел нужным укрепить их мысли и позаботиться о добром имени, чтобы они могли провести жизнь со славой и стать достойными людьми. А сейчас тебя, дорогой мой сын, я научу, каким образом ты должен заботиться о своих душевных нравах. Читай мои предписания так, чтобы понять их. Ибо читать правила и не понимать их, значит — пренебрегать ими». Последняя фраза — типичный риторический фокус, который все же дает основания предполагать, что данное введение — не поздняя подделка, а оригинал (*legere enim et non intellegere negligere est*).

Кроме этого введения в рукописях имеется 57 кратких изречений в прозе, сухих и плоских по содержанию. Эти изречения дают полный кодекс обиходной практической морали и по своему уровню значительно ниже дистихов: кроме прописных истин (люби родителей, родственников, жену, обучай детей, читай книги, избегай продажных женщин, пей умеренно) даются и советы насчет имущества (береги свое добро, смотри, кому даешь) и личного поведения (будь вежлив, будь прилежен); имеются и некоторые забавные советы, например «снй достаточно» и «на нравах говори поменьше».

О соотношении этих прозаических изречений с дистихами высказывались разные предположения: их считали то оглавлением, предшествующим дистихам, то, напротив, сокращенным изложением их; однако содержание их не подтверждает ни того, ни другого. Вернее, они просто включены в общий сборник дидактического характера, тем более, что после дистихов (в некоторых рукописях) имеется еще приложение (*appendix*) тоже в дистихах и ряд изречений по одному стиху (моностихов), трактующих те же темы, но в еще более сжатой форме. Происхождение их и время составления этих добавлений также неизвестно.

Термин «дистих» обычно прилагается к двустишию, состоящему из гексаметра и пентаметра. Дистихи Катона не подчиняются этому правилу — они состоят из двух гексаметров.

Познакомимся несколько ближе с той системой мировоззрения, которая изложена в дистихах. Взгляд на жизнь по сравнению с древними рим-

скими временами круто изменился — отношение к жизни по большей части отрицательное, и мысль о смерти повторяется постоянно.

Жизнь непрочна и хрупка — верны одни лишь невзгоды³.
 День, что истек без потерь ты должен записывать в прибыль.
 (I, 33)
 Накрепко помни всегда, что смерти страшиться не надо.
 Если она и не блага, она — окончание бедствий.
 (III, 22)
 Что тебе рок принесет, об этом не думай заранее.
 Смерти страшиться не станет, кто жизнь презирать научился.
 (IV, 22)

Мотив использования радостей жизни, так блестяще развернутый когда-то Горацием, находит свой слабый отклик и в этих дистихах.

Смерти не надо бояться: подумай, насколько нелепо,
 Смерти боясь, отказаться от радостей жизни цветущей.
 (II, 3)

В жизни все случайно: иногда кажется, что в ней есть какая-то справедливость и возмездие:

Ты не сердись на судьбу, если в гору идет недостойный;
 Злым потакает Фортуна... чтоб после их глубже низвергнуть.
 (III, 23)

Иногда, напротив, автор предостерегает от такого, слишком примитивного, представления о миропорядке:

Если нежданно погибает злодей, то не радуйся слишком,
 Часто ведь гибнет и тот, чья жизнь протекла беспорочно.
 (IV, 46)

Вообще же дается совет — думать только о своей собственной жизни; жизнь и смерть других людей не должна ни радовать, ни огорчать:

Жизнь, которой владеем, — то дар непрочный и хрупкий.
 Пусть никогда тебе смерть чужая не будет на радость.
 (I, 16)

В некоторых рукописях после IV книги вставлено несколько добавочных дистихов, один из которых гласит:

Радуйся жизни своей, о смерти чужой не крушися.
 Что ты боишься о том, кто боли уже не доступен?
 (Приложение, 1)

Общих философских мыслей в дистихах встречается мало; в них преобладает скептицизм и стремление устроить только свою личную судьбу, по возможности избегая бедствий.

Правят ли нами бессмертные боги, узнать не старайся.
 Помни, ты — смертный и должен заботиться только о смертном.
 (II, 2)

³ Перевод дистихов Катона сделал М. Грабарь-Пассек.

Если ты сам неразумен и дело ведешь неразумно,
Что ты Фортуну слепую зовешь? Нет Фортуны на свете.

(IV, 3)

Надо заметить, что в сборнике нет никакого следа мистики и суеверий, столь распространенных в первые века империи: мы видели, что такой образованный человек, как Плиний Младший, совершенно серьезно переписывался со своими друзьями о значении снов и о существовании призраков («Письма», I, 18). В данном же сборнике мы находим, напротив, такое верное психологическое наблюдение.

Ты сповишь не верь: чего на яву ты желаешь,
Это же самое ночью ты видишь во сне пред собою.

(II, 31)

В следующей сентенции также отражается очень трезвый взгляд на жизнь.

Богу кури фимиама, а волю полезней для плуга.
Думаешь ты неужель, что богам убийство приятно.

(IV, 33)

Наиболее выразительно и жестко высказан безнадежный, даже страшный взгляд на человеческую жизнь в следующем дистихе:

Если ты страхом объят перед зверем диким, то вспомни:
Страшно одно — человек; его лишь и надо бояться.

(IV, 11)⁴

Однако, каким-то образом надо было все-таки устраивать свою жизнь и пытаться не только не страдать, но и приобретать некоторые блага — достаток и уважение. Практические советы о том, как именно это сделать, — основное содержание сборника, они привлекают к себе главный интерес его составителя. В этой тяжелой и сложной жизни надо приобрести оружие для борьбы с ней: таким оружием служит, с одной стороны, знание и умение, с другой — хитрость и ловкость.

Если ты много учишься и знанием обширным владеешь,
Дальше учишься, — и жизнь тебе знаний немало прибавит.

(IV, 48)

Что-нибудь делать умей; если счастье внезапно покинет,
Век не покинет умение и жизнь облегчит человеку.

(IV, 19)

Если имешь детей, но беден — учи их ремеслам.
Смогут себя защитить и со скудной жизнью бороться.

(I, 28)

Мораль «золотой середины» и полной покорности судьбе тоже нашла себе место в дистихах.

То, что доступно тебе, то и сделать пытайся и чели свой
Ближе веди к берегам — не пускайся в открытое море.

(IV, 33)

⁴ Этот дистих напоминает письмо Сенеки к Луцилию № 103 (см. гл. IV).

Лишних вещей избегай; запомни: будь малым доволен —
Лодка плывет безопасно по водам реки неглубокой.

(II, 6)

Помни, природа тебя родила нагим и бессильным.
Бедность и гнет потому ты должен нести терпеливо.

(I, 21)

Эта практическая мораль мелкого обывателя предлагает, однако, и ряд средств самозащиты, советует использовать все то, что может быть выгодно.

Если кто телом тщедушен, его презирать ты не вздумай.
Мудростью часто богат, кто, телесною силою беден.

(II, 9)

Во-время всем уступай, кто тебя, как ты знаешь, сильнее.
Знай, победитель нередко бывал побежден побежденным.

(III, 10)

То, что на пользу тебе, упускать никогда ты не должен.
Случай сегодня кудряв, а завтра, глядишь, облысеет.

(III, 26)

Наконец, дается совет не избегать и прямого обмана:

С тем, кто неверен тебе, что лжет душой и словами,
Можешь неискреним быть; пусть с ловкостью ловкость поспорит!

(I, 26)

Еще более жестокое правило поведения рекомендуется в «Приложении»

Ты оскорблен и не смог отомстить — ты должен таиться.
Тот, кто месть затаит, тот будет для всякого страшен.

(Приложение, 4)

Лишь изредка дается совет все же думать и о своей собственной доброй славе:

Помни, не слишком заботься о счастья дарах мимолетных.
Добрая слава дается не деньгам твоим, а поступкам.

(III, 9)

Наиболее ясно отразилась та тяжелая историческая обстановка, в которой сложился данный сборник, в неоднократно повторяющихся советах быть осторожным, скрытным и молчаливым:

С многоречивым не вздумай в речах состязаться и спорить.
Речь дарована всем, а мудрость духа — немногим.

(I, 10)

Рассказням глухим не верь, не будь передатчиком слухов.
Многим во вред болтовня — никому не вредило молчанье.

(II, 12)

Между пирующих будь на язык и сдержан, и скромней,
Если не быть болтуном, а изысканно тонким ты хочешь.

(III, 19)

Интересно отметить, что в этом дистихе сохранилось любимое слово Ципцерона *utbanus*, для этого времени уже звучавшее по-старинному.

Однако, избегая болтливости, самому следует остерегаться и избегать молчаливых людей:

Тех, кто мысли таит, кто много молчит, опасайся.
Мирно струпится река, но глубокие гибельны воды.
(IV, 31)

Некоторое доверие к силе законов выражено в двух связанных между собою изречениях:

Если тебя не по праву обидают — пусть суд выручает.
Сами законы хотят, чтоб за помощью к ним обращались.
Ты по заслугам наказан? Неси приговор терпеливо.
Если ты сам виноват, умей себе быть и судьбою.
(III, 16—17)

Единственным дистихом, в котором, может быть, отразилось христианское влияние, можно считать следующий, пользующийся терминами *peccare* («грешить») и *castigare* (качать):

Если ты в чем-нибудь грешен, карай себя сам покаяньем,
Рану излечишь свою: ведь боль исцеляется болью.
(IV, 40)

Чисто бытовые черты тоже нашли свой отклик в дистихах, например:

Чти одинаково свято обоих родителей милых:
Мать не посмей обижать, желая к отцу подольститься.
(III, 24)

Наоборот, проявлять большое уважение к жене автор не рекомендует:

Ты не гонись за приданым певесты; тем легче, женившись,
Сможешь разделаться с ней, когда тебе станет противна.
(III, 12)
Знай, ни гневу жены, ни слезам поддаваться не надо.
Помпи, что женщина, плача, уже замышляет коварство.
(III, 20)
Если жена недовольна служанками, лучше не верить.
Тех, кого любит сунруг, жена никогда не полюбит.
(I, 8)

Наконец, дается полезный совет мужчинам, который, пожалуй, сохраняет свою свежесть до наших дней:

Коль набуянил в хмелю, себе не ищи оправданья.
«Я-де был пьян», неповинно вино; ты, пивший, виновен.
(II, 21)

Книга IV замыкается очень удачным дистихом, определяющим задачу данной литературной формы:

Странно тебе, что стихи пишу я словами простыми.
Краткость родит их: одной они мыслью скованы в пары.
(IV, 49)

Второй дидактический «свод» моральных правил — «Изречения семи мудрецов» — не приписывается никакому определенному лицу, но, несомненно, принадлежит одному автору. Он представляет собой изящное

метрическое построение: мысли, влагаемые в уста каждого из семи мудрецов, изложены особым размером: Биант Приенский говорит гексаметром, Питтак Митиленский — шестистопным ямбом, Клеобул Линдский — малым асклепиадовым стихом, Периаандр Коринфский — гендекасиллабами, Солон Афинский — восьмистопным хореем, Хилон Спартанский — гликонесом и ферекратесом, Анахарсис Скиф — пентаметром. Стих всех семи разделов легок и звучен, мысли выражены кратко и ясно. Каждый раздел состоит из семи стихотворных строк.

По своему содержанию «Изречения» очень схожи с диестихами Катона: тот же скептицизм и неверие в жизнь, та же обиходная, неглубокая мораль. Лишь изредка попадаются более серьезные и благородные мысли, как например ⁵:

Пусть не внушу слабому страх или презренье сильным

Если добро ты совершил, помнить о том не надо;
Помни всегда ты о добре, что для тебя свершили.

(Хилон)

Лучше, если благородным ты воспитан, не рожден.

(Солон)

Намек на императоров-тираннов, может быть, скрывается в стихе Периаандра:

Пусть страшится людей, кто страшен людям.

Ходячая философская истина выражена в стихе Анахарсиса:

Жизнь пролетит, но вовек слава се не умрет.

В гексаметрах «Бианта Приенского» дана сводка практической мудрости с тем же налетом глубокого пессимизма, что и в диестихах Катона:

В чем величайшее благо? В уме справедливом и честном.
В чем человека погибель тайтся? В другом человеке.
Кто всех богаче? Кто малым доволен. Кто нищ? Ненасытный.
Женщину что украшает? Ее целомудрие в жизни.
Кто целомудренна? Та, пред которой молва умолкает.
Как поступает разумный? Он может вредить, но не хочет.
Как поступает глупец? Не может вредить он, но хочет.

Те же мысли о ненадежности и непрочности жизни и счастья, проповедь равнодушного и легкомысленного отношения к ней выражены так в стихах Солона:

Если жребий предначертан, то чего нам избегать?
Если ж все неверно в мире, то чего бояться нам?

То же и в стихах Периаандра:

Если счастье с тобой, к чему тревоги?
Если против тебя, к чему старанья?

Эта печальная «мудрость» была единственной помощью для тех, кто ясно видел гибель своего государства, жизненного уклада и быта перед натиском новых свежих сил.

⁵ Перевод «Изречений семи мудрецов» сделан Ю. Ф. Шульцем.

4. НЕМЕСИАН

Уже со времен эллинизма наряду с большим эпосом и мифологическим эпиллием возникла буколика, заключающая в себе значительные элементы лирики. «Эклоги» Вергилия, по поэтичности уступающие своему образцу — «Идиллиям» Феокрита, тем не менее, усилив политические моменты, создали новый тип идиллии; буколики Кальпурния сгустили политические намеки, рассеянные у Вергилия, до такой беззащитной лести Нерону, что поэтическое мастерство, которым Кальпурний несомненно владеет, отступает на задний план: последним римским буколическим поэтом является Немесиан (M. Aurelius Olympius Nemesianus — III в. н. э.), от которого дошли четыре эклоги и начало эпической поэмы «О псовой охоте».

Точных биографических данных о поэте Немесиане не имеется. Из античных писателей его имя упоминается только у Флавия Вописка в биографии Нумериана, одного из сыновей императора Кара. («Шесть писателей истории императоров», биография Нумериана, 11,2). Нумериан был, по сообщению Вописка, очень известным оратором и «говорят, так хорошо сочинял стихи, что превосходил всех поэтов своего времени; он состязался и с Олимпиєм Немесианом, который написал поэмы о рыбной ловле, о псовой охоте и о мореплавании [*thalientica, synegetica et nautica*] и блистал, увенчанный многими венками». Упоминание о второй из перечисленных поэм встречается и в средние века, в письме епископа Гинкмара реймского (IX в.), который вспоминает, как он, «будучи школьником, читал об охотниках в книге Аврелия карфагенянина под заглавием *Synegeticon*» Несмотря на различие имен («Олимпий» и «Аврелий»), предполагают, что речь идет об одном и том же лице.

Поэма «о псовой охоте», дошедшая до нас не полностью, поддается вполне точной датировке: поэт обращается в ней к обоим сыновьям Кара, Нумериану и Карину, и обещает воспеть их победы, одного — над германцами (Карина), другого — над персами и парфянами (Нумериана); известно, что в 283 г., возвращаясь с похода против персов и парфян после смерти своего отца Кара (в 282 г.), Нумериан погиб; императором был провозглашен Диоклетиан, вскоре (в 284 г.) разбивший и войска Карина в Галлии. Таким образом, поэма Немесиана может относиться только к 283 г. В рукописях она помещается с поэмами Овидия «О рыбной ловле» и Граттия «О псовой охоте».

Кроме этой поэмы Немесиану приписываются еще четыре буколических стихотворения, помещенные в ряде рукописей XV и XVI вв. непосредственно после эклог Кальпурния с пометками: «конец эклог Кальпурния; первая эклога Аврелия Немесиана поэта Карфагенского».

Анализ этих эклог показывает, что они значительно отличаются от эклог Кальпурния и метрикой, и лексикой. В поэтическом отношении они, как и стихотворения Кальпурния, не очень значительны.

Из Поэмы *Synegetica* дошли до нас первые 325 стихов. К своей основной теме поэт подходит только после 100-го стиха, а далее на протяжении 200 стихов — подробно и крайне натуралистично — успевает рассказать только о случае охотничьих собак, о рождении и воспитании щенят и о породах коней, пригодных для охоты.

Интересно отметить, что даже в изложении такой специальной темы торговые мировые связи Рима ясно отразились: автор остерегает охотника от приверженности только к прежним знаменитым породам говчих, спартанской и молосской, и рекомендует дрессировать щенят из Британ-

пин, Паннонии, Испании и Ливии, а также породу этрусских собак, не очень резвых, но обладающих исключительным чутьем. Переходя к коням, он хвалит также, помимо прославленных греческих лошадей, породу горных испанских коней с «крутых вершин Кальпы» (Гибралтар), коней из Эфиопии (*Maurusia tellus*), некрасивых и головастых, но оставляющих за собой на далеких пробегах лучших скакунов и повинующихся легчайшему прикосновению уздечки.

С чисто литературной точки зрения интересны первые 100 стихов поэмы. Автор начинает поэму пышным вступлением⁶:

Сотни охотничьих троп и охотника труд беспечальный
 Ныне пою; и о быстрой погоне, о вольных сраженьях
 Все расскажу я — вознялся мне в грудь Аонийские стрелы.
 Жаром объята она. Меня Геликон посылает
 В путь по широким полям; наполняет питомец Кастальский
 Новую чашу струей из ручья и для жатвы обильной
 В иго впрягает поэта; вепок из плюща возложивши,
 Гонит его по тропе непроезжей; доселе неведом
 Был ей след колеса. О, как сладко быть богу послушным!
 Мчат колесницу златую везит он по травам зеленым
 И проноситься вперед по несмятому пыльному моху.

(ст. 1—11)

С мнением Немесиана о «свежести» его темы никак нельзя согласиться. Кроме прозаического сочинения Ксенофонта, ту же тему воспел на греческом языке Оппиан⁷ и на латинском — Гратий⁸.

Эта пышная тирада переходит в резкую полемику с эпическими поэтами, бесконечно перенесящими одни и те же мелодии — о плачущей Ниобее, о Семеле, сожженной огнем Зевса, о Филомеле, Фаэтоне, Кикне, Мееде и Кирке. После краткого обращения к двум молодым императорам, сыновьям Кара, поэт опять в пышном стиле призывает Диану, прося ее покровительства, а потом немедленно, без всякого перехода, начинает говорить о воспитании охотничьих собак. Этот неожиданный переход от пышного пролога к прозаизмам и техническим терминам псарни несколько смейон. И только в четырех стихах прорывается та подлинная живая мысль автора, которая заставляет поверить, что его тема ему действительно мила:

Всякий, кто страстью к охоте охвачен, последуй за мною,
 Если клянешь ты усобиц вражду и безумные смуты,
 Коль от гражданских волнений бежишь и от грома сражений,
 И на морях ненадежных богатой наживы не ищешь.

(ст. 99—102)

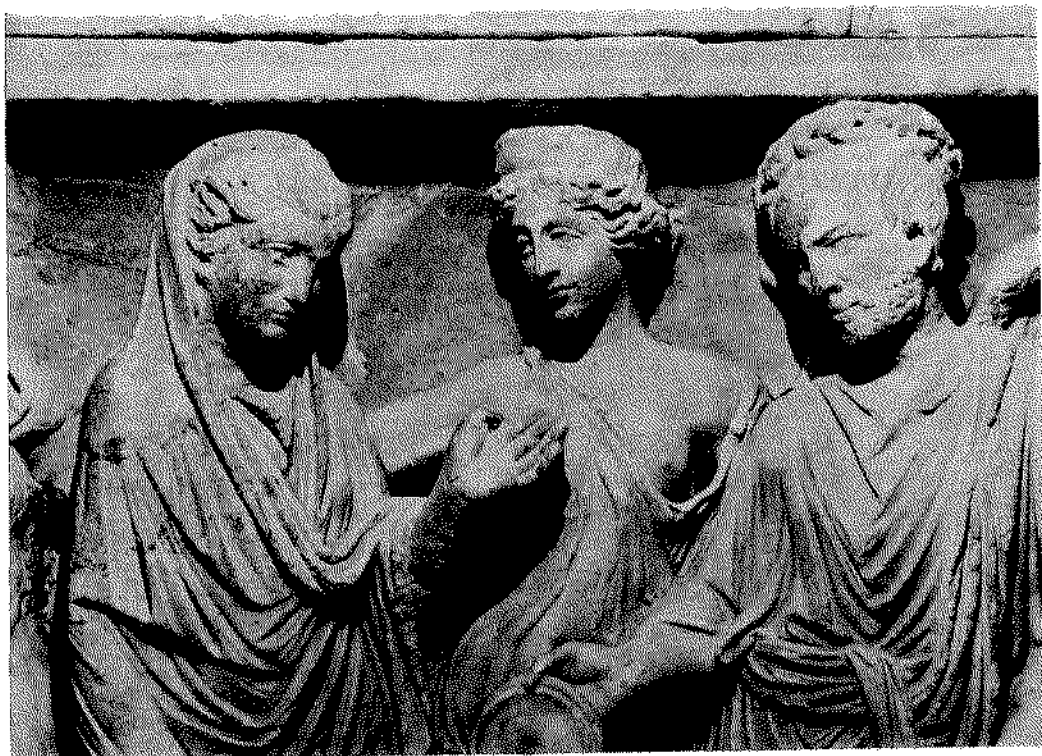
Эти стихи дают ключ не только к данной поэме, которая сама по себе незначительна, но ко всей литературе этого времени. Ее основное настроение — бегство от жизни, страх, отвращение и утомление.

Подобным же бегством от жизни является и сочинение «пастушеских» стихотворений. Четыре эклога Немесиана написаны легким и звонким

⁶ Переводы из Немесиана сделаны М. Грабарь-Пассек.

⁷ См. «Историю греческой литературы», т. III. М., Изд-во АН СССР, 1960, гл. XIV.

⁸ См. «Историю римской литературы», т. I. М., Изд-во АН СССР, 1959, гл. XXIX.



*Свадьба
(деталь стенки римского саркофага)*

стихом, но насквозь подражательны и по содержанию малозначительны. Главное их достоинство — то, что в них нет того непомерного политического низкопоклонства, которым переполнены эклоги Кальпурния; никто не сравнивается ни с Марсом, ни с Аполлоном, не говорится о «золотом веке», пришедшем на землю при императорах.

Первая эклога является, по-видимому, посмертным панегириком какого-то поэта, которого автор называет Мелибеем, как было принято называть Вергилия; однако это стихотворение относится не к Вергилию, так как несколько раз подчеркивается, что умерший дожил до глубокой старости:

Долгими счастья годами и кругом последнего века
Сроки жизни твоей замкнулись, невинной и чистой.

(I, 41—45)

Третья эклога варьирует тему VIII эклоги Вергилия: там мальчишки-пастухи, связав Силена, потребовали от него песни: здесь дети, украв у сиящего Пана флейту, извлекают из нее такие ужасные звуки, что Пан просыпается и поет им песню о празднике Вакха; вакханалия описана довольно живо и красочно, но единственная оригинальная черта, — пожалуй, то, что Вакх поит вином даже везущих его рысей (*Lynci praebet cratera bibenti*).

Вторая и четвертая эклоги — обычные состязания между двумя певцами: во второй — оба певца воспевают одну и ту же жестокую Донаку, в четвертой объекты их любви различны, но оба слагают сходные строфы — по пяти стихов каждый (не по четыре, как обычно) и заканчивают одним и тем же рефреном:

Пусть, кто любит, поет — печаль утоляется песней.
Cantet, amat quod quisque — levant et carmina curas.

Все эклоги переполнены мотивами из Феокрита, который использован больше, чем Вергилий.

Так, мотив из I идиллии Феокрита, что после смерти Дафниса все в природе изменится, варьируется здесь так:

Будут скорее толени пастись на засушливых землях.
Лев станет жить возле моря, с деревьев лесных будет капать
Мед благовонный; скорее оливы поспеют средь лета,
В осень цветы расцветут, и созреет весной виноградник,
Раньше, чем я Мелибея на флейте хвалить перестану.

(I, 75—80)

Но то, что у Феокрита лирически обосновано — смерть юного Дафниса противоестественна и природа должна быть возмущена ею, — здесь является только многословным обещанием не забыть умершего Мелибея.

Еще менее удачно варьированы следующие два стиха из X идиллии Феокрита:

Козочка ищет травы и гоняется волк за козю
Плуг провожают грачи, а я — на тебе помешался.

Здесь наивный влюбленный обращается к своей возлюбленной. У Немесиана ситуация обратная и притом дана так сказать в «мировом масштабе»:

Лань бежит за самцом, к бычку подбегает телушка,
Даже волчиц укрощает любовь и свирепую львицу,
Все пернатое племя и рыб несметные стаи,
Горы крутые, леса и деревья любовь покоряет.
Ты лишь одна убегаешь; меня оставляя несчастным.

(IV, 26—30)

Что понимал поэт под «любовью гор и лесов», было, по-видимому, ясно только ему, если не подразумевать под этим мифы о превращении Дафны или о любви между дриадами, ореадами и богами, что для такого врага мифологии, как Немесиан, представляется маловероятным.

5. АВЗОНИИ

Децим Магн Авзоний (D. Magnus Ausonius) родился в начале IV в. н. э. в Бурдигале (нынешнем Бордо), где его отец был врачом. Образование он получил сперва в родном городе, потом в университете в Толозе, где его дядя Эмилиий Арборий был профессором; после отъезда дяди в Константинополь Авзоний вернулся на родину, закончил университет в Бурдигале и остался там же профессором; в течение 30 лет он преподавал грамматику и риторику и пользовался настолько большим успехом, что был вызван императором Валентинианом в Трир в качестве воспитателя его сына и наследника Грациана (в 364 г.). В течение следующих 20 лет на долю Авзония выпало много почестей: он сопровождал Валентиниана в поход против аламаннов, а в правление Грациана управлял вместе со своим сыном Геспериом сперва Галлией, потом Италией, Иллирией и Африкой. После убийства Грациана в 383 г. Авзоний вернулся на родину в Бурдигалу и прожил там, по-видимому, еще около 10 лет. Год смерти его точно неизвестен.

Произведения Авзония очень разнообразны и в то же время однообразны — в них отражаются огромные версификаторские способности без глубокого поэтического дарования. Характер его творчества несколько напоминает творчество такого же ловкого импровизатора и стихотворца I в. н. э., Папиния Стация, хотя Авзоний, будучи значительно образованнее, обладает и более широким кругозором; в его стихотворениях более ясно отражается его эпоха.

В IV в. после ранней гибели Юлиана христианство стало бесспорно господствующей религией, потому что из всех последующих императоров ни один не был язычником. Валентиниан, однако, исповедуя сам христианскую религию, попытался проводить политику широкой веротерпимости и обеспечить обоим религиям равные права. Что касается литературы, то для нее разрыв с языческой религией и мифологией был в эту пору еще совершенно невозможен — христианство не создало еще своего литературного языка, особенно в поэзии, и кроме Коммодiana (поэта, жизнь которого принято, хотя и не вполне достоверно, датировать III в.) не выдвинуло еще ни одного значительного поэта; первые творцы чисто христианских гимнов, Амвросий Медиоланский, Пруденций и Меровий Павлин были современниками Авзония, а последний даже его любимейшим учеником. Обучение в школах и в университетах проводилось исключительно на произведениях языческих писателей, и у большин-

ства поэтов IV и V вв., формально принадлежавших к христианской церкви, все произведения переполнены языческими образами и понятиями.

Наиболее ярким представителем «интеллигенции» этой переходной эпохи является именно Авзоний. В том, что он был христианином, сомневаться нельзя; от него сохранились «Пасхальные стихи» (*Versus paschales*), а в его письмах есть упоминания о том, что он должен проводить этот праздник в городе по распоряжению императора. В стихотворение, описывающее проведение им целого дня, он вводит «утреннюю молитву». Однако его принадлежность к этой религии ограничивалась, по-видимому, выполнением некоторых обрядов, сердце же его полностью принадлежало красоте античной поэзии, ораторского искусства и эпистолографии. Во всех этих жанрах Авзоний испробовал свои силы, и собрание его произведений составляет довольно увесистый том, хотя сами его стихотворения обычно невелики по размеру.

В версификаторском искусстве Авзоний, пожалуй, не знает себе равных. Он свободно владеет всеми известными в античной поэзии размерами и охотно играет ими, меняя их несколько раз в одном и том же цикле стихотворений.

Стихотворения Авзония, по-видимому, он сам объединил по темам:

1. «Эфемерида или проведение всего дня» — ряд стихотворений, начинающийся шуточно-торжественной сапфической одой к заспавшемуся ученику:

Утра ясный свет проникает в окна,
Бодрая шуршит над гнездом касатка,
Ты же, Парменон, как заснул, доселе
Спишь беспробудно.



Поэт и музы

(рельеф римской работы III в. н. э.)

Встань, лентяй, не жди, чтобы взял я розгу.
 Встань, да не придет вечный сон, откуда
 Ты не ждешь. Воспрянь, Парменон, скорее
 С мягкого ложа!...
 Может быть, тебе навевает дрему
 Сладкий звук сапфического размера?
 Разгони же пегу лесбийских песен,
 Ямб острозубый!

(Перевод М. Л. Гаспарова)

Странное впечатление производит написанная звучным гексаметром утренняя молитва, в которой мирно уживаются библейские имена Адама и Давида с богиней Эос. Последнее стихотворение этого цикла довольно живо описывает смену ночных сновидений.

2. Авзоний был сильно привязан к собственной семье, к учителям и товарищам и посвятил надгробное слово своему отцу (одно из лучших произведений Авзония), 30 стихотворений родственникам (этот цикл носит название *Parentalia*) и 26 стихотворений своим учителям и сослуживцам по университету в Бордо (*Commemoratio professorum Burdigalensium*); и в том, и в другом цикле он варьирует только размеры, но содержание стихотворений однообразно. Наиболее задушевно звучит пролог ко второму циклу:

Вас я теперь вспомню; нас с вами не кровь породила,
 Нет,—но людская молва, к родиве милой любовь,
 Наше в науках усердье, забота о наших питомцах,
 Нас породили,— но смерть славных мужей унесла.
 Может быть, годы пройдут — моему подражая примеру,
 Кто-нибудь, нас вспомянув, наши все тени почтит.

(Перевод М. Е. Грабарь-Пассек)

Приведем еще два стихотворения из этого же цикла.

Викторию, помощнику преподавателя или просколоу

Ты, Викторий, проворным умом и памятью острой
 В книгах, неведомых нам, тайн сокровенных искал.
 Святил, угодье червей, ты любил разворачивать больше,
 Нежели дело свое делать, как должно тебе.
 Все — договоры жрецов, родословья, какие до Нумы
 Вел, из древнейших веков первосвященник-сабин,
 Все, что Кастор сказал о владыках загадочных, все, что,
 Выбрав из мужниных книг, миру Родопа дала,
 Древних уставы жрецов, приговоры старинных квиритов,
 То, что решал сенат, то, что Дракон и Солон
 Дали афинянам, то, что Залевк — италийским локрийцам,
 То, что людям — Минос, то, что Фемиды — богам,—
 Все это лучше знакомо тебе, чем Вергилий и Туллий,
 Лучше, чем то, что хранит Лаций в анналах своих.
 Может быть, ты и до них дошел бы в своих разысканьях,
 Если бы парка тебе не перерезала путь.
 Мало почета тебе принесла нашей кафедры слава:
 Только грамматикки вкус ты ощутил на губах.
 Большого ты не достиг, и в Кумах скончался далеких,
 Путь совершивши туда из Сицилийской земли.
 Но, упомянутый мною в ряду именитых и славных,
 Радуясь, если мое слово дойдет до теней.

З а к л ю ч е н и е

Прощайте же, о тени славных риторов,
 Прощайте же, ученые,
 История ли вас или поэзия,
 Дела ли шумных форумов,
 Платонова ли мудрость, врачеванье ли
 Вовеки вас прославили.
 И если мертвым от живущих радостны
 Внимание и почести,
 Мою примите эту песню скорбную,
 Из слез и жалоб тканую.
 Покоюсь мирно под плитой могильною,
 В людской живите памяти,
 Доколе не наступит, богу ведомый,
 День, в коем все мы встретимся.

(Перевод М. Л. Гаспарова)

3. Исключительно формальными школьными стихотворными упражнениями являются: а) эпитафии на героев троянской войны и на гробницы различных лиц; б) четверостишия, характеризующие императоров, написанные Авзонием для его сына Гесперия, очевидно, в то время школьника и в) характеристики крупных городов римской империи; самое длинное и наиболее теплое стихотворение Авзоний посвящает, конечно, родному городу.

4. В довольно большом сборнике эпиграмм не все принадлежат самому Авзонию; некоторые эпиграммы переведены с греческого, другие варьируют одну и ту же тему, комбинируя перевод с собственными стихами, в некоторых даже перемежаются греческие и латинские стихи. Авзоний прекрасно владеет элегическим дистихом и некоторые переводы его полностью передают греческий оригинал, а подражательные эпиграммы вполне сохраняют стиль эллинистических изящных «безделушек». Приводим два примера:

I

Книдская Киприда Праксителя

Книдскую раз увидав Киприду, сказала Венера:
 «Голой, уверена я, зрел ты, Пракситель, меня.
 «Нет, я не зрел, да и грех; но железом ведь все мы ваем,
 А над железом вся власть Марсу Градиву дана».
 Зная ж, какою мила Киферея владыке, железный
 Этот резец изваял точно такую ее.

(Перевод Ф. А. Петровского)

II

На статую Венеры в доспехах

Раз увидала Паллада Венеру в военных доспехах,
 «Мы за Париса теперь можем сразиться с тобой».
 «Дерзкая, как ты посмеешь со мною в оружьи сражаться,
 Если, нагая, в тот день я победила тебя?»

(Перевод М. Е. Грабарь-Наскен)

5. Лирический характер — насколько лирика вообще может быть доступна этому ученому суховатому версификатору — имеют несколько стихотворений к пленнице Биссуле, которая досталась Авзонно в качестве военной добычи в аламанском походе и которую он называет «очарованьем, прелестью, игрушкой, любовью, наслаждением», а ее варварское имя «безобразным для непривычных, но изящнейшим для ее господина».

Он дает следующий совет художнику, который намерен написать портрет Биссулы:

Биссулы не передать ни воском, ни краской поддельной,
 Не поддается ее природная прелесть искусству;
 Изображайте других красавиц, белпла и сурик!
 Облика нежность руке недоступна ничьей. О художник!
 Алые розы смешай, раствори их в лепнях белых:
 Цвет их воздушный и есть лица ее цвет настоящий.

(Перевод Ф. А. Петровского)

6. Небольшая эпическая поэма *Mosella* чисто описательного характера преследует цель панегирическую; город Трир, лежащий на реке Мозель, был любимым местопребыванием Валентиниана и Грациана и мог поспорить своим блеском с уже угасавшим Римом. Путешествие по Мозелю до впадения его в Рейн и описывает Авзоний, восхваляя мирный ландшафт холмистых берегов, чистоту воды и не упуская случая показать свою ученость при перечислении различных сортов рыб, населяющих воды Мозеля.

7. Наиболее интересными по содержанию сочинениями Авзония являются его письма в стихах. Среди его адресатов есть некоторые известные имена; особенно надо отметить переписку с Симмахом и с любимым учеником, Павлином, ставшим впоследствии известным христианским епископом города Нолы; Авзоний, возлагавший на своего ученика, человека в высшей степени одаренного, большие надежды как на будущее светило литературы и риторики, был глубоко огорчен решением Павлина порвать со светской наукой и всецело предаться служению христианской церкви и делам благотворительности. Сопоставление писем Авзония, рационалиста и практика, любителя всего изящного, с вопевшими в собрание сочинений Авзония письмами Павлина, полными религиозного экстаза, крайне интересно с точки зрения изучения настроений и взглядов этого переходного периода.

8. Наконец, значительную часть своего времени Авзоний уделял стихотворным шуткам и фокусам. Наиболее известно его «Свадебное празднество», представляющее собой самый блестящий по остроумию и по бесцельности образец так называемой «лоскутной поэзии» (центон). Длинный цикл стихов, изображающий свадебное торжество на всех его стадиях (последнее стихотворение совершенно непристойно), составлен сплошь из полустихий гексаметров Вергилия. Подобная же «работа» была сперва проделана императором Валентинианом, вызвавшим потом Авзония на состязание. Читая это произведение, не знаешь, чему удивляться — блестящему ли знанию поэм Вергилия или полной бессмысленности задачи.

Чрезвычайно сложной структурой обладает стихотворение «Гриф о числе три» длиной в 90 стихов; Авзоний собрал в нем не менее сотни примеров из самых разных областей (религии, мифологии, ремесла, права и т. п.), где число три или девять (трижды три) и всевозможные производ-

ные числа от троек и девяток имеют особое значение. Стихотворение начинается шуткой:

Пей или три или трижды три — в том вячая тайна!
 Так указывает обычай: кто пьет или три, или второе,
 Девять раз повтори нечетные тройки до куба! ⁹
 Сила в девятке и тройке одна, и все ей покорно.

(см. 1—1)

Три иунийских войны; три суть в философии части;
 По три месяца длятся четыре времени года;
 Трижды сменяется стража в ночи...

(см. 21—26)

Трех родов ремесло создает жилье человеку;
 Этот стену владеет из камней, тот крышу возводит,
 Третий стены и кров покрывает последней отделкой.

(см. 33—35)

Довольно неожиданно это шуточное стихотворение заканчивается ссылкой на христианский догмат о триничности божества:

Трижды пей! В этом все! Три ипостаси в боге едином!
 Пусть же безделка моя бессильных чуждается чисел,
 Трижды тридцать стихов составят в ней девять десятков.

(Перевод М. Гаспаров: ст. 88—90)

Имеется у Авзония немало и других фокусов: то он пишет гексаметры из одних только односложных слов, то он начинает или кончает их односложным словом; весь этот раздел носит название *Techpornaĩon* («Шутки мастерства»). На каком материале показывать свое мастерство, Авзонию по существу безразлично: им сочинен религиозный христианский гимн в 45 стихов; в каждом стихе слова расположены одно за другим по возрастающему числу слогов от одного до пяти, например:

1	2	3	4	5
Spes, deus, aeternae stationis conciliator.				

В качестве образцов из *Techpornaĩon* приведем два стихотворения: одно из них посвящено древней теме о десяти седмицах человеческой жизни, другое называется «Вопросы и ответы».

I

Мальчика возраст ты знаешь, коль новый получит в семь лет	зуб.
Скоро мужчиной он станет и голосом сильным звучит	речь.
Ветром овейи и зноем спален загорелый бойца	лоб.
Крепки и жилы, и мышцы, но крепче всего у мужей	кость.
Нежностью сердце трепещет, сжигает его, как огонь	страсть.
Чувства еще горячи, но владыкой над ними их царь	ум.
Слово вложивши в закон, произносит немало речей	рот.
Возраста мера заметна уже, тяжела и черна	желчь.
Тело худеет и сохнет и бедрам все легче нести	вес.
Путь сокращается наш и уже нехватает в ногах	сил.

(Перевод М. Е. Грабарь-Насвет)

⁹ Двадцать семь — три в третьей степени, в кубе.

II

Кто обвиненного взял под залог в ожиданье суда?	друг.
Если ответчик сокроется, что поручителя ждет?	.	штраф.
Кто на левшу-ретиария в латах выходит на бой?		галл.
Имя какое имеет Меркурий у честных людей?	вор.
Что мы приносим богам, кроме вин и курения?	драх жертв.
Как называется остров, на коем рожден Гипократ?		Кос.
Бык или трон волновали сильнее Геллосову дочь?	бык.
В туче плывущий, во что превращен феакийский корабль?		в холм.
Чем питается соля, когда кончается корм?	сном.
Что скрепляет поверхности кож, обтянувшие щит?	клей.
Sponde — творительный; как именительный будет надеж?	Spons.
Кто, кроме птиц подает при гадании знак вещуну?	.	мышь.
Что заставляет смолу плыть в море, а в речке тонуть?		вес.
Что на дважды шесть разделяется равных частей?	.	фунт.
Если отнимется посемь, какая останется часть?	треть.

(Перевод М. З. Гиспарова)

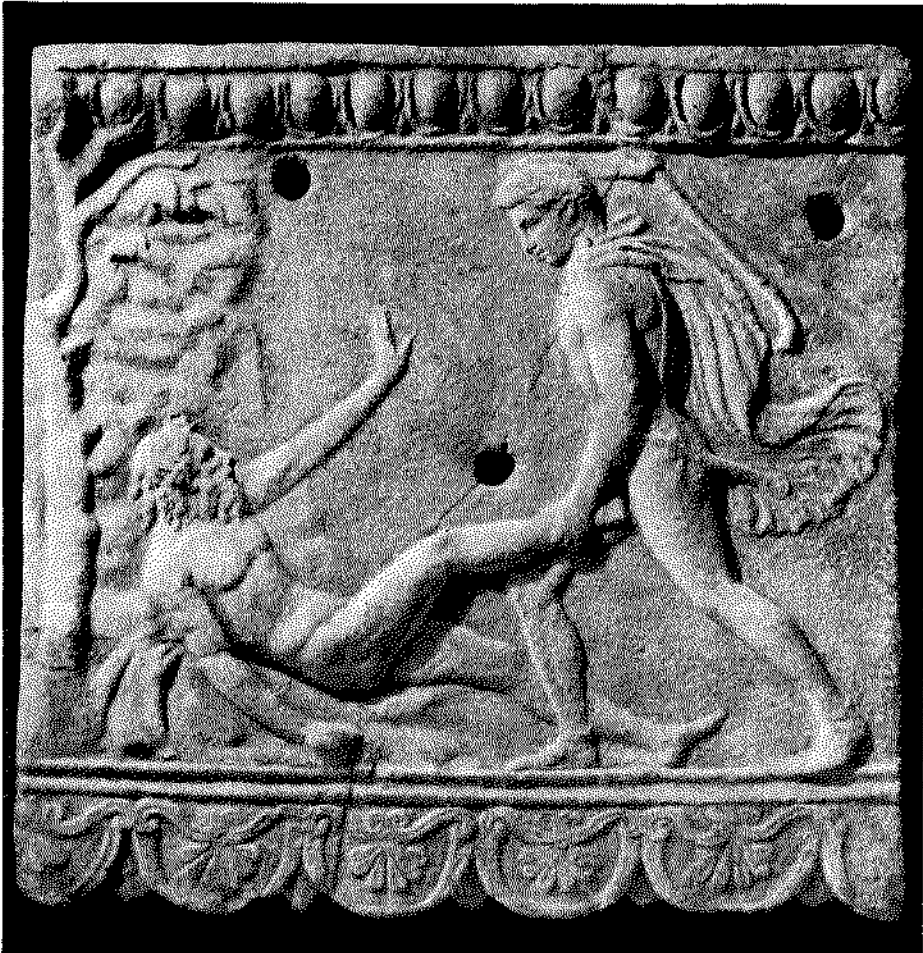
9. Прозаических произведений Авзония мы имеем только два: школьное пособие — краткий прозаический пересказ «Илиады» по песням — и панегирик императору Грациану при вступлении Авзония в должность консула в 379 г.

В общем творчество Авзония является в высшей степени характерным продуктом эпохи, когда в роли придворного поэта, которую некогда, хотя и не очень охотно, играли Вергилий и Гораций, мог в течение многих лет выступать человек, бывший, по-видимому, усердным, знающим и преданным своему делу преподавателем грамматики и риторики, но не имевший для подлинно художественного творчества ни пищи в окружающей его среде, ни крупного поэтического дарования.

6. АВИАНИ И «РОМУЛ»

Общее понижение культурного уровня в эпоху поздней античности сказывается между прочим в том, что усиливается спрос на стихи практически полезного содержания. Такими были, например, дидактические поэмы Немесиана, Серена Самоника, Палладия; такими были моралистические «Дистихи Катона». Это же обстоятельство повело и к возрождению в IV—V вв. правоучительного жанра басни.

Басня была введена в римскую литературу Федром. У Федра она представляла собой плебейский, простонародный жанр, рассчитанный на идейные запросы и художественные вкусы массового читателя. Теперь круг читателей басни расширяется: рядом с этой простонародной басней появляется басня нового, светского типа, предназначенная для образованной и начитанной публики. В литературе IV—V вв. прежняя, низовая традиция в басенном жанре представлена сборником, известным под названием «Ромул»; новая, светская традиция представлена творчеством поэта-баснописца Авиана (Flavius Avianus). Источником и образцом басен «Ромула» остается Федр; Авиан, напротив, избегает пользоваться Федром и обращается к другому источнику: он черпает сюжеты у греческого баснописца Бабрия, жившего во II в. н. э. и оставившего сборник стихотворных басен, изложенных простым и изящным языком, в духе антицистических идеалов простоты и ясности.



Тезей и Скирон
(керамический рельеф)

Сборник Авяна включает сорок две басни, написанные элегическими дистихами. Им предпослано прозаическое предисловие, обращенное к некоему Феодосию, искусственному ценителю риторики и поэзии. Может быть, этот Феодосий тождествен с Макробием Феодосием, известным автором «Сатурналий». Было бы очень соблазнительно отождествить Авяна с Авиеном, одним из собеседников «Сатурналий», но такое отождествление мало вероятно. Дело в том, что имя Авиена носил другой писатель — Руф Фест Авиен, автор астрономических и географических поэм; он-то, вероятно, и выведен в сочинении Макробия. Оба поэта жили одновременно в конце IV в., и уже современники путали их имена.

В том же предисловии Авяан упоминает, что в своих баснях он «попытался изъяснить элегическими стихами то, что было изложено грубой латынью». Это указывает, что поэт пользовался не непосредственно греческими образцами, а римским прозаическим сборником басен, принадлежавшим, по-видимому, Юлию Тициану, ритору III в. н. э. Таким

образом, бабриев оригинал стал известен Авиану из вторых рук, и мы не можем сказать, какие из многочисленных отклонений подражателя от подлинника принадлежат самому Авиану, какие — его предшественнику Тициану. В том, что в основе авиановского сборника лежит Бабрий, нет никакого сомнения: почти все его басни находят параллели в книге Бабрия, а единичные исключения объясняются тем, что сборник Бабрия дошел до нас неполностью.

Судя по предисловию, басни были первым опытом начинающего поэта, и опыт оказался не слишком удачным. Авиану не удалось добиться органической связи формы и содержания своих произведений. Четкая строфика элегического дистиха нарушает плавное течение басенного повествования. Традиционная возвышенность слога, насыщенного реминисценциями из Вергилия, настолько не вяжется с бытовой простотой предметов, что местами звучит прямой пародией. Кроме того, в языке поэта то и дело проскальзывают вульгаризмы поздней эпохи, а его метрика допускает вольности, неизвестные классической поре.

Чтобы составить представление о стиле Авиана, достаточно сравнить одну из его басен с бабриевым образцом, к которому она восходит. Вот басня 104-я Бабрия — «Собака с бубенцом»:

Чтоб хитрый пес прохожим не кусал ноги,
Хозяин привязал ему звонок к шее,
Который было всем издалека слышно.
Спесивый пес на площадь с бубенцом вышел,
Но тут седая молвила ему сука:
«Подумай, чем кичишься ты, глупец бедный:
Ведь это не награда за твою доблесть,
А обличенье злого твоего права».

(Перевод М. Л. Гаспарова)

А вот 7-я басня Авиана — «Собака, не желавшая лаять»:

Те, чья душа от рожденья дурна, не могут поверить,
Что заслужили они кары, постигшие их.
Некий пес не страшил прохожих заранее лаем
Или оскалом зубов между раздвинутых губ —
Он, подгибая свой хвост, трепещущий робкою дрожью,
Тайно бросался на них, дерзким виваясь клыком.
Чтоб не вводило в обман напускное смиренье, хозяин
Этому псу привязать к шее решил бубенец.
Дикую глотку ему он украсил звенящею медью,
Чье колебанье могло знаком людей остеречь.
Пес, возмнив, что ноша такая дается в награду,
Стал на подобных себе чванно смотреть свысока.
Тут подошел к гордецу старейший из низкого рода,
Свой обращая к нему увещевающий глас:
«О, какое тебя ослепило безумье, несчастный,
Сей почитающий дар данью заслугам своим?
Нет, то не доблесть твоя, красуется в медном уборе —
Это свидетель звучит, злой обличающий нрав!»

(Перевод М. Л. Гаспарова)

Басня Авиана ровно вдвое длиннее своего образца: простой рассказ Бабрия, представляющий стройную цепь последовательных действий,

расстраивается замедляющими описаниями; сложные перифразы («старейший из низкого рода» — о старой собаке; «звучащий свидетель» — о колокольчике) звучат торжественно до смешного; «дикая глотка», «звенящая медь» заимствованы у Вергилия; из Вергилия же взят целый стих 15 («О, какое тебя...»); и в то же время *si curis* в ст. 16 представляет собою неклассический оборот, а краткое *o* в слове *poia* («колокольчик») нарушает нормальную просодию.

Рядом со светскими баснями Авяна, представляющими собой образец «высокой», но плохо усвоенной традиции, басни «Ромула», рассчитанные на массового, плебейского читателя, кажутся полной противоположностью им.

Сборник «Ромул» дошел до нас в нескольких редакциях, не во всем совпадающих друг с другом; из их сравнения можно приблизительно восстановить первоначальную форму произведения. Сборник назывался в рукописях «Басни Эзопа» и состоял из 98 басен (разделенных на четыре книги). Вступлением к нему служили два послания. В первом некий Ромул рекомендовал своему сыну Тиберину этот сборник басен Эзопа, якобы переведенный им с греческого языка на латинский; второе послание было написано от лица самого Эзопа, посвящающего сборник своему наставнику Руфу (имя Руф — «рыжий» — по-видимому, является переводом греческого имени легендарного хозяина Эзопа — Ксанфа). Оба послания, конечно, вымышлены: сборник — это не перевод с греческого, он опирается только на латинские источники. Эпилогом к сборнику служит краткое рассуждение о статуе, воздвигнутой афинянами в честь Эзопа.

Основным источником басен «Ромула» служит Федр в прозаическом переложении. К нему восходит около трех четвертей сборника; вступительные послания и эпилог — это также лишь незначительно обработанный монтаж сентенций, почерпнутых из Федра. Любопытно, что несмотря на это, имя Федра нигде не названо, и сборник выдается за перевод, сделанный прямо с греческого.

Прозаические пересказы стихотворных произведений — явление, нередкое для периодов культурного упадка. Знакомство с законами стиха у читателей Федра было не очень твердым, а без такого знакомства стихотворная форма басен была лишь препятствием для их понимания. Поэтому появляются переложения басен Федра, в которых стихотворный порядок слов изменен на более естественный прозаический. До нас дошли два таких переложения («Виссенбургская рукопись» и «Адемаровская рукопись»), правда, в довольно поздней, переработанной и дополненной форме. Такое же переложение, по-видимому, лежало и в основе сборника «Ромул».

Неизвестный составитель сборника не ограничился простым переложением стихов Федра в прозу. Он внес в басни целый ряд любопытных изменений, отразивших интересы и вкусы его времени. Прежде всего, это сказалось на подборе басен. В сборник не вошли ни анекдоты, ни хрипы, ни авторские отступления, столь характерные для Федра: состав сборника свелся к басням традиционного, «животного» типа. Жанровое экспериментаторство Федра уже не представляло интереса для читателей «Ромула». Далее подверглась переработке мораль басен: моралистические заключения Федра с их проповеднической резкостью, с то и дело выступающим образом автора, с намеками на уже забытые события и измененные отношения его времени, были переделаны или вовсе отброшены и заменены новыми, более спокойными и отвлеченными, общечеловеческими, подчас заимствованными из пословиц. Далее, составитель

меняет подробности басенного рассказа: в этих изменениях можно заметить заботу о бытовом правдоподобии, мало занимавшем Федра; так, у Федра (III, 7) собака, хвастаясь перед волком своей службой человеку, говорит, что ее любит хозяин; «и рабы меня любят», добавляет она в редакции «Ромула». Далее, в пересказе меняется самый стиль изложения: сжатость и сухость, объяснявшаяся у Федра моралистической целеустремленностью его повествования, здесь уступает место плавному, обстоятельному рассказу, подчас хранящему следы элементарной школьной риторики; так, у Федра (I, 23) собака лишь короткой репликой в четыре стиха отвечает на попытку вора подкупить ее, а в «Ромуле» она произносит целую тираду, сравнивая ценность настоящих и будущих благ и т. д. Наконец, язык «Ромула» очень сильно отличается от языка Федра: вместо классически правильной речи мы находим здесь массу лексических вульгаризмов и просторечных грамматических конструкций, а безукоризненно построенные периоды рассыпаются на короткие, сбивчивые фразы с множеством анаколуфов и плеоназмов. Однако следует заметить, что в фонетике и морфологии следы народной речи гораздо слабее; это позволяет думать, что просторечный тон «Ромула» не просто отражает малограмотность составителя, а является сознательным литературным приемом.

При столь основательной переработке своего источника составитель «Ромула», бесспорно, опирался на уже существовавшие образцы латинской народной басни. Стилистическое единство, замечаемое между отдельными баснями, отсутствующими в сборнике Федра или сильно измененными по сравнению с Федром, позволяет заключить, что наряду с Федром составитель пользовался каким-то другим сборником басен, последовательно выдержанном в народном стиле и дававшем иные версии многих сюжетов. Этот недошедший до нас сборник принято условно называть «Латинским Эзопом». Соотношение этих двух источников «Ромула» в тех или иных случаях различно: иногда вариант Федра вытесняется вариантом «Латинского Эзопа», иногда наоборот, иногда они вступают в контаминацию. Всего труднее определить происхождение басни тогда, когда текст Федра не сохранился: в таких случаях приходится судить исключительно по стилистическим признакам.

Вот басня («Ромул», 94), имеющая все признаки федрова стиля:

Дурной человек губит многих, а платится за это одной лишь своею смертью;
и об этом послушай басню.

Путник нашел валявшийся на его дороге потерянный меч и спросил его:
«Кто тебя повалил?» Меч ему в ответ: «Меня — один человек, а я — многих».

Эта басня гласит, что дурной человек может погибнуть, но прежде успеет
многим принести зло.

А вот другая басня («Ромул», 78), народный стиль которой указывает на происхождение от «Латинского Эзопа»:

С давних времен у негодных людей ложь и лесть в почете, а честность и
правда преследуются. Об этом нам говорит предлагаемая басня.

Шли вместе по дороге два человека: один лжец, а другой правдивый; и забредли они на своем пути в страну обезьян. Увидев этих людей, одна из толпы обезьян — та, которая была у них главной, — велела их задержать и спросить, что они о ней скажут. Она приказывает всем ей подобным обезьянам встать

перед пеею слева и справа длинными рядами, а для нее самой поставить трон; она так выстроила их перед собою, как будто ей случалось видеть императора. И вот по ее приказу путников выводит на середину, и главная обезьяна спрашивает: «Кто я такая?» Лжец сказал: «Ты — император». Та опять спрашивает: «А кто, по-твоему, стоит передо мной?» Лжец ответил: «Это — приближенные твои, сановники, военачальники [primicerii et campiductores], и прочие чины». И обезьяна велела наградить лжеца, так как эта ложь говорилась в похвалу ей и ее стае. Вот так-то сумел он, подольстившись, всех обмануть. А правдивый человек раздумывал так: «Если так приняли и наградили этого лжеца, который все выдумал, то что же будет, если я скажу правду?» Когда он так размышлял, спросила его та обезьяна, которая желала именоваться императором: «Скажи и ты, кто я такая, и кого ты видишь передо мною?» И человек, так как он всегда любил правду и привык говорить правду, ответил: «Ты — обезьяна, и эти все — также же обезьяны, как и ты». Но тотчас обезьяна приказывает растерзать его зубами и когтями за то, что он сказал правду.

Так дуриые люди обычно любят зло и обман, а правду и честность терзают¹⁰

Наряду с Федром и «Латинским Эзопом» составитель «Ромула» пользовался и другими источниками. Так, восемь басен в конце сборника заимствованы (по-видимому, через посредника) из латинского прозаического переложения басен Бабрия, известного как сборник псевдо-Досифея. Так, в нескольких случаях можно предположить, что составитель обращался к тем источникам, из которых черпал сам Федр: некоторые басни у него изложены в федровской версии, но художественно более цельно.

Время и место составления «Ромула» можно определить лишь приблизительно. Упоминание примicierиев и кампидукторов — чинов, существовавших только со времени Константина, указывает на IV—V вв. Местом возникновения сборника могла быть Галлия (на это указывают некоторые диалектизмы), но это нельзя считать твердо установленным.

И басни Авиана, и басни «Ромула», несмотря на невысокий художественный уровень, имели блестящую судьбу в истории литературы. В средние века они пользовались широкой популярностью, были предметом многочисленных переработок и подражаний в стихах и прозе. Даже самая скучная часть басни — мораль — привлекала особое внимание: сборники моралистических вступлений и заключений к басням Авиана имели хождение независимо от самих басен. Собственно, Авиан и «Ромул» были для Европы единственным источником знакомства с античной басенной традицией вплоть до XV в., когда распространяющееся знание греческого языка сделало доступным для европейского читателя подлинные басни Эзопа.

7. КЛАВДИЙ КЛАВДИАН

Для позднего периода римской литературы характерно то, что наиболее крупные писатели этого времени — не римляне и даже не италийцы. Авзоний и Рутилий Намациан — галлы, Клавдий Клавдиан — грек из Египта, Аммиан Марцеллин — грек из Антиохии. Клавдиан (Claudius Claudianus) получил образование в Александрии, его родным языком, на котором он написал свои первые произведения, был греческий; от этих произведений до нас дошел фрагмент поэмы «Гигантомахия» и несколько эпиграмм. Однако, чтобы стать известным в Риме и приблизиться к императорскому двору, надо было зарекомендовать себя как поэта латинского и найти мощных покровителей в самом Риме.

¹⁰ Перевод М. И. Гаспарова.

Клавдиан, твердо решивший связать свою судьбу с Западной, а не с Восточной империей, обратился к сочинению панегириков к власти империи; в этой части мира и инвектив против правителей Восточной империи; первый свой панегирик (в 395 г.) он посвятил консульству двух римских аристократов — Олибрия и Пробина, а потом перешел к сочинению хвалебных стихотворений в честь юного императора Гонория и фактического властителя государства, вандала Стилихона.

В противоположность Рутилию Намаццану, считавшему Стилихона изменником (см. ниже), Клавдиан превозносит до небес этого действительно весьма талантливого полководца и дипломата; конечно, не зная меры в лестях, он ставит его выше всех героев древнего Рима. Но если по отношению к Стилихону похвалы были до известной степени уместны, то панегирики, посвященные трем консульствам Гонория (третьему — в 396 г., когда Гонорий был еще подростком, четвертому в 398 г. и шестому в 404 г.), производят впечатление комическое, несмотря на прекрасно построенный стих и живость изложения. По-видимому, Клавдиану удалось добиться видного положения придворного поэта при дворе Гонория, так как именно ему было поручено сочинение фесции и свадебной поэмы на бракосочетание молодого Гонория и дочери Стилихона Марии; жена Стилихона, Серена, со своей стороны оказала покровительство Клавдиану при его собственном сватовстве, за что он выражает ей благодарность в стихотворном послании; это произведение, как и панегирики, красиво по форме, но не содержит никаких реальных сведений о самом Клавдиане и его семье.

Значительно интереснее всех хвалебных стихотворений инвектива в двух книгах против временщика при дворе Аркадия — Руфина, ярого врага Западной империи, убитого не без содействия Стилихона в 397 г. Инвектива, направленная против уже мертвого врага, производит поэтому такое же неприятное впечатление, как «Отыквление» Сенеки. Наиболее остра инвектива против Евтропия, которого предполагали назначить консулом на 399 г. Евтропий был евнухом, как многие императорские приближенные на Востоке, и этот факт дал Клавдиану повод и возможность поносить Евтропия всеми доступными ему средствами, не избегая и некоторых малопрстойных намеков.

Вражда Клавдиана к восточному двору отразилась не только в этих инвективах, но и в его эпической поэме «О войне с Гильдоном» (*de bello Gildonico*), от которой до нас дошло только начало. Гильдон, наместник Африки, при содействии Аркадия и Руфина оказывал сопротивление ряду мероприятий Стилихона; он отрезал пути подвоза хлеба в Рим, и там начался голод; на эту тему и написал свою поэму Клавдиан; моляба голодающего Рима, олицетворенного в виде старой изможденной женщины, побуждает Юпитера послать к Аркадию и Гонорию тени их деда и отца; обе тени — Феодосия Великого и Феодосия II — обращаются к братьям с увещанием примириться, а Аркадия дед осыпает упреками за выступление против брата.

Кроме этой эпической поэмы до нас дошли три песни из мифологической поэмы «О похищении Прозерпины», обладающей той же чертой, которая присуща всему творчеству Клавдиана, — благозвучным многословием.

В ней имеются, однако, и удачные места и оригинальные мысли. В противоположность общепринятому у поэтов восхвалению «золотого века» Сатурна Клавдиан настаивает на том, что человеческая жизнь,

¹¹ Переводы из Клавдиана сделаны М. Е. Грабарь-Пассек.

преисполненная трудов и лишений, — более достойна и цена. В III песне, когда Церера блуждает по земле, ища исчезнувшую дочь, на Олимпе собирается совет богов, описанный по образу римской куррии: небесные боги занимают первое место, морские — второе;

Также и старцам речным дозволено сесть, а за ними
Тысячи юных потоков стоят, как плебен в собрании¹¹

(III, 11—15)

Собрание открывается речью Юпитера:

Должен я, знаю, теперь позаботиться снова о смертных;
Мало я думал о них с тех пор, как старца Сатурна
Кончился век, приучивший людей к безделью и к лени.
Долго под властью отца в отупенье дремали народы,
Я же решил пробудить их к жизни, тревожной и бодрой;
Чтоб не возрастал урожай для них на ненаханной ниве,
Мед бы не капал с деревьев, и не был бы каждый источник
Винной струей, и в реках вино не плескалось, как в чашах.
Но не по злобе я так порешил (не завистливы боги,
Людям я вовсе не враг), но честности роскошь враждебна,
И человеческий ум от богатства гинет и тупеет.
Пусть же ленивую душу людей разбудят лишения,
Бедность заставит искать путей неизведанных, новых;
Ловкость родит ремесло, а привычка его воспитает...
Но на решение мое Природа сетует горько,—
Будто хочу я людей погубить, — и тираном жестоким,
Часто меня называет, тоскуя о веке отцовском;
«Скуп, беспощаден Юпитер, презревший богатства Природы».
Поле пустынно — зачем? Для чего же хочу я в трущобы
Все превратить? Почему нам осень плодов не приносит?
Прежде для смертных Природа являлась матерью нежной,
Ныне же мачехой злой она обернулась внезапно.
Стояло ль ум им давать, чтобы он в небеса устремлялся,
Высь обращать их глаза, если ныне, как скот бесприютный,
Бродят по дебрям они, и пищей им жолуди служат?
Что им за радость скитаться в лесах? И в чем же различье
Между людьми и зверями? Как часто жалобичье
Слышу от матери я! И ныне смягчу мое сердце,
Род я людской отвращу от жизни Хаоса дикой.

(III, 19—47)

И Юпитер дает распоряжение, чтобы Церера, странствуя по земле в поисках дочери, научила людей земледелию:

Пусть она всюду плоды раздает! Проезжая по дебрям,
Пусть вокруг себя возрастит знакомые людям колосья!

(III, 52—53)

Торжественно-патетически звучит и речь похитителя Прозерпины Плутона; он утешает рыдающую девушку тем, что она будет царицей в царстве мертвых и судьей над всеми людьми. Написанный красивым сильным стихом, этот «гимн смерти» является яркой иллюстрацией того безнадежного настроения, которое было господствующим среди всех мыслящих людей этого времени.

Мощь безгранична моя, я безмерным владею пространством.
Ты не рассталась со светом дневным. Иные светила
Свечат у нас; ты увидишь иные миры, и сиянем
Более чистого солнца в Элизии ты насладишься.

Узришь ты снем благочестный. Там жизнь ценней и прекрасней,
Меж поколений златых; всем тем мы владеем, навеки,
Что на земле мимолетно...

(I, 281—287)

Все, что рождает земля, все то, что множится в море,
Все, что в потоках кишит и все, что болота питают,
Все, что несет в себе жизнь, твоему будет царству покорно
Лунному шару подвластен сей мир; семикратным вращеньем
Он отделяет от смертных бессмертные вечные звезды.
Вудут лежать пред тобой и владыки, носившие пурпур,
Сняв свой роскошный убор и смешавшись с толпой неимущих.
Все перед смертью равны. И ты осудишь преступных,
Чистым — подаришь покой; ты — судья! И того, кто виновен,
Ты же заставишь сознаться в деяньях, бесчестно свершенных.

(I, 295—301)

Наряду с такими подлинно художественными местами в поэме немало и пустословия, и даже несуразиц: например, производят комическое впечатление жалобы Плутона, что он один из всех братьев не женат; почему владыка подземного мира должен просить у Юпитера разрешения жениться и почему Юпитер решает отдать ему в жены именно дочь Цереры, очень молодую и горячо любимую своей матерью, Клавдиан не объясняет, — хотя замысел Юпитера мог заключаться именно в том, чтобы Церера в поисках дочери прошла всю землю и открыла людям путь к культуре.

Мелкие стихотворения, дошедшие до нас от Клавдиана, несколько напоминают *Silvae* Стация — они посвящены различным «достопримечательностям» природы. Интересно стихотворение о притягивающей силе магнита. Но наиболее искренней, даже трогательной, является небольшая элегия «О старце, никогда не покидавшем окрестностей Вероны». Может быть, именно в ней отразились в какой-то мере чувства самого Клавдиана, променявшего свою далекую египетскую родину на почетную, но опасную должность придворного поэта.

Счастлив тот, кто свой век провел на поле родимом;
Дом, где ребенком он жил, видит его стариком.
Там, где малюткой он ползал, он нынче с посохом бродит;
Много ли хижине лет — счет он давно потерял.
Бурь ненадежной судьбы изведать ему не случилось,
Воду, скитаясь, не илл он из неведомых рек.
Он за товар не дрожал, он трубы не боялся походной;
Форум, и тяжбы, и суд — все было чуждо ему.
Мира строенья не знал он и в городе не был соседнем,
Видел всегда над собой купол свободный небес.
Он по природным дарам, не по консулам, годы считает:
Осень приносит плоды, дарит цветами весна.
В поле он солище встречает, прощается с ним на закате;
В этом приличном кругу день он проводит за днем.
В детстве дубок посадил — нынче дубом любитесь статным,
Роща с ним вместе росла — старятся вместе они.
Дальше чем Индия край, для него предместья Вероны,
Волны Бенакских озер Красным он Морем зовет.
Силами свеж он и бодр, крепки мускулистые руки;
Три поколения уже видит потомков своих.
Пусть же другие идут искать Иберии дальней
Пусть они идут путей — он шел надежным путем.

Все известные нам произведения Клавдиана поддаются датировке и располагаются в малом промежутке времени — 395—404 гг. После этого никаких сведений о Клавдиане не имеется; возможно, что его звезда, как приверженца Стилихона, закатилась, когда доверие Гонория завоевала партия противников Стилихона; в 408 г. Стилихон был казнен; пережил ли Клавдиан своего покровителя или погиб вместе с ним, неизвестно.



Орфей
(камень римского времени)

8. РУТИЛИЙ НАМАЦИАН

Клавдий Рутилий Намациан (Claudius Rutilius Namatianus) — последний видный поэт Рима, и можно даже сказать последний римлянин по своему умонастроению, хотя и не по происхождению. Точных сведений о его жизни не имеется; известно только, что он происходил из знатного галльского рода, владел в Галлии большими поместьями, но долго жил в Риме. В 416 г.¹² ему пришлось вернуться на родину, чтобы его имения не попали под власть вестготских вождей. Так как ему в это время, судя по определенности его взглядов и по мастерству стиха, было не менее тридцати (возможно, даже больше) лет, то он, очевидно, родился в конце IV в., находился в Риме при императоре Гонории и пережил разгром Рима Аларихом.

¹² Эта дата определяется из стиха I, 134, в котором автор определяет возраст города Рима в 1169 лет; по эре, установленной Варроном, — это 416 год.

От Рутилия Намациана дошла поэма эпического характера, написанная, однако, элегическим дистихом. В одной из рукописей она носит название «О своем возвращении» (*De reditu suo*), но, возможно, это название не принадлежит автору поэмы, а дано ей впоследствии.

Поэма, описывающая путешествие Рутилия из Рима в Галлию, дошла до нас не в полной сохранности; мы не имеем начала книги I, впрочем, в этой части едва ли утеряно много стихов, так как сохранившаяся часть начинается с прощанья с Римом и заключает в себе 644 стиха; от книги II, напротив, сохранились только первые 68 стихов.

Рутилий — ярый поклонник Рима и его доблестного прошлого; он питает ненависть ко всем другим народам и ко всему, что враждебно Риму; так, он ненавидит готов, с которыми в начале V в. велись постоянные переговоры, имевшие целью отразить от Рима нашествие этих мощных врагов; руководил этими переговорами главный министр императора Гонория и фактический правитель Западной империи вандал Стилихон; несмотря на то, что Стилихону удавалось сдерживать напор готов, во главе которых стоял Аларих, а через два года после казни Стилихона Рим был взят готами и подвергся страшному разгрому, Рутилий обращает свою ненависть не только против готов-завоевателей, но и против Стилихона, которого он называет «предателем государства» (II, 42). С такой же ненавистью и отвращением относится он к евреям и христианам. Однажды на пути ему пришлось ночевать в таверне, которую содержал еврей, и по этому поводу Рутилий гневно обрушивается на противные ему еврейские кушанья, на обычай праздновать субботу, на «безумные сказки, которым даже дети не могут поверить» (I, 382—398), и выражает сожаление, что ни Помпей, ни Тит не уничтожили раз навсегда этот народ, который, будучи побежден, забрал власть над своими победителями; речь идет, по-видимому, о торговле в самом городе Рима, в которой евреи принимали живое участие. Еще резче он говорит о христианах, которые владеют ядами страшнее Цирцеи, — «там изменялись тела, теперь изменяются души» (I, 525); особенное же отвращение вызывают в нем монахи и отшельники; проезжая мимо Корсики, на неприступных берегах которой поселилось много людей, «бегущих от света», «желающих жить в одиночестве», Рутилий иронически характеризует этих безумцев, которые «избегают даров счастья, так как боятся потерпеть от них ущерб» и, «опасаясь зла, не умеют пользоваться благами».

Однако осуждению Рутилия подвергаются не только его современники: он осуждает Лепида, некогда выступившего против республики и погубившего свободу, завоеванную сенатом в Мутинской войне (I, 300—310), а также повторяет обычную для конца республики жалобу на все растущую власть золота.

Золото страшно — оно пережидает и зло и пороки,
 К золоту ярая страсть всех к беззаконьям влечет.
 Золото гасит нередко огни супружеств законных,
 Капли златого дождя девушек властью купит.
 Золотом сломлена верность, оплот городов укреплённых,
 Золото вслед за собой подкуп ведет и соблазн¹³.

(I, 357—362)

Уже из этого видно, каких взглядов придерживается Рутилий, этот последний поклонник древнеримской доблести, воплощенной в республи-

¹³ Переводы из Рутилия Намациана сделаны М. Е. Грабарь-Пассек и М. Л. Гаспаровым.

лике. Убежденный язычник, он видит даже в географическом положении особую милость и заботу богов.

Если создан весь мир по какой-то мысли разумной,
 Если строенье его — дело божественных рук,
 То Аппенинский хребет поставлен, как страж для латинян;
 Замкнуты входы в их край гор недоступной тропой.
 Северных грозных врагов опасалась природа и Альпам
 В помощь воздвигла она новый гористый оплот.
 Так же, как в теле она оградила источники жизни,
 Все, что ценила она, плотным укрыла щитом;
 Рим искони окружила стенами она многократно,
 Был под охраной богов даже несозданный Рим.

(II, 31—40)

Но главным предметом преклонения является для Рутилия сам «вечный город» и его историческая миссия. Стихи, посвященные ему, полны торжественного и в то же время искреннего пафоса.

Слушай меня, прекраснейший царь покорного мира,
 К сферам небесных светил гордо вознесшийся Рим,
 Слушай меня, родитель людей и родитель бессмертных,—
 Древние храмы твои нас приближают к богам.
 Мы не устанем тебя воспевать до последнего срока:
 Страх не ведает тот, кто не забыл о тебе.
 Раньше в преступном забвенье погаснет сияние солнца,
 Нежели наши сердца чтить перестанут тебя.
 Ибо, как солнце лучи, так и ты рассыпаешь щедроты
 Вплоть до краев, где течет, мир обогнув, океан.
 Встав из твоих же земель, к твоим же опустится землям
 Феб, колесницу свою мча для тебя одного.
 Ни огневосный ливийский песок для тебя не преграда,
 Ни семизвездных пространств мечущий стрелы мороз.
 Где ни простерлась меж двух полюсов живая природа —
 Доблести славной твоей всюду открыты пути.
 Для разноликих племен ты единую создал отчину:
 Тем, кто закона не знал, в пользу господство твое.
 Ты предложил побежденным участие в собственном праве:
 То, что миром звалось, городом стало теперь.

(I, 47—66)

Не многолюдством, не силою рук превзошел ты народы,
 Но справедливость и ум дали победу тебе.
 Слава твоя возросла оттого, что в мирное время
 Был ты надменности чужд, в войнах — за правду стоял.
 Дело не в том, что ты царь, а в том, что ты царства достоин,
 Больше, чем роком дано, доблестью ты совершил.
 Не перечислить твоих трофеев, увенчанных славой,
 Легче было бы счастье звезды в ночных небесах.

(I, 87—94)

Тяжкие бедствия, обрушившиеся на Рим в эти годы, не лишают Рутилия надежды на новый расцвет римского государства:

Ведь не впервые тебе в несчастье предчувствовать счастье;
 Скрыт и в ущербе твоём нового блеска залог.

(I, 121—122)

То, что пришлось видеть Рутилию во время его путешествия, тяжело поразило его и еще обострило его ненависть к варварским племенам, угрожавшим Риму.

Живо и с искренним состраданием описывает он те страшные разрушения, которые он видит в Италии после готского нашествия; всюду развалины домов и храмов, сломанные мосты, растоптанные посевы. Ввиду небезопасности сухопутной дороги в Галлию, Рутилий ехал на корабле, очень непрочном и ненадежном, поэтому он часто причаливал к берегу, что и дало ему возможность изучать все особенности местностей, мимо которых он проезжал; он был острым и внимательным наблюдателем, его интересовали основные промыслы и занятия жителей — работа в железных рудниках, добыча серы или соли (I, 475—84). Местами он сумел дать красивые и наглядные описания ландшафтов.

Это разнообразие затронутых Рутилием тем на протяжении сравнительно небольшой поэмы, четкий и ясный язык и искренность чувств делают его поэму наиболее удачным и оригинальным произведением поэзии позднего Рима.

9. «КВЕРОЛ»

Комедия «Кверол или Горшок» (*Querolus sive Aulularia*) — единственное драматическое произведение, дошедшее до нас от позднего периода античности. В средние века она считалась произведением Плавта и пользовалась значительной известностью. После того, как в эпоху Возрождения был открыт подлинный Плавт, эта комедия перестала привлекать внимание и скоро забылась. Между тем, она не лишена интереса.

Кем, когда и где была написана комедия, точно не известно. В посвящении к ней автор обращается к некому Рутилию — человеку знатному, богатому, высокопоставленному и образованному. Напрасивается отожествление этого Рутилия с поэтом Рутилием Намацианом, автором «Возвращения». К этому можно добавить, что Намациан был галл, и в комедии встречается упоминание о событиях в Галлии — о каких-то разбойниках, живущих на Луаре и не признающих никаких законов. «Люди там живут по естественному праву. Там нет начальства, там суд выносит приговоры с дубового пня и записывает на костях, там мужики провозят речи и судят без чиновников; там все дозволено». По-видимому, здесь имеются в виду багауды — рабы и крестьяне, восстания которых не прекращались в Галии с III в.; против багаудов в начале V в. воевал историк Эксуперанций, родственник Намациана. Если это так, то следует думать, что комедия была написана в начале V в. каким-нибудь клиентом Рутилия Намациана. «Сочинили мы эту книгу для застольной болтовни», — говорит автор в прологе. Это можно понять как указание на то, что комедия должна была разыгрываться для развлечения во время пира. Происходило ли это в римском доме Рутилия или в его галльской усадьбе, неизвестно.

Автор говорит в прологе, что его комедия — подражание Плавту: «Сегодня мы представим Комедию о горшке, не древнюю, а свежую, по следам Плавта разысканную»¹⁴. И далее: «Мы не посмели бы шагнуть на сцену нашими неуклюжими ногами, если бы здесь не прошли перед нами великие и славные предшественники». Комедия Плавта «Горшок»,

¹⁴ Перевод отрывков «Кверола» сделан М. Л. Гаспаровым.

которую наш автор берет за образец, относится к числу лучших произведений древнего комедиографа. Ее герой — бедняк Эвклион, которому посчастливилось найти клад — горшок с золотом — и которого с этих пор обюяла жадность: он никому не говорит о находке, косится на всех соседей и вновь и вновь пересирятывает свой горшок. Соседский раб подсматривал за ним и похитил горшок — Эвклион в отчаянии. Но оказывается, что хозяин этого раба когда-то обесчестил дочь Эвклиона и теперь хочет загладить вину, взяв ее в жены. После ряда недоразумений все кончается благополучно, брак совершается, а золото старик дарит молодым в качестве приданого.

Неизвестный сочинитель V в. очень свободно обошелся со своим образцом. Собственно, от Плавта у него остались только имя Эвклиона да самый мотив клада. Герой его комедии Кверол («Брюзга») — сын Эвклиона. Скупой отец, ничего не сказав сыну, закопал под алтарем дома клад, скрыв его в погребальной урне, и для отвода глаз даже написал на ней имя мнимого покойника. После этого он уехал в путешествие и умер на чужой стороне. Перед смертью он открыл местонахождение клада своему новому паразиту Мандрогеронту, с тем чтобы тот честно передал это Кверолу. Мандрогеронт, конечно, предпочел сам присвоить сокровище: с двумя товарищами он явился к Кверолу — здесь начинается действие комедии — и, выдавая себя за колдуна, проник в его дом, вырыл и унес клад. Но, увидев погребальную урну, мошенники сочли себя обманутыми; обозленный Мандрогеронт швыряет урну через окно в дом Кверола; урна разбивается, и перед Кверолом рассыпается золото. Так ему достается наследство, а Мандрогеронту остается только наняться в паразиты к Кверолу.

Философское осмысление этого происшествия предлагается во вступительной сцене комедии: здесь Кверол, оправдывая свое имя, горько жалуется на свое сиротство и безденежье, а Лар, бог-покровитель домашнего очага, убедительно доказывает ему неосновательность этих жалоб на судьбу. Смысл этих рассуждений сводится к двум не очень оригинальным положениям: во-первых, добродетель в конце концов торжествует, а порок наказывается, и, во-вторых, от своей судьбы никуда не уйдешь («гони судьбу в дверь, она влетит в окно» — поговорка, в случае с Кверолом исполнившаяся буквально). Автор предупредительно сообщает, что эти идеи он почерпнул из философских бесед своего покровителя Рутилия.

Наибольший интерес, как исторический, так и художественный, представляют не те сцены комедии, в которых разворачивается интрига, а играющие роль интермедий выступления эпизодического персонажа — Пантомала, раба Кверола. Первая из этих сцен-интермедий — длинный монолог Пантомала, в котором он жалуется на скверный характер господина и утешается тем, что и господину тоже несладко живется; вторая — разговор Пантомала с ненавистным ему соседом Кверола Арбитром, которому он говорит едкие комплименты, на что собеседник отвечает тем же. В этих сценах рассеяны любопытнейшие подробности о жизни домашних рабов в пору поздней античности. Автор не скрывает угнетенного положения рабов и их ненависти ко всем без разбору хозяевам («Ведь вы, повятно, ненавидите без разбору всех господ», — говорит Арбитр Пантомалу); но интересно, что участь свободного человека представляется автору настолько непривлекательной, что даже рабская жизнь подчас оказывается лучше ее. Вот что говорит Пантомал:

«А мы не так уж глупы и несчастны, как некоторые думают. Нас считают сонливцами за то, что днем нас клонит ко сну: но это потому бывает,

что мы зато по ночам не спим. Днем наш брат храпит, но сразу просыпается, как только все заснут. Ночь, по-моему, самое лучшее, что сделала природа для людей. Ночь для нас — это день; ночью все дела мы делаем... А самое главное в нашем счастье — что нет меж нами зависти. Все ворует, а никому не выдаст: ни я тебя, ни ты меня. Но следим за господами и сторонимся господ: у рабов и у служанок здесь забота общая. А вот плохо тем, у кого хозяева до поздней ночи все не спят! Убавляя ночь рабам, вы жизнь им убавляете. А сколько свободных людей не отказалось бы с утра жить господами, а с вечера превращаться в рабов! Разве, Кверол, тебе не приходится ломать голову, как заплатить налог? а мы тем временем живем себе припеваючи. Что ни ночь, у нас свадьбы, дни рождения, шутки, выпивки, женские праздники. Иным из-за этого даже на волю не хочется. Действительно, откуда у свободного такая жизнь привольная и такая безнаказанность?»

Подробному рассмотрению удел свободного человека подвергается во вступительной сцене, в разговоре Кверола с Ларом. Недовольному своей участью Кверолу Лар предлагает стать офицером, гражданским чиновником, разбойником, адвокатом, писцом, купцом, ростовщиком, политиканом, — оказывается, что выгоды каждой профессии далеко не стоят тех невзгод, на которые она обрекает человека. Такое равнодушие к общественной жизни — характерный признак настроения масс в бюрократическом государстве поздней античности. Худшее, чего может пожелать своему господину Пантомал, — это чтобы он стал адвокатом или чиновником:

«Боги благие, ужель никогда не исполнится давнее мое желание: чтобы мой дурной и злой хозяин стал каким-нибудь чиновником — или местным, или государственным, или где-нибудь в канцелярии? Почему я так говорю? Потому что после свободы тяжелее подчинение. Как же мне не желать, чтобы сам испытал он то, чего никогда не знал? Пусть же он наденет тогу, пусть пороги обивает, пьянствует с судейскими, пусть томится под дверями, к слугам пусть подслуживается, пусть, оглядываясь зорко, шляется по форуму, пусть вынюхивает и ловит свой счастливый час и миг утром, днем и вечером. Пусть преследует он лестью тех, кому не до него; пусть свиданья назначает тем, кто не является; пусть и летом не вылезает он из узких башмаков!»

К языческим богам комедия относится иронически, но следов христианства в ней не заметно. Это и не удивительно, если вспомнить, что автор комедии принадлежал к кругу Намациана, непримиримого недруга новой веры. Столь же иронически поданы и рассказы Мандрогеронта о темных силах, властвующих над миром, — любопытная мешанина античных и восточных суеверий, очень характерных для этой эпохи. Мандрогеронт спрашивают, каким божествам пужно молиться, чтобы отвратить несчастья; мнимый колдун перечисляет эти божества («первейших суть три: планеты могучие, гуси злые и псоглавцы свирепые»); далее выступают еще обезьяны, выполняющие роль Парок, гарпии и совсем уже загадочные «ночные бродяги»), но в конце концов он ничего не может ответить на предложенный вопрос, кроме того, что «родиться счастливым — вот самое лучшее».

Язык комедии «Кверол» многими чертами приближается к народной латыни, вплоть до того, что, например, местоимение *ille* почти утрачивает свое указательное значение, приближаясь по употреблению к артиклю. Заботясь о том, чтобы представить свою комедию как подражание Плавту, автор сознательно архаизирует ее язык, вводя слова и обороты, характерные для ранних комиков. Однако из всех формальных

особенностей «Кверола» наиболее интересна его ритмика. Комедия написана ритмической прозой, местами очень близко подходящей к звучанию стиха. Ритмизованные концовки фраз были в ходу издавна; но в классическую эпоху писатели стремились придавать им ритм, отличный от стихотворного, а теперь, с упадком красноречия, напротив, стали все больше уподоблять их окончаниям стихотворных строк. Фразы «Кверола» четко дробятся на короткие отрезки («коммы», по античной терминологии), каждый из которых заканчивается отчетливой ямбической или хорейческой каденцией; в результате это дает ощутимый ритм, очень переменчивый, но нигде совершенно не исчезающий. А там, где следуют подряд несколько отрезков одинакового ритма, проза «Кверола» начинает звучать как настоящие стихи; примером может служить приведенный отрывок из монолога Пантомала, желающего своему господину участи адвоката или чиновника.

10. АПОЛЛИНАРИЙ СИДОНИЙ

Аполлинарий Сидоний (C. Sollius Modestus Apollinaris Sidonius) происходил из галльского аристократического рода. Он родился в Лугдуне (Лионе) в 430 г.; уже его отец и дед были, по-видимому, христианами и занимали у себя в городе высокие должности; образование он получил традиционное, был хорошим знатоком античной литературы и имел широкий круг знакомств в среде галло-римской аристократии. Аполлинарий Сидоний женился на дочери арвернского аристократа Авита, который в 456 г. провозгласил себя императором; Аполлинарий поехал с тестем в Рим и там прочитал панегирик в его честь; но когда Авит был свергнут и его место занял Майориан, Аполлинарий в скором времени и ему посвятил панегирик, а когда в 467 г. престол Западной римской империи достался Анфимию, ставленнику византийского императора Льва I, Аполлинарий стал «префектом города» в награду за новый панегирик, поднесенный им императору 1 января 468 г. В следующем году он был назначен епископом города Клермон-Феррана, принял участие в его защите от вестготского короля Эвриха и попал в плен вместе с братом своей жены, военачальником Экдикием; как духовному лицу, ему было разрешено оставаться под домашним арестом, но потом он был освобожден и вернулся в свой епископат. Год смерти его точно неизвестен (не ранее 479, не позже 488).

Аполлинарий Сидоний был плодовитым стихотворцем и эпистографом: все три упомянутые панегирика написаны гексаметром; ни один из них не занимает меньше 500 стихов; ко всем трем имеются стихотворные введения, написанные разными размерами, и общее сопроводительное стихотворение к ним, изложенное в элегических стихах, обращенное к префекту Валерию Приску при посылке ему этих торжественных произведений, не обладающих, однако, поэтическими достоинствами. Более мелкие стихотворения (их шестнадцать) значительно интереснее и по содержанию, и по форме; сам Аполлинарий Сидоний называет их «безделками» (*pucae*), подражая, видимо, Катуллу; среди них есть два эпиграммия; поскольку они написаны христианином, то в них нет никаких скользких мест и упор делается на взаимную любовь и содружество новобрачных, но языческие боги — Амур, Венера, Флора и другие — устранивают свадьбу и присутствуют на ней; в одном из эпиграммиев использована игра слов, основанная на именах жениха, философа Полемия, и невесты Арапеолы: Полемий (буквально — «воинственный») находится под покровительством Паллады, Арапеола (от корня *arapea* — «паук, паутина») — искусно тклет узорные ковры. Этот эпиграммий написан «одиннадцатисложным» стихом

(гендекасиллабами); Аполлинаруий легко владеет и другими размерами — сапфическим, ямбическим.

Стихотворения относятся к тому периоду жизни Аполлинаруия, когда он еще не принял сана епископа. По принятии сана он хотел отказаться от сочинения стихов и перейти исключительно к эпистолографии; он вел обширную переписку, взяв себе за образец письма Плиния Младшего и Симмаха; сборник его писем включает в себя 147 писем, разделенных на девять книг. Письма были изданы самим Аполлинаруием, причем, по всем данным, сперва были изданы только три книги; потом были добавлены еще четыре и, наконец, по образцу писем Плиния, было издано полное собрание в девяти книгах.

Письма Аполлинаруия Сидония занимают, как и письма Плиния, среднее место между подлинной перепиской и художественной эпистолографией: каждое письмо посвящено одной теме и нередко сообщает о таких событиях, которые были общеизвестны; имеются письма о судебных процессах, о литературных явлениях, характеристики писателей и ораторов (Клавдия Мамертина и Лампридия), художественное описание виллы. Широкое образование, большой круг интересов и знакомство с многими деятелями его времени делают письма Аполлинаруия более содержательными, чем письма Симмаха.

Аполлинаруий Сидоний не выполнил своего намерения отказаться от сочинения стихов и не раз включал стихотворения, опять-таки написанные различными размерами, в свои письма.

Однако почитать языческих богов он считал уже неудобным и перешел к эпитафиям, эпиграммам, посвящениям и воспоминаниям; из этих стихотворений можно извлечь некоторые данные и о жизни самого Аполлинаруия (IX, 16) и о литературе его времени (IX, 15).

Для историка латинского языка не лишен интереса язык писем Аполлинаруия; в нем встречаются лексические новообразования и необычные обороты и словосочетания, не принятые в классической латыни; напротив, метрика его стихотворений полностью соблюдает правила долготы и краткости слогов и не проявляет никакой тенденции к переходу на тоическую систему, которая стала в это время уже сильно заметна у сочинителей христианских церковных гимнов.

11. МАЛЫЕ ПОЭТЫ III—V вв.

Кроме тех поэтов, творчество которых заслуживало специального рассмотрения и изучения, в последние века существования римской империи жил целый ряд более или менее одаренных версификаторов, произведения которых, обладающие подчас небольшой художественной ценностью, тем не менее очень характерны для интересов, — вернее для отсутствия интересов — этой эпохи.

Наиболее удачным из таких малых произведений является забавная контрверсия в стихах «Спор между пекарем и поваром». Об авторе этой шуточной поэмы, который называет себя Веспой (*Vespa*), ничего неизвестно. Контрверсия развертывается перед богом огня Вулканом; пекарь доказывает, что его труд необходим всем людям, а продукты его труда никому никогда не вредили; повар же имеет дело с кровью, с мясом — что было запрещено уже Пифагором, а в мифах не раз упоминается о преступных трапезах — например о пире Атрея, угостившего брата мясом его собственных детей; кто же изготовил такое ужасное блюдо? Конечно, повар.

Повар же доказывает свое превосходство над пекарем тем, что его труд требует большего искусства и изобретательности; кроме того, ему доставляет продукты вся природа — леса, реки, горы, а не одни засеянные поля. Вулкан примиряет спорящих, говоря, что оба они нужны; если же они будут враждовать между собой, он отнимет у них огонь — и к чему тогда нужно их искусство?

Возможно, что в этой поэме в скрытой форме дана традиционная, распространенная в риторических школах контroversия между бедняком и богачом; хлеб нужен всем людям, он — основное питание бедняка, в искусстве повара нуждаются только богачи. По некоторым метрическим особенностям принято относить эту поэму к III в.

По всей вероятности, к этому же, бедному талантами, веку относятся: во-первых, поэма Репозиана (Reposianus) «О любви Марса и Венеры», излагающая известный со времен Гомера рассказ о любовном свидании Венеры и Марса, о котором Гелиос известил и мужа Венеры Вулкана, и других богов; оскорбленная Венера проклинает Гелиоса и его дочь Пасифаю.

Имелось предположение, что эта поэма — введение к эпосу о любовных приключениях богов, но оно ничем не доказано. Вернее считать поэму Репозиана эпиллем эротического характера, какими была богата эллинистическая поэзия и поэзия неостериков конца республики.

Во-вторых, отголоском таких же эллинистических тенденций — стремления к вычурности и изощренным фокусам — являются элегические дистихи Пентадия (Pentadius), который, по-видимому, подражая Овидию, культивировал форму «змеевидных стихов» или «стихов-эхо»; в этих дистихах первая половина гексаметра точно повторяется второй половиной пентаметра. Таково, например, стихотворение «О приходе весны» (De adventu veris):

Видю, уходит зима; над землею трепещут Зефиры,
 Воды от Эвра теплы: вижу, уходит зима.
 Всюду набухли поля и земля теплоту ощущает,
 Зеленью новых ростков всюду набухли поля.
 Дивные тучны луга и листва одевает деревья,
 Солнце в долинах царит, дивные тучны луга.
 Стон Филомелы летит, недостойной, по Итису — сыну,
 Что на съедение дан, стон Филомелы летит.
 С гор зашумела вода и по скользким торопится скалам,
 Звуки летят далеко: с гор зашумела вода.
 Сонном весенних цветов красит землю дыханье Эоя,
 Дышат Темней луга сонном весенних цветов.
 Эхо в пещерах звучит, мычанию стад подражая;
 В упряжи их отзвучав, Эхо в пещерах звучит.
 Сочная вьется лоза, что привязана к ближнему вязу;
 Так, обрученная с ним, сочная вьется лоза.
 Мажет стропила домов щебетунья-ласточка утром,
 Новое строя гнездо, мажет стропила домов.
 Там под платаном в тени забыться сном — наслажденье;
 Вьются гирлянды цветов там под платаном в тени.
 Сладко тогда умереть; жизни нити, бегите беспечно,
 И средь объятий любви сладко тогда умереть.

(Перевод Ю. Ф. Шувальца)

Тогда же появляются и «лоскутные стихи» (центоны); Гозидий Гета (Hosidius Geta) построил целую драму «Медея» из полустихий Вергилия и, надо сказать, сделал это настолько искусно, что некоторые сцены, особенно хоры, не лишены лирического подъема; если забыть, что все это создано Вергилием, то можно подумать, что Гета — весьма неплохой поэт.

Наконец, имеется еще небольшая написанная дистихами поэма, приписываемая, по-видимому, без достаточных оснований, христианскому проповеднику Лактанцию, — «О птице Фениксе»; в ней сквозь оболочку древнего восточного поверья уже просвечивают христианские идеи о смерти и воскресении, о пользе безбрачия.

В начале IV в. во время правления Константина выступил еще один версификатор, более изощренный, чем Пентадий, и еще более ясно обнаруживающий свою зависимость от «фигурного» стихотворчества эллинистических поэтов. Это *Порфирий Оптациан* (Publius Optatianus Porphyrius), принадлежавший к знатному роду и занимавший высокие государственные посты. Впав на некоторое время в немилость у императора Константина, он вернул себе его благосклонность сборником особенно вычурных панегириков, послав их императору к дню 20-летия его вступления на престол. Оптациан изощрялся всеми возможными способами в создании разных фокусов: он писал стихотворения в форме пальмы и органа (и, как Досиад и Феокрит, в форме алтаря и свирели); он подбирал слова по числу слогов, составлял стихи из различных частей речи, причем каждый стих включал в себя только одну часть речи, а заключительный стих — все части речи; он сочинял стихи, в которых выделенные особым образом буквы складывались в сложный узор, и по этому узору опять-таки можно было прочесть правильный стих; он писал дистихи и гексаметры, которые можно было читать и с начала к концу, и с конца к началу, причем смысл от этого не изменялся; и не удивительно — смысл его стихов был настолько шаблонным и незначительным, что порядок слов на него не влиял. Оптациан был, собственно говоря, непосредственным предшественником Авзония, воспринявшего многие его ухищрения, но использовавшего их все же более талантливо и осмысленно.

В V в. жанр эпиллии культивирует поэт Драконтий (Blossius Aemilius Dracontius); он был христианином; кроме мифологических эпиллиев от него дошла и религиозная поэма в христианском духе (*de laudibus Dei*); сборник его языческих стихотворений носит общее название *Romulea* и включает в себе, кроме мифологических эпиллиев, два эпиталамия и две контроверсии; эпиллии написаны гексаметром, а *praefatio*, в котором поэт посвящает их своему учителю риторики Фелициану, — трохеями.

Мифологические эпиллии излагают мифы: о похищении Гиласа нимфами (известен из «Аргонавтики» Аполлония Родосского и идиллии Феокрита), о Елене и Парисе, о Медее; последний миф несколько видоизменен по сравнению с обычной версией, местом действия являются Фивы, а не, как обычно, Коринф. Влияние риторической школы ясно видно как в этих, чисто повествовательных эпиллиях небольшого размера, так и в поэме «Орестея», дошедшей до нас без имени автора, но по стилю и языку чрезвычайно близкой к стихам Драконтия. Риторической «ламентацией» является также эпиллий, в котором Геркулес горько жалуется на то, что во время его битвы с Гидрой у нее непрерывно вырастают все новые и новые головы. Из двух контроверсий в стихах одна также посвящена теме мифологической: Ахилл размышляет о том, следует ли ему выдавать Приаму тело Гектора; в его душе борются чувства милосердия, гнева и желания получить много золота: все это изложено с риторическими ухищрениями, но живо. Наиболее интересна контроверсия «о богатом и бедном», содержание

которой, заимствовано из тематики риторических упражнений: знатный человек, трижды отличившийся боевыми подвигами, в первый раз требует себе в награду постановку статуи, во второй — предоставления этой статуе права помилования преступников, прибегающих к ней («справо убежища»), в третий — смерти одного бедняка, якобы злоумышлявшего против него; конфликт осложняется тем, что бедняк обнимает именно эту статую.



Деметра и Триптолем
(камеш римского времени)

ища у нее защиты: богач выигрывает процесс; эти эпиллии кончаются казнью бедняка и выражением негодования поэта по поводу бесчеловечности власти имущих богачей.

Под именем поэта Максимяна (Maximianus) до нас дошли шесть элегий, написанных гладкими легкими дистихами, но пустого, а часто и непристойного содержания; поэт сокрушается в бесконечном потоке слов о том, что к нему пришла старость и отняла у него все радости жизни; единственные разумные слова мы находим в последней элегии:

Ковчи, прошу я тебя, свои стоны, болтливая старость.
Или и этот порок ты навсегда сохранишь?
Все мы, дорогой одною идя, направляемся к смерти;
Правда, различна у всех жизнь и различен конец.
Юноши этой дорогой идут, и дети, и старцы,
И на последнем пути бедному равен богач.

(Перевод М. Е. Грабарь-Пассек)

Время жизни Максимяна точно не определено; однако есть доводы в пользу предположения, что оно относится уже к VI в. н. э.

В противоположность этим тусклым унадочным элегиям, отрадное впечатление производит сборник ста стихотворных загадок, приписываемый некоему Симфосию (Symphosius) (возможно, тоже VI в. н. э.). Каждая из загадок в трех гексаметрах дает краткое и порой очень изящное описание предмета, например, реки и рыб:

В мире есть дом; его голос звучит и шумит постоянно;
Те же, что в доме живут, всегда молчаливы, безгласны
В вечном движении дом и жители в вечном движении.

Некоторые из них пользуются игрой слов (мышь — mus; консул — Деций Мус):

Домик мой мал, но зато в нем дверь постоянно открыта.
Чем я живу? Я ворихка, но самую малость ворую.
Имя — гордость моя, так консулы римские звались.

(Перевод М. Е. Грабарь-Пассек)

Также, в загадке на слово porcus — поросенок — жалуется, что если от его имени отнять первую букву, то оно предрекает ему печальную судьбу (orcus — царство мертвых).

Несколько загадок Симфосия введены в роман анонимного автора «История Аполлония, царя Тирского»¹⁵.

12. ЛАТИНСКАЯ АНТОЛОГИЯ И АНОНИМНЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

Античность не оставила нам такого полного и систематизированного свода латинской «поэзии малых форм», каким в греческой литературе является известная Палатинская антология. Латинские эпиграммы, рассеянные по множеству рукописных сборников, были собраны воедино лишь учеными нового времени. Это собрание и принято называть «Латинской антологией». Ядро его образует так называемый Салмазиевский сборник — открытая в XVII в. французским филологом Клавдием Салмазием неполная копия обширного свода мелких стихотворений, составленного в Африке, при дворе вандалских королей, в начале VI в. н. э. В значительной части этот сборник состоит из стихов африканских поэтов вандалского времени во главе с талантливым версификатором Луксорием, но в нем также немало произведений предшествующих веков. Впрочем, датировка отдельных стихотворений Антологии сплошь и рядом представляет непреодолимые трудности.

Антология открывается следующей эпиграммой:

Все, с чем развилось дитя, чем тешился возраст любовный,
В чем пиерийскую соль сеял болящий язык,
Все в эту книгу вошло. И ты, искушенный читатель,
Перелистав ее всю, выбери, что по душе.

(Перевод М. Л. Гаспарова)

Тонким ощущением природы проникнуто стихотворение Луксория «Хвала саду Евгетия» (De laude horti Eugeti):

¹⁵ См. ниже, гл. XX.

Сад, где легкой стопой текут Напеп,
 Где резвится Дриад отряд зеленый,
 Где Диана дарит средь Нимф прекрасных;
 Где Венера таит красы сверканье,
 Где усталый Амур, колчан повесив,
 Вольный, снова готов зажечь пожары,
 Ацидальские где резвятся довы;
 Там зеленой красы всегда обилье,
 Там весны аромат струит аомы,
 Там кристальные льет источник струи
 И по лону из мха играя мчится,
 Дивно птицы поют, журчанью вторя.
 Тирских всех городов любая слава
 Пред таким уголком склонись покорно.

(Перевод Ю. Ф. Шульца)

Интересна его эпитафия, говорящая о бессмертии труда, книг:

Смерть не погубит меня: по себе оставляю я память;
 Ты только, книга, живи: смерть не погубит меня.

(Перевод Ю. Ф. Шульца)

Состав Латинской антологии нестр и разнообразен. Это и небольшие эпиграммы, и большие лирические стихотворения, и целые поэмы. Содержание большей части этих стихотворений традиционно: это стихи на случай, разработки мифологических и любовных тем. Поэты периода упадка подражали поэтам расцвета: и лишь местами в их гладких стихотворных упражнениях угадываются следы породившей их эпохи. Таковы анонимные эпиграммы о разорении древних храмов и библиотек. Такова «Хвала Солнцу», в которой отразился культ Непобедимого Солнца, пользовавшийся широким распространением в империи, особенно при Северах.

Приводим два фрагмента из этого стихотворения. Вот описание солнечного восхода:

С розовой бездною вместе привычно вздымаются кони,
 Ноздри подьемля высоко и пламени жар выдыхая,
 Мрак разрывается солнцем. И вот, золотое, с востока
 Светочя сеет оно по зажженным эфира просторам.
 Там же, где всходит Титан в шафранное золото мира,
 Вдруг открывается все, что ночь укрывала в молчанье;
 Вот уж сверкают леса и поля, и цветущие нивы,
 Море в педвижном покое и реки волной обновленной:
 Свет золотой пронизает дрожащие струи потока.

Стихотворение кончается вдохновенным гимном Солнцу, которое озаряет весь мир:

Солнце пурпурным сияньем земли заливает пределы,
 Солнцу навстречу земля выдыхает весной ароматы.
 Солнце, тебе живописно травю луга зеленеют.
 Солнце — зеркало неба и дивного символ величья.
 Солнце, что небо собой рассекает, вовек не стареет,
 Солнце — лик мировой, средоточье подвижное неба.
 Солнце — Церера-Кормилица, Либер и самый Юпитер.

Солнце — Гекаты сиянье; божеств в нем тысячи слито.
 Солнце лучи разливает с несущейся в небе квадриги.
 Солнце утром восходит, сверкая с пределов востока.
 Солнце, окрасив Олимп, возвращает нам день лучезарный.
 Солнце восходит,— и лира ему откликнется нежно.
 Солнце зашло,— но волна его теплоту сохраняет.
 Солнце — лето, осень, зима и весна, что желанна.
 Солнце — месяц и век, Солнце день, год и час обнимает.
 Солнце — шар из эфира, вселенной сверкающий светоч;
 Солнце — друг земледельца, ко всем морьям благосклонно.
 Солнце всегда возрождает все то, что способно меняться.
 Солнце в движении вечном бледнеть заставляет светила.
 Солнцу ответствует море спокойным сверканьем глади.
 Солнцу дано весь мир озарять живительным жаром.
 Солнце — и мира и неба краса,— для всех неизменно.
 Солнце — и ночи и света краса,— конец и начало.

(Перевод Ю. Ф. Шильца)

Чувство красоты природы в «Ночном бдении Венеры» и в стихах Тиберiana совершенно иное, чем в произведениях классической античной литературы. Следует отметить ироническое отношение к традиционным формам — героико-мифическая поэма Веспы — и поиски нового материала для поэтической обработки — сборник загадок Симфония, а также интерес к сложным стихотворным экспериментам: «змеиные стихи» с повторяющимися полустушиями, «анациклические стихи», которые можно читать спереди назад и сзади наперед, стихотворение о Пасифае, составленное из строк всех размеров, какие встречаются в произведениях Горация, и т. д.

В этих небольших стихотворениях явственнее, чем где-нибудь, выступают характерные черты поэзии поздней античности: с одной стороны, упадок самостоятельного творческого духа, а с другой — замечательное мастерство в использовании классического наследия.

Среди анонимных стихотворений более крупного размера следует упомянуть довольно неудачную и пошлую поэму «Болезнь Пердикки», повествующую о страстной любви брата к сестре, кончающейся его самоубийством; является ли целью этой поэмы поучение о гибельности такого рода страсти (как в некоторых позднейших средневековых легендах) или эротика, сказать трудно: возможно, поэт имел в виду и то, и другое.

Чисто дидактические цели преследуют две анонимные «поэмы», излагающие в гексаметрах темы сугубо практического характера: первая (*carmen de figuris*) еще в некоторой степени связана с литературой: каждой риторической фигуре в ней посвящены три стиха гексаметром; при этом один из трех стихов является примером на соответствующую фигуру.

Более далекая от поэзии тема разработана в стихотворении «о мерах и весах» (*carmen de ponderibus et mensuris*) в 208 гексаметров, представляющем чисто исторический интерес. Ее авторство приписывают Ремнию Фанию Палемону, а также Присциану.

Эпиграмма была едва ли не самым популярным поэтическим жанром античности. Малый объем, привычные темы и приемы, наличие превосходных образцов в греческой поэзии делали эпиграмматическое творчество доступным почти для каждого. Поэтому эпиграмма быстро стала достоянием дилетантов, имена которых не сохранились в истории литературы. Отсюда обилие безымянных произведений в «Антологии». Но даже наличие имени автора редко что-нибудь дает для понимания стихотворений. Поэт

Тибериан (Tiberianus), вероятно, то же лицо, что и крупный провинциальный чиновник Тибериан, который в 335 г. был наместником Галлии. Тукциан, Региан, Модестин, Сульпиций Луперк и многие другие остаются для нас пустыми именами; но некоторые стихотворения этих поздних поэтов не уступают по изяществу мысли и формы эпиграммам эллинистической эпохи и даже одам Горация. Таковы, например, «одиннадцатисложник» Тибериана и сафическая ода Сульпиция Луперка.

Птица, влажной застигнутая тучей,
Замедляет полет обремененный:
Ни к чему непрестанные усилия,
Тягость перьев гнетет ее и давит —
Крылья, прежней лишившиеся мощи,
Ей несут не спасение, а гибель.
Кто, крылатый, стремился к небосводу,
Тот низвергнут и падает, разбитый.
Ах, зачем возноситься так высоко!
Самый сильный, и тот лежит во прахе.
Вы, с попутным несущиеся ветром
Гордецы, не о вас ли эта притча?

(Перевод М. Л. Гаспара ва)

О тленности

Суждено всему, что творит природа,
Как его ни мним мы могучим, — гибель.
Все являет нам роковое время
Хрупким и бранным.
Новое русло пролагают реки,
Путь привычный свой на прямой меняя,
Руша пред собой неуклонным током
Берег размытый.
Роет толщу скал водопад, спадая,
Тупятся сошник на полях железный,
Блещет, потускнев, украшенье пальцев —
Золото перстня.

(Перевод В. Брюсова)

Наконец, среди этих же анонимных стихотворений находится «песня гребцов», возможно, представляющая собой обработку подлинной «рабочей» песни (подобной «песне жнецов» в X идиллии Феокрита); своим бодрым жизнерадостным настроением она резко отличается и от пессимистических размышлений о бренности мира и жизни, и от религиозного экстаза «хвалы солнцу», и от лирической эротики «Ночного бдения Венеры». Так, на самом своем закате римской поэзии удалось найти слова не только для скорби и разочарования, но и для радостного труда:

Эйа, гребцы! Пусть эхо в ответ нам откликнется: Эйа!
Моря бескрайнего бог, улыбаясь безоблачным ликом,
Гладь широко распростер, успокоив неистовство бури,
И усмиренные, спят беспокойно — тяжелые волны.
Эйа, гребцы! Пусть эхо в ответ нам откликнется: Эйа!
Пусть заскользит, встрепенувшись, корабль под ударами весел.
Небо смеется само и в согласии с морем дарует
Нам дуновение ветров, чтоб наполнить стремительный парус

ЛИТЕРАТУРА ПОЗДНЕЙ ИМПЕРИИ

Эйа, гребцы! Пусть эхо в ответ нам откликнется: Эйа!
Нос корабельный, резвясь как дельфин, пусть режет пучину;
Дышит она глубоко, богатырскую мощь обнажая
И за кормой проводя убеленную борозду пены.
Эйа, гребцы! Пусть эхо в ответ нам откликнется: Эйа!
Слышится Кора призыв; так воскликнем же громкое: Эйа!
Море запенится пусть в завихрених весельных: Эйа!
И непрерывно в ответ берега откликаются: Эйа!

(Перевод Ю. Ф. Шмелца)



Глава XX

РИТОРИЧЕСКАЯ И ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА III—V вв.

1. *Панегирики*. — 2. *Симмах*. — 3. *«Диктис Критский»*. —
4. *«Дарес Фригийский»*. — 5. *«Деяния Александра»*. —
6. *«История Аполлония, царя Тирского»*. — 7. *Макробий*.

1. ПАНЕГИРИКИ

Панегирики и хвалебные речи во все времена и при самых различных формах государственного устройства были видом ораторского искусства, наиболее далеким от реальной жизни. По самой цели своей, они не могли и не должны были полностью соответствовать действительным фактам; восхваляемое лицо, будь то полководец или государственный деятель, по необходимости изображалось в них не таким, каким оно было в действительности, а каким оратор хотел запечатлеть его в памяти слушателей, а впоследствии — в памяти потомков. Если хвалебная речь относилась к лицу, уже умершему, то ей еще могла быть обеспечена некоторая искренность и правдивость, хотя и тогда роль его в истории всегда преувеличивалась; если же панегирист обращался непосредственно к восхваляемому им «герою», да еще такому, который занимал наивысшее в государстве положение, т. е. к самому императору, то, конечно, почти ни одного слова его речи нельзя было принимать за чистую монету; едва ли можно сомневаться в том, что и сам оратор, и восхваляемое им лицо, да и все слушатели, хорошо это понимали.

Тем не менее, даже в этих, сугубо традиционных и риторических произведениях, иногда против воли автора, а иногда — если автор был достаточно умен и хитер — в полном соответствии с его намерениями пробиваются сквозь толщу пустословия ростки подлинной жизни. Некоторые ораторы, занимающие более высокое положение и достаточно уверенные в благосклонности императора, используют возможность личного обращения к императору для того, чтобы негласно подать ему совет, набросать программу его правления; такого рода речи встречаются, правда, преимущественно у ораторов греческих: в таком, несколько поучительном, тоне осмеливался говорить с Траяном Дион Хрисостом, с Валентинианом Фемистий, с Юлианом Либанний, с Аркадием Спнесий, сам же Юлиан в двух панегириках ненавистному для него Констанцию даже сумел упомянуть о нескольких очень неприятных для Констанция фактах, лишь прикрыв их весьма прозрачной лестью. Из латинских же панегириков, дошедших до нас, только панегирик Плиния Младшего Траяну носит несколько программный характер; Плиний пользуется для этого искусным приемом: он отрицательно отзываясь о ряде мероприятий Домициана и

систематически противопоставляет им разумные распоряжения Траяна по вопросам организации управления, строительства городов, урегулирования торговли и средств сообщения и т. п., обрисовывая тем самым всю одобряемую Плинием правительственную систему Траяна.

Прочие дошедшие до нас латинские панегирики принадлежат рядовым риторам; некоторые из них (например Мамертин и Евмений) занимали государственные должности, но не очень значительные, о других даже и этого сказать нельзя; многие панегирики анонимны. Ни один панегирист не берет на себя смелость характеризовать внутреннюю государственную деятельность императоров даже в самых общих чертах и тем более высказать свое мнение, хотя бы и в замаскированной форме; основной темой всех панегириков являются военные победы над пограничными племенами или над враждебными претендентами на престол. Однако даже в этих утомительных многословных произведениях нередко отражены отдельные стороны реальной политической жизни.

Рукопись сборника латинских панегириков, найденная гуманистом Ауриспой в половине XV в. в Майнце, содержит двенадцать речей. На первом месте в нем помещен панегирик Плиния Младшего Траяну, хронологически наиболее ранний, а с точки зрения литературной, — наиболее ценный образец этого жанра. Остальные 11 панегириков, по-видимому, объединяют два сборника, а именно: три панегирика, приписываемые определенным лицам, — речь к Феодосию Великому ритора Латиния Паката Дрепаниа (*Latinus Pacatus Drepanius*) от 389 г.¹, речь известного ритора Мамертина (*Claudius Mamertinus*) от 362 г. с выражением благодарности Юлиану за назначение Мамертина консулом, и речь Назария (*Nazarius*) к Константину от 321 г. по поводу 15-летия его правления и пятилетия с момента назначения цезарем его младшего сына, тоже Константина.

Тот обратный хронологический порядок, в котором расположены эти три панегирика (389, 362, 321 гг.), сохранен и во втором сборнике, введенном под заголовком: *Incipiunt panegyrici diversorum*; он охватывает период между 289 и 311 гг., т. е. время правления и отречения Диоклетиана и Максимиана, а также период семейных смут и столкновений между их преемниками; вполне понятно, что ораторы, выступавшие в такую беспокойную эпоху, старались придерживаться общих фраз и не слишком подробно говорить об отдельных фактах: так, в речи на свадьбе Константина и Фаусты (№ 7), младшей дочери Максимиана, тщательно обойден вопрос о том, что Константин уже женат и имеет сына и что Максимиана принудил к отречению Диоклетиан; а в панегирике VI крайне глухо говорится о гибели старого Максимиана, пытавшегося еще раз вернуть в свои руки власть.

Из второго сборника только одна речь может быть с достоверностью приписана определенному лицу — учителю красноречия Евмению (*Eumenius*), которого Констанций Хлор назначил ректором высшей школы в Августодуне (город в Галлии), нынешней Отеше; Евмений, по происхождению грек, был уроженцем этого города, куда переселился из Афин уже его дед, тоже бывший преподавателем риторики; после недолгой службы при дворе Констанция Евмений был вновь назначен педагогом в Отен и, по-видимому, вознагражден при удалении от двора двойным окладом в 600 тысяч сестерций; он застал родной город сильно пострадавшим от междоусобных войн, пожертвовал свой годичный доход на восстановление школы и в своей речи одновременно благодарил Констанция за его помощь городу и призывал его и других могущественных и богатых людей после-

¹ Имя этого ритора встречается в письмах Слиммаха и в стихотворениях Авзония.

довать его примеру. Остальные панегирики анонимны, если не считать, что лишь в одной рукописи X и XI панегирики приписаны некоему Мамертину (но, судя по датировке, не тому Мамертину, которому достоверно принадлежит панегирик Юлиану).

К четырем панегирикам первой группы и семи второй группы добавлен еще XII — тоже анонимный панегирик Константину, выпадающий из обратного хронологического ряда и относящийся к 313 г. По характеру он ничем не отличается от предыдущих.

Все панегирики в преувеличенных выражениях излагают преимущества императорской власти. Восхваляемый император всегда оказывается не только величайшим полководцем и героем, но не раз называется божественным. Так, например, родине Феодосия, Испании, подобает больший почет, чем Криту, где стояла колыбель Зевса, или Делосу, вскормившему близнецов Леды, и Фивам, воспитавшим Геркулеса: «Тому, что мы слышали, мы можем не верить: Испания дала нам бога, которого мы видим перед собой» (панегирик II, гл. 4). Императорам всегда сопутствует Фортуна, они любимцы ее; вся природа радуется их появлению, над ними всегда сияет голубое небо и солнце; Сатурн смог дать людям лишь краткий золотой век, императоры дают его непрерывно. Аллегорические фигуры Мудрости, Мужества, Терпения и т. п. составляют их свиту.

Однако, риторы не ограничиваются этими мифологическими похвалами, а переходят к восхвалению более конкретных свойств императора — щедрости и благосклонности к приближенным. Должности, получаемые по назначению императоров, по их утверждению, более почетны, чем те, которые некогда в римской республике давались по выбору народа. Восхваление личности императора, лесть, пышная и многословная, но по существу безобидная, приобретает в этих выпадах против римской республики явно выраженный политический характер. Известно, что преклонение перед республикой долго держалось в кругах консервативной аристократии; приближенным новых, часто недолговечных, императоров это преклонение совершенно чуждо и они откровенно говорят об этом. Рассказывая о первых царях Рима и об изгнании Тарквиния, Латиний Пакат заканчивает так: «Если бы согласно природе вещей было возможно, чтобы создатель римской свободы, ненавистник царского имения, Брут, вернувшись к жизни, увидел твой век [следует длинное перечисление всех достоинств этого века], то он несомненно изменил бы свое мнение и, видя, что свобода и достоинство Рима находятся в лучшем положении при тебе, императоре, чем при нем, консуле, он бы сказал непременно, что ему следовало свергнуть только самого Тарквиния, но не царскую власть» (II, 20).

Еще дальше в своем унижении и в унижении древности идет Мамертин, получивший консульство из рук Юлиана и осыпанный его милостями (по видимому, за верность язычеству); заверив императора, что он «с нежной юности до седых волос» не мечтал ни о чем другом, кроме консульской должности (III, 17), Мамертин очень резко отзываясь о тех временах, когда эта



Пастух

(итальян на сердолице италийской работы)

должность давалась центуриатскими комициями, ибо «в беспорядочной толпе неопытных людей не может быть ничего прочного; так как порядочных людей (*boni*) там мало, а бессовестной черни много, то там преимущество принадлежит множеству и толпе; должности по народному голосованию захватывались теми, кого одобряло большинство, то есть худшие; оттого и случилось, что наши предки видели Габиниев избранными, а Катонов отвергнутыми» (III, 19). Насколько сдвинута в представлении Мамертина, выступающего защитником «Катонов», вся историческая перспектива, ясно само собой. По сравнению с этим уже только комическое впечатление производят восторги Мамертина по тому поводу, что прежде приходилось добиваться консульства «великими трудами, и оно доставалось сонскателю, как нечто должное», а он получил его без всякой заслуги и ему придется теперь постараться стать достойным его (III, гл. 31).

Но наряду с тем восхищением, которое якобы вызывает у ораторов положение государства, у них не раз встречаются и вполне реальные картины тех ужасов и разрушений, которыми так богаты III и IV вв. Эти описания осторожные панегиристы, правда, всегда относят в прошлое — в их время все раны якобы уже залечены, — но стоит заглянуть в хронологию, чтобы увидеть, что это прошлое не так уж далеко — всего 30—40 лет.

В панегирике Константину (VIII) рисуется такая картина правления Галлиена (260—268 гг.). «В то время, то ли по беззаботности в управлении, то ли по воле судеб у государства были отсечены почти все его члены: парфянин иллиши зазнался, а житель Пальмиры сравнялся с нами; отпали весь Египет и Сирия, была потеряна Ретия; Норик и Паннония были опустошены; сама Италия, владычица народов, оплакивала гибель многих своих городов; она не могла даже горевать об отдельных вещах, ибо была лишена почти всего» (VIII, 10).

Все панегирики полны упоминаний о пограничных стычках и войнах, о междоусобицах между правителями и новыми претендентами и узурпаторами. Императоры непрерывно сражаются то на Востоке, то на Западе. Быстрота их передвижений становится «общим местом» панегиристов-риторов. Феодосий сражается на Рейне и Истре, с саксами, скоттами, алеманнами и маврами (II, 5); его войска, «как бы перелетающие с одного конца мира на другой», сравниваются с Кастором и Поллуксом, перелетевшими из Фессалии на Тибр (II, 39), Максимиан и Диоклетиан всю жизнь проводят в походах: «Его только что видела Сирия — и вот уже его встречает Паннония; ты только что посещал города Галлии, и вот ты уже переходяшь вершины Геркулесова Монойка; когда мы думаем, что вы оба находитесь на Западе и Востоке, вы вдруг появляетесь в самом сердце Италии» (XI, 4). Все панегирики испещрены именами варварских племен, отовсюду наступающих на шатающуюся римскую державу.

Интересно отметить, какую роль в это время играет Галлия. Большинство панегиристов — уроженцы именно этой провинции; один из них, адуий по происхождению, с гордостью говорит о многовековой дружбе своего народа с Римом. Евмений приводит оригинал письма Констанция Хлора с теплым отзывом о галльских городах и о их населении, пострадавшем от войны; Феодосий прилагает усилия для залечивания ран Галлии, пострадавшей от восстания Максима. Даже по таким искусственным произведениям, как панегирики, ясно видно, как культурная жизнь передвигается на север, как готовится новый центр культуры и просвещения в будущей феодальной Европе — «прекрасная Франция».

Надо остановиться еще на одном интересном политическом наблюдении, проскользнувшем в XI панегирике (на день рождения Максимиана).

Оратор в конце своей речи поздравляет Максимяна с тем, что ему уже не надо так много сражаться с варварами, как прежде, так как варвары стали «терзать и уничтожать друг друга и охваченные яростью подражают вашим [т. е. римским] походам в Ретию и Сарматию» (XI, 16). Далее идет перечисление войн между варварскими племенами во всех концах мира, и оратор кончает речь следующей многозначительной тирадой: «Вы отстали врагам не оружием, не походами, как было до сих пор; вы, счастливейшие императоры, победили только своим счастьем. Скажите, когда римские правители с большей радостью могли похвалиться своим счастьем, чем в то время, когда они видели, что враги спокойны, живут мирно и тихо? Но насколько радостнее и прекраснее те слова, что теперь у всех на устах, когда люди говорят о вашем времени: варвары берутся за оружие, но друг против друга! Варвары победили, но — своих соплеменников. Такие бесчисленные удачи, такие новые успехи посылает вам fortuna... И это счастье, о лучшие императоры, вы заслужили вашим благочестием» (XI, 18). Можно с полной уверенностью предположить, что это «счастье» пришло к Диоклетиану и Максимиану, хитрым и искусным императорам, только благодаря их умению вести политические интриги и натравливать варварские племена друг на друга. Однако даже самым ловким и удачливым императорам IV—V вв. удавалось лишь на короткие периоды несколько ослабить натиск варваров на границы римского государства.

2. СИММАХ

Ревностный защитник староримских традиций и культов, последний крупный языческий оратор Квинт Аврелий Симмах (Q. Aurelius Symmachus) жил во второй половине IV в. н. э. (род. около 345 — умер вскоре после 400 г. н. э.). Знатность происхождения открыла ему доступ к самым высоким государственным должностям — он был квестором, претором, наместником провинций, понтификом, префектом города, консулом, а его талант оратора способствовал тому, что он занял главенствующее положение среди языческой части сената и снискал себе славу у современников и потомков. Современники считали его Цицероном своего времени, и даже идейный противник Симмаха, христианский поэт Пруденций, назвал его «украшением римского красноречия, которому уступит и сам Цицерон» (*Contra Symmachum*, I, 633).

Симмах был главным действующим лицом одного из последних эпизодов борьбы между язычеством и христианством в Риме — во время споров об алтаре Победы.

Статуя Победы, поставленная Августом в курии Сената после битвы при Акцие и освященная языческими обрядами, продолжительное время была как бы символом борьбы культов, а отношение к ней императоров — показателем их церковной политики. Так, решительно поддерживающий христиан Константин (306—337 гг. н. э.) приказал вынести ее из курии, но император Юлиан (361—363 гг.) вновь ее восстановил; Валентиниан I, правление которого считается временем религиозного мира (364—375 гг.), не трогал статуи, но его сын Грациан (367—383 гг.), предпринявший новое наступление на язычество, вновь удалил ее.

Сенат, в котором было большинство язычников, дважды — в 382 и 383 гг. — посылал к императорам посольства с просьбой о восстановлении статуи. Во главе обоих посольств стоял Симмах — самый авторитетный и самый красноречивый из сенаторов. В 382 г. Грациан его не принял. Но в следующем году, после убийства Грациана, он был допущен к новому им-

ператору Валентиниану II и произнес перед ним речь, которая произвела сильное впечатление даже на присутствовавших христиан. Эта речь сохранилась: она ярко характеризует Симмаха как страстного приверженца старых традиций и старой религии, видевшего спасение и счастье Рима в строгом соблюдении обычаев отцов. Симмах защищал статую Победы как символ славного прошлого Рима и требовал свободы исповедания религии предков.

«Кто из людей, — восклицает он, — такой друг варваров, что не жалеет об алтаре Победы? Мы обычно соблюдаем предосторожность по отношению к будущему и в остальном избегаем дурных предзнаменований: так отвесемся же, по крайней мере, к слову „победа“ с тем уважением, в котором отказываем божеству. Ваше государство своей нерушимостью во многом обязано Победе и будет обязано ей еще больше. Пусть не признают ее могущества те, которые не испытали ее помощи. Вы же не отвергайте ее покровительства, слушника триумфа... Молю вас, сделайте так, чтобы мы, стариками, смогли передать своим потомкам то, что еще детьми получили от отцов» («Письма», X, 3, 3).

Красноречие Симмаха не достигло цели; император, поддерживаемый медиоланским епископом, знаменитым Амвросием, отказался выполнить требования язычников. Впоследствии сенат неоднократно возобновлял тщетные ходатайства о статуе, в одном из которых опять принял участие Симмах, за что и был ненадолго даже сослан Феодосием.

Хотя Симмах и славился как оратор, речи его почти не сохранились, если не считать нескольких незначительных отрывков и трех (также неполных) панегириков императорам Валентиниану и Грациану, непомерно льстивых и напыщенных. Основную часть литературного наследия Симмаха составляют письма. Дошедший до нас большой сборник писем Симмаха был составлен и издан его сыном Меммием Симмахом после смерти отца. Письма здесь разделены на 10 книг; книга X составлена из донесений к императорам. Среди этих донесений и сохранилась цитированная выше речь об алтаре Победы.

Литературным образцом Симмаха как в отношении слога писем, так и плана издания был Плиний Младший. Но по скудости содержания письма Симмаха настолько же ниже писем Плиния, насколько письма Плиния ниже писем Цицерона. Многие из этих коротких посланий даже не имеют целью сообщить адресату какую-то новость, передать свои переживания или впечатления от какого-нибудь события. Скорее, они просто представляют собой пязщное выражение светской любезности по отношению к другу или знакомому, и являются лишь средством проявить литературные способности и риторическую образованность. По большей части они отличаются суховатой краткостью, незначительным содержанием, почти полным отсутствием более или менее серьезных мыслей, излишней манерностью выражения, частыми повторениями. Впрочем, язык Симмаха для его времени достаточно чист, варваризмов в нем немного.

Среди адресатов Симмаха — влиятельные и знаменитые люди империи: епископ Амвросий, историк Никомач Флавиан, философ Претекстат, поэт Авзоний. Но мы почти не находим в письмах отголосков общественной жизни Рима того времени, если не считать донесений книги X по поводу традиционных игр. В этом сказывается упадок общественной жизни, ограниченность духовных интересов и сознательный уход от современности: все помыслы старой римской аристократии были обращены в прошлое. Тематика писем не слишком разнообразна, часто ее трудно точно определять: это сообщения о поездках по Италии с одной видлы на другую (VII, 15); заботы о воспитании (письма к сыну, дочери, зятю — IV, 20; VII,

2, 3); литературные впечатления (I, 14, 31); утешение в душевных горестях (письма к Флавиану — II, 18, 50, 53). Ясно, что подлинную жизнь их авторов и адресатов такие письма отражали очень слабо. Основное внимание в них уделялось форме.

Характерна для эпистолярного стиля Симмаха, да, видимо, и вообще для эпистолярного стиля того времени, его переписка, полная взаимных комплиментов, с Авзонием, самым крупным поэтом IV в. н. э. Переписка эта интересна также и тем, что она, хотя и очень поверхностно, дает представление о взаимоотношениях двух крупнейших представителей римской литературы IV в. н. э. Например, в одном из своих писем (I, 14) Симмах выражает восхищение поэмой Авзония «Мозеллой» в такой изысканной риторической форме:

«Твоя „Мозелла“, которую ты обессмертил божественными стихами, порхает по рукам и покоится в складках tog многих людей... Действительно, прежде, когда я следовал за знаменами бессмертных императоров, я знал эту реку — похожую на многие другие и уступающую очень многим. Теперь же, неожиданно, благодаря блестящим стихам, она предстала перед нами величественнее египетского Нила, холоднее, чем скифский Танаис и прозрачнее нашей отечественной реки. Я ни за что не поверил бы тому, что ты рассказываешь о возникновении и течении Мозеллы, если бы не знал наверняка, что ты никогда не обманываешь, даже в стихах. Где открыл ты эти стаи речных рыб, названия которых также различны, как их окраска и которые отличаются друг от друга и величиной, и вкусом? Что приготовил ты сверх этих даров природы из тонких снадобий своей поэзии? За твоим столом, куда ты меня часто приглашал, я дивился большей частью другой еде, которой угощали тогда в претории и никогда не замечал этого рода рыб. Когда же эти рыбы, которых никогда не было на блюдах, появились в твоей книге? Ты думаешь, что я шутник и занимаюсь болтовней. Пусть боги помогут мне заслужить одобрение повелителей — я ставлю твою поэму наравне с книгами Вергилия».

Отвечая ему, Авзоний также не скупится на похвалы Симмаху (Симмах, «Письма», I, 32): «Разве имеет кто-нибудь столько блеска, чтобы не померкнуть в сравнении с тобой? Кто близок так, как ты, и к простоте Эзопа, и к софизмам Исократы, и к рассудительности Демосфена, или к изобилию Цицерона и особенной славе нашего Марона? Кто сумел достичь одного из этих качеств, которые ты соединил в себе все? В самом деле, что же ты иное, как не совершенное воплощение гения всех прекрасных искусств?»

В этом же письме любопытно замечание Авзония, воспитателя императора Грациана и придворного поэта, о лицемерии императорского двора. Уверяя Симмаха в искренности своих чувств к нему, Авзоний пишет: «Ты испытал искренность моих чувств и моих слов, пока мы оба жили при дворе. Мы были разного возраста: когда ты, новобранец, уже удостоился наград старого солдата, я, ветеран, еще только начинал учение. При дворе я был чистосердечен по отношению к тебе, не думаешь же ты, что я, находясь вне его, сочиняю сказки. При дворе, повторяю, где человек открывает свое лицо и скрывает свои мысли, ты чувствовал, что я был тебе и отцом, и другом, и, может быть, еще более дорогим человеком, если только есть имена дороже этих».

Несмотря на то, что письма Симмаха содержат очень мало сведений о жизни того времени, в которое они были написаны, являясь, однако, сами по себе документами времени, они не могут не представлять для нас интереса.

3. ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА.

«ДИКТИС КРИТСКИЙ»

От III и IV вв. н. э. до нас дошло несколько прозаических произведений повествовательного характера, построенных, по утверждению их авторов, на исторической основе, но на деле принадлежащих к той занимательной литературе, которая пышно расцвела в восточной половине римской империи². Тот факт, что данные произведения написаны на латинском, а не на греческом языке, не составляет существенной разницы между теми и другими, так как эти латинские повести теснейшим образом связаны с греческой литературой: они либо являются действительно переводами с греческого языка (полными или сокращенными), либо ссылаются на греческий оригинал, существование которого, однако, нельзя считать вполне доказанным. Таких произведений сохранилось четыре: «Дневник Троянской войны» (*Ephemerida belli Troiani*) Диктиса Критского, «О падении Трои» (*De excidio Troiae*) Дареса Фригийского, «История Александра» Юлия Валерия и «История Аполлония, царя Тирского» (*Historia Apollonii regis Tyrii*) анонимного автора.

«Дневнику Троянской войны» предпосланы два «Пролога» или предисловия: в первом из них рассказывается, что автор «Дневника», уроженец Критского города Кносса, написал этот «Дневник» по поручению Критского царя Идоменея, которого он будто бы сопровождал в походе против Трои. «Дневник», как сообщает предисловие, был затем положен в могилу Диктиса на его родине, где и пролежал несколько сотен лет; при Нероне, во время землетрясения, могила раскрылась, и он был найден. Сначала «Дневник» попал в руки к некоему Евпраксиду (или Праксису), который показал его правителю провинции Рутилию Руфу, а затем через посредство Руфа — и самому Нерону. Последний, заинтересовавшись рукописью, которая была якобы написана на финикийском языке, приказал перевести ее на греческий и уже в греческом переводе оставил у себя в библиотеке.

Другое предисловие имеет форму письма. Луций Септимий, который выдает себя за переводчика «Дневника», обращается в нем к своему другу Квинту Арадию Руфину. Он называет себя «приверженцем правдивой истории» и поясняет причину, побудившую его перевести рукопись на латинский язык: по его мнению, она имеет большую ценность. По его словам, первые пять книг латинского перевода полностью соответствуют первым пяти книгам греческого оригинала — в них рассказывается о причинах и о ходе войны. В книге I имеются интересные отклонения от обычного изложения начала войны: Елена оказывается родственницей троянских царей и ей покровительствует Гекуба; много внимания уделено посольству Паламеда в Трою. Последняя, самая краткая, книга, по словам Септимия, объединяет в себе пять книг оригинала: в ней говорится о возвращении греков на родину и основное место занимает в ней судьба Агамемнона и скитания Одиссея (Улисса).

Долгое время предполагалось, что «Дневник» составлен тем самым Евпраксидом, который упомянут в первом предисловии. Вопрос о наличии или отсутствии греческого подлинника вызвал живейший обмен мнений: немецкие филологи Дунгер и Кёртинг придерживались противоположных точек зрения — первый отрицал, второй признавал существование греческого оригинала. Однако папирусные находки подтвердили правильность второй точки зрения: в 1907 г. на обратной стороне папируса начала III в. были найдены две колонки (около 100 строк) подлинного греческого

² См. «Историю греческой литературы», т. III. М., Изд-во АН СССР, 1960, гл. XII.

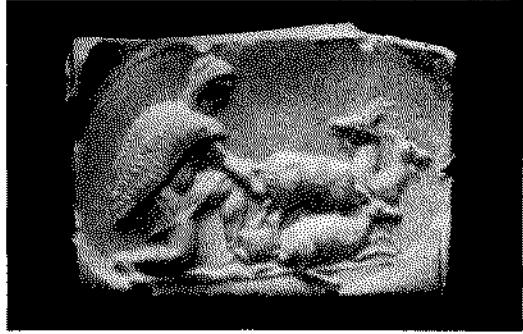
текста «Дневника». Выяснилось, что латинский текст Септимия является скорее парафразой, чем точным переводом. Таким образом, отрицать существование греческой прозаической повести о троянской войне уже нельзя.

Время написания латинского «Дневника» определили по второму предисловию, которое адресовано Квинту Арадию Руфину: известны два человека, носившие это имя; оба жили в IV в. н. э. Кроме того, в этом предисловии слово *consularis* употреблено в смысле «наместник, правитель провинции», а до IV в. оно этого значения не имело.

Обращение к далекому прошлому, к мифологии, было характерно для литературы IV в. н. э. Авторитет древней литературы стоял чрезвычайно высоко, и тот прием, который использовал Луций Септимий, выдавая свой «Дневник Троянской войны» за перевод подлинного дневника современника Гомера, видимо, мог обеспечить ему успех.

Стремление к рациональному объяснению «чудесных» явлений и к замалчиванию «божественного» происхождения героев, к объяснению событий и поступков героев с точки зрения разума и психологии человека своего века — характерная черта этого сочинения, в котором события мифической троянской войны представлены как события реальной истории. Автор, мировосприятие которого отстоит уже очень далеко от наивных представлений людей той далекой эпохи, когда слагались мифы, как бы пропускает эти давно знакомые сказания через призму своего понимания мира. Поэтический эпос Гомера превращается здесь в романообразную прозаическую историю. Различные фактические несоответствия с Гомером и традиционными преданиями воспринимаются как своеобразная критика древних источников или полемика с ними.

Автор пытается обойтись без «чудес», но там, где это ему не удается (например в истории с возникновением моровой язвы и жертвоприношением Ифигении — I, 19—20), он повествует о них с легкой иронией. Слишком явные проявления своеволия «мнимого Диктиса» (например лишение Агамемнона должности — I, 19 или обстоятельства убийства Гектора Ахиллом — III, 15 и т. п.) сурово осуждались позднейшими исследователями. В стремлении к занимательности, автор в ходе событий отводит большую роль женщинам (Елене и Гекубе — I; дальние — Кассандре, Поликсене), вводит в рассказ бытовые сцены (I, 9 — разговор Приама с Еленой, I, 20 — Клитемнестра, радующаяся случаю выдать свою дочь за такого славного мужа, как Ахилл, и т. д.). Язык представляет собой сочетание старинных поэтических оборотов и поздних форм. По манере изображения и языку из классиков мнимый Диктис ближе всего к Саллюстию. Как и Саллюстий, он часто заставляет героев произносить речи (I, 6, 9, 20). Симпатии автора целиком на стороне греков — они благородные и храбрые люди, тогда как троянцы — варвары; Парис в изображении Диктиса — бессовестный негодяй и разбойник (I, 3, 5, 7 и т. д.). В середине века «Дневник», по-видимому, пользовался успехом и служил сюжетной базой для писателей и поэтов, создававших произведения о троянской войне и гибели Трои.



Италийская сцена

(инталь)

4. ДАРЕС ФРИГИЙСКИЙ

Еще более поздним произведением о Троянской войне является «История падения Трои» (*De excidio Troiae*) Дареса Фригийского.

Автор, имя которого взято из книги V «Илиады»³, также как и мнимый Диктис, выдает себя за свидетеля и очевидца Троянской войны и всячески старается создать у читателя впечатление исторической достоверности. Сочинению предпослано предисловие, написанное будто бы Корнелием Непотом и адресованное Саллюстию. В нем рассказывается о происхождении рукописи, вымышленная история которой во многом напоминает историю с рукописью Диктиса. Мнимый Корнелий Непот сообщает, что он нашел рукопись в Афинах, что она ему очень понравилась и он перевел ее на латинский язык, ничего в ней не изменив. (По преданию, она была первоначально написана по-гречески на пальмовых листьях.) Далее «переводчик» замечает, что он предоставляет читателям право самим решить, чей рассказ о Троянской войне более достоверен — Дареса, принимавшего в ней участие, или Гомера, жившего на много лет позднее описываемых событий. В конце предисловия добавлено как бы между прочим, что вообще Гомер считался в Афинах сумасшедшим, так как он свел в одной войне богов и людей. Таким образом, в своем рационализме и критическом подходе к Гомеру автор этого сочинения пошел еще дальше Диктиса.

Относительно истинного происхождения и времени написания этого произведения мнения ученых сошлись на том, что греческой рукописи, по-видимому, никогда не существовало, а, что дошедшая до нас латинская редакция, судя по языку и упоминаниям о ней у разных авторов, относится к концу V — началу VI в. н. э.; но вполне возможно, что она возникла на основании каких-то более ранних источников. «Падение Трои» Дареса Фригийского значительно короче «Дневника» Диктиса Критского, в нем еще более сухо и лаконично, немного подробнее простого перечисления, абсолютно без каких-либо художественных прикрас в 44-х маленьких главках излагаются все события десятилетней Троянской войны. Автор «Падения Трои» совершенно отказывается от «божественного плана» событий и многие моменты войны изображает и объясняет по-своему, презрев обычные предания (Ахилла губит хитрость Гекубы, царша Амазонок Пентесилея гибнет в бою с Неоптолемом и т. д.).

Повествование начинается с похода аргонавтов, затем рассказывается о ссоре греков с царем Лаомедонтом, о разрушении Трои с помощью Геркулеса и о получении Теламоном в качестве добычи Гесионы, дочери Лаомедонта (гл. 1—3), о восстановлении Трои Приамом, о неудачном посольстве Антенора к грекам с просьбой вернуть Гесиону (гл. 4—5); о совете Приама с сыновьями, сие Париса и предсказании о гибели Трои (гл. 6—8), о посольстве Париса и похищении Елены (гл. 8—9), о пророчестве Кассандры и подготовке греков к войне (гл. 9—13). В главе 14 автор дает каталог кораблей, затем рассказывает о подготовке троянцев к войне и предсказании дельфийского оракула о победе греков. Десятый год войны занимает главу 15, и только в главе 16 говорится о первой стычке троянцев и греков. Заканчивается это сочинение падением Трои и подсчетом трофеев и потерь. Гибнет Троя из-за предательства Антенора и Энея. Интересно, что соответственно поздним грамматикам (*Serv. ad Aen.*, II, 15) деревянный конь заменен у Дареса головой лошади, нарисованной на внешней стороне Скейских ворот Трои, которые открывают грекам Антенор и Эней.

³ «Был в Илионе Дарес, невротичный священник Гефеста» (Гомер, «Илиада», V, 9 в переводе Гнедича). См. также: Вергилий, «Энеида», V, 369, 375.

В отличие от Диктиса — сторонника греков, симпатии Дареса на стороне троянцев: троянцы — подлинные герои, они часто ранят Ахилла; Аякс, сын Теламона, падает, сраженный меткой стрелой Париса; победа досталась грекам дорогой ценой: их потери — 886 тысяч против 676 тысяч троянцев.

Такая вергилиевская ориентация автора истории о падении Трои создала ей особенный успех в средние века, когда Вергилию поклонялись, а его версия о троянском происхождении римлян пользовалась большой популярностью. Как и «Дневник» Диктиса Критского, «Падение Трои» Дареса Фригийского в средние века служило основой для произведений на тему Троянской войны (например Бенуа де Сен-Мор).

5. «ДЕЯНИЯ АЛЕКСАНДРА»

Образ Александра Македонского и история его походов, особенно похода в Индию, дали пищу для многих фантастических рассказов о его подвигах и приключениях. По-видимому, первые зачатки «романов об Александре» относятся еще к эпохе эллинизма (поэтому и в поздних версиях не раз идет речь о Птолемеях и значительное место уделено пребыванию Александра в Египте). Некоторые рассказы о нем использованы Плутархом и Аррианом. В III в. н. э. эти рассказы и анекдоты были объединены в связанное жизнеописание Александра в форме романа со вставными письмами, речами и даже стихотворениями. Этот роман под названием «Деяния Александра» (*Ἀλεξάνδρου πράξεις*) был написан на греческом языке и приписывался историку Каллисфену (IV в. до н. э.); поэтому его неизвестного автора принято называть псевдо-Каллисфеном, хотя в некоторых рукописях стоят имена Эзопа, Онесикрита и даже Аристотеля. Греческая версия, дошедшая до нас, возможно, относится к еще более позднему времени; поэтому ценной является латинская версия, носящая имя переводчика, Юлия Валерия, жившего в конце III или начале IV в. н. э. Автором романа Юлий Валерий считает Эзопа. Перевод важен и с лингвистической точки зрения: в нем есть позднелатинские формы. Роман псевдо-Каллисфена пользовался широкой известностью в течение многих веков и был переведен на сирийский, армянский, эфиопский и славянские языки. Наиболее близок к оригиналу армянский перевод. В X в. «Деяния Александра» были вторично переведены на латинский язык архиепископом Львом, и этот перевод послужил основой для множества средневековых версий и переработок «Романа об Александре».

6. «ИСТОРИЯ АПОЛЛОНИЯ, ЦАРЯ ТИРСКОГО»

Роман, дошедший до нас под названием «История Аполлония, царя тирского», в противоположность «Деяниям Александра» имеется только на латинском языке; существование греческого оригинала до сего времени стоит под вопросом, хотя большинство филологов решает его в положительном смысле. Все излюбленные мотивы греческих романов в нем налицо: кораблекрушение, мнимая смерть и оживление (один из интереснейших моментов романа), многолетняя разлука и узнавание, девушка, остающаяся целомудренной в доме сводника, и т. п. В роман вплетены и чисто сказочные мотивы — разгадывание загадок как условие получения руки царевны, злая воспитательница, которая, имея безобразную дочь, завидует красоте воспитанницы и поручает слуге убить ее. Мотив разгадывания загадок использован дважды и оба раза не связан органически с главной

сюжетной линией; во втором случае введены загадки из известного сборника загадок Симфония, составленного, по-видимому, в конце V в.; предполагают, что весь этот эпизод является позднейшим добавлением.

Первые достоверные сведения об «Истории Аполлония» мы имеем от VI в., однако ряд мелких черточек свидетельствует о гораздо более раннем происхождении — вероятно, в III в.; на это указывают, например, названия золотых монет, счет на сестерции и т. п. (в IV веке монетная система изменилась).

Роман дошел в различных версиях: он, очевидно, имел большой успех и подвергся многим переработкам, причем вбирал в себя все больше христианских мотивов: так, в одной версии явление Дианы в вещем сне заменено явлением ангела.

Язык романа очень прост: даже речи действующих лиц посят чисто разговорный, несколько примитивный характер.

«История Аполлония» переводилась и перерабатывалась многократно и в средние века, и в эпоху Возрождения во всех европейских странах (известна старофранцузская версия, ряд стихотворных переложений, в том числе у Ганса Сакса).

7. МАКРОБИИ

Сведения об Амвросии Феодосии Макробии (*Ambrosius Theodosius Macrobius*) чрезвычайно скудны и почерпнуты исключительно из введения к единственному дошедшему до нас крупному его произведению — к «Сатурналиям»; введение это написано самим Макробием и характеризует больше задачу и литературные приемы данного сочинения, чем его автора. На всех рукописях произведений Макробия к нему приложен эпитет — «муж знаменитейший и знатный» (*...viri clarissimi et illustris convivii primi diei Saturnaliorum*); по-видимому, он принадлежал к высшим кругам общества; возможно, подобно своему современнику Аврелию Симмаху, был каким-то крупным государственным чиновником. Однако Макробий был не римлянин, а грек; о своем перимском происхождении говорит он сам: он называет себя «рожденным под иным небом» и просит читателей простить его, если в его языке «недостает природного изящества речи римлянина» (*si in nostro sermone nativa Romani oris elegantia desideratur* — Praef., 12).

В языке его действительно кое-где встречаются грамматические неточности (например употребление индикатива вместо конъюнктива, колебания в выборе наклонений в условном периоде): Само имя его — Феодосий Макробий — и имя его сына, которому он посвящает свой труд, — Евстафий — греческие.

Время жизни Макробия можно определить довольно точно, так как в «Сатурналиях» он выводит в качестве действующих лиц ряд политических и научных деятелей середины и второй половины IV в. н. э.; он называет их «благородными представителями римского нобилитета» (*Romanae nobilitatis proceres* — I, 1): это Веттий Агорий Претекстат, о многообразной религиозной и политической деятельности которого свидетельствует длинная хвалебная надпись⁴; по-видимому, он был одним из тех, кто прилагал все силы к возрождению язычества, пытаясь создать сикретический культ; от него остался трактат об «Апалитике» Аристотеля, он является адресатом нескольких писем Симмаха, вместе с которым принимал участие в хлопотах языческой аристократии по восстановлению в сенате

⁴ CIL, VI, 1779.

алтаря Победы. Веттий был назначен консулом на 384 г., но умер, не успев вступить в должность. Макробий изображает его уже пожилым, очень образованным римлянином старого типа, пользующимся глубоким уважением всех собеседников.

В «Сатурналиях» выведен и Симмах, красноречие которого Макробий восхваляет в самых восторженных выражениях.

Кроме этих наиболее крупных фигур, в «Сатурналиях» выступают и другие исторически реальные лица: географ Авиен, от которого до нас дошло несколько сочинений, известный комментатор Вергилия Сервий, славившийся в конце IV в. в Риме как преподаватель риторики, философы Гор и Евстафий, действительное существование которых засвидетельствовано упоминаниями о них в письмах Симмаха. Остальные, неизвестные нам, лица тоже, по всей вероятности, являются реальными, а не фиктивными фигурами. Едва ли можно сомневаться в том, что Макробий знал всех этих людей лично, так как он дает им всем, особенно Веттию Претекстату, достаточно индивидуальные характеристики; из этого следует, что и сам он жил во второй половине IV или в начале V в. Правда, сам Макробий просит читателей не быть слишком придирчивыми в отношении хронологии, так как в действительности Веттий Претекстат не мог видеть некоторых из упомянутых лиц уже взрослыми (*uni et alteri ex his, quos coetus coëgit matura aetas posterior saeculo Praetextati fuit*—I, 1, 5). Эту хронологическую вольность Макробий, по его словам, позволил себе по примеру Платона, который в диалоге «Парменид» вывел Сократа юношей, уже способным вести со стариком Парменидом сложный философский спор; между тем известно, что Парменид умер, когда Сократ был еще ребенком; также и в диалоге «Протагор» выступают сыновья Перикла, которые во время второго посещения Афин Протагором уже погибли во время чумы в 430 г. до н. э.

Поэтому Макробий тоже не считал нужным «высчитывать по пальцам» возраст собеседников (*annos coeuntium mitti in digitas*—I, 1, 7).

«Сатурналии» представляют собой довольно тяжеловесное произведение, из которого дошло до нас семь книг. Из скольких книг состояло все сочинение Макробия, мы сказать с уверенностью не можем. План беседы, намеченный в конце книги I, исчерпан в VI, но в книге VII поднимаются не связанные с этим планом естественно-научные вопросы, и мы не знаем, продолжалась ли беседа о них в дальнейших книгах, или книга VII была последней. Из семи дошедших книг утрачены: конец II, VI и VII книг, начало III, начало и конец IV. По тому, что мы имеем, мы вполне можем составить себе достаточно полное представление о литературной ценности «Сатурналий» и приемах работы автора.

Второе произведение Макробия представляет некоторый интерес только с точки зрения истории философии: это подробный, но не глубокий комментарий к «Сну Сципиона» из VI книги сочинения Цицерона «О государстве» (*De re publica*). Политическая теория Цицерона, облеченная в одеяние беседы Сципиона Эмилиана с его давно умершим знаменитым дедом Сципионом Африканским, протекающей на какой-то далекой звезде, мало интересует Макробия сравнительно с фантастическими схемами мироздания, набросанными в этой беседе и допускающими истолкование их в духе неоплатонизма. В философии Макробий является ярким поклонником Платона, что отчасти отражено и в «Сатурналиях».

До нас дошло также несколько незначительных фрагментов еще от одного сочинения Макробия, касавшегося темы лингвистической, — «О различии латинского и греческого глаголов».

Во введении к «Сатурналиям» Макробий обрисовывает цель и характер этого своего сочинения: он посвящает его своему сыну Евстафию, которому он хочет передать плоды своей учености, — вернее, начитанности, так как подлинной ученостью Макробий не обладал. Он обращается к сыну с такими словами: «Для того, чтобы дать тебе совершенное образование, я предпочитаю компендии многосложным рассуждениям и, не терпя промедления, не хочу ждать, пока ты продвинешься вперед только благодаря твоему собственному усердию, но я постараюсь и сам выбрать для тебя кое-что, и все, что мной было извлечено как после твоего появления на свет, так и до твоего рождения из различных писаний на греческом и римском (romanae) языках, должно стать орудием твоей учености (sit tibi scientiae supellex) и если тебе когда-либо понадобится что-нибудь из истории, которая в горах книг скрыта от взоров толпы или что-либо из речей и деяний, достойных воспоминания, то все это тебе будет легко найти и использовать» (Введение, 2) ⁵.

Таким образом, Макробий сам считает свое сочинение компендиумом, сводом выписок, подобным «Аттическим ночам» Авла Геллия, подчеркивая при этом, что в нем можно найти «многое, что будет усладительно для чтения, важно для образования и полезно для запоминания: ведь в нем, я думаю, нет ничего бесполезного для познания и трудного для понимания» (Введение, 11). Однако, он не хочет излагать этот свод своих знаний в такой неудобочитаемой, неупорядоченной форме, как Авл Геллий, а заботится о некоторой его систематизации и литературной обработке. «Ведь все, достойное запоминания, — пишет он, — мы не свалили в кучу в сыром виде, а все разнообразие предметов, заимствованное у различных авторов и из различных времен, слито в некое однородное тело, так что все то, что мы брали для памяти на заметку кое-как и вперемежку, связано расчленено и приведено в порядок» (Введение, 3). Макробий сравнивает этот процесс обработки материалов — несколько не поэтично — с перевариванием съеденной пищи и — более изящно — с сочетанием ароматов различных цветов в благовоонных духах и мазях или с гармонией голосов в едином хоре; себя же самого он сравнивает с пчелами, которые летают от цветка к цветку... а потом изменяют различные соки в единое вещество путем некоего смешения и своей особой силой» (Введение, 5).

Возможно, что Макробий действительно хотел, чтобы его сын ознакомился с тем большим запасом знаний, которые представлялись такими важными и полезными его отцу, но, на наш взгляд, отнюдь не являются таковыми. Однако возможно и другое: обращение к сыну — это только общепринятая литературная фикция, а само произведение не является всего лишь несколько систематизированным сводом случайных выписок, а искусно замаскированной апологией отчасти древних языческих верований, отчасти неоплатонических теорий, которые автор хотел по возможности широко распространить и поэтому прибег к официальному латинскому языку вместо родного греческого. На эту мысль наводит прежде всего просьба автора извинить его несовершенное владение этим языком; едва ли такая просьба была необходима и уместна в обращении к сыну; но, кроме того, в самом содержании и в смене тем беседы в «Сатурналиях» имеются многие указания на то, что автор их имел ввиду некую иную цель, о которой он не говорит открыто.

Для своего сочинения Макробий избрал форму «пира» (симпосия); этот литературный жанр, начало которому положили, по-видимому, Платон

⁵ Переводы отрывков Макробия сделаны М. Е. Грабарь-Пассек.

и Ксенофонт, был неоднократно использован их подражателями, из которых наиболее близким к Макробию и по времени и по стилю был Афиней со своим «Пиром (обедом) софистов».

По образцу диалогов Платона Макробий включает основную беседу между избранными им лицами в двойную рамку: один из участников, греческий ритор Евсевий, попал на эту беседу почти случайно, так как приглашенный сперва Постумиан был занят в суде и уступил ему свое место; Евсевий записал все, что ему пришлось слышать и самому говорить, потом прочел и передал свою запись Постумиану, а Постумиан в свою очередь читает ее молодому Децию, отец которого, Аллион, тоже участвовал в беседе, но не успел рассказать о ней сыну. Придав этим введению некоторое подобие реального фона своему диалогу, Макробий переходит к самой беседе.

В ней участвуют сперва шесть, потом девять, наконец двенадцать лиц, что дает автору повод вспомнить о числе девяти Муз, к которому прибавлено число Харит, и тем самым заставить читателя ожидать от беседы особого изящества. Макробию удалось дать характеристику выведенных им лиц: тип старого римлянина представлен хозяином лира Веттием Претекстатом, знатоком древнеримского понтификального права и всевозможных старинных поверий, легенд и примет, которые он искусно истолковывает то исторически, то символически. Он пользуется глубоким уважением всех собравшихся гостей, которые после одной его речи не могли оторвать от него глаз и своей растерянностью выдавали изумление; потом один стал превозносить его память, другой — его ученость, а все вместе — его благочестие, говоря, что он один проник в сокровенную природу богов и что только он может постигать божественные тайны своим духом и имеет дар говорить о них» (I, 24, 1).

Самый младший из собеседников, Сервий, изображен чрезвычайно скромным молодым человеком, высказывающим свое мнение с робостью перед старшими и известными людьми, но показывающего свое глубокое знание Вергилия при истолковании некоторых темных мест в его поэмах; Авием напротив характеризуется, как пылкий юноша, который всегда вмешивается в чужую речь и всех прерывает, чем вызывает улыбки старших.

Однако наиболее яркой фигурой из всех собеседников является человек, носящий несколько странное имя Евангела. Профессия его неизвестна и симпатиями собравшегося у Веттия общества он не пользуется: роль, которую ему дает Макробий, явно отрицательная: он критик, спорщик и насмешник, для которого нет ничего святого; но мало того — он неоднократно то ставит вопросы, то позволяет себе делать замечания, которые можно назвать «провокационными» и которые имеют целью раздражить собеседников, вывести их из себя и заставить высказать свои сокровенные мысли. Евангел издевается над преклонением перед Вергилием и Цицероном, над древними преданиями и поверьями, над всем тем преклонением перед древностью, которым полны остальные участники беседы. После его выступлений Макробий каждый раз начинает дальнейший рассказ словами *cum omnes exhorruissent* (когда все пришли в ужас). Приход Евангела, который не был приглашен Веттием и явился с двумя спутниками без приглашения, всем прочим явно неприятен (о чем знает и он сам) и описан Макробием в следующей сцене: «Евангел, войдя и увидя, что столько гостей поднялось со своих мест, спросил: „Неужели случай привлек их всех к тебе, Претекстат, или вы все собрались предварительно условившись, чтобы поговорить о более важных вопросах, которые удобнее обсудить без свидетелей? Если это так, то мне лучше уйти, чем вмеша-

ваться в ваши тайны, от которых вы желали бы меня удалить, но в которые случай заставил меня вторгнуться». На это Веттий, хотя всегда обладавший величайшим терпением и душевным спокойствием, но тем не менее взволнованный такой дерзкой речью, сказал: «Если бы ты хорошо знал и меня, Евангел, и этих светлых чистых душой людей, то ты не заподозрил бы, что между нами есть какие-то тайны, которые не могли бы стать известными не только тебе, но и толпе, потому что ни я, ни кто другой из присутствующих никогда не забывает священного правила философов, что надо так говорить с людьми, как будто тебя слышат боги, и так говорить с богами, как будто слышат люди; вторая часть его означает, что мы ничего не должны просить у богов, в чем мы бы не могли сознаться перед людьми» (I, 7, 4—6).

В этой сцене несомненно скрыт намек на антагонизм между Евангелом и другими гостями, который был понятен не только современникам Макробия, но смысл которого может быть с большей долей вероятности понят и нами. Веттий и его гости — последние представители римской знати, придерживающиеся угасающей, даже почти уже угасшей, языческой религии; двое из собеседников — Симмах и Веттий — активные поборники ее, защитники алтаря Победы, находившиеся, несмотря на занимаемые ими высокие должности, все же в известной оппозиции к христианским императорам. В этом свете невежливый намек Евангела на «условленную встречу» и «важные тайны» приобретает явную политическую окраску. С уверенностью сказать, что в лице Евангела Макробий вывел христианина, враждебного всему обществу, собравшемуся для празднования древнего языческого праздника Сатурналий, нельзя; это можно бы предположить по его имени, созвучному с священной книгой христианской церкви; однако ни одно из его высказываний не носит положительного характера, он сам ничего не проповедует и даже не опровергает языческих учений, а только подшучивает над ними; наиболее странным для христианина является его крайне резкое и презрительное отношение к рабам; общеизвестно, что дни Сатурналий были праздником рабов и что в эти дни рабы имели право говорить своим хозяевам в лицо разные горькие истины (см. Гораций, «Сатиры», 2, 7); Евангел презрительно отзывается об этом обычае: «Не могу терпеть, — говорит он, — что наш дорогой Претекстат, желая блеснуть своим умом и показать свое красноречие, захотел почтить кого-то из богов тем, что рабы должны [в эти дни] сидеть за одной трапезой с господами, как будто боги заботятся о рабах и как будто какой бы то ни было мудрец опозорит свой дом таким гнусным общением» (I, 11, 1); вся эта речь полна издевательства, но может быть, вовсе не над рабами, а над фиктивной свободой рабов в дни Сатурналий; этой речью, столь противоречащей воззрениям на рабов представителей раннего христианства, Евангел, возможно, по замыслу Макробия, как бы вызывает Веттия высказаться в таком же духе, но наталкивается на сильный отпор: в уста Веттия Макробий влагает горячую апологию рабов; вся 11-я глава I книги посвящена этой теме: Веттий восхваляет древний обычай считать рабов домохозяевами, называет прежнее имя хозяина — *pater familias*, а имя рабов — *familiares* — самыми почетными именами; далее, он приводит ряд случаев верности рабов и даже вольноотпущенников своему господину, за которого они шли на муки и на смерть, и, наконец, вспоминает о рабах, достигших высокого нравственного совершенства и даже ставших мудрыми наставниками других людей, как Эпиктет; основной добродетелью рабов для Веттия, конечно, является их преданность господину и самоотречение. Трудно удержаться от мысли, что весь этот раздел, не связанный по существу с основной темой Сатурналий (о ней речь

будет ниже), помещен Макробием в книгу I нарочно, в качестве апологии рабовладельческого строя, не только не исключаяющего, по мнению его (и говорящего от его лица Веттия) близких отношений между господином и рабом, но даже служащего для них благоприятной почвой. Евангел же выведен Макробием если не безусловным приверженцем христианства, то во всяком случае соглядатаем, враждебно настроенным по отношению к поборникам «древней доблести» и «обычаев отцов».

За исключением этого раздела, в котором ясно отразилась современная Макробию «злободневная» тема, содержание Сатурналий, весьма пестрое и разнообразное, заполнено вопросами, довольно далекими от жизни.

Центральной темой, которая подвергается особенно тщательной разработке, является творчество Вергилия. Беседа об исключительных достоинствах его поэм, особенно «Энеиды», завязывается в конце книги I: к негодованию всех присутствующих Евангел крайне непочтительно отзывается о Вергилии, считая его подходящим чтением только для детей: «Когда мы с тобой, — говорит он Симмаху, — были мальчиками, то мы восхищались всем, не рассуждая; видеть недостатки мы и по возрасту не могли, да и учителя нам не позволяли. Но едва ли кто-нибудь станет отрицать то, что признал сам поэт; ведь, почему иначе он, умирая, захотел бы предать свою поэму огню, если бы не желал избежать своей славы у потомков? Ясно, что он краснел при мысли о том, что скажут о нем, когда прочтут, как богиня просит у мужа оружия для сына, которого, как она сама знает, она родила вовсе не от него...» (I, 23, 6).

В связи с таким резким выпадом против Вергилия все присутствующие решают выступить в его защиту и составляют план дальнейших бесед: Симмах должен говорить о риторических украшениях, Евсевий — об ораторских приемах у Вергилия, Веттий и Флавиан — о глубоком знании понтификального и авгурального права, отразившемся в «Энеиде», Евстафий — о заимствованиях из греческих авторов, об астрологии и философии Вергилия, Фурий и Цецина Альбины — о влиянии древнеримских авторов, о стихосложении и выборе слов, наконец, Авиен предлагает подвести итог всей беседе и привлечь Сервия для истолкования особо трудных мест. Однако в дальнейшем этот план оказывается не полностью выдержанным, хотя, конечно, мы не можем с полной уверенностью утверждать это, ввиду значительных лагун, особенно в книге III.

К намеченному плану исследования Вергилия Макробий обращается не в книге II, как можно было ожидать, а в III, и с некоторыми отклонениями, а заканчивает его в книге VI. По-видимому, книга III была, согласно плану, посвящена вопросам понтификального и авгурального права: Веттий Претекстат говорит в ней о жертвоприношениях, приводит много чрезвычайно древних жертвенных формул и называет Вергилия человеком «столь же глубокой учености, сколь приятного таланта» (*tam scientia profundus, quam amoenus ingenio* — III, 2, 10), чем вызывает ироническую реплику Евангела: «этот ваш фламин, понтифик и что угодно еще...» (*hic vester flamen et pontifex et omnia* — III, 11, 6). Книга IV, без начала и конца, дает лишь небольшой трактат о пафосе у Вергилия; автор этой речи, — вероятно, либо Симмах, либо Евсевий (согласно плану).

Наиболее интересна и тщательно отделана книга V — о совпадениях между поэмами Гомера и Вергилия; ведет эту беседу грек Евстафий, не ограничивающийся, однако, явными заимствованиями из Гомера, а использующий также и Пиндара и Аполлония Родосского. Книга VI, посвященная латинским источникам Вергилия, значительно слабее и сводится местами к сопоставлению отдельных слов и оборотов, настолько употребительных, что их едва ли можно считать заимствованиями.

Ведущая литературно-филологическая тема о творчестве Вергилия окружена, а кое-где прервана побочными темами, весьма разнохарактерными. Так, в книгу III введена беседа о вреде роскоши и об упадке нравов, начавшимся уже во времена Цицилионов; а в связи с этим сообщаются разные практические сведения о плодах и орехах, подававшихся на пирах; в промежутки, для оживления беседы, включаются анекдоты о том, как оратор Гортензий впервые угостил гостей на авгуральном пире яйцами павлинов, после чего они стали модным угощением, как он поливал платан на своей Тускуланской вилле чистым вином (III, 13), как Красс, «считавшийся первым среди знаменитейших граждан», оплакивал околевшую мурену, как родную дочь (III, 15, 4).

Ряд археологических вопросов разобран в I книге — о происхождении имени «Претекстат», о счислении времени, о календаре и названиях месяцев, о различных культовых обычаях; чисто грамматические темы — о склонении слова *Saturnalia* по второму или третьему склонению, об окончании слов: *nox* (*noctu* или *nocte*), *milli* или *mille* и т. п. — тоже интересуют собеседников и их разговор перестит ссылками на авторитеты минувших времен — Варрона, Цицерона и даже Юлия Цезаря (на его сочинение «Об аналогии»), которого называют «мужем выдающегося таланта и ума» (I, 5, 2).

Наиболее занимательную для читателя часть «Сатурналий» представляет собой II книга, а также несколько глав книги VII, трактующие о той теме, которую так изящно обработал Цицерон в книге II «Об ораторах», а именно, о шутках, юморе и иронии; книга II «Сатурналий» является как бы дополнением к трактату Цицерона: в ней приведены шутки самого Цицерона, причем сообщается интересное сведение о том, что вольноотпущенником Цицерона, очевидно Тироном, был выпущен сборник шуток Цицерона под названием *de iocis*; далее приводится также много шуток Цезаря, Помпея и особенно Августа, а также шутки над самим Цицероном и Августом и меткие иронические выпады актеров. Многие из этих шуток скрывают в себе политические намеки, которые, однако, ко времени Макробия уже потеряли свою остроту; никто из собравшихся не придает им особого значения, и в этих анекдотах ценится только большая или меньшая доля остроумия; единообразной оценки ни один из политических деятелей этой давно минувшей эпохи не получает — даже об Августе, основателе империи, отзываются без похвал или порицаний, подчеркивая только его умение понимать и ценить шутки; о Цицероне без разбора приводятся противоречивые отзывы и его друзей, и его врагов. История бурного I в. до н. э. ко времени Макробия перестала быть даже материалом для республиканских декламаций, чем она была еще для Плиния и Тацита, а стала сборником иллюстраций и анекдотов.

После того, как основная тема о творчестве Вергилия исчерпана, в книге VI несколько неожиданно беседа переходит к философским и естественно-научным вопросам: главную роль в этой книге играет врач Дисарий; в основе разнообразных вопросов, затронутых в ней, лежит опровержение или апология платонизма — конфликт между идеалистическим и эмпирическим подходом к явлениям природы. Врач Дисарий с насмешкой отзывается о теории Платона, что твердая пища идет через пищевод, а жидкая — через дыхательное горло; философ же Евстафий выступает в защиту этой явно анатомической теории. На насмешливый вопрос Евангела, что произошло раньше — яйцо или курица, Дисарий остроумно развивает оба положения: первое имеет более материалистический характер — из небольшого количества живого вещества в яйце развивается целый крупный организм — курица; вторая гипотеза предполагает существова-

ние готового цельного существа, от которого происходит нечто более мелкое — яйцо; однако, всей аргументации присущ несколько юмористический характер, и, по-видимому, ни Дисарий, ни его слушатели не принимают ее всерьез. Однако наряду с вполне здравыми анатомическими наблюдениями Дисарий без тени иронии сообщает совершенно фантастические сведения о том, что «некоторые животные рождаются от дождя и земли, как например в Египте мыши» (VII, 16, 12) или что мясо гниет скорее ночью, чем днем, потому что луна изливает некую жидкость, разлагающую мясо, но что медный нож, воткнутый в тело убитого животного, предохраняет его от разложения.

К чему должны были привести и чем закончиться эти натурфилософские разговоры, мы не знаем, так как конец книги VII до нас не дошел; во всяком случае, трудно догадаться, какую пользу мог извлечь из них сын Макробия, которому отец в своем предисловии обещал сообщить полезные для жизни сведения. Совершенно ясно одно: Макробий был гораздо осведомленнее в греческой и римской литературах, в археологии и истории, чем в естественных науках и что он был одним из последних представителей того литературно-риторического образования, которое, почти не изменяясь в своей форме, просуществовало около 700 лет, питаясь в эпоху Макробия уже исключительно плодами трудов многих минувших поколений. Сам Макробий, защищая Вергилия от обвинения в подражательном характере его поэмы, ясно сформулировал задачу, которой, по его мнению, должно служить даже самостоятельное литературное творчество: «Ведь плоды чтения, — говорит он, — состоят именно в том, чтобы подражать тому, что ты одобряешь в других, и то, чем ты восхищаешься в чужих словах, обратить на пользу себе, изменив его каким-либо подходящим для тебя образом; ведь именно так поступали и наши писатели друг с другом и с греческими писателями, да и греческие выдающиеся писатели делали то же по отношению друг к другу» (VI, 1, 1).

Если таково мнение Макробия о свободном литературном творчестве, то тем более эти его слова применимы к нему, считающему себя только «пчелой, перелетающей от цветка к цветку».



Глава XXI

ИСТОРИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА III—V вв.

1. *Шесть писателей истории императоров.* — 2. *Аврелий Виктор.* — 3. *Етропий.* — 4. *Секст Руф Фест.* — 5. *Аммиан Марцеллин.* — 6. *Аммиан как историк и писатель.*

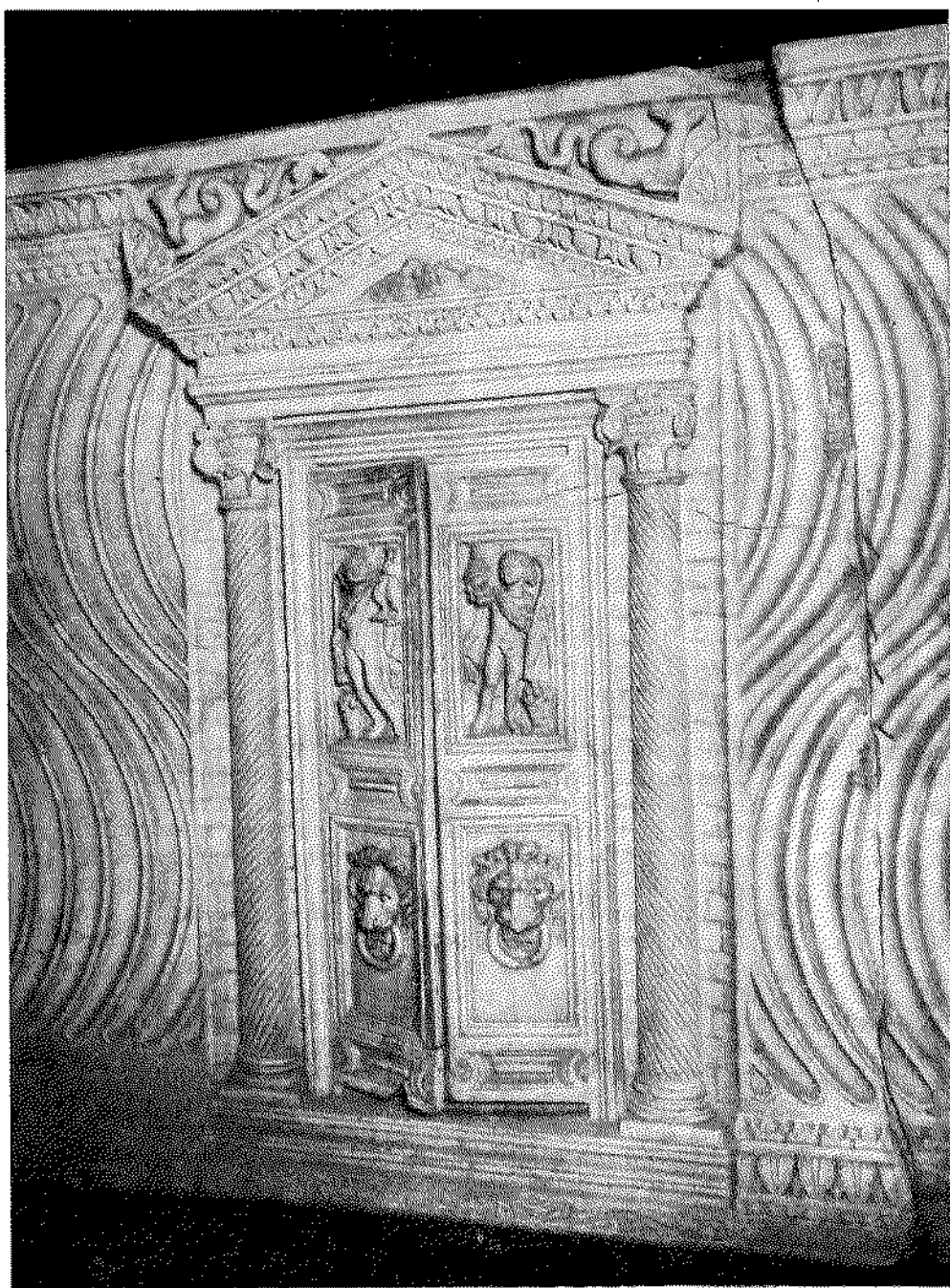
1. ШЕСТЬ ПИСАТЕЛЕЙ ИСТОРИИ ИМПЕРАТОРОВ

Литературный памятник, известный под названием «Шесть писателей истории императоров», — это сборник биографий императоров, составленных разными лицами и неизвестно кем собранных в одно целое. Его заглавие в рукописях такое: *Vitae diversorum principum et tyrannorum a Divo Hadriano usque ad Numerianum a diversis compositae* — «Биографии разных государей и тираннов от божественного Адриана до Нумериана, составленные разными лицами». В наших теперешних печатных изданиях принято такое заглавие: *Scriptores historiae Augustae* — «Писатели истории императорской». Термин *historia Augusta* взят из сочинения одного из этих авторов, Флавия Вописка, именно из составленной им биографии императора Тацита, гл. 10, где он называет историка Тацита *scriptorem historiae Augustae* (т. II, 192, 13)¹.

Авторами этих биографий были шесть писателей: Элий Спартиан (*Aelius Spartianus*), Вулкаций Галликан (*Vulcacius Gallicanus*), Элий Лампридий (*Aelius Lampridius*), Юлий Капитолий (*Iulius Capitolinus*), Требеллий Поллион (*Trebellius Pollio*), Флавий Вописк (*Flavius Vopiscus*). Все эти лица не упоминаются в других источниках. О некоторых из них еще есть кое-какие (ничтожные) указания в самом этом сборнике, например, что Флавий Вописк был родом из Сиракуз. Однако, все это были лица, вращавшиеся в высших кругах, имевшие право и смелость посвящать свои сочинения императорам и получавшие от императоров приказы составить биографию кого-либо из их предшественников. Флавий Вописк рассказывает, что префект Рима, Юний Тиберян, пригласил его в свой экипаж и в разговоре с ним предложил ему составить биографию императора Аврелиана (II, 148—149). Вулкаций Галликан назван в заглавии его монографии об Авидии Кассии «знатым» — *vir clarissimus* (I, 84).

Число биографий, по нумерации наших изданий, равно 30, но в некоторых номерах содержатся биографии нескольких лиц, например в биографии № 24 «30 тираннов» (на самом деле даже 32). При каждой биографии указано имя ее автора.

¹ Ссылки на сочинение «Шести писателей, (том, страница, строка) сделаны по изданию: «*Scriptores historiae Augustae*». Iterum recensuit Hermannus Peter. Lipsiae, 1884.



Осень и зима
(деталь стенки саркофага итальянской работы)

Биографии императоров расположены в хронологическом порядке, начиная с Адриана (ставшего правителем в 117 г.) и кончая Каром и его сыновьями, Нумерианом и Карином, из которых последний погиб в сражении с Диоклегианом (284 г.). Таким образом, в этом сборнике заключается история императоров, правивших в 117—284 гг., т. е. в течение 167 лет. Но вследствие утраты нескольких листов в рукописях есть пропуск, в котором должны были находиться биографии императоров Филиппа (244—249 гг.), Деция (249—251 гг.), Галла (251—253 гг.), Эмилиана (253 г.) и начало биографии Валериана (253—260 гг.).

Между авторами биографии распределены в рукописях так: Элию Спартиану принадлежат: Адриан (117—138 гг.), Элий или Гелий (он умер, будучи цезарем, т. е. наследником престола, еще при жизни Адриана в 137 г.), Дидий Юлиан (193 г.), Септимий Север (193—211 гг.), Песцений Нигер (193—194 гг.), Каракалла и Гета (211—218 гг.); Юлию Капитолину — Антонин Пий (138—161 гг.), Марк Антонин философ (Марк Аврелий) (161—180 гг.), Вер (161—169 гг.), Пертинакс (192—193 гг.), Клодий Альбин (193—197 гг.), Макрин (217—218 гг.), Максимины (235—238 гг.), Гордианы (238—244 гг.), Максим и Бальбин (238 гг.); Вулканию Галликану — Авдий Кассий (175 г.); Требеллию Поллиону — Валерианы (253—260 гг.), Галлиены (253—268 гг.), Тридцать тираннов (260—273 гг.), Клавдий (268—270 гг.); Элию Лампридию — Коммод (180—192 гг.), Диадумен (217—218 гг.), Элагабал (Гелиогабал) (218—222 гг.), Александр Север (222—235 гг.); Флавию Вописку — Аврелиан (270—275 гг.), Тацит и Флориан (275—276 гг.), Проб (276—282 гг.), Четыре тирана (современники Аврелиана и Проба), Кар и его сыновья, Нумериан и Карин (282—284 гг.).

Нам ничего неизвестно о жизни этих авторов, но время их литературной деятельности определяется довольно точно, отчасти из того, что некоторые биографии посвящены императорам, Диоклетianу или Константину, отчасти из упоминаний ими некоторых лиц или событий. Так, авторы, посвятившие свои работы императору Диоклетianу, очевидно, писали их в его правление, т. е. в пределах 284—305 гг.; авторы, посвятившие их императору Константину, — когда он принял титул Августа в 307 г. или когда он стал уже единодержавным императором, т. е. в пределах 324—337 гг., что мало вероятно. Для некоторых биографий можно определить даже год их составления. Из фразы Спартиана в биографии Элия (I, 30, 3) «в наши времена вашей милостью Максимиан и Констанций наречены цезарями», видно, что Спартиан писал это в 293 г., когда Диоклетian и Максимиан назначили Галерия Максимиана и Констанция Хлора цезарями. Вописк в биографии Аврелиана (II, 148, 149) рассказывает, что префект Рима Юний Тиберийан, пригласил его в свой экипаж; так как Тиберийан был префектом Рима в 303 или 304 г., то, следовательно, биография Аврелиана написана в этом или в одном из следующих годов.

В общем, все авторы были современниками Диоклетiana или Константина или обоих вместе, и все биографии составлены в пределах 284—324 гг.

Предполагать составление биографий позднее этой даты едва ли возможно, потому что соединение их в один корпус (как они дошли до нас) должно было произойти не позднее 330 г. На это указывают следующие обстоятельства. В некоторых биографиях встречаются непочтительные отзывы о христианстве². Так как в 324 г. император Константин открыто за-

² Вот эти отзывы: Вописк приводит письмо Адриана, где говорится, что «всякий пресвитер христианский в Египте есть математик (вероятно, в смысле «астролог»), или гадатель, или угадатель» (по-видимому, все эти названия в бранном смысле «шарлатан» или что-нибудь подобное). «Самого патриарха, когда он приезжает в Египет, одни заставляют поклоняться Серапису, другие — Христу» («Сатурнин», гл. 8 — II,

явил себя покровителем христианства, вероятно (хотя и не наверное), редактор устранил бы такие места. По-видимому, все авторы — язычники: они приводят предзнаменования и чудеса — все в древнем духе. На то же время, не позже 330 г., указывает и то, что город Byzantium и его жители Byzantii, или Byzantini, везде называются этими древними именами; а между тем, в 330 г. этот город был освящен и назван Constantinopolis, вероятно, редактор тоже заменил бы древнее название новым.

Таким образом, если верны указанные предположения, то можно думать, что процесс возникновения сборника был именно таким.

По словам Юлия Капитолина, Диоклетиан «желал знать историю прежних императоров» («Опилий Макрин», гл. 15 — I, 240). Вулькаций Галликан сообщает, что он имел намерение составить биографии всех лиц, носивших императорский титул, «чтобы Диоклетиан узнал всех порфирноносцев» («Авидий Кассий», гл. 3 — I, 86). Тот же Капитолин говорит, что Диоклетиан почитал Марка Аврелия, как бога («Марк Антонин», гл. 19 — I, 65). Император Константин тоже интересовался историей своих предшественников: «хотел, чтобы Лампридий написал и представил ему биографию Гелногабала», что Лампридий и сделал, «несмотря на свое нежелание и старание уклониться» («Гелногабал», гл. 35 — I, 245). Капитолин написал для Константина в одном свитке биографии двух Максиминов, отца и сына, «чтобы твоей милости не скучно было читать биографии императоров или детей императоров каждую в отдельной книге» («Максимины», гл. 1 — II, 3). Чтобы угодить императору, а может быть, и по его прямому заказу, придворные литераторы и принялись составлять биографии прежних императоров. Вулькаций Галликан говорит, что он «имел намерение составить биографии всех, которые имели имя императоров законно или незаконно» («Авидий Кассий», 3, 3 — I, 86), а у Элия Спартиана планы были еще более широкие: он хотел описать в отдельных книгах жизнь «всех, которые после диктатуры Цезаря, т. е. божественного Юлия, назывались или цезарями или августами или принцесами, и которые были усыновлены, или которые, сыновья или родственники императоров, были освящены именем цезарей» («Элий», гл. 7 — I, 35).

Лампридий в биографии Гелногабала заявляет также, что он уже представил Константину биографии предшественников Гелногабала, а теперь начнет писать биографии следующих за ним императоров («Гелногабал», гл. 35 — I, 245).

Как видно, он хотел написать полную историю императорского периода в форме биографий. Таким образом, в правление Диоклетиана и Константина накопился целый ряд биографий, написанных разными авторами. Кто-то в правление Константина, не позже 330 г., выбрал из них биографии, составленные шестью писателями недавнего времени, и соединил их в хронологическом порядке в один сборник, который и дошел до нас. Какими принципами при выборе руководствовался этот редактор, не пожелавший назвать себя, не предпославший никакого предисловия, неизвестно³. Неизвестно также, прибавлял ли он что-нибудь от себя,

225). Тот же Воппек приводит письмо Аврелиана к сенаторам, где сказано: «Удивляюсь, отцы сенаторы, что вы так долго не решались открыть Сивиллины книги, словно вы имели дело с ними в христианской церкви, а не в храме всех богов» («Аврелиан», гл. 20 — II, 163).

³ Возможно также предположение, что мы не имеем сведений о редакторе потому, что начало сборника пропало. Это предположение основывается на следующих соображениях. Наш сборник, как и сочинение Мария Максима, должен был служить продолжением сочинения Светония, а потому начинаться биографией императора Нервы, а не Адриана, как он теперь начинается. Если это так, то надо думать, что биографии Нервы и Траяна пропали, а вместе с ними пропало и предисловие редактора,

выбрасывал ли что-нибудь, изменял ли текст первоначальных статей. Кое-где в биографиях встречаются разноречивые сведения, создающие представление о каких-то вставках в первоначальный текст из других сочинений, но вставки могли быть сделаны и самими авторами ⁴.

Авторы первой половины «Истории императоров» писали о событиях, происходивших за сто и более лет до их времени. Они могли располагать богатым материалом из источников непосредственных и вторичных. На эти источники отчасти прямо указывают их сочинения, а отчасти это можно заключить из способа изложения. Часто цитируются письма, речи, стихи, сенатские постановления и делаются ссылки даже на вещественные памятники (постройки, картины). Но гораздо чаще упоминаются свидетельства исторических сочинений и устного предания. Иногда ссылки на сочинения приводятся в неопределенной форме: «говорят», «передают», «многие», «большая часть», «некоторые» и т. п. (*dicitur, refertur, multi, plerique, quidam, non desunt qui*), иногда одни источники противопоставляются другим: «одни... другие» (*alii... alii*). Но встречается большое количество ссылок с именами авторов, неизвестных нам или малоизвестных, например, Квадрат, Партениан, Гелий Мавр, Лоллий Урбик, Аврелий Филипп, Энколпий, Септимий, Гаргилий, Ахолий, Фабий Марцеллин, Аврелий Вер, Стаций Валент, Элий Корд.

Но главным источником для биографий первой половины «Истории императоров» было сочинение Мария Максима. Он упоминается 28 раз, — чаще, чем все остальные вместе взятые: очевидно, он служил главным источником для авторов первой половины, кончая Гелиогабалом; авторы ставят его обыкновенно на первом месте перед другими.

Элий (Юний) Корд упоминается только Капитолином.

Биографии можно разделить на две большие группы: на такие, которые посвящены частным лицам, и на такие, которые посвящены императорам. К первой группе принадлежат биографии, составленные Требеллием Поллионом и Флавием Воппском; ко второй группе — составленные остальными четырьмя авторами. Эту вторую группу также можно разделить на две: на Диоклетиановскую (с посвящениями Диоклетиану) и на Константинскую (с посвящениями Константину). Биографии, в которых нет никакого посвящения, можно поместить предположительно в одну из указанных групп.

Как уже сказано, биографии расположены в хронологическом порядке, начиная с Адриана (117—138 гг.) и кончая Каром и его сыновьями (282—284 гг.). Вследствие утраты нескольких листов в первоначальной руко-

а также, вероятно, и посвящение императору: едва ли такое крупное сочинение могло выйти без предисловия и посвящения императору, по приказу или желанию которого оно, возможно, и было составлено.

⁴ Излагаемый взгляд на время составления и авторство «Истории императоров», основывающийся на прямых указаниях, содержащихся в ее тексте, не является общепринятым. Начиная с конца XIX в. (статья Г. Дессау в журнале «*Hermes*», 1889, № 24 и 1892, № 27) среди исследователей распространяется мнение, что «История императоров» является грандиозной фальсификацией и была на самом деле сочинена значительно позже эпохи Диоклетиана и Константина — может быть, при Юлиане Отступнике или даже при Феодосии. Сторонники поздней датировки ссылаются на целый ряд анахронизмов, тенденциозных искажений, заимствований из более поздних авторов и т. п. Наиболее последовательные приверженцы этой теории утверждают даже, что имена шести авторов «Истории» вымышлены, и в действительности все произведение написано одним человеком. Вопрос остается спорным до настоящего времени. Подробное изложение проблемы находится в статье А. И. Доватура «История изучения *Scriptores historiae Augustae*». «Вестник древней истории», 1957, № 1. стр. 245—256.

писи есть пропуск, в котором должны были находиться биографии императоров, правивших с 244 по 253 г.

Изложение в биографиях ведется приблизительно (но не вполне) по тем же рубрикам, что и у Светония. Вот, например, план биографии Антонина Пия: 1) его жизнь до получения императорского сана (происхождение, рождение, молодость и т. д.); 2) его жизнь в сане императора (отношение к провинциям, к сенату, к родным и друзьям, к поданным и врагам его власти); 3) его характеристика (образ жизни, подарки, постройки и т. д.), 4) его смерть и завещание, наружность, почести после смерти, суждение о нем. Бывают и некоторые прибавки нравоучительного характера; так, Капитолин, осуждая Корда за сообщение разных пустяков, говорит, что «в истории историографы должны помещать то, чего должно избегать или чему должно следовать» («Гордианы», гл. 24 — II, 45).

В общем, авторы биографий имеют в виду главным образом занимательность рассказа для публики того времени, интересовавшейся мелочами личной жизни императоров, а не политическими событиями. Ради занимательности они приводят анекдоты, стихи, письма, речи (может быть, вымышленные), черпают из источников своих без критики, так что иногда бывают противоречивые рассказы об одном и том же событии. Поэтому пользоваться их сообщениями как историческим материалом можно лишь с осторожностью. Нередко встречаются у них заявления о том, что они сообщают только правду. Но можно ли этому верить? Так, Требеллий Поллион уверяет, что он «считает нужным блюсти историческую добросовестность, а, что касается красноречия, то о нем он нисколько не заботится» («Тридцать тираннов», гл. 14 — II, 110). Приблизительно то же он повторяет в конце этой биографии: «Эта статья написана не столько красноречиво, сколько правдиво: как мне кажется, я обещал не красноречие, но дело» (там же, гл. 33 — II, 132). Наряду с этими заявлениями Требеллия Поллиона интересно прочесть, что говорит Флавий Вописк об его сочинениях и вообще об истории. Как уже было сказано, Вописк в биографии Аврелиана рассказывает, что префект Рима, Юний Тиберий, пригласил его в свой экипаж; там между ними происходил такой разговор: Тиберий сказал, что сообщения Поллиона в его биографиях императоров во многих случаях небрежны и коротки. Вописк возразил на это, что «нет ни одного историка, который не солгал бы чего-нибудь», причем Вописк цитировал места из Ливия, Саллюстия, Тацита, Трога, в которых можно ясными свидетельствами уличить их во лжи. Тиберий согласился с мнением Вописка и, протянув ему руку, сказал шутливо: «В таком случае пиши, как угодно; спокойно говори, что хочешь, зная, что у тебя будут товарищи по лжи, авторитеты исторического красноречия, которыми мы восхищаемся!» («Аврелиан», гл. 2 — II, 149).

Как бы то ни было, если даже, с точки зрения строгой истории, «Шесть писателей» не заслуживают большого доверия, все-таки их сочинения очень важны и интересны. В них есть известия, которых мы не находим нигде более в литературе. Но самое главное — это то, что они рисуют нам яркую картину быта и нравов того времени. Они мало касаются «материй важных», но все эти мелочи тогдашней римской жизни и императорского двора чрезвычайно интересны. Пусть даже в них много вымыслов; но ведь даже и вымыслы должны быть согласны с духом времени; можно смотреть на них в этом случае как на исторический роман.

О политических взглядах «Шести писателей» едва ли нужно говорить: ясно, что они, как придворные литераторы, должны были высказывать мнения, угодные императорам.

Стиль «Шести писателей» довольно однообразен и безыскусствен; риторики очень мало; индивидуальных черт у каждого из них почти нет. Сами они не претендуют на красноречие, как видно из приведенных выше цитат, где они обещают только правдивость рассказа («Тридцать тиранов», гл. 11 и 33 — II, 110 и 132).

Язык в лексическом и грамматическом отношении довольно хорош для III—IV вв. Хотя исследователи очень низко ценят этих авторов, но все-таки у них найдутся и хорошие места, написанные вполне разумно. Таково, например, рассуждение Вописка о причинах, почему было так мало хороших государей («Аврелиан», гл. 42—43).

О том, как относились к этому сочинению современники и последующие поколения, известий нет. Но, по-видимому, его охотно читали в средние века: об этом свидетельствует довольно большое число рукописей, содержащих его и дошедших до нас. Правда, большинство их принадлежит последним столетиям средних веков, но есть и две, относящиеся к IX в., на которых и основывается текст наших изданий. Это лучшая рукопись — *Palatino-Vaticanus* и список с нее — *Vambergensis* — не намного ее моложе.

2. АВРЕЛИЙ ВИКТОР

Ближайшими по времени историками из числа известных нам после «Шести писателей истории императоров» были: Аврелий Виктор, Евтропий и Фест. Литературная деятельность их относится к середине IV в.

Биография Секста Аврелия Виктора (*S. Aurelius Victor*) почти неизвестна. По его собственным словам он «родился в деревне, имел бедного и неученого отца, но, благодаря научным занятиям, сделал свою жизнь более почетною» («Цезари», гл. 20, 5). Он восхваляет императора Септимия Севера (там же), и на основании этого можно предположить, что они были земляки. А так как Септимий Север был родом из Африки, то, стало быть, и Аврелий Виктор происходил оттуда же. В предисловии к сочинению «Происхождение народа римского» Виктор назван прямо «африканцем». Он принимал участие в походе Юлиана против Констанция в 361 г. и чем-то заслужил милость Юлиана, который назначил его правителем Панионии Вострой с чином консулара и почтил его бронзовой статуей (Аммиан Марцеллин, XXI, 10, 6). Много лет спустя (в 389 г.) Аврелий Виктор был префектом города Рима, где с ним познакомился Аммиан Марцеллин. Он хвалит Виктора как человека «достойного соревнования за его разумный образ мыслей» (там же). В одной надписи, посвященной императору Феодосию, упоминается Секст Аврелий Виктор как префект города: вероятно, это и есть историк. Таким образом, Аврелий Виктор был провинциал незначительного происхождения, достигший положения важного государственного чиновника. Как видно уже из приведенной выше цитаты, Виктор был человек образованный; он и в других местах отзывался с уважением об образовании и находит его необходимым для правителя («Цезари», гл. 40, 13).

Под именем Аврелия Виктора до нас дошло историческое сочинение, состоящее из трех частей: 1) *Origo gentis Romae* — «Происхождение народа римского»; 2) *De viris illustribus urbis Romae* — «О знаменитых людях города Рима»; 3) *Caesares* — «Цезари». К этим трем сочинениям в наших печатных изданиях присоединяется еще четвертое *Epitome de Caesaribus* — «Сокращение Цезарей». Из них только сочинение «Цезари» в рукописях обозначается как принадлежащее Аврелию Виктору; остальные анонимны.

Происхождение этого сборника можно (с некоторой степенью вероятности) представить себе следующим образом. Какой-то ученый задумал составить цельную историю Рима из существовавших уже сочинений по отдельным периодам истории Рима. Для этого он положил в основу сочинение Виктора «Цезари», содержащее в себе историю императорского периода, поместил перед ним сочинение «О знаменитых людях города Рима», содержащее историю республиканского периода, и, наконец, во главе сборника поставил сочинение «Происхождение народа римского», содержащее древнейшую историю Рима. Так составилась история Рима за все время его существования вплоть до времени составителя. При этом пришлось сделать некоторые изменения в конце «Происхождения» и в начале «Знаменитых людей» для того, чтобы связать эти два сочинения. Судя по тому, что «Цезари» оканчиваются рассказом о событиях 360 г., надо полагать, что этот сборник возник вскоре после 360 г. Кто был редактор, неизвестно.

«Происхождение народа римского» начинается с рассказа о прибытии Сатурна в Италию и кончается рассказом о ссоре Ромула с Ремом при основании города.

«О знаменитых людях Рима» состоит из биографий отдельных лиц, начиная с царя Альбы Прока, причем доканчивается рассказ о ссоре Ромула с Ремом. Таким образом, это сочинение примыкает к предыдущему. Вероятно, для этой цели редактор отрезал конец «Происхождения», так как трудно предположить, чтобы автор его остановился на середине рассказа о Ромуле и Реме. Биографии, которые должны дать обзор римской истории царского и республиканского периода, кончаются рассказом об Антонии и Клеопатре. Биографий некоторых лиц нет, например Красса, но зато есть жизнеописания иностранцев, имевших отношение к Риму, например Пирра, Ганнибала. Несмотря на краткость, это сочинение представляет интерес для истории: в нем есть сведения, которых нет в других известных нам сочинениях, и вообще в нем передается традиция иная, чем у Ливия, — может быть, даже более древняя. Источники его не удалось определить, несмотря на все старания ученых. Автор тоже неизвестен. Стиль сочинения простой, без риторики, по большей части одни главные предложения; на основании этого уже можно предположить, что это сочинение есть какое-то извлечение из более обширного сочинения. Язык близок к языку классического периода⁵.

«Цезари», как видно из заглавия всего сборника, есть сочинение Аврелия Виктора, личное имя которого было Секст, как сказано в заглавии к «Сокращению Цезарей». Это сочинение содержит в себе историю императорского периода, начиная с Августа (именно с 31 г. до н. э.) и кончая 360 г. н. э. Вероятно, в этом же году оно и было написано, потому что этот год не является датой какого-нибудь важного исторического события. На это указывает также и то, что автор называет Констанция

⁵ Сочинение «О знаменитых людях города Рима» упоминает Пушкин в отрывке «Египетских ночей» «Мы проводили вечер на даче...» (Полное собрание сочинений в 10-ти томах, т. VI. М.—Л., Изд-во АН СССР, 1949, стр. 603). Одно из действующих лиц говорит, что «в числе латинских историков есть некто Аврелий Виктор... Книжонка его довольно суха и ничтожна... Но в ней находится то сказание о Клеопатре, которое так меня поразило. И что замечательно, в этом месте сухой и скучный Аврелий Виктор силою выражения равняется Тациту. Haec tantaе libidinis... Дело в том, что Клеопатра торговала своей красотой и что многие купили ее ночи ценою своей жизни...» Пушкин имеет в виду самый конец сочинения «О знаменитых людях города Рима», где говорится о Клеопатре: «Она была так сладострастна, что часто торговала собою, и так красива, что многие покупали ее ночью своею смертью».

«нашим императором», а Констанций умер 3 ноября 361 г. Таким образом, в этом сочинении заключается история почти 400 лет; она занимает в нашем печатном тексте всего 53 страницы стереотипного (Тейбнеровского) издания. Уже из этого видно, что сочинение это есть лишь краткий обзор событий. Однако это не есть простое извлечение из какого-нибудь обширного сочинения; это связный рассказ (хотя и с большой примесью биографического материала), проникнутый духом самого автора: он работал и свой оригинальный стиль, и излагает свои воззрения, нередко выступая против испорченности своего времени и вставляя свои размышления морального характера. Словом, это краткий курс истории римской империи, составленный самостоятельно самим автором. Источники его неизвестны.

У автора есть даже попопзновения к исторической критике. «Это я считаю верным, — говорит он, — хотя некоторые писатели утверждают противное» (гл. V, 9). По религиозным убеждениям автор был язычник и христианством не интересовался; подобно своим современникам верил в чудеса и предзнаменования.

Стиль «Цезарей» — вычурный, как по выбору и значению слов, так и по их расположению, трудно понимаемый. Так, например, *publicum latrocinium* (гл. 20, 4), что буквально значит «общественный разбой», должно означать здесь «преступники против общества».

Сочинение это не было забыто потомством: видно, что его читал Иероним (IV в.), грек Иоанн Лид (V—VI в.), Павел-Диакон (VIII в.).

До нас дошло еще сочинение по истории римской империи — «Сокращение Цезарей», которое в рукописях имеет заглавие: *Libellus de vita et moribus imperatorum breuiatus ex libris Sexti Aurelii Victoris a Caesare Augusto usque ad Theodosium* — «Книжка о жизни и правах императоров, извлечение из книг Секста Аврелия Виктора, от цезаря Августа до Феодосия». На основании этого заглавия можно думать, что это сочинение есть простое извлечение или сокращение «Цезарей» Аврелия. Но на самом деле это не так. Лишь начало этого сочинения (11 глав по нашим печатным изданиям) может быть названо извлечением из «Цезарей», а вся остальная часть его есть самостоятельное сочинение. Оно даже не может считаться принадлежащим Аврелию Виктору: в «Цезарях» ярко выступает личность автора в его «размышлениях»; в «Сокращении» автор ничем о себе не заявляет; в «Цезарях» — связный исторический рассказ, хотя и ведущийся по императорам; в «Сокращении» — отдельные биографии императоров, не связанные между собою. Стиль «Сокращения» — простой, без всякой вычурности, читается легко. Язык близок к языку классического периода. Но есть и позднейшие особенности, например, *apud* с внимательным падежом при названиях городов, стран, народов вместо *in* с творительным: *apud Aegyptum* — «в Египте».

Вероятно, это просто извлечение из разных сочинений, вроде «Знаменитых людей города Рима», не претендующее на красоту стиля. Оно заключает в себе биографии императоров, начиная с Августа и кончая смертью Феодосия в 395 г. Вскоре после этого, вероятно, оно и составлено. Есть в нем и некоторые ценные для историка сообщения.

Три первые сочинения как одно целое сохранились в двух рукописях, из которых одна находится в Оксфорде (*Codex Oxoniensis*), другая в Брюсселе (*Codex Bruxellensis*). Но, кроме того, «Знаменитые люди города Рима» имеются как отдельное сочинение еще в нескольких рукописях. «Сокращение Цезарей» дошло до нас только как отдельное сочинение во многих рукописях.

3. ЕВТРОПИЙ

О жизни Евтропия (Eutropius) известно только то, что он был на службе у императора Валента (363—378 гг.) в должности *magister memoriae* (личного секретаря), а раньше этого, по его собственному свидетельству (X, 16, 1), принимал участие в походе Юлиана (363 г.) против персов. По приказанию Валента он написал историческое сочинение, озаглавленное *Breviarium historiae Romanae* — «Сокращение римской истории». Это сочинение заключает в себе краткое изложение (на 76 страницах издания Тейбнера) всей римской истории, начиная с рождения Ромула и кончая смертью императора Иовиана 16 февраля 364 г. О правлении императоров Валента и Валентиниана (умершего 17 ноября 375 г.) автор не решается писать, «не потому, что он пропускает события этого времени, но потому, что откладывает до большей тщательности повествования, так как о них надо говорить более высоким слогом» (X, 18).

Изложение Евтропия простое, без риторики, но вместе с тем вполне литературное, даже со стремлением к разнообразию слога. Описываются главным образом внешние события: войны, сражения; в истории республики характеристик мало, в истории империи их больше: по мере приближения ко времени автора они становятся более ясными. Язык Евтропия близок к языку классического периода. Некоторые особенности позднейшего языка, конечно, имеются. Таково, например, употребление предлога *apud* с винительным падежом при названиях городов, стран, народов вместо *in* с творительным; *apud Piraeum* вместо *in Piraeo* (V, 4) «в Пирее»; *apud Epirum* — «в Эпире»; *bellum* вместо *proelium* («сражение»); *respondere* вместо *respondere* («отвечать»).

Благодаря краткости и легкости языка, сочинение это пользовалось популярностью и у современников, и в Средние века. Это было переведено современником Евтропия, Пеанием, на греческий язык; этот перевод сохранился и до нашего времени и помещался в некоторых старинных изданиях. Другой перевод на греческий язык был сделан позднее, историком Капитоном (VI в.); от него сохранились лишь отрывки. В средние века Павел-Диакон (VIII в.) положил Евтропия в основание своего исторического сочинения *Historia Romana* — «Римская история», сделав к нему дополнения и продолжив до времени Юстиниана (533 г.), а сочинение Павла в свою очередь послужило основанием для сочинения Ландольфа Сагакса (*Landolfus Sagax*) (около 1000 г.) *Historia miscella* — «Смешанная история». В новые времена сочинение Евтропия ценилось в двух отношениях: как руководство для переводов при первоначальном обучении латинскому языку, благодаря легкости слога, и как краткое руководство по римской истории. Вследствие этого оно много раз издавалось (иногда вместе с «Знаменитыми людьми города Рима») для школьного употребления с комментариями и со словарем. Такие издания были и в России⁶.

⁶ Например, «Eutropii Breviarium historiae Romanae. С объяснениями Российскими и реестром Географических и нескольких Латинских слов, которые в первых двух веках Римлянами не употреблялись. В пользу начинающих учиться Латинскому языку и словесности. Москва. В Синодальной Типографии, 1809 года». В «Предуведомлении» к этому изданию сказано между прочим: «Книга сия сочинена по повелению Валента, со стороны учености не приготовленного к великому его сану. По сей причине Евтропий искусным выбором происшествий, порядком в расположении оных, кратким и ясным слогом искал сделать книгу привлекательною, а легким прикосновением к доброй или слабой стороне некоторых особ и сравнением дел Валента наставительною. Сокращение сие переведено на Греческой и новейшие языки, и всегда было в употреблении как при домашнем чтении, так даже и при сочинении исторических книг.

4. СЕКСТ РУФ ФЕСТ

По приказанию Валента было составлено и другое сокращение римской истории. Автором этого сокращения был также один из царедворцев Валента, имя которого передается различно: Rufus Festus, или Sextus Rufus, или Sextus Rufus Festus; о жизни Феста нам неизвестно ничего достоверного; по-видимому, он тоже был секретарем Валента. Он составил сокращение по иному методу, чем Евтропий: это очень краткий географический обзор роста римского владычества, когда была обращена в провинцию Сицилия, Сардиния, Корсика, Африка, Испания, Галлия и т. д. Так автор доходит до войн с востоком и особенно с парфянами. Эти войны описываются в хронологическом порядке с указанием, что сделал каждый полководец, начиная с Помпея. Но, когда автор доходит до Валента, то останавливается и заявляет: «Какими великими устами должно оглашать твои славные подвиги, непобедимый государь? Несмотря на то, что я отягчен годами и не силен красноречием, я приготовлюсь к этому».

Сочинение это ничтожно, несравненно ниже сочинения Евтропия. Наиболее доступное издание его: *Festi breviarium rerum gestarum populi Romani*. Edidit C. Wagener. Lipsiae, 1886. В нем 23 страницы. Помещено оно также в коллекции Низара (Nisard) вместе со Светонием.

5. АММИАН МАРЦЕЛЛИН

После Тацита в течение двух последующих веков господствующим направлением в римской историографии стало изложение биографий императоров, а отчасти составление коммендарумов по римской истории (каковы сочинения Флора, Амелля, Грация Липциана, Аврелия Виктора, Евтропия). Только Аммиан Марцеллин в конце IV в. стал продолжать труд Тацита и вернулся к хронологическому способу изложения истории.

Биографические сведения об Аммиане Марцеллине (Ammianus Marcellinus) мы получаем из его сочинения и отчасти из писем его современника и соотечественника, греческого ритора Либания. О годе рождения его нет упоминаний; но, судя по его служебной карьере, можно думать, что он родился около 332 г. н. э. и умер в самом конце IV или в начале V в. Таким образом, он жил при императорах Константине, Констанции, Юлиане, Иовиане, Валентиниане, Грациане, Феодосии, Аркадии. Он был родом грек из Антиохии, знатного происхождения. Военную службу он начал при Констанции в 353 г. в звании протектора (в императорской гвардии) под начальством магистра конницы Урсина, был вместе с ним в Месопотамии, Галлии и Италии, сопровождал Юлиана в его походе в Персию в 363 г. После этого он, по-видимому, оставил военную службу и поселился сперва в Антиохии, потом в Риме, и занялся составлением своей истории. Для этого он имел хорошую подготовку: многие со-

По мнению ученого Целлария (Cellarius — филолог XVII в.) никакое сокращение с Евтропиевым не равняется. Слог его не имеет витийственной круглости, однако же довольно чист, судя по его времени; и не часто можно найти такие слова и выражения, которых бы не было в писателях Латинских золотого или серебряного веку. Для начинающих учиться Латинскому языку показаны некоторые слова, с чистотой лучших веков не согласные... Гейнеций (Heineccius — филолог XVIII в.) и другие, писавшие о порядке, каким должны ученики проходить Латинских писателей, Евтропия поставляют в первом отделении. Издание сие имеет ту же цель. Посему примечания и объяснения сделаны такие, при помощи каких ученик, начинающий читать Латинского Автора, мог бы порядочно перевести и понять оного, хотя бы и не имел домашнего руководителя».

бытия он сам пережил как очевидец, во время походов он видел много стран, посредством путешествий познакомился еще с некоторыми странами: был в Египте, в Пелопоннесе, во Фракии. Наконец, расширил свое литературное образование: изучил латинский язык и римскую литературу. В Риме он завел знакомство с некоторыми высокопоставленными лицами, хотя высокомерие их его оскорбляло, и он в нескольких местах своего сочинения отзывается о них неблагоприятно ⁷.

Исторический труд Аммиана носит заглавие *Res gestae* — «Деяния». Содержание его он сам определяет в конце труда так: «Вот что я, некогда солдат и грек, изложил по мере моих сил, начав с правления цезаря Нервы и доведя рассказ до гибели Валента» (XXI, 16, 9). Таким образом, история его заключала в себе описание событий 96—378 гг. и состояла из 31 книги. Но до нас дошли только книги XIV—XXXI, обнимающие историю 353—378 гг. Следовательно, история 96—352 гг. заключалась в не сохранившихся книгах I—XIII. Как видно из этого, изложение событий было очень неравномерно: в первой (не сохранившейся) части на 13 книг приходилось 246 лет, т. е. в среднем почти по 19 лет на одну книгу, во второй — на 18 книг только 25 лет, т. е. в среднем менее чем по полтора года на одну книгу ⁸.

Объясняется эта неравномерность, всего скорее, довольно обычной у римских историков тенденцией — рассказывать события современные или ближайших лет подробнее, чем события более отдаленные. В данном случае это было тем более естественно, что лишь незадолго (сравнительно) до времени Аммиана (в конце III и в начале IV в.) история императоров от Адриана до Нумериана включительно (правивших в 117—284 гг.) была изложена, хотя и под другим углом зрения, в форме биографических очерков, «Шестью писателями истории императоров». Кроме того, и большое сочинение Мариа Максима, охватывавшее историю императоров от Нервы до Геллогабала (96—222 гг.), было в общем употреблении и, по словам Аммиана, читалось его современниками с большим вниманием.

История Аммиана начинается с описания жестокости Галла (племянника Константина Великого) и казни его Констанцием (его двоюродным братом). С книги XV выступает на политическую арену Юлиан, любимая историческая личность Аммиана, и остается на первом плане в 11 книгах, т. е. занимает выдающееся место во всем сочинении. Описываются его война с аламаннами, его действия в Галлии и Германии, отпадение его от императора Констанция, смерть последнего, борьба Юлиана с персами и смерть его. Затем идет рассказ о кратковременном правлении императора Иовиана, о заключении им позорного мира с персами. В книге XXVI начинается повествование о правлении императора Валентиниана, который назначил соправителем брата своего Валента, а потом своего сына Грациана.

В историческое повествование свое автор вплетает много экскурсов разного содержания: географических, физико-математических философско-религиозных, социальных. Таковы экскурсии:

1. Географические: о сарацинах (XIV, 4, 1); о восточных провинциях (XIV, 8, 1); о Боденском озере (XV, 4, 1); о Галлии (XV, 9, 1); о городе Амиде (XVIII, 9, 1); о горном проходе Сукках (XXI, 10, 3);

⁷ Например: «В эту пору префектом Вечного города был Орфит, возносившийся в своей гордыне выше предела, предоставленного ему сала» (XIV, 6, 1).

⁸ Такая большая неравномерность вызывала подозрения у исследователей; было высказано даже предположение (почти никем, впрочем, не принятое), что события этих лет были изложены Аммианом подробно в каком-нибудь отдельном сочинении.

о Фракии и об областях и народах, живущих около Понта (XXII, 8, 1); об Египте (XXII, 15); о Персии (XXIII, 6); о Фракии (XXVII, 4, 1); о гуннах и аланах (XXXI, 2, 1).

2. Физико-математические: о землетрясении (XVII, 7, 9); о солнечном затмении (XX, 3, 1); о радуге (XX, 11, 26); о военных машинах (XXIII, 4); о жемчуге (XXIII, 6, 85); о метеорах (XXV, 2, 5); о кометах (XXV, 10, 2); о добавочном дне в високосном году (XXVI, 1, 9).

3. Философско-религиозные: об Адрастее и Немесиде (XIV, 11, 25); о способах узнавать будущее (XXI, 1, 7); о гениях-хранителях (XXI, 14, 5).

4. Социальные: о жизни в Риме (XIV, 6, 3); о моровой язве (XIX, 4, 2); об испорченности нравов знати и простого народа (XXVIII, 4, 6); об адвокатах на Востоке (XXX, 4, 4).

О времени, когда писал Аммиан свое сочинение, можно судить с достаточной точностью на основании некоторых мест в самом сочинении. Так, в XIV, 6, 19 он говорит об «опасении недостатка продовольствия» в Риме, бывшем «не так давно». Нам известно, что такое положение в Риме было в 383 г. Из этого можно заключить, что книга XIV была написана немного позднее 383 г. Из других намеков видно, что книга XXIX написана после 395, но раньше 397 г. Таким образом, все сочинение было окончено в самом конце IV в. Издавалось оно частями, как видно из того, что к книгам XV и XXVI сделаны маленькие введения, так что книги XV—XXV составляли новый (вероятно, второй) отдел сочинения, а книги XXVI—XXXI — последний ее отдел.

Одно письмо ритора Либанния (№ 983), относящееся к 390 или 391 г., показывает, что Аммиан в Риме читал публично свое сочинение частями, и что оно заслужило одобрение публики.

6. АММИАН КАК ИСТОРИК И ПИСАТЕЛЬ

Сочинение Аммиана имеет огромное историческое значение: в нем мы имеем правдивое описание событий, сделанное очевидцем и даже участником их. Эпоха, описанная им, интересна: начиналось великое переселение народов. Метод его — анналистический, прерываемый лишь указанными выше эпизодами. Речей мало. В общем, он старается подражать Тациту, историю которого он взялся продолжать, хотя, конечно, он не может идти в сравнение со своим образцом. Но важно уже и то, что он выбрал для подражания именно Тацита, а не пошел по следам ближайших своих предшественников — биографов. Некоторое влияние их впрочем заметно: после описания смерти каждого императора он дает характеристику его, напоминающую характеристики биографов, но сделанную с большим мастерством.

О своем стремлении к правдивому изложению событий он сам говорит в послесловии к сочинению: «Я обещал в труде своем дать истину и нигде, как думаю, сознательно не отступил от этого обещания умолчанием или ложью» (XXXI, 16, 9). «Историк, сознательно умалчивающий о событиях, совершает не меньший обман, чем тот, кто сочиняет никогда не бывшее» (XXIX, 1, 15). И никто из ученых нового времени, кажется не усумнился в искренности его заявлений. Примером объективности Аммиана может служить его критика некоторых свойств характера и распорядков Юлиана. Хотя Юлиан — его любимая историческая личность, тем не менее он указывает на много свойственных Юлиану недостатков, выделяя в характеристике целый отдел с описанием их.

Хотя Аммиан сам не был христианином, тем не менее в двух местах высказывает порицание Юлиану за его отношение к христианам. «Жесточкой мерой и достойной вечного забвения было то, что он запретил учительскую деятельность риторам и грамматикам христианского исповедания, если они не перейдут к почитанию богов» (XXII, 10, 7; XXV, 4, 20).

О своих религиозных убеждениях Аммиан прямо нигде не говорит; но из его отзывов о христианстве и язычестве видно, что он относился довольно индифферентно к религиозным вопросам. Замечательным явлением той переходной в религиозном отношении эпохи было то, что многие не порывали окончательно с язычеством, но и не были врагами христианства, а были эклектиками, усваивая из того и другого учения приходившееся каждому по душе. К числу таких людей, по-видимому, принадлежал и Аммиан. Он не был врагом христианства, как показывает приведенное сейчас его мнение о репрессивных мерах Юлиана, но и не относился совершенно безразлично к религиозным спорам, волновавшим тогда христианскую церковь. Констанция он упрекает за то, что он «применял к христианской религии бабье суеверие. Погружаясь в толкования вместо простого восприятия ее, он возбудил множество споров, а при дальнейшем росте этих последних поддерживал их словопрениями. Целые толпы епископов разъезжали туда и сюда, пользуясь государственной почтой, на так называемые синоды в заботах наладить весь культ по своим решениям. Государственной почте он причинил этим страшный подрыв» (XXI, 16, 18).

Но и к язычеству Аммиан относится с полным равнодушием. Древние боги как личные существа у него не играют никакой роли. Вместо них выступает неопределенное божественное существо, не имеющее конкретных черт⁹; личными существами у него являются только гении, данные отдельным людям для охраны. Но главной силой, управляющей миром, у него (как и у других людей того времени) является судьба (или счастье — *fortuna*).

Со своими современниками Аммиан разделял и веру в чудеса, предсказания, предзнаменования, волшебство и т. п. Замечательно то, что философия все это признавала, да еще подыскивала причины для подтверждения таких учений. В этой вере сходились люди противоположных в других отношениях воззрений: язычники, христиане, философы. Аммиан смеется над суеверием Юлиана, но сам приводит ходившие в народе предсказания, предзнаменования, чудеса, как указания на будущие важные события.

По своим политическим воззрениям Аммиан — монархист; о возможности восстановления республики он уже не помышляет; хотя он и грек по происхождению, но по убеждениям римский патриот. К Риму, как древнему, так и современному, он относится с глубоким уважением, почти с благоговением. «Рим — город вечный», повторяет он много раз (XIV, 6, 1; XV, 7, 1; XIX, 10, 1; XXI, 12, 4; XXII, 9, 3 и др.). «Произволение божества [*divini numinis*] возвеличило Рим от самой его колыбели и обещало ему вечность» (XIX, 10, 4). Как римский солдат, он гордится успехами римского оружия; враги Рима — для него разбойничьи шайки; он оправдывает поголовное избиение их.

Императорская власть, по мнению Аммиана, предъявляет к носителю ее очень высокие требования. «О благодетельное образование, — говорит он, — благоволением неба предоставленное счастливым, как часто

⁹ Например: «Однако бог небесный в своей вечной благодати был за нас» (XXV, 7, 5).

ты не перевоспитывало и дурные от природы характеры! Сколько добра ты могло бы совершить в те темные дни, если бы, благодаря тебе, Валент мог знать, что власть есть, по определению философов, не что иное, как забота о благосостоянии другого, что добрый правитель должен ограничивать свое имущество, бороться с порывами страсти и с побуждениями сильного гнева и знать, как говаривал диктатор Цезарь, что воспоминание о жестокости — плохая подпора для годов старости» (XXIX, 2, 18).

Императорская власть, думает Аммиан, может даже исправлять в человеке пороки. Так, указав на пороки Иовиана, на то, что он «в пище допускал излишество, имел склонность к вину и любовным наслаждениям», Аммиан предполагает, что от этих пороков Иовиан, «может быть, и отделался бы из уважения к императорскому сану» (XXV, 10, 15).

Но, несмотря на свое уважение к императорскому сану, Аммиан, как видно уже из этой цитаты, не скрывает и пороков отдельных императоров; впрочем, он относится к ним не с такой резкостью, как Тацит и Светоний. Вот как, например, он характеризует вообще прославляемого им Юлиана: «По натуре он был человек легкомысленный... Говорил он очень много и слишком редко молчал. В своей склонности разыскивать предзнаменования он заходил слишком далеко... Скорее суевер, чем точный исполнитель священных обрядов, он без всякой меры приносил в жертву животных, и можно было опасаться, что не хватит быков, если бы он вернулся из Персии... Рукоплескания толпы доставляли ему большую радость; не в меру одолевало его желание похвал за самые незначительные поступки; страсть к популярности побуждала его иной раз вступать в беседу с недостойными того людьми» (XXV, 4, 16—18).

Чтобы оценить Аммиана в его отзывах об императорах, надо сравнить его отзывы с отзывами Веллея или Валерия Максима: в то время, как они превозносят до небес Тиберия, а Валерий даже прямо говорит о его божественности, Аммиан даже в наиболее хвалебных своих отзывах об императорах, например в характеристике Юлиана (XXV, 4, 1—15), не употребляет таких льстивых выражений¹⁰.

Но, уважая императоров, Аммиан терпеть не может льстивых царедворцев, которые имели очень дурное влияние на императоров.

Как патриот, Аммиан скорбит об упадке нравов во всех слоях римского общества, посвящает этому вопросу длинные отступления общего характера в XIV, 6, 7—26 и в XXVIII 4, 6—34 и еще специальный очерк нравов адвокатуры в восточных областях в XXX, 4, 3—22.

Вот несколько выдержек из этих описаний: «Этот великолепный блеск Рима терпит ущерб от преступного легкомыслия немногих, которые, не помышляя о том, где они родились, словно представлена всякая свобода порокам, впадают в заблуждения и разврат...»

«Что касается до низшего класса населения и бедняков, то иные проводят ночи в харчевнях, другие укрываются за завесами театров... режутся в кости... или же с восхода солнца и до вечера, в ведро и в дождь, донскиваются до мелочей достоинств и недостатков коней и возниц. Удивления достойное зрелище представляет эта несметная толпа, ожидающая в страстном возбуждении исхода состязания бегов на колесницах. При такой обстановке жизни Рима не может там происходить ничего достопримечательного и важного» (XIV, 6, 7—26).

Как видно из этого, Аммиан не ограничивается описанием только войн и вообще внешних событий, как делают некоторые историки; он

¹⁰ Правда, те писали при жизни Тиберия, а Аммиан писал об умерших: это большая разница.

говорит и о делах внутренних, гражданских, городских, дворцовых; дает подробную характеристику всех классов общества. Все описание он ведет спокойным тоном.

Обязанностью историка он считает излагать лишь важные события, не касаясь мелочей: «Критики, — говорит он, — поднимают крик, как будто им нанесено оскорбление, если опущено, что сказал за столом император, или не упомянуто, за что подвергнуты были взысканию простые солдаты где-нибудь в армии, или если, по их мнению, нельзя было умолчать в обстоятельном описании страны о каких-нибудь ничтожных укреплениях; или если названы имена не всех явившихся на первый выход городского претора, и т. п. Мелочи такого рода не согласуются с принципами исторического изложения, которое обыкновенно держится на уровне важнейших событий и не вдается в мелочи» (XXVI, 1). «Не подобает распространять историческое повествование изложением неважных мелочей», — повторяет он в другом месте (XXVII, 2, 11). Эту же мысль он высказывает еще в XXVIII, 1, 15 и в XXXI, 5, 10.

Одной из особенностей сочинения Аммиана является его глубокое уважение к образованию; ему он приписывает огромное значение даже в деле управления государством. Так, император Валентиниан, рекомендуя войску своего сына Грациана, предназначенного в императоры, указывает на его образование: «В ранней юности, — говорит император, сын мой как человек, прошедший курс образовательных наук, будет чистым суждением взвешивать качество правых и неправых дел. Он будет так поступать, что благомыслящие узнают, что он их понимает; он вознесется до славных подвигов» (XXVII, 6, 9).

Руководствуясь этой точкой зрения, Аммиан ставил в упрек префекту Рима Орфиту, что он был «недостаточно образован для представителя знати» (XIV, 6, 1) и префекту претория Модесту, что он был «ни мало не развит знакомством с древней литературой» (XXX, 4, 2). Вообще пороком знатных людей Аммиан считает то, что «иные боятся науки, как яда, читают с большим вниманием только Ювенала и Марция Максима и в своей глубокой праздности не берут в руки никакой другой книги» (XXVIII, 4, 14) и что «библиотеки навсегда закрыты, как гробницы» (XIV, 6, 18).

Это уважение к науке, конечно, и было причиной того, что Аммиан, хотя и провел всю молодость на военной службе, в походах, тем не менее сумел достигнуть высокой степени образования по тогдашнему масштабу, что и отразилось в разных отношениях на его сочинении. Он изучил основательно латинский язык, так что мог писать на нем свободно; он изучил и римскую литературу; в сочинении своем он делает ссылки на разных латинских писателей, и в нем видны следы влияния Плавта, Теренция, Вергилия, Горация, Овидия, Лукана, Цицерона, Цезаря, Саллюстия, Ливия, Тацита, Плиния Старшего, Апулея, Геллия. Он хорошо знаком и с историей, греческой и римской, и при каждом удобном случае приводит примеры из древности для сравнения с современными фактами. Для не дошедших до нас книг своей истории он, несомненно, должен был пользоваться соответствующею литературой более близкого ему времени. Его экскурсы, содержащие чуть ли не целую энциклопедию разных наук, хотя и кажутся нам наивными, для того времени были плодом высокой учености.

Для сохранившихся книг, содержащих историю современных автору событий, источником служили его личные наблюдения, рассказы других лиц, бывших свидетелями этих событий, и архивные документы. «Насколько я мог дознаться истины, — говорит он, — я изложил в последовательности событий как то, что довелось мне видеть, как современнику, так и то, о чем можно было узнать у непосредственных свидетелей путем

тщательного опроса» (XV, предисловие). Сведения, почерпнутые из архивных документов, он высоко ценит: «Если бы пришлось излагать в полноте обо всем, то даже справки в государственном архиве не были бы вполне достаточны» (XXVIII, 1, 15). Однако и к архивным документам Аммиан относится критически и не всегда им доверяет: так, он считает лживыми эдикты Констанция, в которых император превозносит себя до небес» (XVI, 12, 70).

Стремление Аммиана к образованию отразилось и на его изложении. В общем изложение его красиво; это не сухой рассказ, а повествование, которое человек, не являющийся непримиримым врагом риторики, читает с интересом и удовольствием. Изложение его носит сильно риторическую окраску с многочисленными метафорами, иногда очень смелыми; общий тон его — патетический, во вкусе азиатского красноречия, иногда приближающийся к тону панегирика и потому напыщенный. Вот несколько примеров. Простую мысль о том, что «Констанций с каждым днем становился высокомернее», Аммиан выражает образно, так: *insolentiae pondera gravius librans* (XIV, 5, 1) — «грузы высокомерия отвешивая тяжелее». В этом же месте, желая сказать, что Констанций «наказал горестным изгнанием» некоего Геронция, автор говорит: *exulari saeviore multavit* — «наказал изгнанием горестным». Конечно, в наше время, относящееся с пренебрежением к риторике, такой способ выражения кажется безобразным; но в то время, при господстве азиатского красноречия и страсти к вычурности слога, может быть, это считалось изяществом. Это тем более извинительно автору, что первоначально он читал устно свою историю перед публикой, а потому она должна была иметь характер речи со всеми цветами тогдашнего красноречия, т. е. быть чем то средним между поэзией и прозой. Как говорит Либаний, его чтения нравились публике. Однако он сам не считает свое изложение достаточно высоким: в самом конце сочинения он говорит так: «Остальные события пусть опишут другие, более сильные, чем я, цветущие молодостью и ученостью. Если же они (буде им угодно) примутся за это, то мой им завет дать своей речи более высокий полет» — *proscudere linguas ad maiores stilos* (буквально: «выковать языки для более высокого стиля»).

Что касается языка в лексическом и грамматическом отношении, то его следует признать совершенно неудовлетворительным с точки зрения латини классического периода. Прежде всего, конечно, на нем отразились свойства латинского языка тогдашнего времени, например: употребление предложения с *quod* вместо *accusativus cum infinitivo*, неправильности в *consecutio temporum*, неправильности в употреблении времен (*imperfectum* вместо *plusquamperfectum*), употребление сравнительной степени в смысле положительной и т. п. Затем, на способ выражения Аммиана сильно повлияло его греческое происхождение: латинский язык для него не родной; он пишет на нем, как иностранец. Благодаря учености своей, он усвоил его себе из литературных произведений всех жанров и всех эпох и, не делая разницы между ними, пользуется отдельными словами и сочетаниями слов, не разбирая, к какому жанру и к какой эпохе они относятся. Таким образом, получается смешанный язык, который нельзя отнести ни к какому жанру и ни к какой эпохе. При этом, иногда он применяет заимствованный материал неправильно: например то, что у древнего автора говорится о дне, он говорит о ночи; то, что там сказано о лете, он говорит о зиме. Далее, расположение слов у Аммиана совершенно произвольное; иногда это вызывается желанием сделать фразу более красивой относительно ритма, но иногда и без всякой видимой причины. Наконец, в некоторых случаях заметны гречизмы: он, строя в уме фразу

по-гречески, переводит ее буквально на латинский язык, благодаря чему получается оборот, чуждый настоящему латинскому языку.

Все это, вместе взятое, да еще в связи с многочисленными смелыми метафорами, подобными приведенным выше, и вообще, витиеватостью слога, делает чтение и перевод истории Аммиана чрезвычайно трудным. Это особенно досадно потому, что Аммиан пишет живо, по-своему даже художественно, рассказ его интересен, описываемые события замечательны, он является для нас источником первостепенной важности и неуверяющего значения ¹¹.

Как отнеслись современники Аммиана к его сочинению, неизвестно; только заметка Либания, приведенная выше, дает право думать, что они отнеслись хорошо. Более никаких известий об этом нет. И в более поздние времена единственное упоминание о нем есть только у грамматика Присциана (V—VI вв.). Историк Кассиодор (V—VI вв.) пользовался им как источником и подражал его стилю.

¹¹ См. Предисловие Ю. Кулаковского в кн.: Аммиан Марцелин. История, вып. I. Киев, 1906.

Глава XXII

НАУЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА III—V вв.

1. Грамматика.— 2. Метрика.— 3. Лексикография.—
4. Комментаторы.— 5. Риторика.— 6. Цензорин.— 7. Юлий
Солин.— 8. Вегетий.— 9. Палладий.— 10. Марциан
Капелла.

1. ГРАММАТИКА

Ценными памятниками римской филологической литературы III—V вв. н. э. служат сохранившиеся до нас «Грамматические руководства» (*Artes grammaticae*), написанные различными авторами, но составленные по одному плану и восходящие к единой традиции. Начинаются такие труды, как правило, с учения о звуках, буквах, о слове и т. д., потом, после подробного анализа частей речи, в них говорится о варваризмах, солецизмах, о тронах, о фигурах речи и мысли, т. е. о тех средствах словесного выражения, которыми засоряется или, наоборот, украшается слог. Иногда в конце добавляется еще и раздел стихосложения. Такое построение «руководства» с неперменной стилистической частью восходит к грамматической теории стоиков («пергамской школе»), которая пользовалась известностью в Риме с конца II в. до н. э.¹ Ссылки на стоиков можно встретить и в тексте самих «руководств»². Однако гораздо более ошутимы в них следы влияния противоположной «александрийской школы», стяжавшей широкую известность своим учением об аналогии³. Любопытен в этой связи один отрывок из «Грамматики» Харисия (IV в. н. э.).

«Латинский язык, возникший одновременно с коренным жителем своего города, отличался меткостью и понятностью своих выражений. После того, как с течением столетий стали появляться мастера слова, мы искусно охватили его нашими наблюдениями, связали почти не отступающими от нормы частями речи. Латинский язык предал себя руководству правил и былую свободу слова обрек на рабство теории, которая настолько присуща самой речи, что теперь аналогия от себя уже ничего не вносит. То, что из всеобщего смешения извлек наш ум для объяснения стиля, она рассеяла и от неравного соединила равные части. Доводом подобия утверждается правило исчезновения. В латинском языке различаются: природа, аналогия, привычка и авторитет. Природа имен и глаголов неизменна, она не

¹ Подробнее об этом см.: И. М. Тронский. Очерки из истории латинского языка. М.—Л., 1953, стр. 21—22, 186—187.

² См. «Grammatici latini». Изд. Keil Lipsiae, 1857, т. I, стр. 190 («Грамматика» Харисия), стр. 420 («Грамматика» Диомеда). В последующих ссылках это издание сокращенно обозначается G. L., затем том, страница.

³ См. «Историю римской литературы», т. I. М., Изд-во АН СССР, 1959, стр. 234—235.

передает нам ни больше, ни меньше того, что восприняла... Аналогия есть упорядочение природной речи. Между языком варвара и образованного человека аналогия создает такое же различие, какое существует между свинцом и серебром... Привычка равна аналогии не по мастерству, а по своей силе. Ее допускают лишь потому, что у многих она встречает поддержку. Теория с ней не соглашается, но относится к ней снисходительно. Последнее дело — это ссылка на авторитет, к которому прибегают как к священному алтарю, когда нельзя сослаться ни на что другое. Если ни природа, ни теория, ни обычай не могут подтвердить чего-либо, то тут полагаются на мнения ораторов, которые, если бы их спросили, почему они так именно выразились, признались бы, что сами этого не знают».

Далее Харисий пишет, что предпочитает следовать правилам, а не обиходному словоупотреблению, которое, впрочем, допустимо, если оно делает речь более благозвучной. В специальном разделе об аналогии Харисий прямо ссылается на Аристарха (G. L., I, 116—117). О достоинствах аналогии можно прочесть также и у Теренция Скавра (II в. н. э. — G. L., VII, 11—12) и у Диомеда (VI в. н. э. — G. L., I, 384, 456). Стремление установить и поддерживать освященные авторитетом далекого прошлого морфологические и фонетические нормы латинского литературного языка привело к тому, что эти грамматики превратились в ценные для нас сборники цитат из сочинений писателей классического периода (Плавта, Цицерона, Саллюстия, Теренция, Вергилия и др.). Иногда они служат единственным источником для нашего знакомства с латинскими авторами⁴.

Вместе с тем, конечно, эти работы дают немалый материал для истории латинского языка⁵. Несмотря на сухой и формальный характер изложения в них встречаются и отголоски филологической полемики (G. L., I, 21—22, 42—43, и 141), описание деталей быта⁶, и своеобразные трактовки грамматических вопросов⁷.

Наибольшего внимания среди сохранившихся до нашего времени «руководств» III—IV в. заслуживают «Граматики» Харисия и Диомеда.

Флавий Сосипатр Харисий (Flavius Sospater Charisius) в предисловии к своему труду называет себя *Magister* и заявляет о желании внушить сыну любовь к латинскому языку. Отсюда обычно делают вывод, что сам Харисий не был уроженцем Рима. Среди многочисленных примеров на 2-е склонение встречаются подряд слова «великий», «Юлиан», «Август» (G. L., I, 44). Это позволяет считать Харисия современником Юлиана (361—363 гг. н. э.).

«Грамматика» (*Ars grammatica*) Харисия была разделена на пять книг, из них книга I сохранилась почти полностью, II и III целиком, IV

⁴ Например, большинство отрывков «Менипповых сатур» Варрона сохранилось в виде цитат, приводимых Нонием Марцеллом (III—IV в. н. э.) в *De compendiosa doctrina*.

⁵ Так, например, все они фиксируют исчезновение 5-го склонения и 4-го спряжения.

⁶ Например, у Харисия «Древние говорили *balneum* или *balineum*; слова эти означают одно и то же и относятся к частному быту, когда же говорится об общественных местах, то употребляется женский род очень часто во множественном числе *balneas* и *balineas*, и не без причины, поскольку одним огнем ради бережливости обогревали две бани, отделенные друг от друга стенкой, чтобы не нарушать стыдливости женщин и мужчин» (G. L., I, 99).

⁷ Сравни, например, пространное рассуждение о 7-м падеже у Сацердота (III в. н. э.), который фатически отождествляет его с *ablativus absolutus* (G. l., VI, 447), и определение Харисия, более сжатое, но вместе с тем более широкое: «Когда мы говорим «от вещи или от места», то употребляем аблятив, когда же говорим «в вещи, на месте», то пользуемся седьмым падежом» (G. l., I, 154).

с большими пропусками, от книги V же остался лишь отрывок. Собственно грамматическое учение излагается в книгах I—III, V. Книга IV посвящена вопросам стилистики и метрики. После описания общих понятий языка (слова, слога и т. п.), морфологических категорий (рода, числа, падежа и т. д.) и частей речи в книгах I—II, в книге III подробно анализируется глагол, причем не проводится четкой грани между морфологическими признаками наклонения и его синтаксической ролью. В книге V собраны примеры несоответствующего с греческим языком падежного управления латинских глаголов. Защищая аналогию, т. е. подчинение языка системе правил, Харисий вместе с тем выступает против крайностей унификации и допускает некоторый разноречивый в морфологии (G. L., I, 21—22, 42—43), когда его можно оправдать историей языка или ссылкой на авторитет писателей-классиков. Констатирует он также и роль привычки (*consuetudo*), благодаря которой иногда побеждают формы, не соответствующие учению грамматиков (G. L., I, 90, 94).

В книге IV рассматриваются недостатки и достоинства стиля; в ней был также раздел метрики, от которого дошли до нас лишь два небольших отрывка о сатурнийском стихе и о ритме. Основными недостатками стиля считались варваризмы и солецизмы. Под варваризмом разумелось слово, неправильно написанное или произнесенное (G. L., I, 265), под солецизмом — не соответствующая теории связь слов в предложении (G. L., I, 267). Украшению речи способствовали тропы и фигуры (G. L., I, 272, 279). Харисий приводит подробнейшую классификацию изобразительных средств. Тропы подразделяются им на 12 видов, метаплазмы на 14, фигуры речи на 18, фигуры мысли на 15; для каждого вида дается определение, сопровождаемое поясняющим примером.

Труд Харисия представляет собой явную компиляцию, источники которой в большинстве случаев указаны самим составителем ее. Больше всего мест взято им, пожалуй, у Коминиана (IV в. н. э.) и Юлия Романа. В тексте «Грамматики» очень много ссылок на Варрона, Палемона, Гигина, Аспра и др. Обилие греческих слов и ссылки на Аристофана Византийского и Аристарха свидетельствуют о существовании еще и греческих источников Харисия.

Диомед (Diomedes) — автор сочинения о грамматике (*De arte grammatica*), которая дает еще более полное представление об уровне филологических знаний в IV в. н. э. О самом Диомеде мы ничего не знаем. Труд его в трех книгах сохранился полностью. Порядок расположения материала в них несколько отличен от общепринятого: сначала излагается учение о частях речи и лишь в книге II автор касается элементарных языковых понятий (звука, буквы, слова и т. д.). Стилистическая часть той же книги содержит традиционные определения тропа, фигур речи, мысли и т. п. Учение о достоинствах и недостатках слога изложено в более обобщенном виде, чем у Харисия. Вопрос этот выделен в особые небольшие разделы. Главными достоинствами речи названы соответствие (*proprietas*) и красочность (*ornatus*), которые истолковываются следующим образом: «Соответствие есть правило речи, которое греки зовут аналогией, некоторые из наших — соразмерностью (*proportio*). Сюда присоединяется краткость, которую греки зовут синтомлей, и интонация (*tenor*), которую греки зовут тасисом, или просодией. Существует два вида украшений (*ornatus*) стиля, из них на первое место должно поставить стройность (*compositio*), которую греки называют синтесис, на второе — обработанную и толковую речь, по гречески кириологию, которая включает в себя тропы» (G. L., I, 456). К основным погрешностям стиля отнесены «неясность» (G. L., I, 449). неукрашенность, варваризмы.

В книге III затронуты вопросы поэтики и метрики. Особо подчеркнута различие между абстрактным понятием «поэтики» и конкретными поэтическими жанрами: «Поэтика — это метрическая структура вымышленного или истинного рассказа, составленная из стройного ритма и стоп, приспособленная для пользы и наслаждения. Поэтика отличается и от поэмы и от поэзии, так как под поэтикой разумеется само искусство, поэма же — это часть повествования, как, например, трагедия, а поэзия — это цель и стройная система целого законченного повествования, как например «Илиада», «Одиссея», «Энеида» (G. L., I, 473). Немало места уделено описанию поэтических жанров: ямба, элегии, эпода, мима, комедии, трагедии и др. Приводятся различные теории происхождения буколической поэзии, терминов «сатира», «трагедия», и т. п. (G. L., I, 482—492).

В конце книги III дан обзор стихосложения и перечень горацянских размеров.

О своих источниках Диомед пишет гораздо реже, чем Харисий. Несколько раз упоминает он Варрона, Валерия Проба, Квинтилиана, Светония, нередко ссылается на Теренция Скавра, знаменитого грамматика Адриановского времени, автора грамматического «Руководства» и недоедших до нас комментариев к Плавту и Вергилию. Термины и цитаты на греческом языке говорят о продолжающемся влиянии греческой науки на римскую школу. О компилятивном характере филологических сочинений той эпохи легко судить, сравнив некоторые почти дословно совпадающие отрывки из руководств Харисия (G. L., I, 51) и Диомеда (G. L., I, 439), а также обе эти работы с «Грамматикой» Досифея, в которой очень много совпадений с книгой I Харисия и книгой II Диомеда.

2. МЕТРИКА

В традиционное определение предмета грамматики (G. L., I, 426 — Диомед; VI, 3 — 4 — Марий Викторий) непременно входило «понимание поэтов» (*intellectus poetarum*). Иногда именно поэтическая часть, т. е. анализ стихосложения, и оказывалась основным содержанием руководства. Примером может служить «Грамматика» *Мария Викторина* (IV в. н. э.) в четырех книгах. Уже в самом начале своего сочинения Марий Викторий подчеркивает музыкальную сторону звука (G. L., VI, 4)⁸, говорит о метрической и музыкальной долготе и краткости слогов, об основных метрических понятиях (стопы, стиха, строфы, ритма и др.), о погрешностях в стихе и т. п. Книга II целиком посвящена девяти основным размерам — прототипам. В книгах III и IV рассматриваются размеры, производные от этих девяти. В конце перечислены размеры Горация.

Подобной же схеме, но в более сжатом виде следует и *Атилиус Фортунатиан* (*Atilius Fortunatianus*) в своей «Грамматике» (G. L., VI, 278—304). *Флавий Маллий Феодор* (*Flavius Mallius Theodorus*) в небольшой работе «О метрах» ограничивается рассмотрением восьми основных размеров (дактиля, ямба, трохея, анапеста, хориямба, антиспаства, малого и большого ионийского стихов). Выделение многочисленных размеров-прототипов говорит о том, что названные авторы продолжали линию Юбы (II в. н. э.), который в несохранившемся до нас большом труде перенес на римскую почву учение греческого метрика Гелиодора.

⁸ Насколько тесно связывались в античности вопросы фонетики и метрики, легко проследить на поэме Теренциана Мавра (II—III в. н. э.) «О буквах, о слогах, о размерах».

Более древний принцип классификации, разработанный в Риме еще Варроном и Цезием Бассом, возводил все размеры к двум основным — гекзаметру и ямбическому триметру. Отголоски этой традиции в IV в. н. э. можно найти у Диомеда (G. L., I, 501).

3. ЛЕКСИКОГРАФИЯ

К грамматическим руководствам примыкают и работы по лексикографии и орфографии, в которых указывается, как надо правильно писать и употреблять слова и отдельные выражения. Справочники подобного рода помогают воссоздать картину семантической и звуковой стороны литературного латинского языка.

В IV в. н. э. *Ноний Марцелл* (Nonius Marcellus), африканский перипатетик, составил нечто вроде толкового словаря — *De compendiosa doctrina*, который почти полностью сохранился до нашего времени. В соответствии с характером объяснения слов книга эта делится на главы. Так, в главе II дается перевод малопонятных слов, в главе V перечисляются синонимы с указанием различия между ними. В главах III, VII, — XI говорится о том, к какому роду, склонению или залогу следует относить помещенные там слова. В последних главах (XII—XIX) поясняются различные термины военного и морского дела, повседневного быта и родства. Ноний как архаист стремится сохранить лексическое богатство литературной латыни II—I в. до н. э. и свои объяснения постоянно подтверждает цитатами из произведений писателей главным образом классического периода, что особенно ценно для нас.

Словарь его — явная компиляция. Очень многим обязан он Флавию Капру (II в. н. э.), у которого заимствовал почти весь материал книги III. Через посредство работ того же Флавия Капра Ноний был знаком и с содержанием трудов Веррия Флакка (I в. н. э.) и Плиния⁹. Среди современных Нонию трудов лексикографического типа заслуживает внимания составленный Аруссианом Мессием сборник цитат из Вергилия, Саллюстия, Теренция и Цицерона. В этом сборнике в алфавитном порядке перечисляются слова с указанием требуемой ими падежной конструкции, затем в качестве образца приводятся цитаты из авторов.

4. КОММЕНТАТОРЫ

Особую отрасль античной филологии составляло комментирование текстов классических писателей. По дошедшим до нас комментариям к Горацию (Порфириона и Псевдо-Акрона — III в. н. э.), Теренцию (Элия Доната и Евграфія IV—V вв. н. э.) и Вергилию (Сервия и Тиберия Доната — IV—V вв. н. э.) можно судить о некоторых общих принципах, которыми руководствовались составители подобного рода трудов. Как правило, в них много места уделяется грамматическим и стилистическим пояснениям¹⁰,

⁹ См. Gad. S t r z e l e s k i. *De Flavio Capro Nonii auctore*. Krakow, 1936. Под именем Флавия Капра сохранилась работа «Об орфографии», в которой немало фонетических и семантических пояснений к отдельным словам, например: *slureum* — «щит», *slureum* — «украшение»; «знай, что „грудь“ бывает у людей, „вымя“ — у животных» (G. Z., VII, 99).

¹⁰ Например: П с е в д о - А к р о н. Примечания к Горацию. Сатиры I, 1, 114: «конями — седьмой падеж». П о р ф и р и о н. Примечания к Горацию. Сатиры I, 1, 110: «„копытом“ — говорится вместо того, чтобы сказать „конями“, и это есть троп синекдоха». Иногда объяснение состоит в простом перефразировании отдельных слов, например: С е р в и й. Примечания к «Энеиде», IV, 667: «женским воплем, т. е. свойственным для женщины», или П с е в д о - А к р о н. Примечания к Горацию. Сатиры I, 5, 21: «вскочил, т. е. быстро поднялся».

а также философской¹¹ и исторической¹² стороне разбираемого текста. Подобно «Грамматическим руководствам», эти комментарии насыщены цитатами из произведений латинских авторов.

Самые обстоятельные из сохранившихся до нашего времени комментариев IV—V вв. н. э. принадлежат Элию Донату и Сервию.

Элий Донат (Aelius Donatus), грамматик середины IV в. н. э., учитель Иеронима, приобрел широкую известность своими комментариями к Теренцию и Вергилию, а также двумя грамматическими руководствами (*Ars minor* и *Ars maior*), которые подробно комментировались уже в древности (Помпеем, Тиберием Клавдием Донатом и др.) и были известны ученым вплоть до средних веков. До нас дошли эти грамматики, комментарий ко всем комедиям Теренция, за исключением комедии «Сам себя наказывающий», и незначительные отрывки из комментария к Вергилию.

Его анализ комедий представляет для нас немалый интерес.

Элий Донат как бы анатомирует художественное произведение и на мелких деталях с большой тонкостью раскрывает драматургические приемы поэта, умеющего создавать на сцене «впечатление действия, а не рассказа о действии» (Донат, «Андреанка», I, 1, 1), при этом он путем сопоставлений освещает также отношение Теренция к греческой комедии. Защищая римского поэта от нападок, Элий Донат нередко ссылается на то, что вызывающий упреки текст есть дословный перевод греческого оригинала (там же, III, 2, 3). Вместе с тем он никогда не упускает случая подчеркнуть своеобразие Теренция и указать на его отход от греческого образца (там же, IV, 4, 55). Большое число ссылок на Вергилия в этом комментарии возможно позволяет предполагать, что Донат писал его после комментария к Вергилию.

Присущий античности взгляд на комедию как на подражание истинной повседневной жизни вполне отражен в комментарии к Теренцию. Целый ряд сцен рассматривается Донатом как типичные жизненные ситуации¹³. Его внимание привлекают и голос, и выражение лица, и жесты, с которыми должны были произноситься слова комедии. Он стремится раскрыть психологию персонажей, указывает читателю на тающиеся в глубине их души чувства радости, страха, робости, грусти, хитрости и т. д.¹⁴

На конкретных примерах Донат выявляет единство стиля комедии и те способы, которыми поэт достигает комизма¹⁵.

Стараясь и в тексте римской комедии установить деления, аналогичные тем, которые в греческой драме отмечались хором, Донат разделяет комедии Теренция на пять действий, замечая при этом, что рукописная

¹¹ Например, Псевдо-Акрон и Порфирион в примечаниях к Горацию (Сатиры I, 2, 62) воспринимают этот стих как отголосок стоических убеждений автора, Элий Донат находит следы эпикурейского учения у Теренция («Андреанка», V, 53) и т. д.

¹² Например: Псевдо-Акрон. Примечания к Горацию. Сатиры I, 5, 28: «Оба были посланы по важному делу — для примирения Август послал послов к Антонию. Позднее они вели гражданскую войну, ведь уже тогда начинались их разногласия».

¹³ Lad. M a d y d a. De arte poetica post Aristotelem exulta quaestiones selectae. Krakow, 1948, p. 51—53. («Archiwum filologiczne», No 22).

Ср. Д о н а т. Примечания к «Братьям», 209: «в этой сцене содержится пример жизни скрыт, которые часто своими расчетами наносят ущерб самой скупости».

¹⁴ Ср. Д о н а т. Примечания к «Формиону», 322: «„Как живешь?“ — это слова не спрашивающего, а боящегося»; Примечания к «Андреанке», 750: «лукаво утверждает, что не видел Хремета, хотя и раньше видел и сейчас видит». Подробнее об этом см. Lad. M a d y d a. De Donato histriorum praecceptore. Warszawa, 1953.

¹⁵ L. M a d y d a. De arte poetica, p. 136, 138.
Ср. Д о н а т. Примечания к «Евнуху», 432: «у комиков есть правило приписывать смешным и неопытным людям глупые мысли и даже неправильные слова».

традиция текста такого деления не знает. Новшество это несомненно было анахронизмом в отношении Теренция, но вместе с тем оно явилось предвестником нового качества драматургической техники европейского театра¹⁶.

В комментарии Доната много общего со схолиями к Аристофану, с комментариями Сервия, с греческими и римскими руководствами по риторике. Все это однако не снижают ценности работы Доната, который добавляет много своего, как с живыми беседует с вымышленными персонажами, скорее переживает, чем описывает их настроения.

Нет оснований думать, что комедии Теренция ставились на сцене в середине IV в. н. э. Комментарий к ним написан не для актеров и не под впечатлением игры актеров. Подобно Сервию и Макробию, Донат — защитник старины; он стремится спасти от забвения и донести до ума и сердца своих современников литературу далекого прошлого, эпохи республики и наибольшего могущества Рима¹⁷.

Комментирование Вергилия началось вскоре после его смерти и не прекращалось до конца империи. При этом если в I в. н. э. при всем уважении к Вергилию критики открыто признавали и ошибки его¹⁸, то с конца II в. н. э.¹⁹ комментаторы стараются во всем оправдать его, и произведения Вергилия постепенно становятся для образованной римской публики нормой литературного латинского языка, богатым источником сведений о древнеримских обычаях, нравах, мифах, на них начинают смотреть как на произведения национального значения, защита Вергилия превращается в защиту древнеримских традиций (Макробий, «Сатурналии»). Комментарии к Вергилию превращаются в обширные энциклопедии по географии, истории, философии, грамматике, стилистике, риторике и т. п.

О том, какой характер имело комментирование²⁰ Вергилия в IV—V в. н. э. мы можем судить по сохранившимся схолиям Сервия. *Маур Сервий Гонорат* (Maurus Servius Honoratus) по свидетельству Макробия был ученивший в Риме грамматик, ежедневно занимавшийся разъяснением текста Вергилия (Макробий, «Сатурналии», I, 2, 15; VI, 6, 1). Его комментарий, по всей вероятности, написан в конце IV—начале V в. н. э. (395—410 гг.)²¹.

Как почти все латинские филологические труды IV в. н. э., сочинения Сервия — несомненно обработка и переделка более ранних источников. Наука нового времени немало сделала для установления подлинного текста Сервия и определения его отношения к другим комментариям Вергилия.

В 1600 г. Пьер Даниель в результате изучения ряда не исследованных до того рукописных схолий выпустил в Париже новое, более полное издание Сервия, которое во многом отличалось от предыдущих. П. Даниель считал, что в его издании дан подлинный текст Сервия и что печатавшийся до тех пор более сжатый вариант комментария есть не что иное, как позднейшее сокращение оригинала. Дальнейшая работа над рукописными

¹⁶ См. J. Andrieu. Le dialogue antique. Paris, 1954, p. 41—44.

¹⁷ L. Madyda. De Donato eqs., p. 6, 7, 54—57.

¹⁸ См. D. Compertti. Virgil im Mittelalter. Leipzig, 1875, S. 20.

¹⁹ См. A. Tomasin. Etude sur le commentaire virgilien d'Aemilius Asper. Paris, 1952, p. 45—47.

²⁰ Основные этапы этого комментирования: комментарии Аскония Педияна, Валерия Проба, Веллия Лонга (I—II в. н. э.), комментарии Теренция Скавра, Сульциция Аполлинария, Эмпилия Аспра, сочинение Анния Флора: «Вергилий оратор или поэт?» (II в. н. э.), комментарий Элия Доната, Сервия, Тиберия Доната, «Сатурналии» Макробия, сочинение Фульгенция «О воздержании Вергилия» (IV—V вв. н. э.).

²¹ H. Georgii. Zur Bestimmung der Zeit des Servius («Philologus», Bd. 71, Hft. 4 (1912), S. 518—526).

текстами схолий нашла свое отражение в амстердамском издании Вергилия 1746 г., которое было подготовлено П. Бурманном старшим и выпущено в свет П. Бурманном младшим. Как издание Даниэля, так и издание Бурманна, не было свободно от недочетов, от включения в текст Сервия таких схолий, какие не могли принадлежать ему²².

В XIX в. Тило разыскал в библиотеках Италии и Франции те кодексы, которыми пользовался Даниэль, описал помимо них еще шестьдесят лучших кодексов Сервия в укороченной редакции и пришел в выводу, что комментарий Сервия не варварски склеенный из кусков труп, как думал Скалигер, что он отнюдь не укорочен и что схолии Даниэля — это дополнения ирландских ученых VIII в. В своем издании текста Тило взял за основу краткую редакцию Сервия и курсивом напечатал в тексте дополнения из схолий Даниэля²³. Однако издание Тило не разрешило окончательно вопроса о тексте Сервия. В конце XIX и начале XX в. исследования, посвященные Сервию, отражают как точку зрения Тило²⁴, так и мнение О. Риббека, полагавшего, что схолии Даниэля восходят к более полному и раннему варианту комментария²⁵.

В 1916 г. Э. К. Ранд высказал в печати предположение, что схолии Даниэля списаны с комментария Элия Доната к Вергилию²⁶.

Мысль Ранда была воспринята его учениками, которые путем детального исследования большого числа рукописей пришли к выводу, что некоторые схолии восходят к более полному комментарию, который они считают принадлежащим Донату.

Данные, полученные при изучении рукописей, и новый взгляд на текст Сервия и схолии Даниэля легли в основу Гарвардского издания, которое стало опубликовываться с 1946 г. и по принципу расположения и классификации материала в корне отличается от издания Тило²⁷.

По этому комментарию можно судить о приемах литературной критики и грамматической традиции, об уровне философских, естественнонаучных, исторических и географических знаний, о восторженном отношении к Вергилию в IV в. н. э.

Труд Сервия, так же как и сочинения Макробия, отражает архаистические тенденции, характерные для образованной языческой публики IV—V вв. н. э.

В методику анализа материала Сервий не вносит ничего существенно нового по сравнению с работами других римских грамматиков: его объяснения стилистических приемов близки к тому, что мы читаем в «Грамматических руководствах» IV в. н. э.²⁸, его аллегорические толкования,

²² См. Em. Teuber. De Mauri Servii...vita et commentariis. P. I. Diss. Vra-tislaviae, 1843, p. 32—35.

²³ При цитировании издания Тило текст краткой редакции Сервия обозначается S, а дополнения к нему, т. е. текст схолий Даниэля S. D.

²⁴ См. Em. Thomas. Essai sur Servius et son commentaire sur Vergile. Paris, 1879; O. Feurerabend. De Servii doctrina rhetorica et de Terentiano commento Donati. Diss. Marburg, 1910.

²⁵ См. Alf. Moeller. Quaestiones Servianae. Kiliae, 1892; J. Kirchner. De Servii carminum Vergilianorum interpretis, commentario pleniore qui dicitur. Ostern., 1910.

²⁶ См. E. K. Rand. Is Donatus' commentary on Virgil lost? («Classical Quarterly», v. X, 1916, p. 158—165).

²⁷ См. рецензию Мариноне (M. Marinone) на «Servianorum in Vergilii carmina commentariorum editio Harvardiana» в журнале «Rivista di filologia classica», 1949, vol. XXVII, p. 141—152.

²⁸ См. I. L. Moore. Servius on the tropes and figures of Vergil (A. J. P.), vol. XII, 1892, p. 157—192).

которых так много в примечаниях в «Буколикам», восходят к приемам Пергамской школы²⁹.

Подробное изложение древних мифов и легенд должно было удовлетворять тот особый интерес к старине, который проявляли образованные римляне конца IV и начала V в. н. э. Сам Сервий («Энеида», I, 743) не верит мифам и склонен искать истину в учениях философов.

Комментарий Сервия с типичным для IV—V вв. н. э. эклектизмом отразил воззрения неоплатоников, стоиков, неопифагорейцев, орфиков, эпикурейцев. Не придерживаясь строго какой-либо одной линии философского направления, Сервий часто излагает взгляды разных философских школ. Так, давая анализ человеческой души, он ссылается на Платона и Аристотеля (Сервий, «Энеида», V, 81), рассуждая о том, несут ли боги ответственность за дурные поступки людей, он присоединяется к мнению Плотина (там же, IX, 182), концепция же очищения душ и дуалистического устройства человека напоминает учение орфиков (Сервий, «Георгики», I, 166; «Энеида», VI, 724, 741)³⁰. О философских убеждениях самого автора комментария к Вергилию судить трудно, так как этот комментарий есть, конечно, плод компиляции многих недошедших до нас работ, и нелегко установить, что именно принадлежит в нем Сервию. Все же можно отметить две характерные черты комментария, в известной мере свидетельствующие о философских симпатиях составителя:

1. В комментарии не освещены специфические стороны учения неоплатонизма и приведено очень мало ссылок на Плотина и Порфирия³¹.

2. В комментарии много ссылок на эпикурейцев, много цитат из Лукреция. Автор комментария высоко ценит Лукреция и как поэта и как философа, несмотря на то, что признает бессмертие души и упрекает эпикуреизм в пренебрежении к религии и в поверхностной трактовке серьезных вопросов³².

В отдельных выражениях Вергилия комментатор часто видит следы влияния стоиков (Сервий, «Энеида», I, 11, 257—604; II, 689 и др.) и эпикурейцев (Сервий, «Энеида», V, 81; IV, 34, 210)³³; реже — других философских школ (Сервий, «Энеида», I, 387; IV, 625).

Разъясняя смысл стихов Вергилия, Сервий как бы подводит итог многовековой истории толкования творчества великого поэта.

По традиции, восходящей к Асконию Педиану³⁴, он во многих выражениях Вергилия видит намек на современные поэту события, леств Августу, а иногда и порицание его³⁵. Однако Сервию чужды крайности увлечения аллегориями: «Не нужно искать аллегорий в буколических стихотворениях, — пишет он, — кроме тех случаев, когда они вызываются необходимостью в рассказе об отнятии полей» (примеч. к Экл. III, 20; см. также III, 71).

²⁹ См. Denis van Berchem. Poètes et grammairiens. Recherche sur la tradition scolaire d'explications des auteurs («Museum Helveticum», vol. IX, fasc. 2, 1952, p. 79—88).

³⁰ См. Ed. Wallace. The notes on philosophy in the commentary of Servius on the Eclogues, the Georgics and the Aeneid. N. Y., 1938, p. 183—184.

³¹ На Плотина одна ссылка — «Энеида», IX, 182, на Порфирия две — «Энеида», V, 735 и «Экл.», V, 66.

³² См. Ed. Wallace. Op. cit., p. 183.

³³ Ср. Сервий I, 227: «сейчас он говорит согласно стоикам, которые полагают, что боги некутся о земных делах, иногда же следует эпикурейцам, пользуясь поэтической вольностью».

³⁴ См. D. Sotragetti. Virgil im Mittelalter. Leipz., 1875, p. 55.

³⁵ Например, примечание к Экл. I, 38: «Титир» — Вергилий, «сосна» — Рим; Экл. I, 39: «источники» — сенаторы, «кусты» — риторы. См. также примечание к «Энеиде», III, 276; к Экл. IX, 5, 18.

Вергилий назван в комментарии «знатоком старины» (примеч. к Экл. VIII, 68), и Сервий высоко ценит его глубокие познания в области истории и учения «философов, теологов, египтян» (прим. к Эн. VI кн. Введение). С большим тщанием отмечает комментатор удачные выражения поэта, используемые им изобразительные средства и риторические приемы (примеч. к Экл. IV, 47, 69; I, 64), с возмущением опровергают он невежественных хулителей Вергилия и находит иногда у него лучшие строки, чем у перелагаемого им греческого поэта (примеч. к Экл. II, 23).

5. РИТОРИКА

Столь богатый компиляциями IV в. н. э. оставил нам в области риторики ряд работ, дающих представление о характере риторского образования в Греции и Риме от Аристотеля до конца античности.

Хирий *Фортунариан* (Chirius Fortunatianus), *Сульпиций Виктор* (Sulpicius Victor) и *Юлий Виктор* (Iulius Victor) были составителями подробных наставлений по ораторскому искусству.

В составленных ими риторских руководствах дается подробнейший анализ возможного характера споров (контрверсий), сущности спора, способов изложения дела и построения юридического умозаключения, большое внимание уделяется также и чисто стилистической стороне ораторского искусства. О том, как излагается материал в этих пособиях, можно судить по следующему отрывку из «Риторического руководства» Хирия Фортунариана.

«Сколько бывает типов юридических умозаключений? — Четыре: на основании закона, обычая, учения какой-либо школы, искусства.

Каким образом на основе закона оправдывается личность? «Допустим, можно убивать собственных детей без суда: человек убил трех сыновей согласно этому закону; его обвиняют в том, что с женой стало плохо». Так вот он говорит, что поступил по закону.

Каким образом это обосновывается обычаем? «У скифов был обычай бросать в море шестидесятилетних стариков. Некий Скиф в Афинах сбросил в море шестидесятилетнего отца. Его обвиняют в отцеубийстве». Так вот он говорит, что поступил по обычаю своего народа.

А каким образом оправдываются на основании учения школы? «Философ рассуждал среди собравшихся о благе смерти; все, кто его слушал, повеселись; их хозяева обвиняют философа в нанесении ущерба». Так вот он говорит, что вел этот разговор, следуя учению своей школы.

На основе искусства каким образом?

«Художник нарисовал кораблекрушение и выставил картину для всеобщего обозрения; после этого никто не отправляется в плавание. Его обвиняют в антигосударственном поступке». А он должен защищать себя своим искусством, потому что у художников принято рисовать много подобных вещей и выставлять их для всеобщего обозрения³⁶.

Труды названных выше авторов являются лишь продолжением многовековой традиции и ценны для нас главным образом тем, что пополняют наши знания о риторической системе стоиков и Гермагора (I в. до н. э.)

Сульпиций Виктор в предисловии к своим «Риторическим наставлениям» признается, что труд его есть в основном переложение Зенона. О методе стоиков заставляет вспомнить и подчеркнутый интерес к логи-

³⁶ «Rhetores latini; minores», ed. Halm. Leipzig, 1863, S. 92, 93.

ческой стороне умозаключения, с которым мы сталкиваемся у Юлия Виктора в его «Риторическом руководстве Герматора, Цицерона, Квинтиллиана, Аквилы, Маркомана, Татяна»³⁷.

Помимо таких общих фундаментальных работ в ходу были и трактаты по отдельным вопросам риторики. От IV в. н. э. до нас сохранились два сочинения «О фигурах речи и мысли», составленные Аквиллой Римлянином и Юлием Руфинианом и представляющие собой сплошную компиляцию. Аквила Римлянин сделал простое извлечение из греческой работы Александра, сына Нумевия, «О фигурах мысли и речи», которая в свою очередь восходит к соответствующему труду Цецилия. Юлий Руфиниан берет за основу те извлечения, которые сделаны Аквиллой Римлянином, и присоединяет к ним некоторые добавления из других источников.

6. ЦЕНЗОРИН

От III в. н. э. до нас дошел труд Цензорина (Censorinus), оставившего потомству книгу «О дне рождения» (De die natali), посвященную некому Цереллию. В противоположность многим латинским авторам, весьма скупо сообщаящим о себе биографические сведения, Цензорин точно указывает и свою родину: — Рим (в конце книги IV) и время написания своей работы — во второй половине 238 г. н. э., в начале царствования Гордиана III, в консульство Ульпия и Понтиана (гл. 21).

Цензорин принадлежал к одной из ветвей знатного и старинного рода Марциев. Из этого рода вышло немало лиц, занимавших высокие должности. Один из рода Марциев, благодаря своим высоким качествам дважды выбирался на должность цензора. Предок нашего Цензорина был другом Гая Цезаря, внука Августа. Он был богат, писал стихи и любил искусство. Гораций, бывший одним из его клиентов, не имея возможности сделать более ценный подарок, поднес ему ко дню рождения свое стихотворение (Гораций, «Оды», IV, 8).

Наибольшего развития фамилия Цензоринов достигла в 270 г. н. э., когда Цензорин был провозглашен императором. Но это был предел величия их семьи: через несколько дней новый император был убит недовольными войсками.

Наш автор жил в промежуток времени между упомянутыми обоими Цензоринами, но не имел уже никаких средств и нуждался в богатом покровителе. Таковым и был для него Цереллий.

Цензорин восхваляет Цереллия, наделяет его все возможными добродетелями и говорит, что он явится «украшением будущих веков» (гл. 1 и 15). Будучи римским всадником, Цереллий занимал в провинции высокие общественные должности, был богат и пользовался большим влиянием. По-видимому, Цензорин был многим обязан Цереллию, сумевшему оценить несомненный талант нашего автора (гл. 3), который в своем произведении старался всячески подчеркнуть уважение и признательность своему патрону.

Труд Цензорина имеет весьма смешанный характер. Он начинается с краткого введения о жертвах Гению ко дню рождения, а затем делится на две большие части: в первой из них автор пишет обо всем, что так или иначе относится к рождению человека: здесь и сведения о религиозных обрядах, о звездах, о музыке, и наряду с этим чисто биологические данные о появлении на свет ребенка. Все это перемежается с изложением взглядов различных философов на происхождение людей.

³⁷ Там же, стр. 409—412.

Вторая часть представляет наибольший интерес для позднейших исследователей: это определение Цензорином понятий, связанных со временем — «век», «год», «месяц», «день» и т. п.

В сочинении Цензорина много заимствований из сочинения Марка Теренция Варрона — *Antiquitates rerum humanarum*³⁹, которое было использовано Цензорином главным образом для первой части — *De die natali*.

Кроме этой работы, Цензорином было написано сочинение «О грамматике» (*De arte grammatica*), хорошо известное древним, а также сочинение «Об ударении» (*De accentibus*).

Позднейшие исследователи ценили его, как, например, Сидоний Аполлинарий (гл. 14, предисловие, 3: *Censorinus qui de die natali volumen illustre confecit*); все, кто писал о нем, хвалят его, восхищаясь его образованностью, точностью, ясностью и изяществом языка и стиля.

Цензорин был одним из лучших писателей своего времени, значительно превосходя многих своих современников, например «Писателей истории императоров» (*Scriptores historiae Augustae*). Он не упоминает ни об Авле Геллии, ни об Апулее, но хорошо знает юриста Папиниана и его учеников. Работы Цензорина пользовались большим успехом и в более позднее время.

7. ЮЛИЙ СОЛИН

Среди писателей времени поздней римской империи Юлий Солин занимает значительное место: он является автором широко известной в свое время работы «Собрание достопамятных событий (явлений)» (*Collectanea rerum memorabilium*).

О жизни и деятельности Солина и о времени создания его книги у нас нет почти никаких сведений. Даже по поводу имени его существуют разногласия: одни называют его Гаем Юлием Солином (*C. Iulius Solinus*), другие — Юлием Солином или просто Солином. Самое имя Солина не позволяет определить, к какому роду он принадлежит, так как в патрицианских родах такого имени не встречалось, а у плебеев оно было чрезвычайно редким. Поскольку в работе Солина нигде не упоминается более или менее подробно ни об одной римской провинции, то предполагают, что Солин вероятнее всего был уроженцем Рима и жил там большую часть своей жизни.

Время литературной деятельности Солина определяется по-разному, но и по языку и по содержанию он может быть отнесен к авторам, жившим не раньше III и не позже IV в.

Тройное имя Солина характерно для писателей более раннего времени. На III в. указывают и такие сведения, приводимые Солином, как ношение мужчинами шелковой одежды, впервые введенное при Геллиогабале (218—222 гг. н. э.), или упоминание о верблюдах, появившихся в Италии в тот же период.

Пессимистический тон повествования Солина наряду с преувеличенным восхвалением прошлого также весьма характерен для авторов, живших во время царствования солдатских императоров. Моммзен считает, что Солин жил при Валериане и Галлиене, так как он знает Константинополь лишь под именем Византия. Кроме того, в его работе не нашел никакого отражения ни новый порядок в римских провинциях, установлен-

³⁹ См. «Историю римской литературы», т. I, гл. XVII.]

ный при Диоклетиане и Константине, ни вопрос о христианстве, которому уделяли внимание почти все авторы IV в.

Свою работу Солин посвятил Адвенту, которого исследователи на основании глоссы *Iulius Solinus sub Octaviano fuit* (по конъектуре *sub Oclati-
nio*) отождествляли с консулом 218 г. Оклатинием Адвентом. Этот факт также говорит за то, что наш автор жил в начале III в.

Относительно названия работы Солина — *Collectanea rerum memorabilium* имеются прямые указания самого автора, а иногда он называет свой труд *in memorabilibus*. У Присциана мы встречаем и второе название этого произведения — *Polyhistor*, которое, вероятно, было знакомо уже и самому Солину.

Обширная работа Солина интересна по содержанию, но она не является самостоятельным произведением, а представляет собой компиляцию из нескольких авторов. Установить все источники, использованные Солином, — нельзя, но с уверенностью можно сказать лишь то, что Солин очень много заимствовал у Плиния (в особенности из книг III—XIII и XXXVII), у Мелы, а также у историков августовского времени.

Солин рассказывает о возникновении Рима, о его легендарной пред- истории, о римских царях, касается принципата Августа и повествует о деяниях его самого. Большое внимание автор уделяет географическому описанию различных стран, знакомит читателей с чужеземными нравами и обычаями, не упускает возможности поразить их рассказами об экзотических растениях и животных. Солин начинает свое описание с Европы, прежде всего Италии во главе с Римом и островов (1—2), затем переходит к Греции и греческим островам (7—11), далее рассказывает о Скифии и Понте (12—19), затем о Германии, Галлии и Британии (20—23). Покончив с Европой, он переходит к Африке (24—32) и Азии (33—45) и заканчивает Ассирией, Индией, Парфянской землей, Горгадами и Гесперидами (46—56).

Займствуя из различных источников, Солин часто переделывал их, иногда в ущерб смыслу, что служило не на пользу его работе. Не обладая хорошим вкусом и достаточными знаниями, Солин излагал подряд противоречивые сведения, проявляя тем самым свою неосведомленность в различных вопросах; так, например, он даже вводит названия несуществующих городов.

Выбирая большие куски из различных авторов, Солин соединял их, скрепляя их вставки, собственными или взятыми из какого-то неведомого нам источника.

Солин — автор малоталантливый и неоригинальный; тем не менее он пользовался большим успехом. Цитаты из него встречаются у Августина и Марциана Капеллы, Присциана и у поздних схолиастов Вергилия и Лукана.

В средние века компендиум Солина был одной из любимых книг для чтения. Его содержание перерабатывалось на разные лады, подправлялось и изменялось. Эти подделки часто выдавались за подлинный труд Солина, выходявший под названием «Полигистор».

8. ВЕГЕТИЙ

От античности до нас дошло немало трудов, посвященных вопросам военного дела. Греческие и латинские авторы уделяли большое внимание организации армии и искусству осаждать города. Об этом мы найдем указания и у Витрувия (книга X) и у Фронтинна («Стратегемы») и у Полиена («Стратегемы») и у других.

Такой повышенный интерес к изучению роли войска вполне понятен, если вспомнить о том, что война для Рима была не только средством добычи имущественных богатств, но и захвата рабов, на чьем подневольном труде целиком держалось рабовладельческое античное общество.

К числу поздних римских писателей, писавших о военном искусстве, относится Флавий Вегетий Ренат (Flavius Vegetius Renatus), написавший «Краткое изложение военного дела» (Epitome rei militaris). Вегетий дает нам общую картину состояния военного искусства в древности и всюду старается подчеркнуть военную мощь Рима в прошлые времена.

Точных данных о времени жизни Вегетия, так же как и о годе написания его труда, нет. Автор не называет имени императора, которому он посвятил свою книгу, но большинство ученых относит это посвящение к Феодосию II (408—450 гг.), устанавливая время жизни Вегетия между 383—450 гг. н. э.

Начав свой труд из чувства патриотизма, чтобы хоть как-нибудь быть полезным своему государству, Вегетий сам скромно считает себя ниже древних писателей. Его цель — собрать рассеянные в различных источниках ценные сведения о военном мастерстве, явно клонившемся к упадку во времена Вегетия, чтобы вооружить теоретическими знаниями своих соотечественников. Работа Вегетия состоит из четырех книг. Он является компилятором старых военных трудов: Катона Старшего, Цельса, Фронтин и др.

В книге I наибольшее внимание уделяется вопросу о новобранцах, откуда их набирать, какие профессии следует предпочитать и в какую часть войск их направлять.

Вегетий не упускает никаких, даже второстепенных вопросов, рассказывает о внешнем виде новобранцев, подробно перечисляя, какого возраста, роста, телосложения, нрава и какой профессии должен быть римский солдат. Например, он рекомендует отвергать: рыболовов, птицеводов, кондитеров, ткачей — всех тех, кто в своей работе имеет какое-либо отношение к женским покоем, и рекомендует брать кузнецов, мясников, тележных мастеров, охотников и других лиц мужественных профессий. Много внимания уделяет Вегетий и физическому воспитанию новобранцев, чтобы закалить, приучить их к невзгодам военной жизни. В книге II рассказывается об организации армии, войсковых соединениях и функциях начальников.

Книга III посвящена вопросам стратегии и тактики наступательной и оборонительной войны.

В книге IV подробно разбирается, как следует укреплять города и как вести себя, если враги ворвались в город. Здесь же излагаются правила ведения войны на море.

Всем четырем книгам предпослано обращение к неизвестному императору, где в льстивых словах Вегетий восхваляет его военные таланты.

В своей работе Вегетий не только рассказывает об истории военного дела, но и вносит ряд предложений. Так, в книге I он предлагает вернуть панцири и шлемы для снаряжения пехоты, как это было прежде. Он уделяет большое внимание вопросу снабжения армии и заботы о воинах. Через весь труд Вегетия проходит мысль, что прежде римские легионы были непобедимы, но теперь, хотя они и сохранили прежнее название вследствие небрежного отношения к военному искусству, былая мощь римской армии заметно упала. Награды и поощрения, даваемые прежде достойным, теперь незаслуженно получают льстецы и интриганы.

Взявшись за этот труд, Вегетий не придерживался хронологических рамок и не смог дать в историческом разрезе картины развития военного

искусства. Для этого у него не было ни достаточного таланта, ни знаний, так как он никогда не был военным.

Язык его чист и прост, только отдельные выражения выдаются, что он принадлежит к позднейшим писателям.

Книгу Вегетия много читали. В средние века его труд был сильно распространен, что доказывает большое число рукописей, в которых он дошел до нас.

Под именем Вегетия после 375 г. было написано еще четыре книги по ветеринарной медицине (*digestorum artis mulomedicinae*). Труд этот по языку сходен с работой Вегетия и преследует ту же цель — собрать воедино все, относящееся к данному предмету.

9. ПАЛЛАДИЙ

Последним из известных нам латинских авторов, писавших о сельском хозяйстве, был Палладий Рутилий Тавр Эмилиан (*Palladius Rutilius Taurus Aemilianus*).

О Палладии до нас не дошло почти никаких сведений, известно лишь то немногое, что мы можем извлечь из его произведения *De re rustica*. Он был знатного происхождения, из богатой семьи и владел многими имениями в различных частях Италии. Палладий упоминает о своих владениях, находящихся в Италии (IV, 10, 24) и в теплых областях (*in locis calidis* — III, 25, 27) и с весьма холодным климатом (*regionibus frigidissimis* — IV, 10, 15). Время жизни Палладия и написания им *De re rustica* точно установить не представляется возможным. Одни исследователи полагают, что Палладий жил в начале II в. н. э., другие — в конце IV в. Некоторые связывают Палладия с именем галльского поэта Рутилия Намациана, высказывая предположение, что Палладий был родственником последнего. Но эта гипотеза не подтверждается прямыми данными и основана лишь на умозаключениях. Писатель Кассиодор относит жизнь Палладия даже к первой половине V в.

Другим косвенным указанием на время жизни Палладия служит его обращение к другу Пасифилу, которому он в знак уважения посвятил свою книгу XII. Кто был этот Пасифил, которого сам Палладий называет ученым человеком исылает похвалами за верность друзьям, точно не установлено. Но его отождествляют с философом Пасифилом, подвергшимся пыткам и истязаниям при открытии заговора против Валента (371 г. н. э.), но не выдавшим своих друзей. Об этом событии упоминает Аммиан Марцеллин, рассказывая, что проконсул Евтропий, попав в число подозреваемых в заговоре, был спасен благодаря мужеству Пасифила. Если этот Пасифил и друг Палладия — одно и то же лицо, то есть указания, что в 395 г. Пасифил был правителем провинции, и тогда можно считать, что книга Палладия была написана между 371 и 395 гг.

По всей вероятности, Палладий и сам занимал какую-либо высокую должность, так как об этом свидетельствует название его — *vir iuster* — в рукописях его книги.

Работа Палладия *De re rustica* разделена на 14 книг. Первая является как бы предисловием ко всему труду и носит самый общий характер: о выборе земли, о постройках хозяйственного значения, об укладе жизни в деревне. Дальнейшие 12 книг представляют собой подробное руководство, что надо делать крестьянину в каждом месяце, и носят названия двенадцати месяцев года.

Книгу XIV Палладий посвящает специально своему другу Пасифилу (*virō doctissimo Pasiphilo*). Это дидактическая поэма в стихах о прививке

и улучшении пород деревьев, написанная в подражание книге X Колумеллы.

В своей работе Палладий как бы подводит итог всех высказываний и советов авторов-агрономов. Его *De re rustica* представляет собой несомненную компиляцию из греческих и латинских писателей, интересующихся вопросами сельского хозяйства. Особенно много у него заимствований из Колумеллы (в частности в книге III почти около четверти текста).

Хотя работа Палладия и мало оригинальна, она представляет несомненный интерес для истории сельского хозяйства времени поздней римской империи. Что же касается языка Палладия, то несмотря на его стремление к простоте (как бы в противовес Колумелле с его вычурным языком), он уже далек от чистоты и ясности более ранних античных писателей и страдает обилием неологизмов и стилистических погрешностей.

10. МАРЦИАН КАПЕЛЛА

Одним из поздних латинских авторов-энциклопедистов был Марциан Капелла (*Martianus Capella*), написавший обширный труд в девяти книгах о семи свободных искусствах (*Artes liberales*) под названием «О бракосочетании Меркурия и Филологии».

В своем единственном сочинении сам Марциан называет себя *Felix Capella* или просто *Felix*, а сына своего, которому он посвящает свой труд, — Марцианом. Античный автор Фульгенций, упоминая о нем, называет его *Felix Capella*. В средние века Марциан Капелла был наиболее известен как Марциан, но иногда встречалось и его полное имя.

Точно определить время жизни Марциана не представляется возможным. Но по некоторым данным работы можно заключить, что свой труд он писал уже после взятия Рима Аларихом. Границы его жизни до известной степени определяются также и теми авторами, сочинениями которых он пользовался. Таковы Солин, Аквила Роман (вторая половина III в.) и Аристид Квинтилиан (предположительно между 284 и 330 гг.). Что касается наблюдений над языком Марциана, то они также подтверждают, что он жил, по всей вероятности, не раньше IV в.

Скудные биографические сведения о жизни нашего автора можно почерпнуть только из его книги. Он был уроженцем Северной Африки, города Карфагена, и по роду своих занятий был поверенным, т. е. имел какое-то отношение к юридическому миру, о чем сам не раз упоминает.

Написав свою работу уже в зрелом возрасте, Марциан не дал ей никакого общего названия, но в первой книге сам упомянул о ней, как о «бракосочетании Меркурия и Филологии», и тем самым как бы закрепил за ней это название. О бракосочетании говорится в книгах I и II, а книги III—IX имеют иной характер: в них приводятся энциклопедические сведения по разным дисциплинам, и они носят соответствующие названия: о грамматике, о диалектике, о риторике, о геометрии, об арифметике, об астрономии, о медицине.

Наибольшим своеобразием и оригинальностью отличаются две первые книги. В них автор в сатирической форме по образцу менипповой сатиры излагает в прозе и стихах сюжет мифологического характера.

Меркурий решил по примеру других богов найти себе достойную супругу. Его выбор после долгих размышлений и при содействии Аполлона останавливается на «ученейшей деве» Филологии (*virgo doctissima*). После некоторого колебания и сопротивления Филология дала свое согласие на брак, который был разрешен и Юпитером и Юноной. На небесном совете было принято решение ввести невесту в круг бессмертных.

При пении Муз и в сопровождении Добродетелей и Харит Филологию в торжественном шествии ведут в ее новый дом. Но на пороге неба невесте подносят напиток, после которого ее начинает рвать целой библиотекой всевозможных знаний, носящих названия artes et disciplinae. Затем Филология вкушает другой напиток — напиток бессмертия и отводится в жилище богов, где брачный союз закрепляется по всем правилам. К молодой подводят служанок Меркурия, олицетворяющих искусства и науки. После брачного пира молодых уводят в брачный покой.

Как видно из изложенного, содержание первых двух книг достаточно вычурно и безвкусно, в особенности это относится к картине с рвотным напитком. Автор попытался соединить множество ученых мыслей, но ни его стиль, ни выразительность языка не позволили ему создать настоящее художественное произведение.

Стиль Марциана отличается обилием новых словообразований, употреблением слов в необычном значении и вставлением греческих слов. Он чрезмерно применяет фигуры, метафоры и аллитерации. Имея большое сходство с Апулеем из-за общей склонности к риторическим прикрасам, Марциан значительно уступает последнему в искусстве изложения. Влияние Апулея также чувствуется и на языке Марциана, но у него много и от классических авторов (Цицерона, Вергилия, Саллюстия) и от более поздних (Арнобия, Тертуллиана, Сидония, Авзония и др.).

Что же касается остальных семи книг Марциана, то они имеют подражательный характер. Для своей работы он широко использовал энциклопедию Варрона и другие более поздние источники: для книги V — Солина и Плиния, для книги IX—Аристиды Квинтилиана.

Марциан обычно излагает подряд полученные им сведения, но иногда и обрабатывает их. Очень часто он проявляет поверхностное знание предмета, вследствие чего у него встречается много неточностей, ошибок и противоречий.

Но несмотря на свои невысокие литературные достоинства Марциан Капелла со своей компиляцией из античных пособий пользовался в средние века большой популярностью, оказывая несомненное влияние на духовную жизнь своего времени. Его книгой пользовались как школьным пособием и много раз издавали целиком или частями. Во всех крупных библиотеках имелись его сочинения. Признанные ученые создавали обширные комментарии к его труду, цитаты из его работы широко применялись в средневековой литературе.

Глава XXIII

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Произведения, рассмотренные в т. II «Истории римской литературы», относятся к эпохе I—V вв. н. э. и обнимают собой пятый — седьмой периоды ее многовекового развития¹. Это литература ранней и поздней империи.

Пятый период начинается со вступления на престол Тиберия (в 14 г. н. э.) и заканчивается со смертью Домициана (в 96 г. н. э.). И хотя границы эти в известной мере условны, данный период может рассматриваться как вполне определенный этап, давший в поэзии и в прозе немало крупных имен. В политическом отношении этот период характеризуется укреплением императорской власти и сенатской оппозицией императорам. Следует иметь в виду, что именно писатели оппозиционного, а не официального направления создают в этот период наиболее значительные произведения.

Дидактическая поэзия I в. н. э. представлена поэмой Манилия («Астрономика») — сводом астрономических и астрологических знаний. Германик создает свой перевод-переложение знаменитой поэмы Арата «Явления», где эллинистическая ученость сочетается с практическими советами по сельскому хозяйству. Отношение императоров к литературному творчеству двойственное: с одной стороны они поощряют ее, с другой — относятся к ней настороженно, боясь оппозиционных проявлений.

В культурной жизни империи все большую роль начинают играть провинция; провинциалами были Федр, Сенека и Марциал. В дальнейшем удельный вес провинций в этом отношении становится еще больше.

Федр, основываясь на баснях Эзопа, пролагает в этом жанре на римской почве свою собственную тропу. В то же время Кальпурний пишет «Эклоги» — слабое подражание Феокриту и Вергилию. В лице Персия, высоко ценимого Марциалом, появляется сатирик, который, хотя и не затрагивает острых политических проблем, но в духе стоицизма, этой «подлинной философии римской империи», рисует моральное вырождение своих современников.

Эпическая поэзия — это прежде всего Лукан с его «Поэмой о гражданской войне» («Фарсалия»), проникнутой республиканским духом и ненавистью к тирании Нерона. «Фарсалия» — образец римского исторического эпоса, яркий памятник политической мысли эпохи. Валерий Флакк создает эпическую поэму «Аргонавтика», где древний миф обновляется новой трактовкой сюжета, а вся поэма звучит апологией завоевательной поли-

¹ См. «Историю римской литературы», т. I. М., Изд-во АН СССР, 1959, стр. 15—16.

тики Веспасиана на Востоке. Огромная «Фиваида» Стация — подражание Вергилию — отличается поэтическим мастерством, но далеко уступает своему прототипу. Многие черты римского быта (но не социальной жизни) отражены в его «Садах». Сидий Италик в поэме «Пуническая война» преклоняется перед героическим прошлым Рима. Оппозиционер по отношению к отдельным императорам, но не к империи как форме государственного устройства, он завершает собой список известных нам эпических поэтов I в. н. э.

Прозаическая литература I в. н. э. — это прежде всего история. Таковы: «Римская история» Веллея Патеркула, «Замечательные дела и слова» Валерия Максима, «История Александра Великого» Квинта Курция Руфа. Непомерная десть императору (Тиберию) у Веллея Патеркула и особенно у Валерия Максима расцветает пышным цветом, а Квинт Курций Руф интересуется прежде всего занимательностью повествования. Из произведений других историков, в значительной мере утраченных, следует упомянуть сочинение Кремуция Корда, сожженное по приказу Тиберия за свою определенно республиканскую направленность. В жанре исторической прозы работали Сенека Старший, Авфидий Басс, Плиний Старший и другие.

Противоречивость и сложность эпохи отразилась в творчестве и личности Сенеки Младшего. Трагедии, сатира «Отыквление божественного Клавдия», литературно-философские письма, философские и научные сочинения и, наконец, эпиграммы, — таков круг интересов этого писателя. Мысли о бренности, принятие смерти как избавления от житейских бед, неотвратимость рока, находят свое объяснение в характере нероновского времени. Продолжается преследование знати и конфискация ее богатств. Оппозиция отвечает заговором Пизона (65 г.). В провинциях, недовольных многочисленными поборами, происходят волнения. В самой Италии назревает экономический кризис, рабский труд изживает себя; возникает колонат — по сути дела уже феодальная форма в недрах рабовладельческой системы. Крупные хозяйства — латифундии — вытесняют мелких хозяев. Кризисные явления в экономике, войны и восстания подрывают могущество империи.

К середине рассматриваемого периода относится творчество Петрония, создателя первого в античной литературе романа — «Сатур».

Научная литература I в. н. э. отличается практическим направлением. Об этом свидетельствует сельскохозяйственный трактат Колумеллы, энциклопедический труд Плиния Старшего «Естественная история», единственная дошедшая до нас часть обширной энциклопедии Корнелия Цельса («О медицине») и другие сочинения.

Труд Квинтилиана «О воспитании оратора» содержит исчерпывающую разработку специальных вопросов риторики, но, написанный в правление Домициана, почти не касается острых общественных тем.

На рубеже пятого и шестого периода стоят Плиний Младший и Марциал. Первый — государственный деятель и писатель — в своих письмах и «Панегирике Траяну» знакомит нас с общественной и частной жизнью римлян на границе I—II вв. н. э., второй — блестяще утверждает жанр эпиграммы в римской поэзии.

Шестой период истории римской литературы охватывает II в. н. э. Его приблизительные границы: 96 г. (год вступления на престол императора Нервы) — 193 г. (когда к власти пришел Септимий Север). Это было время относительной стабилизации империи, дальнейшего усиления роли провинций во всех областях жизни и одновременно время подспудной подготовки грядущего кризиса рабовладельческой системы. В начале этого

периода продолжается творчество Марциала и Плиния Младшего. На Востоке наступает кратковременное «Эллиническое возрождение». На греческом языке пишет император Марк Аврелий. На обоих языках декламируют Фронтон, наставник императора, и уроженец Африки Апулей. Риторика занята поисками «неожиданных слов». Распространяются различные восточные культы (Митры, Кибелы, Исиды). Апулей (вместе с Петронием) — создатель римского романа — заканчивает своеобразным гимном Исиде своего «Золотого осла». На смену энциклопедистам приходят компиляторы. Авл Геллий в «Аттических ночах» цитирует около 400 авторов. В «Жизнеописании двенадцати цезарей» Светоний выступает продолжателем биографического направления в историографии, детально описывает частную жизнь императоров. Его линию продолжает Марий Максим, также автор сочинения, содержащего биографии двенадцати императоров (начиная с императора Нервы).

В поэзии шестой период открывает собой Ювенал, крупнейший и наиболее резкий обличитель пороков современного ему общества. Историк Тацит, относящийся к первой половине данного периода, видит свой политический идеал в древней римской республике. «Новые поэты» подражают лирике «неостериков». Нам известны стихи Флора (не историк!), Септимия Серена, императора Адриана и других. К ним примыкает относящееся, вероятно, уже к III в. «Ночное бдение Венеры», замечательный гимн весне и любви.

Седьмой, заключительный период в истории римской литературы включает в себя эпоху III—V вв. н. э. III в. принес рабовладельческой системе небывалый до того кризис. С калейдоскопической быстротой сменяют друг друга так называемые «солдатские императоры». Падает авторитет и сила центральной власти, децентрализуется торговля, хозяйство все более становится натуральным. Углубляется финансовый кризис, вызванный развалом сельского хозяйства, войнами, нашествиями и междоусобной борьбой. Эдикт Каракаллы (212 г.) о даровании почти всем свободным гражданам империи прав римского гражданства — попытка увеличить налоговые поступления и дать легионам новых солдат. В этот период не прекращаются восстания рабов и колонов. В конце IV в. происходит деление империи на Западную и Восточную, а уже к началу V в. почти вся территория Западной Римской империи оказывается под властью готов, вандалов, гуннов — народов, образовавших новые государства. В 410 г. готы занимают Рим.

Общий кризис империи и связанный с ним упадок общественной жизни, естественно, отразились на развитии литературы в ее различных жанрах. Гражданские мотивы в создавшихся условиях не могут иметь места. Человек уходит в себя; внутренний мир индивидуального героя — вот, что интересует теперь писателей. Политическое красноречие превращается в «риторику для риторики». Падает общий уровень культуры. Архаистические тенденции, интерес к провозвещениям классического периода представляют собой попытку уйти в славное прошлое. Однако последний период римской литературы это не только упадок и не столько упадок, сколько своеобразный этап ее развития. Следуя классическим образцам, писатели этого периода достигают высокого мастерства. В то же время в литературе появляются новые черты, непохожие на привычные нормы классического периода. В борьбе языческой и христианской идеологии закладываются основы (особенно с III в. н. э.) новой по своему характеру латинской средневековой литературы.

В первую половину рассматриваемого периода ряд специальных наук, и в частности юриспруденция, разрабатываются достаточно широко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

и имеют своих видных представителей в лице Папиниана и Ульпиана. В абсолютном смысле нельзя говорить и об упадке поэзии: высокие художественные достоинства отличают целый ряд произведений известных и особенно безымянных поэтов IV—V вв. Поэтические произведения проникнуты ощущением красоты природы, более всего свойственным именно данному периоду развития литературы. В то же время в литературном творчестве большое место занимают бесплодные словесные ухищрения.

Дидактическая поэзия стремится приспособить для практического применения уже известные знания (например Серен Самоник в медицине), продолжая в этом отношении традицию I в. н. э. Индивидуалистическая мораль находит выражение в «Дистихах Катона» и в «Изречениях семи мудрецов». В III в. живет Немесиан, один из последних римских буколических поэтов. Авзоний (IV в.), большой поэт, изощренный мастер стиха, и его современник Клавдиан — последние крупные поэты поздней империи, которых мы знаем. Кстати сказать, все они — провинциалы.

Возрождается жанр басни (Авиан и сборник под названием «Ромул»). Поздняя античность дала нам и единственное в своем роде драматическое произведение — комедию «Кверол или горшок», написанную по мотивам комедии Плавта «Горшок». Эпистолография представлена крупной фигурой — Аполлинарием Сидонием. Риторическая и повествовательная литература последнего периода довольно обширна: панегирики, письма Симмаха, произведения о Троянской войне — «Диктис Критский» и «История нападения Трои».

К IV в. относится деятельность крупнейшего историка поздней империи Аммиана Марцеллина. «Шесть писателей истории императоров» (III—IV вв.) продолжают биографический жанр в истории. Макробий в своих «Сатурналиях» дает комpendиум в духе «Аттических ночей» Авла Геллия.

«Латинская антология» представляет собой обширное собрание лирических стихотворений и эпиграмм разнообразного содержания.

Научная литература разрабатывает главным образом вопросы грамматики (Харисий, Диомед) и метрики (Флавий Маллий Феодор). Комментаторы истолковывают произведения канонических авторов (Перфрион — Горация, Элий Донат — Теренция, Сервий — Вергилия). Лексикографы (Ноний Марцелл) составляют руководства, подобные толковым словарям. Вегетий дает «Краткое изложение военного дела». Последний из известных нам трудов по сельскому хозяйству — сочинение Палладия. Марциан Капелла пишет одно из последних энциклопедических сочинений — «О бракосочетании Меркурия и Филологии».

V в. был последним веком существования Римской империи. 476 год, год низложения последнего римского императора Ромула Августула — условная дата, определяющая конец античности. Наступает эпоха феодализма, подготовленная всем ходом развития рабовладельческого общества. Завершается процесс развития собственно римской литературы, начинается становление средневековой латинской литературы.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН И НАЗВАНИЙ
К I—II ТОМАМ ИСТОРИИ РИМСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ *

А

Авгурии II 175, 176, 311
 Август I 10, 12, 14, 18, 20, 22, 23, 26, 52, 57, 58, 98, 123, 133, 144, 151, 153, 178, 186, 187, 189, 194, 197, 198, 229, 237, 250, 258, 290, 313, 317—319, 324, 343, 344, 346—357, 359—362, 366—368, 374, 378, 380, 383—385, 388, 394—398, 403, 404, 406, 411, 412, 415, 418, 420, 421, 426, 428, 429, 431—438, 440—443, 445, 446, 450, 452—460, 463—467, 469—472, 474—476, 479, 480, 482, 490, 492, 494, 496, 499, 502, 503, 506, 509, 512, 514, 516, 517, 520—523, 525, 528, 529; II 7—14, 18, 30, 33, 35, 37—40, 44, 52, 53, 55, 96, 99, 124, 129, 144, 145, 185, 186, 197, 213, 238, 245, 247, 255, 256, 259, 260, 263—266, 268, 273, 308, 331, 335, 337, 338, 343, 345—347, 349, 350, 352, 355, 405, 418, 427, 428, 446, 448
 — «Анкирский памятник» I 502; II 346
 — «Дейния божественного Августа» I 343, 344, 503, 504
 Августин I 27, 55, 60, 238, 239; II 292, 293, 322, 329, 351, 450
 — «Целоведь» II 293
 — «О граде божием» I 55, 60, 238, 239
 Августул Ромул II 458
 Авзоний I 16, 29, 77, 238, 255; II 143, 220, 291, 292, 294, 310, 311, 349, 357, 370—376, 381, 394, 402, 406, 407, 454, 458
 — «Вопросы и ответы» II 375
 — «Гриф о числе три» II 374
 — «Мозаика» II 374, 407

— «Пасхальные стихи» II 371
 — «Послания» I 255
 — «Преподаватели» I 238
 — «Свадебный центон» («Свадебное празднество») II 311, 374
 — «Эфемериды или проведение всего дня» II 371
 Авиан II 16—18, 30, 357, 376—379, 381, 458
 — «Собака, не желавшая лаять» II 378
 Авидий Кассий см. Кассий Авидий
 Авиен II 12, 14, 292, 377, 413, 415, 417
 Авит Алфий II 311
 — «Воскликне» II 311
 Авит Стертиний см. Стертиний Авит
 Авл Геллий см. Геллий Авл
 Аврелиан II 420, 422, 423, 425
 Аврелий Вер II 422, 424
 Аврелий Виктор II 293, 349, 420, 426—428, 430
 — «О знаменитых людях города Рима» II 426—429
 — «Происхождение народа римского» II 426, 427
 — «Сокращение Цезарей» II 426—428
 — «Цезари» II 426—428
 Аврелий Котта I 169, 180, 207, 456
 Аврелий Марк I 16, 144; II 292, 295—297, 299, 300, 309, 355, 422, 423, 457
 Аврелий Филипп см. Филипп Аврелий
 Авторы жизнеописаний Августов см. «История Августов»
 Авэ Л. I 67
 Агафокл I 501
 Агафон I 5
 Агесилай I 253, 255
 Агриппа (I в. до н. э.) I 361, 463, 475, 502, 509, 516, 525; II 337
 — «О водопроводах в Риме» I 502
 — «О своей жизни» I 502
 Агриппа Менений II 82
 Агриппина II 63, 77, 260, 261, 281, 338
 Адвент Оклатиний II 450
 Адольф А. II 224, 226—229
 Адриан I 57, 128, 143, 149; II 226—228, 233, 286, 296, 300, 309—313, 334—336, 345—348, 352, 354, 355, 420, 422—424, 431, 457
 — «Катаханы» II 312
 Аквила Римлянин II 448, 453
 — «О фигурах речи и мысли» II 448
 Аквиллий I 78

* В указатель включены имена древних авторов и государственных деятелей, а также фамилии исследователей нового времени и тех писателей, в творчестве которых использованы античные сюжеты. Названия произведений следуют под именем автора и располагаются в алфавитном порядке. Названия анонимных произведений внесены в общий алфавитный список. Подужирным шрифтом отмечены страницы, специально посвященные данному писателю. Указатель составили Т. И. Кузнецова, Т. А. Миллер и Т. В. Попова.

- Аквиллий Маний I 170
 Акрон (псевдо) II 442, 443
 Аксаков С. Т. II 329
 Акусилай I 120
 Анций I 13, 24, 25, 59, 62, 91, 112, 113, 114, 123, 205, 235, 251, 348, 415; II 297
 — «Брут» I 62, 113, 114
 — «Деций» I 113
 — «Дидаскалии» I 24
 — «Медея» I 114
 — «Энеиды» I 113
 Аларих II 385, 453
 Албуций Сил I 520, 522, 527
 Албуций Тит I 156, 158, 299
 Александр Македонский I 253, 289, 297, 494, 496, 498, 501, 527; II 44, 45—54, 136, 148, 154, 293, 319, 337, 411
 Александр Север см. Север Александр
 Александр (ритор IV в. н. э.) II 448
 — «О фигурах мысли и речи» II 448
 Алексид I 68, 96, 98
 Алкей I 35, 403
 Алкинад I 253, 501
 Алкуин I 28
 Алфев Вар см. Вар Алфев
 Алфий Авит см. Авит Алфий
 Алфий Флав см. Флав Алфий
 Альбин Авл I 119, 122, 123, 124, 145
 Альбин Клодий II 356, 422
 Альбин Спурий I 156
 Альбин Фурий II 417
 Альбин Цецина II 417
 Альд Мануций I 29
 Альфонс V II 54
 Альфьери В. II 288
 Амафиний I 300, 301
 Амбиориг I 261, 493
 Амвросий Медиоланский I 27; II 293, 370, 406
 Аммиан Марцеллин I 16, 20, 496; II 282, 286, 291, 294, 348, 356, 357, 381, 420, 426, 430—437, 452, 458
 — «Деяния» II 431
 Ампелий Луций II 353, 354, 430
 — «Памятная книга» II 353
 Анакреонт I 35, 403
 Анаксагор I 301
 Анаксимен (ритор) II 47
 Анаксимен (философ) I 301
 Анджело Ман I 66; II 296
 Андроник Ливий I 9, 13, 20, 35, 36, 38, 40, 42, 43—46, 47, 48, 53, 54, 62, 67, 81—83, 90, 111—113, 118, 153; II 304
 — «Андромеда» I 44
 — «Ахилл» I 44
 — «Аякс-биченосец» I 44
 — «Виргус» I 44
 — «Гермиона» I 44
 — «Гладиатор» I 44
 — «Давая» I 44
 — «Ино» I 44
 — «Небольшой меч» I 44
 — «Одиссея» I 35, 36, 44, 45, 90, 118
 — «Терей» I 44
 — «Троянский конь» I 44
 — «Эгисф» I 44
 Анниан II 311, 314
 — «Фалиска» II 311
 — «Фесценнины» II 311
 Антимак II 311
 Антиох I 223, 396, 494; II 353
 Антиох Аскалонский I 180, 204, 236, 238
 Антиох Сиракузский I 136, 143, 165
 Антипатр Сидонский I 14
 Антипатр Целлий см. Целлий Антипатр
 Антипатр (стоик) I 120
 Антифонт I 453
 — «Аякс и Улисс» I 453
 Антоний Гнифон I 256, 324
 Антоний Кастор II 129
 Антоний Марк (оратор) I 6, 120, 163, 169, 170, 179, 184, 207—210
 Антоний Марк (триумвр) I 171, 172, 178, 185, 186, 189, 194, 196, 199, 220, 221, 228, 229, 233, 237, 264, 343, 346, 347, 352, 353, 360—362, 366, 367, 383, 464, 465, 482, 492, 494, 517, 528, 529; II 38, 136, 259, 347, 427
 Антоний Прим II 212
 Антоний Юлиан II 301
 Антонин Эмберал I 448
 — «Метаморфозы» I 448
 Антонин Пий I 448; II 161, 173, 174, 224, 295—297, 309, 355, 422, 425
 Анфимий II 391
 Апион II 303
 — «Египетские повести» II 303
 Аполлинарий Сидоний см. Сидоний Аполлинарий
 Аполлодор Афинский I 13, 98, 103, 469
 Аполлодор Пергамский I 522
 Аполлоний Родосский I 13, 35, 171, 356, 370, 372, 373, 457; II 180, 181, 190, 394, 417
 — «Аргонавтика» I 356, 370, 372, 373; II 190, 394
 Аппиан I 16, 163, 493; II 297
 — «История гражданских войн» I 493
 Аппий Клавдий см. Клавдий Аппий
 Апри Марк II 243, 246, 247, 249
 Ари С. К. II 227, 228
 Апулей I 11, 12, 16, 22, 32, 59, 93, 167, 323, 349, 422, 430, 435; II 119, 291—293, 313, 315—329, 349, 357, 435, 449, 454, 457
 — «Апология» I 93, 167, 323, 422, 430; II 316—321, 328
 — «Метаморфозы» («Золотой осел») I 23, 59, 349; II 119, 315, 316, 318, 322—329, 457
 — «О божестве Сократа» II 318, 319
 — «О вселенной» II 318, 319
 — «О Платоне» II 318
 — «Флориды» («Цветники») II 316—318, 321, 322, 328
 Апулей Сатурнин I 131, 171, 176, 226, 265; II 38, 350
 Арат I 13, 179, 180, 361, 442, 507; II 12, 14, 358, 455
 — «Явления» («Феномены») I 179; II 12, 14, 455
 Аргентарий I 522
 Ариовист I 258, 263
 Аристарх Самофракийский I 13, 234, 240; II 343, 439, 440

- Аристид (греческий политический деятель)
I 146, 253
Аристид Квинтиллиан II 453, 454
Аристид Милетский (I в. до н. э.) I 252;
II 22, 322
— «Милетские рассказы» I 252; II 22, 322
Аристид Элий (II в. н. э.) II 297
Аристий Фуск I 347
Аристиш I 298, 408
Аристобул II 47
Аристотель I 5, 174, 203, 213, 241, 307,
313, 494—496, 514; II 15, 139, 196,
301, 318, 319, 411, 412, 446, 447
— «Апалитика» II 412
— «Политика» II 196
— «Поэтика» I 313
— «Топика» I 213
Аристофан I 5, 11, 102, 211, 387; II 307, 444
— «Облака» I 11
Аристофан Византийский I 13, 240; II 440
Аркадий II 382, 401, 430
Арнобий I 295; II 454
Арриан I 16; II 45—48, 52, 411
Аррий Антонин см. Антонин Пий
Арунций Луций I 502; II 82
— «История Пунических войн» I 502
Артемидор II 158, 165
Арусиан Мессий II 442
Арулен Рустик II 336
Архелай I 235
Архестрат I 92
Архиген II 227
Архий I 179, 225, 233, 296
Архилох I 35, 403
Архимед II 191, 192
Асбах Ю. II 160, 282
Асиний Галл II 59
Асиний Поллон I 187, 237, 244, 263, 270,
326, 346—350, 352, 356, 358, 386,
396, 472, 488, 489, 492, 493, 496, 507,
515, 520, 527; II 59, 82, 150, 177, 247,
256, 346
— «История» I 346, 492
Асконий Педан I 26, 154, 273, 355, 361;
II 9, 35, 61, 62, 444, 446
— «Жизнописание Саллюстия» II 62
— «Книга против противников (порица-
телей) Вергилия» II 62
— «Комментарии к речи Цицерона против
Пизона» II 154; II 61
— «Симпосий» II 62
Асконий (псевдо) I 52
Аспр Эмилиий II 440, 444
Атедий Мелвор II 184, 215
Ателлана I 116, 117
— «Братья» I 117
— «Буккон усыпавленный» I 116
— «Геркулес-сборщик» I 117
— «Два Доссена» I 116
— «Макк-девушка» I 116
— «Макк-солдат» I 116
— «Макк-трактирщик» I 116
— «Макки-близнецы» I 116
— «Невеста Паппа» I 116
— «Папп-земледелец» I 116
— «Папп, провалившийся на выборах» I 116
— «Поддельный Агамемнон» I 117
— «Проститутка» I 116
— «Спор между жизнью и смертью» I 117
— «Философия» I 117
Атилиий Фортунатиан см. Фортунатиан
Атилиий
Атвий (комедиограф) I 95
Атта I 62, 115, 116
Аттал I 234
Аттик Герод см. Герод Аттик
Аттик Тит I 29, 44, 120, 121, 135, 144, 166,
179, 185, 188, 190, 192—196, 198—200,
202, 203, 205, 206, 209, 220, 221, 236,
237, 241, 252, 253, 296, 299, 317, 326,
330, 331
Ауриспа II 402
Афиней I 132; II 415
— «Пир софистов» II 415
Афраний I 6, 13, 62, 98, 112, 115, 116,
196, 415
Ахилла I 267
Ахолтий II 424
Ацилий I 119, 123, 245, 246; II 306
Аэтий I 306
- Б**
- Бабрий I 16; II 30, 376, 378, 381
— «Собака с бубенцом» II 378
Бавий I 356, 468
Байрон Д. Г. I 310
Бакул Сестий I 262
Бальб Корнелий см. Корнелий Луци
Бальб
Бальбиц II 422
Барсов А. А. I 31
Басс Авфидий II 55, 56, 57, 134, 280, 456
— «История» II 56, 57
Басс Помпоний II 171, 172
Басс Цезий I 36, 429; II 9, 34, 85, 88,
310, 442
Батюшков К. Н. I 435
Бафилл I 519
Бебий Макр II 133
Бебий Масса II 169
Беккер И. I 30
Бенедикт Нурсийский I 28
Бентли Р. I 30
Бенуа де Сев-Мор II 411
Беренс Э. I 38, 50; II 360
Беркова Е. А. I 6
Бернгард Г. I 31
Биант II 25, 366
Бион I 14
Благовещенский Н. М. I 32; II 202
Блок А. А. I 337
Блоссий I 166
Влуменау Л. В. II 204
Богданович И. Ф. II 329
Боккаччо Дж. I 29; II 287, 325, 329
Бокх I 285
Бомилькар I 285
Боот И. II 221
Боша Е. II 276
Боссюэ Ж.-Б. I 310
Бозций I 28; II 294
— «Комментарии к «Топике» Цицерона»
I 28
— «Утешения философией» I 28

- Браччолини П. I 29
 Британия II 63, 271
 Бротье Г. II 262
 Брут Децим I 113, 186, 189, 194
 Брут Луций II 403
 Брут Марк I 29, 127, 128, 164, 172, 178, 179, 186, 188, 189, 193, 197, 200, 211, 257, 346, 360, 382, 482, 520, 523, 529; II 39, 55, 64, 104—106, 108, 110, 111, 247, 259, 266
 Брюсов В. I 374; II 312, 399
 Буало Н. II 90
 Буассье Г. II 120, 235, 269, 340, 341
 Бурманн П. (младший) II 445
 Бурманн П. (старший) II 445
 Бурр II 63, 93, 95, 99, 338
 Бюде Г. I 30
 Бюхслер Ф. I 243; II 32, 221
- В**
- Вавилов С. П. I 305, 306
 Вакка (I в. н. э.) II 93, 99
 Валафрид (Страбон) II 359
 Валгий Руф I 349, 463, 468, 469, 522
 Валент II 286, 429—431
 Валентиниан II 360, 370, 374, 401, 406, 429—431, 435
 Валериан II 422, 449
 Валерий Анциат I 119, 143, 245, 246, 247—249, 482—484
 — «Летопись» I 248
 Валерий Луций I 491
 Валерий Максим I 15, 55, 56, 128, 163, 165, 238, 253, 255, 491, 493, 500; II 28, 35, 41—44, 287, 434, 456
 — «Замечательные дела и слова» II 35, 41, 456
 Валерий Мессала II 136
 Валерий Полянкола I 403, 480
 Валерий Приск см. Приск Валерий
 Валерий Проб см. Проб Валерий
 Валерий Флакк см. Флакк Валерий
 Валерий Эдигий II 305
 Валерий Юлий II 408, 411
 — «История Александра» II 408
 Вар Алфен I 358
 Вар Квинтилий I 326, 347; II 40, 331
 Варгунтей Квинт I 235
 Варий Квинт I 130
 Варий Луций Руф I 347, 349—351, 382, 386, 457, 463, 464; II 9, 32
 — «О смерти» I 463
 — «Надежник Августу» I 464
 — «Флест» I 347, 351, 457, 464
 Вармингтон Е. I 81, 82
 Варнеке Б. В. I 63
 Варрон Атацнискый I 14, 236, 356, 370, 386, 445; II 180
 Варрон Марк Теренций (Роатинский) I 6, 14, 19, 23, 25, 29, 32, 39, 41, 44, 47, 64, 68, 76—78, 84, 91, 93, 95, 96, 98, 112, 125, 126, 150—152, 154, 185, 189, 193, 200, 203—205, 234, 235, 236—244, 251, 252, 254, 273, 471, 504; II 8, 42, 98, 116, 124, 141, 305—307, 335, 347, 385, 418, 439—442, 449, 454
 — «Древности» I 239; II 449
 — «Кат, или о воспитании детей» I 242
 — «Логисторики» I 241, 251, 271
 — «Марий, или о счастье» II 242
 — «Менишсовы сатурны» («Менишпен») I 6, 32, 76, 77, 112, 152, 242—244; II 116, 439
 — «Мессала, или о здорovie» I 242
 — «О грамматике» I 240
 — «О девяти науках» I 240, 511
 — «О древности букв» I 240
 — «О жизни римского народа» I 239
 — «О комедиях Плавта» I 241
 — «О латинской речи» I 240
 — «О латинском языке» I 19, 25, 91, 238—240, 242, 244
 — «О пользе речи» I 240
 — «О поэтах» I 241
 — «О природе вещей» I 242
 — «О происхождении латинской речи» I 240
 — «О сельском хозяйстве» I 239, 242, 244
 — «О сходстве слов» I 240
 — «Об образе философии» I 242
 — «Орест, или о безумии» I 242
 — «Парменов» I 95
 — «Плавтовские вопросы» I 151, 241
 — «Портреты» (или «Седьмидцы») I 237, 240
 — «Поэмы» I 242
 — «Псевдотрагедии» I 242
 — «Сатурны» I 242
 — «Седьмидцы» II 305
 — «Сизенна, или об истории» I 242
 — «Собрание писем» I 242
 — «Трехголовый» I 237
 Варрон (комический писатель) I 236; II 218
 Варрон (консул) II 192
 Ватиний I 227, 325, 516
 Вебер В. II 96
 Вегетий Ренат I 16; II 125, 128, 438, 450—452, 458
 — «Дигесты ветеринарной медицины» II 452
 — «Краткое изложение военного дела» II 451, 458
 Вейднер А. II 226, 228
 Вейнтон II 165, 166
 Вейссенборн В. I 472
 Веланий I 261
 Великий Лонг II 444
 Веллей Гай I 299
 Веллей Патеркул I 15, 98, 131, 142, 143, 154, 163, 245, 247, 427, 500; II 8, 28, 35—41, 53, 279, 346, 434, 456
 — «Римская история» II 35, 36, 456
 «Великие анналы» I 118, 120
 Венаций Фортунат II 294
 Венноний I 119, 120, 127
 Вер Аврелий см. Аврелий Вер
 Вергилий I 5, 10, 12, 14, 19, 21, 22, 26—28, 32, 50, 52, 78, 87, 88, 92, 93, 122, 128, 143, 149, 157, 244, 291, 319, 320, 324, 326, 347—351, 352—370, 372—380, 382, 383, 386, 393, 395, 412, 417, 419—421, 426, 429, 432, 435, 440, 448, 450, 452, 455, 458, 460, 461, 463, 464, 467—469, 491, 492, 496, 499, 529; II 9, 10, 30—

- 33, 60, 62, 86, 120, 122, 129, 139, 140, 142, 150, 163, 189, 192, 196, 211—214, 217, 218, 234, 237, 240, 293, 294, 306, 311, 313, 321, 359, 367, 369, 374, 376, 378, 379, 394, 407, 410, 413, 415, 417—419, 435, 439, 441—447, 450, 454—456, 458
- «Буколики», или «Эклоги» I 157, 326, 347, 348, 352—354, 356, 360, 361, 363, 364, 378, 393, 420, 463, 468, 469, 499; II 30, 213, 367, 446, 447
- «Георгики» I 12, 319, 320, 347, 348, 351—354, 360—367, 377, 378, 419, 420, 458, 460, 467; II 140, 163, 446
- «Энеида» I 10, 12, 28, 32, 40, 50, 78, 88, 89, 92, 239, 274, 326, 347, 348, 351—355, 363, 367, 368, 369, 370, 372—378, 380, 417, 429, 450, 452, 463, 464; II 9, 181, 188, 190, 193, 211, 256, 336, 354, 410, 417, 441, 442, 446, 447
- Сочинения, приписываемые Вергилию:
- «Завтрак» I 368, 369
- «Заклятия» I 368
- «Кирида» I 368, 448
- «Комар» I 368
- «Этна» I 368; II 33
- Вергилий Роман см. Роман Вергилий
- Вергиний Руф см. Руф Вергилий
- Вергиний Флав см. Флав Вергилий
- Веррес I 178, 181, 182, 218, 223, 251, 516; II 136, 176
- Веррий Флакк см. Флакк Веррий
- Верцингеториг I 257, 258, 260
- Веспа II 392, 398
- «Спор между лекарем и поваром» II 392
- Веспасиан II 7, 125, 129, 130, 133, 138, 165, 179, 180, 189, 190, 198, 205, 223, 244, 246, 250, 257, 264, 265, 271, 279, 331, 335, 341, 346, 456
- Ветгий Агорий Претекстат II 406, 412, 413, 415—417
- Ветгий Филоком I 235
- Вехов С. II 276, 346
- «Вечный Эдикт» II 310
- Виктор Аврелий см. Аврелий Виктор
- Виктор Сульциций II 447
- «Риторические наставления» II 447
- Виктор Юлий I 135, 148; II 447, 448
- «Искусство риторики» I 448; II 448
- Викториан Авфидий II 296
- Викторин Марий I 36, 127; II 34, 441
- «Грамматика» II 441
- Вильев Ф. II 224
- Виндициан II 360
- Винсент (из Бове) II 195
- Винстедт Э. II 230
- Винстан II 264
- Вирдумар I 48
- Вителлий II 57, 188, 189, 198, 244, 257, 265, 268, 270, 330, 331, 335
- Витрувий I 14, 29, 57, 293, 492, 508—513; II 450
- «Десять книг об архитектуре» I 508—510, 513
- Воколий Роман II 171
- Волкаций Седигит см. Седигит Волкаций
- Волкаций Тулл см. Тулл Волкаций
- Волтацилий Пилут I 127
- Волумний I 327
- Волусий I 326, 335
- «Летопись» I 335
- Вольтер Ф. М. I 340, 378; II 273, 274
- Вольф Ф. А. I 30
- Воппск Флавий I 500; II 242, 345, 347, 355, 367, 420, 422—426
- Ворен I 262
- Вотнен Монтан см. Монтан Вотнен

Г

- Габиний I 183, 230, 247, 269
- Гаже Ж. I 502
- Гай (внук Августа и его приемный сын) II 35, 448
- Гай (юрист) I 16, 133; II 309, 310
- «Институции» II 310
- Галллей Г. I 305
- Галл (император) II 422, 431
- Галл (миссионер) I 28
- Галл Корнелий I 14, 349, 356, 358, 368, 403, 418, 419, 420, 439
- Галл (родственник Проперция) I 431
- Галлен II 404, 422, 449
- Галликал Вулкаций II 420, 422, 423
- Галляон Ювий I 522; II 95
- Гальба Сервий (II в. до н. э.) I 135, 139, 141, 142
- Гальба Сервий (I в. н. э.) II 57, 143, 165, 198, 244, 256, 257, 261, 268, 269, 271, 331, 335, 341, 344
- Гальм К. II 352
- Гамилькар I 253
- Ганнибал I 122, 128, 165, 196, 253, 254, 396, 485, 489—491, 493, 494; II 119, 190—192, 212, 427
- Ганнон II 128
- Гаргилий II 424
- Гаспаров М. Л. I 16; II 17, 311, 312, 372, 373, 375, 376, 378, 381, 386, 388, 396, 399
- Гатерий Квинт I 521, 527
- Гаупт М. II 31, 32
- Гейнскций М. II 430
- Гейнрих К. Ф. II 222, 228
- Гейс К. II 296
- Геласий I 474
- Геллий Мавр II 424
- Гелногabal (Элагабал) I 60; II 348, 355, 422, 423, 431, 449
- Гелнодор (греч. метрик) II 441
- Гелнодор (романист) I 16
- Гелланик I 120
- Геллий Авл I 16, 22—26, 36, 44, 45, 47, 50, 51, 60, 64, 66—68, 77, 78, 80, 81, 84, 91, 95, 96, 98, 100, 101, 112, 117, 122—129, 131, 132, 135, 136, 138, 139, 141—146, 148, 149, 155, 159, 163, 165—168, 235, 241, 244—253, 255, 273, 274, 319, 320, 443, 469, 507; II 43, 59, 60, 62, 125, 183, 256, 293, 295, 296, 300—307, 311, 349, 414, 435, 449, 457, 458

- «Аттические ночи» I 22, 24, 26, 50, 64, 84, 98, 112, 273, 443; II 183, 300, 301—303, 307, 311, 414, 457, 458
- Геллий Гней I 119, 126
- Гельвидий Приск (отец) II 57, 165
- Гельвидий Приск (сын) II 161, 164, 165, 266, 279
- Гемина Кассий I 124, 125, 127
- «Анналы» I 125
- Гераклид Понтийский I 244
- Гераклит I 297, 301, 314; II 33
- «Темная книга» II 33
- Гермагор I 522; II 447
- Германик I 445, 456, 464; II 11—13, 14, 63, 260, 265, 271, 455
- «Звездное небо по Арату» II 12
- Германн Годфрэд I 38
- Гермоген I 511
- Герод Аттик I 13, 16; II 173, 296, 297, 299, 301
- Геродиан I 16; II 282, 355
- Геродот I 298, 485, 494; II 128
- Геспод I 24, 241, 448, 507; II 36, 307, 358
- «Труды и дни» I 448
- Гета (император) II 422
- Гета Гозидий II 394
- «Медя» II 394
- Гете Н. В. I 315, 435
- Гетулик (I в. н. э.) II 204, 213
- Гетц Г. I 65
- Гиббон Э. I 474
- Гигин Гай Юлий I 14, 255, 492, 506, 507; II 347, 440
- «Книги о Вергилии» I 507
- «Комментарий к Вергилию» I 507
- «Комментарий к стихотворению Гельвия Цинны» I 507
- «О богах ненадах» I 506
- «О жизни и делах знаменитых мужей» (или «О славных мужах») I 506
- «О земледелии» I 507
- «О местоположении италийских городов» I 506
- «О пчелах» I 507
- «О троянских семействах» I 506
- «Об особенностях богов» I 506
- «Примеры» I 506
- Гигин Младший I 492, 507, 508
- «Астрономия» I 507, 508
- «Генеалогия» I 507, 508
- «Мифология» I 507, 508
- Гиперон II 32, 136
- Гнемисал I 276
- Гильберт II 215
- Гиндбург Н. С. I 382, 404
- Гиндмар Реймский II 387
- Гиперид I 143, 211
- Гиппарх (комментатор II в. до н. э.) II 12
- Гиппократ II 128
- Гиртий I 186, 257, 264
- Главкий II 184
- Гнедич Н. Н. II 410
- Гозиус К. I 81
- Гомер I 5, 12, 24, 30, 40, 45, 81, 88, 93, 157, 159, 241, 302, 355, 372—374, 377, 378, 406, 418, 419, 448; II 9, 30, 36, 118, 120, 139, 190, 192, 213, 234, 240, 305, 348, 393, 409, 410, 417
- «Илиада» I 35, 88, 89, 159, 348, 370, 374, 478, 392, 429; II 181, 192, 237, 332, 376, 410, 441
- «Одиссея» I 35, 370, 373, 378, 443, 448; II 118, 441
- Гонорий II 382, 385, 386
- Гор (философ IV—V вв. н. э.) II 413
- Гораций I 5, 10, 11, 12, 14, 22, 26—28, 30, 32, 36, 39, 40, 41, 52—54, 74, 76, 77, 81, 83, 84, 93, 98, 112, 114, 150—155, 158—160, 300, 318, 320, 324, 326, 346—351, 354, 381—417, 419, 429, 431, 432, 434, 460, 463, 464, 469, 479, 492, 493, 496, 505, 528; II 8, 21, 28, 32, 34, 60, 62, 84, 86, 87, 90, 91, 116, 132, 150, 152, 173, 213, 214, 225, 231, 235, 240, 297, 311, 343, 347, 349, 358, 359, 362, 376, 398, 399, 416, 435, 441—443, 448, 458
- «Наука поэзии» («Искусство поэзии») I 11, 26, 76, 349, 350, 381, 384, 395, 401, 404, 412—416
- «Оды» I 324, 347, 348, 351, 381, 384, 385, 388, 394, 395—404, 412, 419, 431, 460, 469, 479, 492, 493; II 90, 150, 240, 448
- «Памятник» I 394, 402, 432
- «Послания» I 10, 36, 39, 41, 52, 54, 74, 76, 81, 83, 98, 114, 155, 347—350, 381, 384, 385, 393, 404, 406—412, 414, 415, 419, 429, 460, 464, 496; II 21, 86, 240
- «Сатиры» I 39, 77, 112, 150—155, 158—160, 347, 349, 381, 384—395, 397, 399, 404, 406, 407, 410, 464; II 416, 442, 443
- «Эподы» I 381, 384, 388, 393—395, 397
- «Юбилейный гимн» I 381, 384, 403
- Гораций Коклес I 374, 480
- Горгий I 515
- «Похвала Елене» I 515
- Горгий (ритор I в. до н. э.) II 58
- Гордиан I II 358
- Гордиан II II 358
- Гордиан III II 448
- «Городская газета» II 355
- Гортензий Гортал I 6, 14, 61, 171, 172, 181, 208, 210, 216, 219, 221, 251, 322, 327, 338; II 40, 306, 418
- «Летопись» II 40
- Гортензий Квинт I 65
- Госидий Гета см. Гета Гозидий
- Гостий I 430
- Гостилий Луций II 136
- Грабарь-Пассек М. Е. I 6, 465; II 32, 59, 67, 76, 83, 156, 179, 184, 191, 362, 368, 372, 373, 375, 382, 386, 395, 396, 414
- Гракх Гай I 13, 125—127, 130, 148, 158, 165, 167, 169, 176, 208, 253, 275; II 38, 129, 146, 305
- Гракх Тиберий I 13, 129, 130, 165, 167, 176, 275; II 38, 129
- Гракх Тиберий Семпроний I 165, 166, 247
- «Грамматические руководства» II 438, 443, 445
- Граний Лициниан см. Лициниан Граний
- Гратций Фалиск I 63, 466—478; II 367, 368

— «О псовой охоте» I 466; II 367
 Грациан II 370, 374, 376, 405—407, 430,
 431, 435
 Гревий И. II 353
 Гревс И. М. II 248
 Грессе Ж.-Б. I 340
 Григорий I (папа) I 474
 Григорий Турский II 254
 Гудеман А. II 285
 Гутшмид А. I 495

Д

Даниэль П. II 444, 445
 Данте А. I 28, 491
 Дарес Фригийский II 401, 408, 410, 411
 — «О падении Троя» II 408, 410, 411, 458
 Дарий II 50, 52, 53
 Датам I 253, 254
 Дейотар I 186, 220, 228
 Де ла Виль де Мирмон I 44
 Дельвинг А. А. I 435
 Деметрий Фалерский I 236; II 24, 47
 — «О стиле» II 47
 Деметрий Полворкет I 241
 Деметрий Этолийский I 498
 Демокрит I 5, 204, 244, 295, 297, 305—307,
 314, 413; II 234
 Демосфен I 137, 146, 186, 205, 211, 213,
 214, 274, 472; II 9, 150, 153, 154, 297,
 407
 Демофил I 67
 — «Погонщик мулов» I 67
 Дератави Н. Ф. I 32, 367; II 74, 96
 Дессау Г. II 424
 Дессауэр Ф. II 156
 Дециан II 143, 206, 217
 Деций Мус I 113
 Деций (император) II 422
 «Деяния Александра» II 401, 411
 Диадумен II 422
 «Дигесты» II 308, 310
 Диктиос Критский II 401, 408, 409, 410,
 411, 458
 — «Дневник Троянской войны» II 408—411
 Диоген Аполлонийский I 301
 Диоген Лаэртский I 298, 453
 Диоген Синопский I 123
 Диодор Сицилийский I 14, 122, 246; II 42,
 45, 48—52, 278, 280
 Диодот I 180
 Диоклетнан II 60, 291, 367, 402, 404, 405,
 422—424, 450
 Диомед I 23, 61, 67, 86, 112, 125, 151, 153,
 154, 244, 245, 250; II 115, 342, 438,
 439, 440, 441, 442, 458
 — «О грамматике» II 438, 440
 Дион Кассий I 16, 56, 122, 221, 273, 475;
 II 37, 55, 75, 232, 263, 276, 280, 282,
 287, 349
 — «Римская история» I 56, 221
 Дион (полководец) I 253
 Дион Хрисостом I 15; II 401
 Дионисий Галикарнасский I 120, 122, 123,
 125—127, 142, 143, 163, 244, 246, 248,
 250, 485, 488
 — «О характере Фукидида» I 488

Дионисий Фракийский I 13
 Диофант I 166
 «Дистихи Катона» II 357, 360—365, 366,
 376, 458
 Дифил I 67, 68, 103, 110
 — «Вместе умирающие» I 110
 — «Ладья» I 68
 — «Сонскатели» I 67
 Дмитриев М. I 381, 404
 Доватур А. И. II 172, 332, 333, 424
 Долабелла I 102, 193, 196, 200, 269
 Домициан I 15, 403, 528; II 7, 59, 125,
 143, 145, 158, 159, 161, 164—169,
 180, 183—186, 190, 191, 195, 196, 201,
 206, 207, 209, 212, 215, 216, 218, 220,
 221, 225—228, 230, 232, 233, 244, 245,
 250, 251, 255, 257, 264, 266, 282, 285,
 313, 331, 332, 334—336, 339, 342,
 344—347, 401, 455, 456
 — «Капитолийская война» II 212, 218
 Домиций Агенобарб I 168
 Домиций Корбулон II 129
 Домиций Марс I 347, 421, 463, 468; II 204,
 213, 215
 — «Амазониды» II 215
 — «Об изяществе» I 468
 — «Циклота» I 468
 Домиций (приверженец Помпея) I 266
 Донат Тиберий II 442—444
 Донат Элий I 23, 27, 54, 62, 90, 102, 110,
 244, 274, 291, 355; II 60, 341,
 442, 443—445, 458
 — «Большое искусство» II 443
 — «Жизнеописание Вергилия» I 355
 — «Малое искусство» II 443
 — «О комедии» I 62
 Досиад II 394
 Досифей II 441
 — «Грамматика» II 441
 Досифей (псевдо) II 381
 Драгоманов М. П. II 274
 Драконтий II 292, 294, 394
 Дрепаный Латиний Пакат см. Пакат Ла-
 тиний
 Друз Клавдий Нерон I 384, 395, 458, 459,
 472, 474; II 77, 139, 259, 260, 265,
 267, 277, 345
 Друз Ливий (трибун) I 129, 170, 180, 207;
 II 350
 Дунгер К. II 408
 Дюбуа-Гюшан Е. I 38; II 274
 Дювернуа М. II 277
 Дюнтер Х. I 44

Е

Евграфий II 442
 Евмений II 296, 402, 404
 Эврипид см. Эврипид
 Евсевий I 64, 80, 291; II 341, 349
 — «Хроника» II 341, 349
 Евсевий (ритор IV в. н. э.) II 415, 417
 Евстафий II 413, 414, 417, 418
 Елтропий I 16, 473, 491; II 293, 349, 420,
 426, 429, 430
 — «Сокращение римской истории» II 429

Евтропий (проконсул) II 382, 452
 Евфрат II 158, 172
 Ефипп II 52
 — «О смерти Александра и Гефестона»,
 или «О погребении Александра и Ге-
 фестона» II 52

Ж

Жулавский Ю. II 329

З

«Законы 12 таблиц» I 133—134
 Зелинский Ф. Ф. I 233
 Зельи К. К. I 497
 Зенон I 236, 297; II 8, 78, 447
 Зиверс Г. II 274

И

«Игувнские таблицы» I 17
 Иероним I 25, 27, 44, 47, 64, 66, 78, 80, 81,
 83, 84, 96, 103, 112, 115, 117, 154,
 238, 273, 274, 291—296, 323, 471, 500;
 II 59, 60, 84, 143, 157, 256, 293, 296,
 341—343, 349, 428
 — «К Евстохию» I 78
 — «К Паммахию» I 78
 — «О знаменитых церковных писателях»
 II 341
 — «Хроника» I 96, 112, 115, 117; II 84, 343
 «Изречения семи мудрецов» II 357, 360,
 365, 366, 458
 «Илиада» латинская (автор — неизвест-
 ный Итальян) II 34
 Иоанн Лидийский II 330, 335, 336, 428
 — «О магистратах римской республики»
 II 335
 Иоанн Малала II 224
 — «Хроника» II 224
 Иоанн Салисберийский II 195
 Иовиан II 429—431, 434
 Иордан (VI в. н. э.) II 353
 Иорнад I 500
 Исидор Севильский I 27, 28, 151; II 62, 349
 — «Начала» I 27, 151
 Исократ I 146, 174, 515; II 149, 153, 297,
 407
 — «Бусирнд» I 515
 «История Августов» I 16, 61; II 196, 242,
 345, 347, 355, 356, 367, 420—426, 431,
 449, 458
 «История Аполлония, царя Тирского» II
 396, 401, 408, 411, 412
 Итальяк см. «Илиада» латинская»
 Итальяк Сильий см. Сильий Итальяк
 Ификрат II 154

К

Казобон П. I 30
 Калигула Гай I 294, 351, 474, 491; II 7,
 18, 55, 57, 63, 75, 129, 135, 213, 258,
 276, 280, 335, 340, 343—346
 Каллисфен II 47, 411
 Каллисфен (псевдо) II 411

Каллимах I 13, 35, 322, 326, 333, 337, 338,
 403, 419, 429, 432—434, 439, 445,
 448, 457, 460, 469, 507; II 30, 173, 211
 — «Волос Береники» I 322
 — «Ибис» I 457
 — «Начала», или «Причины» I 445; II 211
 Кальв Липиний I 93, 95, 171, 172, 249,
 322, 325—327, 517; II 173, 177, 244,
 310, 311
 — «О пользовании холодной водой» II 214
 Кальпурний Пизон см. Пизон Кальпурний
 Кальпурний Тит II 8, 11, 30—34, 367, 369,
 455
 — «Орешник» II 33
 — «Хвала Пизону» II 33
 — «Эклога» II 30, 31, 455
 — «Этна» II 33
 Кальпурний Фабат II 167
 Камериц I 469
 Камилл I 374, 478, 490, 491; II 232
 Кавий Руф см. Руф Кавий
 Капелла Марциан см. Марциан Капелла
 Капитолий Юлий II 296, 355, 356, 420,
 422—425
 Капитон Гней Атей II 308
 Капитон (историк VI в.) II 429
 Капитон Титий см. Титий Капитон
 Капр Флавий II 442
 — «Об орфографии» II 442
 Кар (император) II 367, 368, 422, 424
 Кар (поэт) I 469; II 218
 — «Геракледа» I 469
 Каракалла II 309, 358, 422, 457
 Карамзин Н. М. I 487, 489, 491
 Карин II 348, 367, 422
 Карл Великий I 28, 144, 151, 505; II 54,
 349
 Карнеад I 13, 56, 123, 168
 «Карфагенянин» I 68
 Каска I 198
 Кассий I 178, 186, 189, 192, 193, 197, 200,
 257, 360, 482, 529; II 39, 55, 64, 259
 Кассий Авидий II 420, 422
 Кассий Гай I 299
 Кассий Гемина I 119
 Кассий Дион см. Дион Кассий
 Кассий Север I 351, 519, 520, 521, 527;
 II 9, 146
 Кассиодор I 27, 28, 44, 473, 491; II 56,
 140, 287, 296, 437, 452
 Кастрций Тит II 301
 Катий Гай I 299, 300
 Катяппа I 29, 178, 179, 182, 183, 191,
 198, 210, 219—221, 225—227, 229—232,
 256, 277, 278, 282, 284—287, 289,
 290, 292, 327, 337, 374, 443, 493; II
 38, 131, 252, 352, 353
 Катон Валерий I 327, 420
 Катон Младший см. Катон Утический
 Катон Салопьян I 137
 Катон Старший I 6, 13, 14, 20—22, 32,
 36, 38, 39, 42, 55, 56, 81—83, 110,
 119, 120, 123, 124, 126—128, 135—149,
 156, 164—168, 171, 185, 189, 194,
 196—198, 218, 225, 229, 240, 253,
 259, 260, 262, 267, 275, 362, 374, 414,
 483, 490, 491, 523, 526; II 40, 79, 104,

- 132, 133, 141, 146, 297, 304, 305, 307, 347, 360—362, 366, 451
 — «К сыну» I 136; II 360
 — «Начала» I 38, 127, 135, 136, 140—144, 483; II 40, 305, 347
 — «О земледелии» I 135
 — «О сельском хозяйстве» I 21, 36, 135, 140, 146, 147
 — «Речь против Гальбы» I 148
 — «Речь против Терма» I 138, 148
 — «Речь против Целия» I 148
 — «Стихотворения о правах» I 36, 136, 145; II 305
 Катон Утический (Младший) I 135, 137, 186, 225, 258, 270, 274, 284, 286, 287, 290; II 8, 39, 75, 99, 101, 104—108, 110—112, 146
 «Катона Дистихи» см. «Дистихи Катона»
 Катул Лутаций I 130—131, 169, 184, 207, 486; II 305, 310
 — «Общие истории» I 131
 — «О консульстве и делах своих» I 131
 Катул Вадерий I 6, 12, 14, 19, 22, 26, 32, 36, 42, 93, 171, 189, 249, 249, 252, 255, 292, 296, 314, 316, 317, 319, 321—340, 346, 348, 353, 369, 402, 403, 426, 439, 441, 443, 448; II 28, 86, 129, 145, 173, 177, 200, 204, 206, 213, 214, 218, 238, 306, 310, 311, 313, 321, 391
 — «Атлас» I 338
 — «Брачная песнь» I 338, 339
 — «Волосы Береники» I 338, 339
 — «Поцелуй» I 322
 — «Свадьба Пеллея и Фетиды» I 338, 339
 Катул (миммограф) II 313
 Квадрат II 424
 «Кверол» II 388—391, 458
 Квинций Публий I 180, 216, 218, 221, 223
 Квинт Смирнский I 46
 Квинтиллиан Арпстид см. Арпстид Квинтиллиан
 Квинтиллиан Марк I 15, 26, 29, 36, 44, 61, 76, 79, 95, 98, 106, 113, 114, 121, 149—155, 163, 167, 172, 235, 239, 240, 300, 325, 346, 420, 427, 435, 436, 439, 457, 458, 461, 464, 465, 468, 469, 472, 486—488, 490, 493, 496, 515, 520, 522, 523; II 7, 9, 10, 16, 29, 30, 34, 47, 56—58, 61, 64, 82, 84, 90, 111, 123, 128, 133, 143—156, 158, 176, 179, 183, 215, 224, 233, 243, 248, 249, 283, 292, 297, 306, 311, 343, 441, 456
 — «О причинах упадка краспоречия» II 144
 — «Об образовании оратора» («О воспитании оратора») I 26, 36, 61, 76, 79, 150, 163, 325, 515; II 83, 111, 133, 143, 144, 151, 456
 Сочинения, приписываемые Квинтиллиану: «Декламация» II 144, 153
 Квинтилиий Вар см. Вар Квинтилиий
 Кейль Х. А. К. II 34
 Келлер О. I 36
 Кёртинг Г. II 408
 Кямок I 253, 254
 Киприан II 293
 Киссамид Косский I 368
 Киферида I 420
 Клавдиан I 16, 320; II 292, 294, 296, 357, 381—385, 458
 — «Гигантомахия» II 381
 — «О войне с Гильдоном» II 382
 — «О похищении Прозерпины» I 320; II 382
 — «О старце, никогда не покидавшем окрестностей Вероны» II 384
 Клавдий Аппий Пульхр I 273
 Клавдий Аппий Цек (Слепой) I 9, 13, 40, 478, 481, 482; II 111, 112
 Клавдий Квадригарий I 119, 143, 234, 245—247, 248, 249, 482; II 306
 — «Летопись» I 245—247
 Клавдий Мамертин II 392, 402—404
 Клавдий Салмазий см. Салмазий Клавдий
 Клавдий (император) I 403, 471, 478; II 7, 30, 33, 44, 46, 55, 56—59, 63, 64, 75, 84, 86, 126, 134, 135, 145, 165, 258, 260, 261, 264, 266, 270, 278, 280, 331, 335, 345, 422
 — «Биография» II 55
 — «Защита Цицерона против Асиния Галла» II 55
 Клавс Атт I 482
 Клеанф I 13, 240
 Клеобул II 366
 Клеопатра I 269, 361; II 110, 427
 Клеохар II 58
 Клит I 501
 Клитарх I 251, 252, 496; II 45—53
 Клитмах I 155
 Клодий Авл I 266
 Клодий Публий I 170, 172, 178, 182—184, 189—191, 195, 200, 220, 221, 226, 228, 230, 292, 323; II 146
 Клошток Ф. Г. I 378
 Клувий Руф II 55, 57, 280
 — «История» II 57
 Клуенций I 183, 221, 224, 226, 527
 Кнебель К. Л. I 315
 Ковалев С. И. I 121; II 330
 Кокцей I 391
 Коллин II 218
 Колумбан I 28
 Колумелла Луций I 15, 244, 507; II 124, 128, 140—142, 308, 453, 456
 — «О деревьях» II 140
 — «О сельском хозяйстве» II 140, 141
 Колумелла Марк II 140
 Коминиан II 440
 Коммод II 309, 355, 422
 Коммодиа II 370
 Конон I 253, 501
 Константин I II 291, 310, 381, 394, 402, 404, 405, 422—424, 431, 450
 Константин II II 402, 403, 430
 Констанций II II 401, 426—428, 430, 431, 433, 436
 Констанций Хлор II 402, 404, 422
 Корд Кремуций I 475, 482; II 39, 53, 64, 77
 Корд Юний (Элий) см. Элий Корд
 Корипп II 294
 Корнелий Александр (Полигистор) I 506
 Корнелий Луций Бальб I 227, 233; II 346

- Корнелий Луций Бальб (младший) I 57
 Корнелий Приск II 174
 Корнелий Север I 463, 464—466, 528
 — «Римские дела» I 465
 Корнелий Эпикад I 132
 Корнель П. II 288
 Корнифиций I 326, 327
 Корнут (друг Тибулла) I 425
 Корнут Анней (философ) II 8, 85, 86, 88, 91, 92
 Корн Ф. Е. I 32, 38, 323, 331, 333, 335, 435
 Коссутий I 512
 Котий I 456
 Котта Аврелий см. Аврелий Котта
 Котта Максим I 456
 Красс Лициний см. Лициний Красс
 Красс Луций I 120, 128, 133, 163, 248
 Красс Марк I 183, 189, 190, 194, 220, 237, 257, 264, 278, 289, 494; II 13, 98, 252, 322, 350, 418, 427
 Крастин I 266
 Кратет из Малла (II в. до н. э.) I 24, 234, 235, 240; II 318, 343
 Кратет (III в. до н. э.) I 13
 Крипин II 186
 Критий I 301
 Криголай I 123
 Кроль В. I 31; II 248
 Крон Ф. I 509
 Крюков Д. Л. I 32
 Ксенофан I 301, 313
 Ксенофонт I 16, 131, 174, 180, 254, 255, 284, 286, 466; II 150, 318, 368, 415
 — «Анабасис» I 284
 — «Домострой» I 180
 — «История» I 255
 — «Киропедия» I 130
 Ксеркс I 494, 497
 Кулаковский Ю. II 437
 Курий Дентат II 131, 232
 Курион Гай I 57
 Курион Скрибоний I 200, 210, 264, 266; II 100
 Курций Квинт Руф (историк) I 15, 32, 491, 496, 500; II 35, 41, 44—50, 52—54, 456
 — «История Александра Великого Македонского» II 35, 44, 48, 456
 Курций Никий см. Никий Курций
- Л
- Лабеон Антистий I 133; II 306, 308
 Лабериус I 14, 58, 60, 117; II 297, 305
 Лабиев Тит I 261, 266, 271, 350, 519, 520, 525—527; II 8, 146
 — «История» I 350, 527
 Лабиев (трибун) I 226
 «Лавреол» I 59
 Лактанций I 27, 93, 156, 157, 295, 435, 458; II 43, 55, 293, 394
 — «Божественные установления» I 295
 — «О птице Фениксе» II 394
 Ламарр К. I 31
 Ламартин А. I 435
 Ламбин Д. I 30, 254, 310
 Лампаддон I 24, 27, 235
 Лампридий Элий II 195, 196, 355, 358, 392, 420, 422, 423
 Ланувин Луций см. Луций Ланувин
 Ларг (поэт) I 469
 Ларг Лицин см. Лицин Ларгий
 Латиний Пакат см. Пакат Латиний
 «Латинская антология» II 312, 313, 357, 396—400, 458
 Лафонтен Ж. II 329
 Лахманн К. I 30; II 34
 Лев I II 391
 Лев (архиепископ) II 411
 Левий I 6; II 310
 Лелий Гай I 102, 104, 106, 111, 127, 166, 235
 Лемер Н. Е. I 310; II 54
 Лентул I 183, 191, 192, 195, 196, 264, 266, 267, 277; II 98, 101
 Лео Фр. I 68; II 285
 Леонид Тарентский II 200
 Леонтьев П. М. I 32
 Лепид (триумvir) I 186, 187, 197, 288, 290, 361, 492; II 259, 386
 Лесажа А.-Р. I 12
 Лессинг Г. Э. I 313
 Лет Помпоний см. Помпоний Лет
 Лецнус И. А. I 153
 Либаний I 16; II 401, 430, 432, 436, 437
 Ливий Друз см. Друз Ливий
 Ливий Тит I 12, 14, 18, 36, 41, 44, 53, 54, 60, 83, 119, 120, 122, 123, 125, 126, 128, 132, 133, 135, 142, 149, 152, 153, 163, 165, 166, 245—250, 255, 324, 346—348, 350, 433, 440, 441, 471—491, 492—494, 496, 500, 501; II 42, 43, 52—54, 55—57, 110, 111, 151, 172, 190, 254, 256, 263, 273, 280, 284, 287, 293, 294, 336, 337, 349—351, 354, 425, 427, 435
 — «История», или «Книги от основания города» I 12, 41, 152, 350, 433, 471—478, 480—482, 485—488, 490, 491; II 43, 110, 190
 — «Эпистома» I 473
 Ливия I 438, 454, 458, 471; II 27, 37, 77, 259, 346
 Лигарий Квинт I 186, 220, 228, 250
 Лигдам I 349, 421
 Лид Иоанн см. Иоанн Лидийский
 Ликофрон I 326
 Линдсей В. М. I 36, 506
 Линцей I 429, 432, 434
 Липсий Ю. I 30; II 54, 248, 287, 288
 Лисандр I 253, 254
 Лисий I 143, 144, 171, 211, 213, 514; II 149, 297
 Лисипп II 136, 149, 186
 Лицин Клодий I 249, 506
 Лицин Ларгий II 59
 — «Бичеватель Цицерона» II 59
 Лицин Порций II 305
 Лициниан Валерий (оратор) II 59, 143, 217
 Лициниан Граний (историк) I 473; II 354, 430
 Лициниан Пизон см. Пизон Лициниан

- Лициний Кальв см. Кальв Лициний
 Лициний Красс I 78, 168—170, 172, 177, 179, 184, 207—209, 211, 212, 230; II 146
 Лициний Макр I 119, 245, 249, 250, 278, 284, 288, 290, 482
 — «Истопись» I 249, 250
 Лициний Столон I 152
 Лоллий (консул I в. до н. э.) I 458
 Лоллий Урбик II 424
 Ломоносов М. В. I 305, 309
 Лонг (романист) I 16, 23
 Лонг Великий см. Великий Лонг
 Лонгин (псевдо) I 15, 269; II 47, 353
 — «О возвышенном» I 15; II 47, 353
 Лораи Л. I 233
 Лукан I 15, 28, 32, 52, 320, 491, 524, 526; II 7—10, 13, 41, 74, 85, 93—113, 114, 119, 120, 122, 130, 143, 185, 212, 215, 233, 241, 262, 292, 306, 343, 349, 350, 435, 450, 455
 — «Похвальное слово» II 94
 — «Фарсалия» («О Гражданской войне») II 9, 13, 93—113, 120, 122, 212, 241, 455
 Луканн I 16, 243, 294, 488; II 322, 326
 — «Как должно писать историю» I 488
 — «Лукий или осел» II 322
 — «Разговоры» I 243
 Лукреций I 5, 6, 12, 14, 18, 22, 26, 28, 30, 32, 90, 92, 93, 113, 291—320, 321, 339, 348, 392, 452, 467; II 16, 28, 33, 60, 88, 174, 297, 306, 322, 358, 359, 446
 — «О природе вещей» I 291—296, 301, 302, 306, 313, 316, 317, 320, 321, 324, II 359
 Луксорий II 294, 313, 396
 — «Хвала саду Евгетия» II 396
 Лукулл I 182
 Луи Корнелий Лентул I 158
 Луверк Сульпиций см. Сульпиций Луперк
 Лусций Ланувин I 25, 69, 95, 104
 Луций Вер II 196, 295, 296, 355
 Луций (брат Марка Антония) I 360
 Луций (внук Августа) I 504
 Луцилий I 6, 11, 13, 24, 50, 123, 150—153, 154—160, 235, 347, 385—388, 393, 402, 417; II 8, 78, 79, 81, 82, 87, 91, 116, 152, 230, 231, 235, 297, 306, 363
 — «Сатурн» I 24, 155, 235
 Людовик XVIII I 310
- M
- Мабильон Ж. I 30
 Мадвиг И. I 472, 473
 Майков А. Н. I 435
 Макр Бибий см. Бибий Макр
 Макр Помпей I 437, 458
 Макр Эмилиий I 349, 448, 463, 466
 — «Орнитогония» I 466
 — «Целебные травы» I 466
 Макрин II 164, 422, 423
 Макробий Феодосий I 16, 27, 29, 60, 77, 78, 88, 117, 123, 125, 127, 132, 143, 163, 166, 168, 201, 250, 320, 463, 507; II 125, 293, 294, 296, 349, 354, 358, 377, 401, 412—419, 444, 445, 458
 — «Комментарий к «Сну Сципиона» I 27
 — «О различии латинского и греческого глаголов» II 414
 — «Сатурналии» I 60, 77, 117, 166, 168, 320; II 358, 377, 412—414, 416, 418, 444, 458
 Максим Валерий см. Валерий Максим
 Максим Котта см. Котта Максим
 Максим Марий см. Марий Максим
 Максим (император) II 422
 Максимы (предводитель восстания в Галлии) II 404
 Максим (проконсул Вифинии) II 169, 170
 Максимьян II 294, 395, 402, 404, 405, 422
 Максимины II 356, 422
 Малала Иоанн см. Иоанн Малала
 Маленг А. И. I 32; II 205
 Мамертин Клавдий см. Клавдий Мамертин
 Мамурра I 323, 328, 337; II 210
 Манилий (народный трибун) I 182, 219
 Манилий (поэт) I 15, 313; II 8, 11, 13—16, 455
 — «Астропомика» II 13, 455
 Манлий Торкват I 299, 484
 Манлий (римский герой) I 374
 Марпан II 311
 — «Луперкалии» II 311
 Марий Гай I 14, 21, 130—132, 154, 168, 169, 177, 180, 216, 218, 226, 256, 274, 275, 278, 281, 284—286, 288, 290, 292, 389, 529; II 38, 273
 Марий Максим (историк) II 348, 354—356, 423, 424, 431, 435, 457
 Марий Приск II 169, 225, 227, 232, 244
 Марий Сацердот см. Сацердот Марий
 Марк Аврелий см. Аврелий Марк
 Маркс К. I 297, 312; II 64, 91, 130, 238, 269
 Маркс Ф. I 155
 Марс Домиций см. Домиций Марс
 Мартини Э. I 36
 Марулл I 524
 Марцелл Клавдий (племянник Августа) I 374, 433
 Марцелл Клавдий (полководец во время 2-й пунической войны) I 48, 128, 433, 489; II 190, 192
 Марцелл Корнелий Лентул I 186, 220, 228
 Марцелл Полий I 23; II 439, 442, 458
 Марцеллин Фабий см. Фабий Марцеллин
 Марциал I 15, 22, 29, 32, 59, 77, 155, 334, 427, 431, 435, 439, 464, 468, 472, 505; II 7—9, 16, 59, 85, 90, 95, 122, 143, 157, 174, 175, 179, 189, 194, 195—220, 221, 223—225, 230, 233—235, 240, 306, 455—457
 — «Гостицы» II 196
 — «Книга зрелищ», или «Зрелища» I 59; II 196
 — «Посвящения» II 196
 — «Эпиграммы» I 472; II 143, 195, 202, 206
 Марциан Капелла I 16, 28; II 438, 450, 453, 454, 458
 — «Бракосочетание филологии и Меркурия» I 28; II 453, 458

- «О семи свободных искусства» II 453
 Марций Флипп см. Флипп Марций
 Марция II 64
 Масса Бесбий см. Бесбий Масса
 Масэ А. II 276, 340, 342, 343
 Матерн Куриаций (I в. н. э.) II 246—249,
 255, 265, 266
 — «Катон» II 246
 Матерн Юлий Фирмик (IV в. н. э.) II 16,
 293
 Матий I 197, 200, 202; II 310
 Машкин Н. А. I 43, 124, 132, 504; II 212,
 330,
 Мевий I 356
 Медичи К. I 29
 Медичи Л. I 29
 Мела (сын Сепки) I 524, 526
 Мела Помпоний см. Помпоний Мела
 Мелеагр I 14, 331
 Меллор Атедий см. Атедий Меллор
 Меллсс I 347, 349
 Мемний I 278, 284, 288, 294, 296, 300, 314,
 322, 324, 326, 327
 Мемор (трагик) II 218
 Менаандр I 5, 11, 26, 38, 39, 67, 68, 74,
 76, 96, 98, 415, 439; II 24, 75, 303, 304
 — «Братья» I 68
 — «Двойной обман» I 68
 — «Ожерелье» I 98
 — «Фасма» I 68
 Мевской I 298
 Менипп I 151, 243; II 25, 75
 Мерзляков А. Ф. I 32, 435
 Меривель Ш. II 274
 Меропий Павлин см. Павлин Меропий
 Мессала Валерий Корвин I 317, 346, 349,
 350, 421, 422, 424 — 426, 437, 458, 515
 Мессала Вицтан II 246, 247
 Мессалин Катулл II 166
 Мессалин (сын Мессалы) I 425
 Мессалина II 63, 64, 232, 258
 Мессий Арусан см. Арусан Мессий
 Метелл Луций I 165, 265
 Метелл Македонский I 165
 Метелл Цепот I 182, 251
 Метелл Нумидийский I 131, 235, 275,
 284, 286—288; II 194
 Метелл Цецилий Квинт I 52, 165
 Метродор I 306
 Меттий Помпусан I 491
 Мепенат I 346, 347, 350, 352, 360—362,
 366, 367, 382—384, 391, 398, 401, 402,
 404, 410, 411, 415, 416, 429, 432, 433,
 437, 458, 468, 516, 525; II 32, 33, 214,
 337, 343, 346, 347
 Миллер Л. I 32, 44, 81, 155
 Милон I 172, 183, 184, 191, 195, 220, 221,
 227—229, 273, 516, 519; II 61, 146
 Мильтиад I 253
 Минверм I 403, 418
 Минуций Феликс II 293, 296
 — «Октавий» II 296
 Мирон II 37, 149, 186
 Мист I 469
 Митридат I 180, 182, 219, 220, 237, 284,
 337, 493, 495, 498, 500
 Мицилл I 507
 Модестин II 399
 Модестов В. И. I 32, 81, 87, 115; II 58,
 116, 244, 257, 281
 Молон I 171, 180, 256
 Мольер Ж.-Б. I 70
 Моммзен Т. I 244, 249, 337, 502; II 105,
 160, 257, 269, 281, 296, 331, 449
 Монтан Вотиев I 520, 527
 Монтестье О. Л. II 274
 Мосх I 13
 Мумий I 125
 Мунаций Планк I 187, 189, 194
 Мурена I 222, 225, 227, 229, 232, 233, 516
 Мюллер К. О. I 505; II 47, 52
 Мюллер Л. см. Миллер Л.
 Мюре М. I 30, 48
- И
- Нагуевский Д. И. I 141
 Назарий II 402
 Намациан Ругиллий II 294, 381, 382, 385—
 388, 390, 452
 — «О своем возвращении» II 386, 388
 Нанно I 418
 Наполеон I II 274
 Непарх II 47
 Невий Гней I 6, 9, 13, 20, 24, 36, 38—40,
 47—52, 53, 67, 69, 78, 81—83, 86, 89,
 90, 95, 104, 111, 112, 153, 235, 241,
 320; II 190, 297, 304, 310, 314
 — «Вещу» («Гадатель») I 48; II 304
 — «Классиций» I 48
 — «Леонт» II 304
 — «Пунтская война» I 24, 38, 40, 48, 50,
 235
 — «Ромул» I 48
 Невий (народный трибун) I 165
 Недович Д. С. II 200, 222, 230, 235, 267
 Немесан II 31, 367—370, 376, 458
 — «О псовой охоте» II 31, 367
 Непот Корнелий I 14, 80, 106, 127, 135,
 137, 140—142, 188, 198, 199, 238, 241,
 245, 252—255, 317, 322, 324, 331, 492;
 II 62, 128, 305, 337, 347, 410
 — «Агесилай» I 254
 — «Аттик» I 188, 241
 — «Биография Катона» I 253
 — «Катон» I 80, 135, 141, 143
 — «О выдающихся полководцах инозем-
 ных народов» I 253
 — «О знаменитых людях» I 253—255
 — «О латинских историках» I 135, 255
 — «Примеры» I 253, 255
 — «Хроника» I 253, 255
 Непозиан Январий II 43
 Нерва I 15; II 7, 59, 125, 159, 165, 166,
 195, 201, 208, 226, 244, 245, 251, 255,
 263, 264, 285, 286, 331, 334, 348, 355,
 423; 431, 456, 457
 Нерон I 60, 116, 344, 524; II 7, 30—34,
 56—58, 60, 61, 63—65, 70, 71, 74, 75,
 77, 78, 84, 86, 92—96, 103, 108, 109,
 114—116, 123, 129, 130, 133, 135,
 136, 138—140, 142, 145, 165, 168,
 174, 185, 188, 190, 198, 205, 224, 232,
 256—259, 261, 262, 264—267, 270—273.

276, 277, 279—281, 330, 331, 335, 338, 341, 343, 344, 367, 408, 455
 Нерон Клавдий (поэт) II 222
 Нибур Б. Р. I 41, 122, 248; II 285
 Нигер Песциний см. Песциний Нигер
 Нигидий Фигул I 189
 Низар Д. II 430
 Никандр I 442, 448, 466
 — «Изменения» I 448
 Никий I 254
 Никий Курций (грамматик) II 347
 Николай Дамаскин II 336
 Николай П. I 29; II 287
 Никомех Флавиан см. Флавиан Никомех
 Нин I 497
 Нишпердей К. II 278, 285
 Ниссен Г. II 280
 Новий I 62, 117
 Нодо Ф. II 116
 Нода Ж. II 263
 Ноний Марцелл I 6, 16, 41, 77, 83, 95, 115, 121, 125, 129, 135, 144, 155, 157, 159, 244, 249—252; 325; II 302, 442, 458
 — «О сокращенной науке» II 439, 442
 Нонн I 16
 Норбан I 170
 Норден Э. I 233, 487; II 217
 «Ночное бдение Венеры» II 313, 398, 399, 457
 Нума I 127, 403, 452, 479; II 220, 221
 Нумериан II 367, 422, 431
 Ньютон И. I 305

О

Обсервент Юлий I 473, 491; II 293
 — «О чудесных явлениях» I 473
 Овидий I 5, 12, 14, 19, 26, 28, 53, 81, 83, 93, 143, 244, 252, 368, 319, 326, 330, 349, 350, 419—422, 425—431, 434, 435, 436—446, 448—462, 464—466, 469, 506, 522, 528, 529; II 13, 28, 30—33, 115, 150, 152, 206, 211, 213, 218, 306, 359, 367, 435
 — «Галлиевтика» («О рыбной ловле») I 436, 438, 454, 457; II 367
 — «Героиды» («Послания») I 350, 436, 438, 441, 442, 446, 448, 449, 461, 462; II 152
 — «Гигантомахия» I 458
 — «Ибис» I 436, 438, 454, 457
 — «Косметические средства» I 436, 438, 444; II 33
 — «Любовные элегии» I 324, 326, 330, 419—421, 425, 427, 431, 436—443, 445, 458, 459, 462
 — «Медea» I 436, 438, 457, 464
 — «Метаморфозы» I 308, 320, 350, 436, 438, 445, 446, 448, 449, 451—455, 457, 460—462; II 33, 115, 211
 — «Наука любви, или Искусство любви» I 55, 81, 83, 93, 350, 430, 436, 438, 440—444, 446, 455, 457, 462
 — «О рыбной ловле» см. «Галлиевтика»
 — «Понтийские послания» I 426, 434, 436, 438, 454, 456—458, 461, 462, 464, 469
 — «Похвальное слово императорской семье» I 458

— «Скорбные элегии» («Трестни») I 26, 93, 252, 420, 427—429, 436—438, 440, 446, 454—457, 459, 461, 462
 — «Средства от любви» I 436, 438, 444, 461
 — «Фасты» I 350, 436, 438, 439, 445, 446, 453—455, 460, 461, 462
 — «Явления» I 458
 Произведения, приписываемые Овидию:
 — «Орешник» I 458; II 33
 — «Утешение Ливии» I 458, 459; II 33
 — «Элегия о Меценате» I 458, 459
 — «Одиссея латинская» I 357
 Октавиан см. Август
 Октавий (полководец) I 269
 Октавий (поэт) II 173
 Октавия I 509
 Олибрий II 382
 Олсуфьев А. В. I 32; II 195—199, 204, 209
 Онесикрит II 47, 411
 Опил Аврелий I 25
 Опимий Луций I 158, 169, 232; II 38
 Оппиан I 16, 466; II 368
 Оптациан Порфирий II 292, 394
 Орбилий I 381; II 343
 Орелли И. II 258, 278
 Орозий I 16, 245, 473, 491; II 273, 282, 287, 349, 353
 Островский А. Н. I 70, 71
 Остроумов Л. Е. II 95
 Отацлий I 484
 Отон II 57, 198, 244, 268, 270, 331, 335, 341

II

Павел Диакон I 118, 144, 151, 492, 504, 505, 506; II 429, 429
 — «Римская история» II 429
 Павел (грамматик II в. н. э.) I 128
 Павел Пассен см. Пассен Павел
 Павлин Меропий Ноламанский II 292, 370, 374
 Павсаний (полководец) I 253
 Пакат Латиний II 402, 403
 Пакувий I 13, 76, 83, 91, 92, 112—114, 153, 154, 205, 241, 415; II 136, 297, 304
 — «Антиопа» I 114
 — «Павел» I 113
 Пакций II 241
 Палатинская антология I 331, 441, 458; II 396
 Палемон Ремний II 84, 85, 129, 398, 440
 Паллад I 16
 Палладий I 513; II 292, 376, 452, 453, 458
 — «О сельском хозяйстве» II 452
 Палфурий Сур II 59
 Панетий I 13, 24, 127, 132
 Панса I 186, 299, 300
 Папий Мутил I 151
 Паппиан Эмилий I 16; II 308, 309, 449, 458
 Папирий Гай (поптифик) I 134
 Папирий Карбон Гай I 166, 167, 169, 170
 Папирий Карбон Гней I 170
 Папирий Пет I 189, 193, 196
 Папирий Фабнан см. Фабнан Папирий
 Парентучелли Томазо I 29
 Парид Юлий II 43, 44

- Парис (актер) II 222, 224, 225
 Парменид I 313; II 413
 Парменион II 204
 Паррасий I 527
 Партениан II 424
 Парфений (I в. до н. э.) I 368, 420, 448
 — «Метаморфозы» I 448
 Парфений (I в. н. э.) II 218
 Пасифил II 452
 Пассенд Павел I 428; II 173
 Патрон I 296
 Пеаний II 429
 Педнан Асконий см. Асконий Педнан
 Педоп Альбинован I 463; 464; II 213
 Пейпер Р. II 32
 Пелонид I 253; II 337
 Пентадий II 393; 394
 Перегрин II 301
 Периандр II 366
 Перикл I 211; II 149
 Перотти Н. II 17
 Персей I 113, 119, 130, 137, 139, 494; II 36
 Персий I 12, 15, 29, 32, 150, 153—155, 158, 160, 429; II 8, 9, 34, 56, 60, 84—92, 93, 116, 215, 225, 235, 455
 Пертинакс II 355, 422
 Песценний Нигер II 422
 Пет Траезя II 86, 161, 165, 261, 262, 279
 Пет Цецина II 165
 Петер Г. II 242, 256, 345, 355, 420
 Петр I I 31
 Петрарка Ф. I 29, 244, 435
 Петрей I 266, 268, 271; II 101
 Петров В. I 32
 Петровский Ф. А. I 6, II 85, 95, 122, 150, 197, 200, 207, 222, 224, 230, 235, 267, 312, 373, 374
 Петропий I 6, 11, 12, 15, 16, 22, 32, 36, 59, 117, 243, 392; II 8, 113, 114—123, 130, 234, 235, 322, 327, 456
 — «Сатурны» («Сатириконе») I 6, 11, 12, 22, 26, 59, 117, 243, 392; II 8, 28, 115—123, 234, 355, 456, 457
 Пизон Кальпурний Гай (I в. н. э.) I 529; II 32, 33, 64, 84, 94
 Пизон Кальпурний Гней (I в. до н. э.) II 12
 Пизон Кальпурний Лициннан (I в. н. э.) II 268, 269, 272
 Пизон Кальпурний Луций (II в. до н. э.) I 120, 125, 142, 143, 245, 482
 — «Апналы» I 125
 Пизон Кальпурний Луций (I в. до н. э.) I 183, 226, 230—233, 287, 288; II 61
 Нико-делла-Миравдола I 29
 Пиндар I 403, 469; II 32, 417
 Пиотровский А. I 322; II 177
 Пирр I 13, 41, 119, 164, 247, 249, 396, 494; II 427
 Пиррон I 297
 Питтак II 366
 Питу П. (Пифей) II 17, 225
 Пифагор I 241, 307, 452; II 321, 392
 Пифокл I 298, 304
 Плавт I 5, 9, 11—13, 20—22, 24, 25, 27, 29, 32, 36, 38, 39, 42, 51, 53, 54, 56, 58—63, 64—79, 81—83, 95, 96, 100, 104, 108—112, 115, 294, 339, 344, 415, 431, 441; II 28, 60, 123, 297, 304, 306, 311, 359, 388, 390, 435, 439, 441, 458
 — «Амфитирион» I 56, 64, 70—72, 75, 121
 — «Бакхиды» I 64, 68, 70, 71, 75, 79, 110
 — «Беотия» I 78
 — «Близнецы» I 61, 64, 70, 71, 75, 79
 — «Горшок» I 56, 64, 76; II 388, 458
 — «Грубиян» I 64
 — «Казино» I 64, 67, 70, 71, 75, 95
 — «Канат» I 64, 68
 — «Купец» I 56, 64, 67
 — «Куркулион» I 54, 64, 73, 157, 431
 — «Ослы» I 51, 64, 65, 67, 70, 71, 74, 75
 — «Перс» I 54, 64, 70, 71, 76
 — «Пленники» I 54, 56, 64, 70, 72
 — «Преданный» I 66
 — «Привидение» I 64, 65, 68
 — «Псевдол» I 27, 54, 64, 70, 71, 75, 79, 441
 — «Пунянец» I 56, 64, 68, 75
 — «Сатурион» I 66
 — «Смерть совместная» I 68
 — «Стих» I 27, 54, 64, 68, 71
 — «Три монеты» I 54, 60, 64, 68, 170
 — «Хвастливый воин» I 51, 64, 68, 70
 — «Чемодан» I 65, 68
 — «Шкатулка» I 64, 68, 70
 — «Эпидик» I 56, 64, 75
 Плавт (псевдо) I 67
 Планций I 220, 227—229
 Платон I 5, 184, 197, 201, 203, 205—207, 241, 282, 284, 297, 307, 311, 313; II 88, 153, 248, 301, 316, 318, 319, 321, 413—415, 418, 446
 — «Алкивиад Ю» II 88
 — «Государство» I 197, 206, 284
 — «Парменид» II 413
 — «Протагор» II 413
 — «Гимей» I 20
 Плиний Младший I 15, 21, 26, 32, 252, 296, 324, 326, 428, 435, 476, 488, 516, 523, 528; II 10, 46, 56—59, 125, 133, 134, 139, 143, 157—178, 186, 188—191, 195, 196, 201, 209, 212, 215, 217, 225, 230, 233, 242, 244—246, 248, 249, 254, 257, 267, 274, 276, 282, 286, 292, 306, 311, 330—334, 337, 342, 344, 347, 363, 392, 401, 402, 406, 413, 418, 456, 457
 — «Панегврик императору Траяну» II 10, 157—159, 166, 176, 177, 244, 267, 456
 — «Письма» I 21, 476, 488, 516, 528; II 57, 157, 212, 217, 225, 267, 331—334, 363
 — «Письмо к Рустику» II 58
 — «Отмщение за Гельвину» — I 165, 176
 Плиний Старший I 15, 23, 56, 57, 64, 83, 86, 112, 120, 122, 126—128, 132, 136, 141—143, 148, 165, 241, 244, 252, 253, 313, 324, 328, 457, 469, 473, 475, 476, 487, 493, 496, 502, 509, 521, 523; II 43, 48, 55, 56, 57, 84, 124, 125, 128—139, 157, 158, 205, 243, 277, 280, 293, 342, 349, 359, 435, 442, 450, 454, 456
 — «Германские войны» II 133
 — «Естественная история» I 64, 83, 112, 120, 125, 142, 241, 313, 328, 457, 476.

493, 502; II 48, 56, 124, 128, 130, 133—139, 243, 342, 359, 456
 — «Жизнь Помпония Секунда в 2-х книгах»; II 133
 — «Изучающий краспоречие» II 133
 — «Книга о метании дротика с лошади» II 133
 — «От окончания Авфидия Басса» («История») II 134, 280
 — «Сомнительные слова» II 133
 Плотий Галл I 168, 177
 Плотин I 16; II 446
 Плутарх I 16, 56, 122, 123, 127, 128, 130—132, 135—138, 140, 146, 148, 149, 163, 167, 186, 187, 214, 244, 248, 257, 258, 265—268, 271, 298, 465, 493, 496; II 45, 48, 280, 322, 337, 341, 411
 — «Александр» II 337
 — «Катон Старший» I 135—138, 149
 — «Колоту» I 298
 — «Марий» I 132
 — «Невозможно приятно жить, следуя за Эпикуром» I 298
 — «Помпей» I 56
 — «Правилен ли совет: живи незаметно» I 298
 — «Тиберий Гракх» I 130, 167
 — «Цицерон» I 465
 Поджо Дж. Ф. II 262
 Покровский М. М. I 29, 32, 160, 339
 Полибий (II в. до н. э.) I 13, 120—122, 128—130, 135, 163, 166, 184, 206, 258, 281, 282, 284, 483, 485, 495; II 266, 280
 Полибий (I в. н. э.) II 30, 64
 Поллен II 349, 450
 — «Стратегемы» II 450
 Полиньяк М. I 310
 Полициано А. I 29, 505
 Поллион Асний см. Асний Поллион
 Поллион Требеллий см. Требеллий Поллион
 Помпей Гней Великий I 127, 154, 178, 180, 182, 184—186, 189—197, 199, 206, 218—220, 228, 232, 236—238, 250, 251, 257, 258, 264—268, 274, 278, 284, 288, 289, 337, 353, 360, 374, 475, 482, 493, 509, 523, 528; II 13, 14, 24, 25, 75, 96, 98—103, 105—112, 133, 200, 259, 386, 418, 430
 Помпей Макр см. Макр Помпей
 Помпей Сатурнин см. Сатурнин Помпей
 Помпей Секст I 347, 360, 362, 456, 465; II 41, 107, 112
 Помпей Страбон I 180
 Помпей Трог см. Трог Помпей
 Помпей (грамматик V в. н. э.) II 443
 Помпоний Лет I 505
 Помпоний Луций I 62, 117
 Помпоний Басс см. Басс Помпоний
 Помпоний Мела I 15; II 126—128, 450
 — «О положении мира» II 127, 128
 Помпоний Руф II 42
 Помпоний Секунд II 129, 133
 Помяловский И. В. I 32
 Попгнан II 448
 Поптик I 429, 431
 Попилий I 529
 Поповский Н. П. I 31

Поппей Секунд I 151
 Порсенпа I 374, 480; II 193
 Порфирий Октавиан см. Октавиан Порфирий
 Порфирий (философ) I 16; II 446
 Порфиррон I 112, 155, 159, 300, 505; II 442, 458
 Порций Латрон I 436, 520, 521, 522, 525, 527
 Порций Лицин I 25, 166
 Посидипп I 96, 98
 Посидоний I 14, 355, 495
 Постумиан II 415
 «Прнапей» I 470
 Пракситель II 147, 149, 186, 373
 Претекстат Ветгий Агорий см. Ветгий Агорий Претекстат
 Приск Валерий II 391
 Приск Гельвидий см. Гельвидий Приск
 Приск Корнелий см. Корнелий Приск
 Приск Марий см. Марий Приск
 Прищпан I 23, 125, 129, 132, 144, 245, 248—250, 491, 500; II 35, 40, 398, 437, 450
 Проб Валерий I 23, 26, 244, 369, 420, 458, 463; II 35, 59—61, 84, 441, 444
 — «Аппендикс Проблема» II 61
 — «Выдержки об имени» II 61
 — «Общие положения» II 61
 — «О грамматиках» II 60
 — «О конечных слогах» II 61
 — «Основы наук» II 60
 — «Письмо к Марцеллу» II 60
 Проб Эмилий I 253—255
 Проб (император) I 500; II 422
 Пробин II 382
 Продик II 150
 Прокул (поэт I в. до н. э.) I 469
 Прокул Семпроний (юрист I в. н. э.) II 308
 Проперций I 14, 318, 348—351, 418—420, 428—435, 439, 441, 445, 458, 460; II 13, 173, 213, 306
 Протагор II 413
 Пруденций II 293, 370, 405
 Птоломей I, II 45—47, 411
 Птоломей Филадельф I 338
 Птоломей Эвергет I 338
 Публилий Сир I 14, 117; II 28, 119, 305
 Пушкин А. С. I 339, 340, 382, 435, 462; II 255, 329, 427

P

Рабирий Гай I 226
 Рабирий (поэт) I 463, 464, 465
 Рабирий Постум I 220, 228
 Радульф Дицетский II 302
 Ранд Э. К. II 445
 Расли Ж. II 288
 Региан II 399
 Регул I 127, 250; II 82, 193
 Репан Беат II 41, 248
 Ренан Вегетий см. Вегетий Ренан
 Реповзан II 393
 — «О любви Марса и Венеры», II 393
 Риббек О. I 31, 44, 48; II 445
 Риванци К. I 29

Ринае А. I 338
 «Риторика к Гереннию» I 14, 21, 91; II 150
 Ричль Ф. I 36
 «Роман об Александре» II 411
 Роман Вергилий II 173
 Роман Юлий II 440
 «Ромул» II 376, 379—381, 458
 Россбах О. II 353
 Росций Секст Америкский I 216, 223, 226, 229, 528; II 61
 Росций (комич. актер) I 6, 62, 180, 216
 Рот К. Л. II 263, 343, 346
 Рудольф из Фульды II 287
 Рулл Сервиллий I 182, 183, 219; II 131
 Рутилий Луп II 35, 58
 — «О фигурах» 11 58
 Рутилий Намацнан см. Намацнан Рутилий
 Руф Валгий см. Валгий Руф
 Руф Вергиний II 57, 158, 164
 Руф Каший II 16, 143, 217
 Руф Кашний II 174, 188
 Руф Клувий см. Клувий Руф
 Руф Курций Квинт см. Курций Квинт Руф
 Руф Мусоний II 8
 Руф Помпоний см. Помпоний Руф
 Руф Рутилий I 130, 131, 132
 Руф Фест см. Фест Руф
 Руфин Квинт Арадий II 408, 409
 Руфин (временник при дворе Аркадия) II 382
 Руфин (грамматик) I 244
 Руфиниан Юлий см. Юлий Руфиниан

С

Сабеллик М. А. I 31
 Сабин Авл (I в. до н. э.) I 441
 Сабин Мазурий II 308
 Сабин Флавий II 189
 Сагакс Ландольф II 429
 — «Смешанная история» II 429
 Садов А. II 123
 Сакс Г. II 412
 Салмазий Клавдий II 353, 396
 Саллюстий I 14, 22, 127, 128, 130, 143, 167, 168, 184, 189, 219, 225, 231, 246, 249, 251, 252, 257, 267, 274, 273—290, 292, 317, 321, 327, 346—348, 397, 398, 443, 472, 477, 489, 491, 493, 496, 500, 502, 528; II 42, 43, 56, 60, 62, 111, 149, 172, 191, 252, 256, 282, 285, 297, 306, 307, 342, 347, 350, 409, 410, 425, 435, 439, 442, 454
 — «Заговор Катилины» I 225, 231, 257, 273—277, 280—282, 285, 287, 289, 290, 321, 327, 397; II 252
 — «История» I 249, 252, 274, 278, 280—282, 284, 285, 288—290; II 43
 — «Об устройстве республики» I 274
 — «Письма к Цезарю» I 443
 — «Югуртинская война» I 130, 168, 251, 274, 276, 278, 280, 285—290; II 250, 282
 Сантра I 106; II 214, 347
 Сатурний Помпей (I в. н. э.) II 173, 311
 Сафо (Сафо) I 35, 294, 325, 327, 331, 338, 339, 403, 441; II 213

Сацердот Марий I 23; II 439
 Сацердот Никет II 158
 Светоний Трапквиал I 24—27, 38, 42, 44, 57—60, 62, 74, 81, 102, 104, 127, 132, 143, 163, 235, 244, 253, 255, 263, 267, 294, 295, 323, 324, 337, 346, 349, 350, 384, 403, 470, 471, 474, 491, 493, 502—504, 506, 512, 520; II 13, 39, 44, 46, 55, 57, 59, 60, 84, 94, 99, 129, 171, 178, 190, 205, 207, 218, 220, 232, 245, 248, 264, 266, 276, 277, 286, 293, 330—349, 354, 355, 423, 425, 434, 441, 457
 — «Август» I 57, 143, 350, 470, 471, 502—504, 512; II 338, 346, 348
 — «Биографии 12 цезарей» II 245, 335, 336, 341—346, 348, 457
 — «Биография Горация» II 341, 343
 — «Биография Лукана» II 342, 343
 — «Биография Пампелла Криспа» II 342
 — «Биография Плиния Старшего» II 342
 — «Биография Сенеки» II 342
 — «Биография Теренция» I 25, 74; II 341
 — «Божественный Юлий» («Цезарь») I 42, 263, 323, 346; II 207, 336, 338, 344
 — «Веспасиан» II 205, 346
 — «Гальба» II 348
 — «Домитиан» I 403, 491; II 218, 220, 232, 339, 345—347
 — «Калигула» I 59, 62, 294, 474, 491; II 344—346
 — «Клавдий» I 403, 471; II 55, 338, 346
 — «Нерон» II 94, 99, 343, 344, 348
 — «О бранных словах» II 344
 — «О грамматиках и риториках» II 24, 81, 127, 132, 163, 234, 236, 349, 506, 520; II 44, 59, 84, 335, 341, 347, 348
 — «О жанрах поэзии» II 342
 — «О знаменитых людях (мужах)» I 255; II 57, 248, 333, 342, 343, 347
 — «Об играх греков» II 344
 «Отон» II 330, 331, 346
 — «Тиберий» I 60; II 266, 276, 339, 344, 346, 348
 — «Цезарь» см. «Божественный Юлий»
 Свидя I 294, 492, 495; II 62, 224, 335
 Север Александр II 196, 309, 358, 422
 Север Кассий см. Кассий Север
 Север Корнелий см. Корнелий Север
 Север Септимий I 15; II 309, 323, 355, 358, 422, 426, 456
 Седигит Волкаций I 13, 25, 91, 95; II 304
 — «О поэтах» («О стихотворцах») I 25; II 304
 Секстилий Эна см. Эна Секстилий
 «Семи мудрецов изречения» см. «Изречения семи мудрецов»
 Семпроний Авеллиоп I 129, 246, 252; II 306
 — «Военные подвиги» I 129
 Семпроний Тудитан Гай I 127
 — «Книги должностных лиц» I 127
 Семпроний Тудитан Квинт I 119
 Сенека Младший (философ) I 15, 41, 48, 53, 59, 62, 114, 247, 274, 344, 464, 471, 472, 493, 495, 496, 524; II 7—9, 30, 33, 52, 55, 56, 63—83, 93, 95, 99, 116,

- 130, 134, 140, 198, 215, 261, 262, 267, 282, 283, 292, 306, 313, 338, 343, 360, 363, 382, 455, 465
- «Агамемнон» II 65, 68, 71—73, 75
- «Геркулес безумный», II 65, 73
- «Геркулес Этейский» II 65
- «Диалоги» II 64, 76
- «Естественно-исторические вопросы» («Естественно-научные вопросы») II 8, 134
- «Медея» II 65—68, 72
- «Нравственные письма» см. «Письма к Луцилию»
- «О безмятежной жизни», II 64, 76, 78
- «О благодеяниях» I 247, 464; II 52, 64, 76, 77, 79, 82
- «О гневе» II 64, 76, 81, 82
- «О досуге» II 64, 76, 78
- «О краткости жизни» II 64, 76
- «О милосердии» II 64, 76, 77, 79, 261
- «О постоянстве мудреца» II 64, 76, 77
- «О провидении» II 64, 76
- «О спокойствии духа» II 64, 76
- «О счастливой жизни»—I 298
- «Октавия» I 48; II 65, 70, 74, 99
- «Открытие божественного Клавдия» I 41; II 55, 64, 75, 116, 382, 456
- «Письма к Луцилию» I 298; II 56, 64, 76, 82, 282, 363
- «Семь книг о благодеяниях» см. «О благодеяниях»
- «Семь книг по вопросам изучения природы» («Письма о природе») II 33, 64, 76
- «Троянки» II 65, 66, 68, 72—74
- «Утешительные послания» I 526; II 30, 64, 76—78, 82
- «Федра» II 65, 67—73
- «Фивст» II 65—70, 72
- «Финикиянки» II 65, 67, 70—72
- «Эдип» II 65—68, 71, 72, 75
- Сенска Старший (ритор) I 15, 172, 437, 442, 461, 464, 465, 472, 477, 490, 493, 514—517, 519—523; 524—529; II 55, 56, 143, 145, 153, 156, 350, 456
- «Извлечения, разделения и расцветки ораторов и риторов» I 518
- «Контroversии» I 172, 437, 442, 461, 472, 514, 515, 517, 519—522, 524, 529; II 143, 146
- «Свазории» I 437, 464, 472, 477, 487, 490, 493, 514, 521, 522, 524, 527—529; II 55, 56
- Сенецион II 165
- Септимий Луций II 408, 409, 424
- Септиций Клар II 160, 334, 335
- Сервантес С. М. I 12
- Сервий I 16, 118, 121, 122, 127, 142, 143, 239, 244, 273, 274, 369, 420, 500; II 62, 115, 120, 122, 256, 336, 349, 354, 410, 413, 415, 417, 442, 443, 444—447, 458
- «Комментарий к Георгикам» II 446
- «Комментарий к Эклогам» II 446, 447
- «Комментарий к Энеиде» II 256, 336, 354, 410, 442, 446
- Сервий Клодий I 25
- Сервилий Главдия II 38
- Сервилий Гней I 168
- Сервилий Ноний II 55, 56, 57
- Сервилий Рулл см. Рулл Сервилий
- Сергеевко М. Е. II 172, 332, 333
- Сергиевский М. В. II 123
- Серен Саммоник I 84; II 292, 358, 359, 376, 458
- «Медицинская книга» II 358
- Серен Септимий II 314, 457
- «Сельские стихи» II 311
- Серран II 134
- Серторий I 182, 220, 472, 493
- Сестий I 220, 227, 229, 296
- Сеян II 11, 18, 27, 38, 41, 42, 234, 259, 260, 267, 338, 345
- Сидоний Апוליпарий I 16, 293; II 115, 157, 178, 189, 196, 220, 224, 242, 287, 292, 296, 313, 329, 391, 392, 454, 458
- «Письма» II 391, 392
- Спаенна Корнелий (историк) I 14, 240, 245—247, 251—252, 284; II 22, 256, 306, 307, 322
- «История» I 251, 252
- Силен (историк II в. до н. э.) I 128
- Силлий Италик I 15, 81, 324, 491; II 9, 34, 174, 188—194, 212, 215, 455
- «Пунтические войны» II 174, 189, 194, 213, 455
- Силон Арброгий I 522
- Симмах Квинт Аврелий I 16; II 178, 292, 374, 392, 402, 405—407, 412, 413, 416, 417, 458
- «Письма» II 406, 407
- Симмах Мемний II 406
- Симонид II 23, 25, 32
- Симфосий II 396, 398, 412
- Синесий I 16; II 401
- Скавр Марк Эмилиус I 130, 131, 275, 287, 288, 527
- Скавр Теренций II 439, 441, 444
- «Грамматическое руководство» II 441
- Скалитер И. I 30, 336; II 445
- Скриверий II 195
- Скутш Ф. I 31, 36
- Соболевский С. И. I 6; II 37, 42, 45, 337
- Соколов В. С. II 332, 333
- Соколов Ф. Ф. I 30
- Сократ I 301; II 23, 25, 318, 319, 321, 413
- Солин Юлий I 16, 125; II 293, 349, 449, 450, 453, 454
- «Собрание достопамятных событий» («Полигистор») II 449
- Солон II 366
- Соловьев С. М. I 374; II 99
- Софокл I 35, 62, 92, 348, 372; II 66, 67, 75, 213
- «Антигона» I 372
- «Эдип-Царь» II 75
- Спартак I 182, 220, 389; II 350
- Спартиан Элий I 143; II 196, 311, 312, 330, 334, 358, 420, 422, 423
- Стаций Валент II 424
- Стаций Папиний I 15, 29, 295, 320, 427, 435; II 8, 9, 17, 94, 95, 183—188, 190, 194, 209, 210, 215, 216, 223, 224, 230, 241, 277, 310, 334, 370, 384, 455

- «Ахилленда» II 184
 — «Благодарственное подношение Домициану» II 183
 — «Надгробное слово отцу» II 183
 — «Надгробное слово ребенку» II 183
 — «О дне рождения Лукана» II 185
 — «Письмо к жене Клавдия» II 183
 — «Сильвы» (Сады) I 295, 435; II 94, 95, 183—188, 209, 210, 245, 334, 384, 455
 — «Фиваида» II 184, 187, 188, 190, 194, 241, 455
 Стергиний Авит II 197, 216, 217
 Стихион II 382, 385, 386
 Стилион Элий I 25, 76, 78, 84, 123, 128, 133, 235, 236, 240, 243
 Страбон (географ) I 14, 122, 123, 496; II 48, 150
 Страбон Юлий Цезарь (оратор) I 169, 170, 207
 Стратокл II 28
 Стрельникова И. П. II 297
 Суворов А. В. I 263
 Сулла I 14, 21, 55, 62, 116, 117, 132, 169, 178, 180, 214, 216, 218, 225, 245, 246, 251, 252, 256, 265, 275, 277, 284, 285, 287, 292, 389, 474; II 38, 138, 200, 308, 322
 Сульпиций Аноливиарий I 106; II 301, 444
 Сульпиций Виктор см. Виктор Сульпиций
 Сульпиций Гай I 152
 Сульпиций Луперк II 399
 Сульпиций Руф I 169, 170, 207, 251
 Сульпиций Север II 41, 287
 — «Хроника» II 41
 Сульпиций Сервий I 225
 Сульпиция (I в. до н. э.) I 349, 421, 422
 Сульпиция (I в. н. э.) II 216, 220, 221
 Суффен I 326
 Сфорца А. I 29
 Сцевола Квинт I 327
 Сцевола Муций I 131, 156, 180
 Сцевола Муций (юрист) I 169, 180, 207, 208
 Сципион Африканский Младший (Эмилиан) I 13, 24, 102, 104, 106, 114, 119, 129, 131, 137, 154, 156, 157, 166, 480; 490; II 40, 113, 130, 136, 190, 192, 194, 306, 413
 Сципион Африканский Публий Корнелий (историк) I 123; II 305
 Сципион Африканский Старший I 50, 51, 82, 123, 130, 132, 138—140, 165, 490, 491; II 40, 136, 413
 Сципион Корнелий Луций (I в. до н. э.) I 264, 266, 271; II 82
 Сципион Луций (II в. до н. э.) I 138; II 136
 Сципион Назика I 55, 56, 82, 130, 176; II 38
 Т
 Тавр II 301
 Танусий I 335
 — «Летопись» I 335
 Тарквиний Гордый I 113, 281, 480; II 403
 Тарквиний Древний (Приск) I 494, 504
 Таттан II 448
 Тацит I 12, 15, 20, 22, 26, 28, 29, 55, 56, 59, 78, 163, 273, 361, 457, 464, 471, 475, 476, 482, 487, 493, 500, 514, 520—522, 524, 528; II 8, 10, 27, 30, 32, 39, 41, 44, 55—59, 64, 80, 84, 93, 99, 114—116, 125, 127, 133, 134, 143, 144, 159, 163, 168, 169, 172, 174—176, 189, 230, 242—288, 330, 333, 336—339, 341, 344, 347, 352, 418, 420, 425, 427, 430, 432, 434
 — «Агрикола» («О жизни и характере Юлия Агриколы») II 57, 125, 133, 243, 244, 246, 249—255, 257, 270, 278, 282, 285
 — «Анналы» («Летопись после кончины божественного Августа») I 29, 56, 78, 361, 464, 471, 475, 482, 521, 522; II 8, 27, 30, 32, 39, 40, 44, 57, 64, 84, 93, 99, 114, 116, 127, 133, 134, 242, 244, 246, 248, 249, 252, 254—274, 277—287, 336, 337
 — «Германия» («О происхождении, положении, нравах и народах Германии») II 133, 246, 248, 251—254, 260, 269, 283, 285, 287
 — «Диалог об ораторах» I 26, 163, 457, 464, 514, 520; II 56, 144, 176, 243, 246, 248—250, 252, 255, 265, 266, 285
 — «История» II 8, 39, 57, 125, 134, 163, 169, 174, 189, 244, 245, 248, 249, 254—258, 260, 261, 263, 268—280, 282, 283, 285—288, 336, 337
 Тацит Марк Клавдий (император) II 242, 287, 420, 422
 Тейбнер Б. Г. I 65, 81, 463
 Тейфель В. С. I 31, 68; II 224, 228, 248
 Телесин II 241
 Теофраст см. Феофраст
 Теренциан Мавр I 238; II 15, 292, 314, 441
 — «О буквах, слогах и метрах» II 314, 441
 Теренций Публий I 5, 11, 13, 14, 25, 27, 28, 30, 32, 53, 54, 58, 59, 61—63, 65—69, 74, 76, 77, 90, 95—98, 102—111, 115, 117, 121, 156, 293, 294, 330, 344, 504; II 28, 60, 238, 294, 311, 341, 347, 349, 435, 439, 442—444, 458
 — «Андрианка» I 25, 54, 61, 69, 96, 102—104, 108, 109; II 443
 — «Братья» I 54, 68, 97, 103, 104, 106, 107, 110; II 443
 — «Евпуч» I 25, 54, 103, 104, 108—110, 330; II 238, 443
 — «Самонстватель» I 25, 54, 103, 106, 109—111; II 443
 — «Свекровь» II 238
 — «Формион» I 25, 54, 61, 90, 103, 104, 109; II 443
 Теренций Скавр см. Скавр Теренций
 Терм I 138
 Терновский В. Н. II 128
 Тертуллиан II 255, 273, 293, 349, 454
 — «Апология» II 255, 273
 Тиберий II 313, 398, 399
 Тиберий Юлий II 420, 422

Тибериус I 15, 98, 351, 355, 395, 404, 405, 445, 455, 458, 482, 504, 519, 521, 522, 525; II 7, 8, 11, 12, 14—16, 18, 24, 27, 35, 36—42, 55, 56, 77, 84, 86, 128, 138, 140, 145, 234, 258, 260, 264, 267, 276, 277, 279, 280, 335, 337, 338, 340, 434, 454, 456
 Тибулл I 14, 349, 351, 402, 409, 418—420, 421, 422, 424—427, 428, 429, 431, 435, 439, 440, 458, 468; II 13, 150, 213, 216, 306
 Тигран I 237
 Тило Г. II 221
 Тило Г. II 445
 Тимагон I 350, 495—498, 526; II 45, 46, 49
 — «О царях» I 495, 496
 Тимей I 143, 254, 284, 495
 Тимолеонт I 253
 Тимон I 297
 Тимофей I 253, 255
 Тирон Туллий II 305, 418
 — «Пандекты» II 305
 Тит (император) II 7, 125, 128, 130, 133, 134, 138, 179, 181, 190, 195, 196, 257, 331, 335, 386
 Титий Гай I 168, 170
 Титиний (римский комедиограф) I 62, 115
 Титиний Капитон (I в. н. э.) II 334
 Тициан Юлий II 377, 378
 Тицида I 327
 Тогата (комедия тоги) I 115
 — «Невестки» I 116
 — «Потар» I 115
 — «Развод» I 115
 — «Сунруги» I 115
 — «Тетки» I 115
 — «Хвастун» I 116
 Томсин А II 444
 Торкват I 192
 Трабей I 95
 Траян II 7, 10, 133, 157, 159—161, 166, 168—170, 190, 191, 195, 201, 225—227, 233, 245, 253, 255, 263—265, 285, 330, 333, 334, 342, 350, 352, 354, 355, 401, 402, 423
 Требатий Теста I 189, 213, 299, 385
 Требеллий Поллион II 420, 422, 424, 425
 Трог Помпей I 14, 15, 255, 350, 491, 492, 493—500, 501; II 42, 45, 48, 287, 336, 425
 — «Всемирная история» I 493, 497
 — «О животных» I 493
 — «Филиппова история» I 494
 Тронский И. М. I 32; II 438
 Туберон Элий I 119
 Тукка I 464
 Тукциан II 399
 Тулл Волкаций Гай I 429, 431
 Тулл Волкаций Луций I 429
 Турн II 218
 Турнейзен Р. I 36
 Турпилий I 95
 Тутилий II 59
 Тэн И. I 471, 489, 490
 Тьерри А. II 274

У

Ульпиан Домиций I 16; II 308, 309, 458
 Ульпий II 448

Улик II 318
 Урсидин II 430
 Уссинг И. I 473
 Утченко С. Л. I 197, 202, 276

Ф

Фабиа Ф. II 274, 280, 281
 Фабриан Папирий I 522, 527; II 82
 Фабий Квинт Пиктор I 13, 52, 118, 119, 120—122, 128, 142, 143, 246, 481, 482; II 136
 — «Летопись» I 120
 Фабий Максим I 136, 138, 164, 247, 374, 456, 458, 478; II 192, 194
 Фабий Марцеллин II 424
 Фабий Рустик II 55, 57, 58, 280
 Фабриций Гай I 247, 249; II 135
 Фабриций Иоанн I 31
 — «Латинская библиотека» I 31
 Фавентин Марк Цегий I 508, 509, 513
 Фаворин I 319; II 291, 301, 302, 306
 Фавст II 241
 Фавстин II 217
 Фален И. I 81, 82
 Фалес (философ) I 301
 Фанний Гай (II в. до н. э.) I 119, 120, 127, 270, — «Анналы» I 127
 Фанний Гай (I в. н. э.) II 333
 — «О смерти лиц, казненных или сосланных Нероном» II 333
 Фарнак I 269
 Федр (баснописец) I 15; II 7, 16—30, 376, 379—381, 455
 — «Бобр» I 23
 — «Волк и лиса перед судом обезьяны» II 19
 — «Голодающий медведь» II 23
 — «Два жениха — богатый и бедный» II 23
 — «Два мула и грабители» II 21
 — «Козьи бороды» II 27
 — «Коршун и голубки» II 21
 — «Лев состарившийся» II 22
 — «Лиса и дракон» II 22
 — «Лягушка и драка быков» II 21
 — «Лягушки, просящие царя» II 27
 — «Меркурий и две женщины» II 23
 — «Осел и бороз» II 22
 — «Осел, насмехающийся над вопрем» II 23
 — «Пчелы и трутни перед судом осы» II 21, 26
 — «Рожающая свинья и волк» II 23
 — «Сапожник-врач» II 24
 — «Сестра и брат» II 23
 — «Симоид, потерпевший кораблекрушение» II 23
 — «Скакун, проданный на мельницу» II 27
 — «Собака и ягенок» II 27
 — «Собака, сокровище и коршун» II 22
 — «Собаки и крокодилы» II 23
 — «Флейтист Принцесс» II 19, 24
 — «Цезарь и служитель» II 24
 — «Цикада и сова» II 21
 — «Шут и мужик» II 24
 — «Эзол и задира» II 23
 — «Эзол и хозяйка» II 23

- «Эзоп — толкователь завещания» II 23
 Федр (философ I в. до н. э.) I 179, 236
 Фелициан II 394
 Фемистий I 16; II 401
 Фемистокл I 253; 254; II 25
 Фенестелла I 502, 504; II 62, 347
 — «Летопись» I 502, 504
 Феогнет I 68
 — «Фасма» I 68
 Феогнид II 266
 Феодор Гадарский I 522
 Феодор Малый Флавий см. Флавий Малый Феодор
 Феодосий I I 253; II 44, 382, 402—404, 424, 426, 428
 Феодосий II II 382, 406, 430
 Феокрит I 13, 35, 356—358; 361, 403, 426; II 30, 32, 194, 367, 369, 394, 399, 455
 — «Идиллии» I 356; II 30, 367
 — «Любовь Киниски» II 30, 31
 — «Пастух» II 30
 Феоном I 254, 284, 495—497
 — «Филиппова история» I 496
 Феофраст I 494, 495; II 305
 — «О дружбе» II 305
 Ферекид I 120, 301
 Фест Руф II 293, 430
 Фест Секст Помпей I 44, 45, 48, 62, 81, 118, 122, 144, 151, 155, 473, 492, 505, 506; II 293
 — «Книги древних слов с примерами» I 505
 Фет А. А. I 422, 428, 435; II 229
 Филаргирий Юний I 500
 Филемон I 67, 68, 70, 96; II 303
 — «Купец» I 67
 — «Сокровище» I 68, 70
 — «Фасма» I 68
 Филет (александрийский поэт) I 419, 432, 434, 460
 Филли I 121
 Филипп II I 497
 Филипп Аврелий II 424
 Филипп Марций (консул I в. до н. э.) I 170, 207, 208; II 146
 Филипп Македонский I 119, 130, 186, 494, 501, 527
 Филист Сиракузский I 143, 144
 Филон (I в. до н. э.) I 180, 203
 Филоп Александрийский (I в. н. э.) I 15; II 276
 Филофор I 13
 Фирм II 347
 Фирмик Юлий Матерн см. Матерн Юлий Фирмик
 Флав Алфий I 522
 Флав Вергиний II 59, 84, 85
 Флавиан Никомах (историк IV в. н. э.) II 313, 406, 407, 417
 Флавий Воппек см. Воппек Флавий
 Флавий Гней I 134
 Флавий Иосиф I 15, 496; II 276, 346
 Флавий Капр см. Капр Флавий
 Флавий Малый Феодор II 441, 458
 — «О метрах» II 441
 Флавий Сабин см. Сабин Флавий
 Флакк (I в. н. э.) II 217
 Флакк Валерий (поэт) (I в. н. э.) I 15; II 9, 179—183, 190, 241, 306, 455
 — «Аргонавтика» II 179, 455
 Флакк Веррий I 14, 15, 23, 143, 144, 151, 348, 445, 492, 504, 505, 506; II 256, 293, 442
 — «Календарь» I 504, 505
 — «Книги дел, достойных памяти» I 504
 — «Книги этрусских дел» («Истории этрусков») I 504
 — «О значении слов» I 504—506
 — «О темных выражениях Катона» I 144, 504
 — «Об орфографии» I 504
 — «Письма» I 504
 — «Сатурн» I 504
 Флакк Граний I 134
 Фламиний II 146, 190—192
 Фламиний Квинтиций I 119
 Флор (историк) I 15, 473; 501; II 280, 293, 313, 349—353, 354, 430
 — «Извлечения Л. Аннея Флора на Т. Ливия» II 349
 Флор (поэт I в. н. э.) II 312, 313, 457
 — «О том, какова жизнь» II 312
 Флориан II 422
 Фокион I 253, 254
 Фортунатиан Атилиус II 34, 441
 — «Грамматика» II 441
 Фортунатиан Хирий II 447
 — «Риторическое руководство» II 447
 Фосс Г. II 75
 Фотий II 322
 Фрайтаг Л. II 274
 Фрасибул I 253
 Фрейнштейн И. I 473; II 54, 263
 Фридлиндер Л. II 334
 Фридлиндер С. II 216, 224, 226
 Фронтин I 128, 491, 500, 509; II 43, 125, 126, 450
 — «О римских водопроводах» («Об акведуках») I 509; II 126
 — «Стратегемы» («Военные хитрости») II 126, 450
 Фронто I 16, 22, 140, 144, 246, 248; II 291, 292, 295—300, 301, 304, 306, 316, 347, 457
 — «Арнов» II 296
 — «Похвала дыму и пыли» II 296
 — «Похвала пренебрежению» II 296
 Фукидид I 143, 144, 146, 254, 284, 477, 485; II 111, 278
 Фульвий Квинт I 82
 Фульвий Марк I 82, 93, 102, 139
 Фульгенций II 115, 220, 293, 329, 441, 453
 — «Мифология» II 220
 — «О воздержании Вергилия» II 441
 Фунайол Г. I 25, 96, 98
 Фунданий (драматург) I 347, 349, 386
 Функций И. Н. I 31
 Фурий Бибакул I 327
 Фуск Ареллий I 521, 522; II 129
 Фуск Аристий см. Аристий Фуск

X

Хабрий I 253
 Хальм К. II 20

Харисий I 23, 129, 144, 244, 252, 346
 469, 493, 505; II 438—440, 441, 458
 — «Грамматика» II 438—440
 Харисий (оратор IV в. до н. э.) II 58
 Хаусман А. II 225, 228
 Хаусрат А. II 20
 «Хвастун» I 68
 Хлаон II 366
 Хирий Fortunatian см. Fortunatian Хирий
 Хлор Констанций см. Констанций Хлор
 Холодняк И. И. I 435; II 123, 285
 Хомяков А. С. II 353
 Хриспп I 240; II 8
 Хрисогон I 216, 223

Ц

Цветаев Н. В. I 32
 Цезарь Луций I 270, 271
 Цезарь Юлий I 14, 22, 38, 42, 57, 58, 60, 62
 74, 104, 114, 114, 117, 134, 137, 164,
 165, 171, 178, 179, 182—186, 189—200,
 202, 207, 208, 214, 220, 226, 228, 229,
 233, 237, 238, 250, 256—272, 273, 275,
 278—280, 282, 285—287, 289—291, 321,
 323—325, 327, 331, 337, 343, 344, 346,
 347, 353, 358, 362, 374, 382, 395, 404,
 446, 469, 485, 489, 492, 493, 506, 509,
 514, 523, 529; II 7, 9, 13, 37, 55, 60,
 96, 98—112, 133, 145, 185, 228, 247,
 264, 266, 297, 306, 335, 336, 343, 355,
 418, 423, 434, 435
 — «Антикатоны» I 258
 — «Записки об Александрийской войне»
 I 256, 257, 269, 270
 — «Записки об Африканской войне» I
 256, 257, 267, 270—272, 273
 — «Записки об Испанской войне» I 256,
 257, 272
 — «Записки о Галльской войне» I 256—259,
 261—264, 266, 268, 269, 493; II 228
 — «Записки о гражданской войне» I 256,
 257, 264, 265, 269, 493; II 110, 111
 — «Об аналогии» I 258; II 306, 418
 — «Путь» I 258
 — «Эдип» I 258
 — Цезий (Цесий) Басс см. Басс Цезий
 Целлий Аппиант I 120, 126, 127, 128, 129,
 246, 493; II 278
 — «Аппалы» I 128
 Целий Луций II 297
 Целий Руф I 110, 184, 189, 192, 195, 200,
 211, 226, 231, 233, 321, 528
 Целлярий II 430
 Цельс I 15; II 8, 124, 128, 359, 456
 — «Искусства» («О медицине») II 124, 128,
 359, 456
 Цензорин I 125, 250; II 349, 448, 449
 — «О грамматике» II 449
 — «О дне рождения» I 125; II 448
 — «Об ударе» II 449
 Цереллий II 448
 Цериалий Юлий II 211, 217
 Церрикий II 217
 Церт II 176
 Цесий (поэт) I 326

Цестий Пий I 519, 521, 522
 Цецилий Стаций I 6, 13, 25, 26, 67, 69,
 77, 83, 95, 96—101, 102, 103, 111,
 112, 115, 117, 324; II 297, 304
 — «Друзья юности» I 96
 — «Ожерелье» I 98; II 304
 Цецилий (оратор) I 181, 223
 Цецилий (ритор) II 448
 Цецина Авл. I 224; II 176
 Цецина Пет см. Пет Цецина
 Цинна Гай Гельвий I 326, 327, 448;
 II 213
 — «Смирна» I 326, 448
 Цинна Луций Корнелий I 180; II 38
 Ципций Алиммент I 52, 119, 122, 123, 483;
 II 305
 Цинцикват I 139; II 131
 Цицерон Квинт I 26, 29, 174, 178, 179,
 188, 189, 195, 196, 199, 200, 203, 206,
 208, 236, 261, 262, 296, 300, 389, 406
 — «Аппалы» I 200
 — «Записка о выборах в консулы» I 199,
 200, 389
 — «Наставление» I 406
 Цицерон Марк I 5, 6, 10, 12, 14, 20—27,
 29, 32, 35, 38—42, 44, 47, 48, 50, 51,
 58, 61, 64, 66, 71, 76—83, 86, 87, 91—
 94, 96, 98, 106, 110—114, 116, 117,
 120—124, 126—133, 135, 136, 141—
 144, 148, 149, 152, 154—157, 163—177,
 178—233, 235—239, 241—243, 246,
 248—253, 255, 257, 258, 261, 262, 269,
 274, 276, 278, 281, 282, 289, 291, 293,
 295, 296, 298—300, 311, 312, 316, 320,
 321, 326, 330, 346, 348, 389, 392, 398, 443,
 465, 472, 486, 487, 489, 490, 493, 498,
 514—517, 519, 521, 523, 524, 526, 528,
 529; II 8, 9, 12, 39, 40, 42, 47, 52, 55, 56,
 58, 59, 61, 62, 81, 82, 98, 104, 123,
 129, 131, 133, 139, 145—152, 158, 161,
 162, 176—178, 189, 244, 247—249,
 252, 254, 266, 267, 281, 285—287, 293,
 296—298, 300, 305—307, 309, 328, 335,
 342, 347, 358, 364, 405, 406, 403, 415,
 418, 435, 439, 442, 448, 454
 — «Аратей» I 507
 — «Брут» I 24, 25, 38, 40, 41, 44, 45, 47,
 64, 80, 82, 83, 86, 98, 112, 113, 123,
 127, 128, 130—132, 136, 143, 144, 149,
 163, 166—172, 179, 185, 207, 208, 211,
 235, 250—252, 258, 269, 299, 320; II
 98
 — «В белой тоге» II 61
 — «Гортензий, или о философии» I 185,
 202
 — «За Архия» I 25, 80, 83, 183, 215, 224
 — «За Гая Рабирия» I 183, 214, 215, 226
 — «За Гнея Плавция» I 184, 215, 227, 231
 — «За Дейотара» I 215, 224
 — «За Клуэция» I 215, 224
 — За Корнелия II 61
 — «За Лигария» I 215, 514
 — «За Луция Корнелия Бальба» I 184,
 215
 — «За Луция Флакка» I 183, 215
 — «За Марка Туллия» I 214, 215
 — «За Марцелла» I 215, 514

- «За Милона» I 184, 215; II 61, 319
 — «За Мурену» I 183, 215, 222, 224, 225, 233, 398
 — «За Оппия» I 181
 — «За Публия Квинция» I 215, 216, 221, 223
 — «За Рабрия Постума» I 184, 215
 — «За Росция актера» I 214, 215, 229, 230
 — «За Росция Америйского» I 215, 216, 223, 229; II 61
 — «За Сестия» I 130, 184, 215, 227, 230—232
 — «За Суллу» I 183, 215
 — «За Фонтеля» I 181, 214, 215
 — «За Целия» I 184, 215, 226, 231
 — «За Цецину» I 214, 215, 224; II 176
 — «За Эмилия Скавра» I 214, 215; II 61, 62
 — «К Квинту» I 196, 200
 — «К сепату и народу» I 215
 — «Лелий, или О дружбе» I 135, 185, 202, 206; II 305
 — «О Главке Понтийском» I 179
 — «О государстве» I 42, 141, 179, 184, 201, 202, 205—207, 282, 498; II 266, 335, 358, 413
 — «О доблестях» I 202
 — «О законах» I 42, 120, 127—129, 133, 179, 184, 200—203, 206, 207, 246, 250, 251, 299, 486; II 254, 281
 — «О законе Манилия» I 183, 215, 218, 219
 — «О консульских провинциях» I 184, 215, 220, 262
 — «О лучшем роде ораторов» I 81, 98, 113, 179, 205, 213
 — «О Марии» I 179
 — «О подборе материала» I 163, 164, 171—174, 177, 179, 209
 — «О предвидении» («О гадании») I 80, 94, 120, 126, 128, 130, 185, 200—204; II 13
 — «О пределах добра и зла» I 91, 152, 185, 201, 203—205, 296, 298—300
 — «О природе богов» I 96, 114, 131, 185, 201, 298, 299
 — «О решении авгуров» I 227
 — «О своем доме» I 215, 227
 — «О своем консульстве» I 179
 — «О славе» I 202
 — «О старости» («Катон») I 41, 47, 50, 51, 71, 80, 83, 86, 110, 123, 149, 164, 185, 202, 206, 242, 258, 330, 331
 — «О судьбе» I 185, 201
 — «Об авспинциях» I 215
 — «Об аграрном законе» I 183, 215, 219
 — «Об обязанностях» I 179, 187, 201—203, 443; II 358
 — «Об ораторе» I 21, 26, 39, 48, 76, 78, 82, 120, 128, 130, 131, 133, 136, 142, 154, 163—165, 167—170, 174, 177, 179, 184, 200, 207—213, 235, 258, 486; II 147, 150, 252, 254, 281, 418
 — «Оратор» I 26, 39, 128, 179, 185, 207—211, 213, 221, 233, 487
 — «Парадоксы стоиков» I 39, 185, 201
 — «Письма к Аттику» I 96, 98, 106, 121, 123, 127, 181, 190—199; II 52
 — «Письма к друзьям» («Письма к близким») I 58, 79, 116, 192, 193, 195—197, 299; II 58
 — «Подразделения речей» I 179, 213
 — «Против Ватиния» I 184, 215
 — «Против Верреса» I 52, 215, 218, 223
 — «Против Катилины» I 183, 215, 219, 226
 — «Против Пизона» I 214, 215, 230, 231
 — «Сон Сципиода» I 27, 29, 201; II 413
 — «Тошпка» I 28, 179, 213
 — «Тускуланские беседы» I 35, 64, 80, 82, 83, 92, 93, 185, 201, 203, 205, 299, 300, 326
 — «Утешение» I 185, 202
 — «Ученые академиков» I 91, 123, 155, 185, 201, 203—205, 238, 239, 243, 306
 — «Филиппики» I 186, 215, 220, 221, 228, 229, 233; II 267
 — «Хвалебное слово Катону» I 186
 Цумпт К. Т. II 53
- III
- Шанд М. I 31, 68, 495; II 58, 285
 Шекспир В. I 71, 523
 Шель Ф. I 65
 Шенье А. I 435
 Шенье Ж. М. II 288
 Шервинский С. В. I 357, 449
 «Шесть писателей истории императоров» см. «История Августов»
 Шиллер Ф. I 523
 Штар А. II 274
 Шуази А. I 509
 Шульц М. II 160
 Шульц Ю. Ф. II 128, 314, 359, 366, 393, 397, 398, 400
 Шульце В. II 84
- Э
- Эвгемер I 93
 Эвмен II (II в. до н. э.) I 24, 234
 Эвмен (полководец, IV в. до н. э.) I 253
 Эвмений см. Евмений
 Эвполид I 102
 Эврипид I 5, 35, 62, 91—93, 114, 372, 441, 448, 453, 508; II 66, 75, 180, 303, 307
 — «Алкестида» I 372
 — «Вакханки» I 448
 — «Гекаба» I 91
 — «Геракл» II 75
 — «Ипполит» I 372
 — «Медея» I 91, 372; II 75
 Эвфорион I 13, 35, 93, 326, 337, 368, 403, 419, 420
 Эзоп (баснописец) II 18—21, 25, 26, 304, 379—381, 407, 411, 455
 — «Змея в кузнице» II 21
 — «Лиса и маска» II 21
 Эзоп (трагический актер) I 61, 180
 Эйнгарт II 54, 349
 Эксуперанций II 388
 Элагабал см. Гелиогабал
 Элиан I 16; II 291
 Элий Аристид см. Аристид Элий
 Элий (Гелий) II 422

Элий Корд Юний (III в. н. э.) II 354, 356, 424, 425
 Элий Лампридий см. Лампридий Элий
 Элий Пет Кат I 133
 Элий Спартиан см. Спартиан Элий
 Элий Туберон I 119, 166, 245, 250, 482
 Эмилиий Аспр см. Аспр Эмилиий
 Эмилиий Квинт I 247
 Эмилиий Макар см. Макар Эмилиий
 Эмилиий Павел I 54, 113, 119, 130, 137, 474; II 38
 Эмпедокл I 301, 302, 313, 314; II 318
 — «О природе» I 301
 Эпа Секстилий I 466, 529
 Энгельс Ф. I 263, 297, 398; II 64, 91, 130, 238, 269
 Энколпий II 424
 Эний I 6, 13, 19—21, 24, 39, 48, 66, 67, 76, 80—94, 95, 96, 103, 104, 111—113, 123, 149, 153, 154, 159, 205, 212, 234, 235, 241, 272, 295, 296, 302, 313, 316, 317, 320, 335, 348, 372, 385, 435, 508; II 18, 25, 150, 190, 213, 297, 298, 301, 303, 304, 306, 310, 359
 — «Александр» I 80
 — «Алкмеон» I 80
 — «Амбракия» I 80, 82 93
 — «Андромаха» I 80
 — «Андромеда» I 80, 92, 93
 — «Анналы» I 24, 80, 82, 84, 86, 87, 89, 93, 94, 159, 235, 317, 372
 — «Атамант» I 80
 — «Ахилл» I 80
 — «Аякс» I 80
 — «Выкуп Гектора» I 80, 92
 — «Гекуба» I 80, 93
 — «Ифигения» I 80, 92
 — «Кресфонт» I 80, 92
 — «Накомые блюда» I 80, 92
 — «Медея» I 80, 91
 — «Меланиппа» I 80
 — «Немея» I 80
 — «Неоптолем» II 301
 — «О буквах и словах» I 234
 — «О метрах» I 234
 — «Панкратиаст» I 80
 — «Правила» I 80, 93
 — «Сабинянки» I 80, 93
 — «Сатурны» I 80, 82 84, 90, 92
 — «Сота» I 80, 93
 — «Сципион» I 80, 92
 — «Теламон» I 80
 — «Телеф» I 80
 — «Феникс» I 80
 — «Фивст» I 80, 83
 — «Эвгемер» I 80, 83, 93
 — «Эвмениды» I 80, 92
 — «Эпихарм» I 80, 83, 93, 313
 — «Эрехтей» I 80

Энопид Хносский I 301
 Эпминонд I 253, 254
 Эпиктет I 16; II 189, 416
 Эпикур I 12, 110, 204, 230, 291—302, 304—307, 314—315, 452; II 16, 78, 322
 — «Главные мысли» I 298
 Эпихарм I 54, 415; II 308, 318
 Эразм Роттердамский I 30
 Эратосфен I 507
 — «Помещения среди звезд» I 507
 Эсхил I 5, 35, 62, 92, 205, 213; II 66, 75
 — «Агамемнон» II 75
 Эсхин I 274
 Этьенн Р. I 30
 Эфор I 284, 495

Ю

Юба (I в. до н. э.) I 271
 Юба (II в. н. э.) II 314, 441
 Ювенал I 12, 15, 22, 27, 29, 151, 154, 155, 158—160, 294, 340, 435; II 8—10, 59, 84, 91, 116, 123, 200, 201, 206, 209, 216, 220, 222—241, 255, 265, 267, 292, 342, 347, 355, 435, 457
 — «Сатиры» I 155, 425; II 209
 Югурта I 131, 154, 156, 159, 276, 278, 285, 286, 493
 Юлиан Антоний см. Антоний Юлиан
 Юлиан Дидий II 422
 Юлиан Отступник I 16; II 192, 292, 370, 401—403, 405, 424, 426, 429—434, 439
 Юлий Валерий см. Валерий Юлий
 Юлий Виктор см. Виктор Юлий
 Юлий Капитолий см. Капитолий Юлий
 Юлий Обсеквент см. Обсеквент Юлий
 Юлий Павел (юрист) II 309
 Юлий Роман см. Роман Юлий
 Юлий Руфиниан II 448
 — «О фигурах речи и мысли» II 448
 Юлий Секунд II 243, 246
 Юлий Солин см. Солин Юлий
 Юлий Тициан см. Тициан Юлий
 Юлий Цериалий см. Цериалий Юлий
 Юлия (дочь Августа) I 443
 Юлия Младшая (внучка Августа) I 438, 443
 Юлий Блез II 62
 Юний Филаргирий см. Филаргирий Юний
 Юстин I 491, 492—496, 500, 501; II 45, 48
 — «Прологи» I 500
 — Сокращение филипповой истории Трога Помпея I 500
 Юстиниан I 310, 429

Я

Ян О. II 221
 Ярхо Б. И. II 115, 116, 120, 123



СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Ваза из виллы Адриана в Тибуре (II в. н. э.) фронтиспис	4—5
Лягушка	25
Ягненок на жертвеннике (римская работа I в. н. э.)	29
Бронзовый сосуд для масла (II—III в. н. э.). С надписью: C. Pomponius Zoticus. Collegio Apellinario D. D.)	39
Стенка саркофага	51
Ипсолит с кормилицей Федры, окруженный охотниками (стенка саркофага, конец II в. н. э.; найдено на Via Aurelia)	68
Свадьба (деталь стенки саркофага римской работы III в. н. э.)	91
Битва (стенка саркофага римской работы II в. н. э.)	108
Надгробие гладиатора-мирмиллона императорского времени (найдено близ Димотки в 1829—1830 гг.)	121
Июнь (мозаика, найденная в Помпеях, I в. н. э.)	127
Поэт и муза (рельеф римской работы)	193
Статуя мальчика (римская работа I в. н. э.)	203
Пирующий Геркулес (римская работа по оригиналу Аппинна; реставрирова- на)	208—209
Погребальная урна (I в. н. э.; найдена под Римом)	219
Федра со своей кормилицей (стенка саркофага, конец II в. н. э.; найдено на Via Aurelia)	224—225
Алтарь с маской Зевса-Аммона (I в. н. э.)	229
Погребальная урна, украшенная венками из плюща и масками Бакха (ко- нец I в. н. э.; найдена в Риме)	239
Голова варвара-германца (из Рима; конец II в. н. э.)	275
Голова дака (с форума Траяна в Риме; начало II в. н. э.)	304—305
Охотник (деталь стенки саркофага римской работы III в. н. э.)	352—353
Свадьба (стенка римского саркофага, III в. н. э.)	368—369
Поэт и музы (рельеф римской работы III в. н. э.)	371
Тезей и Скирон (керамический рельеф III в. н. э.)	377
Орфей (камень римского времени)	385
Деметра и Триптолем (камень римского времени)	395
Пастух (инталья на сердолике, итальянская работа, III—II вв. до н. э.)	403
Пастушеская сцена (инталья III—II вв. до н. э.)	409

ОГЛАВЛЕНИЕ

ЛИТЕРАТУРА РАННЕЙ ИМПЕРИИ

- Глава I. «Серебряный век» римской литературы (М. Л. Гаспаров)** 7—10
- Глава II. Поэзия при первых императорах (Е. А. Беркова, М. Л. Гаспаров, М. Е. Грабарь-Пассек)** 11—34
1. Германик. Машилий.— 2. Федр.— 3. Кальпурний и анонимные поэты.
- Глава III. Прозаическая литература при первых императорах (С. Н. Соболевский, М. Е. Грабарь-Пассек)** 35—62
1. Веллей Патеркул.— 2. Валерий Максим.— 3. Квинт Курций Руф.— 4. Остальные историк 1 в. н. э.— 5. Рутилий Луп и другие риторы.— 6. Валерий Проб.— 7. Асконий Педиян.
- Глава IV. Сенека Младший (М. Е. Грабарь-Пассек)** 63—83
1. Жизнь и произведения Сенеки.— 2. Трагедии Сенеки.— 3. «Отыквление» и эпиграммы.— 4. Философские произведения.— 5. Литературные приемы Сенеки.
- Глава V. Персий (Ф. А. Петровский)** 84—92
1. Биография Персия.— 2. Сатиры Персия.
- Глава VI. Лукан (Ф. А. Петровский)** 93—113
1. Биография Лукана.— 2. Поэма Лукана о гражданской войне.— 3. Исторические источники «Фарсалии» и переработка их Луканом.
- Глава VII. Петроний (Ф. А. Петровский)** 114—123
1. Сведения о Петронии.— 2. Сочинения Петрония.— 3. Содержание «Сатур». Сатрапезники Трималхиона.— 4. Литературная полемика в «Сатурах».— 5. Латинский язык «Сатур».
- Глава VIII. Научная литература ранней империи (Е. А. Беркова)** 124—142
1. Общий характер научной литературы эпохи Империи.— 2. Фронтин.— 3. Помпоний Мела.— 4. Корнелий Цельс.— 5. Плиний Старший.— 6. «Естественная история» Плиния.— 7. Колумелла.
- Глава IX. Квинтилиан (М. Е. Грабарь-Пассек)** 143—156
1. Биография Квинтилиана.— 2. Сочинения Квинтилиана.— 3. Политические взгляды Квинтилиана.— 4. Взгляды Квинтилиана на ораторское искусство и деятельность оратора.— 5. Лингвистические и литературные взгляды Квинтилиана.— 6. Декламации, приписываемые Квинтилиану.
- Глава X. Плиний Младший (М. Е. Грабарь-Пассек)** 157—178
1. Биография Плиния Младшего.— 2. Произведения Плиния Младшего.— 3. Общественно-политические взгляды Плиния Младшего.— 4. Плиний как литератор.
- Глава XI. Эпические поэты I в. н. э. (М. Е. Грабарь-Пассек)** 179—194
1. Валерий Флакк.— 2. Папиций Стаций.— 3. Силий Италик.
- Глава XII. Марциал (Ф. А. Петровский)** 195—221
1. Античные свидетельства о Марциале.— 2. Биографические сведения о Марциале.— 3. Эпиграммы Марциала.— 4. Суждение Марциала о собственных эпиграммах.— 5. Сюжеты эпиграмм Марциала.— 6. Критика мифологического эпоса Марциалом.— 7. Отношение Марциала к историческому эпосу.— 8. Литературное окружение Марциала.— 8. Судья Плиния.
- Глава XIII. Ювенал (Ф. А. Петровский)** 222—241
1. Биографические данные о Ювенале.— 2. Сатиры Ювенала.— 3. Тематика сатир Ювенала.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава XIV. Тацит (С. И. Соболевский)	242—288
1. Биография Тацита.— 2. Литературная деятельность Тацита. «Разговор об ораторах».— 3. «Агрикола».— 4. «Германия».— 5. «История».— 6. «Летопись».— 7. Политические взгляды Тацита.— 8. Философские и религиозные взгляды Тацита.— 9. Тацит как историк.— 10. Речь у Тацита.— 11. Источники Тацита.— 12. Язык и слог Тацита.— 13. Отношение современников и последующих поколений к Тациту и его сочинениям.	
ЛИТЕРАТУРА ПОЗДНЕЙ ИМПЕРИИ	
Глава XV. Римская литература времени упадка (М. Л. Гаспаров)	291—294
Глава XVI. Риторика. Поэзия. Наука II—III вв. (М. Е. Грабарь-Пассек, Т. И. Кузнецова, Е. А. Беркова, М. Л. Гаспаров)	295—314
1. Фронтон.— 2. Взгляды Фронтона на литературу и ораторское искусство.— 3. Авл Геллий.— 4. Юридическая литература.— 5. «Новые поэты».	
Глава XVII. Апулей (Е. А. Беркова)	315—329
1. Биография Апулея.— 2. Философские и риторические сочинения Апулея.— 3. «Золотой осел».— 4. Апулей как писатель.	
Глава XVIII. Историческая литература II—III вв. (С. И. Соболевский)	330—356
1. Светоний.— 2. Биографии двенадцати Цезарей.— 3. Другие сочинения Светония.— 4. Светоний как историк.— 5. Язык и слог Светония.— 6. Отношение современников и последующих поколений к Светонию.— 7. Флор.— 8. Ампелий.— 9. Граний Лициниан.— 10. Марий Максим и Юлий Корд.	
Глава XIX. Поэзия III—V вв. (М. Е. Грабарь-Пассек, М. Л. Гаспаров, Ю. Ф. Шульц)	357—400
1. Введение. 2. Сереп Самоник.— 3. «Дистихи Катона» и «Изречения семи мудрецов».— 4. Немесиа.— 5. Авзоний.— 6. Авнан и «Ромул».— 7. Клавдий Клавдиан.— 8. Рутилий Намациан.— 9. «Иверол».— 10. Аполлинарий Сидоний.— 11. Малые поэты III—V вв.— 12. Латинская антология и анонимные стихотворения	
Глава XX. Риторическая и повествовательная литература III—V вв. (М. Е. Грабарь-Пассек, И. П. Стрельникова)	401—419
1. Панегирики.— 2. Симмах.— 3. Повествовательная литература. «Диктис Критский».— 4. Дарес Фригийский.— 5. «Деяния Александра».— 6. «История Аполлония, царя Тирского».— 7. Макробий.	
Глава XXI. Историческая литература III—V вв. (С. И. Соболевский)	420—437
1. Шесть писателей истории императоров.— 2. Аврелий Виктор.— 3. Евтропий.— 4. Секст Руф Фест.— 5. Аммиан Марцеллин.— 6. Аммиан как историк и писатель	
Глава XXII. Научная литература III—V вв. (Т. А. Миллер, Е. А. Беркова)	438—454
1. Грамматика.— 2. Метрика.— 3. Лексикография.— 4. Комментаторы. 5. Риторика.— 6. Цензорин.— 7. Юлий Солли.— 8. Вегетий.— 9. Палладий.— 10. Марциан Капелла.	
Глава XXIII. Заключение (Ю. Ф. Шульц)	455—458
Указатель	452
Список иллюстраций:	462

История римской литературы. Том II

Утверждено к печати Институтом мировой литературы им. А. М. Горького

Редактор издательства Ю. Ф. Шульц. Переплет художника М. И. Эльцифен

Технический редактор Е. В. Махриш. Корректоры Е. А. Мишакова и М. В. Гобиткова

РИСО АН СССР № 40—106В. Сдано в набор 21/VIII—1961 г. Подписано к печати 25/XII 1961 г.
Формат 79×108^{1/2}. Печ. л. 30,25=44,5 усл. печ. л. + 7 вкл. Уч.-издат. л. 39,4. Тираж 4000 экз.
Г-12659. Изд. № 5441. Тип. зак. № 2356. Цена 1 руб. 83 коп.

Издательство Академии наук СССР, Москва, Б-62, Подососенский пер., 21
2-я типография Издательства АН СССР, Москва, Г-99, Шубинский пер., 10